

Софья и Наталья Самуиловы

ОТЦОВСКИЙ КРЕСТ

Жизнь священника и его семьи
в воспоминаниях дочерей. 1908–1931



Духовная проза (Никея)

Софья Самуилова

**Отцовский крест. Жизнь
священника и его семьи в
воспоминаниях дочерей. 1908–1931**

«Никея»

1996

Самуилова С. С.

Отцовский крест. Жизнь священника и его семьи в воспоминаниях дочерей. 1908–1931 / С. С. Самуилова — «Никея», 1996 — (Духовная проза (Никея))

В воспоминаниях сестер Софьи и Натальи Самуиловых о дореволюционном детстве, о любимом отце – провинциальном священнике Сергии, впоследствии погибшем в заключении, звучит живой отголосок ушедшей эпохи. Судьба семьи Самуиловых неразрывно переплелась с трагической судьбой страны в XX веке. Переноса читателя в российскую глубинку 1910–1930-х годов, авторы раскрывают перед ним глубины человеческих сердец, в страшные годы гонений на Церковь не утративших веру, жертвенность и любовь.

© Самуилова С. С., 1996

© Никея, 1996

Содержание

От издательства	8
От автора	9
Книга первая	11
1908–1914	11
Глава 1	11
Глава 2	14
Глава 3	17
Глава 4	18
Глава 5	22
Глава 6	24
Глава 7	28
Глава 8	33
Глава 9	38
Глава 10	40
Глава 11	43
Глава 12	45
Глава 13	51
Глава 14	53
Глава 15	57
Глава 16	62
Глава 17	65
Глава 18	71
Глава 19	72
Глава 20	78
1914–1920	85
Глава 21	85
Глава 22	90
Глава 23	95
Глава 24	103
Глава 25	107
Глава 26	109
Глава 27	115
Глава 28	118
Глава 29	123
Глава 30	130
1920–1926	137
Глава 31	137
Глава 32	145
Глава 33	151
Глава 34	156
Глава 35	164
Глава 36	167
Глава 37	170
Глава 38	180
Глава 39	187
Глава 40	190

Глава 41	193
Глава 42	199
Глава 43	203
Глава 44	209
Книга вторая	215
1926–1929	215
Глава 1	215
Глава 2	217
Глава 3	219
Глава 4	223
Глава 5	225
Глава 6	229
Глава 7	232
Глава 8	236
Глава 9	239
Глава 10	243
Глава 11	247
Глава 12	251
Глава 13	253
Глава 14	256
Глава 15	259
Глава 16	261
Глава 17	264
Глава 18	270
Глава 19	279
Глава 20	284
Глава 21	290
1929–1931	292
Глава 22	292
Глава 23	295
Глава 24	299
Глава 25	303
Глава 26	306
Глава 27	309
Глава 28	311
Глава 29	313
Глава 30	318
Глава 31	320
Глава 32	326
Глава 33	328
Глава 34	332
Глава 35	336
Глава 36	339
Глава 37	344
Глава 38	349
Глава 39	353
Глава 40	354
Глава 41	362
Глава 42	366

Глава 43	371
Об авторах	378
Об издательстве	380

Самуиловы Софья Сергеевна и Наталья Сергеевна

Отцовский крест. Жизнь священника и его семьи в воспоминаниях дочерей. 1908–1931

*Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви ИС
13-317-2340*

Дорогой читатель!

Выражаем Вам глубокую благодарность за то, что Вы приобрели легальную копию электронной книги издательства «Никея». Если же по каким-либо причинам у Вас оказалась пиратская копия книги, то убедительно просим Вас приобрести легальную. Как это сделать – узнайте на нашем сайте www.nikeabooks.ru

Если в электронной книге Вы заметили какие-либо неточности, нечитаемые шрифты и иные серьезные ошибки – пожалуйста, напишите нам на info@nikeabooks.ru

Спасибо!

От издательства

В удивительных воспоминаниях сестер Софьи и Натальи читателю раскрывается радостный и одновременно крестный путь их отца, Сергия Самуилова, провинциального батюшки, служение которого пришлось на первую треть XX столетия. Однако повествование, несомненно, гораздо шире биографии одного человека и даже истории одной семьи, ведь судьбы отца Сергия и его близких неразрывно переплелись с судьбой Русской Церкви, да и России в целом.

Непростой оказалась и история самой книги. Судя по некоторым авторским замечаниям, текст написан в 1950–1960-е годы, а предварительные записи велись и ранее. Об официальной публикации этого сочинения в Советском Союзе не могло быть и речи, и оно распространялось в самиздатовских копиях. Машинописный экземпляр первой части произведения в начале 1990-х передала петербургскому издательству «Сатись» Ольга Николаевна Вышеславецца, в тайном постриге – инокиня Мария. Вторая часть обнаружилась в библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии, и в 1996 году издательство «Сатись» выпустило двухтомник «Отцовский крест». Позже была найдена и опубликована третья, незавершенная часть сочинения, посвященная судьбе отца Константина, брата Софьи и Натальи, который стал священником в разгар антирелигиозных гонений.

Предлагаемая читателю книга включает две первые части воспоминаний. Их объединяет одна тема – судьба отца Сергия Самуилова, искреннего и бескорыстного священнослужителя, оказавшегося в эпицентре разрушения вековых традиций. Причем это не сторонний взгляд, а свидетельство детей о любимом папе – детей, взросление которых выпало на один из самых драматических периодов нашей истории; более того, это взгляд дочерей, отношение которых к отцам, как известно, наполнено особой нежностью. Большим достоинством воспоминаний является вовлеченность сестер Самуиловых в активную церковную жизнь эпохи гонений, что делает книгу ценным источником по истории Русской Церкви. Насыщенный историческими подробностями текст при подготовке к изданию был обогащен обширными примечаниями. В то же время воспоминания эти являются памятником литературным, это проникновенная автобиографическая проза, замечательный пример русского подпольного литературного творчества середины XX века, поэтому мы без сомнения поместили «Отцовский крест» в серию «Духовная проза», где печатаются лучшие художественные произведения православных авторов.

Мы уверены – книга найдет отклик в сердце любого читателя, ведь нет, наверное, человека, безразличного к искреннему разговору о счастье, страдании, вере, самопожертвовании и любви.

От автора

...Необходимо сделать очень важное, на мой взгляд, предупреждение. Так как повествование ведется, насколько это для меня доступно, в литературной форме, то может возникнуть предположение, что ради яркости картин и образов я добавляю к действительно происходившему и свой вымысел. Поэтому считаю своей обязанностью еще раз подчеркнуть то, что уже говорилось в предисловии к «Повести о трех поколениях», а именно, что здесь нет ни одного случая, не происшедшего в действительности, ни одной фразы, не отвечающей действительно высказанным мыслям. По большей части я буквально записывала эти фразы так, как не раз слышала их сама (лично или в рассказах очевидцев); иногда передавала в разговорной форме то, что слышала в виде рассуждений, и только очень редко вставляла общие, малозначащие слова, которые человек, принимая во внимание обстановку и его характер, мог бы сказать.

К этому нужно добавить, что если в «Повести» я в основном пользовалась очень яркими и образными рассказами бабушки, то значительной части описанного в «Жизни священника» я была непосредственной свидетельницей, пусть иногда и в очень раннем возрасте; воспоминания дремали до тех пор, пока более взрослой я не осознала их значения. Другие факты много раз повторяли то отец, то мать, то бывшая моя нянька, то еще кто-нибудь... Отчасти я пользовалась даже дневником отца, к сожалению давно потерянным для нас.

При этом, прежде чем начать писать, я долго проверяла, мысленно уточняла и язык, и хронологию событий. Если в чем и допущена натяжка, это в объединении в одну главу нескольких мелких случаев. Например, запуск змея, беседа на тему «многим же еретикам и гонителем одоле церковь» и ночное появление «трех хулиганов», безусловно, происходили не в течение суток, так же как и два «искушения» – Сони и отца Сергия. Между этими событиями мог быть промежуток в два-три месяца, между некоторыми, может быть, год, но никак не два-три года. Например, если я не могла уточнить времени происшедшего урагана, так и отметила это, а в других случаях в тексте употребляла неопределенные выражения.

Так же и в разговорах. Здесь я еще меньше, чем раньше, пользовалась тем, что человек «мог бы сказать», – только в таких фразах, которые не имеют существенного значения для характеристики данного лица. Иногда могло быть, что подлинная фраза или подлинный способ выражения были действительно употреблены, но не в описываемом случае, а в другом подобном. Но чем серьезнее затрагиваемый вопрос, тем значительнее сами выражения, тем они точнее. В них уже не допускалось никакого отклонения: если слова указаны как подлинная речь, значит, они такими и являются в действительности и по мысли, и по способу изложения, разве только с незначительной заменой однозначных слов.

В этом случае, конечно, является сомнение: неужели можно запомнить точные фразы, сказанные тридцать, сорок, а то и больше лет назад? Но они повторялись в моем присутствии по разным случаям или не раз рассказывались отцом и другими очевидцами, и рассказывались всегда одинаково. А свою память я проверяла на цитатах, приводимых в главе «Если любите Меня» и в других. Особенно выразительна для меня цитата: «Аще кто без повеления местного епископа...» Я записала ее, не зная, откуда она, и только через несколько лет смогла проверить. Она оказалась правильной. Судя по этому, можно верить, что правильно приводятся и другие слова. Все я старалась записать так, как вижу перед собой до сих пор, вплоть до движения руки, сматывающей веревку от змея.

А глава «Съезд», конечно, не является стенографической записью происходившего, но приближается к тому, как и последующие, где уже нет и группировки событий; они следовали одно за другим с такой быстротой, что впору их разделять, а не уплотнять.

Сознаюсь, были иногда соблазны, хотелось иногда вставить слова, которые были в духе описываемых людей и даже, весьма возможно, что были и сказаны. Но сказаны ли в действи-

тельности, на это нет ни намека в моих воспоминаниях. Поэтому, хоть и с сожалением, их приходилось отбрасывать, потому что написанное мною не более как воспоминания, а не повесть, хотя бы и биографическая.

Одним словом, ко всему написанному следует относиться с таким же доверием, как и к запискам любого свидетеля любых исторических событий, хотя рассказ ведется не в первом, а в третьем лице. То есть тут могут быть незначительные, в мелочах, ошибки памяти, неясные формулировки (где я говорю от своего лица), но ни слова вымысла.

Софья Самуилова

Книга первая Острая Лука 1908–1926

1908–1914

Глава 1 Как умирают

Десятого марта 1908 года светлая зала С-вых была сов сем не такой, как обычно. Надино пианино вынесено, зеркала и картины завешены белым полотном, тюлевые шторы на окнах спущены. В переднем углу целая роца банок с цветами. Яркий солнечный свет, льющийся в окна, смешивается с желтоватыми огоньками свечей и освещает резные листья небольших пальм и олеандров, бросающих прихотливые тени на спокойное бледное лицо с закрытыми глазами, на окаймляющую это лицо белую длинную бороду и на восковые, скрещенные на груди руки. Руки сложены, как складывают подходя к причастию, и к ним прислонена маленькая иконочка. Все остальное скрывается под массой белых цветов; кое-где проглядывают очертания серебристого гроба, но и его края покрывает широкая лента большого венка, последнего дара учеников и товарищей.

В комнате все время народ, люди приходят и уходят, но это не нарушает торжественной тишины: все двигаются бесшумно, говорят вполголоса, не слышно даже тиканья больших часов, их маятник остановлен; в этой комнате уже не существует времени, здесь вступает в свои права вечность.

Благоговейный покой, окружающий умершего, оскорбили бы громкие голоса и резкие, истерические крики; горячие слезы здесь льются неслышно, только время от времени прорвутся чьи-нибудь сдавленные рыдания. Искренно плачут все: брат, дети и племянницы, теща и невестки, которые в других семьях чаще всего остаются равнодушными к смерти свекра или даже про себя радуются ей; плачут бывшие ученики и сослуживцы, близкие знакомые и соседи.

Время от времени в солнечных лучах начинает струиться синеватый кадильный дым, раздается негромкое пение: «Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой!» Тогда рыдания становятся громче, но умиротвореннее.

К гробу съехались все дети, кроме младшего сына Филарета. Он в Томске, в университете, ему даже не телеграфировали: все равно он не успел бы к похоронам.

Ему предстояло в одиночку переживать свое горе, перечитывая письма с описанием смерти и похорон отца и записи горячих речей, произнесенных над гробом.

Старший сын Сергей с женой и дочкой Соней полсуток тащился на лошадях по тяжелой мартовской дороге до железнодорожной станции. Для быстроты он нанял пару лошадей, но и им было тяжело. После февральских снегопадов дорога разбита, полна ухабов и раскатов, среди дня снег подтаивает и цепляется за полозья, на сельских улицах дороги черны от навоза. Если бы не смерть дорогого человека, разве поехала бы Евгения Викторовна в такую пору? Два года тому назад, когда она ехала в Острую Луку шестого марта, при переезде через налившийся водой долок лед под санями провалился, и тогда она думала, что никогда в жизни не повторит такого путешествия. А вот сейчас девятое, а она едет, да еще назад поедет.

Правда, в этом году весна поздняя, а обратно можно поехать, дождавшись колесного пути, да в том ли дело? Просто невозможно было не ехать, сердце не вытерпело бы.

Было туманно. Временами начинал падать крупный снег. Соня то внимательно смотрела на мелькающие снежинки, то сладко засыпала в теплой щели между отцом и матерью. А те сидели и думали, что наступает весна, но папа на Пасху к ним не приедет и никогда больше они не увидят его ласковых голубых глаз и не услышат его доброго баска.

Второму сыну, Евгению, ехать гораздо ближе, и он успел еще застать отца в живых. Приехала из Казани и младшая дочь Сима. Старшая – Надя и теща Наталья Александровна встречают гостей. У всех, у приехавших и встречающих, глаза опухли от слез. Еще мужчины пытаются крепиться, а женщины плачут без конца.

Приходит теща Сергея Юлия Гурьевна с Мишей и Володей. Они здесь свои люди, бывают чуть не каждый день и еще вчера досыта наплакались. Юлия Гурьевна печально рассказывает, как покойник Евгений Егорович еще недавно вспоминал ее мать, умершую год назад, как он, уже больной, ласково шутил.

– Мишель пришел? – спрашивал он, здороваясь с ней. – Почему Мишель не пришел?

Лучше всех чувствуют себя Соня и Сима, дочка Евгения Евгеньевича. Возобновив прошлогоднее знакомство, они весело играют в самой отдаленной от залы комнате. Что им до больших, до того дедушки, который лежит в зале? Соня помнила совсем не такого. Она помнила, как когда-то давно-давно (полгода назад, пятая часть Сониной жизни) тот дедушка, слегка сгорбившись, вошел в столовую с террасы и дал ей поиграть блестящий карандаш. Только поиграть, ей так хотелось, чтобы он подарил его совсем, но дедушка не догадался. Вот если бы тот дедушка пришел теперь, она подбежала бы к нему и спросила, где карандаш. А этот, в зале, ее мало интересовал.

Сима была на одиннадцать месяцев моложе Сони, но дедушку помнила лучше: ведь она видела его еще вчера.

Вчера дедушка тихонько шел по комнате, папа и тетя Надя шли с ним рядом и для чего-то поддерживали его, а Симочка стояла среди комнаты и смотрела. Дедушка нагнулся и погладил ее по головке, потом его усадили на кушетку, потом осторожно уложили. Вдруг все почему-то заплакали, и Сима тоже заплакала, и мама увела ее и сказала, что дедушка заснул. Ну и пусть спит, о чем же тут плакать?

К вечеру, когда окончились занятия в семинарии, зала наполнилась людьми. Преподаватели, сослуживцы Евгения Егоровича, постояв у гроба, отходили в сторону и тихо разговаривали с детьми покойного, стараясь, чтобы их слова не долетели до толпившихся в комнате семинаристов. Но тем и не нужно было слушать. По мимике догадывались они, о чем шла речь, и, может быть, чаще, чем в действительности, им чудилось имя «Неофит». Все знали, что ректор Неофит с самого приезда невзлюбил секретаря училищного совета Евгения Егоровича, что у них часто выходили стычки, тяжело отражавшиеся на здоровье последнего. Знали и то, что произошло на заседании училищного совета чуть не накануне рождественских каникул. Там обсуждали проступок одного ученика. Ректор предлагал исключить его, а Евгений Егорович с горячностью, удивительно уживавшейся с обычной его мягкостью, воспротивился: мальчик не неисправимый, нельзя из-за одного случая губить ему всю жизнь. Рассерженный отпором, ректор довольно прозрачно намекнул, что секретарь защищает виновного, потому что получил взятку. Евгений Егорович до того разволновался, что не мог сразу ответить, как бы хотел, и так и уехал на каникулы к брату, не поговорив как следует с ректором. Зато в первый же день занятий, встретив его в учительской, заговорил о позорном обвинении. Неофит, не дослушав, махнул рукой и сказал: «Э, хочется вам о пустяках говорить!» «Пустяки? – вскипел Евгений Егорович. – Из-за этих пустяков я все каникулы места себе не находил, сердце вконец расшатал!» И он наговорил начальству много резких и горьких слов. Ректор начал мстить постоянными булавочными уколами. Здоровье Евгения Егоровича становилось все хуже, сердечные припадки все чаще, наконец он слег и не поднялся.

Семинаристам кажется, что они слышат все. Вот Василий Николаевич Малиновский, экспансивный хохол, учивший еще Евгения Егоровича, достает из бумажника смятый, а потом тщательно разглаженный листок и передает его собеседникам. Те внимательно рассматривают и снова прячут. И опять семинаристы знают, что это; таких листков ходит по рукам уже много и кроме того, который отобрал на уроке Василий Николаевич. Это карикатура на Неофита. Он изображен на коленях, с четками, замаливающим свой грех, и внизу подпись: «Я ускорил Евгения кончину!»

Отпевали покойного в семинарской церкви.

От церкви до кладбища далеко. Если мысленно расчленить на кварталы пустырь между городом и кладбищем, то всего получится не менее двенадцати кварталов. И всю дорогу семинаристы несли гроб на руках, катафалк только ради торжественности двигался сзади. Когда проходили мимо архиерейского дома, епископ Константин вышел к воротам и благословил процессию. Не доходя до кладбищенской церкви, на северо-запад от нее, у Евгения Егоровича давно припасено место; там похоронены его жена и мать, и там же, много лет спустя, легли и сын Евгений и внучка Сима. Гроб опустили в землю, взволнованные молодые голоса запели: «Со духи праведных скончавшихся». Один за другим начали выступать ораторы – преподаватели и семинаристы. Если бы кто-нибудь из тех, кто считает духовное красноречие сухим и безжизненным, послушал эти речи, произнесенные над гробом преподавателя литургики и гомилетики¹ его учениками, будущими священниками! Блестели влажные от слез глаза, звенели молодые голоса, звенело в них живое, напряженное чувство – скорбь, уважение, негодование... искренние чувства молодых людей, глубоко чтущих справедливость и ее защитника, каким, прежде всего, рисовался им покойный. Наконец кончились речи. Гроб засыпали, поставили крест, повесили венки. Последний раз прозвучала: «Вечная память!» Да, память об этом кротком и как будто незаметном человеке держалась долго. Двадцать – тридцать лет спустя после его смерти, стоило бывшему семинаристу, войдя в комнату, где он был первый раз в жизни, увидеть портрет отца ее хозяина, как светлели глаза вошедшего, теплело на сердце и лились тихие, прочувствованные слова воспоминаний; стоило сказать одному из этих людей: «Евгений Егорович был моим дедом» – и раскрывалась душа, и, как с близким человеком, начинался разговор о тайных заботах, скрывааемых иногда от родных. Нельзя и подумать, чтобы внуки Евгения Егоровича обманули доверие. Да что двадцать, тридцать, так было и через пятьдесят лет! В это время знавших Евгения Егоровича оставались считанные единицы, но, когда им напоминали его имя, прояснялись старческие глаза и дрожащий голос повторял: «Да, Евгений Егорович... таких людей на свете не встретишь!»

И говорившие готовы были как родных любить незнакомых женщин только за то, что они дочери Сережи и внучки Евгения Егоровича. Это ли не вечная память! Если люди всю жизнь сохранили о нем добрую память, то сохранит ее и Господь.

Медленно, неохотно расходились люди с кладбища; наконец ушли последние. Пушистый снежок мягко ложился на новую могилу, скрывая под ровной пеленой мерзлые комья земли. Ложился он и на венки, но легкий ветерок, точно протестуя, тихонько качнул широкие белые ленты, чуть слышно зазвенел фарфоровыми лепестками цветов, и снова переливчато вспыхнул серебристо-белый муар, и на нем отчетливо и твердо, характеризуя жизнь и упования умершего, выделились слова:

«ПОДВИГОМ ДОБРЫМ ПОДВИЗАХСЯ, ТЕЧЕНИЕ СКОНЧАХ, ВЕРУ СОБЛЮДОХ» (1 Тим. 4: 7). – «И АЗ ВОСКРЕШУ ЕГО В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (Ин. 6: 40).

¹ Гомилетика – наука о том, как говорить проповеди. – *Авт.*

Глава 2

Сынок да дочка – красные детки

1908–1909 гг.

Отец Сергей сидел в зале у старенького отцовского письменного стола, недавно только перевезенного из Самары, и думал. На столе перед ним лежала толстая тетрадь, сшитая из плотной графленой бумаги. На обложке тетради красовался рисунок пером – чья-то борода-тая голова со включенными волосами – и стояла тщательно выведенная надпись: «Записки сумасшедшего». В окна стучал частый, мелкий дождь; иногда стук прекращался, и тогда к стеклам прилипали крупные, моментально тающие хлопья снега. Тяжелые тучи, точно нависшие над разбухшей от дождей землей, беспомощно качающиеся ветки деревьев, на которых еще бились неопавшие листья, навевали тоску. Осень в этом году наступила рано, – только вчера был Покров, а дожди идут уже давно, дороги кругом стали почти непроходимыми, даже пароходы по Волге ходят неаккуратно. Отец Сергей хорошо знает это, он позавчера вернулся с епархиального съезда из Самары. Пароход, на котором они ехали, больше полусуток простоял на мели, и потом чуть не целый короткий осенний день они тащились со случайными попутчиками от пристани до дома; промокли, иззябли, кое-где брели пешком, потому что лошади, выбившись из сил, останавливались. Вот об этом-то съезде, с которого он только что вернулся, о его бурных прениях, о горячих спорах в кулуарах, обо всех так живо его интересовавших епархиальных делах, о которых он только бегло успел рассказать жене, молодой депутат и хотел поделиться с заветной тетрадью, называвшейся «Записки сумасшедшего». Но сей час в голове теснились новые мысли, новые волнения отодвинули на задний план происходившее на съезде, и они первыми попали в тетрадь.

«Еничка встретила меня обеспокоенная, – писал он своим четким овальным почерком. – Акушерка сказала ей, что у нее ненормальное положение плода, может потребоваться серьезное медицинское вмешательство и нужно ехать в Самару. А куда тут поедешь в такую погоду в ее положении!»

Вдобавок и я не могу ее сопровождать, потому что на днях приедут Александров и Пряхин, будут беседовать со старообрядцами; и с ними можно бы как-нибудь сговориться, отложить, но старообрядцы вызвали московского начетчика Варакина, и мой отъезд будет истолкован как бегство. Значит, уехать невозможно, а как отпустить ее одну? И как быть с Сонюшкой?»

Отцу Сергию припомнилась картина, которую он наблюдал вчера. Евгения Викторовна сидела на своем обычном месте, у стола в столовой, и шила миниатюрное бельецо. От Сони осталось много детского приданого, но кое-что нужно подновить и добавить; нарядный крестильный чепчик непременно должен быть новым, как и рубашечка. Рубашечку, купленную бабушкой, отец Сергей привез из Самары, но на ней были голубые банты, а кто знает, может быть, родится не мальчик, а девочка, и тогда банты должны быть розовыми. И молодая женщина, сделав к кружевному чепчику голубенькие бантики, готовит, на всякий случай, полный комплект розовых.

Трехлетняя Соня стояла на коленях на стуле около матери и внимательно рассматривала привезенную отцом книжку. Всю страницу занимала большая красочная картинка: еж несет на иглах яблоки. Вверху картинке надпись – несколько слов, немного больше полстроки, – целая бездна премудрости. Соня, напрягая короткую детскую память, храбро борется с путающимися буквами и, хоть с трудом, но побеждает одно слово за другим. Евгения Викторовна, оторвавшись от своей работы, помогает ей. В ее взгляде, брошенном на мужа, ласка и любовь

к обоим, к отцу и дочери, и та же тревожная мысль: «Как быть с Сонюшкой? На кого оставить ее теперь и не останется ли она через несколько времени без матери навсегда?»

Отец Сергей не записывал, что было переговорено с женой за эти тяжелые двое суток, не описывал горячих молитвенных вздохов перед иконой Покрова Божией Матери, тяжелых ночных дум, предшествовавших решению. Он только написал: «Решили положиться на волю Божию».

Развязка наступила неожиданно быстро. На следующий вечер у молодых супругов уже был сын. Акушерка, за которой посылали в село за двенадцать верст, не ус пела – помогала опытная старушка, бабушка Авдотья. Выйдя из комнаты больной, она сказала озабоченно: «Сыночка Бог дал, батюшка, только больно плохенький – не знай, до утра доживет, не знай нет. Надо бы сейчас окрестить».

Окрестить было недолго. Псаломщик, Алексей Алексеевич, жил рядом, ему пришлось быть кумом, кухарка Ариша заменила куму. Когда Соню, безмятежно игравшую в кухне с дочкой сторожа, позвали в комнату и показали ей маленький живой сверточек, лежащий в ногах поперек маминой кровати, это был уже не безымянный мальчик, как бывает обыкновенно. Это был маленький братец Костя.

Для Сони начались веселые дни. Никогда еще за всю свою короткую жизнь она не видела сразу столько нового и любопытного. Приходили женщины, приносили подарки «на зубок». По большей части это были какие-нибудь деревенские лакомства, и первый кусочек, конечно, доставался Соне. Потом бабушка Авдотья показывала гостям Костю, и Соня находила, что он гораздо интереснее всех ее кукол, среди которых, кстати, не было ни одной совершенно целой. Особенно она любила смотреть, как его перевертывают и он слабо шевелит крошечными ручками и ножками. Завернув мальчика в чистые пеленки, бабушка Авдотья передавала его маме покормить. Костя начинал сосать вяло, неохотно, часто останавливаясь отдыхать, а мама, не отрываясь, смотрела на его личико, причем на губах ее появлялась ласковая улыбка, но глаза были по-прежнему строги и печальны.

Среди дня Ариша убирала все лишнее с покрытого белой салфеткой стула, стоявшего у изголовья больной, и приносила обед. Соня добилась разрешения обедать тут же, сидя у стула на маленькой ножной скамеечке, и это последнее удовольствие окончательно примирило ее с маминой болезнью.

Интересно было разговаривать с акушеркой, прожившей у них несколько дней. Это от нее первой Соня услышала слова, которые потом приходилось слышать довольно часто: «Сынок да дочка – красные детки». При этом папа вздохнул и ответил: «Не осталась бы опять одна дочка».

Акушерка уехала, а на ее месте появился врач, небольшой, плотный, в очках с широкой золотой темной оправой, совсем не таких, как у папы. Соня так занялась им, что совершенно не заметила миссионеров, приехавших через несколько дней. (Лет двадцать спустя один из них, отец Димитрий Александров, ставший к этому времени митрополитом Саратовским, говорил о Косте: «Мы с ним познакомились через две недели после его рождения».)

Папа делил внимание между ними и врачом, хотя сам же настойчиво говорил маме: «Не заботься о них, не беспокойся, слушайся того, что говорит доктор, а мы сами как-нибудь управимся». Но мама все-таки беспокоилась. Она говорила, что без нее Ариша все перепутает, не сумеет ни приготовить, ни подать, и то и дело призывала ее, чтобы уточнить, как делать заливное из рыбы, как тонко раскатывать тесто для пельменей, как расставлять приборы на столе и еще по многим вопросам, волновавшим ее сердце хозяйки. Вот сладкое Ариша так и не могла одна сделать, не только сбить крем, но даже заморозить мороженое; хорошо еще, что успели замариновать вишню и виноград и намочить яблоки по старинному рецепту Юлии Гурьевны, а то было бы совсем неловко перед посторонними. Правда, ближайшие священники, приезжавшие послушать беседы, зная, что матушка больна, не оставались ужинать и прямо

после беседы уезжали домой, но самарские гости жили здесь, и не хотелось перед ними ударить лицом в грязь.

С первых дней жизни Костя проявил с-овское упрямство, как любила говорить Надя, сестра отца Сергея, официально считавшаяся крестной мальчика. Вопреки всем тревогам и предсказаниям, он остался жить, хотя только его родители знали, чего им стоило отбить его у смерти. Евгения Викторовна после болезни потеряла молоко, и ребенка с первого же месяца начали подкармливать, а потом и совсем перевели на искусственное питание, что, конечно, вредно отозвалось на состоянии и без того слабенького ребенка. Его здоровье то немного улучшалось, то опять ухудшалось, и летом родители решили, что его непременно нужно повезти к самарским докторам. Отец Сергей проводил жену с детьми и оставил ее жить в Самаре до тех пор, пока Костя или достаточно не оправится, или умрет. Иногда последнее казалось более вероятным.

1909 г.

Маленьких детей принято хоронить в том, что надевалось на них после крещения. Для худенького тельца Кости длинная крестильная рубашечка была еще впору, головка его, как у всех рахитичных детей, выросла больше нормальной.

Евгения Викторовна, сидя в уютной комнатке, где прошло ее девичество, глотая слезы, опять шила ему чепчик, для похорон, хотя его давно уже держали с открытой головкой.

Занятая горькими мыслями, молодая женщина не слышала звонка, не слышала разговоров в коридоре и очнулась только тогда, когда отворилась дверь в ее комнату.

– Еничка, телеграмма из Острой Луки, – встревоженно сказала Юлия Гурьевна.

В мирном, неторопливом течении тогдашней жизни телеграмма была редким явлением; она всегда говорила о чрезвычайном событии, почти всегда неприятном. Последняя телеграмма, которую больше года тому назад держала в руках Еничка, извещала о смерти Евгения Егоровича. Неудивительно, что у нее дрожали руки, пока она срывала облатку.

«Как Костя? Если плохо, вызывайте, приеду. Сергей». Сверху значилось: «Ответ оплачен, 15 слов». Но отец Сергей не дождался этого ответа, который в селе, далеко отстоящем от телеграфа, мог быть получен не раньше как на третьи сутки. На следующий день он явился сам. Приехавший в Острую Луку погостить к родным священник согласился на некоторое время заменить его, а потом начался осенний съезд, давший возможность прожить в Самаре до тех пор, пока опасность миновала.

Лето, проведенное в Самаре, не прошло для Евгении Викторовны бесполезно. Пользуясь тем временем, когда Косте было лучше и его можно было оставлять с нянькой под верховным надзором бабушки, она окончила школу рукоделия и вернулась домой с дипломом сапожника, с полным набором сапожных инструментов и в туфлях собственной работы. «Семья увеличивается, – рассуждала она, – детям то и дело придется покупать обувь, так лучше чинить и шить ее самим».

Действительно, с этого времени обувь шилась дома. Отец Сергей присмотрелся к работе жены и отобрал у нее часть, требующую большей силы и умения обращаться с молотком и гвоздями: натягивание на колодку и подбивку подошв, предоставив ей шить заготовки. Ботиночки получались несколько грубее магазинных, но лучше, чем могли сделать деревенские сапожники, и, главное, прочные. И все-таки ни одна пара не дождалась того времени, когда их обладатель вырастет из них. «Обувь у них горит, как на огне, словно они не по земле ходят, а по раскаленной плите, – повторяла Евгения Викторовна общую жалобу всех матерей, – особенно у Миши, он изнашивает вдвое больше ботинок, чем Костя». (Это было уже тогда, когда, к некоторой Сониной досаде, про них перестали говорить: «Красные детки»). Впрочем, она утешалась рассуждением, что теперь у них будет два мальчика и одна девочка и, следовательно,

мама будет ее любить больше.) Особенно мучили носочки обуви. Евгения Викторовна делала на них фасонные, словно для украшения, накладки, меняя их по мере того, как они снашивались, но, стоило только немного недоглядеть, как носочки опять белели и в дырки проглядывали заштопанные чулки. Евгении Викторовне много приходилось воевать с подраставшей Соней, чтобы заставить ее держать в порядке чулки и вечно продырявливавшиеся локти. Зато ботинки Соня чинила с удовольствием – все равно, нужно ли было поставить заплатку сбоку ботинка, накладку на носок, подбить подметки или заменить стоптанный до основания каблук. «Ее заплатки за квартал видно», – полусмеясь, полуужасаясь, говорила Евгения Викторовна мужу, но не мешала дочери: пусть приучается, в жизни все пригодится.

Глава 3 Костя капризничает

1909 г.

Костя капризничал. За время болезни он привык, чтобы, укладывая его спать, с ним ходили по комнате, и, поправившись, требовал того же тем настойчивее, чем больше силы появлялось в его легких. Мало того, он становился все требовательнее, ночью он спал только на ходу, стоило положить его в постельку, как он просыпался и снова поднимал крик. Сколько раз Еничка пыталась не обращать на него внимания, но безуспешно. Крик становился все громче, она наконец не выдерживала характера и поднималась.

– Так нельзя, – говорил отец Сергей жене, когда она выходила к чаю осунувшаяся, с красными глазами и вяло, без аппетита жевала завтрак. – Ты изведешься, днем тебе ни за что не дадут отдохнуть как следует. И носить его подолгу тебе теперь нельзя, он уже тяжелый. Да и вообще, нельзя давать ребенку с этих пор брать верх над собой. Если он поймет силу своего крика, с ним вообще сладу не будет.

– Он еще маленький, не понимает, – возражала Евгения Викторовна.

– Не беспокойся, это-то они быстро начинают понимать. Дай я повожусь с ним несколько ночей. Не бойся, справлюсь. Ведь справлялся же я с Соней, когда ее отнимали от груди. У нее тогда были более серьезные причины для слез, и все-таки поплакала и перестала, привыкла. А то появится еще малыш, что ты будешь делать с двоими, если вовремя не призвать этого героя к порядку?

Последнее соображение было, кажется, самым веским. Вечером Костину кроватку придвинули к отцовской. «Герой», плотно накормленный и не подозревавший о состоявшемся заговоре, поспал немного с вечера, потом завозился и закричал. Отец Сергей осторожно освидетельствовал пеленки, проверил мимоходом, правильно ли лежит на подушке головка ребенка и не сбилось ли одеяльце, и опять убрал руку. Костя заплакал громче – никакого результата. Он пустил еще один длинный вопль, на минуту приостановился, чтобы набрать воздуха и прислушаться, – ничего. Тогда пронзительные вопли последовали один за другим почти непрерывно, все усиливаясь, – до того, что от них в ушах звенело и дребезжало. Некогда было больше оставаться и прислушиваться. Костя только торопливо, захлебываясь, глотал воздух и снова кричал, закрыв глаза, напрягаясь всем тельцем. Конечно, он не мог слышать легких шагов подошедшей матери и тихого голоса отца, говорившего: «Иди, Еничка, ляг и не волнуйся, с ним ничего не случится, устанет кричать и уснет. Жалко? И мне жалко, но, если сейчас податься, следующий раз придется начинать все сначала, и он будет кричать еще дольше и отчаяннее, чем сегодня».

Костя бушевал с перерывами чуть не всю ночь. Он то засыпал, то опять просыпался и поднимал громкий плач, хотя уже не такой, как вначале. Только под утро он заснул по-насто-

ящему и проспал гораздо дольше, чем обыкновенно. На следующую ночь концерт повторился, но был уже значительно короче. На третью ночь мальчик снова было заплакал и вдруг, как будто что-то вспомнив, замолчал. Не раз он потребовал было поставить на своем, когда, через несколько дней, его кровать снова перекочевала к кровати матери, однако и эта попытка оказалась безуспешной, и он покорился.

Глава 4 Змей

1910 г.

Был чудный весенний день. Ясное солнце ласковым светом манило к себе все живое: завалинки домов и старые пни на солнечной стороне, словно большими пятнами крови, были покрыты массой красных козявок – «казаков», – на улицах стон стоял от ребячьего крика, а в хо лодке у домов сидели на травке женщины, вязали чулки, сучили шерсть и судачили, наслаждаясь краткой передышкой в тяжелых весенних работах. Синее-синее небо с белыми барашками облаков безмятежно раскинулось над изумрудной муравой площади, еще не испорченной размятым навозом и свежесделанными кизьяками², которые скоро займут добрую четверть ее. Вдоль плетня, примыкавшего к церковной ограде сада, лежали кучи бревен, а около них стояли рядом сразу двое козлов. Мужики попарно, один внизу, другой наверху, на лежащем на козлах бревне, неторопливыми, размеренными движениями дергали то вверх, то вниз большую пилу, и она со своеобразным шорохом вгрызалась в дерево. Этот шорох и легкий смолистый аромат только что распиленного дерева, казалось, еще подчеркивали царящую кругом дремотную тишину.

И все-таки и наверху, и внизу было беспокойно. Целая толпа детворы, от маленьких подружек Сони до тринадцати-четырнадцатилетних старших школьников, окружали батюшку, стоявшего посреди площади.

И все они стояли, подняв головы, и смотрели вверх, где в яркой синеве неба трепетало и кувыркалось что-то белое и откуда доносился ровный шум, напоминающий щелканье трещоток, которыми гоняют птиц в садах. Туда же смотрели, оторвавшись от работы, женщины, и даже стоящие на бревнах мужики тоже на некоторое время приостановились, наблюдая за небом.

Вышла ко двору погреться на солнышко баушка Параня, самая древняя из всех остро-луцких старух. Нет, впрочем, не самая древняя: ее сестра, баушка Шима, была еще старше, обе они остались в селе как живые образцы далекого прошлого. Даже имена их были необычны: их звали так, как они сами называли друг друга и как не звали никого больше в селе. Обыкновенно старух уважительно называли полным именем: баушка Анна, баушка Матрена, баушка Соломонида, и только к очень близким допускалось обращаться с сокращением имени; баушка Маша, баушка Лиза, да и сокращения были самые употребительные – так же звали и молодых женщин и девушек. А родную внучку баушки Шимы, окрещенную в ее честь Евфимией, называли все-таки Фимой, а не Шимой, и все Прасковии в селе именовались Пашами. Была, правда, одна «странная» (нездешняя) старуха не из древних, называвшаяся Проса-баба, что звучало как прозвище, и, кто его знает, может быть, даже обидное. Но ни Шимы, ни Парани больше не было ни в Острой Луке, ни в соседних селах. Недаром молодежь, с каким-то особенным чув-

² Кизьяки – высушенный навоз.

ством, как к разговору выходцев из другого мира, прислушивалась к коротким словам, которыми обменивались сестры, встретившись в воскресенье около церкви:

– Это ты, Паранька?

– Я, я, Шимарка!

– Ну, как живешь?

– Ничего, живу, Шимарка!

– Ну, иди, иди, Паранька!

Была у баушки Парани почти детская слабость: любила старуха сладенькое.

Когда матушке случалось принести в церковь кутью, украшенную разноцветными леденцами, баушка Параня чуть не все их собирала в рот да в платочек, приговаривая: «Это внучку». Матушка уже знала это и брала с собой запас леденцов, чтобы всем поминальщикам хватило.

Вот эта-то баушка Параня заинтересовалась толпой среди площади. Добрела потихоньку, опираясь на палочку, посмотрела вверх, на батюшку, опять вверх – и сказала:

– А ведь это, батюшка, не иначе как оказия³.

– Оказия, баушка, оказия! – весело откликнулся батюшка. – А вот мы ей сейчас письмо пошлем. Он надорвал посредине услужливо поданный кем-то из ребят клочок газеты, надел его на бечевку, и подхваченная ветром бумажка взлетела по бечевке вверх, к самому змею, который, гудя трещоткой и помахивая длинным мочальным хвостом с кисточкой из разноцветных тряпок, парил в высоте.

– Козырнул, козырнул, получил письмо, кланяется, – кричали старшие дети, когда змей, подхваченный порывом ветра, резко метнулся было вниз и опять выровнялся, направляемый умелой рукой, дергавшей веревку. Малыши смотрели на батюшку так, что, предложи он сейчас привязать к веревке и послать наверх любого из них, они не усомнились бы, что он сможет это сделать.

Из дома вышла Евгения Викторовна и подошла к мужу.

– Сережа, неудобно, люди смотрят, – тихо сказала она.

– Ну и пусть смотрят, ничего тут нет неудобного, – отозвался отец Сергей, отбрасывая назад длинные светло-русые волосы.

* * *

Несмотря на то, что Еничка до одиннадцати лет жила в селе, а отец Сергей и родился в городе, у нее было больше городских привычек, чем у него. Может быть, это объяснялось тем, что она с переселения в Самару до назначения учительницей в Васильевку почти не выезжала из города, тогда как Сережа, с тех пор как начал себя помнить, каждое лето проводил в селе, сначала у бабушки Наталья Александровны, а потом у дяди Серапиона Егоровича. Дети обоих братьев, Евгения Егоровича и Серапиона Егоровича, были почти ровесниками, и, как только старшие из них достигли десятилетнего возраста, в семьях установился удобный для всех порядок: зимой учащиеся дети Серапиона Егоровича жили в Самаре у Евгения Егоровича, а в летние каникулы, даже, при возможности, на Рождество и Пасху, вся орава отправлялась в Яблонку к отцу Серапиону.

После того как отец Серапион овдовел, а Сережа женился, вся молодежь, а иногда и старики, летом стали ездить к нему. Но состав гостей с каждым годом менялся. С самого начала к ним присоединились К-вы, Юлия Гурьевна, с троими младшими детьми. Потом умер Евгений Егорович, вышли замуж младшая сестра отца Сергея – Сима и две двоюродные сестры, отец Серапион заленился ездить за сто с лишком верст. Филарет С-в, Санечка и Миша К-вы разъ-

³ «Оказия» на местном наречии означает необыкновенное явление, граничащее с чудесным. – *Авт.*

ехались учиться по разным городам, приезжали в Острую Луку не в одно время и не всегда встречались.

Но кто бы ни приезжал, в доме всегда слышался смех и пение; по вечерам, когда сваливала жара, мужчины играли на площади в клек (городки), в чижик, причем отец Сергей не отставал от других. Позднее выходили женщины, подходили учителя с женами, псаломщик с женой и свояченицей, сторож Арефий; покончив с делами, выходили кухарка и нянька, еще кто-нибудь из соседней молодежи. Играли в горелки, в кошки-мышки, в «макара» и расходились тогда, когда сторож шел звонить полночь.

И везде отец Сергей присутствовал, хотя и не принимал прямого участия; устраивал круг; чтобы он был больше, приносил вожжи, и тогда часть играющих стояла, поддерживая веревку, а не держась за руки; сам стоял с ними, и никому это не казалось странным. А теперь, пока гостей еще не было, он решил повеселить ребят, пускал змея и считал это еще более невинным занятием.

Но змея все-таки пришлось спустить. К отцу Сергию подошел один из его молодых помощников, Григорий Яшагин, и сказал озабоченно:

– Батюшка, пойдем сейчас к Кошигиным, мы их там маленько растравили. Сама тетка Ненила за Петром Ивановичем пошла, а я сюда.

Григорий Яшагин и другие молодые мужики: Николай Собашников, Никита Амелин, Сергей Прохоров – сблизилась с отцом Сергием во время спевок, которые он зимой устраивал в своей квартире. На спевках занимались тем, на что регенты не обращали должного внимания, – гласовым пением, тем, которое называют простым и которое гораздо красивее и молитвеннее многочисленных нотных переложений. При этом отец Сергей, который не мог руководить пением во время службы, добивался, чтобы певчие сразу принимали тон, в котором делался тот или другой возглас, и запевали, не дожидаясь камертона, без досадных «до-ми-соль-до», так искажающих службу и разрушающих создавшееся настроение.

– Батюшка возглас дает, им бы подхватить, а они докают да микают, камертон разогревают, не дождешься, когда запоют, – жаловались на подобные хоры прихожане.

Отцу Сергию со своими не особенно грамотными певчими удалось достичь того, что недоступно многим городским хорам, следующим за камертоном регента «как телок за коркой». Конечно, не обходилось без промахов, случалось, меняя тон или напев, хор разбрехался кто в лес, кто по дрова, даже совсем останавливался, но исключения только подтверждают правила.

Многих привлекали на спевку скрипки и фисгармония отца Сергия, возможность после официальной части послушать еще что-нибудь, не обязательно духовное. Но постепенно там начинали говорить, и не только о пении. После очередного приезда миссионеров молодежь заинтересовалась беседами со старообрядцами, и отец Сергей предложил занятия на эту тему. Изучали историю раскола, вбирали его основные положения и возражения раскольников на беседах, учились говорить и брать инициативу в свои руки. «Нападать всегда легче, чем защищаться, – учил отец Сергей. – Когда вас засыпают вопросами, старайтесь ответить на них ясно, но покороче, а потом переходите в наступление, сами задавайте вопросы, добивайтесь, чтобы на них отвечали и не увиливали». Отец Сергей приводил один-два примера из своей практики и продолжал: «Старообрядцы, да и сектанты тоже, любят задать вопрос из одной темы, потом из другой, из третьей, так что их собеседник разбрасывается на мелочи и ничего цельного не получается. А если им зададут трудный вопрос, стараются ответить на него мельком, не по существу и перескочить на другое. Не допускайте этого, повторяйте вопрос, на который они не ответили, покажите слушателям, что ответ недостаточен, не давайте уклоняться от начатой темы».

Через некоторое время молодые люди, сначала робко, а потом все увереннее начали проявлять свои силы в разговорах с соседями. Такие разговоры отец Сергей ценил чуть ли не

больше настоящих, официальных бесед. Он считал, что последние слишком задевают самолюбие сторон и трудно надеяться убедить людей только этими беседами. Зато они пробуждают интерес к поднятым на них вопросам, после них начинаются разговоры в более спокойной, домашней обстановке, и тут-то можно довести людей до сознания своей неправоты. Такие разговоры часто возникали стихийно (может быть, и не совсем, а после нескольких наводящих слов), когда отец Сергей заходил к кому-нибудь по своим делам – купить дров, заказать новую плетюшку на рыдван и т. п. У его новых помощников, «застрельщиков», как он, шутя, называл их, было больше возможностей для таких встреч. Говорили летом по пути на сенокос, осенью – когда делили землю, зимой – шагая около дровней с хворостом. Если дела не было, его изобретали и, заведя нужный разговор, спорили до тех пор, пока одна из сторон не оказывалась в затруднении. Тогда решали пригласить батюшку и начетчика⁴ того толка, к которому принадлежали хозяева. И очень редко были случаи, чтобы батюшка не пошел, потому что ему некогда, – это дело он считал одним из важнейших.

– О чем говорили? Какие книги брать? – спрашивал отец Сергей, сматывая веревочку змея. – Ну, шпингалеты, – обратился он к малышам, – марш по домам. В другой раз еще запустим.

– Да разные разговоры были, – ответил Григорий, рассеянно следя за быстро мелькающей в руках батюшки палочкой, превращающейся в продолговатый клубок. – Книг пока не надо. Понадобится, так добежим.

Когда отец Сергей со своим спутником подходил к назначенному дому, туда уже набились любители послушать споров о Божественном. Соседи давно заметили, что к Кошигиным зашел Григорий, и, когда он выйдя, зашагал не в сторону дома, а в обратную, по направлению к церкви, а Ненила Кошигина, на ходу поправляя головной платок, заторопилась вдоль по улице, все поняли: будет беседа. Обыкновенно они затевались зимой, в свободные от полевых работ длинные вечера; сегодня был исключительный случай, и тем больше нашлось желающих послушать.

Беседы со старообрядцами носят своеобразный характер. Если молокане⁵, баптисты⁶ и подобные им основывают свои доказательства исключительно на Библии и спорят о почитании святых, об иконах, о том, можно ли участвовать в войнах, то раскольники спорят об исправлении книг при Никоне и об обрядах: на пяти или семи просфорах совершать литургию, двумя или тремя перстами креститься и т. д. Православные признают и те и другие обряды, требуя только подчинения церковной власти, но спорить приходится, приходится доказывать, что опасна не разница обрядов, а отсутствие духовной дисциплины. В связи с этим выдвигается самая серьезная тема – о Церкви. Оправдывая себя за невыполнение многого, что сами считают обязательным, старообрядцы объясняют это тем, что истинная Церковь повреждена антихристом и потому теперь «все порушено».

Свои положения они подтверждают ссылками на различные книги. Библии старообрядцы почти не читают, существует даже мнение, что, прочитав ее «от корки до корки», можно сойти с ума, «зачитаться». Зато они наизусть, с указанием страниц, цитируют Книгу о Вере, Книгу Никона Черногорца, Великий Катехизис, Кормчую и другие книги, и непременно по старым, неисправленным изданиям. Противораскольничьему миссионеру нужно иметь большую начитанность и находчивость, чтобы не дать запутать себя случайными, без связи выдернутыми

⁴ Начетчик – человек, много читавший и обыкновенно умеющий говорить «от Писания». – *Авт.*

⁵ Молокане – русская религиозная секта, получившая распространение в России во второй половине XVIII–XIX в. Молокане отвергают Священное Предание, церковные таинства, церковную иерархию и священство, храмы, иконы. Собираются для пения псалмов, чтения Священного Писания и обсуждения духовных вопросов.

⁶ Баптизм – одно из направлений протестантизма, возникшее в начале XVII в. в Западной Европе. В основе баптизма лежит положение о том, что крещение возможно лишь в сознательном возрасте. Основным авторитетом в религиозной жизни признается Священное Писание. В России баптизм стал распространяться со второй половины XIX в.

фразами, иногда – неправильно истолкованными просто по недостаточному знакомству со славянским языком.

– Нет, Петр Иванович, ошибаешься, – говорил в самый разгар спора отец Сергей, – не может быть такого времени, чтобы истинная Церковь Христова, хотя бы при малом числе людей, не сохранилась на земле во всей чистоте со всеми таинствами и со священным чином. Ведь Сам Христос сказал об этом: «Врата адовы не одолеют ее».

– Врата адовы не одолеют, а еретики одолели, – возражал Петр Иванович, – как же написано: «Многим же еретикам и гонителем одоле Церковь».

Отец Сергей в первый раз слышал этот текст и, утомленный предшествовавшим разговором, не сразу нашел что ответить. Следуя общей в таких случаях тактике – прочитать цитируемое место и понять основную мысль, он переспросил: «Где-где, говоришь, это написано?» – и обратился к помощникам:

– Григорий, Николай, сходите к матушке, принесите эту книгу, да и другие заодно захватите, может быть, понадобятся.

Пока поджидали посланных, говорили кое о чем, напряжение ослабело, спорщики отдыхали. Но отец Сергей не переставал думать о затруднивших его словах. И вдруг его осенило. Догадка оказалась настолько проста, что он чуть не вскрикнул вслух: «Что же это я, славянский язык забыл?» – но сдержался и сказал другое:

– Как, по-твоему, Петр Иванович, какая разница в словах «повеле» и «повелеша»?

– Очень просто, – ответил Петр Иванович, немного удивленный вопросом. – «Повеле» – это когда один, а «повелеша» – много.

– Ну вот, вот, – подхватил отец Сергей, – так и тут, где ты сказал, говорится про одну, про церковь, а не про многих. Если бы говорилось про еретиков, то было бы сказано: «Одолеша». А написано «одоле», значит, не еретики одолели церковь, а она их одолела. – Принесли? – обратился он к вошедшим, раскрасневшимся от быстрой ходьбы и тяжелой ноши помощникам. Книги были солидных размеров, в толстых деревянных, обтянутых кожей переплетках, с медными застежками.

– Ну и хорошо, еще не раз в них заглянем. А сейчас и без них разобрались. Ведь правильно? – повернулся он к слушателям.

– Правильно, правильно, – раздались голоса. Завзятые сторонники Петра Ивановича молчали.

Глава 5 **«Голуби вы, голуби!»**

1910 г.

Долго же в этот вечер пришлось матушке ожидать мужа! Она покормила и уложила детей, а сама села было шить новую рубашечку Косте, потом отложила ее и взялась за книгу, но ни чтение, ни шитье не ладилось. Время от времени она выходила в неосвещенную залу, приподнимала занавеску у окна и напряженно и безрезультатно всматривалась в темноту. Когда наконец послышались знакомые шаги, матушка вышла навстречу недовольная, но отец Сергей, торопливо глотая остывший суп, оживленно рассказывал разные эпизоды беседы, и Евгения Викторовна тоже оживилась и заинтересовалась. Старательно размешивая гречневую кашу, в которой никак не хотело таять масло, она расспрашивала о подробностях, радовалась удачным ответам, волновалась и трепетала, когда отец Сергей рассказывал, как он чуть было не оскандалил. Может быть, они одни только не спали в селе в такое позднее время.

Нет, не только они. Неожиданно на улице против их окон раздалось пение. Своеобразный, тягучий напев духовного стиха, который поют бродячие нищие.

Голуби вы, голуби,
Голуби вы сизьи!
А куда вы, голуби, летали?
А мы летали во Святый Град.

Певцы пели с чуть заметной гнусавинкой, с легким дребезжанием в голосе, но чувствовалось, что голоса молодые, сильные и что певцы владеют ими гораздо лучше, чем это нужно слепым нищим.

– Наши! Миша и Филарет!

Евгения Викторовна вскочила, чтобы бежать отпирать дверь.

– И еще кто-то с ними, – добавил отец Сергей. – Подожди, я через коридор пушу, здесь ближе.

Через полминуты в коридоре загремел тяжелый засов и раздался веселый голос отца Сергея:

– Проходите, проходите, по ночам не подаем! Еничка, посмотри, ворвались какие-то хулиганы, и не выгонишь!

Конечно, это были Филарет и Миша и их товарищ Сашка Архангельский. Но отец Сергей был прав, назвав их хулиганами. В лаптях с неумело намотанными онучами, в косоворотках и деревенских пиджаках, наброшенных на одно плечо, в картузах, лихо заломленных на затылок, а у Филарета сдвинутом чуть не на самые глаза, с растрепанными волосами, котомками за плечами и увесистыми палками в руках, они действительно имели такой вид, что одинокий прохожий, встретившись с ними среди поля, мог почувствовать себя очень неуютно.

– Что это вы так нарядились? – рассмеялась и Евгения Викторовна.

Молодые люди наперебой рассказывали, что они решили пешком пройти по всему уезду, побывать в Высоком, у отца Евгения, брата отца Сергея, и у других более дальних родственников и знакомых.

Эта прогулка, на которую они смотрели как на оригинальное развлечение, едва не причинила им неприятности. Когда они проходили через большое волостное село верстах в двенадцати от Высокого, их задержал урядник, заподозривший в них агитаторов. Им едва удалось добиться, чтобы их показали местному священнику, который бывал у отца Евгения и знал их всех. Под его поручительство молодых людей и отпустили, но дальше они путешествовали уже в своем виде.

Притихший дом оживился, разбудили Агашу. Она, заспанная и веселая, достала из погреба молока и поставила самовар. Наварили яиц и, истребляя импровизированный ужин, говорили, говорили, словно все новости непременно нужно было выложить сегодня. Заботливые хозяйки в соседних домах уже начали просыпаться и посматривать на звезды – не проспаться бы, не опоздать выгнать овец, – когда гости наконец успокоились на широкой кошме в предбаннике. А на восходе солнца они уже были на ногах: захватили фотоаппарат, хранившиеся на мазанке Мишины удочки (замечательные удочки, с бамбуковыми удилищами и пробковыми поплавами) и отправились на Чагру – купаться и удить.

Соня в это утро тоже поднялась раньше обыкновенного, по крайней мере ей так показалось, потому что мама и Агаша спали. Она не могла понять – во сне или в действительности она слышала голоса дядей. Девочка осторожно оделась, крадучись вышла из спальни. От этого народа можно ожидать всяких проказ, прежде всего, они могут где-нибудь спрятаться и выскочить, когда она не ожидает, или выкинуть еще какую-нибудь штуку. Но теперь у нее есть шансы перехитрить противника: никто не подозревает, что она встала, а она тут как тут.

Сначала ей как будто повезло: в уголке прихожей стояли пыльные котомки. «Большие, а не догадались мешки спрятать», – про себя посмеивалась Соня, уверенная, что гости прячутся от нее, и продолжала поиски. Она обошла все сараи, заглянула в каретник и на погребницу, постояла около конюшни, прислушиваясь, не раздастся ли с сеновала приглушенный смех, и вернулась разочарованная. Гости успели-таки исчезнуть.

Они явились только к чаю, да и то с опозданием. Вернулись голодные, без рыбы, но довольные прогулкой. Едва позавтракав, Филарет с Астраханским забрали из стола отца Сергея фотореактивы и лампочку с красным стеклом и, посмеиваясь, отправились в темный чулан проявлять сделанные снимки. Через некоторое время Филарет торжественно показал еще влажный негатив:

– Рекомендую вашему вниманию знаменитого рыболова!

На негативе струилась неширокая река, поднимался сажени на две обрывистый берег, сверху поросший тальником. Песчаная площадка около самой воды привлекла бы внимание любого удильщика. Он и был там: в воду закинуто несколько удочек, рядом стоит маленькое ведерко для рыбы, а сам Миша мирно спит, свернувшись калачиком и прикрывшись фуражкой от бьющих в глаза солнечных лучей.

Глава 6 Пешком

1910 г.

С увеличением семьи молодые супруги начали задумываться о будущем. Острая Лука – село небольшое, к тому же на третью часть зараженное расколом, одно из тех сел, в которых священнику для поддержания сносного существования давался двойной земельный надел, но и этого было мало. Правда, пока доходов хватало, но вот дети подрастут, будут учиться, нужно будет одевать их, платить за обучение, за книги, чаще ездить в город, – тогда будет трудно, нужно к тому времени найти дополнительные средства к жизни. И отец Сергей снова вспомнил про пчел. Вернее, он не забывал их никогда, в его огороде, как раньше в Царевщине, каждый год стояли один-два улья, но это было занятие между делом, а теперь следовало поставить все на более широкую ногу – обзавестись медогонкой, разным недостающим инвентарем, ульями и рамками в достаточном количестве, постепенно увеличить пасеку и добиться того, чтобы она стала доходной. Весной 1909 года, когда Косте было полгода, а еще через полгода ожидался Миша, отец Сергей довел пасеку до двадцати пяти ульев. Целая куча липовых колод, в течение нескольких лет медленно превращавшаяся в труху в углу двора, показывала, сколько трудов и затрат требовалось для этого.

Отец Сергей покупал в соседних селах пчел в колодных ульях, перегонял их в рамочные, соединял, чтобы были сильнее, по две-три семьи в одну, подкармливал сахаром, выписывал с Кавказа породистых маток.

Когда с лугов сошла вода и попросохли дороги, он договорился со стариком-пчеловодом Евдокимом Лукьяновичем, и они вместе вывезли своих пчел версты за четыре от села, в займище, где буйно цвел терн и что ни дальше, то сильнее расцветали травы. Пчельник разместили на полянке недалеко от маленького озерца, питаемого родничком, а небольшая караулка с плетеными стенами прижалась около самых зарослей терновника, напоминая сказочную Сиреневую рощу: как там, так и тут невозможно было удержаться и не сорвать цветущей ветки, а когда она была сорвана, рядом оказывалась другая, еще пышнее и красивее, дальше – третья и т. д., до тех пор, пока в руках не оказывался громадный ворох цветов, платье было порвано, а лицо исцарапано. Конечно, пропасть совсем, как в Сиреневой роще, здесь было невозможно,

но все-таки человек, не привыкший ориентироваться в лесу, мог сбиться с дороги и попасть в довольно неприятное положение. Поэтому Евгения Викторовна, когда они всей семьей приезжали на пчельник, не отпускала от себя Соню и сама старалась держаться поближе к полянке. Так было и весной, и летом, когда кусты были осыпаны целыми вязущими, но тем не менее привлекательными ягодами. Матушка с Соней и приезжими из Самары гостями гуляли, рвали цвет, пили чай с терном и только что вынутым медом и возвращались, вполне довольные прогулкой. Сам отец Сергей бывал на пчельнике гораздо чаще, чаще пешком, чем на лошади, и оставался подолгу, выполняя необходимые работы и приучая к ним компаньона.

– Ведь он как ведет пчеловодное хозяйство, – говорил отец Сергей. – Конечно, не как при Адаме, а как при Ное. Когда после потопа Ной посадил виноградник, там у него, конечно, были и пчелы, и знал он о них немного больше, чем Адам. Вот и Евдоким Лукьянович хозяйничает, как Ной.

И все-таки на этого «Ноя» пришлось бросить пасеку надолго и в самый ответственный момент. Когда болезнь Кости раньше времени погнала отца Сергия в Самару, он надеялся, что вернется достаточно рано и успеет подготовить пчел к зиме. Но епархиальный съезд, на который он выбирался бессменным депутатом в течение нескольких лет, в этом году затянулся, и вернулся отец Сергей только тогда, когда ульи стояли в зимовке. Это оказалось роковым. Его неопытный заместитель немного пожадничал, отбирая осенью мед, оставив на зиму слишком маленький запас, и в результате весной отцу Сергию из двадцати пяти ульев едва удалось собрать три жизнеспособных – остальные погибли от голода.

Три улья были поставлены на огороде, куда выходили окна кухни, покупка и перегонка пчел из колод возобновилась, а караулку в лесу забросили. Только в половине лета отец Сергей, вспомнив, что там остались необходимые ножи и еще кое-что из местного инвентаря, решил сходить за ними. И тут-то вступилась пятилетняя Соня и предъявила свои требования:

- Папа, возьми меня с собой!
- Куда ты, я пешком пойду.
- Все равно, возьми!

* * *

Отец Сергей горячо любил детей и, едва они начали подрастать, таскал их с собой везде, где было можно. Если он ехал куда-нибудь в поле, из-за бортов его брички непременно выглядывало несколько детских головенок – свои дети и их приятели.

– Батюшка, продаешь горшки? – спрашивали встречные.

– Непродажные, непроданные! – наперебой кричали «горшки», но отец Сергей иногда начинал торговаться.

«Покупатели» осматривали «горшки», стучали пальцами по лбу и затылку, чтобы определить, не худой ли, находили где-нибудь дырку и отказывались. Это было и весело, и немного жутко. Правда, Миша первые годы не выдерживал долго. Он засыпал иногда еще в селе, а Соне и Косте приходилось вдвоем отбиваться от нападения.

По мере того как дети подрастали, поездки для них становились все интереснее. Кроме удовольствия от самого процесса езды и от новых картин природы можно еще было поддержать кнут или кончик вожжей; потом на ровных пустынных участках дороги вожжи совсем переходили в руки одного из молодых кучеров по очереди, а то и сразу двоим: одному правая вожжа, другому левая. Отцу оставалось только умерять нетерпение третьего, временно оставшегося не у дел, делать методические указания молодым кучерам и быть готовым каждую минуту взять инициативу (то есть вожжи) в свои руки. Но такие секунды становились все реже и реже. Правда, и лошадей отец Сергей старался приобретать самых спокойных.

Пешие прогулки, по большей части с бреднем, на озера, к омутам небольшой речки Чагры, а то и на Волгу, берег которой находился по прямому направлению, верстах в шестивосьми от села, отец Сергей долгое время де лал один, то есть с компаньонами, но без детей. Иногда он ходил и совсем один, изучал, какие растения и на каком расстоянии от дома охотнее посещают пчелы. Для этого он массаами окрашивал их в какой-нибудь яркий цвет, а потом ходил и смотрел, где больше видно окрашенных пчел, и, если располагал свободным временем, готов был бродить по займищу целый день. Домой он возвращался уже к вечеру, измученный, довольный, с новыми замыслами, которые так легко рождались и обдумывались наедине с природой, и непременно с целым венником полевых цветов, вырванных часто вместе с корнями.

– Это я от жены откупался, – смеялся он впоследствии, вспоминая об этих цветах. – Запоздаю, чувствую, что она беспокоится и пилить будет, надергаю побольше цветов, она и растает, и гроза минует.

Но, кажется, собирая цветы, на что тоже требовалось немало времени, он думал не только об удовольствии, которое доставит Еничке его подарок (и, конечно, не о «грозе»). Ему и самому нравилось это занятие, иначе он не стал бы, чуть не ползком, исследовать непролазные чащи кустарников с еще голыми после недавнего половодья нижними ветками, в надежде найти притаившийся в самой глубине темно-лиловый ирис. Он приносил немало и их, и других нечасто встречающихся цветов, а для быстро вянущих водяных лилий даже приносил в маленьком ведерке их родной болотной воды с илом.

– Как много! – ахала матушка, когда он весело вручал ей всю охапку, и опасно косилась на приставшие к корням комья земли и на длинные мокрые трубчатые стебли водяных лилий. – Сережа, неужели нельзя было рвать цветы, а не дергать с корнями?

– Не выходит. Заберу их в горсть, хочу сорвать, а они выдергиваются. По одному? Да сколько же времени понадобится, чтобы собрать такой букет по одному цветку? И нести неудобно, и не знаю я, какой длины рвать. Обрезай сама, как хочешь!

Еничка отбирала лучшие цветы, вазочки на фисгармонии и на трюмо, наливала воды в пару банок из-под варенья, в которые едва можно было втиснуть остальные. Соня приносила ножницы, и они усаживались на высоком крыльце во дворе делать букеты.

А один раз в самой большой банке поселилась целая коллекция моллюсков – речных перловиц. Дети вместе с отцом, а иногда и с матерью, наблюдали, как они то лежали, полузарывшись в насыпанный на дно песок, то, выставив между створок белый отросток – «ногу», медленно передвигались, оставляя на песке извилистую дорожку, то, просто приоткрыв створки, «дышали», забирая и выталкивая воду. Иногда кто-нибудь из наблюдателей пропускал в щель между створками соломинку и щекотал белевшее там тело моллюска – перловица «чихала», выпустив фонтанчик воды, и быстро, прищемив соломинку, захлопывала створки.

* * *

Отцовская любовь к долгим прогулкам передалась и детям. В одиннадцать-двенадцать лет они уже бродили, в одиночку или со сверстниками, по лесу и полям. Еничка сначала немного беспокоилась, но она и сама выросла в селе, среди природы, и муж настаивал на предоставлении детям самостоятельности. Поэтому она ничего не возражала, даже если эти путешествия происходили в осеннюю или весеннюю ростепель и дети приходи ли мокрые выше колен, с полными галошами жидкой грязи, перемешанной со снегом. В этих случаях она только требовала, чтобы, возвратившись, дети надевали сухую обувь, мыли грязную, а мокрые чулки полоскали и клали сушить в горячую печурку.

Но это было уже порядочно спустя, их самостоятельность развивалась постепенно, начинаясь с недалеких прогулок по селу в сопровождении матери или отца. Со временем у отца Сергея выработался опыт в обращении с детьми и довольно правильное представление об их

физических силах. Тогда же, когда Соня с детской самоуверенностью говорила: «Пойду с тобой пешком», – этого опыта еще не было. Наоборот, как большинство молодых отцов (ему еще не исполнилось двадцати восьми лет), всегда желающих, чтобы их дети поскорее росли, он склонен был переоценивать ее силы. Поэтому он не отказал ей категорически, а вступил в переговоры:

– А на руки не будешь проситься? Ты уже большая, тебя нести тяжело, да у меня и руки будут заняты.

– Не буду проситься, пойду сама.

– Ну так давай у мамы спросим!

– Неужели ты серьезно хочешь взять ее с собой, Сережа? – удивилась матушка. – Измучишься!

– Она обещает не проситься на руки, – повторил отец Сергей самый сильный аргумент.

– Да, обещаю. Мамочка, пусти! – просила и девочка.

– Ну, что с вами поделаешь, оба вы, наверное, немного с ума сошли. Соне еще прости-тельно, она маленькая, а ты...

– А мне, может быть, и сходить-то не с чего, – весело отпарировал муж. – Ну, Соня, где твой платок, тащи его сюда, мама сейчас даст нам на дорогу чего-нибудь поесть, и пойдем. Живо!

Дорога оказалась труднее, чем думала девочка. Солнце припекало довольно сильно, маленьким ножкам нужно было сделать очень много шагов еще в селе и еще гораздо больше по лугам, прежде чем они добрались до поросшей травой дороги среди кустарника, тоже плохо защищавшего от полуденного солнца. Сначала Соня не замечала трудностей. Ее внимание привлекали то пестрые цветы, колышущиеся в траве, то не менее пестрая бабочка или бирюзовое коромысло⁷, то внезапно выпорхнувшая из травы птичка, то мохнатый шмель, с низким гудением перелетавший с цветка на цветок. Однако постепенно все это надоело, и все сильнее начинала чувствоваться и жара, и усталость, и жажда. Об усталости приходилось молчать, хотя шаги становились все меньше и медленнее и под конец ноги совсем заплетались. Впрочем, девочка надеялась, что папа ничего не замечает, и держалась, насколько возможно, стойко. Другое дело жажда. Тут уговора не было, а солнце жгло, а вдоль дороги тянулось узкое, поросшее осокой болотце, на середине которого соблазнительно поблескивала вода. Но достать ее было невозможно; берега и дно болотца покрывал вязкий ил, в котором тонули ноги и чистая на вид вода мутилась гораздо дальше, чем можно было достать рукой. Да и что пользы, если бы отец Сергей даже сумел достать эту воду? Сам-то он еще мог бы напиться, но Соне в пригоршне воды не натаскаться. До караулки ли тут, со всем, что в ней еще оставалось! Прежде нужно найти воду, которую можно пить!

– погоди, Соня, вот тут, недалеко от пчельника, был родничок. Евдоким брал из него воду, – вспомнил отец Сергей, раздвинув густые заросли терновника, вышел на маленькую полянку. Увы, родничка не было. Во время половодья его затянуло песком.

Отец Сергей немного постоял в задумчивости. Соня сидела под кустом недалеко от него, и по ее покрасневшемуся пыльному личику и запекшимся губкам было видно, что, если эта последняя надежда изменит, она не выдержит и расплачется. «Другого ничего не придумаешь, придется рыть колодезь», – сказал он ей.

Колодезь! Соня даже про усталость забыла и, перебравшись поближе к отцу, с интересом наблюдала, как он взрыхлял перочинным ножом влажную землю в ямке и выгребал ее руками. Земля постепенно становилась все мокрее и мокрее. Некоторое время отец Сергей выбрасывал из довольно глубокой уже ямы сантиметров тридцать в диаметре только жидкую грязь, наконец встал и вытер руки о траву.

⁷ Коромысло синее – крупная стрекоза.

– Теперь нужно подождать, пока вода устоится. А мы пока пойдем и поищем, чем же мы будем пить, – предложил он дочери.

Дети быстро утомляются, но и быстро отдыхают, особенно если их внимание привлекло что-нибудь интересное. Бродить по кустам Соня отправилась так, словно и не было только что пройденных четырех верст. Им повезло. Скоро отец Сергей сунул руку в кучу нанесенного половодьем мусора и достал оттуда длинное прямое корневище с утолщением, в мужской кулак величиной, на конце. В середине утолщения была небольшая ямка – дупло, а когда отец Сергей очистил его ножом и обрезал мешавшие кругом сучки и корни, у них оказался прекрасный черпак, точно длинная тонкая рука со сложенной горсточкой ладонью. Правда, там помещалось всего два-три глотка воды, но в том ли дело! Зато пить ее необыкновенно приятно.

А потом папа придумал другое, и опять очень интересное. Оказалось, что во время возни с колодцем он потерял ключ от караулки, и ему пришлось выдирать маленькое, слабо укрепленное в плетеной стенке оконце и лезть внутрь через окно, словно разбойнику. А Соня сидела около на траве и смеялась. В караулке папа нашел кусок клеенки, которой покрывают ульи, и, свернув ее фунтиком, опять доставал воду, на этот раз много, и они опять пили, и закусывали, и еще пили на дорогу, хотя Соня, если бы была ее воля, не ушла бы отсюда до самого вечера. Она была так поглощена всеми этими событиями, что даже не заметила, взял ли папа из караулки еще что-нибудь, кроме клеенки. Зато хорошо запомнилось, что палку с черпаком на конце он взял, и шел, опираясь на нее, и говорил, что так идти гораздо легче. Он и Соне вырезал палочку по ее росту и учил, как нужно опираться и шагать шире и ровнее. Это был первый из уроков ходьбы, которые ей потом такгодились.

Кажется, на обратном пути они несколько раз отдыхали, но это неважно; Соня строго исполняла свое обещание и не жаловалась на усталость, а если папа сам садился, это его дело. Войдя во двор, папа мимоходом бросил свою палку на кучу полусгнивших колодных ульев и, не останавливаясь, прошел в дом. Соня бросила свою туда же, хотя ей пришлось подойти для этого гораздо ближе, и медленным ровным шагом отправилась следом за отцом. В этот момент она сознавала себя почти что взрослой.

Глава 7 Трудное лето

Тяжело досталось Евгении Викторовне лето 1910 года. К хлопотам, связанным с приходом многочисленных родственников, она привыкла, считала их в порядке вещей и не тяготилась ими. Но среди лета вдруг заболела Соня. У нее началось рожистое воспаление на ноге, и девочка, весной бодро путешествовавшая с отцом на пчельник, лежала как пласт на постели или сидела, положив больную ногу на подушку, крича и плача при всякой попытке вытянуть ее.

Выздоровев, она разучилась ходить и долгое время только быстро-быстро ползала на четвереньках из комнаты в сени, на кухню, на крыльцо и с удовольствием поползла бы и по двору, если бы за ней не следили и не переносили на большую кучу песка, где копался маленький Костя. В самый разгар ее болезни захворал и Костя: на шейке за ухом у него образовался большой нарыв. Мальчик плакал от боли дни и ночи, пока приехавший фельдшер не вскрыл гнойник. Истомившийся ребенок уснул, не дождавшись конца перевязки, но матери отдыхать было некогда. Даже имея няnek, нелегко справиться с тремя детьми, из которых ни один не ходит. Слабенький, рахитичный Костя начал ходить только почти с двух лет, одновременно с Мишей, бывшим моложе его на тринадцать месяцев, и всю жизнь отставал от него в физическом развитии.

В таких условиях особенно обременительными являлись, если можно так выразиться, «официальные» гости, и, казалось, что они приезжали особенно часто.

То заедет благочинный проверить ведение прихода-расходных и метрических книг и летописи, то епархиальный наблюдатель над церковно-приходскими школами, то еще кто-нибудь. Ближе к осени в Острой Луке состоялся окружной съезд духовенства. Этот съезд назначался ежегодно, по очереди в одном из двадцати с лишним сел округа, и, как нарочно, именно в этом году очередь пала на Острую Луку.

Не успели забыть о суете, связанной с кормлением двадцати малознакомых гостей, как почта принесла новое известие: едут миссионеры, чтобы провести в селе серию бесед.

«Еничка даже заплакала, когда услышала об этом, – писал в своем дневнике отец Сергей. – Так она измучилась за лето. Я советовал ей не хлопотать особенно, а готовить то, что обыкновенно готовится для себя, но она и слышать не хочет».

Такой разговор поднимался уже не в первый раз, и однажды, когда отец Сергей посоветовал подавать гостям то же, что и себе: щи так щи, кашу так кашу, – одна соседняя матушка возразила с неудовольствием: «Щи и кашу мы и дома едим, а в гостях хочется чего-нибудь повкуснее». Потому-то Евгения Викторовна и волновалась. Муж посоветовал ей пригласить побольше помощников. Но и сам понимал, что все эти помощники только для черной работы, а основное в таких случаях хозяйка всегда возьмет на себя, но чем же еще он мог помочь?

Ехали новый епархиальный миссионер отец Сергей Пряхин и его помощник Лев Иванович Донсков. Их противником должен быть известный на всю Россию беспоповский⁸ начетчик Фома Лаврович Кулаков. Все знавшие Пряхина и прежнего миссионера, отца Димитрия Александрова, единогласно подтверждали, что Александров имел гораздо больше знаний и, пожалуй, был красноречивее Пряхина, но его речь отличалась книжными оборотами и была суховата, а Пряхин не вдавался в большие глубины, говорил проще, живее, понятнее для своих простых слушателей; его любили слушать. Донскова мало кто знал, но говорили, что в этом отношении он идет еще дальше Пряхина. Церковь, где происходили беседы, никогда не пустовала, а в этом году она просто ломилась от желавших послушать беседы.

Как и всегда, на амвоне стоял стол для очередного оратора и скамья для духовенства; кроме хозяина и миссионеров, были еще несколько приезжих из соседних сел, все в парадном виде, в рясах, с крестами на груди. Фома Лаврович Кулаков, человек лет сорока пяти, сугубо раскольничьего вида, с подстриженными в кружок волосами и в тончайшего сукна поддевке, сидел со своими приверженцами и помощниками на ближайшей к амвону скамье, перед которой ему был поставлен еще другой стол, заваленный привезенными им старопечатными книгами. Но Фома Лаврович надеялся не столько на эти книги, сколько на свою смекалку и острый язычок. Он в совершенстве владел искусством раскольничьих начетчиков запутывать неопытных собеседников в дебрях схоластических споров. С более опытными, отмахнувшись, как от несущественного, от всех опасных вопросов, он напирал на излюбленные старообрядцами мелочи: имя Христово исказили, пишут Иисус вместо Исус, «щепотью» крестятся, табак курят; ловко играл острыми и язвительными словечками. Одной из любимых его фраз было: «Прежде разбойников вешали, а теперь кресты повесили на разбойников». Его сторонники поддерживали его одобрительным гулом, а то и гоготом.

На этот раз одним из основных аргументов Кулакова были две картинки, изображающие священников за совершением литургии. В этих картинках, до подробностей сходных между собой, была, однако, громадная для старообрядцев разница: один из священников служил на семи просфорах и крестился двуперсто, а другой – на пяти и складывал для крестного знамения три пальца. Соответственно с этим на первой картинке священника благословлял ангел, а на второй – сзади его стоял дьявол. Вскользь ответив на положения открывавшего беседу

⁸ Беспоповство – одно из основных направлений старообрядчества, возникло в конце XVII в. Отсутствие в расколе архиереев привело со временем к прекращению священства. Не признавая священников, переходящих из Православия, и считая, что наступили последние времена, беспоповцы живут без священства и большинства таинств.

Пряхина, Фома Лаврович долго, со смаком демонстрировал и объяснял слушателям обе картинки и наконец сел, под довольное перешептывание своих сторонников. К ораторскому столу, не торопясь, подошел Лев Иванович Донсков. В мешковатом пиджачке, со спокойными, неторопливыми движениями, он производил впечатление мужичка-вахлачка и не внушал опасений противникам. Как оказалось, он, как и Кулаков, не имел намерения углубляться в старые писания.

– Фома Лаврович, дай-ка мне картинки-то, – медленно и внятно произнес он, протягивая руку.

Как и Кулаков, он высоко поднял картинку, чтобы всем было видно, и начал не спеша разбирать их.

– Хорошие картинки, очень хорошие, – мягким, певучим голосом, напирая на «о», говорил он, поглядывая то на одну, то на другую. – Только не пойму я, что ты тут, Фома Лаврович, нашел обидного для Православной Церкви. На этой вот картинке священник крестится тремя пальцами. Три пальца сложил вместе в честь Святой Троицы, а два пригнул в знак двух естеств у Иисуса – Божественного и человеческого. Очень хорошо! Так и мы крестимся. А на этой картинке он два перста поднял, а три пригнул, – вид другой, а значение то же самое. У нас и так многие крестятся, мы никому не запрещаем, кто как привык. А у вас, Фома Лаврович, как священник крестится? – вдруг спросил он.

Фома Лаврович немного опустил голову и не ответил. Беспоповцы потому так и называются, что не имеют священников, и, следовательно, у них не совершается и литургия.

– Теперь на этой картинке, – продолжал Донсков, – священник совершает службу на семи просфорах, в знак чудесного насыщения четырех тысяч людей семью хлебами. И у нас так служат в единоверческих⁹ церквях. Вот отец Андрей так служит, и крестится двуперстно, – указал он на отца Андрея Букашкина, единоверческого священника из соседнего села Теликовка. – А здесь – служат на пяти просфорах в честь другого чуда, когда Спаситель пятью хлебами пять тысяч мужей насытил. Тоже чудо, да еще больше. Там на четыре тысячи семь хлебов, тут пять на пять тысяч. Поэтому мы, православные, на пяти хлебах и служим. И на той картинке ангел благословляет – понятно! А на этой диавол – не может к святыне приступить и трепещет. Тоже хорошо! А у вас, Фома Лаврович, на скольких просфорах служат? Фома Лаврович, да что же ты не отвечаешь? Где же ты, Фома Лаврович? Не вижу! Фо-о-ма Ла-авры-ыч! (Кстати, впоследствии Кулаков перешел к беглопоповцам и разъезжал по беседам уже от их имени. Там ему не приходилось отвечать хоть на этот тяжелый вопрос.)

Беседа еще заканчивалась, когда ближайший сосед и кум отца Сергия отец Григорий Смирнов вышел из церкви и пошел к квартире С-вых. Отец Григорий, как и полагалось по его фамилии, держался всегда ровно и спо койно, в приходе никаких новшеств не заводил, на съездах не горячился, на выборные должности не выдвигался – и все-таки слыл беспокойным. Может быть, потому, что высказывался хоть редко, да едко, попадая своими острыми замечаниями кому хотел не в бровь, а в глаз. Например, года два назад, получивши, правда, с большим опозданием против возможного минимального срока (три года) вторую священническую награду – скуфью, он, в присутствии благочинного, сумел так высказать свое мнение о произволе в представлениях к наградам, что благочинный обиделся и, пока служил, не представлял строптивного батюшку к следующей награде.

Все знавшие его, особенно отец Сергей, любили рассказывать о его маленьком, но характерном столкновении с мадам Маттэрн, женой земского начальника, квартира которого находилась в том же волостном селе Березовая Лука, где служил отец Григорий. Случилось это осенью, в день начала ученья в школах. Отец Григорий, по обыкновению, ровно в восемь часов

⁹ Единоверие – вид воссоединения русских старообрядцев-раскольников с Православной Церковью, предполагающий подчинение православному архиерею при сохранении старого обряда.

утра отслужил молебен перед началом ученья в церковной школе и пришел в земскую, попечительницей которой считалась первая дама волости, мадам Маттэрн. Там также все уже собрались, и ученики с родителями, и учителя, не было только попечительницы. Подождав с полчаса, решили послать к ней, напомнить. Посланный вернулся с лаконическим ответом: спала, скоро встанет и придет. Через новые полчаса послали вторично. Ответ получился уже раздраженный: она же сказала, чтобы подождали, что она скоро будет. Подождали еще полчаса, еще лишние десять минут; ребятишки истомились, взрослые тоже, и решили начать молебен. Мадам Маттэрн явилась разряженная, со своими гостями, когда дети уже сидели на партах, ожидая начала уроков, а отец Григорий, взяв шляпу и палку, направлялся к выходу. Волостная гранддама недовольно поморщила носик и ядовито осведомилась, почему не потрудились подождать ее, ведь она говорила, что придет. Отец Григорий довольно спокойно возразил, что ее ждали час сорок минут, что дети устали ждать, а их родители не могли терять целый рабочий день в эту еще горячую рабочую пору. Мадам Маттэрн слушала его полуотвернувшись и рассматривая в лорнет какую-то неизвестную точку на стене, потом, также вполборота, презрительно бросила:

– Свинья останется свиньей!

– И будет заставлять ждать себя час сорок минут, – громко и отдельно отчеканил отец Григорий, подчеркивая каждый слог ударом об пол своей тяжелой палки. Потом повернулся и вышел, не слушая раздавшегося сзади истерического визга.

Маттэрн потом грозил, что добьется неприятностей для дерзкого священника, ездил к архиерею, но дело кончилось ничем, только матушка поволновалась, а за батюшкой окончательно утвердилась репутация беспокойного.

Когда отец Григорий, войдя в прихожую С-вых и сняв шляпу, расчесывал свои волнистые, слегка рыжеватые волосы, из столовой доносился звон расставляемой к ужину посуды и плачущий голосок Кости, жалующегося матери:

– Мимика, паника!

– Что это у вас за зашифрованные разговоры? – спросил отец Григорий, здороваясь с хозяйкой. – Что за паника? Кажется, наоборот, все очень спокойно. И при чем тут мимика?

– «Мимика» – это значит «Мишенька», – ответила Евгения Викторовна, вытирая заплаканное личико Кости, – «паника» – просто «пряник». Миша, ведь я тебе дала печенье, зачем же ты отнимаешь у Кости? Отдай!

Миша недовольно засопел, протянул ручонку и покорно отдал награбленное. Отец Григорий обернулся к нему:

– Что это ты воюешь, крестник? А я думал, что ты умный, привез тебе конфетку. Не будешь больше обижать Костю?

Миша отрицательно мотнул головой и потянулся за подарком. «Дай и Косте попробовать», – сказала матушка, помогая ему снять бумажку, и Миша, засопев, на этот раз от усердия, ткнул конфетку прямо в рот брата. На улице раздались голоса и шаги. Возвращались с беседы.

Ужинали с аппетитом, оживленно обсуждая различные моменты беседы. Только отец Андрей Букашкин после супа недовольно окинул взглядом разноцветные бутылки с водами и почти обиженно спросил:

– Что же, и по этому случаю ничего покрепче не полагается?

– Ни по этому, ни по какому другому, – отозвался отец Сергей, а Евгения Викторовна наморщила свой чистый белый лоб и слегка сдвинула темные, словно нарисованные, брови. Она слышала подобные замечания еще в детстве, при жизни отца, тоже никогда не имевшего в доме крепких напитков, но никогда не могла привыкнуть к такой бесцеремонности.

Отцу Андрею пришлось смириться. Поддерживая непомерно широкий рукав рясы, он потянулся к блюду, положил себе на тарелку кусок заливного поросенка и запил нежное, тающее во рту мясо сначала вишневым, а потом апельсиновым соусом.

– Противораскольничья миссия у нас в епархии поставлена хорошо, – говорил в это время отец Владимир Аристовский, самый дальний из гостей, приехавший за пятнадцать верст из степного села Брыковка. – У вас есть и опыт, и люди для бесед. А нам, имеющим дело с сектантами, приходится брести ощупью, самим добывать для себя материал и вырабатывать тактику. Совершенно не у кого поучиться.

– Тактика у нас тоже у каждого своя, – ответил ему Пряхин, расправляя усы и осторожно подкладывая на тарелку новую порцию горчицы. – Сравните, как говорит Александров, или вот наш новый сотрудник Лев Иванович, или Кургаев, которого вы, наверное, тоже знаете, ведь он почти из этих мест. У каждого свое, и у каждого находятся ценители, которым его манера особенно нравится. И материал каждый подбирает сам. Правда, теперь у нас имеется книжечка Александрова, которой мы пользуемся как пособием, но ведь она просто объединяет материал его прежних бесед. Попробуйте-ка вы поработать столько, сколько он, да запишите, что было интересного в каждой беседе, и посмотрите, может быть, еще лучше получится.

Ему откликнулось сразу несколько голосов. Пряхин всегда удивительно умел одним словом заечь людей, возбудить в них желание работать. Особенно испытывал это на себе отец Сергей, к которому, как к интересующемуся миссией, Пряхин часто приезжал проводить беседы.

– Хорошо вам говорить, – наконец ухитрился вставить слово Аристовский. – Мы-то когда еще что напишем или нет, а время идет. Отец Димитрий потому и книжечку написал, что всей душой делу отдавался, да и новые ваши, по-моему, тоже такие... хоть и не полагается в глаза хвалить, – шутливо обернулся он к Пряхину, – да мне вы не начальство. А наш Михаил Маркович, что греха таить, леноват. Все ссылается, что у нас практическая подготовка есть, в семинарии беседы с молоканами проводили. Да ведь когда проводили-то! Только при архимандрите Вениамине¹⁰ со слепым молоканином-начетчиком беседовали... как его... забыл...

– Это который архимандрита-то экзаменовал, сколько в Евангелии глав, – засмеялся отец Евлампий, высокий, худой батюшка с козлиной бородкой.

– Как так?

– А вот так, не знаете? А вот отец Сергей знает.

– Знаю, присутствовал, – улыбнулся хозяин. – Да уж рассказывайте! – Вот-вот, и я присутствовал, сам вопросы задавал, – продолжал отец Евлампий. – Все мы, семинаристы, после беседы обступили старика и задаем вопросы, один то, другой другое. И Вениамин тут же: заметит, что семинаристы что-то упустили, и сам вопрос задаст, а немного погодя еще... да еще... да все по самым слабым местам бьет. Старик его голос приметил, думал, что это тоже семинарист, хотел его осрамить да и прицепился к нему:

– Что ты все лезешь? Много ли сам-то знаешь? Ну-ка, скажи, в Евангелии от Марка сколько глав?

– Шестнадцать.

– А от Иоанна?

– Двадцать одна.

– А от Матфея?

– Двадцать восемь.

– Ну, ладно, это-то ты знаешь.

Вениамин (Казанский, 1873–1922), митрополит Петроградский и Гдовский. Арестован в 1922 г. в ходе кампании по изъятию церковных ценностей и расстрелян. Прославлен в 1992 г. в лике новомучеников.

– Дедушка! – говорим мы потом. – Ты знаешь, кого ты спрашивал? Ведь это ректор. – Да ну? Что же вы мне тогда не сказали. Поохотали мы тогда.

¹⁰ Впоследствии митрополит Петроградский. – *Авт.*

– Подождите-ка, отец Владимир, – остановил отец Сергей Аристовского, заметив, что тот поднялся, собираясь уезжать. – Что это за Гавриша у вас там завелся? Наши женщины что-то о нем много толковать начали. А мне он подозрителен.

– И мне тоже, – ответил отец Владимир, снова садясь. – И ведь он не только появился, а давно у нас, гораздо раньше меня. Я его и так и этак прошупывал – не поддается. В церковь ходит аккуратнее всех. Крест кладет не хуже Муромца, по-писаному, а поклон кладет поученому. Посмотреть издали – самый добропорядочный прихожанин. А по кое-каким мелочам чувствую – самый настоящий хлыст¹¹. Эти хлысты ведь тем и отличаются, что церковные обряды выполняют, чтобы их не подозревали. А не придерешься, изворотливый, как уж. Собрания у него какие-то. И из других сел приезжают. Вот видите, и до ваших добрался. Спрашивал я этих собиральщиков, говорят, ничего особенного, Писание им объясняет, канты поют. А как объясняет и что поют, толком рассказать не сумели. Да и то сказать – если их только увлекают, им хлысты и самим лишнего не покажут, все будет только «от Писания». А если они много знают, то связаны всякими клятвами и ничего не скажут. Вы за своими хорошенько следите. Ну, прощайте, отцы! Вам хорошо, недалеко ехать, а моему Карему придется потрудиться.

Глава 8 Искушения

– Ах!

Нужно же было матушке, собираясь в гости, бросить на комод футляр от брошки! Нужно же было черноглазой бойкой Варе найти его и принести туда, где сидели Соня и вторая нянька Анюта! Если бы футляр не лежал на виду, много спокойнее было бы на душе у девочек в этот вечер. Рассматриванием футляра занялись все, даже тихая Анюта не вытерпела и повертела его в руках. Осмотрели внутри и снаружи, потрогали запор, закрыли... а открыть не смогли. Старшие девочки неудачно попробовали несколько раз, потом Анюта протянула футляр Соне:

– Соня, открой!

Соне не хотелось признаться, что она не знает, как взяться за дело. Она неловко подергала крышку, просунула сначала ноготок, а потом и весь пальчик в увеличившуюся щелку в уголке.

– Сильнее! – поощрила Варя.

И вот тут-то дружное «ах!» вырвалось у всех трех: крышка открылась, и тоненькая проволочка со звоном упала на стол. Белая атласная обивка крышки некрасиво оттопырилась.

– Ах, Соня, что ты наделала!

Соня-то Соня, а все-таки у обеих старших девочек было беспокойно на душе. Им самим было ясно, что они, четырнадцатилетние, должны были бы удерживать пятилетнюю Соню, а не подбивать ее на шалость. Попытались исправить дело. Кому-то удалось вставить проволочку на старое место так, чтобы она не вываливалась сразу. Футляр осторожно отнесли на комод.

– Может быть, матушка не заметит! Но она заметила. Утром Соня вдруг услышала давно ожидаемый и все-таки как будто неожиданный вопрос:

– Соня, ты не знаешь, кто сломал футляр от брошки?

Если бы не было вчерашних волнений и попыток скрыть «преступление», вырвавшихся его в Сониных глазах во что-то чудовищное и перепутавших ее маленькие нравственные понятия, она, вероятно, хоть и с тяжелым сердцем, созналась бы. Но теперь она вспыхнула, зачем-то закурила уголок настольной клеенки и неожиданно для себя ответила, глядя в дальний угол:

– Варя.

¹¹ Хлысты – религиозная секта (название от обряда самобичевания), возникшая в России в конце XVII в. Считают возможным прямое общение со «святым духом» через его воплощение в праведниках. Не признают священства, но допускают посещение православных богослужений.

Мама как-то странно посмотрела на нее и ничего не сказала. Она возобновила разговор уже после обеда, когда сидела в своем уголке у стола и штопала чулки, а Соня пристроилась около нее с рисованием. На этот раз вопрос прозвучал действительно неожиданно:

– Так кто же сломал футляр?

Случайно или намеренно, мама задала этот вопрос, когда Варя мыла пол в столовой. Соня покраснела еще сильнее, чем в первый раз, и ответила чуть слышно:

– Анюта.

– Анюта? – переспросила мама. – А в прошлый раз ты сказала: Варя. Так кто же все-таки? Варя или Анюта? Или, может быть, еще кто?

Соня молчала. Мама подождала несколько времени и переспросила настойчиво: «Ну, я жду?»

Молчание продолжалось долго, так долго, что Варя, что-то очень усердно вымывавшая грязь изо всех щелочек под столом, вынуждена была кончить и уйти. И во все время мама не отрывала от девочки пытливого взгляда. Потом еще раз, еще настойчивее, повторила:

– Долго я буду ждать?

Казалось, невозможно было покраснеть больше, но теперь лицо Сони сделалось пунцовым. Она еще ниже опустила голову и прошептала: «Варя».

– Опять Варя? А не Анюта?

– Нет, Варя. Она принесла коробочку, а Анюта...

– Что Анюта? Молчание...

– Хуже всего тут, – заговорила опять мама, и голос ее задрожал, – хуже всего, что ты обманываешь. Ведь ты прекрасно знаешь, что я не накажу тебя, если ты сознаешься в том, что сделала. А ты обманываешь, да еще сваливаешь вину на других. Хуже этого уж и придумать ничего нельзя. Я никогда бы не подумала, что ты можешь так сделать. И мне очень грустно.

И мама заплакала.

– Mamочка, прости, я больше не буду...

Стандартная фраза, которую столько раз повторяет каждый ребенок и так часто немедленно же забывает. Но сейчас в голосе девочки звучала безусловная искренность.

– Что не будешь? – спросила Евгения Викторовна.

– Обманывать... и вот так говорить.

Евгения Викторовна подняла за подбородок заплаканное личико и заглянула в глаза дочурки:

– Кто же сломал коробочку?

– Я... – Крупные слезы, покотившиеся из глаз Сони, заслонили весь мир, и она не видела, что у мамы слезы совершенно высохли. Нет, не высохли, ресницы были еще мокрые, но серые глаза ее уже сияли счастьем.

– Вот так и надо было сразу сказать. Ведь ты же понимаешь, что я всегда узнаю, если ты говоришь неправду.

(В сознании Сони это воспринималось так, что мама все знает и от нее ничего не скроешь.) Никогда нельзя обманывать. Разве тебе было бы приятно, если бы я побранила Варю за то, что сделала ты?

– Не-ет!

– Ну, хорошо. Теперь перестань плакать, поцелуй меня, и так договоримся, что ты всегда будешь говорить правду.

* * *

К сумеркам все было забыто. Евгения Викторовна сидела за работой и тихонько напевала несильным, мягким голоском:

В хижину бедную, Богом хранимую,
Скоро ль опять возвращусь.
Скоро ли мать расцелую родимую,
С добрым отцом обоймусь...
...Сколько, ко всякому горю привычная,
Мать моя слез пролила!
Если б отсюда она, горемычная.
Речь мою слышать могла.
Я б закричала, пускай не печалится,
Жизнь для меня не страшна.
Милая матушка, дочь твоя счастлива,
Крепко любима она.

Евгения Викторовна стеснялась петь при посторонних и при муже, но за работой, наедине (дети не считались), пела охотно. Некоторые вещи из своего репертуара она любила за красивую мелодию, другие за легкость исполнения, но «Хижину бедную» запевала только тогда, когда была в хорошем настроении. Последние строки, которые она повторяла два раза, звучали как выражение ее собственных чувств.

Соня сидела в уголке со своими делами и внимательно посматривала на мать. Наконец встала и, подойдя к Евгении Викторовне, облокотилась на ее колени:

– Мама, ты ведь меня простила?

– Простила, – прервав пение, ответила та.

– Совсем, совсем простила?

– Ну, конечно, совсем. В чем дело, лисанька?

– Расскажи стихи!

– Какие?

– Ну, всякие... и про дядюшку Якова, и про Ермила, и про этого, которого мальчик обманул.

– Про Бэду?

– Да, про него.

Соня пододвинула стул вплотную к маминому и приготовилась слушать. Евгения Викторовна заговорила:

Был вечер. В одежде, измятой ветрами,
Пустынной тропой шел Бэда слепой.
На мальчика он опирался рукой,
По камням ступая босыми ногами.
И было все глухо и дико кругом;
Одни только сосны росли вековые.
Одни только скалы торчали седые,
Косматым и влажным покрытые мхом.
Но мальчик устал: ягод свежих отведать,
Иль просто слепца он хотел обмануть...
– Старик, – он сказал, – я пойду отдохнуть,
А ты, если хочешь, начни проповедать.
С вершин увидали тебя пастухи,
Какие-то старцы стоят у дороги.
Вот жены с детьми... Говори им о Боге,

О Сыне, Распятом за наши грехи.
И старца лицо просияло мгновенно,
Как ключ, пробивающий каменный слой,
Из уст его бледных живою волной
Высокая речь потекла вдохновенно.
Без веры таких не бывает речей,
Казалось, слепцу в славе небо являлось.
Дрожащая к небу рука поднималась,
И слезы текли из потухших очей.
Но вот уж померкла заря золотая,
И месяца луч бледный в горы проник.
В ущелье повеяла сырость ночная;
И вот, проповедавая, слышит старик.
Зовет его мальчик, смеясь и толкая:
– Довольно, пойдем, никого уже нет!
Замолк грустно старец, главой поникая.
И только замолк, как от края до края
– Аминь! – ему грянули камни в ответ.

– Мама, камни его пожалели? – спросила Соня. – Мне этого старичка жалко. А мальчик плохой, зачем он его обманул?

– Да, видишь, как получается, мальчик даже и не подумал, что выйдет. Он только хотел поесть ягод, а старик ему поверил, а потом огорчился: он думал, что люди здесь правда были и ушли, не захотели его слушать. Вот как плохо обманывать! Соня спрянула личико в шаль мамы.

– Расскажи лучше про дядюшку Якова, – дипломатично попросила она.

Едва ли кто из читателей Некрасова полагает, что «Дядюшка Яков» наводит на печальные мысли, но с Соней было не так. Во-первых, она немного жалела Кузю, которому так хотелось и жаль было съесть пряничного коня, а во-вторых, грустно было слушать о сиротке Феклуше. С приближением момента, когда Феклуша грустно смотрела на жующих лакомства детей, Соня потихоньку спускалась под стол, место, где так хорошо уединяться со своими горестями. Слезины на глазах Феклуши при виде книжек тоже побуждали ее сползать со стула, но она сдерживалась, жадно ожидая благополучного окончания.

Дело дошло и до Ермилы Гирина, когда в зале, где работал отец Сергей, послышался приятный голосок Анюты:

– Батюшка, к тебе какие-то пришли. Не нашенские.

– А кто все-таки?

– Мужики какие-то. Откуда, не сказываются, а видать, кулугуры¹².

– Ну, зови.

Вошли три человека, уже немолодые, в которых действительно сразу же можно было узнать старообрядцев, притом или очень строгих, или специально приодевшихся для посещения. Они были одеты так, как большинство одевается только собираясь в моленную¹³: синие суконные поддевки со множеством мелких сборок на талии и такие же шаровары, заправленные в сапоги. Подстриженные в кружок волосы и окладистые бороды были тщательно приглажены. Они быстро оглядели комнату, задержав взгляд на иконах, но не перекрестились, как православные, и не подошли под благословение, а чинно и степенно поклонились в пояс.

¹² Старообрядцы. – Авт.

¹³ Моленная – у старообрядцев: помещение без алтаря для молитвы и совершения богослужения.

– Доброго здоровья, Сергей Евгениевич! – сказал один из них, намеренно не называя отца Сергия батюшкой.

– Здравствуйте. Садитесь.

С той же подчеркнутой степенностью гости взяли стулья и уселись поближе к столу. На обычный вопрос: «Что скажете?» – не заговорили о деле, а начали беседу об осеннем урожае, о том, когда встала Волга, какая в поле дорога. Попутно выяснилось, что гости приехали из Федоровки, большого села на правом берегу Волги, прямо против Острой Луки. Отец Сергей с любопытством следил за посетителями: дело должно было быть серьезным и щекотливым, если начиналось с таких длинных предварительных переговоров, но деревенский этикет запрещал торопить гостя.

– А небогато вы живете, Сергей Евгениевич, – как будто мельком ввернул один из посетителей. – Хватает, – коротко ответил отец Сергей.

– Как хватает! Хватать-то может по-разному, – поддержал товарища второй.

– И с хлеба на квас люди перебиваются – хватает, а другие имеют все, что душе угодно. Мы своего духовного отца не так содержим. Тут тебе и балычок первосортный, и черная икорка, и диван бархатный, и ковры. Матушка бесперечь в шелковых сарафанах ходит. – Это какой же ваш духовный отец?

– Да вот отец Симиен был у нас в Хвалыне... По проезжающему священству мы¹⁴.

– Недавно преставился. Разговор опять перешел на пустяки. – Мы о вас, Сергей Евгениевич, давно наслышаны, – снова начал тот, который заметно верховодил в разговоре. – Много хорошего о вас слышали.

– Что же хорошего видят старообрядцы в православном священнике?

– Как что? Службу правите не торопясь, по Уставу. Не пьете, табаком не занимаетесь. Кормчую книгу дониконовскую и другие старые книги хорошо знаете. Отец Сергей с недоумением взглянул на гостя. Что, собственно, им нужно? Не имея сейчас «духовного отца», приехали посоветоваться о допустимости какого-нибудь брака, как иногда делали соседние беспоповцы? Могли бы найти советчика поближе. Хотят предложить беседу с новым начетчиком? Зачем же так долго ходить вокруг да около?

– Собрались мы, как отец Симиен преставился, – как будто без связи продолжал гость, – и поручили нам старики поездить, поискать нового духовного отца. Вот мы и приехали...

– Что-о?!

– Предложить вам...

Отец Сергей резко повернулся на стуле. Его лицо залила густая, темная краска.

– Что же вы думаете, я за ваши диваны да балычки Христа продам?

– Напрасно вы такие слова говорите, Сергей Евгениевич. Христос – Он и у нас Христос. А насчет крестного знамения и насчет просфор вы сами сколько раз на беседах говорили, что можно и по-нашему молиться.

– Об этом говорил, конечно. Но и о том говорил, что вне Церкви нет спасения и что Церковь не может быть без правильно поставленного епископа. Что вы, гоняясь за мелочами, нарушили самое главное, единство церковное, отказались от послушания Церкви, забыв, что послушание паче поста и молитвы.

Теперь вступились все трое; завязался один из тех споров, которые так часто приходилось вести отцу Сергию. Только теперь острие спора было направлено на вопрос, может ли священник, не теряя благодати священства и чистоты совести, перейти в беглопоповство. А время от

¹⁴ Беглопоповцы, или, как они себя называют, «по проезжающему священству», не имея собственных архиереев, за большие деньги сманивали с приходов православных священников и прекрасно обеспечивали их, так как среди державшихся этого толка в Хвалынске, как и в других местах, были богатые купцы. Такой священник, разумеется, оставлял приход тайно – «бежал» и большую часть времени разъезжал по своим новым прихожанам, так как решающихся продать свою совесть всегда было немного, и «приходы» их занимали большие территории. Отсюда и происходят оба названия. – *Авт.*

времени то один, то другой из спорщиков вставлял в богословский спор маленькое, коварное замечание о материальных благах, которыми пользуются их «духовные отцы». Если бы не это, отец Сергей, может быть, по обыкновению, увлекся бы и беседа затянулась бы надолго. Но сейчас было противно даже спорить.

– Вот что! – сказал он после одного из таких намеков. – Я, может быть, и пошел бы к вам, если бы с ума сошел или спился, но не иначе.

– Избави Бог, – сказал старообрядец и перекрестился. – Нам тоже таких не надо. Вот Андрей Петрович Букашкин из Теликовки, из благословленной¹⁵ церкви, вроде по обряду и ближе к нам, а мы к нему не поехали: водочкой балуется.

– А трезвые да честные к вам не пойдут!

Обе последние фразы отца Сергия были сказаны так, что всем стало ясно: разговор окончен. Посетители поднялись и стали прощаться.

– Простите, Христа ради! – сказал вожак.

Это была обычная по всей губернии, а пожалуй, чуть ли не во всей сельской России формула прощания, но отец Сергей ответил на нее по существу.

– Прощать ради Христа можно личные обиды, – сказал он, – а тем, кто ходит и соблазняет людей на отступничество, не простится ни в сем веке, ни в будущем!

Несколько времени спустя по округу распространилась поразившая всех новость: Букашкин¹⁶ ушел в беглые.

Один из его прежних прихожан побывал даже у него на новом месте. «Матушка-то в будни в шелковом сарафане вышла, – рассказывал он. – Чудно на нее глядеть, в сарафане-то».

Шелковые сарафаны сыграли-таки свою роль.

Глава 9 У двора

Вечером, когда солнце спускалось ниже колокольни и жара спадала, матушка выходила «ко двору» – посидеть на скамейке около палисадника. Скамейка была большая – целая широкая половая доска, положенная на такие же массивные, чуть не аршин в диаметре, обрубки дерева, но, случалось, и ее не хватало, опоздавшим приходилось размещаться на травке. Покончив домашние работы, подходили соседки, кто с вязаньем, кто с семечками, степенно выплывала кухарка, сбегались дети. Год за годом повторялись эти вечерние сборища. Сидела здесь Евгения Викторовна и в 1906 году, еще совсем юной матерью, вместе со свекром Евгением Егоровичем, любуясь первыми шагами Сони. Сидела и в 1918 году, тревожно наблюдая, как золотистый закат превращается в багровое зарево пожара – горит подожженное снарядами соседнее село Теликовка. В багровое пятно зарева врезаются острые языки пламени, поднимаются клубы дыма, и всем сидящим кажется, что они слышат треск падающих домов и крик людей.

До восемнадцатого года вечера, большею частью, были спокойны. Шли годы, выросла молодежь, подрастали дети, менялись соседи, сослуживцы отца Сергия, а матушка все выходила по вечерам на скамеечку и разговаривала с соседками, не замечая, что и темы их разговоров тоже меняются, взрослеют.

¹⁵ Благословленная – единоверческая. – *Авт.*

¹⁶ Интересно, что единственный продавший свою совесть священник носил фамилию, которая может показаться нарочито выдуманной для отрицательного персонажа, – Вшивцев. Я было заменила ее, но и менять нельзя: другие-то все – под своими именами. – *Авт.*

В первые годы, когда приезжала из города молодежь, сидели недолго; на поросшей зеленой муравкой площади начинались игры: горелки, кошки-мышки, больше всего любили «макара».

Потом молодежь стала появляться реже: те на практике, те на кондиции, того тянет к невесте, те вышли замуж. И Евгению Викторовну уже не тянуло вмешаться в игру. Она с удовольствием сидела и наблюдала, как играют завладевшие площадью дети. Их собиралось вечером человек до двадцати, а то и больше. Как и раньше, отец Сергей выносил длинную веревку, часть играющих стояла, только поддерживая ее, а не держась за руки, в таком громадном кругу интереснее было бегать. Евгения Викторовна и ее собеседницы подходили посмотреть, когда в круг выходила самая интересная пара: четырехлетний Миша и его младшая подружка Катька Морозова. Им завязывали глаза, и они, почему-то пригнувшись, ходили по кругу. «Макар, Макар, где ты?» – особенно тоненьким голоском спрашивал Миша и, растопырив руки, торопился, часто совсем не в ту сторону, куда нужно. «Вот я!» – еще тоньше откликнулась Катька, клубочком мелькая по кругу, пока не натыкалась на преследователя. Их приветствовали смехом и поощрительными возгласами.

Потом и дети вступили в такой возраст, когда хотелось бегать по всей площади, и не только по площади, но и между прилегающими рядами амбаров и на кладбище, где у многих из них появились родные могилки. Но в любом возрасте было приятно подсесть к взрослым, послушать их разговор, поддаться влиянию тихого вечера. В любом возрасте и в любой год, так же, как и тогда, когда Мише было всего полтора года и он, свернувшись клубочком, дремал на коленях у матери, а Костя и Соня, которой кончался шестой год, сидели и наблюдали.

Возвращаются с поля и из дальних садов запоздалые труженики, обмениваются приветствиями с сидящими. Солнце, большое и красное, опускается, распространяя кругом все удлиняющиеся и удлиняющиеся лучи и наконец скрывается где-то за Волгой, за ее высоким правым берегом. Небо переливается тончайшими оттенками красок от ярко-золотого и пунцового до нежно-розового и золотисто-бирюзового. На этом фоне резко выделяются темные заволжские горы, а на самом высоком месте горы, как раз перед глазами, чернеет ветряная мельница; она совсем крошечная, но видна так отчетливо, что иногда можно заметить, как вертятся ее крылья. По ту сторону площади зеленеет примыкающий к ограде сад бабушки Матрены, а в ограде белеет церковь. Впрочем, она теперь не белая, а розовая и золотая, а стекла в окнах сверкают так, что больно смотреть. Около колокольни тихо реют голуби и снуют галки. Раздается чистый, звучный удар колокола; галки с возмущенными криками целой стаей срываются с крыши и кружат около колокольни.

Пригоняют стадо. Хозяйки уходят доить коров, потом снова возвращаются. Закат постепенно бледнеет, и на светло-янтарном небе загорается яркая вечерняя звезда, за ней другие. Иногда откуда-то выплывает темная туча, в которую время от времени вспыхивают молнии, то яркие и острые, от которых туча становится точно еще темнее, то скрытые, будто за рампой театра, – от таких туча вся мягко освещается. Глухо погромыхивает гром, и от этого делается словно еще уютнее.

Но что бы ни делалось на небе, земля занята своим. Сильнее начинают благоухать цветы. В саду робко пробует силы соловей, ему ответил другой, в яблонях около кладбища, потом третий... Кое-где, сначала так же робко, как соловьи, а потом все смелее и смелее запевают девушки. На озере, куда выходят огороды ограничивающей площадью улицы, квакают лягушки. Они то немного стихают, точно аккомпанируя или прислушиваясь к руладам очередной искусницы, выводящей пронзительную трель, то вдруг поднимают такой шум, что заглушают тихие голоса людей, а в это время хочется говорить только тихо.

Когда сумерки сгущаются, на стойку¹⁷, расположенную на краю площади, рядом со школой, взбирается «стойщик» и, устроившись поудобнее, выстукивает палкой по деревянным сплошным перилам. Стучит четко, красиво, ловко работая обоими концами недлинной палки, которую держит за середину. Не хуже барабанщика в оркестре из разнообразных ночных звуков. Он так и будет стучать всю ночь, чтобы люди знали, что он бодрствует, когда они спят, а спать под его стук так же приятно, как под шум дождя или вот под неугомонное кваканье лягушек...

Компания постепенно редет. Женщины расходятся по домам и уводят детей.

– Пора ужинать, – говорит наконец и Евгения Викторовна.

Глава 10 Кузьма

1911 г.

Во время ужина пришел гость – Кузьма Ливочкин.

Кузьма был еще довольно молодой чернобородый мужик. Пожалуй, его можно было бы назвать красивым, если бы не неприятно бегающие глаза и судорожно подергивающиеся пальцы. Кузьма страдал эпилепсией. Он не был так близок к отцу Сергию, как Николай Собашников, Никита Амелин или Сергей Прохоров, но пел на клиросе и заходил к бабушке домой достаточно часто для того, чтобы его позднее посещение никого не удивило.

– А, Кузьма! Присаживайся к столу, будем ужинать, – приветствовал гостя отец Сергей.

Магушка подвинула ближе к себе высокий стульчик, на котором сидел Костя, старательно вылавливавший пальцами клецки из блюдечка с супом. Соня тоже подвинулась ближе к брату (маленький Миша уже спал), и между ней и отцом образовалось свободное место. Кузьма отрицательно покачал головой.

– Нет, спаси Христос, не хочу, сейчас поужинал. – Кузьма сел в углу стола так, чтобы быть недалеко от отца Сергия и в то же время вроде и не за столом.

– А я к тебе, бабушка, пришел от Писания поговорить. Спросить кой о чем нужно.

– Ну, говори, что за затруднения?

Кузьма задал несколько незначительных вопросов. Вошла кухарка Агаша, принесла жареную картошку и взяла миску с супом. Кузьма немного помолчал, потом заговорил снова.

– Вот тут еще насчет моего имени удивительное дело. Где пишут «Кузьма», а где «Косьма», а где «Косьмы».

– Ничего удивительного нет, – сказал отец Сергей, накладывая в тарелку пропитанную сметаной картошку. – Кузьма – это по-русски, Косьма – по-славянски, а Косьмы...

Кузьма вдруг поднялся, с треском отодвинул стул. Его глаза сделались сумасшедшими, бледные щеки подергивались.

– Как нет ничего удивительного! – закричал он. – Я тебе покажу, как нет удивительного!

– Успокойся, Кузьма! – Отец Сергей тоже начал было подниматься, но Кузьма с криком «Я тебе покажу» бросился к нему и снова повалил на стул, стараясь схватить за горло. Длинные волосы священника помешали ему, Кузьма с бешенством отдернул их. В это время отец Сергей схватил его снизу за руки.

Отцу Сергию было двадцать восемь лет. Он был хотя слабее Кузьмы, однако достаточно силен, чтобы сопротивляться. Но Кузьма застал его врасплох и прижал в тесный угол между

¹⁷ Пожарную каланчу. – *Авт.*

двумя стенами и столом в самой неудобной позе. Все-таки он боролся, не допуская руки противника до своей шеи. «Только бы не догадался схватить со стола нож или вилку», – думал он.

При первом угрожающем движении Кузьмы матушка вскочила с места. «Соня, беги!» – крикнула она и сама, схватив Костю, выбежала так стремительно, что детский стульчик потащился за ней и отлетел только на середине залы. Вихрем ворвавшись в кухню, матушка крикнула:

– Кузьма душит батюшку. Агаша, беги за народом. Варя, Надя, займитесь с детьми. Запритесь на крючок!

Прекрасный день сменился такой же прекрасной ночью. Тонкий серп месяца, спустившийся ниже колокольни, почти к самому горизонту, освещал все слабым, бледным светом, не поглощающим мерцание звезд. От обильно смоченной росой травы на площади пахло свежестью; легкий ветерок доносил с лугов аромат цветов и чуть заметный запах сырости. В садах по-прежнему робко щелкали несмелые соловьи, зато еще громче и самозабвеннее, чем раньше, словно стараясь перекричать од на другую, квакали лягушки, а вдали редко и размеренно ухала выпь. В разных концах села девические голоса выводили песни; издали пение казалось стройным и красивым, под стать лунной весенней ночи. Четкая, искусная дробь стойщика вплеталась в ночные звуки и казалась такой же необходимой в этой мирной обстановке, как кваканье лягушек и песни девушек.

И вдруг тишину нарушил дикий крик. Через полминуты другой, на этот раз женский, голос пронзительно и испуганно закричал: «Караул!» Это, распахнув окно из залы на улицу, с неизвестно откуда взявшейся силой кричала тихая, никогда не возвышающая голоса матушка.

Первым прибежал ближайший сосед, диакон. Схватив на всякий случай железный шкворень, которым запирались ворота, он вбежал во двор, чуть не налетев на только что выскочившую Агашу.

– Что там такое? – глухим, хриловатым баском спросил он. На улице слышались встревоженные мужские голоса. Раздались шаги на крыльце. Еще раз хлопнула калитка. Кузьма неожиданно оставил отца Сергия и глубоко вздохнул.

– Батюшка, я хотел попросить тебя, сыграй мне «Херувимскую», – сказал он.

Когда подоспевший на помощь народ вбежал в дом, растрепанный, запыхавшийся отец Сергий сидел за фисгармонией и играл «Херувимскую», а такой же запыхавшийся Кузьма стоял у двери в столовую и казался совершенно спокойным. Только пальцы его подергивались сильнее, чем обычно.

* * *

Около семи лет Кузьма Бешеный служил постоянной угрозой для отца Сергия и причиной постоянных тревог Евгении Викторовны. В первые годы отец Сергий пытался было добиться помещения Кузьмы в сумасшедший дом. Он посылал подтвержденные показаниями свидетелей ходатайства, хранил даже, в качестве вещественного доказательства, большой комок волос, вырванных у него во время борьбы, но безуспешно. Припадки буйства, следовавшие непосредственно за эпилептическими припадками, быстро проходили, и, когда родственники довозили Кузьму до Самары, он был уже вполне нормальным, и в психбольницу его не принимали. Благодаря кратковременности этих приступов, некоторые подозревали Кузьму в притворстве, но те, кто хоть раз видел его в это время и кто пробовал бороться с ним, – не сомневались, что тут не симуляция, а действительные кратковременные припадки сумасшествия с определенной манией – убить батюшку. Приходя в себя, Кузьма и сам страдал от этого и не раз, встретив отца Сергия на улице, просил у него прощения. Никто не мешал в таких случаях их разговору, никто не слышал, о чем они говорят, остановившись среди дороги, но на улице сразу же появлялись кучки мужиков. Они рассаживались на лавочках и бревнах около

ближайших домов, останавливались, разговаривая между собой, и рассеивались только тогда, когда Кузьма и отец Сергей благополучно расходились. Нельзя было предусмотреть времени наступления припадков; иногда между ними проходил довольно значительный промежуток, иногда они следовали один за другим. Поэтому дом отца Сергия все время находился как бы на осадном положении. С детьми нельзя было всегда запира́ть двери, но калитка постоянно запира́лась, и от нее – небывалое дело в селе – через двор к сеним тянулась проволока звонка. Детей и их приятелей, целыми днями сновавших взад-вперед, это не затрудняло: они ныряли то в высокую подворотню, то в специально для них сделанную щель между досками сарая. (Сарай выходил стеной на задний двор, и щель не бросалась в глаза лишним людям. Да и ширина ее была вполне достаточна для подростка, но слишком узка для взрослого.)

Подрости немного, Соня и Миша стали пренебрегать этими, слишком примитивными средствами сообщения и предпочитали перебираться прямо через крышу сарая: сначала на стоящий у сарая рыдван, плетюшку, кучу хвороста или несколько косо приставленных жердей, оттуда на крышу, а с крыши на высокий плетень заднего двора. Прежний выход, через щель и приоткрытые плетеные ворота на огород, оставался в распоряжении Кости, слабые руки которого лет до десяти или одиннадцати не позволяли ему взбираться на крышу. Да и после это было ему нелегко.

Случалось, спокойный период затягивался. Тогда бдительность не только детей, но и взрослых ослабевала и калитка иногда стояла отворенной. Поэтому лишь только у Кузьмы начинался эпилептический припадок, его жена, тоже жившая в постоянной тревоге и за других, и за себя, оповещала соседей, и кто-нибудь бежал предупредить «батюшкиных». По пути предупреждали всех встречных, кое-кому стучали под окно, и, лишь только Кузьма выходил из дому и направлялся к площади, его перенимали, уговаривали или связывали, смотря по его состоянию. Случалось даже, если он чересчур буйствовал, запирали в жегулевку – маленький бревенчатый сарайчик около пожарки, предназначенный для случайных нарушителей общественного спокойствия.

Однажды, когда припадок бешенства был особенно силен, Кузьма ухитрился сбежать из жегулевки. Он подкопался под стенку и с ножом в руках забрался в подворотню на двор батюшки. Находившиеся в доме пережили неприятные минуты, когда их отделяло от вооруженного сумасшедшего только оконное стекло. Неизвестно, почему Кузьма не разбил его, может быть, потому, что на колокольне уже били всполох и к запертым воротам сбежалась целая толпа. Нападающий сам оказался в положении осажденного, но взять его было нельзя; не лезть же на его глазах в подворотню. После долгих попыток уговорить его сдаться добром, в то время, когда толпа, отвлекая его внимание, продолжала переговоры, двое здоровых парней перелезли через сарай в недоступном его взгляду уголке за кухней и, неожиданно набросившись сзади, вырвали у него нож. После того толпа хлынула в отпертые ворота, и продолжавший отчаянно сопротивляться Кузьма был смят и связан.

Приступы буйства продолжались до весны 1918 года, когда Кузьма, по обещанию, сходил пешком за сто двадцать верст к явленной Родниковской иконе Божией Матери. По возвращении его эпилептические припадки не прекратились, но после них он делался слабым, разбитым, даже глуповатым и совершенно перестал быть опасным для окружающих. Еще через несколько лет он опять начал после припадков ходить по людям, чаще всего к своему прежнему товарищу – певчому, Никите Ивановичу Амелину, но к этому времени прозвище «Бешеный» и вызвавшие его поступки почти забылись. На Кузьму смотрели уж как на смешного и надоедливого болтуна, у которого «не все дома».

Глава 11 Ураган

1910 г. Пасха 18/IV или 1913 г. Пасха 14/IV

В деревенской хронологии, отмечающей время не годами, а событиями, 1913 год запомнился по пронесшемуся весной урагану. Ветер, все усиливаясь, дул в течение нескольких дней и на второй или третий день Пасхи достиг наибольшей силы. Никогда во время сильных бур нов так бешено не стучали и не скрипели ставни, не гнулись и не шатались деревья, только недавно покрывшиеся молодой листвой. Сколько было оторвано веток, сколько поломано деревьев и в лесу, и в садах! Шум ветра будил даже детей, а взрослые то беспокойно дремали, то опять поднимались, заглядывая в темные окна и прислушиваясь к тому, что творилось снаружи.

Ураган разметывал стога прошлогодней соломы на гумнах, срывал крыши с домов, далеко унося оторванные доски; на окраине села подняло со столбов вновь выстроенную избу, под которую не успели подвести фундамент, и целиком поставило ее рядом на землю.

Начиналось половодье. Волжская вода, заполнившая русло маленькой речки Чагры и разлившаяся по лугам, клочкотала и пенилась. Волны далеко захлестывали покрытую молодой травой равнину и с шумом и ревом обрушивались на преграждавшую им путь острую косу, давшую название селу «Острая Лука». В более широкой, южной части косы еще продолжалась одна из улиц, вернее, начиналась, так как село основывалось именно здесь, на косе. Ближе к северу от улицы оставался только один «порядок», перерезанная дорогой лужайка перед окнами и крутой обрыв до самой воды. Еще севернее домов уже не было. Там, на клочке земли, соединенном с селом узким перешейком, в разгаре половодья скрывавшимся под водой, сохранились только гумна да остатки двух-трех садов. Каждую весну вода подтачивала косу, подмывая ее берега и с особенной силой обрушиваясь на маленький островок, но ни один год она не принимала столько разрушений, как в этот раз, объединившись с ураганом.

Но было одно место, где стихии бушевали еще яростней. Это там, около деревни Дураковки, ближние дома которой виднелись по ту сторону Чагры примерно в версте от косы, а дальние отделялись от соседнего села Березовая Лука только Чагрой да узкой полоской берега. Да и то этот поросший репьями низменный берег был только со стороны Березовой Луки. Со стороны Дураковки окаймленная тальником Чагра проходила прямо под крутым берегом, на котором стояли дома. Летом в этом месте в Чагре было воробью по колено, дети переходили ее вброд, зато в разгар половодья едва виднелись верхушки высоких осокорей, группами, по три-пять штук, разбросанных по низине, а от крутых яров, обрывавших улицы обоих сел, оставалась только узкая кромка, да и то не всегда.

Сейчас осокори были залиты примерно до половины, незалитая часть берега тоже была еще довольно высока, и в получившейся трубе ураган свирепствовал больше, чем где-нибудь.

Невесело встречали Пасху жители Березовой Луки и Дураковки, привыкшие держаться заодно, как два конца одного села. Они перероднились между собой и по праздникам веселились все вместе, переходя от одних родственников к другим. Ураган разбил дружные компании, веселье не ладилось, не хватало оставшихся на другом берегу.

Именно эта привычка проводить пасхальные дни вместе с близкими явилась причиной того, что во второй половине дня семнадцатого апреля, когда ураган на короткое время ослабел, от крутого западного берега, от Дураковки, отвалила лодка. Среди ее пассажиров была даже одна молодая женщина, родители которой жили в Березовой Луке. Конечно, у всех этих смельчаков уже порядочно шумело в голове, чем и подогревалось их удальство. Более трезвые,

в том числе муж молодой женщины, пытались отговорить их от безрассудной попытки, но в ответ раздались только насмешки. «Мужики, а хуже бабы», – донеслось с отплывавшей лодки.

Вероятно, хмель вылетел из многих голов, едва они отъехали от берега с десятков метров, вероятно, отплывшим сразу же захотелось вернуться, но это было уже невозможно: повернуть лодку, поставив ее боком к волнам, значило наверняка погубить себя. Слабая, почти незаметная надежда оставалась только в том случае, если им удастся двигаться к противоположному берегу, держа лодку поперек волн, обгоняя их и не давая захлестнуть лодку сзади. И, нужно отдать справедливость, они боролись мужественно и упорно; одни напряженно гребли, работая по двое каждым веслом, другие подгребали досками, заменявшими сиденья, и тяжелая рыбацкая лодка шла почти так, как требовалось. Может быть, людям и удалось бы спастись, если бы среди воды не встретилась группа деревьев. Около таких преград волны бушевали особенно сильно, создавая водовороты. Свернуть было невозможно. Лодку несло прямо на деревья, ударило, прижало боком к стволам, опрокинуло. Люди окунулись в воду, потом ухватились за толстые, раскачивающиеся ветви, взобрались на них. Стоящим на берегу было видно: выбрались все.

Погибавшие судорожно цеплялись за ветки, волны то и дело окатывали их, ветер пронизывал, леденил. Несомненно, они кричали, прося о помощи, но за шумом ветра и воды их не было слышно. Кто-то попробовал было помахать рукой, но чуть не сорвался и опять ухватился за ветки. На берегах и так понимали, что нужна помощь, но оказать ее не могли. Если невозможно было просто переехать через бушующую реку, то в десять раз труднее, в десять раз невозможнее подплыть к определенной цели, да еще такой опасной, как деревья, взять людей и вернуться обратно. Об этом нечего было даже и думать.

Толпа на обоих берегах все увеличивалась. О катастрофе знали уже оба села.

Вдруг дружный крик вырвался у стоявших. Женщины запричитали, многие из мужчин сняли шапки и перекрестились: один из погибавших упал с дерева и пошел на дно. Должно быть, ооченели руки, и он не мог дальше держаться. Народ до полной темноты стоял на берегу, с ужасом наблюдая, как срывался то один, то другой.

Утром на ветках, почти залитых прибывшей за ночь водой, оставалось только двое или трое. Потом и они свалились. Дольше всех держалась женщина. Наконец и она, обессилев, упала головой в воду, но труп ее оставался все на том же месте, не тонул и не отплывал. Когда ураган пролетел и люди, выехавшие искать утонувших, подплыли к осокору, оказалось, что она привязалась к дереву большой переливчатой шелковой шалью, бывшей у нее на голове. Мало того, в минуту грозной опасности она не забыла о стыдливости. Трудно представить, каких усилий стоило ей развязать тонкий, скрученный из разноцветной шерсти пояс, поддерживающий юбки. Все-таки она его развязала и притянула им юбки снизу, чтобы ветер не отдувал их.

Ураган не остановил в Острой Луке обычного праздничного хождения по домам «с Пасхой», хотя все: и духовенство, и мальчики-певчие – доходили при этом до изнеможения. Отец Сергей под конец совершенно охрип и после еще с неделю высидел дома, у него оказалась жесточайшая ангина. Ангиной он болел ежегодно, иногда несколько раз в год, и ни он сам, ни Евгения Викторовна не обращали на это серьезного внимания. Он переносил болезнь на ногах и чувствовал бы себя здоровым, если бы не опухоль в горле, мешавшая глотать и говорить. Больному приходилось сначала отказаться от твердой пищи, потом он не мог проглотить даже ложечки воды и объяснялся знаками. Самочувствие при этом оставалось нормальным, и отец Сергей использовал свободное время, данное ему невозможностью служить и общаться с народом, для работы за письменным столом, подготавливая очередные статьи в «Епархиальные Ведомости».

Утомившись, он подсаживался на пол к детям, и начинались игры. Детям они казались особенно интересными, потому что рядом с папой лежала аспидная доска, и он не говорил, а писал.

Нарыв прорывался иногда ночью. Отец Сергей прополаскивал горло подогретой на спиртовке водой и говорил проснувшейся жене: «Теперь давай есть!» И никому, даже опытному соседнему фельдшеру, хорошо знавшему отца Сергия, не приходило в голову, что ангина может иметь более серьезные последствия, чем временная потеря голоса и вынужденное голодание в течение нескольких дней.

Глава 12 Молебствие о дожде

1911–1912 гг.

Стояла засушливая весна. Проснувшись утром, каждый взрослый житель села, прежде всего, выходил и смотрел на небо, нет ли туч. Но туч не было, солнце жгло как в июле, всходы в полях и на огородах поблекли, ох и надо бы дождя!

В один из этих знойных дней к отцу Сергию, возившемуся в сарае с ремонтом ульев, пришли сразу несколько посетителей – церковный староста с тремя попечителями. Они поздоровались, уселись кто на поваленном улье, кто на опрокинутой пудовке для зерна или чурбане для рубки дров (зачем в комнату идти, здесь вольготнее) и, поговорив, сколько требовало приличия, о посторонних предметах, приступили к делу.

– Батюшка, мы до вашей милости, – начал староста. – Мы вот со стариками толковали. Дождя бы надо, вон какая жара, хлеба вертеть начало. Вроде пора бы поднять знамена.

– Дело доброе, – согласился отец Сергий. – Когда думаете?

– Да вот, сегодня пятница... В воскресенье после обедни объявил бы ты народу, в понедельник пусть соберутся с необходимыми делами, а во вторник можно бы и идти.

– Во вторник так во вторник.

На том и порешили.

Обыкновенно молебствовать начинают с кладбища. Остановившись на зеленой лужайке посреди его, служат коротенькую литию – точно призывая умерших присоединиться к молитвам живых, – и первый молебен о дожде. Потом выходят из села на запад и обходят поля на юго-западной стороне за озером Язев. На второй день обходят восток и юго-восток. На запад, до Волги, расстилаются заливные луга, кустарники и мелколесье, туда ходить нечего, а на севере, почти к самому селу подходят земли Березовой Луки. Старики не забывают, почему так вышло. Во всем виноват горлопан Молек, его потомок Никон Молько до сих пор живет в селе и вместе со своими взрослыми сыновьями много лет почти бессменно работает стойщиком (пожарником). Люди нет-нет да и вспомнят: от их дедушки все получилось.

«Получилось» это в начале шестидесятых годов прошлого века, после земельной реформы. «Чагра», то есть Острая и Березовая Лука, Дубовое и Теликовка, никогда не были барскими, хотя их и окружали помещичьи земли. В соседних приволжских садах даже после революции еще стояли усадьбы помещиков Протопопова, Пустошкина, Соплякова, Скорпачева, Баумгартена, Самарина, Медема. Однако передел земли коснулся всех. Приехал землемер и начал расхаживать по полям, замерять, составлять планы. Остролукцы тогда неплохо сообразили, пообещали ему кругленькую сумму, если он хорошо наделит их землей, он и постарался, и луга, и лес, и пашни, все лучшие земли во все стороны от села достались им. Уж и документы на руки получили, пришло время расплачиваться, а тут этот Молек и зашумел

на сходке – нечего, дескать, землемеру деньги зря отдавать, и так все сделано по-хорошему, лучше пропить. Ну, у него, конечно, дружки нашлись, всех перекричали, пропили денежки. Приехал землемер, а ему на сходке нос показали. Он, говорят, даже заплакал, перед всем народом порвал на себе в клочья рубашку и пообещал: «Так и с вашей землей будет». Поехал в Самару и заявил, что в Березоволукской волости ошибка вышла, нужно заново переделить. Ну и переделил! Нарезал кусков где-то в Топориках да в других дальних углах, за пятнадцать – двадцать верст, под самой Брыковкой да Теликовкой; да неудобие – большой овраг Штану в счет положил. А заливные луга, какие только можно было отрезать, чуть не под самые окна села, все к Березовой отошли. До сих пор поперек этих лугов канава проходит, пополам их делит, как в первый раз было намечено, а сами луга – чужие. И по склону увала, что их окружает, березовские сады к самой островской лесопилке подходят.

А на северо-восточный угол полей, туда, где сначала все было островское, а теперь клиньями сошлись и островские, и березовские, и дубовские земли, только во время самой сильной засухи сходятся крестные ходы из всех трех сел, и здесь служит общий молебен.

Стоит расшевелить стариков, они и о другой «услуге» Молька с товарищами расскажут, как те церковь пропили. Еще на сколько-то лет раньше задумали чагринцы строить церковь, одну на несколько деревень. Острая Лука была в центре этих деревень, там и решили строить. Целую весну съезжался туда народ со всей округи, все свободное время отдавали, кирпичи делали. Старики рассказывали, сами они ребятишками в тех ямах играли, из которых глину да песок для кирпичей брали. А тут березовские собрали деньжонок да на сход. «Так и так, столько-то ведер водки поставим, только дайте согласие церковь у нас строить». Ну, Молек со своими горлопанам и рады стараться: такой крик подняли, составили мирской приговор, сами и кирпичи в Березовую перевезли. Уж лет пятьдесят спустя в Острой построили церковь, да и то огоревали деревянную.

Зато сейчас любят и чтут островцы свою церковь, стоят в ней чинно, внимательно, без разговоров, без перешептываний. Целую бурю негодования вызвала одна легкомысленная бабенка, которая, возвратившись из церкви, начала рассказывать, что баушка Матрена была там в таких-то вот новых рукавах.

– Что ты, чужие наряды пересуживать в церковь ходишь? – возмущались соседки. Во всем господствовал строгий, благоговейный порядок, и сейчас трудно было определить, что поддерживается вековым, от дедов переданным обычаем и что является следствием слаженной работы нескольких поколений священников. Только кое-что, о чем разговор велся еще недавно, а может быть, и сейчас ведется, с точностью можно называть батюшкиными трудами. Вот, например, каждую весну и осень ему приходится говорить о кашле в церкви. Особенно весной, когда кругом тает, проваливается снег на дорожках, а иногда целые улицы и вся площадь превращаются в сплошное месиво из рыхлого снега и ледяной воды. Молящиеся, особенно женщины, в это время приходят в церковь с мокрыми ногами, и, хотя более заботливые приносят под мышкой валенки и переобуваются, все-таки кашляет большинство. И батюшка не забывает напомнить, что с этим можно и нужно бороться.

– Часто люди начинают откашливаться, чуть только почувствуют легкую неловкость в горле, – обыкновенно после службы говорил он. – Откашлялись, и ладно, не думают, что этим мешают богослужению. А даже самый кашель действует на других, сейчас же и у других в горле запершит. Не успеют прокашляться эти, как начинают новые, и подчас поднимается такой шум, что заглушает не только чтение, а и пение. А стоило бы первым сдержаться, и этого беспорядка не было бы. Сдержаться же кашель можно во многих случаях. А если кто и не сможет удержаться, то все-таки он закашляется один. Правда, бывает иногда и такой кашель, что человек захлебывается и не может ни сдержать, ни остановить его. Тогда уж лучше выйти из церкви и войти опять, когда кончится приступ.

Зато уж, кроме кашля, в церкви никакого шума. Разве ребята, занимающие места у самого амвона, зашепчутся, а то исподтишка и толкнут один другого. Но и они сразу затихают, стоит кому-нибудь из стоящих на клиросе оглянуться, тем более погрозить пальцем.

Как и везде в селах, в Острой Луке мужчины и женщины стоят отдельно, хотя делятся не совсем так, как обычно, – справа мужчины, а слева женщины. В Острой Луке мужчины занимают не только правую сторону, а и передние ряды на левой; зато вся задняя часть церкви со стоящими у стены скамейками принадлежит старухам. Этот порядок соблюдается и тогда, когда за утреней прикладываются к Евангелию или к иконе праздника. Идут сначала с правого клироса, потом с левого; потом двигается первый ряд справа, за ним второй, третий... Когда проходят все мужчины справа, в таком же порядке идет левая сторона, а после всех смиренно и неторопливо подходят старушки. Во время причастия тот же порядок, только вперед пропускают женщин с маленькими детьми, а за ними – детей школьного возраста. Ни давки, ни толкотни, очередь перед аналоем небольшая, от силы человек пятнадцать – двадцать; по мере того, как они отходят на свои прежние места, к аналою подходят следующие по порядку. Лишь изредка забежит вперед какая-нибудь одинокая хозяйка, которая торопится домой, чтобы убрать скотину, истопить печь и к обедне прийти не очень поздно.

Поют в Острой Луке не торопясь, но и не растягивая намеренно, как раскольники и многие городские хоры. Пение исключительно гласовое, такое, которое принято называть простым. Называя так, забывают, что музыкально образованным певчим шикарных городских хоров только в исключительных случаях удается достичь такой молитвенной простоты, такого четкого соединения чувств и мелодии. Остролукские певчие, особенно те, которые посещали спевки на квартире отца Сергия, и теперь еще время от времени заходят к нему попрактиковаться и спросить совета. Возглавляет их псаломщик, а иногда во время вечерни или утрени, особенно в небольшие праздники, когда на клиросе не хватает голосов, и сам отец Сергий выходит из алтаря и помогает петь стихиры. И стало традицией, что он сам читает канон на Благовещение, а Великим постом, стоя перед престолом один, наизусть, поет: «Да исправится молитва моя», тем напевом, каким пели в его время в семинарии.

Одно время пригласили было регента, учителя Павла Афанасьевича. Но он страдал профессиональной болезнью регентов – страстью к вычурным нотным «номерам»; вкус его резко расходился со вкусом отца Сергия и большинства прихожан. Вдобавок многие были недовольны тем, что на клиросе появились девушки и даже замужние женщины. Регента скоро уволили, а в церкви так и укрепился мужской хор, в обычном составе. Результаты прежних спевков сказывались и сейчас, пели довольно стройно, сразу принимая тон, в котором отец Сергий делал возглас. Правда, наиболее удобный для него и для певчих тон, в котором пелось то или иное песнопение, повторялся из службы в службу, а переходы на другой тон тоже происходили в одних и тех же излюбленных местах. Зато это создавало впечатление особенной цельности, гармоничности, проникавшее все богослужение от первого возгласа священника до последней ноты хора.

Отец Сергий, всю жизнь стремившийся к тому, чтобы, не утомляя молящихся, совершать службу с наименьшими сокращениями, еще и ввиду этого не одобрял тягучего пения. Обычный темп за утреней был таков: как раз спокойно, но не медленно можно было сделать земной поклон, пока пелось: «Поклонимся Отцу и Его Сынови, и Святому Духу...», а в то время, пока отец Сергий катил вокруг храма (молодой и подвижный, он обходил его довольно быстро, хотя и без излишней торопливости), певчие успевали три раза пропеть величание со стихами перед каждым разом. Эти стихи все очень любили, и, нужно отдать справедливость руководителям хора, они брали не первые попавшиеся, а из всех стихов данного праздника выбирали лучшие.

Диакона в Острой Луке не было, и Евангелие на утрене прочитывалось священником в алтаре. Прихожане любили и этот момент, когда стоящий на середине церкви отец Сергий сам запевал своим красивым, хоть и не очень сильным тенором: «От юности моя мнози борют мя

страсти, но Сам мя заступи и спаси, Спасе мой!» – и, худощавый, стройный, в ловко сидящем голубом праздничном облачении, легко, почти стремительно, шел в алтарь.

Так он держался и такое впечатление производил не только в годы своей ранней молодости. Время приносило перемены. Не один год отец Сергей, наравне с прихожанами, работал в поле. Вечерами возвращался тяжелой походкой усталого человека, без подрясника, в одной пропыленной и пропотевшей ситцевой рубашке, с рассыпавшимися из-под самодельной соломенной шляпы воло сами. И волосы стали уже не те – посеклись, поредели, и небольшая бородка превратилась в широкую, окладистую, с сильной проседью; и сам он отяжелел, опростился. (Надо сказать, что эту простоту крестьяне чрезвычайно ценили.)

Но и в это время в церкви он оставался прежним. Так ловко сидело на худощавой фигуре праздничное голубое облачение, и такой же легкой и стремительной казалась походка.

За годы, проведенные вместе, интересы отца Сергея стали особенно близки к интересам прихожан, но и раньше он не отделялся от них. Раз и навсегда он отказался от предложения, по примеру некоторых других сел, отвозить его к месту молебствия в поле на лошади.

– Пусть старики ездят, которым ходить тяжело, – отвечал он, – а я могу и потрудиться, пешком дойти. Мне дождь тоже нужен.

У отца Сергея не было привычки торопиться и во время будничных, заказных служб. Они совершались так же чинно, как и праздничные, только певчие-любители не приходили. Поэтому в будни и маленькие праздники, случавшиеся в горячую рабочую пору, на клиросе пел только псаломщик да иногда два-три особенно богомольных мужичка. Вообще же мужчины не отличались такой богомольностью, как женщины. В некоторые дни, например в родительские субботы, они считали посещение церкви не обязательным для себя. Так шло до одного, многим запомнившегося, случая.

Как-то раз, не то на Троицкую, не то на Дмитриевскую родительскую¹⁸, отец Сергей возмутился. В воскресенье, на следующий день после родительской, он сказал горячую проповедь, как следует пробрал мужчин, не желающих даже почтить память своих умерших, и объявил: в следующую субботу будет родительская специально для мужчин. Слово подействовало; на сверхуставную родительскую собралось много мужчин, да и женщины с удовольствием пришли вторично.

В день, назначенный для молебствия о дожде, напоминаний не требовалось; церковь была полна, и мужчин больше обыкновенного. Явились и старухи, и женщины с грудными детьми – не могут далеко пойти, так хоть в церкви и на кладбище постоят. Только не было ярких дорогих нарядов на девушках; одевались чистенько, но просто, чтобы потом легко было выстирать. И горячо, от души молились. Да и нельзя было не молиться. Вся служба от начала до конца была пронизана одной мыслью:

«Не хотяй смерти грешного... услыши нас... в покаянии молящихся тебе!»

«Повели облаком свыше одожидити и к плодоношению оросити землю!»

«Дождь волен даруй земли!»

«Дождь волен и тучу подай земли!»

«Прости беззакония наши и подай жаждущей земли дожди благоплодны!»

«Не умори нас голодом и жаждою!»

Для жителя богатого реками и озерами Среднего Поволжья немного странно звучало зародившееся на раскаленных побережьях Средиземного моря прошение: «О не уморите нас голодом и жаждою». И голода-то настоящего в этих изобильных краях до двадцать первого года люди не знали, не только жажды; но это прошение показывало, до чего может доходить бедствие от бездождия, и усиливало молитвенное настроение.

¹⁸ Троицкая родительская суббота (суббота перед Днем Святой Троицы) и Дмитриевская родительская суббота (26 октября/8 ноября), дни особого поминовения усопших.

И в апостольском чтении говорится о земледельце, терпеливо ожидающем плода от земли, пока не получит ранний и поздний дождь, об Илии, который был человеком подобострастным нам, а по молитве его заключалось и отверзлось небо и шел дождь. И в Евангелии опять о нем же... И опять: «Пощади достояние Твое!», «Спаси человеки и скоты!» Все, о чем сейчас беспокоится и думает каждый человек.

Причастный стих... В Острой Луке не поют концертов, их заменяют «псалмы избранные», приуроченные к празднику, к памяти апостолов, преподобных, мучеников. Такой псалом поют и теперь.

«Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концов земли и сущих в мори далече...

Посетил еси землю и упоил еси ю (ее), умножил еси обогатити ю; река Божия исполнися вод...

Бразды ея упой, умножи жита ея; в каплях ея возвеселится, воссияющи...

Благословиши венец лета благодати Твоея, и поля Твоя исполнятся тука... радостью холми препояшутся...

Одеяшася овни овчии и удолия умножат пшеницу... Воззовут, ибо воспоют...»

Служба кончается. Народ задвигался, разбирая вынутые из киотов иконы и вереницей выходя из церкви. Мужчины поднимают знамена (хоругви). За ними следует отец Сергей в облачении, с крестом, сопровождаемый певчими. Впрочем, теперь поют все желающие, в том числе и женщины. Пелись всем известные молитвы: «Царю Небесный», «Заступнице усердная», «Отче наш», «Не имама иныя помощи», тропари архистратигу Михаилу, в честь которого был престол, Николаю Чудотворцу и пророку Илию; «Милосердия двери отверзи»... и опять «Заступнице!» – и опять «Не имама иныя помощи»... А в короткие промежутки, когда допевали одну молитву и еще не начинали другую, слышался дружный и мощный топот – деловитые и уверенные шаги толпы.

Шли быстро и споро, без отстающих, без забегающих вперед – за день нужно пройти, с остановками для молебнов, верст пятнадцать – двадцать. В начале пути некоторые подростки пытались было обогнать толпу, но по обе стороны священника шли по два, по три попечителя с длинными палками в руках. Протянув такую палку по направлению к товарищу, они выравнивали передний ряд, а за ним и всю двигавшуюся сзади колонну. Впереди, следуя за извилинами дороги, двигалась линия женщин с иконами, мужчины с хоругвями. Хоругви и большие иконы несли по двое. Время от времени из толпы отделялись люди и сменяли кого-нибудь из несущих. Поблескивали на ярком солнце металлические оклады икон, хоругви колыхались на длинных древках. Из-под ног с пересохшей дороги поднималась мелкая, легкая пыль, оседала на лицах, на одежде; чуть заметный ветерок относил ее в сторону, на зеленую стену хлебов. Проходя, люди ловили взглядом – держатся еще хлеба или их узкие длинные листья раньше времени начинают скручиваться в трубку – первый признак серьезного недостатка влаги.

На заранее намеченном месте, на перекрестке или около незасяянного загона, где могла бы поместиться вся толпа, уже стоял стол, а на нем большая чаша с водой. Служился водосвятный молебен, и после него молебен о дожде. Дальше всю дорогу по полям и обратно до церкви отец Сергей кропил святой водой сухую, потрескавшуюся от зноя землю.

На второй остановке – опять молебен о дожде, на этот раз с акафистом пророку Илию. Опустившись на ко лени на пыльную, засыхающую траву, люди усердно молились. Трогательно, как глубокие молитвенные вздохи всей толпы, звучали краткие, повторяющиеся слова припева:

«Даждь дождь земли жаждущей, Спасе!»

На небе над толпой заливались жаворонки. Привлекло ли их пение или блеск и колыхание икон и хоругвей, но всегда во время весенних богослужений на открытом воздухе – на

Пасху и Радоницу¹⁹ на кладбище, при освящении семян и первом выгоне скота в июле, вот теперь – над головами молящихся всегда собирались жаворонки и присоединяли свои серебристые голоса к голосам людей.

Во время хождения по полям вспоминались рассказы стариков о долго тянувшейся засухе, когда хлеба уже почти совсем пропали. Вот тогда молились люди! Можно сказать, слезами землю обливали. Один мужик настоял, чтобы молебн служили прямо на его загоне; сотни ног утолкли тут землю, что не осталось ни следа посева, словно пустая пашня лежит. А на обратном пути, не успели дойти домой, начался дождь, да такой, что оправились все засыхавшие поля, а на вытоптанном загоне, где служился молебн, пшеница пошла от корня, густая, кустистая, как в лучшие урожайные годы.

Об этом случае слышали от стариков, а впоследствии, весной 1922 года, сами пережили нечто подобное.

Этой весны с нетерпением ждали. О ней мечтали всю длинную голодную зиму, такую голодную, что разве только 1840 год, как его описал Лесков, выглядел похожим на нее. Ждали первой травы, чтобы спасти остатки чудом перезимовавшего, изголодавшегося скота, которому в этом году не досталось не только мякины, а и вонючей колючки перекати-поле: все перемололи и перепекли на хлеб. Ждали сокоревых сережек, щавеля и дикого лука. Ждали ржи, которую раньше сеяли исключительно для скота; пшеницу-то далеко не каждый сумел сохранить на посев. Только бы завязалось раннее зернышко, только бы отвердело настолько, что его можно будет вынуть из колоса, не стали бы ждать созревания, наварили бы каши.

Лук и щавель не обманули, они выросли на лугах по мере того, как сходила полая вода. Были и сокоревые сережки, хоть и меньше обычного; за зиму целую сокоревую рощу спилили под корень и съели, расколов на мелкие, как сапожные гвозди, кусочки – только такие принимали на мельницу. Хлеба же не радовали; опять, как в прошлом году, не было дождей. А тут еще, с появлением съедобных трав, в селе появились истощенные, едва передвигавшие ноги женщины «из степи». За двадцать – сорок километров прибредали они с мешками за спасительной зеленью и, собирая лук и щавель, рассказывали местным жительницам о не испытанных еще в Острой Луке ужасах; о больших пяти стенных избах, отдаваемых за краюшку хлеба; о сваленных в общественном амбаре окоченевших трупах, которые не хоронили всю зиму; о том, как в середине зимы эти трупы начали исчезать – их воровали и ели. Становилось жутко при мысли, что все это, а пожалуй, и еще худшее, может повториться и в Острой Луке, если в этом году опять не будет дождя.

На молебствие этой весной не вышли только древние старики да малые дети. Шли куда тише обычного – сил не было. Добравшись до остановки, до места служения молебна, некоторые бессильно опускались на землю; некоторые, подойдя к воде, смачивали лоб и волосы, чтобы унять головкружение.

Обычно, когда на пути крестного хода оказывалось озерцо, несколько мужчин вставляли около него, не подпуская нетерпеливых подростков. Взрослые и сами не подходили к воде – молебствуя, нужно поститься. В этом же году не только не запрещали пить, а даже возили с собой на всякий случай бочку воды и порожнюю подводу для ослабевших. Но на подводе никто не сел, и воды почти не пили, только кое-кто смачивал голову.

Зато молились с особым жаром, с горячими слезами. По-новому близки и понятны были прошения, весь смысл которых сводился к одному:

«О еже не помянути беззаконий и неправд людей Своих... во гневе Своем не погубити люди Своя... и препитати нас в гладе...»

А слова: «Даждь дождь...» – звучали как мольбы о спасении жизни.

Дожди вскоре прошли, и посева ожили.

¹⁹ Радоница (вторник второй седмицы по Пасхе) – день особого поминовения усопших.

Замечательно, с какой скромностью люди вспоминали об этом потом. Никто даже не поминал о молитвенном порыве, охватившем народ, – ведь в этом случае косвенно хвалили бы себя. Говорили: «Господь еще раз пожалел нас, грешных».

Зато не раз можно было слышать утверждение, что дождь вымолили две женщины, принявшие на себя трудный подвиг: они как взяли во второй день молебствия большую, в металлической ризе, икону Божией Матери, так и носили ее целый день, не сменяясь.

– Как им Господь помог, выдержали, не упали. За их труды и нас Господь нашел...

И в селе, где все знали каждого подростка, никто не смутил скромности этих тружениц, никто не назвал их по имени. Говорили просто: женщины.

Глава 13

Часы отдыха

Когда выдавались не занятые приходскими делами вечера и не хотелось заниматься ничем серьезным, отец Сергей принимался за музыку. Он играл на скрипке и фисгармонии; кроме того, от отца ему достались гусли, на которых он, как когда-то покойный Евгений Егорович, играл простые, наивные и трогательные мелодии. Много приятных воспоминаний сохранилось об этих гусях у всех бывавших когда-то в доме Евгения Егоровича, и, прежде всего, конечно, у самого отца Сергея. Но гусли эти были совсем не такими, какие рисуются нам в руках у древних певцов, которые, удобно положив их на колени, «сказывали» старые былины. Гусли отца Сергея были большие, на трех точеных ножках, и требовали почти столько же места, сколько фисгармония, а места не было. Поэтому в разное время они то стояли, приткнувшись у печки, то лежали на боку в коридоре. Скрипка была удобнее. Она спокойно ютилась под диваном или за письменным столом в ожидании, когда отец Сергей вынет ее из футляра и, поставив посреди комнаты самодельный пюпитр, начнет настраивать. При первых звуках сбегались дети, прослушивали несколько детских песенок, а когда музыка становилась более серьезной и без слов, отправлялись по своим делам. Более усердной слушательницей была жена, сидевшая с работой в соседней комнате, но отец Сергей не нуждался в слушателях, он играл для себя. Был, правда, один слушатель, на которого обращал внимание музыкант, это – рыжий таракан-прусак.

В течение нескольких месяцев, стоило отцу Сергию заиграть, таракан выползал из какой-то щели, устраивался на верхней части пюпитра и слушал, от удовольствия поводя усиками.

Иногда заходил, тоже со скрипкой, учитель Павел Афанасьевич, и тогда они исполняли скрипичные дуэты, или отец Сергей садился за фисгармонию и аккомпанировал скрипачу. Одно время он пробовал было привлечь к участию в концертах и Евгению Викторовну. Какой-то период времени они упорно занимались вдвоем, даже пробовали сыграть кое-что попроще и втроем. Но Евгении Викторовне не пришлось в детстве учиться музыке, и теперь ей было трудно справиться с фисгармонией, хотя и очень хотелось. А тут еще домашние хлопоты и заботы о детях. Дело не шло, занятия часто кончались слезами. Пришлось их прекратить.

Не всегда, конечно, отец Сергей с Павлом Афанасьевичем только играли. Иногда они и разговаривали, особенно если в это время кто-нибудь ездил в Березовую Луку и привозил с почты газеты. Павел Афанасьевич любил поговорить о том, что творится на белом свете. Но спорить он не умел; чуть только во мнениях собеседников оказывалось разногласие, как тон его становился ехидным, а речь язвительной. Конечно, на безрыбье и рак рыба. Нет поблизости других более или менее образованных людей, так приходится говорить и с ним. Но все-таки отец Сергей предпочитал его в качестве скрипача или партнера в шахматы, а не собеседника. За шахматами они могли просиживать целые зимние вечера, но только если не было никого посторонних. Шахматы были наименее популярными из всех увлечений отца Сергея. Стоило шахматной доске появиться на столе при гостях, как на лицах появлялись недовольные гри-

масы, и сразу же, в лучшем случае после одной-двух партий, раздавались голоса: «Что это за игра! Уткнутся носом в доску и никого больше не замечают. Отец Сергей, спойте лучше!»

Отец Сергей садился за фисгармонию. На стуле около нее возвышалась целая стопа нот, печатных и рукописных, но он редко пользовался ими. И у него, и у его слушателей были излюбленные вещи, которые его проси ли спеть, и он пел без нот; иногда именно тех вещей, которые он пел, даже и не было в его нотных сборниках.

В числе любимых были некоторые романсы, русские и украинские песни, арии из опер, преимущественно из «Жизни за царя», где он пел не только арии Сусанина и Вани, но, при помощи фисгармонии, изображал даже хор девушек «Разгулялася, разливалася».

Пел он и песню Мефистофеля о золотом тельце, арию Пимена, арию Мельника... Исполнение последней арии было особенно характерно для его стиля. Он пел, иногда даже полуобернувшись к присутствующим тут девочкам и девушкам-подросткам и, как бы обращаясь к ним, толковал о том, что «мало толку в вас», «упрямы вы», «своим умом богаты», – а советы, которые «молодым девкам» не особенно полезно слушать, пропускал так естественно, словно их и не было совсем. Так же было и в арии «Куда, куда вы удалились» – и в любимом женщинами романсе «Я видел березку». Отец Сергей показывал музыкальную красоту вещи, а когда дело доходило до любовной части, она незаметно ступшеывалась, заменялась одним аккомпанементом или пелась так иронически, между прочим, что не производила впечатления. Впрочем, в большинстве исполняемых им вещей не нужны были и эти уловки. Он пел «Слезы людские», «Как король шел на войну», «Лесной царь», песни о Волге и о Днепре, некоторые шуточные и совершенно безобидные песенки.

Около дверей пение слушали кухарка, няньки, церковный сторож и соседка, бабушка Матрена или другая женщина, приглашенная помочь постряпать. Они не только слушали, а и обсуждали попутно наружность собравшихся женщин. Что же, красива и теликовская матушка, величественная, немного чопорная, в золотом пенсне; и березовская – пышная, белая, веселая, со слегка вьющимися волосами; и младшая из всех гостей, Марья Григорьевна, жена Павла Афанасьевича, – высокая, выше мужа, стройная, с пышными волосами и изящной головкой. Но, пересмотрев и потихоньку обсудив всех присутствующих, строгие судьи снова любующимся взглядом окидывали Евгению Викторовну, ее темно-русые, в луче света отливающие золотом волосы, окруженное ими милое личико, мягкие серые глаза, ее фигурку, после троих детей сохранившую девическую стройность.

– Все равно наша матушка лучше всех, – с гордостью заключали они.

Миша, брат матушки, любил рисовать, и рисовал недурно. С его приездом извлекались из недр письменного стола масляные краски, снимались со стены полузабытые там палитры, и столовая превращалась в мастерскую двух художников. На память об очередном увлечении оставались закапанные краской стулья и несколько работ отца Сергея – два-три вида села, довольно похожий автопортрет и особо поразивший воображение детей большой, разрезанный пополам красный арбуз; так и хотелось отрезать от него еще один большой сочный ломоть.

Зимой, идя на урок в школу или возвращаясь из школы, а то и просто проходя мимо, отец Сергей останавливался около играющих во время перемены школьников и начинал перекидываться с ними снежками, советовать, как лучше сделать снежную крепость, или выстраивал их и учил маршировать. Строгий в школе, не допускавший во время своих веселых и оживленных уроков никаких шалостей, хотя он охотно допускал смех, во время перемены он держался старшим товарищем. Дети так пристрастились к этой игре, что не давали своему «командиру» покоя. Пришлось назначить другого, низшего, командира, бойкого, смышленного мальчишку Саньку Страхова.

Собравшись утром из школы, «солдаты», если ночью шел снег, прежде всего отправлялись протапывать дорожки. Протапывать до квартиры учительницы Елизаветы Аркадьевны

легко и неинтересно: она живет через улицу от школы и рано утром там уже всегда бывают следы.

Гораздо интереснее и серьезнее другой участок – площадь. После снегопада она покрывается ровной белой пеленой, и только по едва торчащим вешкам видно, где должны быть тропинки. Мальчики идут гуськом, причем передний чуть не по пояс проваливается в снег (почетная и увлекательная должность), а после заднего получается твердая дорожка. Протоптывают по трем направлениям: от школы к церковной сторожке и церкви, где потом, в случае удачи, можно выклянчить у сторожа право пробить в колокол «восемь часов» – сигнал для начала уроков; от церкви – к дому батюшки, а от него опять к школе. Когда было настроение (а оно бывало часто), добравшись до батюшкиного дома, Санька выстраивал свой отряд, и ребята по команде кричали «ура» до тех пор, пока отец Сергей не выходил к ним. Он здоровался с «войском», благодарил за протоптанную дорожку – ответы по громкости и лихости (но не по стройности) могли соперничать с ответами самых боевых гвардейцев, – давал несколько команд и, наконец, последнюю: «Шагом (или бегом) марш в школу!»

В таком бедном селе, как Острая Лука, приобретение священнического облачения представляло целую проблему; за двадцать лет служения отца Сергея было куплено всего три ризы. Решив попытать счастья в богатых городских приходах, он обратился к знакомому настоятелю одной из самарских церквей и попросил отдать что-нибудь из старых, не нужных для церкви облачений. Он предполагал, что это, не нужное в городе, в селе если не заменит праздничное голубое облачение, надевавшееся только в особо торжественные праздники, то, во всяком случае, будет вполне прилично для обычной воскресной службы. Но в полученном им большом узле только одна риза оказалась пригодной для исправления треб в будни, остальные не годились даже для этого. Прихожане понатужились и приобрели для воскресений недорогую красную ризу. С полученным же старьем матушка долго возилась – кроила, подметывала, вырезала особенно более потертые куски, заменяя их более свежими из другого места, и наконец смастерила два небольших стихарика²⁰ для мальчиков, да и то с оплечьями другой расцветки.

Чести носить стихарики и прислуживать за богослужением удостоились Максим Дуров и Санька Капишин. Активные, прилежные ребята, они давно мечтали чем-нибудь участвовать в церковной службе, но единственный в то время способ – пение на клиросе – был для них недоступен, так как один не имел голоса, а другой и слуха. Зато сейчас они были в восторге. А какое впечатление производила на прихожан, особенно в первое время, «торжественная» служба, во время которой перед священником, несущим Евангелие или Святые Дары, шли два одетых в стихари мальчика с подсвечниками! Во время первой службы даже степенные мужики наклонялись и заглядывали в алтарь, чтобы подольше насладиться невиданным зрелищем.

Глава 14

По ту сторону иконостаса

Сторож Евдоким Лукьянович волновался как никогда. Шла обыкновенная воскресная обедня, при каких он столько раз прислуживал. И все шло как обычно. Когда он отзвонил и сошел с колокольни вниз, батюшка совершал проскомидию. Около него, недалеко от жертвенника, стоял псаломщик и читал поминания. Их было немного. Псаломщик скоро кончил, вышел из алтаря, сошел с амвона; осенившись крестом, прошел внизу мимо Царских врат и опять поднялся по ступенькам, уже на правый клирос. Так всегда делается. Никто, кроме священника, не дерзал проходить мимо Царских врат по амвону; даже когда сторожа мыли пол, они издали, вытянутой рукой, доставали эти доски, не ступая на них.

²⁰ Стихарь – длинное облачение с широкими рукавами. Носят не только священнослужители, но и прислуживающие в алтаре (алтарники).

Постепенно собирались певчие, храм наполнялся молящимися. Высокий красивый старик Трофим Поликарпович Гусев, певчий и попечитель, наклонившись с клироса, принял переданные из народа две свечи и, взглянув на Евдокима Лукьяновича, показал ему их; это означало, что одна из свечей предназначалась для иконы с левой стороны иконостаса. Евдоким сделал несколько шагов к середине амвона, не ступая на заветную полосу, перекрестился и протянул руку. Трофим Поликарпович таким же образом передал ему свечу. Все это так привычно, но сегодня ощущается как новое, в первый раз увиденное, в первый раз понятое.

«Даже здесь, снаружи, все так благоговейно и по порядку делается, – взволнованно думает Евдоким, – а как же должно быть в алтаре!»

Запели «Херувимскую». Все опустили на колени. В этом случае батюшка строг, не позволит нарушать торжественные минуты небрежным стоянием, а тем более ходьбой. Он даже много раз предупреждал, чтобы те, у которых начинает кружиться голова незадолго до важнейших моментов богослужения: Евангелия, «Херувимской», «Милости мира», – лучше выходили заранее; а уж кто остался, пусть терпит, пока люди не встанут с колен.

– Не бойтесь, не упадете! – говорил он. – Тут часто бывает не настоящее нездоровье, а искушение. А ведь правда, не было случая, чтобы кто-то в это время упал.

А кликуши! Мало ли их по селам! Случается, и в Острой Луке закричит какая-нибудь «под перенос Даров»²¹. Батюшка только строго взглянет на нее и скажет: «Прекрати!» – и все у нее как рукой снимет.

Труднее всего мужиков перебороть. Евдоким Лукьянович вырос в селе и то никак не может понять, откуда такая мода проявилась: вбили себе в голову некоторые, что мужикам «бесчесно» в землю кланяться, что это женское дело. И стоят, как пни осиновые, прости, Господи!

Уж батюшка и в школе внушает, и в проповедях говорит, что, когда поют «Иже херувимы», все должны на колени встать. А тем более в конце службы, когда Святые Дары выносятся из алтаря. В Чаше в это время Сам Спаситель невидимо присутствует, а перед Ним какая уж гордость! Все Ему должны поклониться. Так нет, все равно стоят. Не все, конечно, а стоят.

Один раз до чего дошло! После причастия вышел батюшка со Святыми Дарами, чтобы их на жертвенник перенести, сделал возглас: «Всегда, ныне и присно!», а мужики стоят. Батюшка вернулся, поставил Чашу на престол, вышел и давай все снова объяснять, почему полагается кланяться. Потом взял опять Чашу и снова осенил народ:

«Всегда, ныне и присно!»

И ведь есть же такие бестолковые! Все поклонились, а трое парней в первом ряду опять стоят. Батюшку, бедного, видно, горе взяло. Обернулся к ним и прикрикнул:

– Что вы стоите как столбы! Кланяйтесь! Тогда только поклонились²². А служба продолжается, и Евдоким Лукьянович усердно молится, несмотря на лезущие в голову посторонние мысли. Волнуется он так, что во рту пересыхает. Только в детстве перед причастием так было.

Дело в том, что вчера он решился поделиться с батюшкой своей заветной мечтой, и отец Сергей разрешил ему остаться в алтаре во время Евхаристийного канона.

Обыкновенно перед пением «Верую» один из сторожей уходит звонить «к Достойной», а другой, приготовив все, что от него требуется, тоже выходит из алтаря, плотно прикрыв за собой боковую дверь и оставив священника одного в единственный по значению момент освящения Святых Даров. Обратно входит он только тогда, когда в алтаре раздаются знакомые

²¹ Момент литургии, когда Святые Дары в алтаре переносятся с жертвенника на престол.

²² Этот случай произошел позднее, уже на моей памяти, так что Евдоким Лукьянович не мог вспомнить о нем, но борьбу за благоговейное отношение к Святым Дарам отец Сергей вел всю жизнь. Характерный случай произошел еще позже, Великим постом. Наташа, стоявшая вместе с другими детьми в первом ряду причастников, заторопилась и опустилась на одно колено. Отец Сергей, чтобы не нарушать торжественного настроения, в это время ничего не сказал, а дома заметил: «Что-то у нас причастница сегодня только на одно колено встала». – *Авт.*

слова, сказанные вполголоса, но громче предыдущих. А сегодня Евдоким остается на своем месте между боковой дверью и печкой, и напряжение его достигает последней крайности. Еще бы: сейчас он увидит то, чего не видел ни кто в селе, ни их отцы и деды, – увидит, как «совершаются Святые Тайны».

Нельзя сказать, что сторожу и другим молящимся совсем незнакомо то, что происходит в это время в алтаре. На Пасху Царские врата открыты, и стоящие против них видят все. Видят, но почти ничего не слышат, мешают друг другу. Бывает иногда, отец Сергей так увлекается, что читает тайные молитвы почти полным голосом и отдельные фразы долетают до молящихся²³.

Но все это не то. Трудно совместить увиденное раз-два в год с услышанным в другое время, да и хор мешает слушать. Здесь же, в алтаре, видны не только мельчайшие движения, а даже выражение лица священника, и слышно все до слова. Таким счастьем нельзя не дорожить.

«Верую во единого Бога Отца...» – поет хор.

Отец Сергей, только что приложившийся к Чаше и дискосу, расправляет на руках покрывавший то и другое вместе плат – «воздух» – и мерными, неторопливыми движениями повеет им над сосудами, символически изображая веяние Святого Духа. И сам вполголоса читает «Верую». Кончив, свертывает и откладывает воздух туда, где уже лежат малые покровцы. Теперь Чаша совсем открыта, а на дискосе, поверх Агнца и других частиц, остается только звезда – две тонкие серебряные полосы сантиметра 2–3 шириной, спаянные в центре в виде креста. Каждый из четырех ее лучей согнут почти посередине под прямым углом так, чтобы ее можно было поставить на ребра узких концов. Звезда служит для поддержания воздуха, не давая ему касаться лежащих на дискосе частиц, и является символом Вифлеемской звезды.

«...И жизни будущего века. Аминь», – допевает хор. И отец Сергей возглашает полным звонким голосом «вслух народу»:

«Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносить!»

А хор – народ, как указывается в других местах богослужения, – подтверждает свое согласие принять посильное участие в предстоящем. Что он может принести?

«Милость мира, жертву хваления».

Народ подтверждает, а священник, хоть и отделенный от него закрытыми Царскими вратами, оборачивается к нему лицом и благословляет людей, призывая на них помощь Божию:

«Благодать Господа Нашего Иисуса Христа, и любви (любовь) Бога и Отца, и причастие (участие, единение) Святого Духа буди со всеми вами!»

«И со духом твоим», – возвращает хор доброе и такое нужное пожелание. Тогда отец Сергей все более крепнувшим, звонким голосом призывает: «Горе имеем сердца!»

«Имамы ко Господу», – смиренно и в то же время твердо соглашается хор. И священник, охваченный радостью за этот идущий за ним горе²⁴ народ, бросает в их устремленные в небо сердца:

«Благодарим Господа!»

«Достоин и праведно Тя пети, Тя благословити, Тя хвалити, Тя благодарити, Тебе поклоняться во всяком месте владычества Твоего. Ты бо еси Бог неизреченен, неведомь, невидимь, непостижимь, присно сый, такожде сый; Ты и едиnorodный Твой Сын, и Дух Твой Святыи. Ты из небытия в бытие нас привел еси, и отпадшыя восставил еси паки, и не отступил еси, вся творя, дондеже нас на небо возвел еси, и царство Твое даровал еси будущее. О сих всех благодарим Тя и едиnorodного Твоего Сына, и Духа Святаго, о всех, ихже вемы и ихже не вемы, явленных и не явленных благодеяниях, бывших на ны. Благодарим Тя и о службе

²³ Чем дальше, такие моменты повторялись все чаще, а под конец служения отца Сергея чтение тайных молитв «разговорным» голосом, слышным в передних рядах молящихся, стало обычным. – *Авт.*

²⁴ Ввысь. – *Авт.*

сей, юже от рук наших прияти изволил еси, аще и предстоят Тебе тысячи архангелов и тьмы ангелов, херувими и серафимы, шестокрылатии, многоочитии, возвышающися, пернатии».

Четырьмя пальцами он берет звездицу и произносит громко и торжественно, осеняя при этом крестообразно диском звездицей, как бы объединяя каждое движение с произносимым словом. И не просто осеняя, а твердо ударяя каждый раз концом звездицы дискос, на что он отзывается мелодическим серебряным звоном, означающим пение ангелов.

«Победную песнь поюще... вопиюще... взывающе... и глаголюще...»

«Свят, свят, Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоя. Осанна в вышних! Благословен Грядый во имя Господне!» – «косно и со сладкопением» отвечает хор²⁵.

Весь напряженный, точно выросший, отец Сергей продолжает горячо и быстро, как будто слова не успевают за стремительным взлетом его мысли:

«С сими и мы блаженными силами, Владыко Человеколюбче, вопием и глаголем: свят еси и пресвят Ты, и едиnorodный Твой Сын и Дух Твой Святыи; свят еси и пресвят, и великолепна слава Твоя, Иже мир тако возлюбил еси, якоже Сына Твоего едиnorodного дати, да всяк веруяи в Него не погибнет, но имать живот вечный; Иже пришел, и все еже о нас смотрение исполнив, в ночь, в нуже предаешся, паче же Сам Себе предаеше за мирский живот, приемь хлеб во Святыя Своя, и пречистыя, и непорочныя руки, благодарив и благословив, освятив, преломив, даде святым Своим учеником и апостолом, рек:

«Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов!»

«Аминь!» – поет хор, а отец Сергей, произнеся в это время:

«Подобне и чашу по вечери, глаголя», – провозглашает вслух:

«Пийте от Нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов!»

«Аминь, а-аминь», – вздыхает хор.

Отец Сергей не слышит его, не видит, что делается вокруг. Он весь – в таинстве, которое вот-вот должно совершиться:

«Поминающе убо спасительную сию заповедь, и вся, яже о нас бывшая: крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса вознесение, одесную седение, второе и славное паки пришествие...»

«Твоя, от Твоих, тебе приносяще, о всех и за вся...»

«Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи. И молим Ти ся, Боже наш, Боже наш; и молим Ти ся, Боже наш, Боже наш, Боже наш, Боже наш...» – звучит на клиросе.

Отец Сергей, со словами молитвы, делает несколько поясных поклонов.

Евдоким почти уже не слышит не только пения, но и этих слов; он только чувствует, о чем может молиться священник, приступая к самому страшному моменту, и сам молится о том же.

«Еще приносим Тебе словесную сию и бескровную службу, и просим, и молим, и мили ся деем²⁶, ниспосли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащая Дары сия...»

Отец Сергей уже поднял обе руки; поднял их и вверх, к небу, и раскинул в стороны, одновременно призывая Бога и открывая перед Ним всего себя, все свое сердце. И, весь охваченный молитвенным порывом, дерзновенно и смиренно просит:

«Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославши, Того Благий, не отъими от нас, но обнови нас, молящих Ти ся».

Глубокий поклон с покаянным вздохом из самой глубины души:

«Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей».

И снова вздымает он вверх обе руки, и снова просит:

«Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа...»

²⁵ «Осанна» – «спасение» (приветственный возглас евреев). Косно – медленно. – *Авт.*

²⁶ Умиляемся.

«Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене...»

«Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа...»

И опять перемена, и он уже внешне почти спокоен, и уже как будто не он, а Святой Дух водит его рукой, благословляющей сначала хлеб, потом вино в Чаше. И почти полным голосом, забыв обо всем: он и Господь одни во всем мире, – произносит величественные слова, обращенные к Нему, Стоящему вот здесь, рядом:

«И сотвори убо хлеб сей Честное Тело Христа Твоего! Аминь».

«А еже в чаши сей Честную Кровь Христа Твоего! Аминь».

И еще медленнее и благоговейнее движется рука, благословляя «обоя», и отдельно, отчетливо, словно печати кладутся на сердце, звучат слова:

«Преложив... Духом... Твоим... Святым... Аминь! Аминь! Аминь!»

Все, почти нечеловеческое, напряжение спадает сразу. И снова перед престолом слабый человек – священник, потрясенный тем чудом, которое Господь только что через него «прियाсти изволил», и вот уже он опустился... нет, не опустился, а рухнул на колени перед Святыми Дарами, со слезами восторга и благоговения:

«Поклоняюсь Царю и Богу моему!...»

«И молим Ти ся, Боже наш!» – последний раз долетает с клироса.

Евдоким не помнил, когда он опустился на колени. Обливаясь слезами, замер он в земном поклоне, и не сразу дошел до него голос отца Сергия, кажется уже не один раз окликнувшего:

– Евдоким, кадило!

Передавая впоследствии свои впечатления семье, Евдоким Лукьянович бессознательно повторял слова, сказанные когда-то послами Владимира Святого:

– Не знаю, на земле я был или на небе.

Глава 15 Леночка

1913 г.

Леночке полтора года. Как все маленькие С-вы, кроме Кости, она нежненькая, крепенькая, как молодой груздок, со светлыми волосиками и темно-голубыми глазками. С возрастом глаза детей постепенно бледнеют, а у каждого нового ребенка снова поражают своей глубиной и безмятежной синевой. У Леночкиных глаз пока нет соперников, ими любуются все, от бабушки до Миши, и она внимательно осматривает ими свой мир, состоящий из нескольких комнат и кусочка занесенной снегом площади перед домом, и каждый раз находит в нем что-то новое.

По установившемуся порядку Еничка два раза в год, к Рождеству и к Пасхе, посылает матери деньги, и та, иногда добавляя что-нибудь от себя, присылает посылки с подарками для детей и с разными вещами, которых нельзя достать в селе. В последней рождественской посылке было вязаное, из мягкой шерсти детское платьице, синее с красной отделкой, и красные фланелевые ботиночки, и малютка, одетая в них, сама кажется пушистой елочной игрушкой. Только игрушка эта отличается неутомимой подвижностью и бегаёт по всем комнатам, нарочно стараясь погромче топтать «настоящими» подошвами ботиночек, которые и сами-то получили название «топыньки». Чаще всего она играет в зале или столовой, но стоит кому-нибудь загреметь умывальником, как она выбегает в прихожую и останавливается около умывающегося, ожидая, чтобы на нее брызнули водой. Дождавшись этого, девочка с радостным смехом бежит к драпировке из сурового полотна, отделяющей столовую от «папиной» спальни, вытирается ею и снова торопится к умывальнику. Леночка – мамина дочка, это всеми признано

и никого не обижает. Она одна спит с мамой в ее спальне, а все остальные – с папой. Дети еще не помнят, что на папино попечение передавался, один за другим, каждый ребенок, когда мама ожидала следующего. Наоборот, еще недавно Сонина кроватка опять стояла в маминой комнате, а детям, то одному, то другому, по очереди, разрешалось иногда спать вместе с мамой, что считалось большим счастьем. Но потом вдруг произошло переселение, на этот раз в такой форме, что на него нельзя было не обратить внимания. Папа решил, что неудобно иметь три детских кроватки в разных углах комнаты, как сделали было сначала: дети разметывались, иногда пугались во сне, чтобы следить за всеми ими, нужно было не спать самому, переходя от одного ребенка к другому. Поэтому он решил устроить одну общую постель. Наглухо закрыли дверь в прихожую, к папиной кровати вплотную приставили другую, а еще дальше третью, детскую. На ней до сих пор спала Соня, уже как большая, без сетки, хотя и случалось не раз, что, сладко потянувшись, она вместе с одеялом оказывалась на полу. На вновь изобретенной широкой кровати, похожей на нары, предназначенной для всего выводка С-вых, эта опасность почти отсутствовала, лежать на кроватях поперек было гораздо просторнее, чем вдоль; маленькая кровать в ногах давала возможность и папе, спавшему с краю, вытянуться во весь рост, а ночью можно было только протянуть руку, обследовать, все ли в порядке в его владениях. Да и дети были спокойнее, чувствуя около себя сильную защиту.

Рядом с папой спал маленький Миша, дальше – Костя, а еще дальше, у самой стены, Соня. Конечно, она уже понимала, что ни волки, ни разбойники не приходят по ночам за детьми (кстати, кровать стояла вплотную к стене, и волку негде было пролезть), но все-таки гордилась своей храбростью и тем, что помогает папе, охраняя своего соседа Костю.

Укладываясь, дети долго возились, пищали, спорили. Как-то все получалось, что, несмотря на широкую постель, одному не хватает места для головы, а другому для ног, что одеяла, рассчитанные на более крупных людей, коротки, а подушки положены неудобно. Наконец все разместились и успокоились, и тогда раздавался чей-нибудь голос:

– Папа, расскажи сказку!

Папа не умел рассказывать сказок про Золушку, про разбойников и Ивана Долгого, про медведя на липовой ноге и других, которые рассказывала мама и няньки; не умел даже, подобно дяде Мише, создавать фантастические путаницы из «Руслана и Людмилы», «Освобожденного Иерусалима», «Конька-Горбунка» и всего, что придет на ум. Зато его сказки ближе к жизни, его можно было попросить рассказать о чем угодно, и он с одинаковой готовностью рассказывал про собаку, жеребенка, самовар или любимую сказку про клопа, блоху и таракана, удивительные приключения которых кончались гибелью этих малосимпатичных героев от руки Немезиды в лице мамы.

Но иногда папа не принимал заказов, а сам выбирал себе тему.

– Сегодня я расскажу новую сказку, – говорил он, – она называется «Как Костя подрался с Мишей».

Снова поднимался взволнованный писк, заинтересованные лица пытались спорить, но одновременно, сознавая бесполезность спора, настраивали уши. Было интересно и немного жутко (для самолюбия, конечно) слушать эту сказку, в которой задевалась и не указанная в заглавии Соня, и иногда целая вереница их друзей и врагов из двуногого и четвероногого мира. Дети смеялись, горячо протестовали, когда преувеличение недавних событий становилось уже слишком фантастическим, и в то же время где-то в глубине их умишек откладывалась мысль, что в будущем лучше не подавать повода для таких «сказок». Добрые намерения, часто разлетавшиеся в прах при новом столкновении с жестокой действительностью!

К концу сказки дети все больше затихали, дыхание делалось ровнее, глубже, и они засыпали, иногда не дождавшись развязки. Проснувшись ночью, отец Сергей видел двоившиеся со сна у него в глазах руки, ноги и головы в самых невероятных сочетаниях, как на поле битвы: рука, а то и нога одного лежала на шее другого; тот свернулся клубочком от холода, лежа поверх

сбитого одеяла; тот повернулся поперек постели; один раз даже кто-то ухитрился устроиться так, что голова лежала внизу, а ноги на подушке. Сходство с полем битвы усиливалось тем, что все эти тела не проявляли никаких признаков жизни, когда отец водворял среди них порядок.

А однажды, уже зимой (это была первая зима Леночкиной жизни и третья – Мишиной), когда в комнате было прохладно и детей сверх одеяла пришлось одеть широкой стеганой рясой, Миша исчез. То есть он не исчез совершенно, он где-то возился и хныкал, но его невозможно было найти. Отец Сергей пошарил под одеялом – нет, сунул руку между одеялом и рясой – нет, сверх рясы – то же нет. И лишь тогда, когда зажег спичку, он понял, в чем дело: Миша забрался в широкий рукав рясы, как раз подходивший для его тельца, и постепенно спускался в нем до тех пор, пока ноги начали мерзнуть, а самому стало душно. Только тогда он подал голос.

Существовавший порядок нарушился только один раз, когда родился и через две недели умер Риня и в то же время Соня заболела свинкой. Едва оправившейся Евгении Викторовне пришлось, уединившись в своей маленькой комнатке, к которой не подпускали остальных детей, возиться сразу с двумя больными. Поэтому братья и сестры почти не помнили Ринечку: мальчики его почти не видели, а Соня была поглощена своей болезнью и даже на похороны не могла идти.

* * *

Она пела, а сама ломала руки и плакала.

Много тут было песен, но еще больше слез.

Андерсен. Мать

Видех младенца умирающа, и жизнь свою оплаках.

Чин погребения священников

Эта зима была тяжела для семьи. Ближе к весне заболели корью мальчики, а через несколько дней, когда они оба начали немного оправляться, свалилась и Леночка. Корь не считалась серьезной болезнью. Народный опыт говорил, что каждый ребенок должен переболеть ею, всего лучше, если в возрасте от одного до пяти лет, и что при этом важен только хороший уход. Матушка, которая когда-то выходила Соню и теперь почти уже выходила двоих сыновей, могла считаться опытной в этом отношении; поэтому болезнь Леночки не вызвала особого беспокойства, и сначала никто не обратил внимания на то, что она протекала не совсем так, как у остальных детей. Только на четвертый или пятый день заметили, что температура не спадает, что девочка тяжело дышит и жалуется на боль в груди и боках. Рано утром послали за пятнадцать верст за фельдшером. Но фельдшер Степан Ефимович славился не только своей опытностью, привлекавшей к нему больных даже из тех сел, где имелся свой фельдшерский пункт. Почти в такой же мере он был известен пунктуальной медлительностью, с которой составлял лекарства и мыл руки после каждого больного. Он мог выехать, лишь окончив длинный дневной прием, приехал поздно вечером и только подтвердил диагноз, ясный в это время уже и неспециалисту: крупозное воспаление легких в тяжелой форме.

Болезнь прогрессировала быстро. Если мальчиков старались не оставлять одних просто для того, чтобы вовремя подать пить или выполнить случайное желание больного ребенка, то теперь скоро стало ясно, что от постели девочки нельзя отходить ни на шаг, что каждую минуту может потребоваться срочная помощь. А чем помочь? Компрессами, той микстурой, которую больше для очистки совести прописал Степан Ефимович, сам, по-видимому, не надеявшийся на благоприятный исход болезни? Родителям казалось, что они помогут одним своим присутствием. Не смыкая глаз, чередовались они у кровати Леночки. И вот теперь, вечером шестого

дня болезни, когда остальные дети спокойно спали, Евгения Викторовна сидела около нее и тихим, еще ослабевшим от переутомления голосом напевала:

Улетел орел домой,
Солнце скрылось за горой,
Ветер после трех ночей
Мчится к матери своей...

Девочка металась на своей маленькой кроватке, в комнатке с затемненными, не открытыми даже на ночь окнами. Глазки у нее были закрыты, дыхание хриплое, тяжелое. Когда мать запела, она ненадолго присмирела, потом снова беспокойно задвигала головкой то в одну, то в другую сторону...

– Мама, не эту, про козлика!

Евгения Викторовна перевернула обратной стороной горячую подушку и запела наивную песенку про серенького козлика, которого очень любила бабушка. Леночка затихла, как будто забылась, но песня все звучала, чтобы молчание не разбудило ребенка.

Дверь тихонько скрипнула. Вошел отец Сергей:

– Ну что? Как?

– Все так же. Только что забылась. Нет, опять мечется.

Отец Сергей положил на горячий лобик дочурки прохладную, не успевшую согреться руку.

– Леночка, ты меня слышишь?

Леночка с трудом открыла воспаленные синие глаза, казавшиеся громадными на ее исхудавшем личике. «Папа!» – прошептала она и улыбнулась, но улыбка вышла такой жалкой, что по щекам матери покатались давно сдерживаемые слезы, а отец крепко, так, что обозначились скулы, сжал зубы и отвернулся.

– Ты бы прилегла, Еничка, а я посижу, – сказал он через некоторое время, глядя на осунувшееся, побледневшее лицо жены, окруженное высоким валиком растрепавшихся темно-русых волос. – Измучилась ты!

Она отрицательно покачала головой:

– Нет, я все равно не засну. Ложись лучше ты, ты тоже измотался за эти дни, а ночью едва ли спать придется, ей всегда хуже ночью.

Она не добавила, что нужно ждать кризиса, они и так все время думали об этом. Но отец Сергей действительно измотался: шел Великий пост; деля с женой ночные дежурства около больных детей, он не мог отдохнуть после напряжения первой недели, а сегодня были похороны, пришлось провожать покойника по проваливающейся весенней дороге с самого конца села и потом сразу же идти причащать тяжелобольного. Поэтому, несмотря на беспокойство, отец Сергей заснул тяжелым сном, едва голова его коснулась подушки. Еничка тоже задремала, склонив голову на спинку кроватки дочери. Очнувшись через некоторое время, она только взглянула на ребенка и тихонько прошла в спальню мужа.

– Сережа, вставай, плохо, – вполголоса, чтобы не разбудить детей, сказала она.

Леночка лежала разметавшись. Прерывистое дыхание со свистом вылетало из тяжело поднимавшейся грудки, жар еще усилился, язык был обложен. Время от времени девочка соскабливала исхудавшими пальчиками, видимо, беспокоивший ее белый налет и, не открывая глаз, протягивала матери. Постепенно эти движения становились реже, дыхание медленнее. Склонившись над кроваткой, Евгения Викторовна тихонько позвала:

– Леночка!

Помутившиеся глазки на мгновение открылись, потрескавшиеся губки чуть слышно прошептали: «Мама!» Дыхание становилось реже.

– Леночка, дочка!

Длинные, крепко сжатые ресницы чуть-чуть дрогнули. Вздохи сделались еще реже, наконец прекратились совсем.

Маленький гробик, стоящий в зале, уже обит белым коленкором. На углах коленкор аккуратно подогнут и прибит мелкими гвоздиками: это работали ловкие руки отца. Мать украшает верхнюю часть гробика – ребро, на которое будет накладываться крышка, – рюшкой. Это длинная, вырезанная по обеим сторонам зубчиками ленточка из коленкора. На равных расстояниях она закладывается складочками и прибивается гвоздиками, но молоток в материнских руках ударяет криво, гвоздики гнутся и плохо идут в дерево, а зубчики рюшки неровные: их вырезают неопытные руки сестренки. На белой крышке гроба аккуратно прибит восьмиконечный крест из розовой ленты, под коленкор, посланный на дно гробика, набросана душистая богородичная травка, ею же набита и маленькая подушечка. На подушечку кругом воскового личика маленькой покойницы Евгения Викторовна укладывает лучшие цветы из своего свадебного букета – белые розы, сирень, ландыши, жасмин. Соня с удовлетворением отмечает, что, хотя у Ринечки подушечка была из голубого атласа, гробик Леночки выглядит не хуже, пожалуй, еще наряднее.

Детей не принято хоронить с выносом, но неужели отец не проводит дочку? Он провожает маленький гробик в облачении, под торжественный и печальный, хватающий за душу колокольный звон. Соня несет маленькую иконочку Божией Матери, лежавшую в гробике, ее подружка Аня несет крышку. Но, вполне проникнувшись сознанием важности своих обязанностей, Соня все-таки замечает, что мама не рыдает, бросаясь на шею то одной, то другой из присутствующих женщин, как рыдала недавно жена учителя, Марья Григорьевна, когда у нее умерла Ниночка. Мама плачет тихо и сдержанно, но ее делается так ужасно жалко.

Ночью Соня проснулась уже в третий или четвертый раз и села на диване, на котором спала с тех пор, как заболели мальчики, – села с твердым намерением не засыпать больше, чтобы преодолеть мучивший ее кошмар. Несмотря на то, что, просыпаясь, она старалась думать о самых приятных и интересных вещах (так ей в подобных случаях советовали мама и бабушка), ей снова и снова снился все тот же страшный сон. Ей снилось, что Леночку зарыли живую и что она задыхается и плачет в своем гробике.

Соня решительно подтянулась в уголок, прижалась спиной к спинке дивана, чтобы не было страшно, и приготовилась думать о том, как установится настоящая, теплая весна и как они поедут в Самару к бабушке. Но сломанная диванная пружина предательски загремела, спинка скрипнула, и в прихожей послышались тихие шаги мамы.

– Ты не спишь, дочка?

– Нет, я видела страшный сон.

Мама присела на диван рядом с Соней, и та заметила, что она совсем одета, словно и не ложилась, хотя в спальне было темно. Инстинкт подсказал девочке, что сна рас сказывать не следует, а нужно только покрепче прижаться к маме, что мама и сама рада тому, что она проснулась. И странно: мама, тихонько поглаживая ее волосы, тоже начала говорить о том, что скоро установится весна и они поедут к бабушке. Может быть, ей тоже приснился страшный сон.

Постепенно мысли Сони стали путаться, и она уснула крепко и спокойно, но мама еще долго сидела около нее, гладила ее волосы и думала.

В этот год Соню в первый раз брали к пасхальной заутрене. Соня с нетерпением ждала этого дня и стояла у заутрени в каком-то необыкновенном, восторженном состоянии. Все ее поражало и восхищало: и необычная ночная служба, и яркое освещение, и радостные напевы, в которых так часто повторялись слова: «Христос Воскресе!» – пока единственное, что она понимала из этой службы. Радовало и новое пышное платье, и сознание того, что она большая,

ей уже целых семь с половиной лет. Словом, вернувшись домой, она не слышала под собой ног от восторга и, несмотря на легкую усталость, была так возбуждена, что нечего было и думать уложить ее спать. Она присела на мамин стул у стола, а мама порылась в левом ящике буфета, который она последние дни держала на ключе, и, подойдя к Соне со словами: «Ну, давай еще раз похристосуемся», – подала ей маленькое, точно голубиное, деревянное яичко с тонким рисунком по красному фону. Внутри яичка лежала брошка – летящая бронзовая ласточка с грушевидной подвеской из аметиста в клювике.

– А это мальчикам, – показала мама, когда Соня вдоволь налюбовалась своим подарком. Яйца, предназначенные для мальчиков, были очень крупные, с одинаковым рисунком, только немного различались цветом. Но, несмотря на свою величину, они не прикрывались, потому что в них лежали маленькие автомобильчики. Это была совершенно новая, никогда не виданная игрушка, и Соня, пожалуй, позавидовала бы ей, если бы сама не получила такой великолепный подарок. А мама опять рылась в картонной коробке от подарков.

– Бабушка еще не получила моего письма, когда посылала посылку, – сказала она странным голосом, – вот посмотри.

В руке Сони очутилось гладкое красное яичко, величиной с куриное, и в нем пушистый желтенький цыпленок, совсем как настоящий.

При взгляде на него восторженное настроение Сони вдруг исчезло. Сразу были забыты и пасхальная заутреня, и новое платье, и брошка, и то, что она большая. Держа в руках маленький пушистый комочек, она горько заплакала, вспоминая светловолосую девочку, которая никогда не будет играть им.

Лицо Евгении Викторовны болезненно дрогнуло.

– Сонечка, деточка, не плачь, сегодня нельзя плакать, знаешь, какой сегодня день, – заговорила она, взволнованно глядя головку дочери. – Пасха, сегодня Христос воскрес, сегодня можно только радоваться, а не плакать. Успокойся, деточка! Тогда и Леночка, глядя на нас оттуда, будет радоваться, ты знаешь, ей там хорошо, много лучше, чем здесь. – Евгения Викторовна остановилась и с трудом глотнула воздух. – А нам, конечно, жалко, что мы ее больше не увидим, но все-таки нужно сдерживаться, особенно в такой день!

Глава 16 Могилки

1913 г.

В этом году дети, а пожалуй, и их мать, в первый раз открыли, что в селе существует кладбище – «могилки», как там называли. То есть, конечно, они знали о нем и раньше, даже ходили туда в те дни, когда там служилась общая панихида, но оно занимало в их жизни не больше места, чем любая дорога, по которой им приходилось проходить. Теперь они постоянно бывали на могилках; это было почти святое место, нечто среднее между церковью и церковной оградой, место, где можно играть, но куда нельзя ходить босиком. Придя туда, нужно, прежде всего, помолиться около Леночкиной могилки (впоследствии этот обычай распространился и на другие знакомые могилки), немного посидеть с мамой около нее, а потом уже можно было идти играть, но непременно бегать только по извилистым тропинкам между могильными холмиками, ни в коем случае не наступая даже на самые старые из них.

Обычай обуваться, идя на могилки, продержался несколько лет и исчез, кажется, еще при жизни матери. Этот обычай исчез, но привычка зайти помолиться перед крестами родных и знакомых и почтительное стремление не оскорбить праха давно умерших, наступив на едва заметный могильный холмик, сохранялись даже тогда, когда на «могилках» кипели отчаянные

бои с индейцами и черкесами и коварный враг подстерегал в каждой ямке. Да и не только тогда, а и гораздо позднее, когда все стали уже взрослыми.

Кладбище находилось очень близко от церкви, нужно было только пройти мимо сада, примыкавшего к ограде, и перейти через дорогу; его даже немного было видно из окон священнического дома. Было оно маленькое, бедное, обнесенное со всех сторон канавой, по валу которой проходил ветхий плетень. В задней, южной, части кладбища плетень довольно далеко отступал за канаву, показывая, что мертвым стало тесно в первоначально отведенном для них месте. Там, у самого плетня, находились три постепенно зарастающие длинной травой ямы разной глубины и крутизны – остатки в разное время осыпавшихся «ледников»²⁷, в настоящее время любимое место детских игр. С западной стороны плетень тоже был на некотором расстоянии сломан, захватывая чье-то опустевшее гумно, – наступление мертвых на живых продолжалось. Но на новом месте долгое время сиротливо ютилась только одна могила, остальных покойников предпочитали хоронить поближе к «родителям».

На всех могилках простые деревянные кресты с прибитыми к ним маленькими иконочками или медными литыми крестиками. Кресты часто покосившиеся, потерявшие одну из своих перекадин, иногда с двумя дощечками, прибитыми в виде крыши от верхушки к концам верхней перекадины и непременно осьмиконечные – никогда не приходится забывать, что в селе треть жителей старообрядцы, а это накладывает особый отпечаток и на быт остальных. Налево от входа красуется небольшой дощатый куб с вершиной в виде низкой усеченной пирамиды, увенчанной небольшим крестиком. Памятник когда-то был покрашен серебристой, теперь потускневшей краской, и на его сторонах до сих пор видны слова: «Здесь покоится прах дорогого родителя и деда Никиты Архипова Страхова». Это местный маляр и бывалый человек Сергей Страхов, по-уличному Мазурин, соорудил такой памятник над гробом своего отца.

Ни кустика, ни деревца. Только от ворот тянется продолговатая прямоугольная лужайка, покрытая яркой зеленью, а весной лютиками и одуванчиками. На этой полянке совершаются торжественные общие панихиды на Пасху и Радоницу, прежде чем служить отдельные, на каждой могилке. Отсюда же, с общей панихиды, начинается и хождение по полям во время засухи. В соседних селах нет таких лужаек, и островцы гордятся своей, ревниво следят, чтобы на ней не рыли могил.

В обычные дни кладбище безлюдно. Постоянными его посетителями являются лишь телята, привлеченные сочной травкой. «Много Бог, много бык», – несколько лет спустя называла кладбище двухлетняя Наташа.

Изредка появится группа людей, провожающих гроб, да какая-нибудь сирота-невеста, по обычаю, придет вечером получить материнское благословение и «вопит» – причитает, обняв покосившийся крест, до тех пор, пока ее чуть не насильно оторвут и уведут домой.

Только одна сторона кладбища выглядит приветливее других, и здесь, направо от входа, на зеленом холмике, примыкающем к заповедной лужайке, схоронили Леночку. Холмик в виде вала тянется вдоль плетня, а за плетнем разросся неширокий, но тенистый фруктовый сад. Громадная яблоня, склонившись, раскинула ветки почти над самой могилкой, и весной розовато-белые ароматные лепестки падают на нее, словно крупные хлопья снега.

На могилке стоит белый крест из круглых кусков молодого дубка. Крест прочный, как памятник; его основание, для предохранения от гнили, обожжено на костре и густо обмазано смолой, а белая краска постоянно возобновляется; детям и крестьянам он представляется верхом роскоши, но таким ли кажется он родителям, привыкшим видеть в городе мраморные и литые чугунные кресты и памятники?

²⁷ Ледник – погреб, где держали умерших от несчастных случаев, ожидающих вскрытия, что случалось, пожалуй, не каждое десятилетие. – *Авт.*

Могилка аккуратно, в форме гробницы, обложена дерном и засеяна сверху овсом. С этого времени, до тех пор, когда отец Сергей сделал прочную оградку, телятам объявляется беспощадная война. Но вот оградка поставлена и, как и крест, тщательно покрашена. Привезенные из Хвалынского разноцветные аютины глазки пестреют на могилке вместо кудрявой зелени овса, а среди них выделяется крест из незабудок. Во время обычной летней поездки в Самару Евгения Викторовна ухитряется даже привезти венок – крупные жестяные незабудки, несколько нежных фарфоровых белых и бледно-розовых роз и пара веток белой сирени.

Венок, окружающий маленькую иконочку Божией Матери, делал наряднее скромный крест. Но теперь, когда решетка, запертая на замок, защищала могилку от телят, появились новые враги – мальчишки. Метко направленными камушками они постепенно разбили все розы на венке; несмотря на то, что оградка была просторна, а ее дощечки часто сбиты и заострены, как-то ухитрились откручивать тонкие проволочки сирени, срывать живые цветы. Только толстая проволока скрепленных по несколько штук незабудок еще выдерживала, да и то один раз Евгения Викторовна видела такой пучок на шапке разгуливавшего по селу рекрута. Впрочем, это, кажется, был единственный трофей, попавший в руки разрушителям; обычно обломки падали в густую зелень около креста, и достать их снаружи не было возможности, но хулиганы все-таки продолжали свое дело. Евгению Викторовну это страшно волновало, бередило еще не зажившую рану. Случалось, она плакала, ходила к матерям замеченных ребят, но все было напрасно. Разрушители отступались только тогда, когда все, что можно, было разрушено.

Каждый вечер Евгения Викторовна приходила на кладбище и сидела там, сначала на зеленой траве, потом на маленькой скамеечке в оградке до тех пор, пока наступало время ужина. Да и днем, если ее не оказывалось на обычном месте у стола или в кухне, можно было с уверенностью сказать, что она на кладбище.

– Нельзя так убиваться, Еничка, – пытался уговаривать ее муж, – это даже грешно. Ты же веришь, что Бог взял ее, потому что так лучше для нее. Нужно покоряться воле Божией и не забывать, что у тебя есть еще дети.

– Не могу, Сережа, – беспомощно отвечала она. – Я сама все это знаю, сама Соню успокаивала почти такими же словами, но... не могу.

И действительно, мысли о Леночке завладели всем ее сознанием. Просматривала ли она взятые у соседей для Сони толстый сборник детских рассказов и стихов, ей, прежде всего, бросалось в глаза стихотворение «На смерть дочери», декламировала ли она, по старой памяти, Соне стихи, это опять были стихи об умерших детях; пела ли за работой, и тут чаще всего пелось о лежащем в гробике малютке. Из Самары она привезла ноты – редкий случай, сама она, без поручения мужа, почти не покупала нот. На этот раз она купила романс, который раньше несколько раз слышала от брата Миши: «Дитятко, милость Господня с тобою!» – опять бред умирающего ребенка и слезы матери над ним. Когда Миша К-в исполнял эту вещь на студенческом вечере, одна женщина, недавно потерявшая ребенка, упала в обморок. Перед сестрой Миша не стал петь, отец Сергей, когда она привезла ноты, также отказался. Тогда она сама, потихоньку, по памяти, пела ее за работой, и в голосе, и на ресницах ее дрожали слезы.

– Я не понимаю, – сказала она раз Соне, – как это матушка березовская говорит, что испугалась бы, если бы увидела свою умершую Фаню. А вот я сижу и думаю: если бы сейчас отодвинулась занавеска и вошла Леночка, как бы я обрадовалась!

Кончилось тем, что Евгения Викторовна заболела. Она не слегла, но здоровье ее начало внушать серьезные опасения. Тогда уже не только муж, а и все родные напали на нее, даже и сама она наконец-то взяла себя в руки и начала по-настоящему лечиться. Опытный врач кроме лекарства предписал ей утренние прогулки. С тех пор она вставала утром перед семью часами, будила Соню, и они тихонько шли за село – на пески, недавно засаженные уже начавшим разрастаться тальником, или на бугор, где стояли три мельницы-ветрянки. Добравшись

до назначенного места, они усаживались, доставали принесенный с собой завтрак и с аппетитом закусывали, что не мешало, вернувшись обратно, пить чай и закусывать уже вместе со всеми. Может быть, этот-то пробужденный ранними прогулками аппетит и сами прогулки на чистом утреннем воздухе, когда болтовня возбужденной новыми впечатлениями дочери не давала сосредоточиться на горьких мыслях, и была самым серьезным лекарством, восстановившим силы больной и заставившим ее отчасти забыть свою потерю. Но окончательно успокоилась она только через полтора года, когда в беленькой кроватке, опять придвинутой к ее койке, появилась маленькая Наташа и посмотрела на мать большими синими, как у Леночки, глазами. И недаром ей доставалось столько нежных слов, столько ласковых изменений имени, сколько не доставалось, быть может, даже Соне, когда она была еще единственной. Евгения Викторовна любила Наташу и за нее самое, и за ту, которую она своей беспомощностью, своим детским лепетом все больше напоминала и заменяла.

Невольно вспоминаются слова добрейшего отца Ивана из новиковского «Рождения музыканта»: «...Мы, неразумные, по ушедшим скорбим, а в жизнь шествующих не видим. Невластная она, смерть!»

Глава 17

Отец Серапион

Чуть ли не в первый, во всяком случае не позднее второго года служения в Острой Луке, отец Сергей был выбран депутатом на епархиальный съезд и состоял им до 1913 или 1914 года. Скоро все постоянные участники съездов узнали беспокойного депутата, невзирая на лица отстаивавшего те положения, которые считал правильными, и не боявшегося в самых щекотливых случаях попросить тайного голосования или заявить особое мнение. Вместе со своим старшим другом и единомышленником отцом Зиной Георгиевским, таким же неугомонным, но более опытным, они не раз склоняли духовенство на свою сторону, даже в тех случаях, когда епископ Симеон (единственный из архиереев, пытавшийся оказать давление на съезд) вызывал председателя и «рекомендовал» ему провести то или иное решение. Съезд в таких случаях кипел и бурлил, страсти бушевали, но, случалось, некоторые батюшки не решались голосовать против настойчиво проталкиваемого предложения, не решались поднять руки и за тайное голосование, так как это означало бы, что они придерживаются того взгляда, который неудобно защищать открыто. Предложение проходило, председатель и секретарь съезда подписывали протокол, но отец Зина или отец Сергей заявляли особое мнение, и под этим мнением, расхрабрившись, подписывалось больше половины присутствующих. Вопрос проваливался не просто, а с треском.

Таким образом было провалено предложение о прибавке жалованья противосектантскому миссионеру Алексееву.

Батюшки справедливо рассудили, что Алексеев все равно ничего не делает, а скудные епархиальные средства лучше истратить на пособия нуждающимся вдовам или на новые пальто епархиалкам²⁸, у которых старые стали совершенно неприличными. Зато предложение покрыть линолеумом полы в столовой епархиального училища было отклонено подавляющим большинством голосов, как излишняя роскошь. Не одну сессию кипели страсти вокруг дела отца Альбакринова, заведовавшего свечным заводом и обвиненного чуть ли не в растрате. Победило все-таки предложение двух друзей и их союзников пригласить авторитетного эксперта-специалиста. Заключение этого эксперта полностью оправдало Альбакринова.

Постепенно отец Сергей увлекся другим делом – начал писать в «Епархиальные Ведомости». Далеко не все статьи пропускались. Отец Сергей отчасти объяснял это тем, что его посто-

²⁸ Воспитанницам епархиального училища.

янным оппонентом заделался влиятельный в городе протоиерей Меньшов, инспектор епархиального училища. Получив обратно не принятую по таким-то и таким-то причинам (следовали пункты) статью, молодой автор иногда горячился, но не унывал, а садился переделывать ее и снова посылал.

За подобной работой застало его сообщение, что он награжден набедренником²⁹. А вскоре приехал брат Евгений Евгеньевич и рассказал, что их дядя, Серапион Егорович, в то же самое время был представлен к наперсному кресту, но архиерей его вычеркнул.

– Это он из-за меня пострадал, – ахнул отец Сергей и на вопрошающий взгляд отца Евгения объяснил:

– Архиерей прекрасно знает, что есть какой-то беспокойный С-в, который везде сует свой нос. И вдруг представляют к награждению двух С-вых, и у обоих одинаковые инициалы, который же из них Сергей? Ну, конечно, не молодой, которого к первой награде представляют, а более пожилой и более заслуженный. Вот и плакал дядин крест.

– Пожалуй, это похоже на правду, – согласился Евгений Евгеньевич. – А может быть, дядя сам что-нибудь начудил?

– Где? У архиерея или в консистории?³⁰ Что ему делать? Он у соседей чудит, у благочинного, так тот его друг, не обижается. Представил же было к награде.

Отец Серапион действительно пользовался славой чудака. О его выходках рассказывали многие. Были, например, такие случаи.

Возвращаясь ночью из Самары, он заехал к своему другу благочинному, завел лошадь в знакомую конюшню и увидел, что там уже стоит чья-то чужая пара.

– Это из Землянок благочинный приехал, – сообщил вышедший на скрип ворот работник.

«Из Землянок – значит, с отчетом, значит, деньги везет в Самару», – сообразил отец Серапион и, оставив лошадь на попечение работника, обошел дом с противоположной стороны, подошел к окну кабинета, где обыкновенно хозяева устраивали на ночь гостей, и постучал.

– Кто там? – ответил сонный голос.

– Давай деньги!

– Это ты, Серапион! – узнал хозяин. – Нейдется тебе! Гостя у меня перепугал.

Второй случай похож на известный анекдот, но ведь анекдоты тоже берутся из жизни. Отец Серапион свел между собой двух своих гостей – заик, не знавших друг друга, и из соседней комнаты наблюдал за тем, как они рекомендуются, а потом возмущаются, каждый думая, что другой предразнивает его недостаток. Хозяин явился как раз в тот момент, когда недоразумение грозило перейти в ссору.

Таким он был известен во всем округе и чуть ли не на всем протяжении большой дороги от Самары до Оренбурга. Ведь все духовенство, проезжавшее по этой дороге, всегда заезжало к нему отдохнуть и покормить лошадей. О его чудачествах много рассказывали, но только самые близкие знали его с другой стороны, и в их рассказах он выглядит гораздо мягче, сердечнее.

Был когда-то отец Серапион высоким, худющим, длинношеим, нескладным семинаристом. Еще более нескладности придавало ему то, что он, из каких-то своих соображений, наголо брил голову. Жил он не в общежитии, а на частной квартире, вместе с несколькими товарищами. Среди товарищей был некто Петр Вершинский, ничем, пожалуй, и неприметный, кроме того, что у него было еще двое братьев и чуть ли не семь сестер. И вот однажды, когда семинаристы мирно занимались в своей комнате, один из них принес сенсационное сообще-

²⁹ Четырехугольный плат с изображением креста, который в виде первой награды дается священникам и носится на правом боку поверх облачения.

³⁰ Учреждение при архиерее для управления епархией.

ние: к Петру Вершинскому приехала сестра, они сейчас сидят в зале у хозяйки. И сестра эта – писаная красавица.

Всякому интересно посмотреть красавицу, особенно если она сестра товарища. Семинаристы под разными предлогами входили в залу, а то и просто, без предлога, переходили через нее из дверей в дверь. Душенька не могла даже понять, одни и те же люди проходят или все разные. Только одного она заприметила и спросила брата:

– Петенька, кто этот страшный, с бритой башкой?

«Страшный, с бритой башкой» оказался ее суженым. Душеньке не хотелось выходить замуж. Не то чтобы она имела что-то против жениха, просто она чувствовала, что не вполне здорова, и мечтала о тихой монастырской жизни.

Несколько лет назад, когда ее старшая сестра только что вышла замуж, молодые отправились прокатиться на пароходе до Казани и взяли с собой пятнадцатилетнюю Душеньку.

Прогулка оказалась неудачной, на пароходе вспыхнул пожар. Все кончилось благополучно, но переполох поднялся страшный. Молодой муж все время ухаживал за перепуганной женой, и, только когда она вполне успокоилась, заметили, что Душенька лежит в глубоком обмороке; вот эта несчастная поездка и погубила здоровье девушки, испортила ее сердце. Но вид у нее был здоровый, даже цветущий, и, когда она заговорила о монастыре, отец не поверил ей, счел ее слова за девичий каприз, за выдумку, чтобы избежать замужества.

– Нет тебе моего благословения в монастырь идти, – ответил он, – будь матерью-христианкой.

Душенька покорилась; вышла замуж и в свое время стала матерью сына и трех дочерей, кроме тех, которые умерли в младенчестве.

Отца Серапиона назначили в Яблоновый Враг (Овраг). Село было небогатое, вдобавок зараженное всякими сектами. Было много молокан и даже хлыстов. Отец Серапион начал энергичную и успешную борьбу и с теми и с другими. Зато через некоторое время на калитке его дома появилась записка:

«Ежели ты, Серапион, отселева не уберешься, жизнь твою прекращу, и ты будешь лишен смерти».

Над формой записки можно было смеяться, но смысл оставался грозным. Много поплакала молодая матушка Евдокия Александровна, умоляя мужа перевестись в другое село, дрожа за его жизнь. Он, конечно, тоже волновался, но перевода не просил и деятельности своей не бросил.

Занимался он и хозяйством. По примеру других снимал землю, засеивал ее, только мало получал выгоды. Рабочих на полевые работы он нанимал втридорога, да еще нужно было их кормить, да еще обманом они у него вытягивали малую толику. А когда хлеб был ссыпан в амбар и продан, деньги начали уходить еще быстрее, чем приходили. Крестьяне, пала ли у них лошадь или корова, нужны ли были деньги на свадьбу сына или на постройку новой избы, – со всякой нуждой шли к батюшке. Он отдавал тому «ненужного» теленка, тому жеребенка; если были деньги, давал займы; если не было, запрягал лошадь и ехал, вместе с мужиком, в Самару, к богатым купцам. Там его уже знали, и, не у того, так у другого он устраивал мужику заем со своим поручительством.

За одной нуждой у мужика появлялось еще десять, деньги редко возвращались в срок. Чаше векселя переписывались или подавались ко взысканию. Тогда приезжали чиновники из суда, описывали имущество должника, а кстати, и поручителя. Отец Серапион снова ехал в Самару, занимал в другом месте и оплачивал по опротестованному векселю. Мужик постепенно «справлялся» и постепенно выплачивал долг, но отец Серапион успевал наделать еще других. Сомнительно, знал ли он, сколько получал от хозяйства, сколько ему возвращали долгов и сколько он сам уплачивал по векселям вместе с процентами.

Между тем семейство увеличивалось, старшие дети начинали учиться. В доме постоянно был народ. Ночевали приезжие священники, гостили кто-нибудь из многочисленных матушкиных сестер или братьев с семьями.

На Рождество и на лето приезжал брат батюшки, Евгений Егорович, тоже с семьей. Евдокия Александровна тяготилась этой сутолокой, ей не под силу были заботы о гостях. Она постоянно прихварывала и все домашние дела передоверила старой няньке Авдотье. Вдобавок многодетному отцу ее в свое время впору было только просодержать в семинарии троих сыновей, об образовании дочерей и думать не приходилось, и красавица Душенька осталась едва грамотной. Это ее очень тяготило, она терялась перед матушками-епархиалками, перед женой деверя, Серафимой Серапионовной, окончившей Казанское окружное училище (Вед. Импер. Марии), считавшееся чуть ли не аристократическим. Впрочем, у отца Сергия, ежегодно, до самого рукоположения, гостившего в семье дяди, осталось воспоминание о ласковой, приветливой тете. Особенно об одном случае, когда он, семинарист Сергей, с товарищей Васей Поповым пешком, по колению в воде, перемешанной со снегом, прибрели на пасхальные каникулы в Яблонку. С опасностью для жизни перебрались они тогда через овраг, наполненный рыхлым снегом, под которым бежала вода, и явились на мельницу за селом. Оттуда их, закутав в тулупы, развезли по домам и уложили, под тулупами же, отогреваться. Сергей лежал, наслаждаясь отдыхом и теплом, а тетя Евдокия Александровна, охая и ужасаясь, поила его малиновым чаем с медом и растирала спиртом.

Младшую дочку родители хотели назвать Екатериной, но приглашенный в качестве крестного Евгений Егорович, уже несколько лет как овдовевший, взбунтовался: «Если не назовете Серафимой, ищите другого крестного. Пусть будет вторая Серафима Серапионовна».

Так появилась третья, предпоследняя, Серафима С-ва.

Симе было года три, когда Евдокия Александровна заболела воспалением легких. Земский врач Кряжимский, впоследствии самарская знаменитость, шепнул отцу Серапиону, что надежды на выздоровление нет, да больная и сама это понимала. Пожалуй, она и ничего бы не имела против того, чтобы умереть, если бы не дети. В это время старшему сыну Пане было лет шестнадцать. Женичке – пятнадцать, Полиньке – десять, Коле – пять-шесть, Симе – три года. Кроме того, была больная рахитом Фиса, которая в полтора года еще не ходила, и грудной Сашенька. Во время болезни матери его пришлось отнять от груди, а чтобы его крик не беспокоил больную, нянька Авдотья отнесла его к своим родным, где он впоследствии и умер. Но Евдокии Александровне и без его плача было от чего волноваться. То и дело мелькали фигурки старших детей, раздавались быстрые, частые шажки малютки Симы.

«Пропадет она без меня, – беспокойно думала мать. – Разве отец за всем усмотрит!»

И она горячо молилась, чтобы Господь продлил ее жизнь еще хоть лет на пять, пока подрастут старшие дети и отойдет от рук Сима.

Настал момент, когда вся семья собралась у постели умирающей. Крошка Фиса сидела в ногах ее кровати, остальные стояли кругом. Отец Серапион начал читать отходную. Снова приехал Кряжимский, для вида, без всякой надежды сделал укол камфары и не ушел, а убежал в соседний дом, к псаломщику Василию Сидоровичу, – не мог смотреть на лесенку детей, которые с минуты на минуту должны были остаться сиротами.

– Я там больше не нужен, – сказал он на вопрос хозяев. Отец Серапион читал отходную... Вдруг умирающая открыла глаза и глубоко вздохнула, словно пробудившись от крепкого сна. Взгляд ее остановился на сидящей у нее в ногах Анфисе.

– А ты все еще здесь? – удивленно спросила она.

Отец Серапион несколько времени, не веря глазам, смотрел на жену, потом тихо спросил, боясь надеяться на совершившееся:

– Что, воскресаем?

– Да, – ответила Евдокия Александровна.

Немного оправившись, она рассказала, что ей явился старичок, по-видимому Николай Чудотворец, и сказал ей, что она проживет еще пять лет (или три года, точно не помню, но именно столько, сколько она просила).

Так и получилось. Ровно через пять лет около Введения она поехала в Самару навестить в училище вторую дочку Поленьку и на обратном пути попала в метель. Целую ночь они с кучером блуждали в поле, промерзли; вернувшись домой, Евдокия Александровна заболела, как и в первый раз, воспалением легких и через несколько дней скончалась.

Ранняя смерть избавила ее от лишнего горя. Покорно похоронив маленьких Сашу, Фису и Колю, она, к счастью для себя, не увидела, как умирал старший сын Пантелеимон. Он уже несколько лет болел туберкулезом и последние годы не учился. Летом он целые дни сидел или лежал в палисаднике, ожидая возвращения своего двоюродного брата-одногодки Сережи, ушедшего удить рыбу или просто так, в село.

– Ну, Сергей, что нового? – нетерпеливо спрашивал он.

Сергей начинал выкладывать деревенские новости, которые собирал специально для больного. Паня то слушал с интересом, то вдруг скептически спрашивал:

– Кто сказал? Баба?

– Баба.

– Не верь!

Неожиданная смерть матери так потрясла юношу, что здоровье его окончательно пошатнулось. Уже и он, и отец, каждый в отдельности понимали, что ему не встать, и каждый в отдельности мучились, не зная, как подготовить другого. Начал все-таки Паня.

– Папа, тебе очень было бы жалко, если бы я умер? – спросил он как-то, когда они были одни.

Еще бы не жалко! Он бы посмотрел на отца в его бессонные ночи! Но отец Серапион ответил мягко и почти спокойно:

– Конечно, было бы жалко, если бы ты был такой, как раньше, крепкий, здоровый. А чем мучиться, как ты сейчас, может быть, лучше и умереть. Смерть христианину не страшна.

– Какой груз ты с меня снял! – с облегчением вздохнул больной. – Папа, причаститься бы мне!.. А через несколько времени попросил:

– Папа, помоги мне! Отец Серапион показал на икону Спасителя:

– Что я могу! Проси Его!

* * *

Отец Серапион остался с тремя дочерьми и приехавшей еще при жизни жены помогать по хозяйству ее двоюродной сестрой Александрой Димитриевной. Старшая дочь, Женичка, одноклассница Енички К-рой, недавно ставшей женой Сережи, считалась первой красавицей в классе, да и не только в классе. Даже маленькая Сима, бывшая на десять лет моложе сестры, чувствовала это и довольно своеобразно выразила однажды свое мнение. Она долго задумчиво смотрела на розовое, юное личико двадцатилетней красавицы и наконец спросила:

– Женичка, а ведь ты, наверно, в молодости красивая была?

– Я уж не помню, Серафимка, какая я в молодости была, – в тон ей ответила сестра.

Редкая красота способствовала и развитию у Женички капризного, своенравного характера. Ее проказы иногда переходили границы.

В селе почти ежегодно свирепствовала холера, и у всех членов семьи, начиная с младших, было приготовлено неношеное белье и платья на случай смерти. Женичка сшила себе на этот случай белую блузку и голубой сарафанчик и решила обновить их. Она оделась, легла на пол в спальне, сложила руки на груди и послала Симе позвать гостившего у них Филарета, младшего брата Сережи. Филарет вошел в комнату, посмотрел на лежащую и с ожесточением плюнул:

– Тьфу! Пошла ты ко пси! Эта Женичка вечно что-нибудь выдумает!

Скоро подросла и расцвела и Поленька. Любуясь прелестными девушками, знакомые все чаще говорили отцу Серапиону:

– Кому-то ваши красавицы достанутся!

– Красавицы-то красавицы, а до матери все-таки недотянули, – отвечал он.

После смерти Евдокии Александровны хозяйку в доме заменили двое – Александра Димитриевна и Женичка, и это нередко приводило к столкновениям. Александра Димитриевна до переезда к двоюродной сестре «служила у купцов». Она привыкла учитывать каждую копейку, каждый фунт масла, чтобы иметь запас «на черный день», на приданое или хотя бы на свадьбу тем же племянницам, а Женичка хотела наряжаться, блистать, поставить дом на широкую ногу. И обе они, каждая со своей точки зрения, были недовольны бесхозяйственностью отца Серапиона, тем, что средства, и без того небольшие, уплывают у него между пальцев. Женичка, требуя денег на наряды, иногда устраивала отцу бурные сцены, а Александра Димитриевна точила не торопясь, но основательно. Случалось, целыми днями и вечерами толковала она о том, что другие отцы заботятся о дочерях, припасают им приданое, тысячи имеют в банке, а у него до сих пор копейки на книжке нет. Отец Серапион терпеливо молчал, отшучивался, иногда отвечал:

– Моих красавиц и в рубашке возьмут.

Но иногда и ему становилось невтерпещ; он начинал ходить по комнате, напевая какое-нибудь церковное песнопение. А то запрягал лошадь и уезжал куда попало, в поле или к соседним священникам.

Наконец Женичка выбрала себе жениха, красивого, веселого, но, как оказалось впоследствии, пьяницу и дебошира. Несколько лет мучилась с ним несчастная красавица; куда делось ее прежнее своенравие, она сделалась тихой и терпеливой. Наконец, на 35-м году жизни она умерла, заразившись туберкулезом от мужа, которого пережила всего на полгода, и оставив на попечение отца и Симы троих маленьких детей.

В 1913 году, когда отец Серапион неожиданно лишился награды, Женичка была еще жива, а остальные «прелести» его жизни далеко не всем были известны, он прятал их за своими чудачествами. Даже его племянники, с тех пор как обзавелись семьями и перестали ездить к дяде на лето, многого не знали. Если отец Сергей огорчился за дядю, то не потому, что видел в этом деле еще одну неприятность в массе других, а потому, что это была явная несправедливость. Несколько горьких слов в дневнике показывали, до чего он был возмущен и озадачен самой возможностью такого факта. Зато как обрадовался, когда через некоторое время встретился с отцом Серапионом на съезде в Николаевске и увидел у него на груди наперсный крест.

– Дядя, получили, наконец! Поздравляю! – радостно приветствовал он.

Отец Серапион, покосившись на соседей, буркнул:

– Молчи, молчи! Давно пора! И, целуясь с племянником, объяснил:

– Это покойного тестя крест. Отца Александра Вершинского.

* * *

Съезд, на котором встретились дядя с племянником, не был обыкновенным съездом духовенства; его созвали в связи с предстоящими выборами в четвертую Государственную Думу. Выборы эти были многоступенчатыми, и от участников их требовался солидный земельный ценз. Землевладельцы, имевшие указанное количество земли, собирались на «съезды крупных землевладельцев» и избирали на них выборщиков, а затем выборщики, на своих съездах, уже выбирали депутатов. Но был еще третий, вернее первый, этап, «съезды мелких землевладельцев», в число которых входило и духовенство, имевшее в своем пользовании по несколько десятин церковной земли. Исходя из общего, на всех участников съезда, количе-

ства земли, они выбирали нескольких представителей на «съезд крупных землевладельцев». То есть если общее количество земли составляло четыре цензовых минимума, выбирали четырех человек, если десять, то десятерых и т. д. Разумеется, на съезде произносились речи, давались наказания. Духовенство больше всего говорило о своем наболевшем вопросе, о назначении жалования, о том, как тогда формулировалось, чтобы сравнить православное духовенство с католическим и лютеранским духовенством западных областей. Взял слово и отец Сергей – и неожиданно для всех заговорил о том, что жалование жалованием, а в первую очередь нужно добиваться наделения крестьян землей.

Оратор не заметил, как при этих словах присутствовавший на съезде пристав вышел из зала, не придавая значения и тому, что еще через несколько времени, уже в конце его речи, тихонько вошел какой-то военный и опустился на одну из задних скамей.

– Что это вы, отец, начальство зря тревожите? – шутливо сказал сосед, когда отец Сергей вернулся на свое место. – Какое начальство?

– Разве вы не видите, исправник явился. Вызвали его, как только вы о земле заговорили, видно, ожидали, что начнутся еще более бунтовщицкие разговоры. Вот я и говорю – побеспокоили начальство.

После этого выступления закончилась карьера отца Сергея в качестве депутата на епархиальные съезды. Больше его не выбирали.

Глава 18

Мама молится

Мама стоит на коленях около кровати и молится. Комната маленькая, изголовье кровати подходит почти в самый угол, где иконы. Перпендикулярно ей, подушки с подушками, уставлена Сонина кровать, а на середину комнаты, поближе к матери, почти всегда выдвигается маленькая детская кроватка. Маме негде делать настоящие земные поклоны, как в церкви; кланяясь, она опускает голову на кровать и иногда подолгу замирает так и что-то тихо шепчет. А иногда, наоборот, поднимает голову, даже немного закидывает ее назад – так ей, должно быть, лучше видно иконы, – и глаза у нее делаются большие-большие, и она не просто шепчет, а словно разговаривает с кем-то, что-то рассказывает, просит... А потом крестится широким крестом, крепко прижимая пальцы ко лбу и груди, и опять кланяется до кровати.

Когда Соня была маленькой и мама брала ее спать на свою постель, ей всегда в это время хотелось сесть около мамы и поплотнее прижаться к ней. Ей казалось, что никогда около мамы не бывает так хорошо, как в эти моменты. Мама обнимала ее левой рукой, а правой продолжала креститься. Кланяться с Соней неудобно, но она все равно кланяется, только не замирает, наклонившись головой до кровати...

Вот она высоко откидывает голову, но ничего не шепчет, и глаза закрыты, но какое у нее лицо! Соня не знает слов «умиление», «благоговение», а если бы знала, наверное, именно они и подошли бы сейчас. Еще совсем недавно Соня попробовала молиться так же, с закрытыми глазами, у нее ничего не получилось. А потом ей пришло в голову, что мама просто дремлет; так почему же у нее такое лицо? Когда Соня спросила ее, мама улыбнулась и ответила, что она не дремлет, а с закрытыми глазами лучше чувствует Бога. Как это, должно быть, хорошо, так Его чувствовать!

Сегодня мама реже стоит с закрытыми глазами, зато больше разговаривает и просит и чаще лежит лицом на кровати. Соня знает, почему это. Мама молится о папе. Папа болен. У него начинается та самая болезнь, от которой умерла его мама, когда он был маленький, чуть побольше, чем теперь Соня. Врачи велют ему пить кумыс, и он скоро поедет куда-то далеко, в какое-то место, которое так трудно называется... Бар-ба-шина поляна... Вот!

Мама шьет ему новое белье, а Соня красной бумагой по канве вышивает букву «С» на полотенцах и простынях. Ее немного смущает, что буквы получаются такие большие, гораздо больше, чем на узоре, и, кажется, немного кривые. Но папа и мама говорят, что это ничего, не очень заметно.

Мама молится, а папа сидит у стола и перелистывает тетрадь, которая называется «Записки сумасшедшего». Там у него записаны интересные вещи, он иногда читает их вслух. Там записано про мальчика, который в первый раз пришел исповедоваться. Папа спросил его: «Может быть, ты маму не слушался?» А он отвечает: «Весь день сусаюсь».

Сейчас отцу Сергию не до старых записей. Он берет лист бумаги и начинает писать письмо. Письмо жене. Он благодарит ее за то счастье, которое она принесла ему; просит не отчаиваться в случае его смерти, воспитать детей добрыми, честными и верующими... «Я знаю, что это сумеешь!» И еще несколько слов горячих, ласковых...

Небольшая записочка, но сколько в ней любви, сколько доверия к той, которая сейчас там, за стеной, молится о нем.

Он положит записку в дневник. Если не удастся победить болезнь и он умрет (иногда это случается очень быстро), жена найдет ее...

* * *

Евгения Викторовна умерла на двенадцать лет раньше мужа, записка так и осталась лежать в дневнике. После смерти отца Сергия ее прочитали их дети. В тот раз все окончилось благополучно, не пришлось даже ехать в Барбашину поляну, где тогда еще росла целебная степная трава и стояла кумысолечебница. Оказалось, что кумыс можно достать проще, его изготавливал один татарин в Брыковке, за пятнадцать верст от Острой Луки. А местный кумыс ничуть не хуже, чем в лечебнице, они уже испытали это несколько лет назад. Пришлось только нанять девчонку-подростка, чтобы она через день ездила за ним. А потом Евгения Викторовна научилась делать кефир, настоящий, целебный, заменяющий кумыс, такой же крепкий и пенистый, могущий выбить из бутылки плотно забитую и затянутую проволокой пробку. Отец Сергей, да и все остальные, пили его и в этом году, и в следующем. От начинающегося туберкулеза, которым грозил ему известный врач, не осталось и помина.

Глава 19

Дети

– Посмотрите, воробышек! Это птенчик, он из гнезда выпал.

Воробышек сидел нахохлившись в уголке около завалинки. Казалось, он сильно озяб или испуган своим приключением. Костя протянул было руку, чтобы взять птенчика, но Соня отстранила его:

– Подожди, ты не умеешь!

Осторожно, двумя сложенными в виде лодочек ладошками она взяла воробышка и понесла домой. Братишки поспешили за ней, крича в комнату: «Мама, воробышек из гнезда вывалился! Он теперь у нас будет жить, мама, да?»

Птенчика посадили среди пола в зале, насыпали ему крошек пшена, поставили в блюдце воды и расселись на корточках, с интересом наблюдая за каждым его движением. Вздволенные неожиданным происшествием, возбужденно переговаривающиеся, дети сами были похожи на стайку воробьев. Птенчик, вероятно, тоже заметил это сходство; он перестал бояться, расправил крылышки, боком подскакал к самой большой крошке, клюнул ее и весело чирикнул.

– Нужно так назвать его, чтобы было понятно, как он кричит, – волновалась Соня, – он чирикает, как же его назвать? Чириканька... Чиринька. Как-то неудобно... языку трудно...

– Назовите его Чирышек, – с серьезным видом предложил отец.

– Правда! Назовем Чирышек! – Имя всем понравилось, но Евгения Викторовна разочаровала детей.

– Уж ты выдумаешь, Сережа, – с легким неудовольствием сказала она. – Дети, ведь чирешек – это такая болячка, разве можно птенчика называть болячкой!

– Нельзя... а какое хорошее имя, – с сожалением отозвалась Соня, а Миша, пропустивший мимо ушей мамино замечание, продолжал прыгать и кричать: «Чирышек, чирешек!»

Именно Миша, маленький, подвижный, с круглой, как шар, головенкой и с круглой невинной мордочкой, больше всех и походил на воробья. Прокофий Садчиков, муж Маши, называл его «кочеток» (петушок). Мальчик почти все время прыгал и очень любил «плясать» под музыку. Конечно, это не была настоящая пляска; просто он делал в такт музыке различные движения руками, головой и, конечно, ногами, ловко приспосабливаясь к любому темпу. Отец Сергей, задумчиво наигрывавший на скрипке или фисгармонии что-нибудь для себя, заметив посреди комнаты маленькую, подвижную фигурку, начинал быстро менять одну мелодию за другой, но не мог сбить плясуна. Однажды, проиграв довольно долго бойкую мазурку, отец Сергей начал брать одну за другой длинные, тягучие ноты, возможные только на фисгармонии, но Миша и тут нашелся: начал плавно изгибаться то в одну, то в другую сторону, наклоняясь чуть не до земли. В другой раз, в Самаре, Евгения Викторовна сидела с детьми в Струковском саду. Вдали играла музыка. Вдруг Евгения Викторовна заметила, что коротенькие, не достающие до пола ножки сынишки подергиваются.

– Что ты делаешь, Миша? – спросила она.

– Я никак не могу удержаться, – беспомощно ответил малыш.

Было у Миши и другое прозвище. Даша, кухарка Юлии Гурьевны, называла его «шептунчиком».

– Придет ко мне на кухню, – вспоминала она, – и начнет что-то быстро-быстро рассказывать, а голосок такой тихенький, я ничего не разбираю.

– Мишенька, – скажу, – говори погромче, я не слышу. А он еще тише зашепчет.

Таким он был тогда: с круглой наивной рожицей, тихим голосом (сохранившимся и у взрослого), живой и упругий, как мячик. Евгения Викторовна замечала, что самым большим наказанием для мальчика было сидеть на одном месте. Наоборот, слабенького, малоподвижного Костю это ничуть не смущало. Посаженный на стул в наказание, он мог сидеть без конца; случалось, и он, и Евгения Викторовна забывали, что он наказан. Поэтому, унимая расшалившихся детей, Евгения Викторовна пугала Мишу тем, что посадит его на стул, а Косте грозила: «Похлопаю». Она никогда не говорила «побью» и действительно не била, а только хлопала; воздействие было чисто психическое. Такой же психической угрозой являлся ее старый, когда-то переплетенный бархотками, а теперь просто дырявый пояс, висевший в столовой около буфета; мальчики, где-то поймав страшное слово, называли его «ухвоска» (двухвостка) и, провинившись, опасливо поглядывали на него. Но «ухвоска» никогда не пыталась перейти к действию и спокойно пылилась в углу, как молчаливая, но грозная эмблема правосудия.

В раннем возрасте дети, кажется, вообще ничего серьезно не боялись, даже темноты. Когда родители замечали у них признаки этого страха, они затевали какую-нибудь интересную игру в темной комнате, и страх исчезал незаметно. Самой любимой зимней игрой были прятки. В игру вовлекались и няньки, и не успевшие разойтись по домам приятели, и, разумеется, интереснее всего было забраться под кровать в самой темной спальне или за шубы в прихожей. В азарте игры о страхе некогда было вспоминать.

Не боялись дети и грозы, до одного жаркого летнего дня. Когда разыгралась гроза, взрослых не было дома, но это и раньше не раз случалось. Хуже оказалось то, что с детьми осталась тринадцатилетняя нянька Ариша, которая, как выяснилось, сама панически боялась грозы. С первым ударом грома она забрала своих подопечных, забиравшись с ними на

кровать в темном углу и загородилась подушками. Но подушки не могли закрыть всех, а гроза действительно была редкой силы.

Яркие молнии в темном углу, вероятно, казались еще ослепительнее, а гром, ударявший одновременно с молнией, раскатывался над самой крышей с таким треском, словно вся крыша разлеталась на мелкие щепочки. Но страшнее и молнии, и грома были вскрики Ариши. С бледным искаженным лицом и расширившимися от ужаса глазами она при всяком новом ударе дико вскрикивала: «А! Господи Иисусе Христе!» – и порывисто крестилась. К тому, что во время грозы все женщины, и первой их мама, крестились, дети привыкли чуть не с рождения; в этом не было ничего страшного. Наоборот, это успокаивало. И «Господи Иисусе Христе» тоже многие произносили крестясь, но произносили спокойно, словно читали молитву перед обедом. Аришины же выкрики были так ужасны, что, если бы страх не парализовал рассудок детей, они, возможно, предпочли бы убежать от этих криков во двор, под грозу и ливень.

С тех пор они и стали бояться грозы.

Первое время боялись только свидетели Аришиных безумств, Соня и Костя. Миша просидел грозу на кухне, слушая сказки кухарки Тани, и ничуть не испугался, не боялся некоторое время и после. Но постепенно страх брата и сестры заразил его. Одним из главных препятствий в предпринятой родителями борьбе против страха была именно эта его заразительность. Сколько раз казалось, что один из детей совсем уже перестал бояться. Но вот снова гроза, двое опять дрожат, плачут и жмутся к маме, и третий тоже присоединяется к ним.

Дольше всех боялся грозы Костя. Нервный и впечатлительный, он дошел до того, что, проснувшись утром, прежде всего, бежал на крыльцо посмотреть, какая погода, и неизменно возвращался расстроенный.

– Мама, на небе маленькое облачко, наверное, будет гроза, – говорил он. Или: «Мама, небо ясное-ясное, ни одного облачка, наверное, гроза будет».

Брат и сестра, к этому времени начавшие уже гораздо спокойнее относиться к буйству природы, поднимали его на смех, но он еще долго не мог побороть в себе этого страха. Тем более что лето было грозное и его предсказания часто сбывались.

Избавиться от боязни грозы детям удалось только благодаря планомерной, систематической и упорной борьбе, проведенной родителями.

Больше всего ею занималась Евгения Викторовна. Иногда она начинала с доказательств того, что гроза не столько страшна, сколько красива. Она обращала внимание детей на разнообразную форму надвигающихся грозных туч; на то, как одни из них вдруг все освещались, точно от моментально включенной лампочки, скрытой где-то за горизонтом; как другие вдруг прорезывались ярким зигзагом молнии; как далекий гром то глухо погромыхивал, то вдруг раскатывался с треском, словно где-то ломалось и рушилось что-то большое. Попутно учила узнавать расстояние до грозной тучи, засекая промежуток времени между молнией и громом. Это очень помогло, далекой грозы дети перестали бояться.

Затем заводился разговор о том, что тетя Саня и бабушка Юлия Гурьевна совсем не боятся грозы, а даже любят ее. Попутно отец Сергей давал справку о ком-то из своих родственниц, которая во время грозы уходила в мезонин и открывала все окна, чтобы лучше видеть и слышать. Кстати, декламировалось стихотворение «Люблю грозу в начале мая», а если слушатели проявляли хоть малейшее внимание, то и ряд других, к грозе никакого отношения не имевших. Если напряжение усиливалось, то и меры принимались более радикальные. Появлялась на свет интересная книга, из тех, что мама мастерски умела читать. Частенько в это время прочитывался юмористический рассказ Марка Твена «М-с Мак-Вильямс и молния». Иногда вместо книги рассказывались сказки или что-нибудь о прошлом. В эти рассказы включался и папа, и, кажется, в такое время дети в первый раз слышали знаменитую историю о протухших мозгах.

Это случилось, когда папа учился в семинарии. Преподаватель естественной истории П-в задумал оборудовать зоологический и анатомический кабинет. Собрал препараты и скелеты разных животных; раздобыл скелет человека, в первое же время завоевавший такую популярность, его в разных позах и с разных пунктов увековечили семинарские художники и фотографы; на конец выписал откуда-то, чуть ли не из Петербурга, человеческий мозг, или мозги, как предпочитало говорить большинство. А о мозгах заговорили все, начиная с преподавательских жен и кончая швейцаром и истопником. Большое значение придавал им и сам преподаватель, своим отношением, разумеется, и внушивший остальным этот захватывающий интерес. А мозги все не приходили. Начались рождественские каникулы, все, кто мог, разъехались по родным и знакомым, уехал и П-в.

И вот тут-то, как на грех, мозги и прибыли, тщательно упакованные в маленький аккуратный ящичек. Ящичек внимательно осмотрели и, не распечатывая, поставили на стол в зоологический кабинет.

Несколько дней все шло благополучно, а потом истопник и уборщица начали замечать в комнате запах. Сначала он был чуть заметен, но с каждым днем все усиливался и усиливался. Ясное дело – мозги начали протухать. Слух о происшедшей неприятности быстро распространился. Проще всего было бы вскрыть ящик или выбросить испортившийся препарат не вскрывая. Но без хозяина никто на это не решался. Может быть, он, если не опоздает, сумеет найти какой-то способ прекратить разложение; в спирт, там, опустит или еще что.

А запах становился все сильнее. Из комнаты он проник в коридор; все проходящие мимо слышали его и сначала только крутили носами, а потом стали и зажимать их. Просто невозможно ходить мимо кабинета.

Наконец явился и виновник происшествия. Не успел он войти в семинарские двери, как на него набросились со всех сторон:

– Наконец-то! Уберите поскорее свои мозги, сил нет дышать, они совсем протухли!

– Как? Что? – Виновник происшествия долго не мог понять, в чем дело, а поняв, бессильно опустился на стоявший в швейцарской стул и принялся хохотать.

– Так протухли? – немного успокоившись, спросил он. – Сильно пахнут? Вы слышали? И вы?

– Конечно, слышали. Пойдемте! По коридору пройти невозможно. П-в снова расхохотался.

– Да ведь мозг-то из папье-маше, – через силу проговорил он.

* * *

– Из чего? – переспросил Костя.

– Из картона, как ваши лошадки, – объяснил папа. – Он был сделан из кусочков, чтобы можно было их разбирать и смотреть, как мозг устроен внутри.

Раздавшийся после этих слов детский хохот, вероятно, заглушил бы смех П-ва. Во всяком случае, страх перед грозой он на некоторое время заглушил. А отец Сергей добавил:

– И что еще интереснее, запах сразу исчез. Ни в коридоре, ни в кабинете, нигде и никто его не чувствовал.

–

Это, кажется, называется массовым самовнушением? – тоже смеясь, спросила Евгения Викторовна.

– Кажется, так.

* * *

Было и еще одно средство борьбы со страхом. Детей натолкнули на новое удовольствие – бегать босиком по лужам. Отчасти-то они с этим удовольствием были знакомы и раньше, но оказалось, что приятнее всего бегать по ним под дождем. Сначала выбегали только на маленький дождик, потом на более сильный, наконец не отступали и перед настоящим ливнем. Правда, если начиналась серьезная гроза, детей загоняли домой, а если не большая, они все равно бегали. Евгения Викторовна тоже требовала, чтобы прежде, чем бежать под дождь, дети переодевались в подлежащую стирке одежду. Ведь возвращались они мокрые до нитки и так забрызганные грязью, что приходилось прямо на крыльце мыть ноги чуть ли не по пояс, а потом переодеваться. Но это никого не смущало. Разве только иногда вмешивалась Наташа. Потому что борьба со страхом грозы, а потом новый вид спорта продолжались несколько лет, и за это время Наташа успела не только родиться, но и достичь того солидного возраста, когда можно вмешиваться в чужие дела. Так вот, Наташа слышала, как мама зимой грозила непослушным: «Не буду за вами ухаживать, если вы простудитесь и заболете!» – и теперь сама с авторитетным видом подавала голос:

– Если будете бегать по дождю и заболете, мама не будет за вами ухаживать-прихаживать!

* * *

В этой истории есть и еще один заслуживающий внимания момент. Евгения Викторовна, сумевшая блестяще провести нелегкую воспитательную работу и добившаяся того, что дети не только перестали бояться, но и полюбили грозу, сама всю жизнь не могла отделаться от страха перед ней. Много лет спустя после ее смерти, когда все дети были уже взрослыми, отец Сергей сказал однажды, прислушиваясь к следовавшим один за другим раскатам грома:

– А как мама боялась грозы!

– Очень боялась. Она даже не могла спать, если ночью была гроза.

Тут только Соня по-новому переосмыслила некоторые факты. Сколько раз, бывало, просыпаясь во время грозы, она видела зажженную свечу на полочке перед зеркалом и чувствовала, как мама вешает на спинку ее кровати и тщательно просовывает между кроватью и подушкой сложенную в несколько раз большую байковую шаль, детское стеганое одеяльце или еще что-нибудь в этом роде. Утром оказывалось, что подобным образом закрыты все кровати, и у изголовий, и в ногах. Тогда это казалось Соне вполне естественным. Как от дождя открывают зонтик, так от молнии нужно изолировать все близко находящиеся к людям металлические предметы.

В книге Фламариона «Атмосфера», которую и мать, и де ти любили перечитывать, в главе «Капризы молнии» указываются случаи, когда люди погибали от молнии, ударившей в спинку кровати или другой подобный предмет. Да, тогда Евгения Викторовна сумела обосновать свои заботы «по-научному», и только сейчас Соня поняла, что эти «научные» заботы внушались непреодолимым страхом. Но сколько нужно было выдержки, чтобы за все время ни разу не выдать себя детям!

* * *

Когда мальчикам было лет шесть – восемь, утро у них начиналось с возни – борьбы, беззлой драки. И нередко зачинщиком был Костя, хотя он и знал, что Миша всегда догонит

его, повалит, хлопнет – словом, повернет исход борьбы так, как ему захочется. Но у Кости было несколько способов, при помощи которых он мог выйти сухим из воды. Один из них оказывался совершенно непреодолимым для Миши. Выбрав удобный момент, когда брат завязывал ботинки или был отвлечен другим, не менее серьезным делом, Костя хлопал его по плечу и своим неловким, почти ковыляющим шагом спешил в залу, в передний угол. Там он останавливался перед иконами и начинал быстро креститься. Миша отступал; нападать на молящегося даже не запрещалось, а просто было совершенно невозможно. Однажды отец Сергей заметил этот маневр.

– Ты что, новый способ защиты нашел? – строго сказал он Косте. – А ты понимаешь, что таким образом превращаешь молитву в игру, даже в шалость? А о чем ты думаешь, когда вот так стоишь и крестишься? О молитве, которую должен читать, или о том, как ловко обманул Мишу? Ты меня понял?

– Понял, – ответил Костя. – Я больше не буду.

* * *

Еще от одной опасности приходилось тщательно охранять детей. Это были «плохие слова». Мир, окружающий их, был не так уж невинен, он кишел «плохими словами» всех видов, от тех, которые были изгнаны только из их обихода, до настоящих нецензурных. Матушка ужаснулась бы, если бы услышала тот жаргон, который раздавался иногда в кухне. У села свои правила приличия: едва терпя в своей среде человека, который «черным словом ругается», оно гораздо снисходительнее к некоторым выражениям, граничащим с матом; такие слова употребляли даже девчонки-няньки.

Опасность была тем серьезнее, что Евгения Викторовна не могла постоянно ограждать от нее детей, для этого с них вообще нужно было не спускать глаз. Впрочем, возможно, она так и поступила бы, если бы яснее представляла положение.

Но, и не представляя его, она каким-то образом, по-видимому еще в самом раннем детстве, сумела внушить детям, что они должны говорить только тем языком, которым говорят их отец и мать. Может быть, тут сказывалось и то, что их «городской» язык вообще сильно отличался от языка села. По той или иной причине никогда не было случаев, чтобы дети повторили одно из услышанных в кухне нецензурных слов. Слова были совершенно определенно «плохие», но и совершенно непонятные; правильнее всего будет сказать, что дети «слыша, не слышали их». Впрочем, возможно, что сама матушка как-то о них узнала и подобрала более подходящих людей. С некоторого времени эти слова исчезли и в кухне.

А с другими приходилось вести длительную и упорную войну. Она начиналась, кажется, еще тогда, когда Соне было года два. К ее няне Маше часто приходила старшая сестра Аня. Однажды, не поостерегшись, она за что-то назвала Машу дурой. И уже через пару часов Соня, копаясь в своих игрушках, повторяла:

– Папа дура, мама дура, няня дура.

– Матушка ее за это в угол поставила, – сокрушенно рассказывала впоследствии уже пожилая Аня, – а ведь виновата-то была я!

Когда начали подрастать мальчики, стало еще труднее. Трое ушей услышат гораздо больше, чем одни, да и бегают эти уши на трех парах бойких, неутомимых ног. А тут еще кухарка Таня так смешно кричит на своего сынишку:

– Подлая твоя морда!

Эти слова пленили слушателей; они долго крепились, но наконец отправились к маме с петицией. Просили разрешить им говорить: «подловка твоя морда»³¹.

³¹ Подловка – чердак.

Почему-то мама разрешила. Или она уж совсем изнемогла в борьбе с наступающими со всех сторон «плохими словами», или же у нее был глубокий расчет на то, что слова, потерявшие заманчивость запретных, быстро надоедят. Если так, то она оказалась права.

Очень редко, но все же случалось, что отец Сергей сам говорил «плохое слово». Правда, такое слово было всего на несколько микронов неприличнее хотя бы слова «чирышек», но Евгения Викторовна сразу же настораживалась и предостерегающе говорила: «Сережа!»

– Что «Сережа»?! Ничего тут особенного нет.

Отец Сергей, конечно, умолкал. Он ведь не хотел сердить жену, хотел только чуточку подразнить ее. Но иногда он не рассчитывал заряда, и она все-таки сердилась. Она делала обиженное лицо и демонстративно умолкала. И трогательно было видеть, как он после этого похаживал около нее, заговаривая, всеми мерами старался загладить свою вину. Если «вина» была «серьезна», дело доходило до объяснения в затворенной спальне, и конфликт, длившийся два-три часа, разрешался к общему удовольствию. Кажется, ни разу не случалось, чтобы, рассердившись за обедом, Евгения Викторовна и к вечернему чаю вышла с недовольной миной.

Глава 20

Новый иконостас

В Острой Луке мыли церковь. Ее мыли каждый год, и всегда это являлось довольно крупным событием в однообразной жизни села. Это всегда происходило в ясный летний день, но в такой, когда не было горячих полевых работ. Начинали с того, что от пожарного сарая, расположенного здесь же, на площади, привозили насос и устанавливали его вплотную у церковных дверей. Уже этих приготовлений, которыми занимались сторожа и кто-нибудь из попечителей под верховным надзором отца Сергея, было достаточно, чтобы привлечь народ – зрителей и помощников.

– Ну, кто охотник, подите на мой двор, запрягите Гнедого в бочку, – говорил отец Сергей, и несколько подростков вперегонки бросались выполнять поручение. Привозили еще одну-две бочки, четверо молодых парней становились к насосу, еще несколько человек держали и направляли длинный шланг; водяная струя, с силой вырывавшаяся из него, ударяла в стены, в четырехскатный потолок, соответствовавший крыше, почти достигала до окон в куполе. Обратно вода стекала потоками, сначала грязными, потом все более и более свежими и заливала пол вровень с порогами. Тогда наступала очередь толпы баб с ведрами и тряпками. Они сначала просто вычерпывали воду, потом тряпками собирали ее в ведра, подбирали с пола отдельные лужицы, вытирали насухо. Церковь точно обновлялась. Влажные голубоватые стены блестели, и живопись на них казалась только что законченной.

Ни разу еще церковь не мыли с такой тщательностью, как в конце мая 1914 года. Еще бы! Ведь мыли в последний раз. Прошлой осенью был заказан новый иконостас, скоро его привезут, и нельзя будет допустить, чтобы на него попала хоть капля воды, не только грязной, но и чистой. Новый иконостас был давнишней мечтой отца Сергея и его прихожан, но не так-то легко добиться исполнения мечты. Начать с того, что каждый церковный староста и каждый состав попечителей хотели оставить в церкви память именно о своей работе. Выбирали их на год, и, хотя многие так и продолжали работать бессменно с тех пор, когда в первый раз удостоились этой чести, кто знает, выберут ли их еще? Поэтому, подсчитав незадолго до переывборов сэкономленные за год деньги, всякий раз старались приобрести что-то: новые хоругви, облачение, большое распятие или что-нибудь подобное. Но все это были сравнительно мелкие и недорогие приобретения; для больших расходов требовалась более длительная экономия. Несколько лет назад отцу Сергию удалось уговорить очередной состав попечителей, доказать им, что накопленная ими, для местных средств довольно крупная сумма, предназначенная для определенной, серьезной цели, аттестует их работу не хуже, чем риза или хоругвь, да еще даст

им славу начинателей большого дела. Тогда на скопленные в течение двух лет средства распилили церковь внутри. На иконостас собирали года три, если не больше. Зато, заказывая его, выбирали то, что хотелось, не имея необходимости жаться из-за нескольких лишних десятков рублей.

Осенью 1913 года у отца Сергия то и дело появлялись новые люди – подрядчик из Саратова, художники-иконописцы, резчики по дереву. Посылали за старостой и попечителями, раскрывались альбомы образцов, и начиналось неторопливое, детальное обсуждение. После долгих колебаний в выборе икон остановились на копиях иконостаса Духовской (Филаретовской) церкви Троице-Сергиевой Лавры. Особенно понравились всем образа Божией Матери и пророка Илии. Пророк был изображен, по-видимому, в один из моментов ожидания Господа – «и по трусе – ветр»³² или после своей знаменитой молитвы о дожде. По небу неслись тяжелые, свинцовые тучи, именно неслись, это было заметно; пальмы на заднем плане гнулись от сильного ветра; одежда и волосы пророка развевались, длинная борода отклонилась в сторону. Именно таким и должен был выглядеть этот пророк, пророк-ревнитель, по молитве которого заключалось и отверзалось небо, шел дождь и разделялся Иордан. Отец Сергий надеялся, что и выполнение заказа не разочарует его, посмотрев несколько привезенных иконописцем образцов его работ, он убедился, что это мастер своего дела.

И деталями заказа батюшка был доволен. Хоть и с трудом, ему удалось убедить попечителей, что лучше заказать иконы на живописном фоне, а не на золотом, как хотелось некоторым. Почувствовав в руках деньги, они заговорили было, что и иконостас нужно сплошь позолотить, но и тут восторжествовало мнение отца Сергия, доказывавшего, что покрытая позолотой резьба лучше будет выделяться на белом фоне. Если бы он решал один, он уменьшил бы и количество этой резьбы, и позолоты, а иконостас выглядел бы легче и изящнее; но приходилось в чем-то и ему делать уступки.

С первыми пароходами послали представителей в Саратов, проверить ход работы. Те вернулись довольные: работа понравилась, дело подвигается быстро, обещают после Петрова дня приехать ставить иконостас.

Начались приготовления: помыли церковь внутри, наняли маляров покрасить снаружи. Нельзя и без этого. Просто неприлично было бы, если бы поставили новый дорогой иконостас, а снаружи церковь стояла бы обшарпанная, пропыленная. А могло случиться, что крыша где-нибудь и проржавела, и осенью или весной на новый иконостас начнет капать. Да братья Страховы, или Мазурины, как их чаще называли, Мемнон и Сергей Никитичи, не только маляры, но и кровельщики; где нужно, они и железо сменяют. Около церкви быстро соорудили леса, повесили люльки, маляры принялись за работу.

Проходя в церковь на требу, отец Сергий увидел Сергея Никитича внизу, около лестницы. Бывалый мужик, любивший и почитать, и поговорить с умными людьми, стоял с необычным для него растерянным видом и внимательно рассматривал карманные часы.

– Что ты смотришь, Сергей Никитич? – мимоходом спросил отец Сергий. Маляр поднял глаза. Видно было, что он очень взволнован.

– Маленький случай со мной сейчас случился, батюшка, – заговорил он, – а очень интересный. Сидел я сейчас в люльке, вон там, на самой вершинке, купол у колокольни красил. Ты знаешь, я там, на куполе, сверху, и без люльки могу, как на ровном полу, голова не закружится. А тут вдруг чего-то посмотрел вниз, и вздумалось: а что, если отсюда сорваться! Ни одной косточки целой не останется! Подумал, наклонился, смотрю. И вдруг у меня из кармана часы выскочили, цепочка, что ли, перетянула, и – вниз. Я и слезать не хотел, все равно, мол, ничего не соберу, крышка и та, наверное, вдребезги разлетелась. Все-таки слез, а они вот. – Сергей

³² Искаженная цитата. См.: 3 Цар. 19: 11–12.

Никитич протянул часы. – Даже не остановились, и стекло не разбилось. Только что не словами мне Господь сказал: если Он не допустит, с любой высоты можно слететь и не разбиться.

Воспользовавшись свободным временем, оставшимся до начала работ с иконостасом, отец Сергей решил навестить овдовевшего год назад брата Евгения Евгеньевича и вместе с ним проехать к дяде Серапиону Егоровичу. За тем числился изрядной давности должок, а деньги сейчас были позарез нужны.

Отец Сергей уважал и любил брата.

«Евгений гораздо умнее меня», – не раз говорил он, а в затруднительных случаях мечтал: «С Евгением бы посоветоваться!» Увидев в окно знакомый высокий тарантас брата, он на полуслове обрывал любой разговор и со всех ног бросался открывать ворота.

Но виделись братья редко, мешали разделявшие их восемьдесят верст дороги на лошадях. Еще сами они ездили время от времени, а матушки их побывали у родственников раз другой, пока не обзавелись детьми, и больше не смогли: семья, хозяйство, а то и сами нездоровы, куда тут такой путь.

Евгений Евгеньевич несколько раз приезжал с дочкой Симой, и отец Сергей тоже решил взять с собою Соню, которой исполнялся девятый год.

Холодом, запустением пахло на гостей от осиротевшего дома. Не было ни привычного в своей семье детского шума, ни каждое лето, со смехом, шутками, пением толпившейся здесь молодежи, родственников мужа и жены. По комнатам бродила только переселившаяся к внукам старая бабушка Наталья Александровна, да сестра Надя, приехавшая погостить во время каникул, выбивалась из сил, стараясь развлечь скучающую Симу, а теперь заодно и Соню. Даже Лелечка, сестра покойной Марии Андреевны, учительствовавшая в романовской школе, во избежание сплетен, переехала в школьную квартиру. По той же причине пришлось уволить постоянную прислугу, и на кухне кое-как управлялась приходящая.

Как легко, по сравнению с этим унылым домом, дышалось среди полей, на которых цвели, а где и наливались хлеба. Выросшая в пшеничной полосе, Соня в первый раз видела, как растет рожь, такая высокая, что из-за нее не видно было повозки с лошадей, едущей по пересекающему их дорогу проселку; разве чуть-чуть мелькнет краешек дуги.

Дорожа каждым часом, который можно побыть вместе, братья ехали в одном тарантасе, и девочкам пришлось сидеть на дне экипажа, поставив ноги на его широкие крылья. Пока не выехали на большую дорогу, удивившую их своей шириной, можно было, приподнявшись и ухватившись за прочную железную скобу, сорвать несколько колосков, склонившихся на самую дорогу.

Столько людей высыпало в Яблонке встречать неожиданных гостей, что девочки не сразу разобрались в незнакомой родне. Из всех выделялся, конечно, дедушка Серапион Егорович, высокий, худой, с длинной и узкой седой бородой, как на изображениях святого Григория Богослова. Потом обозначились тетки, Поленька и Сима – совсем еще юная, хотя она и была уже учительницей в местной школе. За ними маячили еще какие-то женщины, по-видимому, Александра Дмитриевна, нянька Авдотья и одна из племянниц покойной Евдокии Александровны.

Сима походила на отца и не отличалась такой красотой, как старшие сестры, но была розовощекая и миловидная. Девочек очаровала та непосредственность, с которой она вечером носилась с ними по лужайке около дома, с увлечением, как равная, играя с ними в горелки. И окончательно пленила их ее украшенная блестками шапочка. Поленька, сравнительно недавно вышедшая замуж, приехала с мужем. Муж ее, скромный, добродушный молодой диакон, не мог в свое время, из-за недостатка средств, окончить семинарию. Теперь, благодаря тестю, помогавшему молодой паре, он опять поступил туда в пятый класс и усиленно занимался, всеми силами стремясь получить священство.

Новый дядя Миша девочкам тоже понравился, хотя он, кажется, и стеснялся их не меньше, чем они его. Зато здесь, в Яблонке, имевшей, как и Острая Лука и Романовка, только

какие-то несчастные лавчонки, торгующие самыми необходимыми для сельских жителей товарами, он сумел разыскать для девочек подарки. Правда, подарки эти имели такой жалкий вид, что он постарался сунуть их так, чтобы даже жена не заметила. Это были крохотные, чуть покорооче и чуть пошире косточки домино, с позволения сказать, плитки шоколада. У них была блестящая, прозрачная, как желатин, зеленая обертка, а к обертке прикреплена колода карт, такого же размера, как и шоколадка. Колоды оказались разрозненными, без фигур, хотя с полным комплектом двоек и троек, а сами «шоколадки», чуть только превосходившие толщиной карту и изготовленные из сырья очень сомнительного качества, вдобавок, вероятно, не один год пролежали на полках яблонской лавчонки. Соня не знала, что сделала со своим подарком Сима, а сама она, добросовестно попытавшись съесть невиданное лакомство, кончила тем, что старательно смяла его и бросила за сундук; ей не хотелось, чтобы новый дядя заметил, что его подарок не понравился. Девочка вполне оценила его искреннее желание сделать им удовольствие, и, именно потому, что эта попытка была так беспомощна и безнадежна, она произвела на нее гораздо большее впечатление, чем могла бы произвести в Самаре великолепная, в палец толщиной, плитка настоящего шоколада, купленного в лучшей кондитерской.

Обед подали двойной: мужчинам постное, а девочкам приготовили что-то скромное.

– Уж вы разрешите Соне, Сергей Евгеньевич, – чуть не заискивающе попросила Александра Дмитриевна. – «Сущим в пути пост отменяется».

– Гм... сущим в пути... – Отец Сергей поморщился, но сказал: – Ну уж ладно, на один день. Но от предложенных ему печеных яблок с сахаром наотрез отказался.

– Не ем до Преображения. Здесь же меня научили. И крепко научили.

– Кто научил? Я? – удивился отец Серапион. – Что-то не помню.

– Не вы, а певчий тут у вас был... Помните, еще очень любил на пятый глас петь... Мы ведь тогда яблоки начинали есть, чуть они вишню перерастут, а он мне все толковал: по Уставу нельзя до Преображения. А я спорю, говорю, что нигде такого запрещения нет. Покажешь, мол, тогда не стану есть.

– И покажу, – обещал он. – Только чтобы тогда не пятиться.

Прихожу я на Преображение в церковь. Сами знаете, как у вас здесь бывает. Яблоков наташили вороха, да всякий старался самых лучших принести. А мой противник подсовывает мне книгу, где черным по белому написано, что яблоки до Преображения есть не разрешается, а кто не выдержит, тот от Преображения до сентября не должен есть. Я прочитал и говорю: «Ну, что же, если написано, значит, правда».

– И не ел до сентября?

– Не ел, – ответил отец Сергей.

– А до сентября-то уж во всей Яблонке свежего яблочка не осталось, – посочувствовала Авдотья.

– Почти что так. Да с сентября у нас в семинарии занятия начались, все равно я уехал.

* * *

Как ни высоко ставил отец Сергей ум и способности брата, он не соглашался с ним беспрекословно, а всегда имел свое мнение. Стоило им сойтись вместе, как у них сейчас же начиналось обсуждение различных случаев пастырской практики, того, как поступать в том или ином случае. Много спорили, рассуждали о том, что можно пропускать в богослужении.

Было вполне ясно, что длинные уставные службы, так трогательно совершающиеся в монастырях, слишком тяжелы для мирян, особенно в селах летом, в страду. Их неизбежно приходится сокращать, но что можно сократить с наименьшим ущербом? Братья могли говорить на эту тему часами, хваля и цитируя каждый свои любимые псалмы и стихиры. Они редко

соглашались, что без того-то и того-то можно обойтись, зато каждый твердо знал, без чего ему обойтись невозможно.

В этот раз разговор постоянно возвращался к планам отца Евгения на будущее. Когда-то он окончил семинарию вторым учеником, был отправлен на казенный счет в Академию и не остался там – стосковался по дому. Теперь он опять подумывал об Академии; это путь многих рано потерявших жен священников. Для этого нужны средства, да дело не столько в них, тут можно найти выход. Но придется на несколько лет расстаться с Симой. Конечно, родных много, девочку ни в одной семье не обидят, а от отца она отвыкнет. И ее жалко, и самому тяжело.

Постепенно разговор принял отвлеченный характер. Заговорили о том, может ли быть дано человеку испытание свыше его силы. Отец Евгений горячо доказывал, что да, и приводил в пример себя и себе подобных. А отец Сергей осторожно, чтобы не бередить еще свежую рану, возражал. Конечно, некоторые испытания очень тяжелы, но, если они посланы человеку, значит, этот человек достаточно силен, чтобы выдержать то, чего не смогут другие.

А если у него не хватает сил, то есть, говоря словами отца Евгения, дальнейшее испытание становится свыше его силы, то человек умирает и испытание кончается.

Отец Серапион только изредка вмешивался в разговор, он больше сидел и слушал. О чем он думал в это время? Вспоминались ли ему прошедшие годы, когда эти его племянники, тогда еще подростки, вместе с его сыном вот так же горячо обсуждали заинтересовавшую их тему; когда его дочери были вот такими же, как эти две худенькие стриженные девочки, внимательно следящие за разговором взрослых? Или, может быть, вспоминались те тяжелые дни, когда он только что потерял жену. Ведь вынес же, не запил, не свихнулся; правду говорит Сергей, испытание по силам.

* * *

В будущем отцу Серапиону готовилось еще не одно испытание. Пережив дочь и двух зятьев, он наконец одиноко умер вдали от родных, и ни один даже чужой человек не присутствовал при его последних минутах. Отец Серапион умер в 1927 или 1928 году в Балакове, в ночь на 6 декабря, память святого Николая Чудотворца, которого он так почитал. Незадолго до того он проводил гостившую у него дочь Симу. Вечером возвратился от всенощной из церкви, в которой заменял псаломщика, а ночью его квартирная хозяйка услышала в комнате постояльца какое-то царпанье. Она прислушалась. Царпанье повторилось еще и еще раз.

– Старик! – окликнула хозяйка. Она была злая поморка³³ и никак не хотела называть своего постояльца батюшкой. – У тебя в комнате мыши скребутся, пугни их!

Отец Серапион не ответил. Войдя утром в комнату, хозяйка увидела, что он лежит на постели мертвый.

По-видимому, рассказывала она приехавшей на похороны Серафиме Серапионовне, он почувствовал себя плохо, опустил руку с низкой кровати и начал скрести пальцами об пол, надеясь привлечь к себе внимание. Но хозяйка не поняла его зова, и он умер один.

* * *

Хоть Острая Лука и считалась, вежливо выражаясь, небогатым селом, но были и еще много беднее. Отец Алексей Вилков, время от времени приезжавший в Острую Луку погостить к родственникам, услышав разговоры о новом иконостасе, обратился к «старикам» с просьбой пожертвовать старый к ним, в Свиное Болото. В селе с таким неприглядным названием

³³ Принадлежала к поморскому толку – одному из направлений в старообрядчестве.

он прослужил несколько лет, и церковь там была до того бедна, что даже старый остролюкский иконостас обрадовал жителей. К тому времени, как саратовские мастера приехали разбирать иконостас, явились и они с подводами. Бережно принимали и укладывали они старые доски, покрытые хоть и добротной, но все же местами пооблупившейся темно-голубой краской, потускневшие, когда-то давным-давно посеребренные, планочки-карнизы; такие же потускневшие, сделанные неопытными деревенскими резчиками, головки херувимов и темные, старинного письма иконы. Все это выглядело таким древним, гораздо старше самой церкви, что невольно наводило на мысль, не был ли этот иконостас в свое время и в Острую Луку пожертвован из какого-то другого, более богатого прихода. Некоторые старики как будто что-то и вспоминали об этом. Но и этот иконостас отдали не полностью. Три иконы в нем, Спасителя, Божией Матери и Николая Чудотворца, были совсем другого вида, в окладах, конечно, не серебряных, может быть, даже не посеребренных, а просто белой жести. Их обыкновенно брали, когда ходили на иордань и молебствовать о дожде, для этой цели их и сейчас оставили. Да и нельзя же оставить церковь без освященных икон на все довольно длинное время, пока устанавливается новый иконостас. Как только был поставлен первый ярус его, иконы тотчас же прикрепили в пустые проемы будущих местных образов, и там они стояли до окончания работ.

Зато запрестольный образ в бедное село отдали, а он и при новом иконостасе не испортил бы впечатления. На нем был изображен Спаситель с Божией Матерью и Иоанном Предтечей по сторонам. Написан он был в мягких тонах, точно весь покрыт легкой дымкой, а красная одежда Богоматери и особенно голубой хитон Спасителя имели особенно мягкий оттенок. Когда пели «Свете тихий» и алтарь наполнялся голубоватым облаком кадильного дыма, казалось, что изображение Спасителя не просвечивает, а возникает из этих голубоватых клубов, пронизанных золотыми лучами заходящего солнца. Было жалко расставаться с такой иконой, и в то же время приятно, что в бедную церковь села, называемого Свиным Болотом, проникнут свет и радость, навеваемые этой иконой.

Образа для иконостасов еще далеко не были готовы, когда столяры приехали ставить его основу, но это никого не смущало. Для большей аккуратности иконостас должны были золотить на месте, на это потребуется немало времени, и иконы успеют дописать.

Отец Сергей никогда не мог пассивно наблюдать за тем, как другие работают. Когда несколько лет тому назад расписывали стены церкви, он, договорившись с художниками, самостоятельно написал в куполе образ Николая Чудотворца. Немного позже, когда художник заканчивал самую ответственную работу, «Тайную Вечерю» над алтарем, приезжие батюшки, отец Евгений и отец Григорий Смирнов, заметили в иконе неприятный дефект: одна щека у апостола Иоанна Богослова была значительно больше другой, словно припухла. Предстоял неприятный разговор; иконописец был чрезвычайно щепетилен в вопросах, касавшихся его репутации, но оставить так было невозможно. Выждав, когда мастер уйдет обедать, отец Сергей сам полез на леса и исправил щеку.

Сейчас он деятельно помогал мастерам, прибывавшим колоночки и резные украшения к белой, блестящей, как слоновая кость, основе иконостаса; временно отступил, пока занимались шпаклевкой, здесь легко было исказить рисунок, а когда алебастр просох, энергично занялся грунтовкой.

Затем начался самый процесс позолоты. Насаженным на короткую ручку павлиньим пером мастер покрывал тонкий золотой листик, заложенный между листками папиросной бумаги, поднимая прилипшее к перу золото, ловко укладывал его на покрытый клеем кусочек резного карниза, чуть заметно похлопывал пером, чтобы золото плотно легло по изгибам резьбы; брал другой. Медленная работа тянется день за днем, за ней начинается еще более медленная – полировка. День за днем трет мастер маленьким костяным инструментом выпуклые части рисунка, и от сочетания полированной и матовой поверхностей тот становится еще

рельефнее. Отец Сергей сидит рядом с мастером и тоже полирует. Руки у них заняты, но мозг, язык и уши свободны. Они разговаривают.

– Наша церковь многострадальная, – рассказывает отец Сергей. – Строили ее как холодную, потом через некоторое время решили отопить. Поставили печи, обшили, засыпали, и вдруг купол начал оседать – не рассчитали нагрузку. Пришлось ставить колонны, укрепили и купол, и крышу. Дальше начали подумывать о штукатурке.

Сергей Мазурин с братом, маляры и кровельщики, на десятки верст кругом красивые все церкви, предложили штукатурить не алебастром, а золой; Сергей где-то видел, как это делается. Идею обрадовались, еще бы, даровой материал. В воскресенье объявили в церкви; бабы натащили столько золы, что потом вывозить пришлось. Оштукатурили, довольны. А немного погода штукатурка начала отваливаться, да не как-нибудь, а крупными кусками: того и гляди кому-нибудь голову проломит, грохнувшись с такой высоты. Попечители за голову схватились, не знают, что делать. Отбивать и штукатурить снова – трудно, штукатурка крепкая, как мрамор, а кто ее знает, где ей в следующий раз вздумается отвалиться.

Надумали обить все картоном. И сейчас еще несколько листов осталось. Прочный, глянецвый, больше полусантиметра толщины, прессшпан, кажется, называется...

– Есть такой.

– Ну вот, обили им, покрасили, как будто все в порядке. Так нет, гвозди ржавесть начали. Чтобы картон не отдувался, гвоздей не пожалели, а ржавчина теперь все проступает и проступает. И красили не раз, и расписывали, а опять все пестрое.

Отец Сергей широким жестом обвел стены и купол церкви. Действительно, везде: и на голубоватом фоне стен, и сквозь живопись – проступали симметрично расположенные темные пятна, снизу казавшиеся точками...

– Ничего. Как будто это нарочно сделали, вроде мозаики, – успокоил мастер. – Есть такая работа, редкая, правда, а я видел, сверх живописи легкая золотая сетка наводится. А у вас вроде бы темным такую сетку сделали.

– Разве только так, – улыбнулся и отец Сергей.

1914–1920

Глава 21 Война

Война, начавшаяся в самый разгар сборки иконостаса, отразилась на этой работе только тем, что подрядчик, ввиду удорожания материалов и рабочих рук, попросил прибавки к прежде намеченным четырем тысячам. В селе же война поставила вверх дном всю жизнь. В первые же дни была проведена мобилизация, а затем, время от времени, вновь разносились грозные слухи: «ПРИЗЫВАЮТ такой-то год... такой-то...» У пожарного сарая, где собрались перед отправкой мобилизованные, стон стоял от бабьих причитаний, от истерических криков. Отец Сергей попробовал было успокоить одну-другую, но вскоре понял бесполезность своих попыток; против него были и непритворное, жгучее человеческое горе, и обычай, требующий выражать это горе как можно экспансивнее. Попрощавшись с близкими ему новобранцами, он ушел домой и, стоя у окна, наблюдал тяжелую картину.

– Батюшка! – окликнул его женский голос.

Оглянувшись, отец Сергей увидел женщину, которую в первый момент даже не узнал. Она жила на дальней окраине села, в церкви стояла в самой гуще народа, а когда батюшка заходил к ним в дом с молебнами или еще по какому-нибудь делу, скромненько держалась в стороне.

Сзади женщины застенчиво жался совсем еще молоденький паренек.

– До вашей милости, – чинно сказала вошедшая, поздоровавшись и дождавшись обычного: «Что скажете?»

– Племянника привела, сироту, ни отца, ни матери у него нет. Так уж ты, батюшка, благослови его вместо родителей!

– Что же! Проходите ближе к иконам, помолимся!

Отец Сергей прочитал несколько кратких молитв о благополучном возвращении, снял со стены маленький образок Смоленской Божией Матери и обернулся к парню.

– Дай Бог тебе вернуться живым и здоровым, – сказал он. – Служи честно, жителей, где воевать придется, не обижай, они и так войной обижены. Подумай, если бы твоих родных здесь какие-нибудь солдаты обидели. Богу молиться не забывай, особенно в опасности. Он тебя сохранит. Господи, благослови... – Отец Сергей поднял образок.

– В землю кланяйся, в землю, как родителям, – взволнованным шепотом подсказывала женщина. Парень поклонился. Отец Сергей истоиво осенил его образком и дал приложиться. У всех троих на глазах стояли слезы.

– Подождите!

Из письменного стола отец Сергей достал прочный шелковый шнурок, продел его в ушко образка, надел парню на шею. Женщина дрожащими пальцами помогла племяннику застегнуть ворот. Через открытое окно донеслись крики, показывающие, что проводы вступили в последнюю фазу.

– С Богом!

Отец Сергей еще раз благословил юношу, потом женщину, проводил их на крыльцо и, постояв, пока за ними захлопнулась калитка, вернулся к окну.

Захолустное село жило войной: письмами, слухами, газетами. От слухов веяло отзвуками далеких боев.

– Белобилетников на комиссию отправляют!

– Одинцов берут!³⁴

– Ратников ополчения призывают!³⁵

В первые наборы мобилизовали выращенных отцом Сергием певчих – Григория Яшагина, Михаила Чичикина, Никиту Амелина. С одинцами ушел Сергей Прохоров, сын покойного сторожа Евсея Прохоровича. В число ополченцев попал сторож Ларивон.

Церковные сторожа были близки к отцу Сергию не только по своей основной работе. Он еще платил им за уборку двора и уход за скотом, и они частенько возились на батюшкином дворе. Добродушный Ларивон был другом ребят.

– Ларивон, куда едешь, – кричали дети, заметив, что он подмазывает колеса бочки.

– В Сызрань, – серьезно отвечал он.

– Нет, за водой! Возьми нас!

– А матушка отпустит? Матушка отпускала, и Ларивон чинно шел около бочки, облепленной пассажирами.

Прощаться Ларивон пришел необыкновенно тихий, ласковый, с какой-то странной, точно смущенной, улыбкой. Хотелось плакать, глядя на него. Когда он, перецеловав всех детей, ушел, мама сказала в ответ на выраженное Соней удивление:

– Бывает, человек улыбается, чтобы не заплакать.

Сергея батюшка узнал еще раньше, чем Ларивона. Евсей Прохорович работал сторожем в первые годы служения отца Сергия в селе, а сын помогал отцу. За год или за полтора до этого он женился на красивой молодой вдовушке с горячими карими глазами, и у них была маленькая дочка Дуня, месяца на два, на три моложе Сони. Уезжая на войну, Сергей оставил уже троих детей.

Сергей очень был похож на отца, такой же высокий, широкоплечий, с мягкими голубыми глазами и слегка вьющимися, подстриженными в кружок волосами; только у старика волосы были седые, а у Сергея русые. И голос у него был тихий и мягкий, и характер как будто тоже, но в доме он был голова. Бойкая, ловкая на работу Паша подчинялась ему беспрекословно.

Солдаты слали женам письма, приписывая и батюшке поклоны. В разлуке они быстро выросли. Ушла молодежь, с ней почти не считались в «мирских» делах, часто звали полуименем. А через несколько лет возвратились солидные мужики, опора села, которых иначе не назовешь, как по имени и отчеству. И Сергей тоже превратился в Сергея Евсеевича.

* * *

Впечатление тяжелого несчастья, обрушившегося на страну, которое люди испытывали в первые дни войны, постепенно становилось привычным. Острое горе разлуки с близкими приглушалось, то почти совсем стихая, то опять обостряясь, как при хронической язве. Несмотря на то, что где-то шла война, жизнь села двигалась по тем же путям, что и раньше. Люди занимались своими обычными, необходимыми делами. Среди забот отца Сергия одно из первых мест занял вопрос, беспокоивший его что ни дальше, то сильнее, – вопрос о хлыстах. Несколько лет он наблюдал за Гаврилой Егоровичем, или Гавришей, крестьянином из Брыковки, верстах в пятнадцати от Острой Луки. Для неопытного глаза он ничем не отличался от других религиозных крестьян: часто ходил в церковь, любил поговорить в компании «о Божественном», пожалуй, поучить. В каждом селе есть такие. Но наметавшийся еще в прежнем приходе взгляд отца Сергия быстро различил едва заметный пересол в его мягких до вкрадчивости манерах (впоследствии, когда дело пошло начистоту, вкрадчивость заменилась грубостью), в подчерк-

³⁴ Одинцом назывался единственный мужчина в семье или последний немобилизованный сын старых родителей. Их освобождали от военной службы для прокормления семьи. – *Авт.*

³⁵ Ратники ополчения, или ополченцы 2-го разряда, – запасные старших возрастов. – *Авт.*

нутом, показном благочестии, в слащавом, то поучающем, то чересчур покорном тоне. Притом обыкновенные богомольные мужички тихонько сидели в своих селах, вели дружбу с такими же степенными соседями, а если даже и имели слабость поучить других, то делали это у своих же друзей и соседей, около церкви, в ожидании начала вечерни, или на лужайке около своего дома, даже на покосе, но никогда не ездили для этого в чужие села и не собирали специально около себя людей. А Гаврила Егорович нет-нет да и наведается в Острую Луку, а то в Березовую (село рядом, все друг про друга известно), и сейчас же хозяйка, у которой он остановился, забегает, собирает «на беседу». Знающих сектантские обычаи настораживало и то, что немолодого уже мужика, несомненно, ценившего почет, его поклонницы, именно поклонницы, а не просто знакомые, называют Гавришей; одно это о многом говорило.

Отец Владимир Аристовский, служивший в Брыковке, и отец Василий Карпов, из соседнего с ней села Никольского, с уверенностью называли Гавришу хлыстом; отец Сергей тоже почти не сомневался в этом, но доказательств не было. Хлысты тем и держатся, что на виду у непосвященных подделываются под православных. Даже на «беседах», при помощи которых они вербуют себе сторонников, на первый взгляд нет ничего особенного. Разговаривают «от Писания», поют духовные стихи. А что в них? Этого, батюшка, не расскажешь, для этого их нужно заучить наизусть.

Только присмотревшись к людям, под клятвой о молчании, начинают хлысты открывать некоторым первые небольшие тайны. А кто наконец станет участником больших, тот сам будет молчать, разве только, одумавшись, ужаснется грязи, в какую попал. Да это редко бывает.

Однако незадолго до войны, кто по духу, кто в частном, один на один, разговоре, начали кое-что сообщать: «Правду, батюшка, ты говорил, дело-то выходит нехорошее. Говорят, на тайных собраниях Гавриша себя за Христа выдает, а баушка Оганя, островская старуха, у него в богородицах». Но все это опять «говорят». Свекровь видела в щелку – сказала снохе, сноха – матери, а та уж к батюшке пришла. За точность таких сведений не поручишься.

Война растревожила людей, заставила больше думать о Боге. Чаще стали собираться люди поговорить о Божественном. Только одни действительно по-хорошему говорили, другие, не разбираясь, лезли на всякую «беседу», а третьи начали задумываться – не запутаться бы.

В это время пришло письмо от Сергея Евсеевича. Неторопливый, основательный, он написал только тогда, когда сам для себя все продумал, разобрался, что хорошо понято, а что нужно выяснить через батюшку. Он писал, что и сам с женой похаживал на беседы к Гаврише и его друзьям. Когда батюшка начал предупреждать, воздержался маленько, а совсем не отстал, ничего плохого там не видел. А вот здесь поговорил с бывальыми людьми, сам хорошенько обдумал каждое слово, которое запомнил, и видит: правда, нехорошо. Этот Гавриша нет-нет да и забросит словцо. Тогда-то он на них внимания не обращал, Думал, спросту человек обмолвился, а как соединил эти обмолвки вместе да подумал над ними, – волос дыбом встает. Правда – получается совсем не христианство, а кошунство какое-то. А другое-то он и совсем понять не может, просит батюшку растолковать. И в стихах у них тоже такие слова попадают, почище Гавришиных обмолвок. Эти слова, которые запомнил, он сейчас и пишет и просит батюшку объяснить ему, если он что неправильно понял. А насчет того, что там яма, в этом он вполне убедился, только теперь за Пашу боится, чтобы ее туда насильно не затянули. Сейчас-то она спросту ходит, пишет ему: «Чай, не на гулянку». Напишет ей теперь покрепче, чтобы не ходила, а батюшку ради Христа просит побывать у нее, поговорить, чтобы отстала.

Неизвестно еще, удалось ли бы отцу Сергию убедить Пашу, если бы не помог случай, вернее, Промысел Божий.

Несколько времени назад в Острой Луке появилась новая учительница, Екатерина Ивановна, сразу обратившая на себя внимание своим необычным поведением. В селах было так мало интеллигенции, что каждый новый человек торопился скорее перезнакомиться со всеми. Конечно, одни были люди молодые, другие – пожилые, с разными вкусами; собирались в ком-

пани и проводили время кому с кем интереснее, а знакомство водили со всеми, хоть пореже, но у всех бывали. А Екатерина Ивановна, приехав, только что не заперлась в своей комнате, кроме как по делу, никуда не ходила. Лишь тогда, когда об этом пошли разговоры, сделала визит матушке. Та быстро отдала визит, но Екатерина Ивановна на том и покончила: ни сама ни к кому, ни к себе никого. Постепенно поползли слухи, что она частенько ездит, будто бы в Липовку к родным, а попадает в Брыковку; с Гавришей она хорошо знакома, помогает ему в беседах и чуть ли не метит в богородицы.

Вскоре по получении письма от Сергея Евсеевича Екатерина Ивановна зашла к отцу Сергию, но неудачно: ни его, ни Евгении Викторовны не было дома. Гостью попросили подождать в зале, а дети побежали отыскивать родителей.

Над письменным столом, около которого устроилась Екатерина Ивановна, висела на скоросшивателе переписка отца Сергия. Никому и в голову не могло прийти, что гостя будет настолько бесцеремонна, чтобы прочитать чужие письма. Но у Екатерины Ивановны, видимо, были свои взгляды на этот вопрос. Неизвестно, прочитала ли она что-нибудь другое и какую пользу извлекла из прочитанного. Но большое письмо Сергея Евсеевича, выделявшееся между более мелкими бумажками, прочитала и сразу же ушла. Когда вызванные детьми хозяева пришли домой, ее уже не было.

Зато в тот же или на следующий день она с несколькими «помощницами» явилась к Паше Прохоровой и как следует отчитала ее за письмо мужа, которого называли и предателем, и отступником, а попутно начали стыдить и ее... за что?.. должно быть, за то, что он ее муж. Паша, и так уже задумавшаяся после его письма и посещения отца Сергия, да еще заметившая в словах гостей намек на новую веру, которую она будто бы предает, – вспыхнула и заявила, что от Православия отказываться она и не думала, что после таких слов она к ним на беседы ни ногой не ступит и их к себе не пустит. Так она и сделала, к великой радости мужа.

Этот случай и выдержки из письма Сергея Евсеевича стали известны всему селу, и многие, подобно Паше, «спросту» ходившие на беседы к «бабушке Огане», прекратили свои посещения. Постепенно отстали и несколько более активных сторонниц Гавриши, а в 1922 году и сама бабушка Оганя разочаровалась в нем.

* * *

Война испортила отношение народа к духовенству. Хотелось сорвать зло на ком-то, находящемся под руками, а тут, кстати, кто-то пустил в ход фразу: «ПОПЫ войну начали». О некоторых, более состоятельных, священниках говорили, что у них деньги в Германии, и никто не давал себе труда подумать, для чего, имея деньги в Германии, начинать с ней войну.

Авторитет отца Сергия и любовь к нему прихожан пошатнулись. Многие сочувствовавшие ему просто боялись открыто выражать свои чувства, большинство его молодых сотрудников оказалось в армии, а умами завладели новые люди. Все чаще, когда отец Сергей или матушка шли по улице, вслед им раздавались обидные выкрики. Даже среди попечителей появились враждебные настроения.

Неожиданное обстоятельство, происшедшее один раз за семьдесят, а может быть, и более лет, усилило эти настроения. В 1915 году Пасха пришлась на 22 марта, а Сретение – на первый день Великого поста. В таком случае, по Уставу, праздничная служба переносится на канун Сретения, то есть на воскресенье 1 февраля.

Это «новшество» переполюшило весь уезд, и, вероятно, не только его. На этот раз ядро возмущенных составляли бабы. Конечно, не обошлось без ядовитых намеков со стороны заядлых старообрядцев, без нашептываний Гавриши. Начались толки о том, что «попы Пасху середь поста устроили».

Даже после того, как прошла Пасха и народ мог убедиться, что ее никто не пытался передвинуть, отношения не исправались. Дошло до того, что отец Сергей начал подумывать о перемене прихода.

Он был убежденным противником перехода с места на место по хозяйственным соображениям, считал, что перевод может быть только по распоряжению епископа, сделанному по его собственным соображениям или в случае каких-то особых обстоятельств. А при данных условиях ни сам Сергей, ни его жена, ни брат, отец Евгений, не могли решить, является ли настоящая обстановка такой крайностью. Если бы был жив отец, Евгений Егорович, чтобы можно было с ним посоветоваться!

Наконец пришли к выводу, что отец Сергей должен поехать к архиерею, рассказать ему все и положиться на его решение. Крепко помолвившись, отец Сергей поехал, но архиерея в городе не застал. Еще раз посоветовались дома и решили считать это указанием свыше на то, что нужно оставаться на старом месте.

Дальнейшее показало правильность такого решения. Не прошло и двух лет, как отношение народа стало постепенно улучшаться. Скоро за «батюшку Сергия» горой стояли не только православные, но и старообрядцы. А что получилось бы, если бы он оказался на новом месте, среди малознакомых людей, хотя бы во время гражданской войны...

Сопоставляя, насколько возможно, старые факты, можно предположить, что поездка отца Сергия в Самару совпала со временем смены там архиереев. С тем временем, когда началась блестящая, но краткая карьера будущего митрополита Питирима³⁶ и когда сменивший его епископ Михаил³⁷ еще не приехал в город.

Епископ Михаил пробыл в Самаре сравнительно недолго и не оставил в делах епархии заметных следов. Но в 1916 году в села каким-то образом просочилось известие о его «придворных успехах», и это известие в духовной среде передавали потихоньку, из уст в уста, с неперменной добродушной усмешкой.

В то время в Самарском мужском монастыре был архимандрит не то Антоний, не то Анатолий. Назовем его условно хоть Анатолием. Особыми талантами он не отличался, даже, кажется, и образованием-то не шибко блистал, но каким-то путем заслужил расположение Распутина, а за ним и императрицы. И вот «в верхах» последовало решение: быть Анатолию архиереем. Решение решением, а Синод запротестовал: в таком деле нужна рекомендация местного правящего епископа, а епископ Михаил рекомендации не дает. Вскоре епископ Михаил был вызван в Петербург и удостоен высочайшей аудиенции. Аудиенция была очень краткой. Александра Федоровна приняла от епископа благословение, поцеловала его руку, дала ему поцеловать свою и, не дослушав его объяснений на свой вопрос, что он имеет против архимандрита Анатолия, сказала коротко:

– Я надеюсь, что вы дадите рекомендацию.

По придворному этикету к царствующим особам нельзя оборачиваться спиной. Значит, чтобы выйти из комнаты в их присутствии, нужно пятиться задом. Пятясь, епископ Михаил задел стоявшую в комнате драгоценную не то севрскую, не то китайскую вазу и вдребезги разбил ее. А рекомендации все-таки не дал.

В 1918 году епископ Михаил уехал с белыми. Рассказывали, что перед отъездом он заходил посоветоваться к древнему уже тогда старику-протоиерею, настоятелю кафедрального собора отцу Валериану Лаврскому, и тот напомнил ему слова Спасителя о добром пастыре, полагающем душу свою за овец своих.

³⁶ Питирим (Окнов, 1858–1920), архиепископ Самарский и Ставропольский с декабря 1913 г. по июнь 1914 г. Впоследствии (с ноября 1915 г.), митрополит Петроградский и Ладужский, член Священного Синода. 6 марта 1917 г. смещен с кафедры как ставленник Г. Распутина.

³⁷ Михаил (Богданов, 1867–1925), епископ Самарский и Ставропольский с июля 1914 г. по декабрь 1918 г.

Епископ Михаил умер через несколько лет в Болгарии, а в 1918 году в Самару на смену ему был назначен епископ Филарет³⁸, получивший прозвище «пеший архиерей», за то, что он первый перестал ездить в карете, а ходил в кафедральный собор пешком. Об архиерее Филарете говорят, что перед своей смертью он долго томился. Перебирая, по-видимому, все, что могло мешать ему умереть, он вспомнил, что в кармане или столе у него осталась еще монетка, одна или две копейки. Монетку нашли и отдали нищим. После того он умер.

Похоронен епископ Филарет на старом городском кладбище.

Глава 22

Родники

Весной 1917 года прошел слух о явлении чудотворной иконы в селе Родники, или Корнеевка, за Николаевском (так тогда еще назывался уездный город Пугачев). Рассказывали, что икону нашел пленный австриец, работавший в Родниках, что народ туда идет толпами, что там каждый день творятся чудеса. Пошли туда и люди из соседних с Острой Лукой сел и из самой Острой Луки. Летом к матушке пришла полуслепая старуха Маркельевна, давно уже с трудом доходившая только до церкви, едва различавшая светлые пятна на месте окон. Она пришла без палки, бодрим, почти молодым шагом. Вернувшись из Родников родственница налила ей пузыречек масла, взятого из лампы, горевшей перед явленной иконой. Маркельевна мазала этим маслом глаза – и вот, видит. «Словно чешуя у меня с глаз спала, – со слезами рассказывала она, – гляжу – не нагляжусь!»

Что ни дальше, все чаще заговаривали об иконе отец Сергей с женой, все серьезнее подумывали о поездке в Родники. Это было нелегко. Мало того что нужно было выбрать неделю без праздников, чтобы, выехав в воскресенье после обедни, успеть вернуться к субботнему вечеру. Мало того что хлопотливо пускаться в такой путь с четырьмя детьми – матушка ждала пятого. Как-то ей в таком состоянии проехать более сотни верст до Родников, чуть не двести пятьдесят верст в оба конца, по проселочным дорогам, на тряском тарантасе? А в то же время это-то ее состояние и делало поездку необходимой.

Баушка Авдотья, которой Евгения Викторовна, по опыту последних лет, доверяла больше, чем настоящей акушерке, предупреждала о неправильном положении плода, говорила, что без операции не обойтись. Поднимался опять тот же вопрос, как и перед рождением Кости, только теперь он был еще сложнее, приходилось оставлять не одну, а троих детей (Соня в счет не шла, она осенью должна будет уехать в Самару учиться). Притом, чтобы не довести до осеннего бездорожья, уезжать придется надолго, месяца на два, да еще в такое беспокойное время.

Наконец поездка в Родники была решена. С большим трудом отцу Сергию удалось достать легкий поместительный фургон на железном ходу с рессорами. Запрягли в него старика Гнедого и недавно объезженного, выращенного на смену старику Воронка, нагрузили всем необходимым, от войлока до арбузов, и поехали. Ехали не торопясь; два раза ночевали, среди дня в понедельник долго отдыхали в поле и, часов в десять утра во вторник, добрались до Родников. Хозяева, у которых они остановились, сообщили, что церковь открыта с утра до ночи, и приезжие, слегка отдохнув, покормив детей и переодевшись, отправились туда.

Мало было сказать, что церковь открыта, она была полным-полна, как не всегда случалось даже на Пасху. Внутри было так душно, что многие стояли в ограде, у открытых окон. Бросалось в глаза, что на некотором расстоянии от стен, кругом всей церкви, поднималась еще невысокая кирпичная стенка, точно вторая, внутренняя ограда, только более массивная. Впоследствии выяснилось, что это строится новая, большая церковь, срочно заложенная ввиду того, что старая не вмещала притока молящихся. Чтобы не прекращать совершения богослу-

³⁸ Филарет (Никольский, 1858–1922), епископ Самарский и Ставропольский в 1920–1921 гг. Умер в ссылке.

жения, решили, пока возможно, строить новую церковь не разрушая старой, а как бы окружая ее футляром.

Посредине церкви стояли два аналоя, на которых лежали небольшие, сантиметров пятнадцать – двадцать в длину «афонские» иконочки, отпечатанные на бумажном атласе: одна – Божией Матери Испанской³⁹, другая – целителя Пантелеимона. Почти беспрерывно служились акафисты Покрову Божией Матери и целителю Пантелеимону.

– Пока не составлена специальная служба нашей иконе, решили служить Покрову, – объяснял родниковский священник, отец Николай Кубарев.

Служил то он, то кто-нибудь из приезжих священников, которые бывали каждый день, и не по одному; некоторые приходили или приезжали вместе с прихожанами.

Когда кончался акафист, молящиеся стеной шли прикладываться к иконам. Толпа казалась бесконечной. Начинался новый молебен, а народ все прикладывался.

Неожиданно где-то в толпе раздался громкий вопль. Диким, нечеловеческим голосом кричала женщина; иногда можно было разобрать отдельные слова; иногда сразу были слышны как бы два три голоса. В дальнем углу закричала другая, ее вопли напоминали собачий лай. Народ зашептал, закрестился. «Бесноватые», – сказал кто-то. Теснота и давка усилились, народ старался пропустить бесноватых с их провожатыми к иконам. Через некоторое время крики смолкли.

Зажатая в толпе, Евгения Викторовна горячо, вдохновенно молилась. В ее позе, в глазах, устремленных на образ Божией Матери, чувствовалась глубочайшая вера, трепетная надежда, мольба... Слегка откинув голову назад, подняв лицо вверх, она взволнованно шептала слова молитвы, как-то особенно убежденно и благоговейно крестилась, вся отдавшись своему чувству, забыв об окружающем. Соня с детства привыкла видеть, с каким чувством она молится по вечерам, но такой не видела ее еще ни разу.

Когда дети устали, все семейство отправилось к дому бабушки. Николай Александрович Кубарев приходился дальним родственником Евгении Викторовне, и они с мужем решили воспользоваться случаем и узнать поподробнее об иконе. Отец Николай только пришел из церкви, чтобы немного отдохнуть, и, сидя за чаем, рассказывал с удовольствием. Как и передавали богомольцы, икона явилась через пленного австрийца. Ему начали сниться необыкновенные сны. Он видел голое, пустынное поле с валявшимися по нему человеческими костями и над полем в воздухе, сияющий образ – он только не мог разобрать – Чей, Спасителя или Божией Матери. Потом являлось заброшенное, заросшее бурьяном место, какое-то полуразрушенное каменное здание вроде сарая и опять та же икона. Слышавшийся в это время голос все настойчивее требовал, чтобы икону нашли, что она спасет людей.

Наконец австриец пошел к бабушке и рассказал о снах. Отец Николай подробно расспросил его, чтобы убедиться, следует ли доверяться его сообщению, и решил, не разглашая особенно, походить с австрийцем⁴⁰ и несколькими доверенными людьми по окраинам села, где могло оказаться место, виденное тем во сне. Ходили долго. Наконец набрали на заброшенное гумно с развалившейся половней⁴¹, которые здесь, в безлесной степи, делались из местного камня. Австриец сказал, что именно это место он видел. Потом указал на небольшой бугорок и сказал, что копать нужно здесь.

– А какая там была почва? – спросил отец Сергей.

– Твердый суглинок, как камень, много лет не копанный, – ответил отец Николай. – Когда начали копать, его лом не брал, откалывали мелкими кусочками. Копал австриец и остальные мужчины по очереди. Я стоял в стороне, чтобы не было подозрений, что я подбросил. Австриец

³⁹ Так в оригинале. Возможно, имеется в виду более распространенная афонская икона – Иверская.

⁴⁰ Имя его никому не запомнилось, все называли его просто «австриец». – *Авт.*

⁴¹ Половня – сарай для мякины и с/х орудий. – *Авт.*

копал до тех пор, пока совершенно не обессилел, – он в это время постился, готовился присоединиться к Православию. Его заменил один из попечителей, а он сел в сторонке и глаза прикрыл рукой – видимо, голова кружилась. В это время тот, который копал, выбросил из ямы вместе с землей свернутую иконочку. Я вижу: она лежит на кучке земли, но не подхожу, думаю, пусть кто-нибудь другой увидит.

– Как она была свернута? – опять осведомился отец Сергей.

– Треугольником. Никаких подозрений в обмане быть не может. Если бы, скажем, австриец пробуравил землю буравом и подсунул иконочку, тогда она должна бы быть свернута трубочкой. И подбросить он не мог, работал в одной рубашке с засученными выше локтя рукавами. Да теперь эти подробности не так уже важны: с тех пор произошло столько чудес, а чудеса не подбросишь.

Пока я смотрел на иконочку, австриец вдруг встал, поднял ее, сказал: «ВОТ она!» – и положил мне на ладонь. И иконочка сама развернулась.

Тут, конечно, все стали прикладываться к ней, потом я положил ее опять на землю, там, где ее нашли, а сам сел на подводу (мы на всякий случай лошадь с собой захватили) и поехал в село, собрать людей и прийти за иконой с крестным ходом. Но я еще половины дороги не проехал, как начался трезвон, а когда я подошел к церкви, из нее уже выносили иконы, кто-то из бывших со мной опередил меня, добежал без дороги, через овраги.

– Батюшка! – окликнула вошедшая в комнату кухарка. – Там женщина пришла с мальчиком, хромым мальчик исцелился.

Все, и хозяйка, и гости, вышли в кухню, где ожидала до вольно еще молодая женщина и мальчик лет тринадцати. Не зная, в чем дело, только по их взволнованным лицам можно было понять, что с ними произошло что-то поразительное. У стены стоял не нужный теперь костыль.

Не сдерживая счастливых слез, женщина начала рассказывать. Мальчик болел с раннего детства. Куда она только с ним не обращалась! Возила к врачам в Симбирск и в Москву, ездила по святым местам, ничего не помогало. Услышала про явленную икону и решила пойти к ней пешком, из Симбирской губернии пришли. И вот сегодня, когда приложились к иконе, мальчик встал на ногу, как будто она никогда и не болела.

– Это твой костыль? – спросил отец Николай.

– Ну-ка, покажи, как ты ходил.

Мальчик, осторожно ступая правой ногой, подошел к стене, ловко сунул костыль под мышку и заковылял по комнате. Было ясно, что он давно привык ходить так.

– Ну а теперь как? Не больно ногу? Что ты словно боишься на нее наступать? Мальчик смущенно и радостно улыбнулся:

– И правда, вроде боюсь. Не верится. А наступать я могу, ничего не болит, не мешает. Вернувшись в столовую, отец Николай сказал:

– Такие случаи я уж и описывать перестал, только записываю коротенько имя и адрес для комиссии, если захотят проверить. Первое время все случаи тщательно фиксировал, а теперь описываю только самые поразительные. Сначала мне и в голову не приходило, что могут быть чудеса. Думал, поставим икону в церкви, отслужим молебен, и на том кончится. И вдруг начались исцеления. Люди повалили и к иконе, и на место явления. Землю оттуда брали. А через два дня один мальчик нашел там еще образок, целителя Пантелеимона. Сколько людей там перебивало, никто его не видел, а вот мальчику явился. И с тех пор каждый день так, как сегодня, сквозь народ в алтарь не пробьешься. Если бы не помогали приезжие священники-богомольцы, я бы один не выдержал. Новую церковь начали строить. В этой зимой невозможно будет стоять. Фотографы пригласили, сфотографировали образки, заказали сразу

несколько тысяч экземпляров – так дешевле – и продаем тоже по дешевке. Ждем комиссию из Святейшего Синода. Кажется, во главе ее будет саратовский протоиерей отец Павел Соколов⁴².

– Ну а... помех не было?

– Приезжали какие-то на автомашине, возили меня и на место явления, и в церковь к иконам, поговаривали, что заберут. Да ведь вы видите, какие у нас места! Кругом крутые овраги, в оврагах родники, дорога между оврагов спиралью крутится. Пока мы на машине доберемся, народ через овраги бегом, целой толпой, вперед нас поспекает. Так и не дали.

А то попытались было украсть. Утром сторож только что отпер двери, как вошел человек, долго стоял у аналоя, потом вышел. Сторож ничего худого не заподозрил, кончил уборку и подошел приложиться к иконам. Смотрит, а на аналое только одна Божия Матерь, целителя Пантелеимона нет. Он скорее к колоколу и давай в набат бить.

Сбежался народ, кинулись во все стороны, нашли. Вор в канаве спрятался, не успел далеко уйти. Да и то, видимо, второпях ошибся. Вместо Божией Матери украл икону целителя Пантелеимона. А чтут-то больше ту.

На следующее утро, едва занялась заря, Евгения Викторовна разбудила Сою:

– Иди скорее к окну! Посмотри!

По улице, построившись правильными рядами, со священником во главе, шли люди, человек триста. Шли ровным, быстрым шагом, как крестные ходы во время молебствия о дожде, когда за день нужно много пройти. Да это шествие и напоминало крестный ход, хотя люди и не несли икон. Отличалось оно разве тем, что шли более организованно. Во время крестных ходов обыкновенно сзади тащатся отставшие, по бокам тоже бредут как придется, то теснясь, то растягиваясь в стороны. А богомольцы на улице держались правильным, четким четырехугольником. Небольшого роста, худенький священник в поношенном подрясничке шел на шаг впереди первого ряда и запевал то одну, то другую молитву. Народ дружно и привычно подхватывал.

– Говорят, за двести пятьдесят верст пришли, – крестясь, сказала хозяйка.

Почти весь этот день и половину следующего наши богомольцы провели в церкви. Отец Сергей помогал отцу Николаю, а матушка стояла в толпе и молилась так же горячо, как и накануне. Когда дети уставали, она предлагала им отдохнуть в ограде, совала домашние пирожки или что-нибудь еще и опять уходила в церковь. Она только жалела, что они приехали на такой короткий срок и не смогут здесь причаститься.

Обратно выехали, когда спала жара, с расчетом переночевать в Николаевске, но вскоре же по выезде узнали, что в Николаевске разбили и подожгли винный склад и неизвестно, что там творится. Как обычно в таких случаях, трудно было отличить правду от вымысла. Встречные рассказывали ужасы об утонувших в вине и сгоревших, о пьяных драках; создавалось впечатление, что по улицам бродят банды пьяных хулиганов, а пожар угрожает всему городу. Но и то, что путники видели сами, не говорило о хорошем. Из города ехали подводы, нагруженные водкой и спиртом, с перепившимися возницами. Ближе к городу пьяные валялись около дороги; на дрожках, пущенных на волю лошади, лежал мертвецки пьяный дядька с беспомощно болтающимися руками и головой... Из-под мостика, переброшенного через глубокую канаву, какой-то оборотистый парень деловито предлагал: «Батюшка, купи водки!» По небу ползли клубы дыма. Ясно было только одно: ночевать в городе нельзя.

– Заедем к батюшке Ахматову, – решил отец Сергей. – Он служит в женском монастыре, между ним и городом пустырь. Узнаем, каково положение, может быть, и переночевать у него удастся.

⁴² Впоследствии епископ Петр Сердобский. По независимым ни от Священного Синода, ни от комиссии обстоятельствам расследование не состоялось. – *Авт.*

Деревья, росшие по берегу реки Иргиз, заслоняли вид на город, но, когда переехали мост и поднялись на высокий берег, вся картина открылась, как на ладони. Город был затянут серой пеленой. В левой стороне, где находился склад, чуть не до половины неба поднималось густое черное облако, прорезанное языками пламени. Даже самое пламя было какое-то темное, мрачное, как бы неподвижное, хотя языки его поднимались все выше. А направо, на зеленом берегу Иргиза, освещенный лучами вечернего солнца, стоял монастырь – белый, сверкающий, тихий, как видение из другого мира.

– Заедем к батюшке Ахматову, – повторил отец Сергей.

Он остановил лошадей у заросшего сиренью палисадника, вошел в домик, выступавший из монастырской стены, и минут через десять вышел обратно.

– Отца Александра нет, – сказал он. – Я расспросил подробно, говорят, что окраиной вдоль Иргиза можно проехать безопасно, а ночевать в городе, разумеется, не советуют. И на ту дорогу, по которой мы приехали, через Селезниху, не попадем, для этого нужно проезжать через центр, недалеко от пожара. Придется ехать на Подшибаловку. Он повернул лошадей и сел на козлы.

– А что же к батюшке лохматову не заехали? – озабоченно подала голос Наташа. Все засмеялись.

– А он, кстати, лысый, – добавил отец Сергей.

Смех усилился. Все точно стяхнули с себя часть беспокойства, хоть и жутко было ехать по пьяному городу, пахнущему спиртом и дымом.

Скоро совсем стемнело. Впереди едва намечалась дорога, зато сзади стояло багровое зарево, разгоравшееся по мере того, как спускалась ночь. Оно виднелось почти до самой Подшибаловки, до которой считалось верст двадцать пять – тридцать.

Дорогой пришлось остановиться и подкормить усталых лошадей. Самим тоже не мешало бы закусить, но, выезжая из Родников, рассчитывали возобновить запасы провизии в городе, а сейчас в корзине почти ничего не осталось: досыта накормили Наташу; мальчикам разделили на двоих полузасохшую, еще домашнюю, булочку, а Соня, подражая взрослым, отказалась от еды. Впрочем, с большим удовольствием съела немного спуска корочку хлеба, оставшуюся у Наташи.

В Подшибаловку приехали поздней ночью, утомленные, полусонные. Пока хозяева постоялого двора стелили на полу постели и расспрашивали старших о пожаре, дети успели с аппетитом съесть по куску мягкого хлеба, а самовара не дождались, уснули.

На следующий вечер богомольцы были дома. Немного отдохнув с дороги, Евгения Викторовна послала за бабушкой Авдотьей. Старушка внимательно осмотрела и сказала торжественно:

– Молись Богу, матушка! Младенец-то повернулся!

В конце ноября почти безболезненно родилась Катя, даже бабушка Авдотья не успела прибежать, хоть и жила всего через площадь. Еще раньше этого у Кости с мамой завелся секрет, они каждый вечер за чем-то запирались в маминой спальне. Так тянулось несколько месяцев. Только когда Соня приехала из Самары на рождественские каникулы (вернее, совсем, потому что начиналась гражданская война и родители побоялись отпускать от себя Соню), – только тогда, да и то не сразу, мама спросила ее:

– Ты не замечаешь, что Костя теперь сам лазит на печку и на Мишину кровать, на второй этаж, и что он стал гораздо быстрее бегать? Конечно, Соня сама не заметила бы этого, но теперь, когда мама обратила ее внимание, припомнила. Действительно, он лазит довольно ловко, хотя летом его даже на фургон приходилось подсаживать. А бегая по улице, конечно, не мог сравниться с быстроногим Мишей и с ней самой, но все-таки оказывался далеко не последним, как это было раньше.

– Я ему каждый вечер мазала руки и ноги родниковским маслом, – сказала мама.

С этого года в семье стали считать Божию Матерь своей покровительницей и особенно чтить Ее Родниковскую икону. Одну из нескольких привезенных с собой копий ее, вложенную в плоскую металлическую коробочку и специально сшитый мешочек, отец Сергей всегда носил на груди, особенно если ожидал чего-нибудь тяжелого или неприятного. Перед ней молились они при всяких невзгодах, и кто скажет, от скольких опасностей и страданий избавила отца Сергия и всю его семью Божия Матерь через эту иконочку, скромно отпечатанную на небольшом лоскутке бумаги. Да и не одни они в селе испытали на себе ее силу. Недаром акафист Покрову Божией Матери стал теперь одним из любимых в народе, и припев его «родниковским напевом» пела вся церковь, наравне, если не чаще, чем припев «Взыскующей»⁴³.

А маленькой Кате не суждено было вырасти. Веселая, здоровенькая девочка умерла от дизентерии на Преображение наступившего 1918 года.

Накануне Острую Луку обстреляли. Теперь, может быть, и смешно говорить о трех или пяти трехдюймовых снарядах, выпущенных чехами по селу с Волги и упавших на западной его окраине. Но неискушенные жители не знали, что этим обозначены пределы досягаемости орудий. За несколько дней до обстрела, ставшего видным событием в местной хронике, все наблюдали пожар в подожженной снарядами Теликовке, и теперь в селе началась паника. Народ ринулся из села, захватив самое необходимое имущество, которое все лето держали на запасных, оторванных от полевых работ рыдванах. Острая Лука находилась посредине между селами, занятыми штабами красных и белых; чуть не каждый день, а иногда и не один раз в день, наведывались отряды то с той, то с другой стороны, и народ все время был начеку. Услышав выстрелы, все кинулись в поле, не рассчитывая вернуться. Плач и крик стояли в воздухе. А перепуганная Евгения Викторовна несла на руках, на небольшой подушечке, почти уже умиравшую Катю. Вечером все возвратились на свои места, а рано утром девочка умерла.

Глава 23 Вечер

1918 г.

С утра мела поземка, потом сверху повалил густой снег, а к вечеру разыгрался настоящий буран. Даже в селе крутило так, что трудно было дышать, а дорожки между домами превратились в рыхлые сугробы. Ветер завывал под крышей, рвал ставни, которые стучали и скрипели, едва не срываясь с петель, или вдруг, закрутив сухой снег, с силой швырял его в окна, словно горсть песка. Покрывая вой и свист ветра, над селом неслись редкие, размеренные удары колокола. Теперь всю ночь будут звонить, даже если через несколько часов буран прекратится. Для этого нарочно наряжают несколько мужиков, которые ночуют в церковной сторожке и по очереди, одевшись, как в дальнюю дорогу, дежурят в открытой всем ветрам ограде и звонят, подавая сигнал тем, кто, может быть, кружится сейчас без дороги в белой клубящейся мгле.

Когда удары колокола раздавались громче обычного или ветер особенно сильно стучал в окно, кто-нибудь отрывался от своего дела и говорил: «Помоги, Господи, тем, кто в поле! Что там сейчас делается!» И вдвое уютнее казалась теплая, светлая комната.

Мирно горела лампа в зале, на заваленном книгами и бумагами письменном столе отца Сергия, мирно тикали над ним большие старинные часы. С висевшей над столом выпускной семинарской карточки смотрели знакомые лица преподавателей и товарищей отца Сергия. Многих теперь уже нет, другие постарели почти на пятнадцать лет.

⁴³ Икона Божией Матери «Взыскание погибших».

Белые занавески и тюлевые шторы прикрывали разрисованные морозными узорами окна. В переднем углу слегка поблескивали серебряные ризы икон; ниже их мягкими полутонами вырисовывались большие красочные олеографии – Казанская икона Божией Матери и «Моление о чаше». На окнах и на полу около окон стояли цветы: лимоны, лилии, трехлетние пальмочки – маленький мирок, такой чуждый тому, что творилось за стеной. Трюмо в простенке между западными, выходящими на улицу окнами, осененное по сторонам высокими фикусами зеркало отражало полуоткрытые двери в прихожую, голубую голландскую печь, старинные гусли перед ней, потертое красное кресло рядом у стены. Дальше виднелся поставленный наискось между двумя стенами диван, примостившаяся в углу за ним драцена, стул со стопой нот и кусочек фисгармонии, занимавшей остаток боковой стены, вплоть до южного окна, подходившего к переднему углу. Портреты родителей отца Сергия – Евгения Егоровича и Серафимы Серапионовны – на стенах над диваном и сине-красные фарфоровые фигурки голландца и голландки на узорчатых чугунных полочках под портретами видны в зеркале так же отчетливо, как и в действительности, с трещиной на стекле и мелкими дефектами на рамках. Беспристрастное зеркало отразило даже кусочек отбитой подставки у голландца – хотя он и стоял так, чтобы изъян был меньше заметен, – и выцарапанное на голубой эмали печки изображение Черного Рыцаря, из-за которого у Кости в свое время было неприятное объяснение с мамой. Зато стоящий перед диваном круглый стол, покрытый такой же, как и диван, старенькой красной скатертью, не позволял заметить, что подушка, лежащая на середине дивана, прикрывает большую дыру с торчащей из нее пружиной. Несколько времени тому назад задумали было заново обить диван и кресла, на этот раз зеленым материалом. Зеленая скатерть, в тон предполагаемой обивке, была уже куплена, но началась война, и о ремонте обстановки пришлось забыть.

Новая жизнь, не признающая красоты, властно ворвалась в когда-то хорошенькое и аккуратное зальце. Она отразилась даже на полудюжине стульев, стоящих около заставленных цветами окон в переднем углу и уже около пяти лет известных под именем новых. Несмотря на то, что ими пользуются только в исключительных случаях, на них заметны следы этой жизни в виде пятен и царапин. Дверки книжного шкафа не прикрываются – там вечно торчит углом какая-нибудь толстая книга. На украшенных затейливой резьбой полосках фисгармонии громоздятся Сонины картонажи: терема, виллы, римские колесницы, целые поселки – приложения к детскому журналу, над склеиванием которых Соня проводила иногда целые дни. На подзеркальном столике, в былые дни покрывавшемся красивой вышитой дорожкой, и на неширокой дощечке-карнизе под ним размещены «хозяйства» мальчиков. Там в грозном боевом порядке выстроились войска, вырезанные из старой «Нивы» и наклеенные на картон. Мальчики иногда все дни посвящают битвам, от которых больше всего страдают их штанишки. Расставив бумажные войска в два ряда, один против другого, они становятся на колени сзади своих и ползают вдоль линии фронта, ожесточенно дуя на противника. После того как упадут все воины, наступает перемирие; упавших вверх подставкой убирают, как убитых; тех, которые лежали вверх лицом – раненых, – расставляют снова, и сражение возобновляется, оканчиваясь только тогда, когда все войско одной стороны будет перебито до последнего солдата. Тогда общими силами награждают оставшихся в живых победителей и особенно стойких героев, подрисовывая им медали и ордена; изменников, позволявших убить себя в первую очередь, заключают в тюрьму, под педали, приводившие в действие меха фисгармонии, и можно начинать все сначала.

В этот день бумажные солдаты тщетно привлекали внимание своих главнокомандующих: они почти целый день провели на «колокольне». Колокольней назывался верхний этаж двойной кровати, устроенной отцом Сергием после того, как его прежнее сооружение из трех кроватей было забраковано. На нижнем этаже спал Костя, мускулы которого до прошлого года были так слабы, что он не мог самостоятельно взобраться даже на печку в кухне, где дети любили играть

зимними вечерами. Верхний этаж достался цепкому полазуке – Мише, но он соблазнял всех – и епархиалку Соню, и маленькую Наташу, и значительно окрепшего за последний год Костю. А Костя, уступавший всем своим сверстникам в силе и ловкости, обладал зато способностью надолго увлекаться и увлекать других. Например, несколько месяцев тому назад он прочитал «Айвенго» и с тех пор без конца говорил о рыцарях, рисовал рыцарей, играл в рыцарей. Соня еще раньше отдала дань этому увлечению, но она не хотела, чтобы над ней смеялись, и увлеклась молча. Только в укромном уголке, одна, фехтовала она с воображаемыми противниками или проделывала торжественную церемонию клятвы на мече, который заменяла палка от серсо с крестообразной рукояткой. Костя не боялся ни насмешек, ни окриков мамы или товарищей: «Отстань, надоел!» Поэтому в доме оказался целый арсенал сделанных из фанеры щитов с более устрашающими, чем искусно сделанными, рисунками, – и все окружающие, от трехлетней Наташи до ее пятнадцатилетней няньки Маши, с большей или меньшей горячностью занялись турнирами и единоборством. Изобретенный Соней меч, благодаря своей длине, годился только для торжественных церемоний, особенно для королевских выходов из «Принца и нищего» – другого увлечения Кости. При турнирах начали употреблять деревянные кинжалы, а то и просто действовать руками. Руки от ударов о щиты краснели, как ошпаренные, но что же делать? Рыцарям тоже нелегко приходилось.

Колоколами Костя увлекся еще раньше, чем рыцарством, и тут тоже проявилась особенность его характера. Каждый не прочь был позвонить в повешенные в сарае старое ведро и разбитый чугун; каждый с удовольствием дергал бельевую веревку, во все горло подражая звону, а возможность забраться на Пасху на колокольню или в обычное время помочь сторожу выбивать часы возносила любого деревенского мальчишку и большую часть девчонок на верх блаженства. Но все они легко забывали об этих развлечениях, найдя новые. А Костя доводил дело до конца. Понятно, что, как только он получил возможность без посторонней помощи взобраться на верхний этаж, тот перестал быть верхним этажом и превратился в копию островской колокольни. С риском раскровенить руки острым сапожным ножом были вырезаны из фанеры колокола разной величины, разрисованы соответствующими орнаментами, и на каждом из них указан вес. На двух больших колоколах (в 107 пудов 10 фунтов и 63 пуда 7 фунтов) кроме того значилось: «Отлит на заводе саратовской купчихи Олимпиады Ивановны Медведевой», а ниже, славянской вязью или, вернее, детскими каракулями: «Благоговей, земле, радость велию», – а в другом: «Завтра услыши глас мой, Царю мой и Боже мой!»

Мальчики забрались на колокольню еще до обеда. У Миши было свое преимущество: он так искусно подражал трезвону, что Костя охотно предоставлял ему распоряжаться маленькими колоколами, оставив себе право гудеть самым густым басом, раскачивая большой. Назволившись досыта и в тысячу первый раз исследовав верх перегородок между комнатами, на четверть или полторы не доходящих до потолка, они решили провести телефон через прихожую из папиной спальни, где стояла их кровать, в мамину.

Не раз уже писалось о том, сколько великих изобретений забыто и потеряно для потомства. К числу их относится и способ, при помощи которого новым техникам удалось протянуть под потолком прихожей длинную нитку. Кажется, они привязали ее к пустой катушке и с завидным терпением кидали вверх до тех пор, пока она не перелетела через переборку. Концы ниток с обеих сторон намотали на катушки, прикрепленные к переборкам таким образом, чтобы их можно было крутить. Для работы запаслись карандашами и бумагой – и телефон готов. Немного неудобно было то, что Мише, обосновавшемуся в маминей спальне, пришлось стоять на полукруглой спинке кровати, придерживаясь за висящие рядом платья, но это его не смущало. Он даже гордился своей ловкостью. Костя написал на клочке бумаги слово «Миша», снабдил его внушительных размеров восклицательным знаком, обмотал бумажку ниткой и дернул, давая сигнал готовности. Миша завертел катушку, перематывая на нее нитку, бумажка поплыла по воздуху. Телефон заработал.

Немного погодя Миша тоже дернул нитку – телефон заработал в другом направлении, неся лаконический ответ:

- А?
- Знаешь что?
- Что?
- Давай в телефон играть.
- Давай.

В телефон играли до сумерек. На каждой телефонной станции валялась целая куча использованных бумажек, и почти столько же было рассеяно в прихожей. После каждой упавшей бумажки слышался голос получателя: «Ответ упал, тащи обратно!» – или торопливое предупреждение отправителя:

- Погоди, погоди, не тащи! Телефон испортился.

* * *

Вечером мальчики от нечего делать вытащили из тюрьмы самого злостного изменника – Медного Всадника. Благодаря своей высоте и неустойчивой форме, а может быть, благодаря слишком длинной подготовке, он всегда падал убитым в самом начале игры, а иногда еще до начала, что было совсем возмутительно. Мирные телефонисты, снова превратившиеся в главнокомандующих, возглавили заседание военного суда, состоящего из наиболее отличившихся в последних боях героев. В числе их были: Витязь на распутье, Крейсер «Варяг», Наполеоновский гренадер в меховой шапке и женском салопе и трехдюймовая пушка, в свое время в журнале направленная на подходящих японцев в битве при Дашичао⁴⁴. Суд единогласно вынес смертный приговор, после чего преступнику оторвали голову. Потом стало скучно. Если бы их было больше, можно придумать интересную игру. Можно бы играть в прятки или в жмурки, или соорудить из стульев замечательный поезд, или, открыв двери всех комнат, устроить скачку на двух деревянных конях и трехколесном велосипеде, наконец, просто бегать кругом. Не беда, что папа сидит за своим столом и пишет. Когда он дома, он почти всегда пишет и молчит в это время, разве только крикнет через стену маме: «Еничка, как пишется такое-то слово?»

Когда он разговаривает с мамой или приезжающим в гости Мишиным крестным, отцом Григорием, о том, что он пишет (это называется статьи), он говорит, что его статьи затрагивают важные вопросы церковной жизни; что у него влиятельный оппонент (инспектор епархиального училища; инспектор – это самый главный учитель, а что такое оппонент?), что его статьи с трудом пропускает цензура и, значит, нужно больше писать, чтобы хоть что-нибудь напечатали. А еще он пишет отчеты и дневник. Впрочем, все равно. Что бы он ни писал, детский шум ему никогда не мешает, только не надо ссориться, а то он обернется и скажет: «Перестаньте!» А это гораздо серьезнее маминых угроз поставить в угол. Время от времени он встает из-за стола и, заложив руки за спину, начинает ходить взад и вперед по комнате – говорит, что он так думает. Но он всегда очень ловко лавирует среди опрокинутых стульев и мчащихся всадников, он и они редко когда мешают друг другу.

Дело не в том, даже не в том, что Катя спит, можно играть потише. Просто никто не хочет играть. Их приятель Саня, сын кухарки Тани, сидит в кухне и выбивает из медной копейки кольцо, заказанное ему какой-то невестой. Маша ушла совсем, потому что ее стали сватать женихи, а сменившая ее Настя все еще стесняется. Соня сидит против мамы за большим столом в столовой и вообще забыла обо всем на свете, погружившись в приключения охотников за скальпами: это мама недавно узнала, что у отца Григория есть собрание сочинений Майн Рида,

⁴⁴ Сражение в Русско-японской войне, состоялось 10–11 июля 1904 г.

и теперь привозит Соне по книжке, благоразумно взяв с нее обещание, что она будет читать только по вечерам и в праздники и не вздумает убежать в Америку. Даже Наташа прижалась к маме, которая быстро-быстро надвязывает детские чулки и в то же время читает, – прижалась, закуталась уголком ее шали и одной рукой раскрашивает каких-то чудищ в красных платьях, с растопыренными пальцами и торчащими на отлет косичками. Да и маме совсем не обязательно читать про себя неинтересную книгу. Сколько приятных вечеров провели все, слушая, как она читает вслух то «Хижину дяди Тома», то «Принца и нищего» или «Похождения Тома Сойера», то про сто рассказ из нового журнала. Но и она отказывается читать, говорит, что Косте нужно отсыть, что он слишком горячо все воспринимает. Вот и скучай теперь!

Миша скоро тоже нашел себе занятие. Достав вырезанное из сокорки туловище человека, он, при помощи проволочек, начал прикреплять к нему руки и ноги, стараясь добиться того, чтобы человек стоял. Его мечтой было заменить бумажные хозяйства деревянными, сделав все, что нужно: мужчин, женщин и детей и комнаты со всей обстановкой, от умывальника до пианино. И чтобы на дворе были и верблюды, и коровы, и собаки, и куры с цыплятами; и чтобы лошадей можно было запрягать, по желанию, и в плуг, и в телегу, и в сани, и в пушку, а людей сажать в экипаж или верхом и давать им в руки грабли, ружье или знамя, что вздумается. Прошло два с лишним года, прежде чем он осуществил свою мечту.

А Костя продолжает скучать. Он заглянул было в книжный шкаф, но мама спрятала «Айвенго» и дает его только по праздникам. Попробовать вызвать Соню на турнир – она только отмахнулась. От нечего делать он взял грифельную доску и начал рисовать осаду замка Фронде-Бефа. Мысли его текли по обычному направлению. Рисуя, он декламировал, сначала про себя, потом все громче и громче:

«Нет, он не отступает, не отступает, – сказала Ревекка.

– Вот он, я его вижу; он ведет отряд к внешней ограде передовой башни. Они валят столбы и частокол, рубят ограду топорами. Высокие черные перья развеваются на его шлеме над толпой, словно черный ворон над ратным полем. Они пробили брешь в ограде... Ворвались... Их оттесняют назад. Во главе защитников барон Фронде-Беф, его громадная фигура высится среди толпы».

Костя замолчал, старательно вырисовывая голову черного быка на щите Фронде-Бефа, потом продолжал дальше. Он знал наизусть целые страницы из любимой книги.

«Вот теперь Черный Рыцарь со своей огромной секирой приступил к воротам, рубит их. Гул от наносимых им ударов можно услышать сквозь шум и крики битвы. Ему на голову валят со стен камни и бревна, но отважный рыцарь не обращает на них никакого внимания, как будто это пух или перья».

– Костя, перестань! – сказала мама, отрываясь от книги. – Надоел ты до смерти со своими Де-Браси и Фронде-Бефами.

Костя перешел на шепот, но через некоторое время, забывшись, опять заговорил вслух:

«Гулко отзывались под каменными сводами яростные удары, которые они наносили друг другу: Де-Браси мечом, а Черный Рыцарь тяжелой секирой. Наконец громовой удар по гребню шлема норманна поверг его на землю.

– Сдавайся, Де-Браси! – сказал Черный Рыцарь...»

– Коська! – рассердилась мама, – хочешь и в воскресенье остаться без книги?

Угроза заставила Костю присмиреть. Минут десять рисовал он молча, потом поднял голову и произнес, глядя в пространство, словно обращаясь к ветру на улице:

– Натан-бен-Самуил.

Наташа насторожилась. Сколько раз Костя давал ей прочитать в «Айвенго» это однажды, случайно встретившееся там имя, сколько раз доказывал ей, что на написанное нельзя обижаться, что в книгах пишут только правду. Ну, разумеется, всякому понятно, что Натан-бен-Самуил значит: Натан, сын Самуила. И не стоит даже и спорить о том, что Натан и Наташа –

одно и то же, а доказывать, что она не сын, а дочь своих предков, просто смешно. Она и не спорит и спокойно откликается, когда ее называют Натан-бен, а то и просто Бен. Она и сейчас не обиделась на самое имя, внимание привлек тон Кости, то, как он разделяет, точно отчеканивает, слова. И она сказала на всякий случай, впрочем, пока еще мирно:

– Костыш!

– Беобахтете! – раздалось вдруг с Мишиной стороны.

Мальчики еще не учили немецкий язык; им занимался, да и то уже давно, псаломщик Александр Сергеевич, а к нему, шутки ради, присоединился было отец Сергей. Тогда-то дети поймали это звучное слово (означающее, кажется, «наблюдаешь ли?»), казавшееся Наташе ужасно обидным. Пожалуй, так казалось потому, что братья произносили его с сильным ударением на последнем «а», словно удар грома или выстрел – «бах», а последующие «те-те», повторяли так, как будто им не предвиделось конца. Теперь все ясно, военные действия начались, нужно защищаться.

– Дог Мигуэль!

– Наташка-замарашка!

Действующий против Наташи союз был страшен не только тем, что их было двое против одной, а и тем, что они старше и находчивее. И это прозвище они выкопали где-то в книге, в каталоге детских рассказов. Наташе от этого не легче, но она храбро продолжает борьбу:

– Костыш-гвоздыш! Мишка с шишкой!

– Ната-а-шка-замарашка! На-а-гашка-замарашка!

Наташа наконец чувствует, что ей необходима помощь. «Мама, что они дразнятся!» – пищит она.

Евгения Викторовна опять отрывается от книги:

– Перестаньте, мальчики! Как вам не стыдно! Сидит девочка спокойно, никому не мешает, так непременно нужно ее раздражить!

Снова спокойствие минут на десять – пятнадцать. Евгения Викторовна снова погружается в чтение. Перешепнувшись между собой, мальчики в один голос зловещим шепотом скандируют:

– На-у-хо-до-но-сор!

– Мама, что они дразнятся: ухо да нос! – опять возмущенно жалуется Наташа, которой это незнакомое слово показалось обиднее всего, что приходилось слышать раньше.

К раздавшемуся вдруг взрыву хохота присоединяется даже Соня, а отец Сергей спрашивает со своего места:

– В чем дело?

Ему объясняют в пять голосов, потом в три голоса начинают объяснять Наташе новое слово. При этом Соня совершает довольно глубокую экспедицию по Вавилону, мальчики больше напирают на этический смысл своей редакции библейского имени (нельзя жаловаться), а Наташа возмущается и доказывает, что не она лезла к ним, а они к ней, – значит, она права, обратившись за помощью. Разговор явно не клеится, с минуты на минуту можно ожидать новой вспышки.

В зале раздается звук отодвинутого стула, и отец Сергей выходит в столовую с листком бумаги в руках. Он серьезен, как бывает всегда, когда читает жене отрывки из своих статей, только в глазах его вспыхивают озорные огоньки.

– Будет вам спорить, слушайте, что я написал!

Отец Сергей подождал, пока все успокоилось, и начал тем шутливо-торжественным тоном, которым иногда изображал гимназисток, читающих стихи на экзамене:

«Жили-были вот эти дети: Соня – учена, Костя с тростью и Миш-шалиш, Натка, завернутая в ватку, пришла к ним в гости и толкнула ногой Костю.

Костя сел, сам ногу съел.

А сестре и брату оставил вату».

Что тут поднялось, такие бурные взрывы восторга едва ли выпадали на долю лучших поэтов. Даже Соня, хотя уже была настолько «учена», что могла заметить недостатки этого произведения, все-таки гордилась и отцом, и тем, что попала в стихи. Мальчики возбужденно кричали что-то, таща отца каждый в свою сторону, а Наташа, взобравшись на стул, уцепила его сзади за шею и пронзительно визжала от восторга прямо ему в ухо. Наконец отец Сергей не выдержал:

– Хватит шуметь, а то вы и меня, и маму оглушили, и Катю разбудите. А, да вот и она явилась! – добавил он, увидев Евгению Викторовну, вошедшую с двухмесячной Катей на руках. За шумом они и не заметили, что Катя подала голос. – Ну, если так, пошли лучше петь. Тащите стул к гуслиам!

И отец Сергей, подбросив Наташу так, что она оказалась у него на спине, галопом сделал с ней два круга по комнате и, смеющийся, растрепанный, запыхавшийся, опустился наконец на поданный стул. Дети окружили его, приготовившись наблюдать знакомую церемонию настройки гуслей.

Отец Сергей поправил шатавшуюся ножку, особым ключом подкрутил металлические колки, подергал все струны по одной, проверяя правильность звука, еще кое-где подтянул, провел пальцем по всем струнам, от тонких и коротких верхнего регистра до длинных, толстых, басовых, сыграл для начала что-то нежное и задушевное и вдруг перешел на знакомую мелодию. Начинай, детвора!

Я бедная пастушка,
Мой мир лишь этот луг.
Собачка мне подружка,
Барашек – милый друг.

Этой песенкой всегда начиналось пение под гусли. Потом мелодия переменялась, стала быстрее, энергичнее. Тверже зазвучали детские голоса:

Царь грибной боровик,
Всем грибам полковник,
Вздумал воевать, вздумал воевать.

Потом пели под фисгармонию из «Живого Слова», то есть ставили на пюпитр хрестоматию «Живое Слово», открывали первое попавшееся стихотворение, отец Сергей подбирал аккомпанемент и мотив, и начиналось пение. Увлечшиеся певцы притащили было и Лермонтова, намереваясь пропеть «Воздушный корабль», но отец Сергей решительно встал и захлопнул крышку:

– Хватит! Катя заснула, а мама уже два раза говорила, что пора ужинать. Постучите Тане, пусть собирает на стол.

Стучали дверным крючком о петлю, это заменяло звонок в кухню. Когда мальчики читали или рисовали, особенно если в зале было темно, они, случалось, ленились и перекорялись, кому идти стучать, но сейчас бросились вперегонки – возбуждение еще не улеглось. И Наташа тоже заразилась им. Пока Таня приносила тарелки, ложки, хлеб и суп, она взгромоздилась на колени к папе, заплетала в косу его бороду, сунула кончик косы ему в рот и покатывалась со смеху, глядя на свое создание. Потом вдруг обхватила ручонками его лицо и начала целовать куда попало – и в губы, и в нос, и в щеки, и в очки. Отец покорно подчинялся, ворча с довольной улыбкой:

– Ну, хватит, хватит! Что лижешься? Тебя бы Лизой назвать, а не Наташей.

Суп что-то задержался. Только когда Евгения Викторовна встала, чтобы идти проверить, что случилось в кухне, Таня вошла в комнату, но без миски. Она сделала матушке знак выйти, и в это время размеренные, рассчитанные на всю ночь удары колокола вдруг заменились частыми, захлебывающимися звуками всполоха (набата).

– Это не пожар, – сказала Таня, взглядом останавливая отца Сергия, который вскочил, торопясь, по обыкновению, бежать на помощь. Пользуясь тем, что взрослые оказались около нее, она продолжала вполголоса, чтобы дети не слышали. – Это Кузьма опять бежит, с ломом. Его жена сейчас задами прибежала, наказывала, чтобы батюшка нь, отнюдь⁴⁵ не выходил из дому. А своего Леньку послала всполох бить. Сейчас там мужики набегут, переймут его.

– Как же быть? – колебался отец Сергий, – а вдруг он кого-нибудь зашибет ломом?

– Не зашибет, – ответила Таня. – Мужики тоже не дураки, один на один к нему не полезут, а с толпой он драться не станет. И не поймешь, то ли он правда бешеный, то ли озорует, – раздраженно закончила она.

Все-таки взрослые куда-то уходили, опять приходили, волновались, шептались, даже тогда, когда набат прекратился. Дети, услышавшие довольно, чтобы понять, в чем дело, тоже беспокоились. Даже Наташа, которой вместо «с ломом» почудилось «слон», и она была уверена, что по улице слон бежит.

Наконец Таня принесла миску с супом и громко сказала Евгении Викторовне:

– Садитесь ужинайте! Поймали, связали, заперли в школу – в жегулевке-то теперь мороз, – охрану приставили, не вырвется!

Благодаря неожиданному происшествию (кстати, это был последний случай буйства Кузьмы), ужин задержался и дети дремали за столом. Наташа и совсем бы заснула, если бы не подали молоко. Молоко она любила и очень скучала, когда с осени его не было. Корова только что отелилась, и уже третий день перед Наташей ставилась большая чашка молока. Девочка так и вцепилась в нее и пила не отрываясь и едва переводя дыхание.

– Молочная душа! – смеялась мама. – Лопнешь!

Малютка только плотнее прижала чашку к самой переносице, и из-за нее виднелись лишь блестящие голубые глаза да часть разрумьянившихся щечек. Но молоко выпито, и, пока старшие кончали ужин, головка Наташи снова беспомощно упала на стол.

– Да вы все поснули, – заметил отец Сергий, отрываясь от книги и видя, что мальчики тоже дремлют, положив головы чуть не в тарелки. Ну, молитесь да ложитесь!

Мальчики лениво поднялись, еще не вполне осознав, что от них требуется, и вдруг бегом бросились в залу, стараясь занять любимое место перед иконами. Матушка зажгла в спальне свечу и подняла на руки уснувшую Наташу.

– Проснись, деточка, – шептала она ей на ушко. – Скажи папе «спокойной ночи» и пойдём спать.

– Спокойной ночи! – пробормотала девочка, складывая ручки.

Отец Сергий благословил ее, поднес к ее губам руку и сам поцеловал эти полураскрытые губки. Вошла Таня за посудой.

– У Кузьмы-то в кармане спички нашли, – рассказывала она, собирая тарелки. – Поджечь, видно, думал. – Ишь, уморилась, прибавила она, с улыбкой глядя на Наташу. Головенка-то мотается, как у мертвого воробушка.

– Соня, ложись и ты, – сказала Евгения Викторовна старшей дочери, которая под шумок опять принялась за Майн Рида. Все до того привыкли к припадкам Кузьмы, они стали до того обычной, хотя и крупной, житейской неприятностью, что каждый возвращался к прерванному делу чуть не в тот момент, когда опасность исчезала.

⁴⁵ «Нь, отнюдь» – местный оборот, означавший категорическое запрещение. – *Авт.*

– Мамочка, я только немного, самое интересное место... только до главы дочитаю... Всего две странички... нет, шесть... восемь.

– Ну вот, две... шесть... восемь... а через восемь страниц еще интереснее будет, – перездразнила Евгения Викторовна. Не настаивая больше, она унесла Наташу в спальню и стала раздевать, тормоша и щекоча ей шейку и подмышки.

– Проснись, дочка, помолись Боженке, – ласково шептала она, – разве можно не молясь спать. Только немного помолись за нас всех. Наташа открыла сонные глазенки, в одной коротенькой рубашечке встала на кровать и торопливо закрестилась.

– Спаси, Господи, и помилуй папу, маму, Соню, Костю, Мишу, Наташу, Катю, – скороговоркой перечисляла она, оглядываясь на мать, чтобы не пропустить кого, – бабушку, прабабушку, дядей, тетей... Она перебрала по именам всех двоюродных братьев и сестер и опять обернулась к матери: – Мама, а за теленочка можно молиться?

– Что? За какого теленочка? – не поняла сначала Евгения Викторовна, потом вспомнила и ответила, скрывая улыбку: – Можно, можно, молись.

Малютка еще раз перекрестилась и, стоя на ногах, отвесила такой поклон, что коснулась головой подушки.

– Дай, Боже, здоровья теленочку! Мама, все?

– Нет еще. «Упокой, Господи...»

– Упокой, Господи... – Голос Наташи прервался, и язык шевелился все медленнее и медленнее. – Дедушку... и другого дедушку, бабушку...

– Тетю Маню, – подсказала мать, видя, что глаза ребенка совсем закрываются.

– Тетю Маню, Леночку, Ринечку... и всех православных христиан... Аминь.

Наташа сделала земной поклон, но на этот раз голова, коснувшись подушки, не поднялась более. «Аминь» закончился глубоким сонным вздохом. Девочка так и заснула, уткнувшись носом в подушку.

Евгения Викторовна тихонько повернула ее на бок, укрыла одеяльцем, несколько раз перекрестила и, наклонившись, поцеловала разгоревшуюся щечку.

Глава 24

Болезнь

1919 г.

Весной 1919 года Евгения Викторовна снова открыла маленький сундучок с детскими вещами и внимательно пересмотрела их. Всего было достаточно: и одеяльца, и нарядные простынки, и распашонки с чепчиками, всего хватает. Маленькие дети так быстро растут, что их белье остается почти новым. Конечно, хотелось бы, по обыкновению, новую крестильную рубашечку – они с мужем уже решили, что крестной новорожденного будет Соня, значит, рубашечку нужно готовить самим, – да где же их взять сейчас, трудно с мануфактурой, придется взять одну из прежних. Нужно только пошить пеленки да, пожалуй, один-два чепчика. Все это будет шить Соня. Она уже настолько выросла, что от нее не скроешь положение матери, так пусть практикуется; девочка большая, пора уметь шить.

Дело было не в одной практике. Евгения Викторовна уже давно прихварывала и не могла, как раньше, просиживать ночи, обшивая всю семью. Поэтому для нее было большой помощью, когда Соня, со всем усердием девочки, начинающей чувствовать себя взрослой и нужной, кроила и шила белье не только себе, но и отцу и братишкам. Наташе она даже ухитрилась сшить из разных остаточков два платья, первое очень неуклюжее, а второе ничего, носить можно. Значит, и чепчик, и распашонку сошьет по готовым образцам, шила же для куклы.

Сама Евгения Викторовна, что ни дальше, то больше волновалась. Недавно умерла бабушка Авдотья, опыту которой она с каждым ребенком все больше и больше верила. Да и жила она близко; когда бы ни понадобилось, только позови, и через пятнадцать минут старушка уже будет на месте со своими ловкими руками и ласковой улыбкой на морщинистом лице. А теперь на кого надеяться? Врач далеко, уже при рождении Кости стало ясно, что на него надеяться нельзя. А самочувствие делается все хуже, ни разу еще Евгения Викторовна не испытывала таких ощущений, как в то время. Она посоветовалась с мужем и решила съездить в больницу не откладывая.

– Наташа поедет с нами!

Евгения Викторовна с удовольствием забрала бы с собой всех детей, но неудобно явиться к почти незнакомому врачу в повозке, переполненной детворой, и она выбрала младшую. Наташа, в полном восторге, побежала обуваться и переодеваться и потом всю дорогу оживленно болтала. Но даже она заметила, что старшие заняты чем-то своим и не обращают внимания на ее вопросы. Особенно это стало заметно на обратном пути. Папа и мама разговаривали только между собой о чем-то неинтересном и непонятном, и лица у них были озабоченные и печальные. Но Наташа была довольна. Соскочив, лишь только папа придержал лошадь у ворот, она побежала делиться впечатлениями с подругами и даже не слышала, как мама сказала встретившим ее женщинам:

– Говорят, что сейчас, до рождения ребенка, трудно сказать определенно, а после рождения советуется, не откладывая, ехать в Самару.

* * *

До весны Наташа спала на маленькой кроватке в маминей спальне, самой маленькой, самой изолированной и, пожалуй, самой уютной из четырех (с прихожей – пять) комнаток священнического дома. Папа раньше спал в большой, полутемной «папиной» спальне, где стоит двухэтажная кровать мальчиков, но еще давно, чуть ли не год назад, его место заняла приехавшая к ним прабабушка, а папа устроился в столовой. Весной к нему переселилась Наташа. Конечно, хорошо спать рядом с мамой, но и так неплохо, пожалуй, даже интереснее. Во-первых, в столовой негде поставить ее кроватку, и она спит на одной кровати с папой. Так совсем не страшно, даже если проснешься ночью, когда темно. Просыпаясь в своей кроватке, Наташа всегда звала маму, но, если это повторялось часто, мама переставала откликаться. Несколько раз крикнет Наташа: «Мама! мама!..» Ведь чувствует, что она не спит, а все-таки не откликается. И только когда Наташа хитреньким, ласковым голоском протянет: «Ма-атушка-ау!» – мама не выдержит и засмеется. Папу не нужно звать. Если делается страшно от темноты, нужно только закрыть глаза и уткнуться носом в его теплую грудь или бороду, и все будет в порядке. Притом папа каждый вечер так интересно рассказывает что-нибудь из Священной истории, что Наташа утром торопится передать его рассказы братьям или подругам, а вечером – самому папе. Так и повелось: сначала Наташа расскажет папе вчерашнюю историю, а потом папа ей новую. Случалось, конечно, что и не успевали: сон приходил раньше времени.

– Теперь я расскажу тебе про этого... как его... да, про Осипа! – говорила Наташа, забываясь под одеяло и уютно примащиваясь у стенки. – Ну, папа, да ложись же скорее, а то опять заснем, как вчера! Ну... значит... у Осипа был младший брат, звали его Михей...

То, что Наташа назвала Иосифа Прекрасного Осипом, было вполне законно, она только повторяла тот путь, который проделал русский народ, образуя свой язык, но почему Вениамин превратился в Михея – задача, достойная опытного лингвиста. Отец Сергей не был им, и потом, его сейчас, кажется, больше интересовало движение в маминей спальне, чем история Иосифа. Он сел на кровати и тихонько окликнул Соню:

– Иди ляг на мое место и постарайся, чтобы Наташа поскорее уснула.

Соня встала со своей постели на диване в зале, у самой стены маминой спальни (может быть, отец Сергей убивал сразу двух зайцев, удаляя ее с этого места) и устроилась около Наташи. У нее уже был опыт, как заставить сестренку заснуть; нужно было сделать так, чтобы она слегка скучала, но лежала смирно, не возилась. Для этого нужно рассказывать довольно интересную, но не волнующую историю, рассказывать медленно, ровным, сонным голосом со все удлиняющимися паузами, словно сама засыпаешь. Как и всегда, уловка удалась, через десять минут слушательница крепко спала, а около нее спала и рассказчица.

Против обыкновения, на этот раз Соня спала чутко и беспокойно. Через затворенные во всех комнатах двери до нее все-таки доносились тихие, чтобы не разбудить детей, шаги около маминой спальни, осторожное хлопанье дверей, приглушенные голоса. Через двое закрытых дверей нельзя было понять, о чем там говорилось, да Соня и не старалась понять; прислушиваясь, она ждала только одного звука, который нельзя смешать ни с чем, и, не слыша его, опять спокойно засыпала. Она не знала, что в это время ее мать изо всех сил сдерживала стоны, чтобы не потревожить детей.

Уже под утро она позвала мужа.

– Измучилась я, Сережа! – слабым голосом сказала она. – Поди прочитай акафист перед Родниковской иконой.

Отец Сергей зашел в залу, осторожно зажег лампу, надел епитрахиль и встал перед иконами. Лежавшая на маленьком столике в переднем углу книжечка сама открылась на акафисте Покрову Божией Матери, который читали перед Родниковской иконой. Да эта книжечка почти и не нужна была отцу Сергию. Он знал акафист наизусть.

«Радуйся, премилосердная утешительница всех скорбящих и обремененных...»

Радуйся, сирот безматерних незримая воспитательница...

Радуйся, матерей детородящих скорое и безболезненное разрешение...

Радуйся, печальных утешение...» – горячо шептал он.

В это время Наташа проснулась и позвала сестру:

– Соня, это кто пищит? Котенок?

– Да, котенок. – Соня, которая проснулась на минуту раньше, прикрыла сестренку одеялом, чтобы заглушить посторонние звуки, и, как маленькую, тихонько похлопала ее по спине:

– Спи, утром посмотрим!

Соня сидела лицом к окну в кухне за столом, загроможденным акварельными красками и цветными карандашами, и рисовала виньетки на недавно подаренных ей конвертиках и листочках почтовой бумаги. Вернее, она сводила контуры рисунка через копировальную бумагу, а потом оттушевывала и раскрашивала его. Вот уже лежат готовые крошечные веточки незабудки, розовый бутон, мальчик в красочном средневековом костюме... Она работает над очередным рисунком, но не может сосредоточиться, ее глаза то и дело отрываются от рисунка и устремляются через окно на дорогу, пересекающую площадь и теряющуюся за поворотом улочки на севере. Девочка потому и устроилась у кухонного стола, что только здесь видна эта дорога. Она ведет в Спасское, на пристань. Сегодня отец Сергей выехал туда встречать жену, а недавно оба мальчика, прихватив с собой и Наташу, отправились по той же дороге в луга, к броду через Чаг ру, ожидать их возвращения. Соня тоже с удовольствием пошла бы туда, если бы было на кого оставить Сережу. Можно бы попросить кухарку Таню посидеть с ним, но она тоже воспользовалась случаем, что сегодня не будет работы ни на гумне, ни в поле, и пошла навестить своих родных.

Да, положение старшей в семье, безусловно, обязывает.

Уезжая в Самару, мама так и сказала: «Придется тебе, Соня, остаться за старшую и заменить мать Сереже, он же твой крестный сын».

Прошел ровно месяц с рождения Сережи, и Соня едва успела опомниться от радости, что он явился так удачно, через день после того, как ей самой исполнилось 14 лет; словно немного

запоздавший подарок ко дню рождения. Тот день, когда мама уезжала, тоже был торжественный: именины прабабушки Натальи Александровны и Наташи и день рождения Наташи и папы. Ей исполнилось пять, ему тридцать семь лет. Утром служили литургию и напутственный молебен, потом, как положено, были пироги, а потом папа запряг лошадь, уложил мамины вещи, мама расцеловала всех, и они поехали на при стань.

Легкими движениями карандаша Соня раскрашивает прозрачную голубую юбочку маленькой феи и тихонько вздыхает. Быть старшей совсем не так просто даже с такой опытной кухаркой, как Таня, которая выполняет все тяжелые работы по дому, кроме уборки комнат. Но мальчишки шалят и не слушаются, Наташа тоже не прочь покапризничать, а когда она начинает вразумлять их, дело нередко кончается дракой. Правда, папе они стараются не жаловаться, да если бы и хотели, до его прихода все равно все позабудешь, – он целые дни занят.

Но хуже всего с Сережей. Соня добросовестно ухаживает за ним, кормит его смесью молока с подслащенной водой и купает с помощью Тани. Но он все время плачет, а если даже и спит, от него все равно никуда нельзя отойти. Это сейчас-то, когда возят хлеб и убирают арбузы, когда на гумнах идет молотба и так приятно померяться силами со взрослыми и поваляться на свежей, душистой соломе.

Иногда удается упросить Таню, чтобы она не шла на гумно, а осталась с Сережей, и побегать на гумно самой. Папа, кажется, не особенно бывает доволен такой заменой. Таня как работница, безусловно, полезнее Сони – он мирится и с этим. На гумне тоже тяжело, до того, что у Сони иногда кружится голова и темнеет в глазах от торопливой, напряженной работы, но там гораздо интереснее, чем с Сережей. Там часто находятся одна-две пожилые женщины, пришедшие помочь батюшке, они угощают детей вкусным квасом, а во время отдыха рассказывают разные случаи из своей жизни. Вот теперь придет мама, и Соня постоянно будет работать на гумне. Размечтавшись, Соня забыла посмотреть в окно и чуть не пропустила подъезжавших. Она увидела только задок промелькнувшего тарантаса и детские головы в нем, но мамы не заметила. Роня карандаш, она выскочила отворять ворота и увидела, что не ошиблась: мамы не было, Отец Сергей, озабоченный, с новой глубокой морщиной на лбу, остановил Воронка и сказал: «Мама не приехала. Ей сегодня делают операцию». С помощью мальчишек он выпряг Воронка, дал ему корму, завез на место тарантас и позвал:

– Пойдемте, детки, помолимся, чтобы мама здорова была.

В зале перед иконами дети встали так же, как вставали с матерью, молясь об отце, когда ему грозила опасность. А отец Сергей встал на то место, где так часто стояла его жена, и, так же, как она, полным глубокого чувства голосом начал читать молитвы Той, Кто есть больным исцеление, печальных утешение и сирот безматерних незримая Воспитательница.

* * *

Дальнейшие ожидания были еще тяжелее, чем раньше. Сообщение о благополучном исходе операции было получено довольно скоро, но до возвращения Евгении Викторовны прошло так много времени, и как оно тянулось! Работы на гумне и в огороде закончились, но отец Сергей по-прежнему целые дни не бывал дома. Свирепствовала эпидемия тифа. Были семьи, где некому было подать пить. Соседи время от времени приносили пару ведер воды и ставили поближе к больным, а большего сделать не могли, у самих дома дети и больные. Многие переносили один за другим брюшной, сыпной и возвратный тиф, причем последний сваливал с ног два-три раза. Поэтому отец Сергей с раннего утра пропадал то в церкви, то в селе, отпевая мертвых, по несколько гробов в день, исповедовал больных и умирающих. Случалось, что, пока он ездил в дальний конец села, дома скапливалось человек пять-шесть ожидающих, приехавших пригласить его к своим больным; иногда, особенно те, у кого больные были слабые, не выдерживали и отправлялись искать его по селу; за ними тянулись другие,

и батюшка, выйдя от одного больного, сразу же садился на ожидавшую его подводку и ехал к другому, и так иногда до позднего вечера. Соня сидела дома с Сережей, который что ни дальше становился все беспокойнее. Он целыми днями кричал отчаянным голосом, весь извивался. Соня была уже достаточно опытна, чтобы понять, что у него болит животик, да и заходившие женщины подтверждали этот простой диагноз, но помочь было нечем. Медицинской помощи добиться было невозможно. Единственный на волость фельдшер измучился с тифозными и на ребенка просто не обращал внимания, да и знания у него были таковы, что все, кто мог, предпочитали обходиться без него. Соня, следуя прежним указаниям матери и новым – Тани и других женщин, клала на животик ребенка теплую фланельку, смазывала теплым камфарным маслом, делала согревающие компрессы. Ребенок на несколько минут как будто успокаивался, потом опять начинал кричать изо всей силы. По-видимому, ни одно из этих средств не помогало, так как подобный же результат (недолгое молчание и последующие крики) получался и в том случае, если мальчика разбинтовывали.

Отец Сергей приходил вечером, чаще всего на закате солнца, брал Сережу, с которым ему предстояло возиться всю ночь, и говорил Соне: «Измучилась?» У Сони навертывались слезы, она опускала глаза, чтобы скрыть их, и, если еще не стемнело, говорила: «Я пойду немного пошатаюсь».

Привычка ежедневно гулять, «шататься», давно уже стала ее потребностью и, вероятно, никогда не была ей так необходима, как в это время. Девочка скорым шагом выходила в лабиринт амбаров и гумен, начинавшихся за их огородом, если еще было светло, делала круг вдоль молодого сосняка, невысокой стеной стоявшего за огородами. Иногда, когда она освобождалась пораньше, ее быстрый шаг постепенно становился все ровнее и медленнее, и она шла по опустевшим полям, повернувшись лицом к заходящему солнцу, и следила за косяками пролетающих журавлей. От холодной росы ее босые ноги краснели, встречные женщины ворчали на нее за то, что она так долго ходит босиком, спрашивали, скоро ли вернется матушка. Она отвечала и снова прислушивалась к крику журавлей, который всегда любила. У нее не было никаких мрачных подозрений, она отдыхала и наслаждалась и была вполне уверена, что, стоит только вернуться маме, и все опять пойдет хорошо, но почему-то крик журавлей никогда, ни раньше, ни после, не звучал так печально.

Глава 25

Чужое и свое горе

– Там к кому-то дети пришли, – сообщила, входя в палату, одна из выздоравливающих.

Евгения Викторовна встрепенулась и тут же мысленно остановила себя. Ведь она прекрасно понимала, что к ней дети не могут прийти. И чего ей еще надо? Она и так в лучшем положении, чем большинство ее соседок, приезжих. Разве мало ей, что к ней каждый день приходит мать, а другие лежат совсем одни. И из дома она, хоть и редко, получает успокоительные известия. Просто грешно желать чего-то лучшего в этом пристанище горя и мучений. Взять хотя бы вон ту женщину, которая лежит у окна. Она поступила сюда гораздо раньше Евгении Викторовны, а до сих пор ее на носилках носят на перевязку. Вчера Евгения Викторовна зашла в перевязочную как раз тогда, когда она лежала на столе, и врач даже не смазывал рану, а просто лил йод куда-то в глубину. Больная лежала с запрокинутой головой и ничего не видела, но ее, должно быть, насторожило то, как подруга по несчастью заглянула в ее рану, и она спросила:

– Очень глубоко?

– Нет, не очень, – ответила Евгения Викторовна и поскорее вышла.

Через кровать от нее лежала Настя, совсем еще молодая женщина лет двадцати – двадцати двух. У нее есть ребенок, трехлетняя девочка, но матери непременно хочется иметь еще.

«Одна дочка – это не дети, – говорит она. – И ей скучно, и мне не весело. Одну легче избаловать. И вдруг она умрет? Нет, нужно, чтобы было, как у вас, человек пять».

При этом все окружающие женщины, как по уговору, начинали доказывать, что иметь одного ребенка гораздо лучше, чем нескольких, что и воспитать ее легче, а умирать – зачем же ей умирать? Вся палата знала, что детей у Насти больше не будет. Рядом с Евгенией Викторовной лежала сельская учительница Елизавета Васильевна. Они были одного возраста, очень подружились, и ее Евгения Викторовна особенно жалела. Елизавету Васильевну положили в больницу на операцию, но потом сказали ей, что операция не нужна, так как у нее воспаление брюшины. А больные опять все знали и потихоньку, с трепетом повторяли название новой ужасной болезни – рак.

Откуда только женщины узнают все секреты? Евгения Викторовна заметила, что и о ней что-то шепчут, и допытывалась, в чем дело. Говорили, что у нее неправильно поставлен диагноз, и при операции обнаружена совсем другая болезнь. Начав ходить, Евгения Викторовна пошла в кабинет к профессору, делавшему операцию. Профессор любезно принял ее и не стал скрывать, что произошла ошибка. Да, диагноз неправилен, притом ее болезнь неизлечима, но с ней живут десятки лет, если не будет болей.

Занятая своими мыслями, Евгения Викторовна шла не замечая куда и вдруг остановилась, немного смутившись: она подошла к двери в коридор.

Ну что за беда? Если подошла, значит, нужно и войти. Ничего особенного, если она посмотрит на детей...

Дети стояли в конце коридора. Их было двое, а не трое или четверо, как в глубине души надеялась Евгения Викторовна. И это были девочки лет восьми-девяти.

Евгения Викторовна медленно отвернулась, подошла к окну и долго смотрела в облетевший сад.

* * *

Какая была радость, когда она наконец вернулась домой. Вернулась пополневшая, посвежевшая, оживленная, забыв, по крайней мере в эти минуты, о своей неизлечимой болезни. И неважно, что она еще не могла ничего делать, ни нагибаться, ни поднимать тяжести. Это все пройдет. Важно то, что она дома, что муж и дети около нее, что они видят друг друга и могут рассказывать обо всем, что произошло во время разлуки. Будущее казалось безмятежным.

Подождав, пока утихли первые шумные проявления восторга детей, Евгения Викторовна подозвала Наташу:

– Посмотри-ка под мою подушку. Кажется, там что-то шевелится?

Там «шевелилась» большая фетровая кукла-негритенок. Наташа не была избалована игрушками. Ей досталось только то, что уцелело у старших детей. Куклу Евгения Викторовна нашла по случаю, и малютка была на верху блаженства.

С приездом хозяйки все в доме как будто повернулось и встало на свое место. При ней дети перестали ссориться и капризничать, обеды, из тех же самых продуктов, стали разнообразнее и вкуснее, даже Сережа как будто плакал меньше. Вопрос о Сереже был сейчас самым тяжелым.

Матушка не могла не видеть, как он плакал на руках у Сони и как девочка сама чуть не плачет с ним. Очень быстро она начала брать его на руки. Что за беда, если ребенок полежит у нее на коленях, в то время когда она сидит? Если будет нужно, Соня или еще кто-нибудь перенесут его.

Постепенно она начала и носить ребенка. То в нужный момент под рукой не оказывалось ни Сони, ни других детей, которых можно было бы послать за ней, то не хотелось отвлекать их. Бралась она и за другие дела, ведь чувствовала она себя хорошо, несмотря на то, что шов

еще не зажил окончательно. Вполне понятно, что, когда у нее начались боли, все знавшие ее приписали это тому, что она не береглась как следует. Может быть, в этом была доля правды. Болезнь, приостановленная операцией, дала неизбежный рецидив; возможно, в других условиях он пришел бы позднее.

Несомненно, на ее здоровье отразились и волнения, и переутомление, связанные с переселением из большого дома в маленький псаломщический. Дети, любители перемен, были рады этому, но взрослые сначала вообще не понимали, как они смогут разместиться там. Однако когда временно взяли в клуб фисгармонию, оказалось, что это возможно. С трудом засунули в чулан книжный шкаф и сундук; диван, круглый стол и еще кое-что из мебели отнесли на чердак, Наташину кровать ухитрились примостить на большой русской печке, и оказалось, что для самого необходимого места хватает. Правда, между кроватями отца Сергея и Евгении Викторовны оставался такой узкий проход, что в него нельзя было поместить и стула, для Сережиной кровати не оставалось места, и Евгения Викторовна скрепя сердце повесила около своей постели деревянную зыбку. Правда, когда семья сидела за столом, около него нельзя было пройти, а вечером, когда стол складывался, стулья взгромождали один на другой и на освобожденном полу на кошке укладывались старшие дети, – взрослым пришлось шагать через их ноги. Зато обнаружилось неожиданное преимущество. Домик оказался очень теплым, тогда как в большом доме, давно не отремонтированном, с каждым годом становилось все холоднее.

Перебрались в новое помещение незадолго до Рождества, а на второй день праздника Евгения Викторовна почувствовала боли в желудке. Боли с каждым днем все усиливались, и Евгения Викторовна, вспоминая разговор с профессором, поняла, что обречена.

* * *

Скоро снарядили подводку за Юлией Гурьевной. Зайдя однажды за занавеску, где стояла кровать матери, Соня увидела неоконченное письмо. В семье С-вых от детей ничего, или почти ничего, не скрывали, и Соня, хотя знала, что нельзя читать чужие письма, не применяла этого правила к себе. Письмо ведь было мамино, а не чужое, но какое ужасное открытие заключалось в нем. Мама писала, что испытывает нестерпимые боли и что, по-видимому, она скоро умрет... Соня положила письмо на старое место и отошла в уголок к русской печке, чтобы осмыслить неожиданную страшную новость. Занятая своими мыслями, она услышала скрип двери и шаги. Кто-то походил по пустой комнате и прошел за занавеску. Соня не сразу поняла, в чем дело, зато поняв, скорее бросилась туда же. За занавеской стоял Костя с письмом в руках. Его и без того большие бархатистые серые глаза казались громадными и темными.

– Зачем ты взял, разве ты не знаешь, что нельзя читать чужие письма?! – закричала Соня и вырвала у него письмо.

Костя ничего не ответил, даже не обиделся.

Глава 26

Утрата

1920 г.

Юлия Гурьевна приехала на Сретение, которое в этом году приходилось на воскресенье перед Масленицей. Печальная это была встреча. Приехала она осунувшаяся, постаревшая на несколько лет, и сразу же после первых приветствий уединилась с дочерью в дальнем уголке

комнаты. Даже отца Сергия не было с ними. Наташа подошла было со своими неотложными рассказами, но бабушка отправила ее, сказав, как показалось малютке, строго и с досадой:

– Пусти, Наташенька, не мешай! Так и прошептались весь вечер одни. На следующий день Евгения Викторовна уже не поднялась. Зная, что теперь дети и без ее наблюдения будут сыты и под присмотром, она как будто сразу потеряла силу бороться с болезнью. Боли стали еще мучительнее. Только горячее немного успокаивало их, поэтому голландскую печь, около которой стояла кровать больной, раскаляли до того, что одеяло, случайно касавшееся печки, прогорело; на нем уже образовалось несколько круглых дыр. Евгения Викторовна, в одной сорочке, садилась на маленькую скамеечку так близко к печке, как только могла терпеть. Едва печь немного остывала, больная вплотную прижималась к ней спиной, а еще через некоторое время печь топили снова, хотя жара в комнате стояла такая, что приходилось открывать наружную дверь. Этим способом пользовались некоторое время и после того, как больная перестала вставать сама и ее приходилось поднимать и усаживать, что становилось все труднее и труднее.

Отец Сергей съездил к врачу, летом направившему Евгению Викторовну в Самару, и тот, расспросивши о состоянии больной, прописал морфий. «Единственное, чем мы можем помочь теперь, это заглушить, хоть на время, боль», – сказал он, дал лекарство, а сам не поехал: бесполезно. Приняв порошок морфия, больная засыпала на несколько часов, а чуть только просыпалась, боли начинались снова; она терпела некоторое время, потом опять принимала порошок и опять засыпала, но с каждым днем, с каждым разом, просыпалась все скорее и скорее. Есть она совершенно не могла. Стоило пропустить глоток самой легкой пищи, даже воды, как боли усиливались и к ним прибавлялась мучительная рвота. Вполне понятно, что к началу Великого поста она дошла до такого состояния, что ее приходилось ворочать, вернее, слегка поворачивать, то на спину, то на левый бок, – ей казалось, что в новом положении боли будут легче. Было ли это действительное успокоение или самообман, он продолжался недолго, скоро больная снова просила повернуть ее. К 13 февраля дошло до того, что переворачивать приходилось каждые десять – пятнадцать минут. Днем еще находились добровольные помощницы, приходившие проведать больную, а ночью весь уход за больной и за шестимесячным Сережей падал на Юлию Гурьевну и отца Сергия. А ведь шла первая неделя поста, длинные службы и исповедь. Исповедь начиналась со среды. В этот день с утра исповедовались глухие, с которыми приходилось кричать на всю церковь или разговаривать через переводчиков; за ними шли дети школьного возраста и кое-кто из старушек. В четверг исповедники подходили беспрерывной вереницей; хорошо если отцу Сергию удавалось соснуть часа два перед заутреней. В пятницу и субботу обыкновенно не удавалось и этого; дойдя до изнеможения, отец Сергей заходил вздремнуть всего на пятнадцать – двадцать минут.

В это тяжелое время несколько женщин решили отложить говение до четвертой недели, а сейчас предложить свои услуги по уходу за больной и ребенком. С их помощью больной в четверг последний раз сделали поясную ванну с массажем – средство, предложенное недавно приехавшей учительницей. Евгения Викторовна ухватилась за него с последней надеждой молодой женщины, которой так хочется жить, жить для мужа и детей, да и для себя тоже.

Ванна, вместо получаса, продолжалась на этот раз пять минут, и все-таки, когда больную поднимали, она потеряла сознание. Поднялся переполох, вызвали из церкви отца Сергия. Правда, матушка быстро пришла в себя, и он опять пошел исповедовать.

А вечером Евгения Викторовна уже снова попросила позвать мужа.

– Хочу благословить детей, – сказала она, когда отец Сергей пришел.

Дети по очереди вставали на колени в узком промежутке около кровати, и мать осеняла их образками, которые подавал отец Сергей. «Помогай бабушке заботиться о младших», – сказала она Соне. «Слушайте бабушку, не шалите», – говорила мальчишкам. Только пятилетней Наташе ничего не наказала, подняла ее, когда малютка, по примеру старших, хотела было опуститься на колени, прошептала: «Маленькая моя девочка!» – и, осенив ее образком пре-

подобного Серафима, на минутку привлекла к себе. Потом осенила образком и поцеловала личико спящего Сережи и подняла глаза к Родниковской иконе:

– Матерь Божия, Тебе поручаю их, будь Ты их матерью!

* * *

В пятницу обедали во втором часу. Юлия Гурьевна только что подала на стол кашу, когда Евгения Викторовна, неподвижно лежавшая на своей кровати, вдруг подняла исхудавшую руку и медленно и истово начала креститься. Старшие встали из-за стола и подошли к постели, за ними встали и дети. Больная что-то беспокойно зашептала, указывая на детей, и, когда муж переспросил ее, повторила громче: «Пусть они едят!»

Соня подошла к столу, взяла ложку и сделала вид, что жует, но, заметив, что взгляд матери неподвижно устремлен в какую-то далекую точку, подошла и встала в ногах кровати. По другую сторону, тоже в ногах, стояла Юлия Гурьевна. Младшие дети разместились вдоль кровати. Старая бабушка Наталья Александровна сидела на стуле чуть позади Юлии Гурьевны и Сони. Стул ей подал кто-то из столпившихся женщин. Отец Сергей сидел на своей кровати у самого изголовья жены, слегка склонившись к ней. Сколько раз сидел он так у изголовья других больных! Умиравшая то опускала руку, то начинала опять креститься.

– Еничка, ты умираешь? – с болью и тревогой вырвалось у отца Сергея.

Она не ответила. Немного погодя он снова спросил:

– Еничка, ты слышишь меня?

– Слышу, – чуть прошептала она.

– Еничка, не хочешь ли еще раз исповедаться?

Не прошло еще двух суток с тех пор, как она исповедовалась и причастилась и, может быть, поэтому, или потому, что она уже чувствовала себя перешагнувшей какую-то невидимую черту, она прошептала: «Нет...»

Опять все молчали, смотря, как медленно вздымается грудь умирающей, как медленно и широко ложится крест на ее плечи и грудь. И в то же время с какой-то особенной, обостренной ясностью замечались окружающие мелочи. В углу из-за задравшихся обоев спускается тонкая паутинка, термометр на стене показывает пятнадцать градусов Реомюра, сегодня печку не раскаляли. По щеке отца Сергея скатывается слеза, и он не замечает ее...

Вдруг Евгения Викторовна из последних сил сжала руку мужа.

– Сережа, я боюсь! – вырвалось у нее.

Как и раньше, всю жизнь, так и теперь, она видит в нем защитника, более сильного физически и духовно, – руководителя, которому безусловно верит; и сейчас, в тяжелую минуту, именно к нему обращается за помощью. А он ответил, как муж и духовный руководитель, – печально, ласково и с глубокой верой:

– Не бойся, Еничка, молись, Господь милостив, Он тебя примет.

Судорожно стиснутые пальцы разжались и сложились в крестное знамение, но рука уже с трудом поднималась. Отец Сергей помог жене еще несколько раз перекреститься, потом осторожно положил ее отяжелевшую руку.

И все с трепетом следили за последними вздохами, как будто было важно, чтобы они еще продолжались, как будто, пока умирающая дышала, у живых еще оставалась надежда.

Вот еще один вздох, кажется последний, вот еще один, еще... промежутки между вздохами все увеличиваются. Вот еще один, слабый, чуть заметный... Все с замиранием сердца следят. Проходят две минуты... пять... десять... Отец Сергей осторожно прикрыл полуопущенные веки жены, осенил ее иерейским крестом.

– Спи спокойно, Еничка! Господь с тобой. – И обратился к детям залитое слезами лицо:

– Ну, детки, сиротки вы теперь.

– Вдовец ты теперь, – как эхо отозвалось в груди Сони.

Среди стоящих у дверей женщин раздались рыдания. Кто-то завел причитания:

– А и раздорогая ты наша матушка! Покинула ты нас молодым-молодешенька!

Отец Сергей резко повернулся в ту сторону. Глубокая поперечная морщина, пересекавшая переносицу и часть лба, придала его лицу суровое повелительное выражение. Таким он уже бывал иногда в тяжелые минуты жизни, но еще редко. После его все чаще видели таким. И он сказал властно, почти прикрикнул:

– Молчите, не растревляйте мне детей!

Юлия Гурьевна тоже повернулась и вытерла слезы. Ее руки слегка дрожали, как и голос.

– Теперь нужно поискать, приготовлено ли у нее что-нибудь на смерть, – проговорила она.

– Приготовлено, мама мне показывала, вот тут! – И Соня вынула из комода узелок с бельем. – А венчальное платье в сундуке.

* * *

Пока несколько старушек, затворившись в передней комнате, обмывали и одевали умершую, кухня и сени наполнились женщинами. Все хотели первыми проститься с матушкой, которую все любили и о смерти которой жалели. И до позднего вечера одни посетители сменялись другими. Подходили, крестились, смотрели на умершую, кланялись ей со словами: «Матушка, прости Христа ради». Некоторые говорили несколько сочувственных слов, но никто не плакал, как не плакал, отерев первые слезы, сам отец Сергей. «Батюшка не велел», – передавали выходящие входящим, и женщины глотали искренние слезы, а мастерицам причитать не пришлось показать свое искусство.

А отец Сергей уже опять был в церкви, где его ждала толпа исповедников. После того как умершую одели и положили на столе, он зашел, отслужил панихиду, посидел несколько минут молча, вглядываясь в неузнаваемо изменившиеся дорогие черты, и опять ушел.

* * *

Несмотря на то, что Соня ожидала смерти матери, она никак не могла понять происшедшего. Чем больше она думала об этом, тем меньше укладывалось в сознании, что вот мама ходила, говорила, что-то делала, а теперь лежит неподвижно и никогда не встанет, не откроет глаз, не приласкает ее. Только мгновениями острая боль в сердце давала знать, что она как будто осознала свою утрату, но боль снова сменялась мучительными усилиями понять, и неизвестно, что было тяжелее. Младшие дети, конечно, понимали еще меньше. Вечером, укладываясь спать, Наташа весело смеялась и шалила, а мальчики неожиданно поссорились из-за места на полатах. Соня не могла выдержать. Она накинула на голову старый мамин пуховой платок, выбежала в сарай и встала, прижавшись лбом к холодной шершавой стене. От платка пахло мамой, и плечи девочки вздрагивали все сильнее, но она плакала беззвучно: а вдруг папа или бабушка услышат и расстроятся.

* * *

Душа отца Сергея разрывалась. Его влекло домой, к умершей жене, к осиротевшим детям, но между алтарем и выходной дверью стеной стояла толпа, и это тоже были его дети, именно в этот субботний день особенно нуждавшиеся в нем. Отец Сергей говорил, что из всех пастырских обязанностей исповедь – самая тяжелая, и физически и морально, но что в то же

время она дает самое большое удовлетворение. Все души открыты навстречу его слову, размягчены трогательными великопостными молитвами и проповедями, непременно говорившимися за каждой службой, и с особенной силой воспринимают все сказанное на исповеди. И отец Сергей не ограничивался перечислением грехов по требнику, он хорошо знал души своих прихожан, которых исповедовал уже пятнадцатый год, и говорил с каждым о том, что было нужно именно этому человеку. А люди стояли часами, ожидая своей очереди, мог ли он оставить их? И мог ли в то же время забыть о том, что делается дома? И, улучив минуту, он заходил домой, садился, понурившись, около гроба и не отрываясь смотрел в лицо жены, которое на второй день как-то смягчилось и стало более похожим на прежнее. Потом поднимался, сразу исхудавший и осунувшийся, и усталой походкой шел в церковь.

Впоследствии, вспоминая эти тяжелые дни, он говорил, что физическая усталость и невозможность сосредоточиться на своем горе спасла его, что без этого он мог бы сойти с ума или заболеть, но в тот момент окружающие видели только то, что он изнурен и не может побыть у гроба, и особенно сильно жалели его именно поэтому.

– Хоть бы дали ему наглядеться на матушку в последний раз! – волновались Маша Садчикова, Дуня-Кузнечиха и другие женщины, занятые приготовлением к похоронам. – Что бы догадались отложить причастие до другой недели! Пойти разве поговорить? Наскоро одевшись, они отправились к церкви и через некоторое время возвращались возбужденные.

– Никиты Варакина жена сразу с нами согласилась, даже сама нам помогала людей уговаривать, – с торжеством рассказывали они. – А вот баушка Леканида так и уперлась, говорит: «Я всегда на первой неделе молюсь». Уж мы ей толковали, толковали: «Что тебе делать на старости лет, ходи да ходи в церковь, взяла бы да помолилась еще на четвертой неделе». Ничего не слушает, все свое тростит, бестолочь упрямая!

Через некоторое время женщины повторили свою вылазку и пришли расстроенные.

– Батюшка-то совсем из сил вышел, сидит! – почти с ужасом сообщили они.

– Принесли ему из сторожки табуретку, он так и исповедует сидя.

Домой отец Сергей зашел около часа ночи, сказал Соне: «Разбуди меня через двадцать минут», – лег на выставленную в кухню кровать бабушки Натальи Александровны и сразу заснул мертвым сном.

Через двадцать минут Соня подошла к кровати и тихонько окликнула: «Папа!» Отец не пошевелился. Соня встала на колени около постели, тихонько, больше желая остаться незамеченной, чем разбудить, коснулась его волос и позвала чуть погромче. Отец Сергей не слышал, он спал в неудобной позе, не успев даже лечь как следует. Его брови были напряженно сдвинуты, лоб наморщен, словно и во сне он не забывал о своем горе.

Соня наклонила голову, чтобы слезы, падавшие с ресниц, случайно не попали ему на руку и не разбудили его.

«Пусть поспит еще десять минут», – решила она. Но и через десять минут разбудить не удалось, а через пятнадцать пришлось потрясти его за плечо и позвать по-настоящему громко.

– А? Что? – Отец Сергей вдруг проснулся и сразу сел на постели. – Что случилось?

– Папа, прошло уже тридцать пять минут!

– Тридцать пять? Пойду скорее. А ты еще не ложишься? – обратился он к дочери. – Ложись отдохни!

Одевшись, он на секунду подошел к гробу, на секунду остановился около спящих детей, благословил каждого и ушел.

Соня легла на полу в кухне у самой двери в переднюю комнату. В доме было тихо, все спали, только около гроба горели свечи, и читалка негромким мерным голосом читала Псалтирь. И Соне вдруг вспомнилось, как в тяжелые минуты жизни, когда отцу Сергию грозила опасность или неприятность, мама брала маленькую русскую Библию и читала вслух псалмы. Это повторялось часто. Потом она начала читать каждый вечер перед сном, и Соня приходила

к ней на кровать и слушала любимые мамины псалмы. И сейчас в полудремоте ей показалось, что она слышит голос матери, повторяющий:

«Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Иаковлева. Пошлет тебе помощь от святилища Своего и от Сиона заступит тебя»⁴⁶. Как легко и сладко было засыпать под эти слова!

А как переносила смерть дочери Юлия Гурьевна? Как и остальные, она не плакала при людях. Может быть, она выплакалась еще дома и дорогой, недаром все заметили, как сильно она постарела. Нет, выплакаться так, чтобы потом не являлось желанья излить в слезах свое горе, она не могла, но плакала, конечно, много; ведь она первая, по получении письма дочери, узнала у профессора жестокий, не оставляющий места надежде диагноз: саркома желудка.

Но сколько же мужества было в этой маленькой, хрупкой женщине, что она ни разу за эти мучительные две недели не выдала своего знания и предоставила остальным постепенно осваиваться с мыслью о неизбежности смерти. И сейчас ее почти не было заметно, но она везде присутствовала, следила за детьми, управляла хозяйством. Уже две недели управляла, но всем, и ей в том числе, казалось, что она взялась за дело только вчера, а до этого времени во главе всего продолжала оставаться исхудавшая до неузнаваемости, измученная болями и голодом женщина, которую каждые десять минут осторожно поворачивали на постели.

Но и с ее мужеством, едва ли Юлия Гурьевна смогла бы перенести, если бы знала то, о чем узнала только через год. Почта почти не работала в эти годы, и никто не мог сообщить Юлии Гурьевне, что в это самое время в одной из новосибирских больниц доживала последние дни ее старшая дочь – красавица Наденька. Она умерла через четыре дня после Енички, одна среди чужих, в то время, когда муж ее лежал в тифу в другой больнице, а дети, до возвращения отца, были взяты в детский дом. Да зачтет милосердный Господь этим горемыкам их страдания, а для Юлии Гурьевны ее долгое неведение было счастьем.

Только один раз около гроба громко зазвучали рыдания, когда приехала Лидия Дмитриевна Смирнова. Не раздеваясь, в шубе и шапочке, прошла она в комнату и разрыдалась у гроба подружки так, как не рыдала осенью, хороня одиннадцатилетнюю дочь. (Этот год был тяжел для окружающего духовенства, в каждой семье кто-нибудь умер.)

Поздно ночью отец Сергей зашел посмотреть на Сережу. Мальчика сразу же после смерти матери перенесли в соседний дом, где когда-то жили С-вы⁴⁷. Там посредине большой, чистой кухни повесили его зыбку, и здоровая молодая женщина Анна⁴⁸ ухаживала за ним, как за своим. Ее сын Шурка был ровесник Наташи, и дети и раньше часто забегали к ласковой тете Нюре. Отправляли их к ней и теперь отдохнуть от тяжелой обстановки похорон. Заходила навестить братишку и Соня, и только здесь с грустью и недоумением говорила свое: «Не могу понять!»

Отец Сергей погрелся у печки, чтобы не простудить ребенка, и подошел к колыбельке. Сережа был в хорошем настроении, не плакал. Отец Сергей наклонился и позвал его. Мальчик повернул к нему личико и улыбнулся.

– Сережа! – еще раз позвал отец Сергей. Голос его дрогнул, но он скрыл это, сделав вид, что закашлялся.

– Ну, как ты себя чувствуешь, герой? – Сережа потянулся ручонками к отцовской руке, а тот сидел на подставленной ему кем-то табуретке и играл с ребенком, не замечая, что слезы как горох катятся по его щекам и падают на рубашечку сынишки.

⁴⁶ См.: Пс. 19: 2–3.

⁴⁷ А теперь помещался сельсовет. – *Авт.*

⁴⁸ Сторожиha сельсовета. – *Авт.*

Глава 27

Памятный день

1920 г.

Наступил день похорон, первое воскресенье Великого поста. Утром в доме опять толпились люди, в кухне хозяйничали чужие женщины. Одна из них погладила Соню по голове, как маленькую, и отрезала ей большой кусок сочня, подсушенного в печи до того, что он местами зарумянился и вздулся пузырями, и уже свернутого, чтобы резать его на лапшу.

Выросшая в деревне, Соня любила это деревенское лакомство и частенько, бывало, сидя зимним вечером в кухне, выпрашивала у Тани кусок побольше. Но сейчас была какая-то горечь в том, что полужнакомая женщина дала ей сочень, и в том, что Соня, откусив из вежливости кусочек, вдруг почувствовала сильный голод и вспомнила, что она еще ничего не ела. Стыдясь своих слез, она убежала в мазанку и там, прислонясь к пыльному стенному шкафчику, небрежно брошенному набок, ела и плакала. Вот этот шкафчик, вернее, полочка, сколько лет он висел в коридоре большого дома. Мама сама прибила голубоватый тик вместо задней стенки и повесила белую занавеску спереди. Это около него она стояла, смеясь, в летний день, когда здесь, на прохладе, был подан чай, дети все собрались, и только не было папы. Мама тогда окликнула его: «Сережа!» – а маленькая Наташа, сидевшая у стола на высоком стульчике, вдруг обернулась к своей няньке Маше и распорядилась: «Нянька, неси Силожа!» Как все тогда смеялись, и мама веселее всех. А вот теперь ее нет, и даже тик на шкафчике выгорел и порвался, не от ветхости, а насильно, и висит некрасивым, грязным лоскутом.

Сколько воспоминаний, связанных с коридором, где он висел, разбудил старый шкафчик! И везде мама. Вот она варит там варенье... вот, время от времени поглядывая в окно, читает вслух псалмы из маленькой русской Библии... Вот... но почему только припомнился этот маленький и как будто незначительный случай? Мама послала Соню в лавку за кренделями. Связка была большая, а Соня еще маленькая, сколько ей тогда было? Лет восемь, девять? Наверное, не больше. Связка кренделей тащилась чуть не по земле. Вдруг стая собак, штук пять-шесть, привлеченные видом заманчивой добычи, окружили девочку. Она закричала и, не думая о том, почему так делает, быстро завертелась волчком. Повинуясь центробежной силе, связка описывала около нее большой круг, со свистом разрезая воздух. Собаки опешили и раздвинулись. И в это время в отворенную дверь коридора Соня увидела маму. Всегда степенная, слабая здоровьем, Евгения Викторовна, не ускорявшая шага, даже когда козы забирались в цветник, а посылавшая вперед Соню или девочек-нянек, сейчас мчалась вихрем, как могла бегать разве быстроногая Соня. Схватив по пути тяжелый деревянный засов от дверей, она выскочила на площадь, отогнала собак и увела с собой плачущую девочку.

И еще вспомнилось. Это было уже недавно, года полтора назад, в субботу. Соня хорошо помнила этот счастливый день. Да, очень счастливый, хотя тогда с утра она чувствовала себя сначала несчастной, а потом чуть не преступницей.

В этот день Соня хотела сходить в соседнее село к подружке Вале и взять новый том Майн Рида на воскресенье. Но пока она мыла пол и убирала в комнате, началась гроза, да какая! Тучи напоздали одни за другими, молния сверкала во все окна, гром грохотал с раскатами, с оглушительным треском. Мама беспокоилась о папе, с утра отправившемся с бреднем на озеро, а Соню томило свое: нечего читать в воскресенье. Наконец немного прояснилось. Шел только несильный дождичек, и Соня упросила-таки маму отпустить ее. Но не успела она выйти из села, как снова начался дождь, да еще с градом. Соня то пряталась за стенами амбаров, то,

захлебываясь, пыталась идти навстречу ливню. Наконец и ей стало ясно, что идти нельзя, и она повернула обратно.

В это время впереди сверкнула такая яркая молния, что девочка снова прыгнула за угол амбара, на этот раз от стоявшего вдоль дороги обоза; вместе с молнией у нее мелькнула мысль, что после удара грома лошади метнутся и сомнут ее.

И действительно, это был гром! Соня весь день после этого чувствовала себя оглушенной. И почти одновременно с ним она увидела дым, а немного погодя и пламя: горела подожженная молнией половня.

Сознавая, что мама беспокоится, девочка побежала было бегом, но ей попала соседка, тетка Секлетя, с трудом тащившая по грязи полную тележку арбузов. Пришлось ей помогать, хоть сердце стучало: скорей, скорей!

Что только было с мамой, когда она увидела Соню! Она бросилась к ней, обнимала, гладила, словно желая убедиться, что ее дочка жива, целовала, дрожащими руками снимала с нее пропитанное водой платье, вытирала волосы и опять целовала, прижимаясь к ней мокрым от слез лицом.

Скоро по-настоящему прояснилось, и пришел отец Сергей с кошелкой рыбы, большим букетом водяных лилий и совершенно сухой. Оказывается, гроза застала его, когда он уже подходил к селу, и он переждал ее в одном из крайних домов. Мама совершенно успокоилась, развеселилась и даже отпустила Соню за книгами.

«Вот какая хорошая у меня была мама!» – не столько думала, сколько чувствовала Соня и, глотая соленые слезы, жевала сочень, который дала ей полужнакомая женщина, пожалевшая ее, как ребенка. Даже этот сочень напомнил о маме, хотя она никогда не месила лапши и у нее не хватило бы сил так натереть тесто...

– Соня! – раздалось в сенях. Она торопливо вытерла слезы и вышла. Как нарочно! Не успеет она уйти, как ее кто-нибудь окликнет!

Она не знала, что отец Сергей, заходя ненадолго домой, оглядывался, ища ее; если ее не было, спрашивал: «Где Соня?» – и добавлял, обращаясь к окружающим: «Найдите ее, не давайте ей плакать!»

Ни разу еще за все свое существование Острая Лука не видела такого торжественного богослужения, как отпевание матушки. Одно время, по инициативе отца Сергея, ближние священники собирались то в одном, то в другом селе, когда они по очереди говорили проповеди или проводили беседы. Тогда служили по два, по три священника, в день освящения нового иконостаса даже четыре, а сегодня собралось пятеро, кроме хозяина. Приехал отец Александр Орлов с матушкой, которая до сих пор еще не бывала у С-вых. В первый раз приехал, тоже с матушкой, теликовский священник Иванов, недавно назначенный на место умершего прошлой весной отца Димитрия. Отец Петр Комков присоединился к духовенству уже во время выноса.

Раньше всех, конечно, приехал многократный кум С-вых отец Григорий Смирнов со всей семьей. Младшая из дочерей, Сонина подружка Валя, сразу же под села к ней и плотно прижалась, молчаливо выражая свое сочувствие. Старшие дочери пытались развлечь мальчиков и Наташу. Взрослые разговаривали между собой. Наступило то тягостное состояние, когда все понимают, что надо выносить тело, и когда все откладывают решительное слово. Взглянув в окно, отец Григорий сказал, почти радуясь отсрочке:

– Вот еще отец Иоанн едет!

Отец Иоанн уже года четыре служил в Екатериновке, в десяти верстах от Острой Луки, но до сих пор не был по-настоящему знаком домами с окружающим духовенством. Причиной этого была его матушка, простая, малограмотная деревенская женщина, стеснявшаяся матушек-епархиалок. Отец Иоанн происходил из крестьян, и, дав образование дочерям, не мог перевоспитать жену. Сам он много читал, сдал экстерном экзамен за семинарию и не уступал своим сослуживцам, даже превосходил многих из них. Это был беспокойный труженик, не

останавливавшийся на достигнутом, миссионер, проповедник и хороший организатор. Епархиальный миссионер Пряхин имел дачу рядом с его домом, и там отец Сергей и отец Иоанн познакомились и довольно близко сошлись. Отец Сергей послал и ему, как и другим соседям, извещение о смерти жены, но не думал, что он приедет, и был рад, насколько мог радоваться в это время.

Отец Иоанн, поправляя свои седые, почти совсем белые, волосы, вошел в комнату, помолился перед иконами, поклонился покойнице, по обычаю трижды расцеловался с отцом Сергием и, не выпуская его руки, сказал, сочувственно глядя на него своими добрыми близорукими глазами:

– *Его же любит Господь, наказует!* (Евр. 12: 6)

– Благо ми, яко смирил мя еси, – ответил отец Сергей и, помолчав с минуту, обратился ко всем: – Что же, отцы? Помолимся!

Трое из присутствовавших священников были старше отца Сергия по службе, но они уступили ему печальную часть – первенствовать при отпевании жены. Нужно сознаться, что, несмотря на всю выдержку, голос его не раз срывался и дрожал, но ведь плакал не он один, плакал весь храм.

Народу собралось еще больше, чем неделю тому назад, когда хоронили дубовского батюшку, отца Евлампия. А когда гроб понесли из церкви на кладбище, добровольцам из женщин пришлось составить цепь, чтобы толпа не оттирала детей.

Глубокая могила была вырыта рядом с могилой Леночки и других детей.

– Глубоко вырыли, можно было и помельче, – сказал кто-то вполголоса, но отец Сергей услышал.

– Ничего, хорошо, – сказал он, – тут и меня положите.

Кончился поминальный обед, и гости стали разъезжаться, начиная с менее близких. Наконец дошла очередь и до Смирновых, хотя отец Сергей и Юлия Гурьевна несколько раз их удерживали, и даже Соня шептала Вале: «Подождите, не уезжайте!» Надвигалось самое страшное: одиночество в доме, откуда только что вынесли самое дорогое. Отец Сергей проводил Смирновых и опять вошел в комнату. Тут царил хаос. Маша Садчикова с другими женщинами мыли посуду и прибирали в комнате, а дети сиротливо жались на скамейке, поставленной к столу, чтобы посадить побольше людей.

Должно быть, в эту минуту отцу Сергию вспомнилось его собственное раннее сиротство, потому что рассказ, которым он попытался развлечь детей, был связан с его матерью.

– Когда моя мама болела, – без предисловия начал он, – а она болела долго, у нее был туберкулез, – ей было трудно чинить белье на всю семью, и она приучала к работе детей. Когда она умерла, мне было девять лет, а мы с братом Еней уже штопали чулки и строчили на машине, и сестра Надя нам немного помогала. Мама, бывало, соберет нас всех, кроме крошечной Симы, около себя, даст тряпочки и иголки с нитками и заставит шить, кому что вздумается. Филаретик был меньше всех, она боялась дать ему иглу, а привязывала нитку к английской булавке; он и сидит вместе с нами, путает что-то. Однажды мама расспросила нас, кто что сшил, посмотрела наши работы, потом спрашивает его: «А ты, Филаретик, что сшил?» А Еня посмотрел на него и отвечает так серьезно:

– Филаретик сшил жареного поросенка.

Дети рассмеялись, даже на губах Сони появилась слабая улыбка. Отец Сергей отвернулся и украдкой смахнул слезу.

Глава 28

О милых существах

После похорон Евгении Викторовны Паша, жена Сергея Евсеевича, предложила кормить грудью Сережу вместе со своей дочуркой. Красивая темноглазая смуглянка Паша была года на два моложе матушки и имела четверых детей, из которых две старшие уже немного помогали по дому и нянчились с младшими. При своем цветущем здоровье, она вполне могла выкормить двух детей, тем более что Сережа, уже привыкший к искусственному питанию, сосал очень мало. И вот посреди их избы появилась вторая зыбка, около которой часто можно было видеть то отца Сергия, то Юлию Гурьевну. Иногда заходила Соня, еще реже забегали младшие дети.

Рядом с толстушкой Олей особенно бросалось в глаза, до чего был слаб и истощен Сережа. Белое, точно налитое материнским молоком, тельце Оли было упруго и подвижно. Она, как всякий здоровый ребенок, если не спала, то беспрерывно возилась, ползала, пыталась подняться на ножки. Голубые отцовские глаза и алые губки ее постоянно смеялись, розовые щечки отдувались, как яблочки, белокурые волосики завивались кудрями.

У Сережи, по-видимому, не хватало сил даже пошевелить тоненькими, как палочки, ручками и ножками. С исхудавшего, морщинистого, как у старичка, личика, страдальчески смотрели большие темно-голубые глаза.

Теперь он уже не плакал так громко и отчаянно, как осенью, а только тихонько пищал, но зато и не улыбался даже той слабой, болезненной улыбкой, которой улыбнулся в последний раз в день смерти матери. Два месяца он сосал питательное молоко сильной, здоровой женщины, ласково, как родного, подносившей его к груди, но это молоко не шло мальчику на пользу; он все хирел и хирел. И однажды в домик батюшки прибежала старшая дочь Сергея Евсеевича, ровесница Сони.

– Мама послала, чтобы шли скорее, Сережа умирает, – запыхавшись, едва выговорила она.

– Вот несчастье, батюшки нет дома, – ахнула Юлия Гурьевна. – Дуня, будь добра, добеги на Дойниковку, он с Наташей туда ушел.

Скоро у колыбели умирающего ребенка собрались две семьи. Мальчик лежал с опущенными веками, неподвижный, похожий на маленький скелетик, и слабо дышал.

В комнате было тихо.

Вдруг Сережа широко открыл глаза, словно увидев что-то перед собой. Его личико просияло, озарилось таким восторгом, что сразу похорошело. Он резко приподнялся, протянув вперед ручонки, словно бросился навстречу тому невыразимо прекрасному, что увидел, и опять упал на подушку, уже мертвый.

– Матушка родная за ним приходила, – сквозь слезы прошептала Паша.

Ребенка завернули в чистую простынку, перенесли домой и положили на то место, где еще недавно лежала Евгения Викторовна. Все было так, как и при прежних детских похоронах. Гробик, отделанный белой рюшкой, крестик из голубой ленты на крышке, запах богородицкой травы, набитой в подушечки и посланной на дно гробика; толпа детей в комнате; дети, несущие крышку, образок и сам гробик. Не было только матери. О ней напоминал лишь положенный с Сережей в могилку образок, которым умирающая мать благословила своего маленького. А над гробиком, вместо нее, плакала чужая темноглазая женщина.

– Как своего, мне его жалко, – жаловалась она.

Хоронили Сережу утром в субботу. После похорон матушка Смирнова предложила: «Отпустите к нам Соню, пусть она хоть немного рассеется!»

Половодье уже наступило, и ехали на лодке. Кроме Сони с Валею, отец Григорий и матушка прихватили еще их неразлучную подружку Катю. Ехала и Сониная любимица Маня, старшая Валина сестра, учительствовавшая в Острой Луке, со своим женихом Евгением.

Был чудный солнечный день. В гладкой, как зеркало, воде, окаймленной рамкой берегов, отражались и небо, и деревья, и легкие облачка. От лодки расходилась сверкающая рябь. Молодежь по очереди гребла, брызгались водой. Подъезжали к наполовину залитым осокорям, наломали с них полную лодку сочных, хрустящих сережек, первого весеннего лакомства. Маня звонко хохотала, смешила других, кокетничала с Евгением. Перед вечерней, переодевшись в старенькие Валины платишки, подружки втроем мыли пол. Утром, после обедни, был вкусный пирог.

Но еще до обедни, когда девочки только что поднялись и убрали за собой постель, Валя, живая, как и ее сестра, расшалилась до того, что Лидия Дмитриевна по-настоящему рассердилась. А Валя, заметив это, так же весело начала улещать ее, вертелась около нее, щебетала, ласкалась до тех пор, пока мать не выдержала, сбросила сердитую маску и улыбнулась. Тогда Валя опять закружила ее, расцеловала...

А Соня вдруг почувствовала, что ей не место здесь, что ей как можно скорее нужно домой, к печальному отцу и бабушке, к братьям и маленькой сестренке. Хотелось уйти немедленно, она осталась только ради того, чтобы не пропустить службы и не создать впечатление совершенной кем-то неловкости, но за завтраком, когда обсуждались веселые планы на день, заявила, что уходит домой. И ушла, несмотря на уговоры. Подруги проводили ее до села и вернулись обратно. Девочки шли верхом, дальней, незатопляемой дорогой. После легкого дождичка пыль на дороге свернулась мелкой, твердой крупкой. По обыкновению, Соня была босиком и неожиданно так намяла ноги, что через несколько дней на подошвах появились страшные, почти сплошные нарывы. Не менее трех недель она не только не могла ничего делать, не могла даже сидеть; с трудом, поставив одну ногу боком, а другую на пятку, пробиралась она в первые дни болезни к столу, но от сильной боли почти не могла есть и торопилась опять лечь. Потом и лежать стало трудно, ноги ни на минуту не давали покоя, приходилось беспрестанно менять положение. И, только вконец измучившись, Соня согласилась наконец на предложение отца вскрыть нарывы. Отец Сергей использовал для этого маленький, похожий на писчее перо, ланцетик, оказавшийся среди его инструментов и получивший название «пероножик». Тщательно прокипятив его и вставив, для удобства, в обыкновенную ученическую ручку, отец Сергей вскрыл и выдавил нарывы, и Соня сразу почувствовала облегчение.

В самый разгар ее болезни опять приехал отец Александр Орлов с женой, бывшей в Острой Луке только на похоронах матушки. И если отец Александр явился со специальной мыслью «разговорить» отца Сергея и, только что успев поздороваться, затеял с ним оживленную беседу, то у матушки была своя цель, помочь в хозяйственных делах. Ей сразу бросились в глаза лежащие на комодке рубашки, как бы ожидавшие чьей-то опытной руки. Незадолго до этого такая же добровольная помощница сшила мальчишкам по рубашке. Мишина оказалась как раз впору, зато Костина страшно велика – длинна и широка. Обшлага закрывали кисти рук, а воротник, как хомут, лежал вокруг худенькой Костиной шеи. Соня не знала, как подступиться к рубашке, она умела шить только косоворотки. Да и то первая самостоятельно скроенная ею для Миши косоворотка не удалась, в первые же дни лопнула под мышками. Соня аккуратно заплатала, а на следующий раз лопнуло по обе стороны заплаток. Вот эти-то рубашки и заметила матушка Орлова, и ее отзывчивое сердце помогло ей сделать то, о чем не догадались более близкие. Несмотря на протесты смущенной Сони, она забрала рубашки и скоро вернула их перешитыми и исправленными.

Несмотря на добрые намерения матушки и всегдашнее дружеское расположение батюшек, близости между семьями не получилось. В тех густонаселенных краях двадцать верст,

отделявшие Липовку от Острой Луки, казались большим расстоянием, часто не наездишься. А весной 1921 года отец Александр трагически погиб, и матушка уехала из Липовки.

Смерть жены перевернула всю жизнь отца Сергея. Мне хотелось бы сказать – не просто выбила из колеи, а перевернула – но для него такое выражение не подходит. Слишком тверда и определена была его дорога в жизни, слишком глубока колея, чтобы его можно было выбить из нее. Путь по раз избранному направлению продолжался, но в нем самом многое изменилось. Много лет спустя, уже после его смерти, новая знакомая его дочерей, женщина наблюдательная, художница с наметанным взглядом, рассматривая их семейный альбом, была поражена этой переменной, отразившейся даже на внешности.

– Вы посмотрите, – говорила она, сравнивая его ранние и поздние фотографии и разделяя их на две группы. – Ведь это два совершенно разных человека. Дело не в том, что здесь он старше, чем там, не в том, что он иначе одет и не носит больше очков. Нет, чувствуется, что в его жизни произошел какой-то перелом, что-то глубоко повлиявшее на его внутренний мир. Что это было? Что это могло быть? Конечно, только эта смерть.

Отец Сергей не показывал вида, что страдает, не жаловался, как другие, на тяжелое положение священника, оставшегося без жены. Разве только скажет иногда: «Мы с женой поровну поделились. Она себе взяла двоих сыновей и двух дочерей и мне столько же оставила». Когда кто-нибудь сочувственно говорил о том, как трудно растить детей без матери, он отвечал полусуто: «А что мне их растить? Они сами растут». И добавлял уже вполне серьезно: «У нас бабушка есть. Нам с ней полгоря».

Безусловно, присутствие Юлии Гурьевны имело для семьи огромное значение. Дети не были заброшены, хозяйство велось по-прежнему. Самой большой внешней переменной было то, что, во избежание сплетен, пришлось отказаться от домработницы. Это смущало отца Сергея, ему не хотелось наваливать на тещу всю тяжесть домашних работ, но обстановка складывалась так, что другого выхода не было.

В первый раз домработницу отпустили весной 1921 года в то время, когда Юлия Гурьевна уехала в Самару к умирающей сестре Марии Гурьевне. Незадолго до ее возвращения отец Сергей подыскал мужчину, до революции несколько лет служившего в Курляндии денщиком у офицера и умевшего стряпать и стирать. Он прожил в семье лето, а ранней осенью, когда уже сильно стал чувствоваться наступающий в Поволжье голод, ушел на родину. Голодную зиму и следующее за ней лето, проведенное Юлией Гурьевной у сына, прожили одни, а на зиму, когда Юлия Гурьевна вернулась, а Соню отправили учиться в Самару, опять взяли помощницу со стороны. Но это было в последний раз; с осени 1923 года вообще решили обходиться своими силами. Сначала приглашали кого-нибудь для стирки, потом Соня нашла, что легче самой постирать, чем искать каждый раз новую прачку.

Разумеется, основная и самая ответственная часть домашней работы пала на Юлию Гурьевну. Отец Сергей принимал все меры, чтобы она была избавлена хоть от тяжелой физической работы, поделенной между старшими детьми. Мальчики ухаживали за скотиной, заботились о дровах, выносили золу, которой было много, так как русская печь топилась кизяком. Соня стирала, носила воду, месила тесто. В ее же обязанность входило доить корову и двух коз, но летом, во время полевых работ, когда вдобавок доить нужно было «чуть свет», часа в три утра, а то и раньше, Юлия Гурьевна жалела будить усталую девушку и доила сама. Изредка случалось даже, что ранним утром она брала маленькое ведерко и шла за водой, конечно, если отец Сергей не видел этого и не перехватывал ведра. По временам, особенно когда с трудом отдавали выращенную дома телку, отец Сергей брался и за подойник, и упрямая корова подчинялась ему лучше, чем женщинам. Во время стирки или когда Юлия Гурьевна уезжала погостить к детям, а Соня оставалась одна, воду тоже носили или он, или мальчики. Зато, жалея дочь, когда она была перегружена, в другое время он замечал ей: «Соня, разве не видишь, что

бабушка одна хлопочет, помоги ей». А самой Юлии Гурьевне говорил: «Вы побольше заставляйте ее помогать вам. Ей ведь это только полезно, нужно приучать ее к хозяйству».

Конечно, несмотря на всю эту помощь, у Юлии Гурьевны тоже всегда хватало дела. Она вставала раньше всех, топила печку, и к тому времени, когда поднимались остальные, у нее уже был готов завтрак. А потом она целый день хлопотала, занятая мелкими хозяйственными делами, незаметными со стороны, если они делаются своевременно, но тормозящими все хозяйство, весь строй жизни, если о них забыть. Только среди дня она ложилась отдохнуть часок-другой, да вечером, утомленная дневными заботами, засыпала, когда остальные еще и не думали о сне. Однажды отец Сергей заявил, что решил отказаться от мясной пищи.

– У меня желудок плохо ее переваривает, да и пора. По селам многие вдовы после сорока лет не едят мяса. И мне уже недалеко до сорока, пора отвыкать.

На столе его все чаще появлялись творения святых отцов, «Добротолюбие», «Лествица».

После переселения в тесный псаломщический дом фисгармония около трех лет стояла в школе, но за скрипку отец Сергей взялся не позже чем через год. Ему удалось по случаю купить старенькую, плохонькую скрипчонку «для начинающих», как он выразился, объяснив, что неопытные музыканты, не умеющие правильно взять ноту, могут испортить тон хорошей скрипки. На этой, новой, он начал учить детей. Соня и Костя быстро заленились, а Миша занимался упорно и через некоторое время начал играть довольно прилично. Случалось, что отец и сын исполняли несложные дуэты.

Шагая как-то взад-вперед по комнате, отец Сергей остановился и неожиданно спросил Юлию Гурьевну:

– Вы знаете Надсона?

– Очень мало, – удивленно ответила она. – А что?

– А ты, Соня?

– Только «Иуду» и «Умерла моя муза».

Соня так же удивленно, как и бабушка, подняла глаза от работы. За всю свою жизнь она не помнила, чтобы отец читал стихи. Зато он частенько подсмеивался над ее (Сониными) стихотворными увлечениями и удивлялся памяти ее и маминой.

– Как ты подробно помнишь, что когда-то читала, – говорил он, слыша, что Евгения Викторовна пересказывает ребятам прочитанные в детстве книги. – А у меня все из головы вылетело.

Сам отец Сергей любил при случае продекламировать подходящую басню, но к лирике был равнодушен. Соня думала, что знакомство ее отца с поэзией ограничивается тем, что он читал в школе, и считала это единственным его недостатком. Но вот он стоял задумчиво, по-видимому что-то припоминая, и его глаза светились особенным, мягким светом.

– У Надсона есть такое четырехстишие, – снова заговорил он. – Я не могу хорошенько припомнить, кажется, я перевираю вторую строку. Но примерно так:

О милых существах, которые весь свет
Тебе собой животворили,
Не говори с тоской: их нет!
Но с благодарностию – были!

Отец Сергей раза два прошелся по комнате, опять остановился и снова задумчиво произнес, с той же неожиданной теплотой в голосе и с тем же мягким светом в глазах:

Не говори с тоской: их нет!
Но с благодарностию – были!

Соне не раз потом приходилось видеть в его глазах мягкий свет, хоть и не совсем такой, как этот раз. Когда она стала постарше, лет семнадцати-восемнадцати, она иногда замечала, что отец смотрит на нее каким-то особенным взглядом – задумчивым, любующимся, одновременно печальным и ласковым, и как будто этот взгляд был устремлен не на нее, а сквозь нее, на что-то видимое только ему одному.

– Что ты так на меня смотришь? – спрашивала она, пока не научилась узнавать этот взгляд. Он отвечал негромко, не меняя позы, точно боясь нарушить очарование:

– Как ты сейчас на маму похожа!

Впоследствии, поймав знакомый взгляд, Соня внутренне напрягалась, стараясь не изменить ни выражения лица, ни манеры держаться, – ведь она не знала, в чем именно проявляется в данный момент ее сходство с матерью. Обыкновенно это бывало тогда, когда она весело и оживленно о чем-нибудь говорила. Значит, отец Сергей запомнил жену именно такой – молодой, веселой, жизнерадостной. Может быть, конечно, он не менее ярко представлял ее и такой, какой она была в последние годы жизни, но такую Соня, к счастью для себя, пока еще не напоминала. Случалось детям ловить на себе и другой взгляд отца – вопросительный, заботливый и печальный, словно он старался представить себе их будущее. На заданный в этот момент вопрос: «Что ты на нас так глядишь?» – он отшучивался:

– Никак я на вас не гляжу. Думаете, нужны вы мне!

Незадолго до Пасхи 1921 года отец Сергей получил письмо. Внимательно прочитав его несколько раз, он прошелся взад-вперед по комнате и подошел к кровати бабушки Натальи Александровны. Старушка уже совсем одряхла, впала в детство, не понимала самых обыкновенных вещей, связанных с новыми условиями жизни. Только о внуках с ней еще, с грехом пополам, можно было говорить.

– Бабушка! – позвал отец Сергей необычным глухим голосом. – Еня поклон прислал.

– Написал, наконец, – оживилась старушка. – Ну, что он пишет, как живет?

– Дом он себе построил, – неловко сказал отец Сергей.

– Дом? В Романовке? Зачем ему, такому больному?

– В Самаре. Недалеко от папы. – Отец Сергей остановился, точно проглотил что-то. – Хороший дом, крыша до самого неба.

– Ну, уж ты скажешь! – Старушка задала еще какие-то вопросы, но отец Сергей не ответил, а настойчиво повторил опять что-то о доме. Наталья Александровна вдруг заплакала.

– Умер он, что ли? – спросила она каким-то жалким голосом, точно умоляя, чтобы ей возразили.

– Умер. 4 марта. Скоро сороковой день будет. Вот Надя пишет...

– А Симушка где?

– Живет у Филарета с Яночкой.

Прошлым летом Евгений Евгеньевич в последний раз приезжал к брату. Он очень изменился, сразу было видно, что сильно болен. Однажды за столом с горечью сказал:

– У меня две болезни, мешающие лечить одна другую, – туберкулез и катар желудка. Чтобы поддержать при туберкулезе, нужно хорошее питание, а катар есть не позволяет. Знаю я, что не от катара умру, а подчиниться ему приходится.

В это посещение не было интересных, оживленных разговоров, начинавшихся всегда, когда братья съезжались вместе. Они много и горячо о чем-то разговаривали, но наедине, в огороде или на пчельнике. И расстались печальные и серьезные.

Зимой было получено известие, что из Романовки, где у него не было никого близких, Евгений Евгеньевич с Симой переехал в Самару, к брату Филарету. Там он и умер.

Почта работала нерегулярно и неаккуратно. Кое-какие подробности сообщила вернувшаяся перед Троицей из Самары Юлия Гурьевна. Отец Евгений приехал из Романовки в Самару налегке, лечиться, а не умирать. На смерть у него ничего не было приготовлено. Белье собрали

родные, облачение разрешили выдать из Воскресенской церкви, а покрывала нигде не могли найти. Неожиданно выручила сестра покойного, Серафима Евгеньевна, принесла свое, да еще какое! Все расшитое гладью по тюлю и батисту, с вышитыми кругом словами: «Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоя Серафимы». Так эти слова и оставили, распарывать некогда было. Серафима Евгеньевна всех удивила. Женщине тридцать два года, веселая, хохотушка, как будто даже немного легкомысленная, а даже покрывало себе на смерть приготовила. Да с какой вышивкой, за которой не один год надо просидеть. Ведь, конечно, урывками работала, с хозяйством, да с ребятами, да чтобы муж не видел, а то скандал поднимет.

Отец Сергей перенес смерть брата еще сдержаннее и молчаливее, чем смерть жены. На сороковой день отслужил панихиду – была Страстная неделя и заупокойной литургии не полагалось. После Пасхи, разумеется, поминал его за каждой литургией, а дома вспоминал редко. Только время от времени расскажет, как Евгений ездил в Академию и вернулся, как он не любил фотографироваться, как, еще совсем маленьким, в гостях попросил пить, а когда ему подали квасу, попробовал и заявил: «Я не хочу кишлой воды, я хочу шладкой воды!»

С Юлией Гурьевной прислали отцу Сергию на память о брате почти новый ситцевый подрясничек-халат. В годы натурального хозяйства и эта вещь представляла значительную ценность, тем более что позволяла сохранить парадный подрясник. Летом отец Сергей везде ходил в нем, в нем же работал на пчельнике. Именно там, случайно, сунув руку в карман, он обнаружил не замеченную раньше записку сестры Нади.

– Поленька Некрасова овдовела, – бросив работу, сообщил он Юлии Гурьевне. – Опять в Яблонку перебралась, поближе к отцу, просвирней устроилась. Мор пошел на С-вых и на их родственников!..

«Мор» на С-вых на этом не закончился. 18 января 1922 года умерла бабушка отца Сергея, Наталья Александровна. Люди в это время обессилели от голода, и никто не соглашался копать новую могилу в твердом, промерзшем грунте. Договорились, что разроют сверху глубокую могилу Евгении Викторовны и в ее стенке подроют нишу для гроба. Но копавшие не сумели сделать этого, и опущенный гроб, войдя краем в нишу, загородил и основную могилу. Отец Сергей был очень расстроен этим. И тут, и впоследствии он не раз повторял, что бабушка заняла его место. Это оказалось как бы предзнаменованием: ему пришлось лечь далеко от жены, и кто знает, что это была за могила?

Глава 29

Отец и дети

Чем старше становились дети, тем сдержаннее отец Сергей с ними обращался. Зато как ценили они его скупую ласку – необычную нотку в голосе, как бы мимолетный взгляд, легкое прикосновение руки; впоследствии, в письмах, – оборот речи, ничего не говорящий другим, но в котором им чувствовалась тоска по ним, любовь, тревога.

В этот период ласковее всех он был с Наташей, точно старался вознаградить ее за отсутствие материнской любви и ласки, да и вообще за бедность чисто детских радостей, доставшихся ей на долю. У нее почти не было игрушек, кроме оставшихся от старших детей, по большей части поломанных. Она не помнила веселых, нарядных елок, на каких играли старшие. Правда, и те мелкие удовольствия, которые случалось доставить ей, благодаря своей неожиданности, запоминались надолго. На Рождество 1920 года, первое Рождество после смерти Евгении Викторовны, было решено устроить для Наташи елку. Вечерком Миша сходил за село в молодой сосняк, срезал небольшую ветвистую сосенку и, дождавшись, пока почти совсем стемнело, незаметно принес ее через огород и спрятал в сарае. Сделал это так, чтобы кто-нибудь из соседей не заметил и не разболтал прежде времени, испортив этим общую радость. Две коробки елочных игрушек хранились в чулане от прежних лет; их тоже незаметно вынесли

и, выбрав более интересные, украсили елку. Нашли несколько нарядных оберток от конфет и, завернув в них аккуратно вырезанные кусочки твердого, засахарившегося меда, повесили туда вместе с золоченым орехом, случайно завалявшимся в бабушкиной коробочке для пуговиц. Приготовили даже настоящие подарки, Сонино «Задушевное Слово» за 1910 год, и уложенные в пестрый шелковый мешочек обломки цветных карандашей – сокровище, принадлежавшее мальчишкам. Кроме того, Миша склеил из картона домик со стеклами из желтой и розовой папиросной бумаги. Если внутрь домика вставить зажженный огарок, окна будут светиться как настоящие. Отец Сергей купил в церкви несколько восковых свечей, их разрезали и укрепили на ветках.

Готовая елка стояла в запертом под каким-то предлогом на замок сарае и ожидала того момента, когда ее внесут в дом и зажгут. Но как нарочно, Наташа в этот день читала новую книжку, принесенную от Смирновых, и ни за что не хотела идти гулять. Напрасно все по очереди уговаривали ее пойти хоть на полчаса, хоть на десять минут, она не могла оторваться от интересных сказок. Пришлось Юлии Гурьевне послать ее с поручением в сторожку. Девочка пошла неохотно, чуть не со слезами, и вернулась раньше, чем рассчитывали старшие. Впрочем, заставу, на всякий случай, они поставили. На песке, прямо около входной двери, сидел отец Сергей и звал Наташу к себе:

– Пойдем сюда, поsumerничаем!

Сумерничали недолго. За закрытой дверью передней комнаты раздался кашель, и папа вдруг попросил:

– Наташа, слезь, отрежь мне пирога с вороняжкой!

А потом, не дав ей дойти до стола, на котором лежал вкуснейший пирог, начиненный залитой сметаной сушеной вороняжкой, посоветовал:

– А ну-ка, загляни в щелку в комнату, посмотри, что там делается.

Там сверкала небольшая нарядная елочка. Наташа вошла в комнату и остолбенела от восторга. Рассматривая давно знакомые, но сейчас преобразившиеся игрушки, она стояла до тех пор, пока не стукнула входная дверь. Это пришли соседи, Шурка Бекетов и Катя Морозова, и, взявшись за руки, тоже уставились на елку. В тесной комнате бегать и играть вокруг елки дети не могли, но и так было необыкновенно хорошо.

Отец Сергей много времени уделял младшей дочурке, играл с ней, рассказывал разные истории, с серьезным видом представлял, как говорит испорченный граммофон:

– ...Пш-ш-ш... др-р-р... попрыгунья стрекоза... пшш-ш... лето красное... др-р-р... красное пропела... у-у-у... др-р-р...

Он говорил странным, скрипучим голосом, точно вылетающим из помятой граммофонной трубы, шипел, дребезжал, завывал. Наташа хохотала, забираясь к отцу на колени, трепала и тормошила его и вдруг начинала целовать без конца.

Отправляясь куда-нибудь в конец села по делу, отец Сергей почти всегда брал с собой Наташу. Так все и привыкли видеть их вдвоем. Отец Сергей, серьезный, задумчивый, широко шагав опустив голову, занятый своими мыслями, а Наташа, согнув руку крючком, чтобы не отстать, по локоть запустив этот крючок в отцовский карман, семенила рядом и тараторила, рассказывая о всех своих делах, обо всем, что случилось сегодня с ней и ее подругами. Отец Сергей то слушал молча, то вступал в оживленный разговор. Иногда переходили на серьезные «научные» темы.

– Ты знаешь, какие большие города расположены по Волге? – спрашивал отец.

– Знаю. Тверь, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Самара, Саратов, Астрахань.

– А как узнать, на правом или на левом берегу они расположены? – Не знаю.

– Очень просто. Города с окончаниями мужского рода находятся на правом берегу, а с окончаниями женского рода – на левом. Ну-ка, на каком берегу расположена Казань?

– На левом.

– А Саратов?

– На правом. И правда. Мне тетя Саня говорила, что в Саратов нужно через Волгу пере-езжать. А Самара на левом. А Хвалынский опять на правом. Я знаю.

Шутя, в семье называли Наташу «папиной дочкой», но это никого не обижало и не огорчало, как в некоторых семьях, где дети резко делятся на любимых и нелюбимых. У отца Сергия хватало любви на всех, и у каждого из детей были свои точки близости с отцом. С Соней, как самой старшей, он часто и вполне серьезно, как с равной, советовался, и нередко поступал по ее совету. Может быть, в некоторых из этих случаев вопрос ставился так, что на него был возможен только один ответ, но девушка привыкла обдумывать и решать, у нее развивалась самостоятельность и чувство ответственности. Постепенно к этим советам стали привлекать и мальчиков. Были и другие темы разговоров, с каждым о том, что его интересовало.

Но особенно все они, и дети и отец, ценили душевные общие разговоры, происходившие чаще всего по вечерам, иногда около кровати, на которой он отдыхал, и завязывавшиеся как бы стихийно, по какому-нибудь незначительному случаю. Начало таким разговорам было положено еще давно, в восемнадцатом году, когда не было керосина и всей семьей подолгу сидели вечером в зале на диване, «сумерничали», – а кто-нибудь из родителей рассказывал о своем детстве или о других интересных моментах жизни. Уже тогда случалось, что рассказ переходил в наказ: как жить, как держаться в разных обстоятельствах. Чем старше делались дети, чем серьезнее становились темы этих разговоров.

– Запомните, детки, – говорил отец Сергей, в то время как Наташа, забравшись за его спину, трудилась над его прической, а остальные трое как попало сидели вокруг и внимательно слушали. – Всякое порученное вам дело нужно выполнять добросовестно, как только можете лучше, а не так, как у некоторых получается, лишь бы скорее, лишь бы сбыть, авось не заметят. Особенно если обещали людям сделать что-то. Нельзя обманывать доверия людей, нельзя, чтобы потом на вас плакались за недобросовестную работу, – и перед людьми стыдно, и перед Богом грешно. Всегда все нужно делать так, как делали бы для себя, так хорошо, как только позволяют силы и умение.

Правда, бывают иногда и такие дела, на которые время тратить жалко... например... ну, хоть дорожку в снегу прочистить. Да и то, если это между прочим, для себя, можно быстренько раскидать снег, лишь бы пройти. А если это входит в ваши обязанности, если вы нанялись дорожки чистить, тогда и такие мелочи нужно делать как следует.

Зато случается, что ради исполнения своей обязанности приходится и жизнью рисковать, как врачи в эпидемию, как солдаты на фронте, как священник, позванный к умирающему, – в любую погоду, не боясь попасть под пулю, не думая, что может заразиться опасной болезнью.

В другое время он говорил об истинной храбрости, об истинном мужестве. Они не в том, чтобы бросаться в опасность ради опасности – ни с того ни с сего поехать в бурю на лодке, прокатиться на бешеной лошади, пробежать босиком по снегу, только ради того, чтобы доказать товарищам, что ничего не боишься. Это не храбрость, это бессмысленное удалство. Мало того, оно иногда приближается к трусости, если подобные вещи проделывают потому, что товарищи поддразнивают: «А вот и не сделаешь! струсил!» Некоторые таким образом приучаются курить, пить, связываются с нехорошими компаниями ради того, чтобы про них не говорили: «Девчонка, маленький, отца боится!»

В таких случаях гораздо больше мужества надо, чтобы не обращать внимания на насмешки и твердо заявить: «Я делаю только то, что считаю правильным, и только тогда, когда считаю это нужным». Такой человек, привыкший управлять собой, не отступит и перед самой серьезной опасностью, когда это действительно потребуется, особенно если нужно будет помочь другим. Вот это и есть настоящее мужество, которое гораздо ценнее простой удали или отваги.

Иногда, как бы между прочим, поднимался и вопрос об излишней самонадеянности, о привычке загадывать вперед, самоуверенно строить планы. «Сделаю то, другое, третье...» – а может быть, ты заболеешь или что-нибудь помешает... Задумав какое-то дело, надо стремиться и выполнить намеченное, но всегда при этом не только говорить, а и чувствовать: «Если Бог даст», «Если живы будем».

– В жизни нужно быть готовым ко всему, – говорил он при следующей беседе, – ко всякой неприятности, ко всякому горю. Если беда настигает человека неожиданно, неподготовленного, переносить ее гораздо тяжелее.

Случается, человек не выдерживает, впадает в отчаяние, начинает пить, опускает руки и отказывается от всякой борьбы с жизнью, а то даже и с собой кончает. Все это следствие слабости, несобранности. Вот, например, когда умирала мама, было очень тяжело, но если бы мы не подготовились к мысли о ее смерти заранее, то было бы и еще тяжелее. И о вас я часто думаю, о вашей дальнейшей судьбе. Может быть, кто-нибудь из вас тяжело заболеет, умрет... Самым большим горем для меня было бы, если бы кто-нибудь из вас стал безбожником (при одном таком предположении голос отца Сергия срывался), но я и к этому готовлюсь...

– Ну, папа, не надо, не говори так, – обиженно прерывал Миша, а Костя добавлял:

– Никогда этого не будет.

Подобные беседы глубоко западали в души подростков, потому что они знали: это не простые рассуждения, а выводы из всей жизни отца, подтвержденные бесчисленными фактами, и мелкими, и более серьезными, и такими, которые могли кончиться трагически.

Много раз слышали дети о первом годе служения отца Сергия в Острой Луке, о зиме 1906–1907 годов. Тогда был недород, люди голодали. По селам организовывали столовые, но средств, отпускаясь на них из земства, не хватало. Тогда отец Сергей написал воззвания в газеты, с просьбой о пожертвованиях; в воззвании он упомянул о случае смерти от недоедания или, может быть, как тогда называли, от «голодного тифа». В этом году духовенство часто помещало подобные воззвания, но, значит, было что-то в письме молодого священника, если оно произвело большее впечатление, чем другие. Сам отец Сергей скромно объяснял это чистой случайностью, тем, что его письмо попало в руки какому-то газетному работнику, который в своей статье «поднял шум на всю Россию, дескать, в Острой Луке голодный тиф! Ну и посыпались пожертвования!»

Присылали небольшие суммы, хотя, по тем годам, может быть, и довольно чувствительные для жертвователей: рубль, три, пять рублей, редко больше, но таких сумм поступало много. Раз в неделю отец Сергей с одним из своих помощников по кормлению голодающих ехал в Хвалыньск на почту. Там ему давали целую пачку переводов, и он усаживался расписываться. Получив деньги, отправлялись закупать продукты: муку, крупу, горох, мясо и вплоть до перца и лаврового листа. В селе распределяли продукты по кухням, которых было несколько, снятых у крестьян в разных концах. Следили, чтобы поварахи и пекари, выпекавшие хлеб, не воровали, чтобы обеды были вкусные.

В некоторых из присланных переводов жертвователи выражали желание, чтобы присланные деньги отдавались по специальному назначению: «самому нуждающемуся», «самому многодетному», «самому благочестивому». Определить, кому должна попасть помощь, особенно в последнем случае, было еще труднее, чем составить список питающихся в столовой, тем более что сам отец Сергей еще плохо знал людей. Эти вопросы решались с участием попечителей и других «стариков».

Такое начало служения сразу сблизило молодого батюшку с селом, не только с его прихожанами, но и со старообрядцами.

А в 1909 году вспыхнула эпидемия холеры. Тут обязанности священника яснее – исповедовать и причащать больных, отпевать умерших, – но гораздо опаснее. Евгения Викторовна,

дрожащая и за мужа, и за дочь, строго следила, чтобы, возвращаясь домой, отец Сергей тщательно умывался раствором сулемы, переодевался в сарае и только тогда входил в дом.

Кроме больных, приходилось иметь дело и со слухами, с теми, о которых так метко сказала в свое время писательница, процитированная Лесковым:

«Одни представляли ее [холеру] себе в виде женщины, отравляющей воду, другие – в виде запятой. Врачи говорили, что надо убить запятую, а народ думал, что надо убить врачей»⁴⁹.

Спустя семнадцать лет после печальной памяти холерных бунтов опять ползли те же слухи: кто-то отравляет воду, врачи не лечат, а морят; ради прекращения заразы попавших в больницу хоронят живыми. Иначе для чего же требуют, чтобы умерших хоронили в закрытых гробах и могилы заливали известью? Стучалось, что к батюшке специально приходили люди, шепотом рассказывали о новых слухах и спрашивали, правда ли это. Хотя разговоры не принимали тех грозных форм, как во время предыдущей эпидемии, бороться с ними было необходимо. Многие еще помнили убийство в Хвалынске доктора Молчанова, которого в 1892 году толпа выбросила из окна больницы со второго этажа и растерзала. Настроения, приведшие к зверской расправе, так и не исчезали окончательно. Еще несколько лет спустя, примерно в 1912–1913 годах, отец Сергей встретил на пароходе старика, возвращавшегося с каторги, куда он был отправлен за участие в этом убийстве. Старик продолжал считать себя героем, пострадавшим за правду; он с воодушевлением рассказывал все подробности события; около него собралась толпа, явно ему сочувствовавшая. А что бы могло получиться, если бы такой агитатор появился в разгар эпидемии...

Отец Сергей, кажется, во все время эпидемии не забывал о судьбе доктора Молчанова. Летом 1909 года в Острой Луке, как и в других селах, не имеющих постоянной больницы, жила группа студентов и студенток, возглавляемая врачом; они делали прививки, ухаживали за больными. Народ как будто доверял им, но в «баракы» – специально приспособленные для больных помещения – шли неохотно; а темные слухи все ползли. Все свое влияние, завоеванное в голодный год, молодой священник употреблял на борьбу с этими слухами.

Голод и холера – страшные, но нечастые «гости», а пожары – враг постоянный. На них тоже не обходилось без батюшки. Едва слышался набат, он надевал что похуже и бежал к месту пожара. Скоро он приобрел опыт в организации тушения. Его слушали все. Это было очень важно, потому что часто борьба с огнем шла плохо лишь из-за того, что было слишком много командиров, дававших противоречивые указания.

Но если отец Сергей распоряжался, это не значило, что он стоял в стороне. Нет, он работал наравне с другими и у насоса, и с багром, и с лопатой. Особенно запомнился один случай: загорелась солома на гумне. Несколько ребятшек устроили шалаш из соломы и надумали печь там яблоки. Шалаш запылал, за ним загорелось все гумно, а потом и соседние. Хорошо еще, что юные поджигатели убежали и спрятались под амбаром, а не в закоулках гумна, где могли бы сгореть и сами. На сильное пламя, на отчаянный звон в два колокола примчались помощники из соседних сел. Всего собралось четыре насоса.

Борьба с пожаром подходила к концу, но ветер от догоравшего омета тянул на соседний; его напряженно отстаивали. Отец Сергей стоял на верхушке омета, которому грозила опасность, сбрасывал и тушил попадавшие на него клочки горящей соломы.

– Батюшка, горячо? – кричали ему снизу.

– Хорошо, – отвечал он. Внизу поняли его слова как «горячо», и освободившиеся насосы с двух сторон начали поливать его, чуть не сбивая струей с ног. Промочили его до нитки, и так обильно полили всю вершину омета, что там уже не могло загореться. Зато сбоку, там,

⁴⁹ Фрагмент из статьи С. И. Смирновой «Европа подо льдом» (газета «Новое время», 18.11.1892), использованный Н. С. Лесковым в качестве эпиграфа к произведению «Импровизаторы».

где нельзя было достать ни сверху, ни снизу, появилось пламя. Недолго думая, отец Сергей скатился туда, и пламя, зашипев, погасло, примятое его мокрой одеждой. Внизу было полно соломы, и он не ушибся, зато домой возвращался черный, закопченный, весь облепленный горелой соломой, и вода стекала с его подрясника.

А Соня вспоминала давнишний случай совершенно иного рода.

В семье строго соблюдался обычай прощения в Прощеное воскресенье. Утром, после обедни, отец Сергей просил прощения у прихожан, потом к нему приходили кое-кто из близких: псаломщик Николай Потапович, сторожика, некоторые другие. Перед сном он прощался с женой, дети просили прощения у родителей и друг у друга. Когда они были маленькими, это получалось легко, само собой, но, подрастая, Соня, а за ней и мальчики начали стесняться и вечером старались попозднее лечь спать, чтобы пересидеть других, то есть чтобы не они, а у них просили прощения. А однажды Соня почувствовала, что она не сможет подойти и к родителям. Она ушла в «мамину» спальню, самую отдаленную от столовой, где собиралась по вечерам семья, села на кровать и долго сидела в темноте, стараясь преодолеть себя. Она слышала, как били часы в зале, как в столовой отодвинулись сразу два стула, – по-видимому, мальчиков послали спать. Они помолились, простились с родителями, одновременно попросили прощения друг у друга, одновременно пришли к ней. Уже полгоря должно бы свалиться с плеч, но Соня чувствовала, что ей стало еще труднее.

В столовой молчали или перебрасывались отдельными фразами, которых нельзя было разобрать; иногда отодвигался стул; тогда Соня замирала при мысли, что это папа собирается спать. Она вполне понимала значение прекрасного обычая, боялась, что ей не удастся выполнить его, и... не могла побороть себя. «Сейчас, только дождусь, когда пробьют часы, и пойду», – говорила она себе. Но часы били раз, второй, а она все сидела. Вдруг она услышала тихие, осторожные шаги, шаги человека, попавшего из яркого света в темноту, и тоже тихий, как будто взволнованный, голос отца:

– Соня, где ты?

– Здесь.

Отец Сергей сел на кровать рядом с дочерью и сказал дрогнувшим, проникновенным голосом:

– Соня, прости меня, если я тебя чем-нибудь обидел!

– И ты меня прости.

Соня уткнулась головой куда-то в плечо отца и почувствовала, что на глазах у нее слезы, а с сердца исчезла весь вечер мучившая ее тяжесть. И как она любила сейчас своего папу! И как легко и от души попросила прощения у матери, когда, просидев с ней несколько минут, отец Сергей поднялся и по-прежнему тихо сказал:

– А теперь иди к маме!

В последующие годы Соню никогда не тяготила мысль о прощении, она даже старалась первой подойти к братьям.

Много, очень много говорил отец Сергей и о том, каким должен быть священник, какими он хотел бы видеть своих сыновей. Тут были и теоретические рассуждения о высоте пастырского служения, и чисто практические советы, касающиеся иногда и мелких случаев жизни.

Такие разговоры Соня слушала с некоторой завистью.

– Что же мне делать, ведь я не могу быть батюшкой, – как-то высказала она.

– Зато можешь быть матушкой, – ответил отец.

Такой ответ не удовлетворил девушку. Куда интереснее было бы стать священником. Тогда она не думала, что не она первая и не она последняя высказывает такое пожелание. Лет десять спустя ей пришлось слышать, как шестилетняя девочка повторила ту же мысль в более категоричной форме:

– Буду или владыкой, или отцом Константином!

Для Наташи подобные разговоры были еще слишком серьезны, и, присутствуя при них, она чаще всего занималась приведением в порядок (вернее, в беспорядок) отцовских волос и бороды. Ей больше подходили вопросы, поднимавшиеся по утрам в сторожке. В 1920–1922 годах было запрещено преподавание Закона Божия в школах, но о частных занятиях ничего не говорилось, и отец Сергей, за час до начала уроков в школе, занимался с желающими в сторожке. Частенько он брал с собой Наташу, которая и по возрасту, и по развитию была ближе к этим ученикам. Занятия проходили оживленно, отец Сергей больше заботился не о том, чтобы ученики уроки заучивали, а о том, чтобы до них доходила суть его объяснений. И иногда его вопросы проникали в глубину детского сердца.

– Как быть, – спросил он однажды, – если вы еще не помолились утром, а мама уже горячие лепешки подала?

Такой вопрос стоил десятка проповедей. Все, конечно, понимали, как ответить на этот вопрос: невзирая ни на что, следует молиться внимательно и не торопясь. Но горячие лепешки! Только в возрасте восьми – двенадцати лет можно ясно представить, какой это соблазн. Впрочем, и у взрослых тоже есть у каждого свои «горячие лепешки».

Пришлось как-то Наташе выдержать искушение и посерьезнее.

Время от времени в школе силами учителей и примыкавшей к ним молодежи ставились спектакли. Пьесы выбирались случайные, по большей части довольно легкомысленные и без особых художественных достоинств. Отец Сергей обычно говорил о них:

– Это все ерунда. Вот если бы поставили Гоголя, «Ревизора» или «Женитьбу», тогда можно бы и Наташе пойти. И Наташа привыкла к мысли, что, когда поставят Гоголя, она пойдет на спектакль. Как на грех, «Женитьбу» поставили накануне Крещения.

На этот раз даже Юлия Гурьевна заколебалась.

– Сергей Евгеньевич, может быть, можно Наташе один-то раз, в виде исключения, сходить? – не то задала вопрос, не то попросила она. – Очень уж она ждала.

– А ты сама как думаешь? – обратился отец Сергей к дочери.

Как думаешь! Ведь так хотелось бы пойти! Если бы папа просто не пустил ее, возможно, Наташа бы и заплакала. Но он спросил: «Как думаешь?» А тут и думать-то особенно нечего. Вполне ясно, что, как бы ни хотелось, ответ может быть только один: «Нельзя!»

Как-то отец Сергей, выйдя из дома, увидел, что Наташа с подругами занялись «важным делом»: дразнили соседнего мальчишку, маленького толстенького Терешку. Они с увлечением прыгали вокруг него и напевали:

– Терька-дурак! Повадился в кабак!

Отец Сергей нахмурился. Наташа, во-первых, дразнилась, во-вторых, кричала: «Дурак», а это слово он еще несколько лет назад распорядился «вычеркнуть из лексикона». Это был один из немногих случаев, когда улица победила его. Несколько времени дети выполняли распоряжение отца, но вскоре находчивый Костя придумал удобный вариант: дети стали говорить друг другу: «Ты то слово, которое папа велел вычеркнуть из лексикона». Потом, понемногу, с осторожностью, «то слово» опять начало, хоть и редко, появляться в лексиконе, а вот сейчас Наташа кричала его на всю площадь. Да не просто кричала, а дразнила малыша.

Отец Сергей остановился и позвал:

– Наташа, поди сюда! А когда она подошла, сказал тихонько:

– Не надо, нехорошо!

Как это ни странно покажется со стороны, от этих слов Наташа почувствовала даже гордость: папа дал ей прямое распоряжение, сам сказал: «Нехорошо!»

– Пойдемте еще как-нибудь поиграем, – позвала она подруг. – Папа не велит дразниться. Всякие бывают неприятности. Однажды Наташа перешибла дверью ногу цыпленку. Он заболел, и его несколько дней держали в комнате. Этот «больной» захотел выскочить в открытую

дверь, в которую вихрем ворвалась Наташа, и конечно, пострадал. Да еще и Наташе доставил несколько неприятных переживаний.

– Кто-то цыпленку ногу перешиб, – сказала через некоторое время Юлия Гурьевна. – Наташа, ты не знаешь кто?

– Не знаю.

– А не ты?

– Я нечаянно. Бежала, а он подскочил. Я и не видала. Бабушка внимательно посмотрела на девочку.

– Всегда нужно говорить правду, Наташенька, – сказала она. – Если ты сделала это нечаянно, тебя никто ни бранить, ни наказывать не будет. Но нужно говорить правду.

Эти короткие разговоры надолго запомнились, оставляя след в характерах детей, направляя их воспитание именно потому, что слова эти всегда подтверждались делом. А был один случай, в нескольких словах объяснивший юной воспитательнице Соне (ей тогда было шестнадцать лет) одну основу воспитания, которой придерживались отец Сергей и Юлия Гурьевна.

Раз вечером Наташа что-то раскапризничалась. Соня, из-за требования которой разгорелся сыр-бор, попробовала добиться своего, попробовала успокоить девочку, потом пригрозила:

– Если ты не перестанешь плакать, я с тобой весь вечер не буду разговаривать.

Наташа продолжала плакать. Плач становился все жалобнее.

– Все на меня, все на меня, – всхлипывала она.

Соня, зная, что сестренка употребляет эти слова только в моменты крайнего расстройства, не выдержала и обратилась за советом к бабушке:

– Я знаю, ей сейчас кажется, что ее никто не любит.

Как же мне быть? Юлия Гурьевна сама разволновалась.

– Нельзя сейчас заговаривать, раз ты обещала молчать, – дрожащим голосом сказала она. – А на будущее помни, как сказал Спаситель: *Да не зайдет солнце во гневе вашем* (Еф. 4: 26). Ты, конечно, на нее не сердись, а все-таки, когда грозишь чем-нибудь, нужно быть осмотрительнее.

Описанные в этой главе не столько события, сколько чувства и настроения, в основном, относятся к периоду 1920–1925 годов. Через полтора-два года после смерти Евгении Викторовны у отца Сергея время от времени начала вырываться фраза:

– Видите, детки, как Господь пожалел нашу маму. Как ей терпеть было бы тяжело. Она не только за себя, а за всех нас страдала бы, а мы за нее.

Шел голодный 1922 год. О нем нельзя говорить мельком, между прочим, нельзя вырвать без связи один-два факта и промолчать об остальных. Если писать обо всем подробно, о фактах и переживаниях, этого хватит на целую большую книгу. Беда в том, что, если бы и хватило сил и умения написать ее – а чтобы по-настоящему сделать это, нужно иметь недюжинный талант, – все равно у этой книги мало бы оказалось читателей, слишком бы она была тяжела. Да и не хватит ничего, ни умения, ни сил. Такое два раза нельзя переживать, сердце не выдержит.

Глава 30

Пожар

Новое несчастье произошло неожиданно. Было 25 ноября, канун Георгиева дня. В этот день впервые истопили печи в церкви. Около четырех часов вечера сторож Ларивон зашел к отцу Сергию за ключами от церкви и за разрешением звонить. Он ушел обычной своей медленной походкой и вскоре вернулся неловкой рысцой.

– Батюшка! – задыхаясь, проговорил он. – В темнице что-то дымно!

Отец Сергей, читавший перед иконами вечернее правило, торопливо снял епитрахиль.
– Беги! – уже на ходу сказал он.

У церкви мирно беседовали несколько человек, заблаговременно пришедших к вечерне. Ларивон мимоходом сказал и им: «В темнице дым» – и бросился к лестнице, с которой только что спустился.

На бегу он обдумал, сообразил, где мог начаться пожар. Не в темнице, как называли темное помещение между вторым и третьим ярусом колокольни. Нет, в нее дым нашел снизу. Вернее всего, загорелась крыша или обшивка стены, там, где к ней близко подходит печная труба.

Из окна второго яруса по легкой приставной лестнице Ларивон выбрался на крышу, отрыл запорошенный снегом люк, через который можно было добраться к опасному месту. Люк тесный, пришлось сбросить толстый стеганный пиджак, чтобы пролезть в чердачное помещение между потолком и крышей.

Так и есть! Дым валил именно отсюда, из отверстия в обшивке около трубы.

Если бы Ларивон, пролезая в узкий люк, не сбросил пиджака, он в первую минуту еще мог бы им плотнее забить отверстие, чтобы хоть ненадолго прекратить доступ воздуха к огню и дожидаться, пока тем же неудобным путем, которым пробирался он сам, доставят два-три ведра воды. Пока огонь, заглушаемый дымом, едва тлел, этого было бы достаточно. Но он на минуту растерялся, а в это время густой черный дым, собравшийся под крышей, шапкой повалил из люка. Из отверстия в обшивке взметнулись языки пламени. Пламя затрещало, засверкало, охватывая сухой смолистый лес. Теперь уже тремя ведрами ничего не поделаешь, если бы даже они чудом очутились наверху. Ларивон одним прыжком выскочил из люка.

– Звони всполох! – отчаянно закричал он. Два колокола ударили враз, в полную силу. И внизу, у веревки часового колокола, и наверху у большого, уже стояли наготове люди, раскачивая предварительно тяжелые языки, ожидая только этого крика. Перегоняя друг друга, беспорядочно и торопливо, полетели над селом тревожные звуки. Страшен такой звон. Он говорит о внезапно налетевшей беде, когда нужна помощь срочная, немедленная и когда не очень-то надеются, что она успеет вовремя... Когда-то давно, на прибрежной полосе сел от Духовницкого до Софьиного, полосе, в которую входила и Острая Лука, какой-то, теперь забытый, рачительный начальник заботился о необходимых мерах борьбы с пожарами. На площадях в центре каждого из этих сел были построены «стойки» – легкие пожарные вышки, а около них пожарные сараи, где хранились ручной насос и одна или две бочки. Рядом, в тесной конюшне, целое лето дежурили две очередные лошади, а нанятый обществом «стойщик» должен был находиться тут же в любую пору дня и ночи. Правда, не всегда так бывало. Все еще помнили, как несколько лет тому назад, в самый сенокос, сгорело шесть домов, а стойщик в это время ездил на дежурных лошадях за сеном. Его тогда грозили бросить в огонь, во всяком случае, избили бы, если бы он не спрятался. Но это был исключительный случай.

Тогда, когда строились «стойки» и приобретался пожарный инвентарь, были приняты и другие меры. Еще в двадцатых годах на воротных столбах многих домов были прибиты небольшие таблички с изображением ведра, топора, багра, вил, лопаты, а то и бочки для воды. С этими предметами хозяева домов должны были при первой тревоге спешить на пожар – все село представляло как бы регулярную пожарную дружину. Порядок этот давно уже полностью не соблюдался, на пожар бежали кто с чем вздумал, но все-таки добрая привычка укоренилась: в случае пожара большинство мужчин бежали тушить не с пустыми руками, а кто мог, приезжал с бочками. Да и нельзя было иначе, не на стойщика же надеяться, много ли он один сделает? Его дело – поднять тревогу и привезти насос.

Словом, летом, в самое опасное время, кое-какие противопожарные меры по возможности принимались. Зимой пожары тушили снегом, работая одними лопатами. А вот осенью... осенью было хуже всего. Снег еще только припорошил землю, лопатой его не подхватишь,

озерца за огородами затянуло тонким ледком, заехать на него с бочкой нельзя, не выдержит, а въезжать по-летнему – прямо в воду – насмерть простудишь себя и лошадь. Может быть, и нашлись бы такие, которые и себя не пожалели бы, как-нибудь сумели бы достать воды, да какой толк? Так можно тушить крестьянские дома, а не церковь. Пожарный насос еще годился, когда нужно было помыть стены церкви изнутри, а на крышу струя воды не доставала. Да и вообще, примитивные сельские насосы не приспособлены для работы в мороз, вода в шланге замерзает. И во всем селе не было достаточно высокой лестницы, по которой можно было бы взобраться на крышу церкви. А скоро уже и вообще ничего нельзя было поделывать. После у некоторых и появлялись какие-то соображения, может быть и ценные, но использовать их можно было только в самом начале пожара. Момент был упущен.

Отец Сергей всегда сам активно участвовал в тушении пожаров, работал и распоряжался другими. Тем яснее видел он, что церковь обречена, хотя горела еще только часть крыши. Он поспешно вошел в алтарь, в последний раз положил земной поклон перед престолом, приложился к нему. Потом снял покрывавший его большой шелковый платок и начал быстро складывать в него сосуды, дарохранильницу, маленькое Евангелие, в которое вложил антиминос; разоблачил престол и жертвенник и тоже свернул все в узел. Бегом отнес святыню домой, предупредил оставшихся там Юлию Гурьевну и Наташу, чтобы на всякий случай собирали вещи, взял топор и, прибежав снова в церковь, начал отдирать доски – разбирать по частям престол и жертвенник.

Не он один работал в храме. Все трое церковных две рей были открыты настежь, и в них торопливо сновали мужчины, женщины, подростки. Бегом выносили хоругви, подсвечники, облачения, вынутые из иконостаса и киотов иконы; несколько человек с усилием несли большое распятие; другие помогали отцу Сергию снимать Царские боковые врата, отрывали от иконостаса резные позолоченные украшения, выламывали половицы. Работали быстро, споро, стиснув зубы, едва сдерживая слезы. Если бы с такой быстротой, с такой энергией работать в другом месте, заливать огонь, растаскивать пылающие бревна!.. Пусть бы не удалось ничего вынести из церкви, или вызволить бы только самое необходимое, лишь бы отстоять стены! Но не выходит так. Огонь как будто не торопится, он точно уверен, что добыча от него не уйдет, но как быстро он распространяется! Церковь уже полна дыма, уже пробиваются в разных местах красные языки... А они, мужчины?.. Они выламывают доски из пола и выносят последнюю рухлядь из кладовой...

Отец Сергей работал вместе со всеми, пока ему не сказали: «Нужно выходить, опасно». Выходя, он еще раз оглянулся на опустошенный алтарь, так хорошо видимый в зияющие отверстия, где час тому назад закрытыми дверями и иконами, на ободранный иконостас, на провалы в полу... Около него стояли люди, торопили. Может быть, некоторые из них разделяли поверье, что священник не имеет права выйти из горящей церкви, что он должен сгореть с ней, если его не выведут насильно. Один он мог упустить момент, задержаться в церкви дольше, чем это допускала хотя бы относительная безопасность.

Площадь была полна народа. Большой колокол звонил недолго, на колокольне опасно, но в часовой били, сменяясь до тех пор, пока от жара стало невозможно стоять. Сколько раз вот так беспокойно и тревожно гудели эти колокола, предупреждали о грозящей опасности, приказывали: «Спасайте!» Сегодня они сами звали на помощь, кричали из последних сил, но никто не помог им, и они замолчали, покорились своей участи.

На крыше сторожки виднелась одинокая фигура крепкого молодого мужика с лопатой в руках. Он то сбрасывал влетавшие на крышу «галки» – горящие головни, то лопатой разравнивал снег, который ему кидали снизу. Снега было мало, да и тот быстро подтаивал от жара. Люди с трудом соскребали тонкий слой, сохранившийся за сторожкой с противоположной от церкви стороны, таскали лопатами чуть не от школы. Мальчишки лепили большие снежки и тоже кидали на крышу. У школы, у всех домов, выходивших на площадь, тоже хлопотал народ

– хозяева и добровольные помощники. Как всегда, во время сильного пожара, ветер разыгрывался. Хорошо еще, церковь стояла посреди большой площади, окруженная с двух сторон садами. И то на следующий день одна хозяйка обнаружила, что в шерсти стоявшей на дворе лошади выгорела порядочная плешина – на нее попала «галка». «Галка» должна была пролететь через всю площадь, над школой, через улицу с примыкавшими к домам огородами, мимо небольшого озера и тогда только попала на спину злополучного «лысанки».

А в начале прямой линии, конечной точкой которой оказалась спина Лусатого, в каком-нибудь десятке шагов от церковной ограды, стояла сторожка, и на ней, четко выделяясь на огненном фоне, чернела человеческая фигура. Время от времени человек хватал пригоршню снега, жадно глотал его, торопливо облеплял им плечи, спину, шапку и опять бросался скидывать новую головню. «Старообрядец, а смотри, как отстаивает, как свою, – говорили в народе. – Если бы не он, сторожка давно бы занялась».

Поспешно сложив в узлы наиболее ценное имущество, Юлия Гурьевна, сопровождаемая Наташей, решила пойти за ворота, посмотреть на пожар. Еще в сенях они услышали громкий треск и рев огня, крики работающих на пожаре, плач женщин. Лицо Юлии Гурьевны выразило страдание. «Нет, не могу», – сказала она и, возвратившись в комнату, крепко прикрыла дверь и подошла к окну. Звонили всполох и в Березовой, и в Дубовом. Могли бы и не звонить. И без звука набата, на одно только зарево, так же отчаянно мчались бы оттуда помощники.

Да что пользы в их помощи! Если сначала еще пытались что-то сделать около церкви, скоро к ней стало невозможно подступиться.

Колокольня пылала, как огромный факел, стройная и теперь, и грозно-прекрасная. Из распахнутых тяжелых, обитых железом дверей, из окон главного купола вырывалось пламя. «Матушка! Кормилица! Красавица ты наша!» – рыдали женщины.

«Б-у-у-м-м-м!»

Это сорвался большой колокол. Ломая перекрытия, раздувая пламя, с треском и гулом пролетел он вниз, ударился о землю, загудел в последний раз. За ним упал второй.

Далеко ли их было слышно? Случалось, что в буран их редкие, размеренные удары доносились с ветром до самого спуска с горы, верстах в трех от Духовницкого. Сколько людей спас в буран этот звон... В летний полдень далеко в полях люди слышали двенадцать ударов и садились отдыхать. Но лучше всего звучал он пасхальной ночью, когда небо темное-темное и торжественное, а свежий морозный воздух пахнет влажной землей и молодой травкой.

– Батюшка, не пора звонить? – спрашивал сторож. – В Дубовом ударили.

– Ударили? Ну, звони и ты.

Сторож шел на колокольню, раскачивал тяжелый язык, с силой ударял о край колокола; бил сильно, часто, как сейчас, но в том звоне не было тревоги, он звучал победной радостью. Начинали звонить и в Березовой. Звуки благовеста трех церквей красиво переплетались в чистом ночном воздухе. Если Пасха была поздняя и Чагра успевала залить луга, по воде звуки разносились чуть не до самой Волги, мягкие и могущественные.

Теликовка – в восьми верстах от Острой Луки. Тех, других колоколов в ней не слышно, слышно только один. Иная заботливая хозяйка выйдет на улицу посмотреть, что делается кругом, услышит далекий звон, перекрестится и скажет: «В Вострой звонят, сейчас и у нас начнут».

А то еще был тревожный звон, который ни с чем не спутаешь. Дон-дон-дон... дон-дон-дон... дон-дон-дон... По этому звону сбегались все, особенно женщины, бросая любое дело... Да что уж вспоминать!

А далеко ли разнеслись последние призывные звуки колоколов? Далеко ли был слышен их предсмертный стон? Едва ли. Он был заглушен шумом пожара.

Жара становилась все нестерпимей. Свободное пространство вокруг церкви все увеличилось, но несколькими попечителям, взявшим на себя наблюдение за порядком, все еще казалось мало. Они ходили по внутренней стороне народного кольца, напирали на него, просили:

– Потеснитесь, пожалуйста, по силе возможности! Еще, еще, как можно подальше! То и гляди, колокольня упадет, в какую сторону, неизвестно, долго ли до греха!

Колокольня упала на запад, через дорогу, к полосе садов. Обрушилась, подняв столб искр и пламени, разбросав далеко в стороны горящие «галки», засыпав площадь толстым слоем раскаленных углей. Снова зарыдали, запричитали и притихшие было женщины. Плакали и мужчины скупыми, суровыми слезами.

Затем рухнула крыша. Церковь превратилась в громадный, бесформенный костер, потом в такую же громадную кучу тлеющего угля. Народ постепенно расходился, наконец остались только дежурные, приставленные следить за тем, чтобы пламя опять не раздуло.

Отец Сергей, который несколько раз забежал домой успокоить женщин, зашел опять и немного погодя снова вышел, захватив с собой Наташу. Была уже глубокая ночь, а он все стоял и смотрел на мерцающие угли. Тяжелые, как ртуть, крупные слезы катились у него из глаз и капали на землю.

Погоревали, погоревали и опять взялись за дело. Порядок известный: погоришь, так хоть в ниточку вытягивайся, а опять стройся. Хоть конуру какую-нибудь, а все нужно. Так было и с церковью. Выборные прошли селом по сбору, набрали амбар хлеба на предстоящие расходы. Давали не только православные, а и некоторые старообрядцы, увидев проходившую подводу, окликали выборного и выносили пудовку зерна. Из соседних сел тоже «дохнули», чтобы приехали собирать к ним, и тоже помогли неплохо.

Конечно, о постройке такой церкви, как прежняя, нельзя было и думать: средств мало, и настоящих строителей не найдешь. Даже леса не достанешь. Раньше ездили «в верха», пригоняли по Волге плоты на постройку домов, но на это нужны наличные деньги, а с хлебом, тем более зимой, куда сунешься?

Решили послать «стариков» в ближайшие степные села, где еще много было больших домов. Опытные «старики» облюбовали и приторговали почти новый дом шесть сажень в длину и три в ширину. Уцелевший после пожара церковный фундамент был шесть на шесть сажень, значит, придется поставить на нем дом поперек, вырезать середину восточной стены, пристроить алтарь из обыкновенного амбара, а к задней стене, у выходящего к сторожке угла добавить небольшие сени, и тем ограничиться.

Как раз в это время услышали, что в Пугачев приехал посвященный епископ Николай (Амасийский)⁵⁰. Отец Сергей с кем-то из попечителей съездил за благословением на закладку церкви. По первопутку несколько десятков подвод выехали из Острой Луки за разобранным уже домом и к вечеру привезли его. Свои же местные плотники, а потом кровельщики и печники взялись за работу. Весной надеялись быть опять со своей церковью. Несколько времени отец Сергей составлял черновик большого письма, потом усадил Костю переписывать его в двух экземплярах. Оно предназначалось для более богатых сел – Дубового и Теликовки, их просили уступить погорельцам какие-нибудь, хоть маленькие, колокола.

Костя засел за переписку с воодушевлением. Ведь это действительно нужное дело. Конечно, во время пожара и он, и Миша, по мере сил, помогали, да ведь угоди на взрослых! Нет-нет кто-нибудь и крикнет: «А ну, уходите! Чего вы здесь путаетесь! Не дай Бог, пристукнет чем-нибудь!»

⁵⁰ Николай (Амасийский, 1859–1945). До 1922 г. – сельский священник. В 1922 г. обновленцами (см. сноску 52) был хиротонисан во епископа Пугачевского. В конце 1923 г. принес покаяние, которое принял Патриарх Тихон, и был назначен епископом Николаевским (Пугачевским). После ряда перемещений в 1933 г. – епископ, с 1934 г. – архиепископ Ростовский-на-Дону. С 1935 по 1941 г. – в ссылке. В 1942 г. встал во главе учрежденного немцами епархиального управления. В 1943 г. эвакуирован немцами в Румынию. Перешел в юрисдикцию Румынской церкви. Возведен в сан митрополита.

Теперь никто ничего не скажет. Сам папа дал работу. Костя сидел за папиным столом и тщательно выводил букву за буквой.

Письмо начиналось словами: «На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом...» И правда, отец Сергей плакал, когда писал, да и у Кости буквы вдруг исчезали, когда он вспоминал, что они потеряли.

В ответ на письмо получили два колокола – в семь пудов, надтреснутый, и, кажется, в четыре пуда. Когда расчищали место для церкви, нашли зарывшийся в золе самый маленький и самый звонкий колокольчик. («Теперь мы его будем звать *колколо*⁵¹», – печально шутил Ларивон.) Он упал на подушку из золы и углей, немного в стороне от главного пожарища, не разбился и не расплавился, как его старшие собратья, сохранил прежний серебристый звук. Еще через год удалось приобрести колокол в двенадцать пудов. И этому уже были рады.

Всю зиму молились в сторожке. Служили вечерню, утреню, часы и обедницу. Причащать детей возили в Березовую Луку. Взрослые редко причащались в мясоед, обыкновенно ждали Великого поста. Постом во всех окрестных селах служили три недели: первую, четвертую и Страстную. В 1923 году погорельцам уступили Березово-Луковую церковь на вторую, третью и пятую недели.

Это было необыкновенное говенье. Рано утром, почти еще ночью, в домах зажигались огни. Хлопали калитки, соседи стучали друг другу в окна, собирали попутчиков. Одни за другими растворялись ворота, скрипя полозьями, выезжали со дворов дровни. До Березовой недалеко, да по дороге попадаются волки, поэтому ехали обозами, по несколько подвод, бросив в передок дровней топор на случай нежеланной встречи. Дорогой соединялись с обозами из других частей села, ехали тихо, благоговейно, перекидываясь только самыми необходимыми словами. Когда поднимались на гору к селу, а то и когда уж подъезжали к церкви, там начинался звон.

Служил свой батюшка, отец Сергей, на клиросе стоял псаломщик Николай Потапович со своими островскими чтецами и певцами, а все чего-то не хватало. И колокол в Березовой не такой, дребезжит, и в церкви никак не найдешь себе удобного места. Нет нигде больше такой Церкви, как была в Острой! Недаром некоторые со вздохом и скорбной гордостью рассказывали: «Когда в Самаре собор строили, с нашей церкви план-то снимали!»

Справедливость этого утверждения была более чем сомнительна, но вот что было несомненно: иконы первого, основного яруса в иконостасе являлись копиями с икон в Духовской церкви Троице-Сергиевой Лавры, и притом неплохими копиями. Сам умея рисовать, отец Сергей мог потребовать от художников надлежащего выполнения.

Недаром же новый иконостас в 1914 году стоил пять тысяч рублей – очень крупная сумма для сельской церкви. Вставал вопрос о том, как быть на Страстной неделе на Пасху. Даже в обычное воскресенье сторожка могла вместить только незначительную часть желающих помолиться, не говоря уже о Рождестве и Крещении. Церковь была еще не достроена, и все же решили с Великого четверга начать служить в ней, опять, как в сторожке, все, за исключением литургии.

В церкви, конечно, тоже было тесно, и, благодаря низким потолкам, не хватало воздуха. Приходилось заново приучаться, как держать себя. Бывало, только в исключительных случаях кто-нибудь позволял себе выйти из церкви. Только Великим постом во время причастия, когда причащалась чуть ли не вся церковь, некоторые выходили отдохнуть на крылечко, да летним утром одинокие хозяйки, приложившись во время заутрени к Евангелию, торопились отогнать коров в стадо.

Теперь сплошь да рядом выходили, потому что кружилась голова. Их место тотчас занимали другие, не попавшие в церковь и успевшие продрогнуть, стоя снаружи около окон. Посте-

⁵¹ Так звали самый большой колокол. – *Авт.*

пенно начинали дрогнуть и те, что вышли, и опять теснились на крыльце, стараясь проникнуть внутрь. Отец Сергей скрепя сердце мирился с этим, только строго требовал, чтобы никакого хождения не было в главные моменты богослужения, т. е. во время Евангелия, «Херувимской» и Евхаристийного канона (от пения «Милость мира» до «Достойно есть»). «Если чувствуете, что не можете простоять, – говорил он, – лучше заранее выйдите, а в это время не толкайтесь».

Даже просто стоять приходилось учить. Хотя амвон был всего в одну ступеньку, все-таки с него было виднее, и отец Сергей советовал молящимся вставать не друг за другом, а в шахматном порядке, каждый следующий ряд в промежутках между стоящими впереди. Таким образом, вместо каждых трех рядов вставали четыре, а всего в церковь ухитрялись набиваться до шестисот человек. И в этом году, и в следующем много внимания приходилось уделять упорядочению коленопреклонений, которые в такой тесноте казались бы нам теперь просто немислимыми. Отец Сергей говорил, что там, где человек стоит на ногах, он может стоять и на коленях, только нужно вставать точно на свое место, главное, не пятась, чтобы не прижать к стене задние ряды. Ногам же место как-нибудь найдется.

В конце концов он добился успеха, люди научились вставать на колени. Стояли даже в весеннюю и осеннюю распутицу, когда, как ни вытирай ноги, на них остается грязь, пачкающая соседей. Только девушки, трепещущие за судьбу своих нарядных платьев, додумались надевать под них темные старенькие юбки и ловко загораживались ими от особо опасной пары сапог.

1920–1926

Глава 31 Смутное время

Церковь предполагалось закончить и освятить к Троице, но еще с начала зимы по уезду пошли тревожные слухи: появилась какая-то «Живая Церковь», какое-то обновленчество, «Союз Возрождения», «Древле-Апостольская Церковь»⁵². Не скоро разобрались, что скромное слово «обновленчество» включает в себя, как разновидности, все эти группировки с громкими названиями. Подробности доходили постепенно: то одно, то другое; было нелегко понять, в чем суть разделения, но основное было понятно: разделение, раскол. На чьей бы стороне ни была истина, раскол принесет Церкви много зла. И какие формы примет новое течение? Можно ли будет, не сходясь с обновленцами в отдельных вопросах, оставаться с ними в общении, как, например, с единоверцами, или непременно придется делать выбор: полное единение или полный разрыв? И как порывать? С кем оставаться? Говорили, что в Москве все епископы, весь Синод – обновленцы, что и недавно приехавший в Пугачев епископ Николай – такой же. А у большинства сердце к ним не лежало. Как же быть?

Некоторые с легким сердцем, даже с радостью бросились навстречу новому течению: иные – по убеждению, другие в надежде выдвинуться, большинство же – напряженно, настороженно, ловя и складывая в памяти все новости. Но отец Сергей не мог ждать. Церковь строилась, и нужно было подумать, как ее освящать. Можно ли обращаться к Амасийскому? А если нельзя, то что делать? Ведь больше епископов нет.

При закладке церкви отец Сергей обратился за благословением к епископу Николаю со спокойной совестью; ему даже в голову не могло прийти задуматься над этим. Сотни лет верующие получали в подобных случаях архиерейское благословение, получил его и он.

Сейчас было другое дело. Сомнения возникали одно за другим. Надеялись было, что удастся выяснить все на соборе, намечавшемся на начало 1923 года. Отец Сергей и его неизменный друг и соратник Сергей Евсеевич были избраны представителями округа на этом соборе. Но поездка не состоялась.

А слухи становились все напряженнее и тревожнее. Говорили, что уже до собора появились женатые епископы и второженцы священники, что в некоторых местах уже празднуют праздники по новому стилю, что... да много еще было разных слухов, и в конце концов все они оказались достоверными.

По благочинническим округам появилась новая власть – уполномоченные ВЦУ (Высшее церковное управление)⁵³. Они держались маленькими князьками, не заменяя благочинных, ставили себя выше их, а иногда отдавали распоряжения, на которые не решился бы и епископ. Можно ли и обязательно ли их выполнять? Да и что такое самое ВЦУ? Скоро уже все инте-

⁵² Обновленчество – движение, возникшее в Русской Православной Церкви в 1921–1922 гг. под эгидой ОГПУ. Первоначально существовало в виде отдельных групп – «Живая Церковь», «Союз церковного возрождения», «Союз общин древле-апостольской церкви». В начале 1920-х гг. в результате активной поддержки властей более половины российского епископата и приходов стали обновленческими. В 1923 г. на Поместном соборе обновленческих общин были рассмотрены программы радикального обновления РПЦ, предполагающие введение женатого епископата, модернизацию богослужения, отмену патриаршества и др. Был «низложен» Патриарх Тихон и провозглашена полная поддержка советской власти. Церковный народ обновленчества не принял. Патриарх Тихон подверг обновленцев анафеме, после чего многие иерархи и священники через покаяние вернулись в патриаршую Церковь. В 1943 г. государство взяло курс на ликвидацию обновленческих структур. Обновленчество прекратило свое существование в 1946 г., со смертью обновленческого лжемитрополита Александра Введенского.

⁵³ Высший орган управления в обновленческом расколе, созданный в 1922 г. под предлогом отсутствия фактической церковной власти в связи с арестом Патриарха Тихона.

ресующиеся знали, каким нечестным путем они захватили власть, но все-таки они ее имели, как же ей не подчиняться? Какие страшные слова: «НЕПОДЧИНЕНИЕ церковной власти». Но не менее страшно подчиняться такой власти, само чинной, разрушающей древние церковные постановления.

Даже если бы не необходимость освящать новую церковь, не в характере отца Сергия было занимать в такое время выжидательную позицию, ждать, когда кто-то преподнесет ему готовое решение. Он сам старался разобраться во всем.

В эту зиму он особенно сошелся с екатериновским батюшкой, отцом Иоанном Тарасовым, такой же беспокойной душой, как и сам. У отца Иоанна оказались нужные знакомства совсем рядом, в Хвалынске. Как ни странно, прожив почти семнадцать лет в соседстве с Хвалынском, отец Сергей совсем не имел там знакомых, даже таких, к которым просто можно было бы захватить переночевать. Для него Хвалынск существовал только как пароходная пристань и место, где два-три раза в год можно сделать необходимые покупки да зайти с женой или с кем-нибудь из детей к врачу. Ночевал он в таких случаях на постоялом дворе.

И вот теперь, когда связь с Самарой значительно ослабла и когда появилась необходимость постоянно иметь точные сведения о происходящем, оказалось, в Хвалынске имеются подходящие люди. Отец Иоанн познакомил своего нового друга с настоятелем Хвалынского монастыря архимандритом Анатолием, с одним из видных членов церковного совета монастыря и с настоятелем Хвалынского собора протоиереем Кармановым. У двоих последних была обширная переписка с Москвой, с Ташкентом, не говоря уже о других, более близких городах. При этом в Москве у них были корреспонденты, вращающиеся в высших церковных кругах, они сообщали иногда такие новости, которые и в Москве-то знали немногие.

Через этих людей отцу Сергию удавалось доставать материалы, которыми он удивил впоследствии некоторых своих самарских знакомых. Через его руки прошли копии (иногда даже заверенные копии) всех посланий Патриарха Тихона⁵⁴ и митрополита Петра⁵⁵, написанных в эту беспокойную зиму. И не просто прошли, он их зачитывал с амвона.

Ездил отец Сергей и в другую сторону, в Пугачев, к старикам протоиереям Ахматову и Парадоксову. Отец Василий Парадоксов пользовался в уезде большим авторитетом. У народа этот авторитет он завоевал еще в 1906 году, когда при помощи своих почитателей-петербуржцев широко развернул кормление голодающих. А эти почитатели дорожили им за его либерализм. Сельское и местное городское духовенство считалось с ним, как с бессменным, в течение нескольких десятилетий, настоятелем Старого собора, перед которым стушевывались сравнительно часто менявшиеся настоятели Нового собора, кафедрального.

Старый либерал, разумеется, склонялся к «Живой Церкви». Отец Сергей не соглашался с ним, однако по старому знакомству, начавшемуся еще на предвыборных совещаниях 1908–1912 годов, получал и от него важный материал: программы «Живой Церкви» и других обновленческих группировок, постановления собора двадцать третьего года – то, что было почти недоступно. Парадоксов имел в Москве не менее солидных корреспондентов, чем хвалынские знакомые отца Сергия, только из другого лагеря. Поэтому отец Сергей, а через него и другие имели самые разносторонние сведения о совершающихся событиях.

⁵⁴ Тихон (Белавин, 1865–1925), с 1917 г. Патриарх Московский и всея Руси, первый после двухсотлетнего Синодального периода. После революции выступал с резкой критикой советской власти. Осенью 1922 г. привлечен к суду и помещен под домашний арест в связи с кампанией по изъятию церковных ценностей. Летом 1923 г. подписал заявление о лояльности советской власти, был выпущен и тут же обратился к Церкви с воззванием, осуждающим обновленческий раскол. Благодаря этому большая часть уклонившихся в обновленчество духовенства и мирян вернулась в патриаршую Церковь. Последние годы жизни находился под постоянным давлением ГПУ. Скончался 7 апреля 1925 г. В 1989 г. прославлен в лике новомучеников и исповедников Российских.

⁵⁵ Петр (Полянский, 1862–1937), митрополит Крутицкий (1924), ближайший помощник Патриарха Тихона, выступал против по какому-то делу в Пугачеве, он по собственной инициативе зашел к отцу Александру Ахматову, и тот, активный возроденец, чуть было не убедил гостя в своей правоте.

Не оставался в стороне и верный друг отца Сергия – Сергей Евсеевич, хотя первая его попытка самостоятельно разобраться в деле и оказалась неудачной. Оказавшись компромисса с обновленцами. Патриарший Местоблюститель (апрель 1925 г., после смерти Патриарха Тихона). Арестован в декабре 1925 г., оставшиеся годы провел в тюрьмах и ссылках. Расстрелян. В 1997 г. прославлен в лике новомучеников и исповедников Российских.

– А знаете, батюшка, похоже, что они и правду говорят, – взволнованно и обеспокоенно заявил Сергей Евсеевич, возвратившись из Пугачева. Впрочем, отцу Сергию не стоило большого труда разбить положения Ахматова, и это пошло даже на пользу: Сергей Евсеевич встал на сторону своего духовного отца не просто по доверию к нему, а потому что сам взвесил доводы обеих сторон и выбрал лучшее.

– А как ваше мнение, мамаша? – спросил как-то отец Сергей Юлию Гурьевну, верный своему правилу – никого не принуждать, а добиться добровольного согласия с собой. Кроткая маленькая старушка ответила только: «Вы лучше разбираетесь, я – как вы».

Понятно, что его симпатии были не на стороне пугачевских знакомых, а на стороне хвалынских. Монастырское духовенство, поддерживаемое и побуждаемое своим церковным советом, первое заменило недавно вошедшую в употребление безличную формулу поминовения: «Святейшие вселенские патриархи православные» – более определенной и точной – поминовением Патриарха Тихона. Отец Сергей, отец Иоанн, отец Григорий и некоторые другие последовали их примеру.

И все-таки этого было мало. Отцу Сергию необходима была не только информация, но и советы людей, которым он мог бы довериться. Его новые знакомые не удовлетворяли его в этом отношении. Отец Анатолий был «из простецов» и в значительной мере шел на поводу у председателя церковного совета, а этот, человек, несомненно, ревностный и образованный, был полным профаном в церковных правилах. Он мог только воскликнуть с глубоким волнением: «Да ведь должны же быть на этот счет какие-то законы?!»

Карманов обладал нужными знаниями, но... во время первого нажима он оказался недостаточно твердым и, как тогда говорили, «подписался к „Живой Церкви“». Он быстро исправил свою ошибку, но как советчик казался ненадежным.

Тогда отец Сергей, пользуясь тем, что Соня уже девятый месяц училась в Самаре, решил под этим предлогом после Пасхи съездить туда, еще точнее разузнать о положении дел. Оттуда он собирался пробраться в Москву и постараться найти своего епархиального архиерея, митрополита Тихона Уральского⁵⁶ или другого православного епископа, который согласился бы принять в свое ведение осиротевшие приходы и, прежде всего, дать благословение на освящение храма.

В Самаре было с кем поговорить, там столько было видных священников. «Самарский Златоуст» – отец Ксенофонт Александрович Архангельский, отец Александр Бенин, с которым тем удобнее говорить, что он был близким товарищем отца Сергия по семинарии; другой семинарский товарищ и дальний родственник отец Петр Агафангелович Смирнов; бывшие сослуживцы из 2-го благочиннического округа отец Иоанн Колесников и отец Сергей Сердобов – теперь, кстати, оба они служили вместе, в кладбищенской церкви, бывший противосектантский епархиальный миссионер, Михаил Маркович Алексеев, когда-то тоже служивший во 2-м округе, в том же селе Левенка, где впоследствии служил Колесников.

Пряхина уже не было в живых, зато много было и других, может быть, и более видных, чем перечисленные, к которым при нужде тоже можно зайти, но эти-то знакомые, с ними легче говорить. Кроме того, в Самаре еще осталось несколько человек бывших семинарских преподавателей.

⁵⁶ Тихон (Оболенский, 1856–1926) – епископ Николаевский, викарий Самарской епархии (1901), епископ Уральский и Николаевский (с 1908 г.). С 1922 г. – находился в Москве без права выезда. С 1924 г. – митрополит Уральский. Скончался в Москве.

давателей, к которым у священников, особенно сельских, осталось еще уважение учеников к учителям. Конечно, специальности некоторых из них не имеют никакого отношения к волнующим всех вопросам, но у них есть знакомые и в Самаре, и в Москве, они должны быть в курсе дела. Притом же преподаватели семинарии – все академики, а академики не были узкими специалистами, какой бы предмет им ни пришлось преподавать впоследствии, они изучали все, в том числе и историю Церкви, и церковное право, и другие дисциплины, знание которых могло помочь при разрешении большого вопроса. Самара в эту зиму тоже волновалась. То, что творилось где-то, беспокоило всех, но никто хорошо ничего не знал. А еще Самара была в гораздо лучшем положении, чем соседние города: с осени 1922 года в ней было сразу два архиерея: архиепископ Анатолий и его викарий, епископ Павел Бузулукский. Но они тоже, как и священники, молчали. Тяжелый был момент, трудно сказать что-нибудь, особенно когда знаешь, что каждое слово, может быть еще и не совсем обдуманное, будет принято народом как руководство к действию. Тяжело определить и подчеркнуть словом то, что в глубине их душ, может быть, уже давно получило свое печальное название: раскол... Со времени Патриарха Никона не было такого... Да и на этом времени мало кто останавливался; ища примеров, переносились не за двести пятьдесят, а за полторы тысячи лет назад, к эпохе ересей и вселенских соборов, там искали ответа на возникающие сейчас догматические и тактические вопросы. Ответ получался слишком серьезный... Нельзя ли помолчать еще несколько времени, может быть, за это время что-нибудь переменится, может быть, обстановка станет определенной?

А верующие волновались, им нужно было немедленное решение.

Однажды вечером, в какой-то небольшой праздничек, Соня, стоя в соборе, обратила внимание на небольшую худощавую женщину. Она взволнованно ходила по церкви, останавливалась на несколько секунд около кого-нибудь из молящихся, шептала что-то и шла дальше. Та, к которой она обращалась (в церкви стояли почти исключительно женщины), поворачивалась и уходила.

Заметила ли женщина обращенный на нее внимательный взгляд молоденькой девушки или еще почему-нибудь, только она, проходя мимо Сони, приостановилась и шепнула:

– В монастыре, в трапезной, собирается собрание, наверное, будут говорить о «Живой Церкви», – и прошла дальше. Соня, как и другие, постояла еще немного, потом перекрестилась и вышла.

В трапезной уже собралось порядочно народа. Монастырское духовенство, несколько посторонних священников, в том числе и отец Петр Смирнов из Воскресенской церкви, епископ Павел Бузулукский. Они сидели у противоположной входу широкой стены, довольно близко, но не рядом с клиросом. Их окружала куча мирян, по-видимому, попечители или просто наиболее активные из монастырских прихожан (в это время монастырские церкви уже считались приходскими). Входившие посторонние застенчиво, но крепко усаживались на свободные скамейки у других стен или останавливались, прислонившись к стене. И те и другие молчали, разве только изредка шепотом перебрасывались парой слов с соседями.

Отец Петр несколько раз обращался к сошедшимся. Он говорил, что здесь собрались поговорить о хозяйственных делах, которые посторонним неинтересны, и просил разойтись. Никто не шелохнулся, только некоторые шепнули, чуть ли не выражая общую мысль: «Хотят одни поговорить, без народа».

Чего они все ждали? Надеялись, что кто-то из духовенства сейчас прочтает и разъяснит программу «Живой Церкви», а может быть, и даст наметку, как держаться? Или ожидали спора, в котором рождается истина? Или думали, что начнется голосование за или против «Живой Церкви»? Не зная сути дела, готовились поднимать руку так, как поднимет тот или другой из уважаемых священников. Кто знает, может быть, каждый голос будет иметь значение; может быть, одна-единственная поднятая рука, ее рука, вот этой, никому не известной женщины, и будет иметь решающее значение. Никто не расходился.

Соня стояла и смотрела на отца Петра. Ей захотелось подойти к нему и задать вопрос: где же правда? Может быть, увидев, с каким волнением вопрос задан, он ответит на него? А вернее, ответит ничего не значащими словами, как ответил ей недавно архиепископ Анатолий, когда она подкараулила его после всенощной в соборном садике и задала все тот же животрепещущий вопрос. Он тогда сказал что-то вроде: «Присматривайтесь, наблюдайте, будьте осторожны в решениях». Конечно, он мог просто не найтись, каким языком говорить с такой девочкой, что можно сказать о таком серьезном вопросе в короткие минуты, нужные для того, чтобы пройти садик; могла быть и простая осторожность. Соня не осуждала его, но ей от этого не легче.

«А что может ответить в такой обстановке отец Петр? И как я к нему подойду на глазах у всех?» – думала Соня, борясь с застенчивостью.

Было уже, наверное, больше десяти часов, когда отец Петр, перешепнувшись с остальными, открыл собрание. Говорили действительно о каких-то хозяйственных вопросах, о ремонте, о поступивших и израсходованных суммах. Говорили вяло, сухо, неинтересно. Народ послушал еще некоторое время и постепенно начал расходиться.

Какое счастье иметь такого отца, как отец Сергей! Он приехал, более чем когда-либо поглощенный своими заботами. Об одном этом он только и говорил везде, где бывал, у брата, у сестер, у брата покойницы жены, заставляя входить в круг своих интересов даже тех, кто никогда не думал об этих вопросах. Сняв свой старенький, ситцевый дорожный подрясник и одевшись в тщательно сохраняемую серую шерстяную рясу и шерстяной же лиловый подрясник, когда-то принадлежавший его тестю, отцу Виктору, он отправился собирать нужные ему данные. Надо добавить, что он явился не с пустыми руками; некоторые из полученных им в Хвалынске сведений в Самаре имел только П. А. Преображенский.

– Матушка Бечина со мной едва разговаривает, – рассказывал он за обедом. – Боится, что я подтолкну ее мужа на какой-нибудь рискованный шаг. Если бы она могла, она совсем не впустила бы меня. Как только они ладят? Тяжело не иметь жены, но идейному священнику иметь такую, которая даже в наше время думает только о внешнем благосостоянии семьи да о нарядах... это еще тяжелее. Не желал бы я быть на месте Александра Федоровича!

Зато Валентина Ивановна Колесникова была настоящей подругой своего мужа. Уже немолодая, худощавая, тихая, она всегда была в курсе всех интересующих отца Иоанна дел, и всегда думала так же, как он. Кажется, если бы он сказал, что для пользы Церкви должен броситься с Сызранского моста, она, конечно, горько поплакала бы ночью, а утром пошла бы и проводила его до этого моста, ободряя и взглядом, и словами.

Иван Карпович Колесников был академик, служил в Ленинграде (тогда – в Петрограде). В тяжелом 1920 году, когда петроградцы во множестве тянулись в привольное Поволжье, он с семьей тоже выехал в родные места и был назначен в село Левенка, верстах в двадцати пяти – тридцати от Острой Луки. Там он познакомился и подружился с отцом Сергием, хотя встречались они, кажется, всего один раз.

Это было тогда, когда отец Сергей собирал по округу подписи на коллективном письме митрополиту Тихону, по поводу благочинного Мячина.

Этот случай, хотя и не относящийся к настоящей теме, заслуживает того, чтобы на нем остановиться.

Отец Никифор Мячин был первым и единственным выборным благочинным округа. Попал он в благочинные совершенно случайно. Съезд был очень бурный. Псаломщики, желая во что бы то ни стало воспользоваться недавно данным им правом, настаивали на увольнении прежнего благочинного – отца Петра Перекопновского. Священники, хотя тоже не всегда были довольны Перекопновским, считали его, как опытного администратора, наиболее подходящим кандидатом и на будущее; во всяком случае, считали несправедливым такое оскорбительное отстранение его от должности. Поэтому они договорились не соглашаться, если им предло-

жат баллотироваться на должность благочинного. Действительно, предлагали всем по очереди, и все отказались за исключением последнего – Мячина. «Ради пользы дела соглашаюсь», – заявил он.

Он был избран большинством всего нескольких голосов, причем все священники голо-совали против и подписали особое мнение. В епархии обратили внимание на странный протокол, хотели было назначить перевыборы, тем более что для избрания на какую-либо должность требовалось не простое большинство голосов, а не менее двух третей; потом, видимо, стало не до того, чтобы заострять внимание на этом факте, и выборы утвердили.

Мячин во время выборов служил священником на диаконской вакансии в селе Никольском. Потом диаконскую вакансию заменили вторым священническим штатом, но на место настоятеля он так и не попал. Только во все время его начальствования в Никольском шла неразбериха: не поймешь, кто кому должен подчиниться: благочинный настоятелю или настоятель благочинному.

Благочинствовал Мячин так, что постепенно и многие из его прежних, вынужденных сторонников-псаломщиков отшатнулись от него. Между тем прошел трехлетний срок, на который он избирался, а новых выборов не назначили. Тогда-то отец Сергей и поехал с письмом, в котором просили о замене благочинного, или назначении перевыборов.

Письмо подписали все или почти все священники и часть псаломщиков. Пока оно ходило по инстанциям, подошел 1921 год, навсегда оставивший ужасную память в истории Среднего Поволжья. Было не до Мячина. А в 1922 году на месте благочинного каким-то образом оказался никому до того не известный Порфирий Владимирович Апексимов, священник такого же неизвестного маленького сельца Орловка, или Орловочка (оно же Шмала), на самой окраине второго округа, за Левенкой.

Во время этой поездки отец Сергей ночевал у Колесникова. Они проговорили почти всю ночь, и этого было достаточно, чтобы встретиться теперь как старые друзья. Много порассказал отец Иоанн такого, что имело большое значение для отца Сергея при решении крупного, жизненного вопроса – с кем быть?

Там же, среди кладбищенского духовенства, отец Сергей встретился и с противоположным взглядом. Сосед и со служивец Колесникова, тезка С-ва, отец Сергей Сердобов, оказался настойчивым и упорным сторонником обновленчества; С-в слушал его, следуя старой, часто им повторяемой формуле: «Audiatur et altera pars» («Выслушай противную сторону»). Соблюдая этот принцип, он побывал и у другого обновленца – старика Алексеева, но доводы и того и другого показались ему слабыми.

– Михаил Маркович больше на угрозах выезжает, – рассказывал он. – Смотрите, мол, сомнем вас и задушим. Разбойничьему собору⁵⁷, мол, и то подчинялись, пока другой не отменил его постановлений. Нашел к чему себя приравнять – к разбойничьему собору. Значит, уже больше не на что сослаться.

– А Сердобов, наоборот, вздумал меня архиерейством привлечь. – На лице отца Сергея появилась чуть-чуть брезгливая мина, обыкновенно появлявшаяся, когда речь шла о том, чтобы ради материальных благ поступиться своими убеждениями. – Говорит, что обновленцы за меня ухватятся, тем более что я вдовец, значит, и по старым правилам нет препятствий к моему посвящению. «Что же, – спрашиваю, – боитесь свои взгляды в жизнь проводить?» «Да народ, – говорит, – возмущается, не принимает женатых епископов». «Ну, я, – отвечаю, – вам вместо

⁵⁷ Разбойничий собор, или Эфесский разбой, собран в 449 г. монофизитом Диоскором, Патриархом Александрийским, при императоре Феодосии Младшем. Имея в своем распоряжении толпу вооруженных воинов и 1000 преданных ему иноков, Диоскор объявил еретиками и произнес низложение Патриархов Флавиана Константинопольского, Домна Антиохийского и архиепископа Феодорита Кирского, отлучил папу Льва Великого; угрозами заставил епископов согласиться с его решениями. Патриарх Флавиан был так избит его буйными сторонниками, что через восемь дней скончался (Бахметьева А.Н. Рассказы из истории Христианской Церкви. Т. I. Гл. XIV; Гассе Ф.Р. Церковная история. Казань, 1869). – *Авт.*

ширмы не гожусь, поищите себе другого. Да и искать нечего, хватит вам Алексея Орлова». – Эх, жалко Орлова! – уже другим тоном добавил он.

В это время в Самаре уже не было ни архиепископа Анатолия, ни епископа Павла. Вместо них был посвящен, без принятия монашества, священник Алексей Степанович Орлов, член училищного совета епархиального училища. Его многие знали и жалели. Человек он был честный, мягкий, как оказалось, слишком мягкий, до неустойчивости. Он колебался, объявлял себя то обновленцем, то староцерковником, то опять обновленцем. Почти так же держал себя и протодиакон Руновский из кафедрального собора, но отношение к ним было разное. Орлова жалели, как доброго, но слабого человека, попавшего в такую сложную обстановку, где нужна большая твердость характера, а Руновского осуждали, как карьериста, мечущегося, чтобы не упустить, где лучше.

Больше всех помог отцу Сергию преподаватель церковной истории Павел Александрович Преображенский. Человек большого ума, большой эрудиции и глубоко религиозный, он, как и предполагал отец Сергей, вел переписку с Москвой и знал больше фактов, чем другие. О том, о чем, он, сидя в своем сплошь заставленном книгами кабинете, рассказывал бывшему ученику, было много известного отцу Сергию из других источников, много заключений, к которым он сам пришел, один или с помощью друзей, но много и нового. А главное, все это было связано в стройную, цельную систему и заканчивалось ясным выводом, вытекавшим из всего предшествовавшего.

Он начал с того, что подробно разобрал с гостем программу «Живой Церкви», о которой много говорили, но которую почти никто не знал.

Между другими пунктами Павел Александрович обратил внимание на выражение: «Пересмотреть веро- и нравоучение». «Кто имеет право пересматривать вероучение? – комментировал он. – Даже Вселенскому собору не дано такое право. Апостол Павел говорит: „Если я или ангел с небеси благовестит паче, неже благовестихом, анафема да будет“. Правда, на соборе двадцать третьего года и не решились заговорить о пересмотре каких-либо догматов, но программу-то „Живой Церкви“ приняли в целом, значит, с этим предложением о пересмотре. Или еще: „О творении мира Богом при участии сил природы“. Такая формулировка неприемлема, она как бы предполагает несколько творцов; мы можем признать творение не при участии, а только при посредстве сил природы.

А вот нравоучения-то на соборе коснулись и изменили его. А оно является такой же неотъемлемой частью Православия, как и вероучение. Если бы кто-нибудь начал учить: „Убивай, прелюбодействуй, плати злом за зло“, – это было бы уже не христианское учение, как и в том случае, когда отвергают Божество Иисуса Христа. Обновленцы ввели женатый епископат и второй брак для священников. Между тем вопрос об этом разбирался на соборах, и не на одном». (Павел Александрович привел ряд церковных правил, говорящих о том, что священник должен быть женат только один раз, а епископ совсем не должен иметь жены или же должен быть вдовцом после первого брака. Попутно разбили неправильные толкования обновленцев.)

«Отцы соборов подошли к этому вопросу очень гуманно. Они не согласились с предложением Западной Церкви о безбрачии для всего духовенства, нашли это слишком трудным, но поставили ограничение – один брак, потому что „...если священник не сохранит верность умершей, как можно надеяться, что он сохранит верность Церкви?“. А для сравнительно небольшого количества епископов установили и более трудный подвиг – безбрачие. Они должны всецело отдаться заботам о Церкви и пастве, не отвлекаясь заботами о семье».

В кабинет вошла сестра хозяина, Мария Александровна, и пригласила к чаю. Павел Александрович скороговоркой закончил, что, конечно, тяжело священникам, овдовевшим очень молодыми или с маленькими детьми, и нельзя строить законы, приспособившись к несчастью некоторых отдельных лиц. Предположим, разрешили бы второй брак! И тогда возможны случаи, что у кого-то рано умрет и вторая жена, а детей-то от двух браков будет еще больше. Что

же, разрешать третий? Ведь и среди мирян есть такие, которые еще молодыми пережили уже трех жен; не разрешается же ради них четвертый брак.

Он поднялся и пригласил перейти в столовую. Подождав, пока гость обменялся несколькими фразами с хозяйкой, Павел Александрович продолжал: «Если такие обездоленные священники хотели законным путем добиться смягчения существующих правил, они должны были явиться на собор, как просители, и ожидать решения своей участи, особенно те, которые женились еще до собора. Эти-то уже должны бы оказаться на соборе в качестве подсудимых. А на деле они явились не только полноправными членами, а даже руководителями.

Например, Александр Введенский⁵⁸, Петр Блинов⁵⁹, именующий себя митрополитом всея Сибири. Петр Блинов даже председательствовал на заседании, обсуждавшем вопрос о женатом епископате. Разве это допустимо?

Поднимался на соборе двадцать третьего года и ряд других вопросов: о богослужении на русском языке, праздновании праздников по новому стилю «вместе со всей Европой». Об этом можно было бы еще говорить, если бы не Пасха. Вычисление Пасхи по существующей пасхалии применительно к новому стилю невозможно. Образец – недавно выпущенный обновленцами настольный календарь, где указаны даты празднования Пасхи на несколько ближайших лет. Редакторы журнала и не заметили, что одно из указанных ими чисел приходится в среду. В других случаях Пасха приходится ранее весеннего равноденствия, что запрещено седьмым апостольским правилом и первым правилом Антиохийского собора. Так что уж лучше праздновать ее вместе со всем православным Востоком и со своими старообрядцами, которые хоть территориально-то ближе нам, чем немцы и французы.

– Кроме участия Блинова и ему подобных, – продолжал Павел Александрович, – на соборе было много и других нарушений. Из числа делегатов с мест допускались только те, от которых ожидали поддержки, которых рекомендовали уполномоченные самозванного обновленческого ВЦУ. Вы ведь на себе испытали это, – как бы в скобках добавил он. – И о самозванстве ВЦУ тоже знаете? Что Патриарх Тихон доверил Введенскому, Красницкому⁶⁰ и Калиновскому⁶¹ «принять и передать» дела патриархии, только канцелярию, больше им и для передачи не было доверено, – митрополиту Петру⁶², а они разгласили, что лично им передана вся полнота высшей церковной власти. Знаете? А что из этого следует? Собор 1923 года в таком виде, как он проходил, – не собор, а просто фракционный, партийный съезд «Живой Церкви». ВЦУ – не законная власть, а самозванное собрание. А значит, отпадает и самое тяжелое, чего так боятся многие, – вопрос об отделении от церковной власти, о признании ее неправославной. От законной власти – Патриарха и Местоблюстителя митрополита Петра⁶³ – мы и не думаем отделяться, напротив, мы должны всячески подтверждать свое единение с ними. А ВЦУ и собор двадцать третьего года – обновленцев и самочинников, мы должны просто не признавать,

⁵⁸ Введенский Александр Иванович (1889–1946), один из основоположников обновленческого раскола. Активный участник обновленческого собора 1923 г. В 1924 г. хиротонисан в обновленческого митрополита и назначен управляющим Московской епархией. Состоял в браке. Был постоянным членом обновленческого Священного Синода. В 1941 г. провозгласил себя «первоиерархом Православных Церквей в СССР». В 1945 г. предпринял неудачную попытку перейти в юрисдикцию Московской Патриархии.

⁵⁹ Блинов Петр Федорович (1893–1938), активный деятель обновленчества, создатель организации «Живая Церковь» (1922). В 1922 г., вопреки православным канонам, будучи женатым священником, хиротонисан в обновленческого епископа Томского и всея Сибири, а вскоре – в митрополита всея Сибири. С 1935 г. – митрополит Минский. В 1938 г. по приговору Особой тройки НКВД БССР расстрелян.

⁶⁰ Красницкий Владимир Дмитриевич (1880–1936), активный деятель обновленческого движения, с 1922 г. возглавлял обновленческую группу «Живая Церковь».

⁶¹ Калиновский Сергей Васильевич (1886 – ок. 1930), член ЦК «Живой Церкви».

⁶² Фактическая ошибка. Канцелярия передавалась не митрополиту Петру, а митрополиту Агафангелу (Преображенскому), который должен был взять на себя церковное управление в связи с арестом Патриарха Тихона.

⁶³ Митрополит Петр (Полянский) стал Патриаршим Местоблюстителем в 1925 г., после смерти Патриарха Тихона. Наименование его Местоблюстителем здесь, очевидно, является анахронизмом, допущенным автором.

подчеркнуть их неправославие, то, что они сами, преступно, с обманом отделились от Православия, сделались раскольниками...

Старому преподавателю под конец даже изменила его строгая выдержка, его обычная корректность, отличавшая его в среде сослуживцев. Он разволновался, повысил голос, потом вдруг оборвал и залпом выпил стоявший перед ним стакан остывшего чая. Отцу Сергию, не менее взволнованному, оставалось только поблагодарить за точную и откровенную информацию.

Но Павел Александрович неожиданно подал и еще другой совет. Он порекомендовал не ездить в Москву. «Все равно, не имея близких знакомых, вы не узнаете там ничего больше того, что узнали здесь. И епископов не найдете. Поезжайте, с Богом, домой, соберите единомышленников с вами, священников и освятите церковь без архиерейского благословения. А потом, когда появится у вас православный епископ, сообщите ему об этом и задним числом получите благословение».

Этот выход, как единственно возможный, одобрили и остальные друзья отца Сергия, и он, не задерживаясь дольше, вернулся домой.

Глава 32

Съезд

И рекох: не воспомяну имене Господня, ниже возглаголю ктому во имя Его. И бысть в сердцах моих яко огонь горящ, палаящ в костех моих, и разслабех отсюда, и не могу носити.
Иер. 20: 9⁶⁴

Возвратившись из Самары, отец Сергей занялся приготовлением к освящению. Пригласили соседних священников и перед Троицей освятили церковь со всей возможной в подобных обстоятельствах торжественностью. Приготовили обед для приезжих, после освящения весь день трезвонили, как на Пасху. Даже не так, потому что на Пасху на колокольне хозяйничают все, кто хотят, а в этот день чередовались только лучшие звонари: Прокофий Садчиков, Марья-сторожиха и их ученик, сделавшийся уже соперником, – Миша.

Священник села Брыковка отец Василий Бурцев неожиданно приехал со своим хором. Отец Сергей недолюбливал доморощенных певцов, которые, не имея даже представления о теории пения, непременно стремятся исполнять сложные нотные песнопения, считая простое пение ниже своего достоинства; он вообще выше всего ставил простое пение, звучащее тем лучше, чем искуснее хор. Поэтому он недовольно поморщился, увидев гостей, но даже и их участие не испортило общего торжественного настроения.

На праздничном обеде после освящения говорили только об одном – о намечавшемся в недалеком будущем съезде.

Уже давно забылось то положение, когда съезды назначались в каждом селе по очереди. Бывший благочинный Перекопновский постепенно приучил всех к тому, что съезды происходили в его приходе, в селе Липовка. Липовка находилась почти в центре округа, всем это было удобно, и никто не протестовал. Теперь съезд тоже как будто намечался в Липовке, но по чьей инициативе он собирался: благочинного Алевксимова или уполномоченного ВЦУ Варина, – никто не знал, хотя предполагали последнее.

⁶⁴ «И подумал я: не буду я напоминать о Нем, и не буду более говорить во имя Его; но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». – *Авт.*

Об Иоанне Николаевиче Варине заговорили как о яром обновленце еще до собора, в 1922 году, а через год его имя было известно чуть ли не всему викариатству⁶⁵. Рядом с ним иногда называли имена двух уполномоченных ВЦУ – Радаева из Каменного Брода и Частухина из-под Большой Глушицы. Они тоже «гремели», но Радаев был старик, а молодой Частухин не имел достаточно опыта в обращении с людьми. Варин же находился, как говорят, в самом цвете лет. Энергичный, не страдающий излишней деликатностью и разборчивостью в приискании методов воздействия, он распространял свою деятельность далеко за пределы округа. Даже официальный глава обновленчества в Пугачеве, епископ Николай (Амасийский), оказывался около него в тени.

Так было в разгар его деятельности; в апреле 1923 года она только развертывалась, но все понимали, что людям, имевшим несчастье расходиться с ним во взглядах, лучше с ним не сталкиваться.

Отец Сергей решил было, что на съезд он не поедет. То, что он узнал в Самаре, он уже сообщил своим ближним да и дальним соседям; не те, так другие из них расскажут все перед съездом остальным. Значит, как информатор он не нужен, а прений и вообще-то, скорее всего, не будет, так лучше не ездить, не волноваться понапрасну. Но за несколько дней до съезда приехали ближайшиe соседи – отец Григорий Смирнов и отец Федор Сысоев из Дубового. Приехали специально за тем, чтобы уговорить его поехать.

Отец Федор привез свежую новость: съезд назначен на днях, место съезда – село Липовка, где служит сам Варин.

Пока день и место съезда еще не были уточнены, все слухи о нем были еще только слухами, а теперь съезд был уже реальностью, а это известие не могло не взволновать духовенство еще больше прежнего.

– Я не поеду, – заявил сначала отец Сергей, повторяя то, что уже не раз было говорено им до этого, – говорить нельзя, а молчать я не могу... Правда, вопрос исключительно важный, вроде как и нельзя не ехать, нельзя молчать, но какая польза, если я буду говорить один. Ведь один я буду.

– Не будете один, – заверил Сысоев, – мы поддержим. Ваше дело – застрельщиком быть, начать, а там уже мы подхватим, поддержим, будьте уверены.

Отец Сергей поехал.

Благодаря тому, что в Липовку съезжались уже много раз, каждый священник имел там знакомых, у которых он останавливался. Некоторые друзья и соседи заезжали на квартиру, и вообще все стремились устроиться поближе к церкви, следовательно, оказывались недалеко и друг от друга. Обыкновенно приезжали под вечер накануне съезда. За это время виделись между собой, обсуждали намеченные вопросы, особенно если предвиделось что-нибудь непростое, находили общее решение. И очень редки были случаи, когда предварительное решение, вынесенное в кулуарах, не проходило на съезде; это могло случиться только тогда, когда мнения резко разделялись. Бывало иногда, что съезд вообще долго не мог прийти к соглашению. Каждое предложение ставилось на голосование раз, другой, третий, нужного большинства не получалось. Тогда назначали перерыв. Члены съезда расходились по квартирам, и снова начиналось обсуждение: договариваясь, в чем можно уступить, на чем непременно настаивать и что безусловно отвергать; и на новом заседании выносилось приемлемое для всех решение.

Предстоящий съезд должен был быть многочисленным. Второй благочиннический округ и вообще-то отличался большим количеством входящих в него приходов. Незадолго до того было распоряжение о выделении из него чуть ли не половины приходов в состав нового, при городном (около Пугачева) округа. По-видимому, те же волнения, связанные с обнов-

⁶⁵ Викариатство – территориальная единица церковного управления в составе епархии.

ленческим движением, помешали довести это дело до конца. В пригородном округе еще не было благочинного, и Варин считал более удобным для себя собрать съезд округа в прежнем составе. Больше того, даже не оставили, как обыкновенно, дежурных священников, по одному на несколько сел, для исправления срочных треб. Кроме священников, из каждого прихода приехал и представитель от мирян. Конечно, такой порядок существовал не первый год, но во многих селах прихожане манкировали им, не желая отрываться от своих работ, и предоставляли духовенству самому разбираться в очередных делах. Теперь же представители от приходов явились полностью. Многие из них не знали сути дела, а только собирались разбираться в ней, но был один признак, по которому всех их можно было разделить на две группы: они или безусловно доверяли своему приходскому священнику, или не доверяли ему. И не доверяли почти исключительно тем, которые склонялись на сторону «Живой Церкви» или заметно колебались.

Никогда еще дело не было таким серьезным, как в этот раз: ребром стоял вопрос, быть или не быть православию; поэтому вечером прорабатывали не только идеологическую сторону, но и тактическую, как держаться.

После долгих соображений решили добиваться обсуждения программы в целом; при этом, не рассеивая внимания, не отвлекаясь на все множество вопросов, можно было выбрать два-три, безусловно и очевидно для всех неприемлемых, и на них сосредоточить весь огонь, а потом сделать вывод, что, ввиду невозможности принять такие-то пункты, съезд отвергает всю программу. С тем и разошлись.

У Варина тоже был свой план. Когда утром все собрались в церковь, где должен был открыться съезд и ожидали только его и Апексимова, он не явился, а через посланного предложил духовенству прийти к нему. Приглашенные пошли неохотно, ворча про себя, а то и вслух, что такой поступок нетактичен, что прихожане могут подумать, будто духовенство о чем-то договаривается за их спинами, что-то скрывает от них. Но не хотелось начинать со споров и потому пошли.

В объединенном округе насчитывалось около тридцати священников; на съезд приехало не более двадцати пяти. Конечно, при желании такое количество людей можно было бы собрать в любой деревенской избе, тем более в поместительном церковном доме. Поэтому всем бросилось в глаза, что Варин не соблаговолил пустить их даже в просторный светлый коридор. Для них заранее были расставлены скамьи во дворе, а Варин вышел на высокое крыльцо и начал говорить, как с трибуны. Он говорил, что все должны присоединиться к «Живой Церкви» и принять к руководству постановления собора двадцать третьего года, причем довольно прозрачно намекал на неприятности, могущие произойти с теми, кто вздумает протестовать. И опять о том или другом постановлении собора, и опять предупреждения и требования воздействовать в нужном направлении на приход, и так без конца. Слушатели поглядывали на часы, раздались дватри негромких голоса о том, что пора открывать съезд, что обо всем этом можно говорить и там, но Варин отвечал: «Еще пять минут, закругляюсь», а то и ничего не отвечал и продолжал свою речь.

Наконец тихонько приоткрылась калитка, и в нее осторожно протиснулся остролюкский представитель Сергей Евсеевич Прохоров. Он окинул взглядом собравшихся и так же осторожно, как и раньше, чтобы не помешать оратору, начал пробираться по стенке к своему батюшке.

– Здесь мирянам не место! – громко заявил Варин. Сергей Евсеевич смутился еще больше и приостановился, не зная, что делать, но отец Сергей ободрил его. – Погодите, отец Иоанн, это ко мне, – сказал он. – А может быть, у него дело. Ты что, Сергей Евсеевич?

– Батюшка, народ волнуется, просят поскорее начинать. Время горячее, самая рабочая пора.

– Правильно, пора начинать! – Нечего тут секретничать! Об этом можно говорить и на съезде, – раздалось с разных сторон.

Варин вспыхнул:

– Кто не хочет слушать, может идти! – с угрозой в голосе сказал он.

В первом ряду, сверкая громадой, во всю голову, лысиной, сидел отец Василий Карпов, бывший помощник благочинного, настоятель церкви села Никольского, где на втором штате служил Мячин. Он повернулся и сказал вполголоса: «Идемте все!»

Все поднялись, с шумом отодвигая стулья и скамейки, направились к выходу. Варину ничего не оставалось, как вместе с Апексимовым последовать за ними, что он и сделал, переждав только какой-то срок, который счел необходимым, чтобы приход его выглядел более внушительно.

Сразу же после выборов председателя и открытия съезда Варин взял слово и повторил почти ту же речь почти с тем же результатом. На этот раз возгласы: «Мы все это уже несколько раз слышали», «Пора начинать обсуждение, нечего дорогое время попусту терять» – начались скорее, чем в первый раз.

– Кто не хочет слушать, может уходить!

Должно быть, Варин глубоко верил в ошеломляющую силу заранее подготовленной фразы, если его не смутила недавняя неудача. Или же, наоборот, он был совершенно не подготовлен к противодействию со стороны слушателей и эта фраза, как в первый, так и во второй раз вылете ла произвольно, в пылу раздражения?

На этот раз эффект, вызванный ею, был еще сильнее. Отец Василий Карпов, как и всегда, по привычке устроившийся в первом ряду, снова негромко сказал: «Идемте все» – и поднялся вместе со своими соседями.

За ними к выходу повалила целая толпа, включая и мирян.

– Пришлось Варину кричать: «Благоразумные, вернитесь!» – рассказывал об этом отец Сергей и добавлял: «Мы, может быть, и не вернулись бы, да председатель там остался на съезде, председателя пожалели. Хороший мужик, не из разговорчивых, а надежный».

– Председателю в прениях выступать не полагается, – объяснил он неискушенным в подобных делах, – поэтому его всегда стараются выбрать из тех, кто потише, чтобы не терять своего оратора, но и не пешку, а тем более не противника, чтобы как-нибудь не подложил свинью, ведя собрание.

– Кто будет говорить? – спросил председатель, когда члены съезда снова заняли места.

Никто не отозвался. Председатель повторил вопрос. Присутствующие переглядывались, но начинать никто решался.

«Правы были мои соседи, когда приезжали звать меня. Застрельщик нужен», – подумал отец Сергей и поднялся:

– Прошу слова!

Он обстоятельно разобрал программу «Живой Церкви», останавливаясь на тех пунктах, которые особенно сильно противоречили каноническим правилам, были «безусловно и очевидно неприемлемы», – на женатом епископате и второстепенстве священников. За время, протекшее после разговоров с Преображенским, отец Сергей еще продумал и отработал этот вопрос, подобрал еще новые цитаты из Священного Писания и «Книги правил». Притом, как миссионер, он хорошо знал уровень развития своих слушателей и говорил понятно и убедительно. Его речь внесла ясность, отделив главное от второстепенного, так что сущность вопроса стала понятна и мирянам. Даже со стороны было заметно, что это так. Варин, возбужденный неудачным началом съезда, едва сдерживался. Наконец он вскочил с места и крикнул:

– С-в, я тебя слова лишаю!

– Лишить слова может только председатель, а не вы, – возразил отец Сергей, а председатель, отец Димитрий Табунщиков, поспешил поддержать его:

– А я не лишаю! Продолжайте, отец Сергей.

Через некоторое время Варин снова грубо прервал оратора.

– Ты контрреволюционер! – закричал он.

– Об этом может судить представитель гражданской власти, – стараясь быть спокойным, ответил отец Сергей и обратился к сидящему за столом президиума начальнику милиции: – Находите вы в моих словах что-нибудь контрреволюционное?

– Нет, ничего, – ответил тот, – только вы, по-моему, не на тему говорите.

– А об этом пусть судит председатель. Председатель меня слова не лишал.

– Нет, не лишал, – снова подтвердил Табунщиков.

После выступления отца Сергея поднялся вопрос о прекращении прений. «Что много разговаривать, и так все ясно. Времени-то уж много; нужно голосовать да разъезжаться». С этим согласилось большинство.

Но предложение поставить на голосование программу в целом не прошло, миряне запротестовали. Многим из них односельчане дали строгий наказ узнать как можно подробнее, в чем состоят обновленческие новшества, а как лучше запомнить это, если не прослушав еще раз при голосовании? Решили голосовать по пунктам. Пробовали было просить тайного голосования, но Варин так резко запротестовал, что пришлось оставить эту мысль.

Впрочем, хотя некоторые боялись, а другие надеялись, что при открытом голосовании получатся заминки, все прошло как по писаному. Даже в тех случаях, когда Варин предполагал, что по этому вопросу никто не решится возражать, мужички охотно поднимали руку против.

Однако Варин не сдавался. Неожиданно он встал и безапелляционно заявил, что, каковы бы ни были результаты голосования, все равно все должны присоединиться к обновленчеству и подписать согласие с программой «Живой Церкви».

В церкви поднялся возмущенный шум. Большинство негодовали, но некоторые соглашались и пытались уговорить соседей; другие старались просто восстановить тишину, но и их голоса только увеличивали общий беспорядок. Благодетель Аепксимов подошел к столу, где лежало заранее заготовленное постановление с одной только подписью – Варин, – и поставил свою. За ним подошел Мячин, потом Бурцев из Брыковки, потом... Сысоев, так усердно уговаривавший отца Сергея поехать на съезд и обещавший свою поддержку.

Отец Сергей никогда не мог связно и по порядку рассказать об этой части съезда. Трудно было говорить последовательно о наступившей суматохе, а может быть, сам он был уже в таком возбужденном состоянии, что не мог наблюдать.

Свой рассказ он обыкновенно заканчивал словами: «Тут мне стало дурно, и меня вывели».

Но председатель съезда, отец Димитрий Табунщиков, рассказывал подробнее. Не останавливаясь особенно на том, что происходило, когда окрик Варина деморализовал членов съезда, он вспоминал только один яркий эпизод.

«Вдруг, смотрим, что это хочет делать отец Сергей, – рассказывал Табунщиков. – Входит на амвон, делает три земных поклона перед Царскими вратами, прикладывается к ним и оборачивается к народу... а сам весь белый... и говорит: „Собор двадцать третьего года не признаю, осуждение Патриарха считаю незаконным, епископа Николая православным архиереем не считаю, к ‘Живой Церкви’ не подписываюсь!“

Тут он пошатнулся, мы его подхватили под руки и, почти без сознания, вывели из церкви. Кто-то побежал за водой, начали его отхаживать, а остальные обрадовались предлогу уйти и тоже за нами повалили. На том съезд и закончился».

Только позднее выяснилось, что у съезда было неофициальное, но важное продолжение. Если бы духовенство предвидело это, вероятно, большинство немедленно запрягли бы лошадей и разъехались, хотя бы даже пришлось заночевать в степи. Но взволнованные и утомленные люди не думали о возможности нового выпада со стороны Варина. Они расходились, обме-

ниваясь впечатлениями по поводу происшедшего, не торопясь обедали и, по большей части, оставались ночевать. А в это время по квартирам уже сновали посланные от Варина, вызывая к нему то одного, то другого, поодиночке. Как проходили эти одиночные беседы, никто не передавал, но скоро стало известно, что чуть не все духовенство, бывшее на съезде, как тогда выражались, подписалось к «Живой Церкви». Из второго округа не подписались только отец Сергей С-в, отец Григорий Смирнов и отец Сергей Филатов из Духовницкого. Кроме того, остались под какими-то предложениями не приезжавшие на съезд отец Иоанн Тарасов и отец Алексей Саблин из Новотулки. Из пригородного округа не подписались отец Димитрий Табунщиков, служивший не то в Горяиновке, не то в Росляковке, и отец Василий Гусев. Сравнительно с другими местами это был большой процент, так как во многих округах не оказалось ни одного неподписавшегося, а второй округ, родина Варина, вдруг и подвел его.

Этот съезд был последним объединенным съездом двух округов. Вскоре после него для пригородного округа был утвержден благочинным Табунщиков, и связь между отдаленными селами, и без того слабая, совсем порвалась.

Не успел отец Сергей оправиться от потрясения, вызванного съездом, как к нему явился отец Иоанн Тарасов с важной и радостной новостью. Есть слух, и по-видимому достоверный, что в Саратове появился православный епископ. Одновременно с Тарасовым заехал навестить кума отец Григорий, зашел Сергей Евсеевич, и все единогласно решили, что нужно немедленно же отправить отца Иоанна в Саратов. Пусть повидается там с родными, да поподробнее узнает о тамошних делах и о том, не согласится ли новый епископ принять их в свое ведение. Расходы по поездке (тогда они казались значительными) поделить между тремя приходами.

А отец Сергей, уже без чьей-либо помощи, пока была возможность, опять собрался в Самару – за Соней и еще раз поговорить с друзьями.

На этот раз он приехал уже не советоваться, а рассказывать и убеждать. «Долго ли вы еще будете молчать? – говорил он и Бечину, и отцу Петру Смирнову, и Колесникову. – Теперь уже все ясно, ждать нечего, нужно действовать. Вы здесь на виду, на вас вся епархия смотрит, да и не одна Самарская, а и соседние тоже присматриваются. Нужно подавать пример».

Особенно много говорили у Колесникова, у него было самое щекотливое положение. В других церквях как-то все будто само собой получалось, подбирались единомышленники. Кафедральный собор, где служили уполномоченный ВЦУ Стрельников, протодиакон Руновский и Алексеев, постепенно становился оплотом обновленчества; Воскресенская церковь с двумя Смирновыми и Осиповским – православная; в женском монастыре, в трапезной служил Бечин – православный, а в главном храме – отец Петр Архангельский, колеблющийся; и в кладбищенской церкви, как и раньше, оставались Колесников и Сердобов, люди противоположных направлений. Продолжать так нельзя, и перейти в другой приход, без боя уступив церковь обновленцам, тоже как будто нельзя. Значит, не откладывая, нужно начинать борьбу.

Вечером в субботу, сидя среди родных, отец Сергей заявил, что в собор он теперь ни шагу не сделает, не будет общаться с раскольниками, а пойдет утром в Воскресенскую церковь. В это необыкновенное утро в церковь собрались не только отец Сергей с Соней, но и его брат, Филарет Евгеньевич. Правда, он шел как будто только для того, чтобы послушать хор. Уже много лет в Самаре славились два регента – Каленик и Олейников; в 1923 году первый из них пел в Воскресенской церкви, а второй – в соборе. Оба были художниками, мастерами своего дела, и у каждого был свой круг ценителей его искусства. Филарет Евгеньевич предпочитал Олейникова.

Утром уходили не все сразу. Сначала ушел отец Сергей, затем, окончив уборку комнат, Соня. Филарет Евгеньевич пошел последним.

Соня зимой чаще всего ходила в монастырскую трапезную и в собор. Но в трапезной служба начиналась раньше, а в собор после недавних разговоров девушка не хотела идти и пошла в Воскресенскую. Она пробралась на середину церкви, где увидела отца. Соня оста-

новились немного позади него. Через некоторое время, когда народ заволновался, пропуская сборщиков, она заметила и дядю – он тоже пришел сюда.

Отец Сергей увидел Соню, когда кончилась служба.

– Ты здесь? Здесь? – радостно спросил он и добавил: – Это очень важно, что ты сама выбрала эту церковь.

– Дядя Филарет тоже здесь, – сообщила Соня. Братья встретились молча, не говоря о том, что заставило младшего изменить любимому регенту, но, пока они шли домой, на лице старшего сияла тихая радость.

Зато днем его ждало разочарование в человеке, которого он привык уважать. Воспользовавшись свободным временем, он решил навестить еще одного из своих преподавателей, математика Василия Николаевича Малиновского. Приближаясь к знакомому домику, отец Сергей улыбался; ему казалось, что он еще семинарист, что он видит энергичного, подвижного украинца с пышной шевелюрой и маленькой бородкой клинышком, который с характерным украинским акцентом возмущенно передразнивает мямлю-ученика, не знающего урока.

– Че-рез ча-ас по-о ло-о-же... че-е-ре-ез два-а по ло-ожке-е... Ври, да не останавливайся!

Несомненно, Василий Николаевич ослабел, одряхлел, он уже глубокий старик, он учил еще покойного Евгения Егоровича. Но характер не может совершенно измениться. Его энергия, хотя и в слабом теле, его беспокойная искренность должны остаться.

Ничего не осталось!..

В растерянном, точно забитом, старичке отец Сергей едва узнал бывшего заводилу всяких петиций и протестов, весельчака, душу дружных товарищеских компаний. Отцу Сергию, привыкшему уже к тому, что почти все, с кем ему приходилось говорить об обновленчестве, старались установить для себя линию поведения, особенно тяжело и дико показалось, что Малиновский отталкивает от себя этот вопрос и покорно продолжает ходить в собор.

– Василий Иванович, хотя это и не ваша специальность, но вы же академик, там вы изучали и богословие, – убеждал его отец Сергей. – Вы же понимаете, что сейчас решается вопрос, касающийся не только этой, но и будущей жизни. Вы бы обдумали, посоветовались с другими, вот Павел Александрович недалеко от вас живет. Нельзя же так плыть по течению, куда занесет.

Но Малиновский, точно испуганный этим напором, весь как-то сжался и только повторял: «Нет уж, нечего тут рассуждать, как велят, так и буду делать».

С тяжелым сердцем ушел от него отец Сергей. Перед его глазами все время стояли точно два разных человека – тот, прежний, и теперешний. Он даже и мысленно больше не пытался переубедить этого нового, только время от времени тяжело вздыхал и говорил скорбно:

– Эх, Василий Николаевич!

Глава 33 «Полоса»

– Ну вот, мы почти и дома!

– Да, почти дома, только я не могу идти. Дай мне руку.

Почти совсем стемнело, и потому отец Сергей не заметил, что шедшая с ним рядом Соня спотыкается, цепляя за землю заплетающимися ногами. Кругом было сыро, присесть негде, да и досадно сидеть, когда до дома осталось всего с полверсты. Все-таки они постояли немного, потом Соня оперлась на руку отца, и они тронулись дальше, причем отец Сергей заметил ободряющим тоном:

– Как-нибудь доберемся. Сегодня у тебя было вполне достаточно причин, чтобы дойти до такого состояния.

Еще ранним утром, когда пароход подходил к Хвалынску, отец Сергей предупредил дочь, что они не пойдут сразу к перевозу, а походят по городу и зайдут к некоторым его новым знакомым. Может быть, придется ее и одну посылать в город, так нужно, чтобы она знала, куда идти.

По грязной от ночного ливня дороге они забрались в горы, на пчельники среди сплошных садов. На одном напились чаю со свежим медом и потолковали о том, где доставать искусственную вощину и нет ли у хозяина знакомого, который мог бы научить сучить восковые свечи (воск в церковь сельские пчеловоды всегда пожертвуют, а мастера нет). На втором посмотрели улы новой, более совершенной конструкции и прослушали объяснение опытного пчеловода – инструктора, как заставить отроившихся пчел сесть на намеченное хозяином место.

Когда после этого возвратились в город и отчистили грязь с обуви и одежды, наступило уже такое время, что не особенно удобно было зайти и к городским знакомым; проезжаем, стремящемуся в этот же день попасть домой, простителен и такой ранний визит. Между прочим, побывали и у протоиерея Карманова.

Отцу Матвею Карманову было уже за семьдесят лет, но его светло-русые волосы, красивыми волнами спадали ему на спину и грудь чуть не до пояса, хотя и были сильно тронуты сединой, все еще сохраняли свой настоящий цвет. Принимая гостей, он обыкновенно первое время как будто не мог найти темы для разговора; сидел в своем кресле, слабый и безразличный, и бросал только самые необходимые для поддержания разговора реплики. Хорошо, что отец Сергей в первый раз сам побывал у него с Соней; если бы он впоследствии послал ее одну, она могла бы растеряться и уйти ни с чем, подумав, что старик просто не хочет с ней разговаривать. Но оказывается, посетителям нужно было начинать разговор самим. После того как ему рассказывали два-три, пусть мелких, но интересных для него факта, отец Матвей оживлялся и начинал рассказывать сам. И иногда оказывалось, что у него в запасе имеются очень ценные новости.

На этот раз у него были известия из Ташкента. Ему только что сообщили, что туда рукоположен новый епископ Лука Войно-Ясенецкий⁶⁶. Это был замечательный хирург, основатель и профессор университета, труды которого были известны за границей. Несколько лет тому назад у него заболела жена. Он и сам, конечно, понимал, что состояние больной безнадежно, но все-таки созвал консилиум из знаменитостей, и они подтвердили его диагноз.

«Тогда, – писал корреспондент Карманова, – он встал на колени и дал обещание: если жена выздоровеет, она будет для детей, а он – для Бога. Жена поправилась. Войно-Ясенецкий пошел к местному епископу и отдал себя в его распоряжение. Через несколько времени его посветили в сан священника».

Этот рассказ несколько отличается от официальной биографии архиепископа Луки, где говорится о смерти его жены и о том, что его детей воспитывала посторонняя женщина. Между тем историю исцеления, с другими подробностями, рассказывал много лет спустя один врач-ташкентец. Он подростком бегал слушать проповеди епископа Луки и рассказывал об этом с его слов.

Впрочем, исцеление не предполагает бессмертия. Исцелившаяся могла умереть, даже довольно скоро, однако врачу скорее, чем нам, может быть понятно, что эта отсрочка смерти, пусть хотя бы на год, иногда даже на день, является не случайным улучшением, а настоящим чудом.

«Сделавшись священником, а потом епископом, – рассказывал Карманов, – Войно-Ясенецкий не прекратил и прежней деятельности. На лекции он приходил в рясе и с крестом, в

⁶⁶ Лука (Войно-Ясенецкий, 1877–1961), архиерей и одновременно хирург, профессор медицины. Был тайно пострижен в монашество в 1923 г. и тогда же хиротонисан во епископа. Архиепископ Симферопольский и Крымский (1946). Лауреат Сталинской премии первой степени (1946) за труды по гнойной хирургии. Провел в ссылках в общей сложности одиннадцать лет. В 2000 г. прославлен в сонме святых – новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.

таким же виде являлся и в операционную и только там заменял рясу на халат. В операционной у него иконы, перед операцией он крестится и больных заставляет креститься. Рассказы об его операциях граничат с чудесным».

В письме приведен такой случай. Одна женщина излечилась у Войно-Ясенецкого от какой-то серьезной болезни и безгранично верила в его искусство. Через некоторое время тяжело заболел ее муж. Ему требовалась сложная операция. Жена настаивала, что нужно обратиться к Войно-Ясенецкому, а муж не хотел: он молиться заставляет. Тогда жена сама пошла на прием и со слезами рассказала все. Войно-Ясенецкий посоветовал ей молиться, сказал, что и сам будет молиться, и успокоил, что ее муж поправится. Действительно, операция прошла благополучно.

Первые слова больного после того, как он очнулся от наркоза, были: «Молодец Войно-Ясенецкий, как он хорошо мне сделал операцию». Напрасно жена и врач, дежурившие у его постели, уверяли его, что оперировал не Войно-Ясенецкий, а другой хирург, больной настаивал на своем. Он говорил, что прекрасно помнит, что, как только его положили на стол, вошел Войно-Ясенецкий, сделал ему операцию и сказал, что через две недели он будет вполне здоров⁶⁷. Врач на это только рассмеялся: после таких операций лежат месяцами, но получилось так, как говорил больной. Через указанный им срок он выписался из больницы совершенно здоровым.

– Вот вам человек, а вот – другой. – И отец Матвей рассказал об обновленце Василии Коблове, который незадолго перед тем приезжал не то в Сызрань, не то в Саратов, в галифе, с наганом и... в митре.

Была уже середина дня, когда С-вы наконец подошли к перевозу. Собственно того, что называли перевозом – маленького пароходика с двумя баржами-паромами на буксире, в этот день не было, просто у берега ожидали большие рыбацкие лодки, забиравшие человек по пятнадцать – двадцать пассажиров с багажом. Две лодки грузились одновременно. «Батюшка, иди сюда, здесь свои, у нас на том берегу и лошадь есть!» – крикнул от дальней лодки Павел Яшагин, крепкий мужик лет тридцати с небольшим.

Ближняя лодка уже кончила грузиться и пошла вверх по Воложке, в обход острова. Скоро отчалила и вторая и направилась напрямиком через остров. Перевозный пароходик с громоздкими баржами не смог бы сейчас пройти здесь, но проток, прорезавший остров, был еще достаточно широк и глубок, и лодочник, экономя время и силы гребцов, направил лодку именно туда.

Как хороша Волга в ясный июньский день! Половодье уже кончается, вода убывает, но все еще стоит высоко. Только несколько дней назад показалась вершина лесистого острова, на восточной стороне его, обращенной к Духовницкому, чуть видна из воды длинная песчаная отмель. Мутная волжская вода на солнце сверкает яркими искрами. Лодку чуть покачивает, вода рядом. Хочешь – можно умыться, освежить пропыленное, разгоряченное лицо; можно выпить из пригоршни или запить мягкой мутноватой водой дорожный завтрак: на берегу редко кто ел как следует, торопились закончить дела и переехать на свою сторону, чтобы засветло вернуться домой. Да если и не пить и не умываться, все равно от воды веет свежестью и прохладой, разгоняющей усталость и сон. Когда лодка идет протоком, с берега доносится аромат цветов, распускающихся чуть не в самой воде. Да вон, на отлогом берегу калина, вон куст шиповника, они в полном цвету, хотя воды около них еще по колено.

Не удивительно, что люди на лодке почти всегда бывают в хорошем настроении. Конечно, если не считать таких, как вон тот «степной» мужик, который всего во второй раз в жизни (туда и обратно) переезжает через Волгу и с тех пор, как вошел в лодку, считает себя обреченным почти на верную смерть. Остальные мирно разговаривают, рассказывают разные случаи. И не

⁶⁷ Может быть, было сказано и не две недели, во всяком случае, какой-то очень короткий срок. – Авт.

беда, если в это время заговорят и о Волге, когда она не такая тихая и ласковая, а бурная и жестокая. Это все равно что, сидя зимним вечером у жарко натопленной печки, слушать рассказы о степных буранах, засыпающих целые обозы.

На этот раз говорили о двух лодках, перевернувшихся во время бури два дня назад. Одна опрокинулась недалеко от берега, когда ветер уже начал стихать. С нее удалось спасти всех, кроме рулевого, который не успел вовремя разуться и сбросить толстый пиджак. С другой не спасли никого.

Да, хорошо было ехать протоком, а вскоре после того, как вышли из него, беззаботное настроение нарушилось. Многие, в том числе и остролюкские рыбаки и лодочник, внимательно смотрели на маленькую, с темными краями тучку, показывавшуюся из-за левого берега.

– А ведь туча-то с полосой! – озабоченно сказал кто-то.

«Полоса» – это шквал, внезапно налетающий среди тихого, ясного дня. Обыкновенно он предшествует дождевой туче, которую гонит, и на земле несет с собой целую массу песка и пыли, образующих темную полосу, ограничивающую тучу. Соне года три-четыре назад пришлось однажды попасть в такую «полосу» на берегу, на песках, по дороге из Духовницкого в Острую Луку. Тогда она ехала еще с матерью, и их возница, Сергей Евсеевич, заметил тучу, выпряг лошадей, поставил их спиной к ветру и укутал их морды мешками, а матушке и Соне посоветовал хорошенько укрыться большим брезентом, покрывавшим повозку, даже сам старательно подоткнул его края. Но и сквозь брезент было слышно, как бушевал ветер, с какой силой бились в брезент поднятые ветром песок и мелкие камешки. А когда все кончилось, с рассеченного лба у Сергея Евсеевича бежала струйка крови. Он тоже было завернулся в чапан⁶⁸, сидя на козлах, но испуганные лошади начали биться, грозя опрокинуть повозку; он сошел и успокоил их. В это время ветром подняло доску, заменявшую козлы, и ударило его в лоб.

Вот что бывает на берегу, а на воде...

– Давай, ребята, гребите сильнее! – скомандовал Павел Яшагин. Павел – исконный рыбак, каждый год с начала до конца половодья он день и ночь на воде, попадал во всякие переплеты на десяти-двенадцатикилометровой шири разлившейся по займищу Волги. Не беда, что он небольшого роста, на воде это даже удобнее, зато он плотный, ловкий, прочно сбитый, словно весь состоит из мускулов, и он не может не распорядиться, если видит, что лодочник растерялся.

– Ну-ка, наши, рыбаки! А духовницкие есть? Садитесь в весла, по двое на весло, еще двое берите доски со дна, гребите, может быть, еще доплывем.

Быстро, но осторожно, чтобы не раскачивать лодку, обменялись местами. Павел сел за руль. Рулевым в бурю должен быть самый опытный. Часто только от него зависит судьба судна. Лодка полетела с такой быстротой, на какую только способна тяжелая рыбацкая посудина. Вот она уже на середине Волги, вот пройденная полоса воды стала значительно шире оставшейся. Берег заметно приближался.

Но и ветер не ждал. Вода сначала покрылась легкой рябью, потом на ней заходили волны, сначала мелкие, потом все крупнее и крупнее; верхушки волн запенились, и скоро вся поверхность Волги, покрытая «беляками», напоминала кипящий котел. Разгулялася погодушка!

– Разуйтесь кто может, – предупредил Павел, – и лишнюю одежку снимите. Если лодка перевернется, держитесь за борта, не за доски. От лодки оторветесь – пропадете.

Соня сидела на боковой скамейке недалеко от рулевого и наблюдала, как постепенно краснеет его лицо. Как и все, она разулась, да что толку? Легко сказать: «Держитесь за лодку!» – для этого все-таки нужно выплыть на поверхность, а она плавает как топор (именно это сравнение почему-то вертелось в голове). Папа умеет плавать, он, конечно, попробует спасти ее, но

⁶⁸ Верхний распашной кафтан с длинными полами.

с его ли силами бороться с такой стихией! Он и один-то едва ли сумел бы выплыть, а вдвоем они оба непременно погибнут. Одна надежда на святителя Николая, помощника бедствующих на воде. Святителю отче Николае Милостивый, помоги!

И не одна только она молилась!

– Гребите! – кричал Павел, и лицо его из просто красного становилось пунцовым.

Гребцы делали отчаянные усилия, но лодка шла все тише, сопротивление волн и ветра все увеличивалось. А уже недалеко осталось. Уже видна кучка людей, столпившихся на крутом берегу и наблюдавших за ними. Рассмотреть еще никого нельзя, только белые пятна лиц. Видно, а яснее не делается, расстояние не уменьшается. Лодка как бы замерла на одном месте.

– Не доплывем, – сказал кто-то из гребцов.

– Нужно поворачивать и на остров гнать парусом. Ну, Павел! Хорошо говорить – поворачивать, а как подставить волнам борт лодки? Вот когда жизнь семнадцати человек зависит от рулевого!

– Держись, – кричит Павел. – Хозяин, готовь парус! Ребята, навались! Ровнее! Правая гребите, левая табань! Готово. Парус скорее!

Но лодочник совсем растерялся. Неизвестно откуда взявшийся узел застрял в блоке, снасть заело, парус поднялся только наполовину. Лодочник дергал веревку, но ничего не получалось.

– Ничего не выходит, видно, нам пропадать, – всхлипнул он.

– Двое кто-нибудь замени его, – изо всех сил крикнул Павел. – Один управляй парусом, да держи крепче, чтобы не вырвался. А другой попробуй еще, может, удастся поднять как следует. Таким растяпам только на лодке и плавать! – зло бросил он в сторону хозяина.

Повернутая по ветру, лодка понеслась с утроенной быстротой, разрезая волны. Но Павлу все было мало. «Сильнее гребите! – командовал он. – Нам одно спасение, – волны перегонять. Сильнее! Ровнее гребите, не дергайте лодку! Раз! Раз!»

Вдруг, подчиняясь отчаянному рывку снизу, узел на блоке проскочил и парус поднялся доверху. Лодка чуть наклонилась и полетела еще быстрее, сделав ненужными усилия изнемогавших гребцов. Ветер еще усиливался, но теперь он только помогал обгонять волны. А не может ли он опрокинуть лодку? Конечно, может, если рулевой или тот, который управляет парусом, допустят неверное движение.

Сильный толчок. Лодка со всего размаха врезалась в песок, и сразу же крупная волна захлестнула ее, закачала, пронеслась от кормы до носа, до нитки промочив тех, на ком еще оставалось что-то сухое. Но люди уже выскакивали в налитый водой песок, в мелкую у берега воду, втаскивали лодку подальше на берег песчаной отмели. Отмель большая, но она показалась из воды не позже, чем вчера: песок еще мокрый, и поднимается она над уровнем воды всего на пятнадцать – двадцать пять сантиметров. Немногие сообразили в эту минуту, что было бы, если бы отмель оставалась еще под водой, а их вот так ударило бы о крутой берег острова.

На отмели оставались часа полтора, пока хлынувший ливень прибил волны, и из-за острова вверх по Волге показалось черное пятнышко – та, другая лодка, которая плыла вокруг острова. Тогда вычерпали воду из лодки, поехали – продрогшие, измученные. Один Павел Яшагин оставался в приподнятом настроении и подшучивал над Соней.

– Я смотрю, а она все бледнеет, бледнеет, – говорил он.

Соня молчала. Ей не хотелось оправдываться. Что удивительного, если испугалась молоденькая девушка, когда боялись и все остальные. Она могла бы сказать, что, не понимая степени опасности, догадывалась о ней, глядя на его все краснеющее лицо. Но ничего не сказала. А он добавил: «Если бы перевернулись, я-то никак бы не выплыл, в сапогах».

На берегу их встретили словами: «А мы не чаяли, что вы живы останетесь, думали – все погибнете».

На лошадь, ожидавшую Яшагина и его товарищей, погрузили багаж, а сами пошли пешком. По грязной дороге подвода еле двигалась, и отец Сергей с Соней ушли вперед. Вот как получилось, что они оказались одни в темноте за селом и что отец Сергей не удивился внезапной слабости дочери.

А все-таки она была еще девчонка! Им пришлось-таки немного посидеть на ступеньках большого амбара, в каких-то пятидесяти метрах от дома, чтобы войти домой нормальным шагом. А не успел еще зашуметь самовар, поставленный, едва они пришли, как братья уже утащили Соню смотреть новую церковь... Все они, не исключая и Наташи, обошли церковь кругом, облазали остатки фундамента и проверили прочность новой колокольни на столбах. Правда, когда они вернулись, у Сони были красные глаза и она жаловалась, что их надуло ветром и что она не может глядеть на свет. Вероятно, она испытывала что-то вроде того, что чувствовали старые евреи, когда увидели бедный храм, построенный Зоровавелем, на месте пышных зданий Соломонова храма.

Глава 34 «На страже моей стану...»

Сколько раз уже говорилось о том, как неравномерно распределяются события в человеческой жизни. То идет время тихо, однообразно, так что не только месяц с месяцем, а и год с годом можно спутать. А то вдруг события нагромождаются одно на другое, сталкиваются, как льдины в ледоход, попробуй-ка спокойно следить за их наскоком!

С неделю спустя после возвращения отца Сергея из Самары около полудня к нему пришел сторож Ларивон и сообщил:

– Батюшка, там какие-то два священника приехали, велели за тобой сходить.

– Почему же они заехали в сторожку, а не ко мне? – удивился отец Сергей. – И почему сюда не пришли?

– Не хотят. Приехали из Духовницкого и лошадей обратно отправили. Вперед мою Марью с Матрешей послали попечителей собирать, а потом меня сюда. Говорят – благочинный, а другой вроде брыковский – толстый, красный.

– А, вот что! Ну, хорошо, скажи, сейчас иду!

Отец Сергей надел парадный подрясник, спрятал под ним повешенный на шею мешочек с копией Родниковской иконы, с которой он старался не расставаться, особенно если предстояло серьезное дело, истово перекрестился на иконы, громко сказал: «Господи, помоги!» – и вышел.

Семейные, мысленно повторяя те же слова, прильнули к окнам.

В сторожке сидели Апексимов, Бурцев и несколько попечителей, живших поближе. Апексимов не начинал серьезного разговора, пока не пришел последний попечитель с самого конца села. Тогда он вынул официального вида бумагу с печатью и протянул отцу Сергию:

– Прочитайте и распишитесь!

– А ну, в чем дело?.. «Запретить в священнослужении, за неблагоповедение на съезде... священника села Острой Луки Сергея Евгеньевича С-ва... а также священника села Березовой Луки Григория Алексеевича Смирнова и священника села Духовнического Сергея Ивановича Филатова... подписано: Николай, епископ Пугачевский...» Отец

Сергий бегло просмотрел приказ, потом внятно, чтобы все поняли, прочитал его вслух, еще раз про себя, точно стараясь запомнить во всех деталях, потом аккуратно свернул и протянул Апексимову. Держался он как будто спокойно, только непроизвольно вздрагивал мускул на щеке. Отец Сергей потер его рукой.

– Возьмите, – сказал он Апексимову. – Должен вас предупредить, что вы не в свою епархию заехали. И бумага эта для меня... как бы сказать... – Филькина грамота, – подсказал Бурцев.

– Я хотел подобрать выражение помягче, но и это подойдет, – ответил отец Сергей. – Может быть, мне пришлют запрещение евреи, татары, беспоповцы или еще какие-нибудь иноверцы. Что же, я всех должен слушать?

– Хорошенько подумайте, отец Сергей, – предупредил Апексимов, принимая строгий вид. – Такая позиция может навлечь на вас крупные неприятности. Я завтра заеду проверить, как вы выполняете распоряжение.

– Можете не заезжать, вы меня все равно дома не застанете. Я буду служить. У нас завтра Рождество Иоанна Предтечи.

– Ну, как знаете. Я этого ждал, потому и собрал попечителей. Слышите, старики, – обратился Апексимов к собравшимся. – Ваш батюшка отказывается подчиняться архиерею, который запретил ему служение. Вы должны на него повлиять.

– Мы в эти дела не мешаемся, батюшка лучше знает, – ответил Иван Ферапонович Чичикин, тот попечитель, который пришел последним. И не вытерпел, добавил: – Значит, архиерей неправильный!

– Вся Чагра⁶⁹ одним духом вышита!

Апексимов с досадой сунул приказ в папку.

– Я вас предупреждал, что тут не о чем будет говорить, – поддержал Бурцев.

– Говорить нам точно не о чем. Но раз уже вы заехали, пройдемте ко мне домой, пообедайте, – пригласил отец Сергей.

Он был бледен и точно сразу похудел, но у него еще хватило сил вспомнить об обязанностях хозяина.

– От обеда не откажемся. Мы сегодня еще до солнца выехали. – Оба приезжих поднялись и пошли за отцом Сергием.

Попечители нерешительно переглянулись и всей гурьбой тронулись туда же. (Как в те полузабытые дни, когда батюшка встречался на улице с Кузьмой Бешеным.)

– Вы хоть обедать пригласили, – заговорил Бурцев, когда нежеланные гости уселись за стол в тенистом уголке двора, а попечители расположились немного в стороне. – А матушка Филатова нас и на двор не пустила.

– Да уж, духовницкая матушка боевая! – подтвердил один из попечителей.

Разговор не вязался. Апексимов попробовал было еще раз убедить отца Сергия, указав на тяжелые последствия, которые может вызвать его позиция («в Хиву или в Бухару поедете»), но скоро понял, что тот не хуже его представляет возможные осложнения и все же не намерен уступать.

Опять помолчали. Потом Апексимов переглянулся с Бурцевым и спросил, точно спохватившись:

– А лошадей-то вы нам, конечно, дадите?

– Не дадим лошадей, пусть пешком идут, – опять вспыхнул Иван Ферапонович, но отец Сергей остановил его:

– Не горячись, Иван Ферапонович. Отправить-то мы их на этот раз, конечно, отправим. – В его тоне ясно слышалось недоговоренное: «С удовольствием отправим поскорее, чтобы только не видеть их, чтобы они больше не возвращались!»

– Будет лошадь, – сказал Сергей Евсеевич и обернулся к кучке собравшихся женщин: – Женщины, дойдите кто-нибудь ко мне, пусть запрягут Гнедого, Иванушка пусть подьедет. В Березовую, что ли, везти?

– В Березовую.

– Ну так Гнедого. До Березовой Иванушка довезет. – Он был откровенно доволен, что не придется самому ехать с этими возмущавшими его людьми.

⁶⁹ То есть села, расположенные по реке Чагре. – *Авт.*

Гости давно уже уехали, но ни попечители, ни женщины не расходились. Словно гнетущая тяжесть, тоска или страх перед неизвестным давили всех. Как будто случилось или грозит новое горе. Все понимали, что от людей, которые недавно были здесь, можно ожидать всего. И хотелось что-то предпринять, лишь бы не сидеть вот так...

– А отец Иоанн, наверное, уж вернулся! – вдруг сказал отец Сергей, как всегда первым взявший себя в руки и искавший, чем бы рассеять общее уныние. – Хоть бы узнать поскорее, что он привез! Если бы не завтрашний праздник, сейчас бы к нему пошел!

– Батюшка, а может, я схожу? – предложил Ларивон. – Без меня как-нибудь отмолитесь. А я на ногу легкий, скоро сбегаю.

– На ногу-то ты легкий, – полушутливо ответил отец Сергей, стараясь не обидеть давнишнего сотрудника, – да язык-то у тебя дубовый. Рассказать-то ничего не сможешь.

– Правда, язык у меня плохой, – согласился Ларивон.

Другие тоже не годились, или их не пускали дела.

– А если я пойду? – вступилась Соня.

– Одна! На ночь глядя! Нельзя, – возразил отец.

– Я могу завтра чуть свет.

– А через Чагру как? Она еще широкая и глубокая, вброд не перейти. Если бы еще кто пошел, хоть из женщин, вдвоем бы было безопаснее.

– Я схожу, – вызвалась Дуся Лысова, родственница Ивана Ферапоновича. – Сгоню утром корову – и пойдем.

– Ну, это другое дело. Вдвоем идите.

Сразу стало немного легче. Поговорили о том, как лучше пройти, и собрались расходиться. Первым вышел было Ларивон, проверить, как убирается в церкви его Марья, не нужна ли ей помощь, но сразу же вернулся:

– Еще какой-то батюшка едет.

– Может быть, отец Иоанн? – обрадовался отец Сергей.

– Нет, с другой стороны. Вроде мимо кладбища проехал. На коровах. Все вышли к воротам посмотреть на нового гостя. Со стороны кладбища действительно приближалась телега, запряженная парой коров. Из телеги выглядывали две белокурые детские головки, а между ними сидел, несомненно, священник, довольно молодой, с добродушно улыбающимся лицом и редкими светлыми волосами, не прикрывающими уже довольно заметную лысину.

– Отец Алексей Саблин! – воскликнул отец Сергей. – Откуда? Почему не со своей стороны?

Отец Алексей оставил буренок, не торопясь, вылез из телеги и отряхнул солому, приставшую к подряснику.

– В Москву ездил, – ответил он, троекратно целуясь с хозяином. – На коровах?

– Нет, на коровах только из Духовницкого. Вот эти богатыри меня встретили. – Он указал на выбиравшихся из телеги двух мальчуганов лет семи – девяти. – Конечно не один. Попутчик был. С самим Патриархом разговаривал, – похвастался он.

– Как так? Где? Да оставьте вы своих коров! С ними-то ваши богатыри управятся, вон как бойко берутся. Ребята, сено вон там в сарае, тащите живее. Где вы его видели?

– В его собственном кабинете, в Донском монастыре.

– Принимает?

Отец Алексей оглянул окружившие его радостно взволнованные лица и удобно уселся на стул, на котором недавно сидел Аепксимов. Ему хотелось поскорее поделиться важными новостями, но хотелось и полюбоваться нетерпением слушателей.

– Не только посетителей принимает, – торжественно ответил он, – но и принял управление Церковью.

– Слава Богу!

Конечно, стоило сделать крюк, чтобы, заехав сюда, увидеть эти осветившиеся радостью лица. Да отцу Алексею и самому не терпелось. Если бы не было по пути Острой Луки, он готов был бы останавливать встречных на дороге и рассказывать им.

– Послание от него имею. Митрополит Тихон дал.

– Да не томите, показывайте! – Апексимов был почти забыт, отец Сергей заискрившимися глазами следил, как Саблин достает заветное послание.

«Божиею милостию, смиренный Тихон, Патриарх Московский и всея Руси.

Архипастырям, пастырям и пасомым...»

Все перекрестились, словно собирались слушать Евангелие. Все затаили дыхание. Разве можно пропустить такие слова!

Патриарх писал, что снова принимает на себя бремя управления Русской Православной Церковью. Коротко напоминал уже всем известную историю возникновения обновленчества, подробнее останавливался на нарушении канонических правил при суде над ним, произведенном заглазно. Предлагал всем уклонившимся в обновленчество поспешить воссоединиться с Церковью, а тех из духовенства, кто не захочет сделать этого в указанный им срок, запрещал в священнослужении, а мирян отлучал от Церкви. Тем же, кто не сдался, кто твердо стоял за истину, объявлял свое благословение...

Все сидели точно ошеломленные неожиданной радостью. Сергей Евсеевич, не стесняясь, плакал. А отец Алексей уже рассказывал, как он попал к Патриарху.

Нечего скрывать, он уехал, как только пошли слухи о съезде. Уехал в Москву, к родственникам, и там вскоре услышал о Патриархе и о том, что митрополит Тихон Уральский тоже в Москве. Управлять епархией пока не собирается, к себе никого не пускает, а его пустил. Ведь Саблин воспитанник миссионерской школы, той школы, которую в Пугачевском уезде сначала шутя, а потом по привычке почти серьезно называли «Тихоновской академией». Первое назначение школы было готовить миссионеров местного масштаба и священников для единоверческих Церквей, только в последние годы их стали назначать везде. Эту школу Тихон, тогда еще архимандрит, открыл в Преображенском монастыре города Николаевска (Пугачева), где был настоятелем и где прожил чуть не всю свою жизнь, сначала викарием Самарской епархии, а потом и самостоятельным архиепископом. Школа – дело всей его жизни, он знал всех ее воспитанников и, конечно, не мог не принять Саблина. И конечно, первый вопрос, который задал отец Алексей, был о том, как относиться к обновленчеству.

– Я тебе пока ничего не скажу, – ответил митрополит. – Завтра сходи в храм Христа Спасителя, к обновленцам, посмотри; потом зайди получи благословение у Патриарха. А потом поговорим.

Отец Алексей пошел. В храме Христа Спасителя служил «митрополит всея Сибири» – Петр Блинов, громадного роста, рыжий, стриженный и бритый, с бычьей шеей и грубым красным лицом. «Рожа кирпичика просит, как бандит какой», – с отвращением вспоминал Саблин.

Потом он пошел к Патриарху. Что тут рассказывать? Простая светлая комната со множеством икон. Белые стены, белая мебель, и сам Патриарх весь белый – седой, в белой рясе, только глаза голубые, ласковые-ласковые. Он благословил посетителя и дал ему просфору, тоже белую-белую, каких в заволжских степях давно не видали. И все.

– Но когда я вышел на улицу, – продолжал отец Алексей, – я не мог понять, почему люди ходят так, как в обычный будничноый день. Мне казалось, что сегодня большой праздник.

Большой праздник он оставил своим посещением и в Острой Луке. Долго еще сидели люди во дворе у отца Сергия, перечитывая и обсуждая оставленную Саблиным копию послания, не длинного, но такого значительного. Соня уже подумала, что ее завтрашнее путешествие отменяется, но нет. Всем хотелось еще больше хороших новостей, а что они будут хорошими, теперь почти не сомневались.

Хочется добавить еще одну подробность. У Саблина в это время тяжело болел мальчик. Родители начали давать ему каждый день по маленькому кусочку полученной от Патриарха Тихона просфоры. Ребенок жил, пока не кончилась просфора.

Отец Иоанн Тарасов появился в соседнем с Острой Лукой селе Малая Екатериновка сравнительно недавно. В том селе рядом с церковным домом была дача отца Сергия Пряхина, там Тарасов познакомился с С-вым, но сблизились они гораздо позднее, уже после смерти Евгении Викторовны. Может быть, именно теперь, проникнутые глубокой верой краткие слова сочувствия и ободрения, которыми он приветствовал отца Сергия, приехав на похороны, и дали толчок к этому сближению, принявшему несколько своеобразную форму. Про них нельзя было сказать, как про других: «знакомы домами». Старшие дети отца Сергия были ровесниками младшим – отца Иоанна, оба батюшки, приезжая один к другому, нередко забирали с собой сыновей «посмотреть за лошадью»; Соня часто бывала в Екатериновке и с отцом, и одна, по его поручениям, и их всегда принимали очень радушно. И все-таки трудно было представить, чтобы один из них приехал к другому со всей семьей на именины или престольный праздник. Зато сам отец Иоанн всегда был желанным гостем в семье С-вых, и старшие дети бросали все, чтобы слушать его разговоры с отцом, их горячие, одушевленные споры, во время которых они забывали все окружающее.

– Хоть бы вы говорили немного потише, – пыталась иногда вмешаться Юлия Гурьевна, – на улице могут подумать, что вы ссоритесь.

Собеседники немного стихали, но скоро опять увлекались и забывали все окружающее.

Иван Емельянович Тарасов в молодости был пастухом. Сидя где-нибудь под кустом около стада, он изучал логику и психологию, богослужебный Устав и историю Церкви и другие книги, которыми его снабжал местный священник. Когда в селе освободилось место псаломщика, он занял его, продолжая еще настойчивее заниматься самообразованием, и наконец экстерном сдал экзамен по программе духовной семинарии и сделался священником.

Из времен своей молодости он любил вспоминать один случай, когда ему пришлось беседовать с известным на всю Россию баптистским проповедником Калмыковым⁷⁰.

Калмыков приехал погостить к друзьям в то село, где Иван Емельянович был псаломщиком, и, как водится, начал заводить с соседями споры о вере. Мужички послушали его и остановили: «Что ты с нами говоришь, мы от Писания не можем, – сказал кто-то, – погоди, мы лучше Ивана Емельяновича позовем».

Услышав неожиданное приглашение, молодой псаломщик зашел за советом к батюшке, по болезни почти не выходившему из дома.

– Сходи поговори, – посоветовал ему тот. – Вы же частным образом будете беседовать, не беда, если на что-нибудь и не ответишь, ты человек молодой, неопытный, тебе простительно. Помни только, что, когда баптисты ссылаются на библейские тексты, часто бывает достаточно прочитать это место немного выше или немного ниже, и тогда будет ясно, что они просто неправильно толкуют взятые слова. Иди с Богом, желаю удачи!

Этот совет и прежние, менее серьезные опыты помогли Ивану Емельяновичу в борьбе с опасным противником.

Замечено, что самые сильные доводы пропадают без успеха, если их высказать вначале, когда народ еще не освоился с темой и не почувствовал, что вопрос достаточно освещен. Только после довольно длинной беседы Иван Емельянович задал баптисту опасный вопрос: «А откуда произошла ваша вера?»

Если бы этот вопрос был задан раньше, Калмыков постарался бы как-нибудь уклониться от ответа, но теперь он разгорячился, позабыл об осторожности и ответил, что сначала было

⁷⁰ Фамилия вымышленна, так как действительную фамилию я не помню. – Авт.

молоканство, потом среди молодежи начались разногласия, и они разделились на две ветви: старые молокане и вновь образовавшаяся секта баптистов.

– Народ сразу зашептался, – рассказывал отец Иоанн, – а я говорю: «Значит, ваша вера новая, не от Христа и апостолов. Против таких еще апостол Павел предупреждал: „Если я или ангел с небеси благовестит вам паче, нежели благовестихом, анафема да будет!“⁷¹ Значит, вот вы и подлежите анафеме, раз учите не тому, чему учили апостолы, а нам что лезть к вам и чего искать от своей веры? „Сия вера апостольская, сия вера православная, сия вера вселенную утверди!“»

Калмыков послушал, потом встал, говорит: «Молод еще ты со мной беседовать-то!» Повернулся и вышел и дверью хлопнул. И больше уже ни разу не начинал споров до самого своего отъезда.

В Екатериновке, где теперь служил отец Иоанн, чаще, чем в соседних селах, возникали случаи браков, для которых требовалось архиерейское разрешение. И это тоже было одной из причин, побудивших отца Иоанна поехать в Саратов.

Соня пришла вовремя. Отец Иоанн действительно только что вернулся и был весь начинен новостями. Соне пришлось записывать их, чтобы не забыть. Правда, большая часть из них были мелкие, но одна хоть несколько и уступала по значению сообщению о Патриархе, была, однако, не менее радостной. В Саратове действительно есть православный епископ, Петр Сердобский, бывший протоиерей Павел Соколов.

Саратовцы рассказывали, что были выдвинуты два кандидата – протоиерей Павел Соколов и Анатолий Комаров. Для окончательного решения и благословения послали к бывшему архиепископу Саратовскому Досифею. Ответ пришел не скоро, в нем давалось благословение посвятить Соколова с пострижением в монашество, а Комарова даже без принятия монашества.

Благословение только подтвердило и подкрепило то, что уже было сделано. Этот ответ так задержался, что его не дождалась. Два епископа, заехав на короткий срок в Саратов, вызвали отца Павла в скит, постригли его в монашество и посветили во епископа. Через несколько времени был посвящен отец Анатолий Комаров, во епископа Вольского⁷².

Епископ Петр согласился принять в свое ведение три осиротевших прихода (да и не только три, а все, которые захотят) до тех пор, пока у них не появится собственный архиерей. Нужно только постановление общего собрания верующих о желании приходов иметь его своим главой. Теперь надо провести поскорее собрания, а потом отец Иоанн не прочь опять поехать в Саратов, уже с протоколами собраний.

Сообщение было настолько важным, что отец Сергей не дал даже Соне подробно рассказать всех остальных новостей, а сразу же пошел с ней в Березовую Луку, чтобы поскорее порадовать кума, который тоже, конечно, невесело себя чувствует.

Требуемые постановления были готовы через несколько дней, а еще через некоторое время отец Иоанн привез из Саратова официальное подтверждение того, что такие-то приходы приняты в ведение епископа Сердобского.

Теперь это была не просто «беспокойная Чагра», по какому-то капризу отделившаяся от своего законного епископа, как трактовали их Варин и Апексимов. Это была часть Русской Церкви, едва ли не оторванная от нее насильно. У них была действительно законная церковная власть, не только епископ, но и Патриарх. И когда в сентябре отцу Сергию пришлось-таки месяца на полтора покинуть свой приход, он был, по крайней мере, спокоен, что приход стоит на правильном пути.

⁷¹ См.: Гал. 1: 8–9.

⁷² Он тоже принял монашество с именем Андрей. Но о нем отец Иоанн, конечно, еще не мог рассказать, это произошло позднее. – *Авт.*

Но еще раньше этого, раньше даже, чем отец Иоанн вернулся из Саратова, было получено еще одно важное сообщение. Отец Сергей Филатов привез копию протокола объединенного собрания духовенства и мирян всех самарских приходов. Несмотря на противодействие уполномоченного ВЦУ Стрельникова, Алексеева и некоторых других, было постановлено держаться патриаршей ориентации, не признавать ни одного из обновленческих течений и не допускать до служения священников-обновленцев.

Это не значило, что в Самаре настала тишина и что все подчинились новому постановлению. Нет, еще года два продолжалась упорная борьба, окончившаяся тем, что за обновленцами остались только кафедральный собор со Стрельниковым и Руновым, Покровская церковь – с Чубукиным и лагерная с Льговым.

Это постановление и, разумеется, возвращение Патриарха, как и предвидел отец Сергей, сыграло важную роль в жизни не только Самарской епархии, но и граничащего с ней и еще недавно бывшего ее частью Пугачевского уезда, или Заволжского округа, как его скоро стали называть. В это время началось массовое возвращение к Православию отторгнувшихся от него приходов. В первую очередь это, конечно, произошло там, где священники сами с тяжелым сердцем принимали обновленчество; там же, где они молчали, начинали работу миряне. Они посылали выборных в соседние села к уважаемым священникам (к отцу Сергию, например, приезжали даже из других округов), сами с их помощью разбирались в сути дела и предъявляли своим батюшкам ультиматум: или присоединиться к Православию, или оставить приход. Многие подчинялись и ехали к архиерею или письменно приносили покаяние, но некоторые упорно держались своего. К таким во втором округе, конечно, относились Варин, Апексимов и, опять совершенно неожиданно для знавших его, – Сысоев. Его положение было более невыгодно, чем других обновленцев: березовская церковь всего в версте от дубовской. Недовольным направлением батюшки ничего не стоило пойти помолиться или за совершением требы и в Березовую, и в Острую Луку, что они и делали, не забывая в то же время твердить отцу Федору о неправильности его позиции и о необходимости присоединиться к православию.

Не раз заходил к нему и отец Сергей, уважавший его за настойчивость, хотя это качество у него часто переходило в упрямство. Именно это, вместе с высоким мнением о себе, делало отца Федора неуязвимым в любом споре. Он заявил: «Я вам не Бурцев, чтобы вертеться, куда ветер дует», – и упорно стоял на своем.

Первая волна присоединений стала спадать. Дальше, не только во втором округе, но и везде кругом, приходилось бороться за каждый отдельный приход. И на смену радостным все чаще стали приходиться тяжелые известия.

В середине сентября умер отец Василий Карпов. Мячин остался в приходе один и, несмотря на настойчивые требования прихожан, и слышать не хотел о том, чтобы допустить нового человека на освободившееся место. Еще раньше Апексимов, воспользовавшись временным отсутствием левенского священника Седнева, подобрал там партию горлопанов и с их помощью самовольно занял приход. Отец Федор Седнев, молодой многосемейный священник, оказался в очень тяжелом положении – и материальном, и моральном. Он попытался хлопотать о восстановлении своих прав, просил о том же и прихожан, да большинство прихода и так были на его стороне: его жалели как человека, возмущались несправедливостью и не хотели иметь священника-обновленца. Но «дружки» Апексимова оказались очень крепкими, их не пугали ни постановления общего собрания, ни другие попытки Седнева и его сторонников.

Через некоторое время пришло обращение митрополита Тихона к епархии. Он писал, что приступает к управлению епархией. Однако, по-видимому, он совершенно не представлял положение дел на местах, и начало его управления чуть ли еще не усилило беспорядка.

Между прочим, его появлением воспользовался Апексимов. Он съездил в Москву и вернулся с указом присоединенным и, по-прежнему, благочинным. О Левенке в указе не было ни слова. Конечно же, Апексимов сумел объяснить все, как ему нужно.

Подобные случаи усиливали недовольство уже и митрополитом. Опять начались разговоры об «академиках». Уже много лет священники-семинаристы чувствовали себя пасынками. Митрополит Тихон, еще будучи викарным епископом, фактически получавшим власть только в отсутствие епархиального, всячески подчеркивал свое особое благоволение к воспитанникам своего училища. Сделавшись же самостоятельным, он везде продвигал их в ущерб семинаристам. И чем чаще это случалось, тем крепче прививалось давно уже кем-то пущенное в ход чуть-чуть горькое, чуть-чуть ироническое выражение: «Тихоновская академия». Семинаристы, безусловно, более образованные, с более широким кругозором, да и более опытные, хотя бы потому, что были старше, видя, что их обходят, с затаенной обидой говорили: «Ну, что же, мы ведь только семинаристы, а они академики».

Несправедливость почувствовалась еще сильнее после того, как события показали, что семинаристы были и более стойкими, с более высокими нравственными понятиями: процент семинаристов, уклонившихся в обновленчество, был значительно ниже процента «академиков». Так, во втором округе все трое не подписавшихся после съезда к обновленчеству, т. е. Филатов, Смирнов и С-в, были семинаристами; Тарасов тоже, хотя и окончил экстерном; среди «академиков» блистали фамилии Варина, Апексимова, Бурцева, Сысоева.

Надо сказать, «академики» со своей стороны, может быть бессознательно, постоянно подливали масла в огонь, лучшие из них не могли удержаться и не подчеркнуть при случае, что «митрополит их любит», а другие так и довольно беззастенчиво пользовались такой любовью. В числе их был и Апексимов. После его возвращения из Москвы легкое недовольство семинаристов превратилось в возмущение. Эти чувства, да и то не сразу, сгладились под мягкой и крепкой рукой епископа Павла, когда вдобавок стало не хватать священников даже и с таким образованием. Худшие тогда отсеялись, предварительно показав себя во всей «красе», а некоторые из остальных проявили высокие нравственные качества.

Ловкий шаг Апексимова – его расценивали именно так – затруднил положение сторонников Седнева. У них было выбито основное оружие – указание на обновленчество узурпатора. Теперь борьба велась только во имя справедливости, а на это не всякого растолкаешь. Многие устали и готовы были смириться со всем. «Есть у нас батюшка, в церковь ходить можно, а за остальное он сам отвечает».

Отец Сергей встретил Седнева на базаре в Хвалынске, куда отец Федор приехал что-то продать. Он похудел, глаза его горели голодным блеском, в них была тоска и, что больше всего поразило и испугало отца Сергия, – озлобление.

– Если бы я был один, а то ведь они... – Седнев подтолкнул стоящего около него мальчика. – Они ведь есть просят! Большой, угловатый, он резко и как-то неумело опустил свою крупную голову, но не мог скрыть, что по щекам катятся слезы. Отец Сергей пригласил его к себе на квартиру, покормить чем Бог послал и отделить ему часть скопленных к этой поездке денег, – у самого-то их было не густо, надолго ли этого на такую ораву... Пригласил и потерял покой.

– У него глаза сделались, как у голодного волка, только я помянул про Апексимова, – рассказывал он дома Юлии Гурьевне. – Когда я это увидел, когда увидел, как мальчонка набросился на наши черствые подорожники, у меня все перевернулось. Что-то нужно делать!

Несколько дней он только об этом и говорил со всеми, кого видел. Несколько дней, когда не было посторонних, ходил взад-вперед по комнате, заложив руки за спину и что-то обдумывая. Потом, помолясь, сел писать письмо митрополиту.

Это было не письмо, а целая тетрадь. Когда он закончил, Соня чуть не три дня переписывала его набело; конечно, ей приходилось писать медленно, чтобы было отчетливо, аккуратно и, по возможности, красиво. Отец Сергей писал, зачеркивал, надписывал между строк, на

полях; вставлял дополнительные листы с новым текстом; делал в тексте разнообразные значки и, где-нибудь в конце тетради, писал под этими же значками длинные вставки. Отдель...⁷³

...пространстве между мебелью. – Академик, человек безусловно умный. Неужели у него не возникло никаких сомнений при появлении всех этих новшеств? Придется написать.

И он засел за новое письмо, занявшее тоже несколько листов, не почтовой или тетрадной, а настоящей писчей бумаги.

Ответ на письмо пришел спустя несколько месяцев. Отец Константин благодарил свояка за подробную информацию и сообщал, что они с отцом Иоанном подробно изучили письмо и читали его сослуживцам и прихожанам. Никто из местного духовенства не захотел утруждать себя неудобными размышлениями, зато из народа многие заинтересовались. Под руководством отца Константина и отца Иоанна они организовали новую общину, и теперь у них идет служба в молитвенном доме. Письмо отца Сергия путешествует по ближайшим селам, где тоже многие начинают порывать с обновленчеством, а сами они в городе хлопочут, чтобы им передали одну из церквей.

Глава 35 Новые события

Однажды вечером в Острую Луку заехал Табунщиков.

– Отец Димитрий! Какими судьбами! – радостно приветствовал его хозяин.

– Я не один, а с отцом Василием, – вместо ответа сказал тот, сторонясь, чтобы его объемистая в зимнем снаряжении фигура не заслоняла маленького и щупленького Гусева. Отец Василий быстро разделся, пригладил рыжеватые, недлинные, словно обкусанные, волосы и прошел в комнату.

– Это все он. Начальник, – указал он на Табунщикова, не то от холода, не то от удовольствия, крепко потирая руки. Глаза отца Василия чуть-чуть щурились и смеялись добродушно, с едва заметной хитринкой. Казалось, он знал что-то очень ему приятное, но не говорил, чтобы продлить удовольствие.

– Как с начальством спорить? Возил, возил по своему округу, потом в чужой захотелось. К Кудринскому пробираемся, а по пути к вам ночевать завернули. Не прогоните?

В другое время отец Сергей подхватил бы шуточный тон разговора, но сейчас ему было не до того. «Вы, отец Димитрий, кажется, в Москву ездили? Что хорошего оттуда привезли?» – озабоченно спросил он.

Странно, что отцу Василию не сиделось на месте. Да и Табунщиков никак не мог устроиться удобно. Он сел было лицом к столу, потом повернулся боком, еще как-то по своему передвинул стул и все не находил места для папки с бумагами, сделанной из корок большой канцелярской книги и завязанной от всяких дорожных неприятностей в платок.

– Привез, много привез. Сейчас все по порядку расскажу, – начал он, поправляя свои темные, с легкой проседью кудри, но Гусев прервал его:

– А вы-то, отец Сергей, как живете? Еще не благочинный? – Маленькие ручки беспокойного батюшки задвигались еще энергичнее. – А то, может быть, власть на власть наехала? Табунщиков тихонько толкнул его коленом.

– Перестань, отец Василий, хватит! – с легкой досадой сказал он и заговорил о патриаршей службе, за которой ему удалось побывать, о том, чем дышит Москва и как живет митрополит.

Отец Сергей вдруг встал и снял с вешалки стеганный подрясник.

⁷³ Пропуск текста в оригинале.

– Разволновали вы меня что-то, отцы! – пожаловался он, одеваясь. – Знобит. Гости переглянулись.

– Ближе к делу, отец Димитрий, – уже без улыбки поторопил Гусев.

– Что же, перейдем ближе к делу. – Голос Табунщикова вдруг стал совсем другим, деловым и даже слегка торжественным.

– Ваше письмо, отец Сергей, митрополит получил, при мне его зачитывал. И я ему кое-что рассказал, как съезд проходил и что у нас здесь творится. Словом...

– Словом, поздравляю вас, отец Сергей, благочинным, – опять не вытерпел Гусев.

– Эх! – укоризненно крикнул Табунщиков. – Торопыга! Совершенно верно, вы назначены исправляющим должность благочинного второго округа. Вот и указ.

Табунщиков подождал, пока отец Сергей внимательно прочитал указ, написанный на четвертушке писчей бумаги (в те годы бумагу еще очень экономили), и подал другую:

– А вот еще.

Это был даже не листок, а просто бумажная ленточка сантиметров четырех ширины, вмещающая всего несколько строк. Отец Сергей прочитал ее не менее внимательно, чем первую, зачем-то перевернул и рассмотрел и обратную сторону.

– Интересно! – сказал он. – На этой вот стороне написано: «Священник Сергей С-в награждается камилавкой». Потом зачеркнуто и на обороте написано: «Священник Сергей С-в, награжденный мной в 1921 году камилавкой, награждается золотым наперсным крестом».

– Ну, забыл старик, какая была последняя награда, а потом вспомнил и поправился.

– Ничего он не забывал, а то не стал бы объясняться о прошлом награждении, – возразил отец Сергей. Он даже оживился и с обычной горячностью начал излагать свою точку зрения.

– Просто наговорили вы ему про меня туры на колесах. Написал: «Награждается камилавкой», да и думает: «Эх, мало ему, человек-то он больно уж хороший! Дай награду сразу наперсным крестом!» Ну и написал, а для точности и о награждении камилавкой приписал, чтобы мне не думалось. Только тут-то вот действительно ошибся. Я и скуфью-то получил только в двадцать втором году, а он пишет про камилавку в двадцать первом.

– В этом теперь разбираться незачем. Крест-то уж вы, несомненно, получили, с чем вас и поздравляем!

– Погодите поздравлять! Если это законная награда... Да и вообще, посыпались как из рога изобилия: и камилавка, и крест, и благочиние...

– Благочиние не награда, а очень тяжелая обязанность, – поправил Табунщиков, а Гусев спросил:

– А сколько лет вы вообще служите?

– Ну, двадцать!

– Двадцать лет... считая междунатурный срок три года... скажем, первая награда через шесть лет после посвящения... – считал Гусев. – Так вам уже давно пора бы протоиереем быть, а вы о кресте спорите.

– Много бы развелось протоиереев, если бы всех так награждали! Вспомните, как раньше было. Лет пятьдесят тому назад камилавки-то по селам были раз-два и обчелся. А то – протоиерей! Отец Сергей еще плотнее закутался в теплый подрясник, даже весь съезился и руки засунул в рукава.

– И перед соседями мне стыдно, – добавил он. – Отец Григорий и отец Иоанн старше меня, да камилавок не имеют, а тут сразу наперсный крест!

– Представляйте и их к награде, это ваше право, как благочинного, митрополит не откажет, – сказал Табунщиков.

– Еще бы отказал, он это любит.

Отец Сергей задумчиво прошелся несколько раз по комнате и опять сел.

– Так о чем же вы еще говорили? – спросил он.

Табунщиков достал доклад отца Сергия. Видно было, что над ним добросовестно потрудились. Некоторые строчки были подчеркнуты. На широких полях, отличающих рукописи отца Сергия, стояли крестики, знаки вопроса, иногда было написано целое примечание. Пробираясь, как по вешкам, по этим знакам, отец Димитрий пересказывал все, что митрополит поручил ему передать на словах.

В эту ночь отец Сергей почти не спал. Он не хуже Табунщикова понимал, что благочиние – это тяжелая обязанность, и мысленно уже составлял план будущей работы; получилось так, что устранение всех недостатков, о которых он писал митрополиту, теперь является его обязанностью. Хитро поступил митрополит, переложив эти дела на его плечи... Да и справедливо, здесь, на месте, можно добиться больших результатов, чем из Москвы. Зато и сколько новых трудностей, которых нет для Москвы.

Утром отец Сергей послал за псаломщиком Николаем Потаповичем и за Сергеем Евсеевичем и показал им указы. Николай Потапович, по обыкновению, принял новости довольно равнодушно; поздравил, заранее извинился, если когда-нибудь ошибется и по привычке называет просто батюшкой, а не отцом благочинным. «Вот пустяки! Когда же я обращал внимание на такие вещи, – возмутился отец Сергей. – Да я и не благочинный, а только исправляющий должность. Идол благ», – усмехнулся он, но Николай Потапович остался при своем мнении. Он несколько лет прослужил с Перекопновским и помнил, как щепетильно тот относился к этому вопросу.

Отец Сергей не думал о названии, и оно так и не укоренилось. Разве только немногие приезжие из далеких сел называли его отцом благочинным. «Батюшка» было ближе и радостнее и ему самому, и тем, кто к нему обращался.

Сергей Евсеевич и друзья-соседи, отец Григорий и отец Иоанн, конечно, понимали тяжесть возложенных на их друга обязанностей, но они, прежде всего, были рады этому, как победе православной стороны, а Сергей Евсеевич, вдобавок, кажется, не меньше детей отца Сергия был восхищен полученной им наградой.

Несомненно, что все они в своих молитвах вспоминали нового благочинного и молились о даровании ему мудрости и об избавлении от всяких неприятностей, но думали ли они о том, что постоянно теперь имел в виду отец Сергей? О том, что так хорошо выражают недавно прочитанные им и глубоко запавшие ему в сердце слова, что только великим людям свойственно слышать порицания без гнева и только святым и преподобным – переносить похвалу без тщеславия. Об этом он думал и об избавлении от этого искушения молился.

Поездка к соседям была началом выполнения плана, намеченного отцом Сергием в первую бессонную ночь. Он вернулся с Тарасовым, и они вместе поехали к Апексиму принимать дела... Оба друга прекрасно понимали, с кем имеют дело, и торопились, чтобы тот не услышал о своем отстранении со стороны и не припрятал какие-либо важные документы. Передача состоялась хоть и в очень напряженной обстановке, но без особых столкновений. Кстати, приезжие пригласили еще в качестве свидетелей и кое-кого из граждан. В их присутствии после окончания передачи заговорили и о старом деле – самовольном захвате прихода. Апексимов, до сих пор еще немного сдерживавшийся, здесь разошелся вовсю, заявил, что не намерен оставлять Левенку, что в этом деле ему не указ ни благочинный, ни митрополит, что он подчиняется только желанию народа. Приезжие предложили собрать общее собрание. Председатель церковного совета, сторонник Апексимова, отказался, но народ уже узнал и о гостях, и о том, зачем они приехали, и люди сами сошлись к священническому дому. Собрание получилось бурное, ни та, ни другая сторона не хотели уступать. При этом отец Иоанн проявил неожиданный талант: он сам держался спокойно и умел сдерживать расхрипевшиеся страсти народа. С его помощью отцу Сергию едва-едва удалось указать верующим на некоторые церковные правила, касающиеся перемещения священников без воли епископа, и объяснить права граждан по последним постановлениям правительства. Апексимов пригрозил, что поднимет

дело о незаконном собрании, и тогда некоторые из его противников сами попросили батюшек уехать. Они поблагодарили за полученные указания и обещали, что сами продолжат начатое дело и через некоторое время приедут в Острую Луку. И приезжали потом не раз.

К возвращению отца Сергия Юлия Гурьевна достала бережно хранившийся у нее наперсный крест своего покойного мужа, отца Виктора, и торжественно вручила его зятю. Конечно, редко у кого хватало средств приобрести действительно золотой крест, он был серебряный позолоченный; зато имел требуемую четырехконечную форму и обязывающую надпись на оборотной стороне: «Пресвитеру, дающему образ верным словом и житием».

Однако отец Сергий серьезно считал себя не вправе принять эту награду. Вместе с донесением митрополиту о положении в Левенке он написал и об этом. О том, что не мог получить камилавку в 1921 году, получивши только в 1922 году скуфью, и что не считает себя вправе принять данную по недоразумению награду.

Митрополит Тихон ответил довольно быстро.

«Мне ведомо, – писал он, – что я наградил вас камилавкой» – и добавлял, что недоразумения никакого не было, что наперсный крест дан справедливо.

Только после этого отец Сергий надел наперсный крест и присоединился к своим соседям, заказавшим Ане Смирновой поискать в Ленинграде фиолетового бархата сразу на три камилавки. Потому что вместе с этим письмом был получен и ответ на первое сделанное новым благочинным представление к наградам. Отец Иоанн и отец Григорий получили камилавки.

Глава 36

Другие приходы

Даже при описании крупных событий, совершившихся в прогремевших на весь мир городах, вроде Сталинградской битвы и блокады Ленинграда, авторам не удается полностью придерживаться хронологического порядка. Тем более это невозможно, когда дело идет о мало кому известных городах и совершенно неизвестных селах. Поэтому придется описывать происходившее в каждом из них отдельно, не считаясь с тем, когда начались и когда окончились эти события.

Как уже упоминалось, после получения в Камне письма отца Сергия, там образовалась православная община во главе с отцом Константином Виноградовым и его сослуживцем отцом Иоанном. Постепенно их община все разрасталась, а обновленческие общины уменьшались. Тогда православные начали хлопотать о передаче им одной из городских церквей.

Желанное постановление было получено в Страстную Пятницу 1925 года. Часы служили еще в молитвенном доме. На его оборудование в свое время тоже было затрачено немало энергии. Он помещался в большом доме, снимаемом общиной. Дом был расположен глаголем, и алтарь пришлось устроить посередине, в прямом углу на стыке двух комнат. Потому иконостас был сделан не в виде прямой стены, а полукруглым, обнимающим алтарь с трех сторон. В числе прихожан оказался искусный резчик по дереву, и иконостас, сделанный из кедрового дерева, был весь резной, так же как и подсвечники, красивая дарохранительница в виде пятиглавого храма и даже сосуды. Чтобы Святые Дары не могли попасть на дерево, внутрь Чаши вставили большую фаянсовую чашку с расширяющимися наверху краями.

Теперь все это нужно было переносить. Отслужив велии⁷⁴ часы, сразу начали переселение в церковь. Некоторые из прихожан даже домой не заглянули в этот день. Переносили церковную утварь, приводили в порядок церковь, мыли полы. Когда наконец все было сделано, церковь освятили и тут же, хотя и с большим опозданием, начали вечерню с выносом Плащаницы. А во время пасхальной заутрени в освещенное алтарное окно кто-то выстрелил из охот-

⁷⁴ Великие.

ничьего ружья. Одна из дробинок оцарапала висок четырнадцатилетнего сына отца Константина, прислуживавшего в алтаре.

В окрестностях Самары борьба началась раньше, чем в самом городе. Так, в группе сел было дано распоряжение перейти на новый стиль с 8/21 ноября 1922 года, т. е. вместо празднования Архистратигу Михаилу праздновать Введение. В селе народ показал свой протест прямо во время службы. Конечно, службу совершали Введению, этого прихожане остановить не могли, но икону праздника беспрестанно заменяли. Только что кто-нибудь уберет и заменит образом Архистратига Михаила.

Вовсе не подчинялся этому распоряжению только священник отец Павел П-ий.

В самой Самаре долго шла борьба за храмы, наконец за обновленцами закрепились кафедральный собор и Покровская церковь. Причем вновь приехавший обновленческий архиепиеей Александр Анисимов, как тогда говорили, «брал собор штурмом». Очевидцы и участницы этих событий рассказывали, что, когда Александр пробивался к дверям собора, а женщины отгаскивали его за рясу назад, под рясой были обнаружены брюки-галифе, что и утвердило за ним прозвище Сашки-Галифе. Но немногие знают, что после Анисимова в Самаре был другой обновленческий архиепиеей с тем же именем, для большинства они слились воедино. Между тем этот второй Александр не только не обладал наглостью первого, а даже, как рассказывают, под конец своей жизни горько раскаивался в своем уклонении. Больной, почти умирающий от истощения, он, однако, отказывался от приносимых ему православными женщинами продуктов, говоря: «Я недостойн этого».

Недавно одна женщина, К. И. Д., вспомнила, как она, вероятно, году в двадцать пятом – двадцать седьмом, попала в собор на Пасху. Она, тогда еще молодая, ни в чем не разбиравшаяся девушка, вместе с несколькими подругами отправилась к пасхальной заутрене в Ильинскую церковь. Они немного запоздали, крестный ход уже закончился, и войти в церковь не было никакой возможности. Покружившись некоторое время в толпе около церкви, они решили пойти в собор. Торопливо, все еще, видимо, с сознанием того, что опаздывают, они влетели туда, выскочили на середину и остановились в недоумении: собор был пуст, только по углам виднелось человек десять богомольцев.

– Может быть, их было и пятьдесят, может быть, и сто, – говорила К. И. Д., – факт тот, что в таком огромном здании их было совсем незаметно. Это нас особенно удивило, потому что мы только пришли из Ильинской церкви и видели, какая там давка.

В Пугачеве тоже была попытка «штурма», только с другим концом. Ей предшествовали другие достойные внимания события. Прежде всего, во второй половине 1922 года там соби-рался съезд для избрания епископа. Собрали его спешно, присутствовали на нем только горожане да приехавшие из ближайших сел. Кандидатом был выдвинут всеми уважаемый Николай Асофович Благомыслов, бывший преподаватель местного духовного училища, девственник, один из идейных и культурных руководителей города. Он отказался, ссылаясь на болезнь, и действительно после того недолго прожил.

Тогда избрали священника ближнего села Давыдовка, отца Николая Амасийского, чуть ли не единственного вдовца среди присутствовавшего духовенства (кроме старика Парадоксова и единовеца Заседателя).

Только самому Амасийскому известно, как он «ошибся» в Москве и вместо митрополита Тихона попал к митрополиту Антонину⁷⁵, главе «Союза Возрождения». Известно-то только ему, однако темные слухи об этом достигли Пугачева еще до его возвращения. Встречая Амасийского по приезде в город, настоятель пугачевского кафедрального собора (Нового), отец

⁷⁵ Антонин (Грановский, 1865–1927), один из лидеров обновленческого движения. До перехода в обновленчество епископ Владикавказский и Моздокский (1913–1922). В 1922–1923 гг. – обновленческий митрополит Московский, председатель ВЦУ. В 1922 г. организовал «Союз церковного возрождения». В 1923 г. порвал с другими направлениями обновленчества, отказался от титула митрополита.

Павел Попов, в «приветственной» речи задал ему вопрос: «Дверьми лиходишь, владыко?» Из ответа новопосвященного епископа можно было понять, что он очень обижен этим вопросом.

Разумеется, после такой встречи Попову не пришлось служить в Пугачеве, но и епископ Николай очень недолго удержался в Новом соборе, он укрепился в Старом, где настоятелем был давно известный как либерал протоиерей Парадоксов, а на второй штат Амасийский перевел из села своего сына, тоже Николая⁷⁶.

Если епископ Николай хотел прикрыться авторитетом отца Василия Парадоксова, то он глубоко ошибся. Получилось наоборот, что и этот авторитет сильно пошатнулся, особенно среди прихожан Нового собора. Многие из них долгие годы не могли простить Парадоксову его уклонения от Православия.

Рассказывали, что отец Василий выступил на общегородском собрании верующих с защитой обновленчества, причем употребил выражение: «У Старой Церкви имеются наросты...» В ответ на это послышалась реплика: «Это у тебя у самого наросты» – намек на большую шишку на плешивой голове оратора.

На освободившееся место настоятеля Нового собора вскоре был назначен протоиерей Александр Моченев. Но пока об этом хлопотали, о пустующем месте узнал Варин и решил сам занять его. Самое видное (хотя далеко не самое богатое) место в уезде привлекало его и лично, и как уполномоченного ВЦУ, чтобы не выпустить его из сферы влияния обновленцев. Вот тут-то и произошло столкновение, в котором, в отличие от Самары, принимали участие не только женщины, а и мужчины, попечители. «Штурм» был отбит, сломать замка не дали, но Варин подал в суд на весь церковный совет. Среди его членов был известный тогда в Пугачеве адвокат Земцов, как будто невелика шишка, уездная «знаменитость», но для характеристики Земцова можно сказать, что его соперником, как знатока своего дела, тогда был до сих пор славящийся, уже в Куйбышеве, Татаринцев.

Земцов, конечно, взял на себя защиту всех своих сотоварищей и выиграл дело.

Дальнейшие события развернулись на Святках, в зиму 1923–1924 годов. В Пугачеве были тогда два больших собора – Старый и Новый и, кроме них, еще маленькая кладбищенская церковка и храм при женском монастыре на юго-восточной оконечности города. На Крещение обыкновенно крестные ходы из всех церквей собирались к Новому собору и оттуда уже шли на иордань. Попечители Старого и Нового соборов по очереди «готови ли иордань», т. е. прорубали прорубь, делали подмостки для духовенства, на случай, если лед «сядет» от тяжести толпы, ставили рядом с прорубью большой ледяной крест и деревянное изображение Иоанна Предтечи и Крещаемого Спасителя, украшали все вокруг молодыми сосенками. На этот раз очередь была Нового собора, однако они заблаговременно предупредили «старособорных», чтобы те готовили свою иордань, что вместе они не пойдут.

Как? Почему? В чем дело?

Кажется, нагляднее, чем где бы то ни было, в Пугачеве подтверждалась особенность, ставшая чуть ли не одним из отличительных признаков обновленчества: инертность и непонимание прихожанами разницы между Православием и обновленчеством.

Соборы стояли на двух примыкающих одна к другой площадях, точнее на одной громадной площади, разделенной оврагом; от каждого из них были видны люди, собирающиеся около другого; и вот в Новом соборе происходили такие бурные события, а старособорные точно и не слушали ничего, до них только теперь дошло, что не кого-то неизвестного, а их именно, Ивана Васильевича, Василия Ивановича, Евдокию Петровну и других, новособорные считают раскольниками и не хотят молиться вместе с ними. Начались более или менее бурные объяс-

⁷⁶ Амасийский Николай Николаевич (1889–1938). Сын епископа Николая (Амасийского). Иерей (1917). Примкнул к обновленцам, в 1923 г., после покаяния отца, также раскаялся. Арестован Пугачевским районным отделением НКВД за «антисоветскую агитацию среди верующих» (1934), сослан в Казахстан (1935), в 1937 г. приговорен к 10 годам исправительно-трудового лагеря. Скончался в местах лишения свободы в 1938 г. В 2000 г. прославлен в лике святых новомучеников.

нения между причтом и народом. Третий священник Старого собора, отец Димитрий Шашлов (переведенный епископом Николаем из Нового), встал на сторону православных. Парадоксов и младший Амасийский тоже смирились; принесли покаяние, заново освятили собор. Епископ Николай перешел в монастырь, в котором служил шурином младшего Амасийского, отец Александр Ахматов, тот самый, которого когда-то Наташа, в простоте душевной, называла «батюшкой лохматым».

Должно быть, Ахматов крепко держал в руках всех окружающих, если ему не решились возразить ни игуменья монастыря, ни второй священник, тихий и смиренный до робости отец Павел Смеловский. Монахини тоже молчали, но молча делали свое дело: старались не ходить в свой храм, а под каким-нибудь предлогом улизнуть в город, в православные храмы. Особенно это было заметно не в воскресенье, а в дни других праздников, которые Ахматов начал праздновать по новому стилю.

Так было и под Петров день. Сидя под сиренью в палисаднике, на крылечке своего домика, выходящего фасадом на внешнюю сторону монастырской ограды, отец Павел Смеловский обратил внимание на то, что монахини то в одиночку, то по две, по три, пробирались на черный, хозяйственный двор и, осторожно оглянувшись, не видел ли их кто-нибудь, направлялись в город. Понаблюдав некоторое время, отец Павел окликнул одну из выходящих и спросил, куда они идут.

Смеловского монахини не боялись. Он всегда держался очень просто, любил посидеть и поговорить в их кружке, хотя частенько прерывал разговор словами:

– А ведь вы, матери, опять за пересуды взялись!

– Ничего, батюшка, мы ведь только так, рассуждаем, – отвечали ему.

– Рассуждение сродни осуждению, – возражал отец Павел и переводил разговор на другую тему. Вполне понятно, что и теперь остановленная им монахиня, которая, как нарочно, оказалась еще «с простинкой», охотно ответила ему:

– В город, батюшка, собрались, Богу молиться. Ведь у нас завтра Петров день!

Уж отцу ли Павлу было не знать, что завтра день его ангела! Может быть, потому-то он и сидел на крылечке и смотрел в ту сторону, откуда доносился церковный звон, в то время, как его родная церковь, в которой он прослужил столько лет, стояла пустая и темная. Может быть, и он всей душой стремился туда, куда украдкой пробирались его духовные дочери.

В эту ночь его разбил паралич.

Прошло несколько месяцев прежде, чем он оправился, и к тому времени в городе уже не было ни одной обновленческой церкви.

Кажется, на Петров день епископа Николая уже не было в городе. Он уехал (в конце двадцать девятого года) к Патриарху, принес покаяние, и его сразу же направили на другую кафедру – в Кустанай. Вскоре покаялся и Ахматов, и Пугачев стал полностью православным.

Но еще до присоединения Ахматова, весной 1924 года, в город был прислан православный епископ Павел Флоринский, судьба которого впоследствии так крепко переплелась с судьбой отца Сергия и его детей. Правда, в 1924 году епископ Павел пробыл в Пугачеве очень недолго, не более трех-четырех месяцев, а потом опять переехал в село Большая Глушица, где раньше, до архиерейства, служил священником.

Глава 37

Благочинный

В первую зиму своего благочинствования отец Сергий не ездил никуда, кроме как в Левенку, принять дела, да к ближайшим соседям. Остальные приходы округа он известил о своем назначении и дальше сносился с ними при помощи писем. Издавна существовал порядок пересылать подобные письма из села в село. Их в полном смысле слова можно было назвать

циркулярами, так как они циркулировали по округу. Благочинным не давалось ничего на канцелярские расходы. То есть, может быть, Перекопновский и получал что-нибудь в возмещение за труд, но отец Сергей ничего не получал, да и кто стал бы давать? Бедные, еще не оправившиеся после голодовки приходы, про которые отец Григорий говорил: «В наших приходах с голоду не умрешь, а без штанов находишься». Но, даже и имея возможность оплачивать почтовые расходы, ни один благочинный не был бы в состоянии заготовить письма для всех сел, в двадцати – тридцати, или хоть в двенадцати – пятнадцати экземплярах. Поэтому каждое распоряжение или извещение писалось в одном экземпляре, в уголке делалась пометка «циркулярно», и прикладывался маршрут следования. Каждый батюшка, получив письмо, прочитывал его, если нужно было, расписывался в ознакомлении, если считал нужным – переписывал, и отсылал дальше по маршруту любым способом – с попутчиком, со специально посланной от церкви подводой, а то и сам запрягал лошадь и отвозил письмо к соседу, чтобы, кстати, обсудить его содержание.

Первые шутки отца Сергея, которые он в шутку называл «окружными посланиями», были направлены к усилению пастырской деятельности духовенства. В них он советовал больше обращать внимания на проповедническую и миссионерскую деятельность. Говорил, что священник не должен быть только требоисправителем, что это тоже нужно, но на этом нельзя останавливаться, важнее всего настоящая пастырская деятельность. Недаром апостол Павел говорил: «Не послал меня Господь крестить, но благовестить»⁷⁷. А пророк грозно обличает: «И это псы немые, не умеющие лаять, и это пастыри бессмысленные!»⁷⁸

В это время у него появилось выражение «зауряд-священник». Он объяснял его так: во время войны, когда стало не хватать офицеров, на их место назначались практически опытные унтер-офицеры, не имевшие, однако, достаточного образования; они назывались зауряд-прапорщиками. Так и зауряд-священники годились только на крайний случай, когда некому крестить и причащать. Выше их в своей терминологии он ставил священников в полном смысле слова, которые не только крестили, но и учили, а еще выше – пастырей, которые «душу свою полагали за овец своих».

Он предлагал сообщать, сколько проповедей кем было сказано в течение Великого поста, рекомендовал обмениваться лучшими проповедями или даже присылать их к нему, чтобы ими могли воспользоваться и другие. Советовал больше работать над собой, полнее используя церковные библиотеки, имевшие много ценного материала, о котором иные батюшки иногда даже не подозревали.

Настойчиво рекомендовал вести такой образ жизни, чтобы являться примером прихожанам.

– И не забывайте, – заканчивал он, – что лучшая академия всякого священника – в переднем углу перед иконой.

Сам он широко пользовался этой академией. Если бы даже его близкие не видели, сколько времени проводит он за молитвой, об этом достаточно свидетельствовал бы его молитвослов с потрепанными, пожелтевшими листьями его любимых канонов и акафистов. Когда нижние уголки листов от постоянного переворачивания истирались чуть не до самых букв, отец Сергей начинал переворачивать за верхние уголки; через некоторое время и их постигала та же участь.

Но если отец Сергей сидел дома, это не значило, что он мало был связан с округом. Наоборот, отчасти потому он и оставался на месте, чтобы все желающие могли его застать. К нему чаще прежнего стали приезжать священники, даже такие, которые никогда раньше не бывали. Ехали и миряне со всех концов округа – и из Липовки, и из Никольского, Брыковки,

⁷⁷ См.: 1 Кор. 1: 17.

⁷⁸ См.: Ис. 56: 10–11.

Кольцовки. Из Брыковки приезжал, между прочим, тот крестьянин, который прошлым летом в первый раз в жизни решил переправиться на лодке через Волгу и попал вместе с отцом Сергием в бурю. Он сам напомнил: «Батюшка, помните, как мы с вами тонули?!»

Чаще всего заходили посетители из Дубового, здесь рядом. Приходили навестить родных или пробирались в Хвалынский, а по пути заглядывали к остролюкскому батюшке, посетовать на упорство своего батюшки, отца Федора, попросить совета в каких-нибудь семейных делах.

Вслед за ищущими справедливости появились скандалисты и бестолковые, жалующиеся на священников из-за личных неудовольствий или по недопониманию. Например, явились как-то и из Березовой недовольные слабым голосом отца Григория. Отец Сергей старательно объяснил, что священника нужно ценить не за голос, а за убеждения, смотреть, не самочинник ли он, не обновленец ли. Отец Григорий как раз показал себя в этих отношениях лучше большинства. А что голос слабый, так он старше всех в округе, кроме екатериновского батюшки, и у них же, в Березовой, состарился.

Один из недовольных заявил, что отец Григорий и служит не по Уставу, во время отпевания не открывает Царские врата, как это делается в Острой Луке.

– Так это я делаю не по Уставу, – возразил отец Сергей. – Нигде не написано, чтобы открывать Царские врата, просто в Острой Луке был такой обычай. Мне, когда я приехал, он понравился, я тоже стал так делать, а в Уставе этого нет.

И снова объяснения, на этот раз того, что в разных местах существуют различные местные обычаи, не узаконенные Уставом. Если это обычаи благочестивые, то священник может следовать им, даже лучше следовать, незачем ломать то, к чему народ привык, но может и не следовать. Вот здесь, и в Острой, и в Березовой, есть обычай после пасхальной заутрени, когда священник христосуется с прихожанами, обходить вокруг села с иконами и с пением «Христос Воскресе!..» Обычай хороший, а все-таки, если бы сюда поступил новый батюшка и не разрешил брать иконы, его можно было бы просить, уговаривать, а не требовать, – в Уставе этого нет. А открывать Царские врата при погребении в Березовой и никогда не было принято, так что нечего этим смущаться.

Из Левенки были несколько раз. Зимой, закутавшись в шали и тулуп чуть не до потери человеческого образа, приезжала женщина, особенно жалевшая семью Седнева, а незадолго до Пасхи, в самую ростепель, когда не проедешь ни на санях, ни на колесах, явился верховой, да не простой крестьянин, взгромоздившийся на лошадь, а настоящий кавалерист. Он и при встрече с отцом Сергием повел себя как военный – вытянулся и гаркнул во всю мочь: «Здравия желаю, ваше преосвященство!»

– Ну, мне до преосвященства-то далеко! – с легкой улыбкой возразил отец Сергей, благословляя его.

Только этот человек и мог решиться на трудный и опасный путь за 35 верст по дороге, перерезанной бесчисленными крутыми, налитыми водой овражка ми со скользкими склонами. Его погнала крайность: они все сделали, что могли, из того, что советовал отец Сергей, – ходили по селу, собрали массу подписей за Седнева и против Апексимова, но сельсовет ничего не хочет принимать во внимание и не разрешает общего собрания. Да и староста, ставленник Апексимова, конечно, всегда на его стороне. А Пасха подходит. У них и поблизости некуда поехать помолиться, ближайшие села: Орловка и Липовка – тоже обновленческие. Вот народ и упросил его съездить еще раз к благочинному посоветоваться.

К сожалению, и отец Сергей ничего не мог ему посоветовать. Он мог только обещать еще раз побывать у них, когда просохнет и установится дорога. Но это будет уже после Пасхи.

Кроме приходских и окружных дел, у отца Сергия была и своя, семейная забота, забота о том, как дать детям образование. Над этим, заглядывая в будущее, он думал давно, но осенью или еще весной 1923 года вопрос встал ребром: мальчики кончили четыре класса сельской школы, хоть и с опозданием, так как в голодный год в школе почти не было занятий,

да и потом они шли кое-как. Что предпринять дальше? С Соней все обошлось. После двух с половиной лет в епархиальном училище она занималась дома самостоятельно, провела зиму в школе недалеко от села Васильевка, потом опять дома. Осенью Филарет Евгеньевич, брат отца Сергия, предложил поместить девочку у него, чтобы она могла хоть год проучиться по-настоящему, привести в систему свои знания и получить документ об окончании средней школы. Теперь это было сделано, а о дальнейшем, конечно, и мечтать не приходилось. Но с мальчиками и так не поступишь, им нужно учиться несколько лет, на это нужны средства, родным на несколько лет их не подбросишь, совесть не позволит. А главное, опасно в самые важные годы, когда формируется характер и убеждения, выпустить их из-под своего надзора. Наташе тоже в сельской школе нечего делать; она давно читает лучше старших учеников, а писать грамотно там не научишься: новая молоденькая учительница сама полуграмотная.

Поговорив с Соней, отец Сергий решил, что они будут учить детей сами. Наташа отдавалась безраздельно на ответственность сестры, а с мальчиками занимались поочередно. Отец Сергий взял на себя богословские предметы и математику, а Соне на первое время достались история, география и естествознание.

Этой зимой приезжие и свои прихожане частенько заставляли благочинного с учебником алгебры или физики в испачканных мелом руках, а выкрашенная черным лаком печь-голландка сверху донизу бывала исчерчена кругами, треугольниками или алгебраическими формулами. Иногда при появлении гостей они стирались, иногда поспешно заканчивались или оставлялись для того, чтобы кончить после, на свободе. Если приходили свои, позвать батюшку отпеть, окрестить, причастить больного, урок продолжался под руководством Сони. Постепенно, когда стало понятно, что у отца Сергия не найдется времени для регулярных занятий, он окончательно передал эти предметы дочери, оставив себе только богословские. По вечерам, в присутствии всей семьи, читались и толковались избранные места из Библии. Через отца Иоанна добыли некоторые учебники для семинарии, и занятия шли применительно к семинарскому курсу.

Мальчики занимались вместе, и это было невыгодно для Миши. Здоровый, ловкий, в полевых работах начавший уже обгонять своего отца, в умственном отношении он не мог сравняться с физически совсем слабым Костей. Это не значило, что у него не было способностей; впоследствии, в школе, когда братья были приняты в разные классы, Миша в своем шел в числе первых. Но его отвлекали многочисленные интересы и занятия, свойственные живому, сильному подростку, и он еще продолжал оставаться полуребенком. Костя же, по необходимости и склонности живший почти исключительно умственными интересами, за последний год значительно повзрослел, стал серьезнее и, конечно, начитаннее ребят своего возраста. Это был уже не тот мальчик, который увлекался «Айвенго» и Майн Ридом и мог целыми часами декламировать «Бородино», «Полтавский бой» и стихи о Суворове. Теперь он принципиально не хотел учить стихов, считая их пустяками, и увлекся книгами из отцовской библиотеки и теми, которые отец Сергий доставал для себя. Правда, он еще не дорос до творений Иоанна Лествичника и Феофана Затворника, которые все больше и больше привлекали отца Сергия. Косте больше нравилась подробная, в несколько томов, история вселенских соборов, философские статьи в старых журналах и тому подобное. Читал он с поразительной быстротой. Еще прошлым летом, до пожара церкви, устроившись в тени на паперти, он глотал одну книгу за другой и хвалился перед Мишей и Соней, что прочитал в день триста пятьдесят, четыреста страниц. Однажды ухитрился прочитать даже пятьсот.

– А запомнил ты что-нибудь? – спросил отец Сергий, услышав это, и посоветовал не торопясь перечитать наиболее ценное из того, что имелось у них. Теперь он стал внимательнее следить за чтением сына, учил его делать выписки, разговаривал с ним о прочитанном, проверяя и углубляя то, что он понял.

Разумеется, общее развитие Кости отражалось и на его учении, особенно на его сочинениях. Соня плакала, читая описание пожара церкви, сделанное им с такой яркостью, что ей казалось, будто она сама видит все. А другое его сочинение, о Книге пророка Даниила, отец Сергей читал своим друзьям, и все единогласно признали, что такое сочинение впору написать семинаристу старших классов, а не пятнадцатилетнему мальчику.

Несмотря на такие отзывы и такие интересы, Костя иногда не прочь был совсем по-мальчишески поозорничать. По вечерам он дразнил Наташу.

В эту зиму семья отца Сергея жила в церковной сторожке, где было значительно теснее, чем даже в занимаемом ими в последние годы псаломщическом доме. Наташа спала на сундуке в общей комнате. Как маленькую, ее укладывали спать в половине десятого, когда вся семья, за исключением рано встававшей Юлии Гурьевны, еще занималась за столом своими делами. Едва Наташа начинала дремать, как Костя звал:

– Наташа!

– Что? – откликнулась девочка.

– Спи!

Еще не очнувшись Наташа снова задремывала, а Костя снова окликал ее. Иногда она успевала заснуть довольно крепко; приходилось окликнуть два-три раза прежде, чем она отзывалась и получала в ответ то же самое: «Спи!»

Разбуженная два-три раза, Наташа начинала сердиться и пищать, а Костя со смехом оправдывался, что он только уговаривал ее спать. Дело кончалось тем, что отец Сергей замечал шум и, оторвавшись от книги или тетрадей, говорил: «Перестаньте!»

Шалили мальчики и за уроками. Соня, ставшая к этому времени единственной учительницей братьев и сестры, не имела, разумеется, ни педагогических знаний, ни тем более опыта. С Наташей еще дело кое-как шло, помогала разница лет и знаний; а каким авторитетом она могла пользоваться у братьев, когда была старше их всего на три-четыре года, а знания ее не превышали того, что они сами могли прочитать в учебнике. Готовясь к следующему дню, девушка сидит до двух-трех часов. Встает с головной болью, но от этого урок не становится интереснее, он так же остается пересказом более или менее хорошо выученного урока. Мальчики скучают, слушают невнимательно, надеясь на книгу. Иногда, придравшись к неточному выражению Сони, а то и учебника, поднимают смех.

Учительница начинает нервничать, ее нервность передается ученикам – урок превращается в ссору.

Через некоторое время обе стороны как будто успокаиваются, но урок становится еще неинтереснее.

Вот тут мальчики и пускают в ход то, что они называют молнией: выждав момент, когда сестра не смотрит на них, они быстро высовывают языки и снова прячут. Это и есть молния. Конечно, если бы Соня увидела это, она бы опять разволновалась, но в том-то и вся соль, чтобы она не увидела. Зато видит Наташа, сидящая рядом со своими уроками. От нее братья не скрываются. Наташа до глубины души обижена за сестру, она громко возмущается, иногда даже плачет, но не говорит, в чем дело, чтобы не подлить масла в огонь.

Наконец уроки кончаются. Мальчики торопятся на улицу, к своим занятиям, а Соня подходит к бабушке.

– Я не понимаю, что с ними творится. Раньше они такими не были, – с грустью говорит она.

– Нужно быть спокойнее, деточка! Ты сама слишком нервничаешь, а потому не можешь и их взять в руки. Придется потерпеть: в этом возрасте мальчики все становятся такими. Это переходный возраст. Со временем это пройдет, – отвечает Юлия Гурьевна, от души жалея всех четверых.

– Со временем... – вздыхает Соня. – А сколько же должно пройти времени!

Соне не нужно было готовиться в священники. Она не писала сочинений, хотя старательно прочитывала учебники по церковной истории и основному богословию. В свободное время она занималась другим. Прожив одиннадцать месяцев в Самаре и не раз сталкиваясь там с неверующими, она остро почувствовала, что не имеет в этом отношении никакой подготовки и почти не может отвечать на их возражения. Возвратившись домой, она обратилась за разъяснениями к отцу, читала то, что он рекомендовал. Но даже и для отца Сергия это была новая тема, материалов против безбожия, можно сказать, не было, приходилось по крохам собирать самим. Отец Сергий уже начал это дело и был доволен, когда и Соня заинтересовалась им.

Неизвестно, каким путем дошла она до мысли перечитать все книги и журналы, имевшиеся хотя и в небольшой, всего один шкаф, но достаточно громоздкой церковной библиотеке. Отец Сергий не мог порекомендовать ей такого кропотливого труда, но одобрил, когда она сама вызвалась.

– Может быть, и для меня что-нибудь полезное найдешь, – сказал он.

После пожара церковный книжный шкаф стоял в сарае около сторожки. Книги и журналы, переплетенные и непереплетенные, были свалены там как попало; у отца Сергия не хватало времени привести их в порядок. Соня разобрала все и начала читать с наименее обещающих. Скорее перелистала, чем прочитала «Епархиальные Ведомости» и «Приходской Листок»; более внимательно просмотрела «Церковные Ведомости» и «Миссионерское обозрение», в которых нашлось немало интересных статей на разные темы и кое-что по занимавшему ее в данный момент вопросу, и с жаром набросилась на «Голос Истины», на раздел: «За веру и против неверия».

Некоторые статьи там, видимо тоже первая проба, были наивные, примитивные, но и вопросы, которые имела в виду Соня, тоже не отличались большой глубиной, и ее эти заметки удовлетворяли. Скоро она заметила, что не может удержать в памяти всего, и начала делать выписки, сначала коротенькие, в несколько слов, потом более длинные. Отец Сергий, следивший за ее работой, посоветовал делать выписки на отдельных листочках плотной бумаги, чтобы можно было подбирать их по темам. Сам он тоже делал выписки, конечно, более капитальные, из более солидных книг, но иногда, просмотрев Сонины листочки, выписывал из них и в свои тетради.

Не он один занимался этой работой. Подобный материал становился все необходимее. Выписки делали и отец Григорий, и отец Иоанн, и некоторые другие; делились друг с другом впечатлениями, обменивались материалами.

В 1924 году как-то особенно хорошо звучали паремии⁷⁹ в Страстную Субботу. В этот день женщины обыкновенно готовились к празднику, мужчины торопились наладить сельскохозяйственный инвентарь, чтобы сразу же после праздника выехать в поле, и потому в церкви бывало немного народа. Даже в маленькой новой стояли свободно, и так хорошо слушалось. Правда, и в прежней церкви чтение было отчетливо слышно, но в этой в эти дни казалось, что Николай Потапович стоит рядом и читает так, что вкладывает в душу каждого слово.

Николай Потапович служил в Острой Луке еще до приезда отца Сергия и первые два года с ним. Тогда он страшно пил и, мало того, в пьяном виде безобразничал. Помучившись с ним, отец Сергий порекомендовал ему перевестись в другой приход, подальше от пьяниц-дружков. Антонина Петровна, жена Николая Потаповича, горячо поддержала эту мысль, и они перебрались в Липов ку. В Острой Николай Потапович опять появился в 1918 году, уже в качестве учителя, а года через полтора опять стал псаломщиком. От водки он за это время отвык, исчезла и другая причина столкновений с отцом Сергием. Тогда, в 1906–1907 годах, Николай Потапович за службой торопился и читал так быстро, что трудно было разобрать. Отец Сергий требовал более медленного и более отчетливого чтения, повторяя советы опытных старых священников,

⁷⁹ Церковное чтение избранных мест из Ветхого Завета.

предупреждал, что так «язык переболтается», т. е. Николай Потапович привыкнет глотать и пропускать слова и окончания слов и тогда ему будет очень трудно исправить этот недостаток.

Николай Потапович то подчинялся ненадолго, то иногда начинал читать уже с невозможной медлительностью, видимо, ожидая, что молодой настоятель поторопит его и тогда можно будет сказать: «На вас не угодишь». Но отец Сергей молчал, только думал: «Посмотрим, кому первому надоест».

В настоящее время, сделавшись серьезнее и опытнее, Николай Потапович читал в правильном темпе. Кроме того, он хорошо знал Церковный Устав и церковное пение, так как в свое время он окончил духовное училище. Это теперь очень ценилось; псаломщиков не хватало, в селах их все чаще заменяли грамотные старички из певчих.

Паремии Николай Потапович любил и всегда читал с большим чувством и умением, даже его дребезжащий тенорок не портил впечатления. Много лет спустя, когда дети отца Сергия слышали уже немало хороших чтецов с хорошими голосами, они нет-нет да и говорили с удовольствием: «А помните, как читал Николай Потапович?»

Как ни странно, для Юлии Гурьевны паремии явились приятным открытием. Почти всю свою жизнь она аккуратно ходила к субботней литургии, но у нее сохранилось только представление, что во время службы что-то очень долго читают, а потом начинают трогательно петь: «Воскресни, Боже, суди земли!», и в это время духовенство меняет черные, великопостные облачения на светлые праздничные. Занятая последними хозяйственными хлопотами, она так распределяла время, чтобы попасть в церковь прямо к этому торжественному моменту, и жалела, если приходила слишком рано и заставляла «чтение».

Соня, будучи подростком, старалась не ходить к литургии именно из-за пения «Воскресни, Боже!» и светлых риз, о которых ей говорили; ей казалось, что они ослабят впечатление пасхальной заутрени. Евгения Викторовна не возражала, все равно кому-нибудь из них двух нужно было оставаться с Наташей, слишком маленькой, чтобы брать ее к такой длинной службе. Отец Сергей, верный своему принципу, не настаивал, только сказал однажды:

– Ты бы хоть один раз сходила послушала, ты ведь даже не представляешь этой службы.

Соня сходила и почувствовала, что пропускать субботнюю литургию почти такая же потеря, как пропустить пасхальную заутреню. Больше всего ее поразили именно паремии своей содержательностью и красочностью языка.

Помогая в Страстную Субботу 1924 года по хозяйству, девушка так торопилась и боялась опоздать, что заразила своим нетерпением и бабушку, и она пришла в церковь в самом начале чтения паремий. Юлия Гурьевна была в восхищении и только удивлялась, как она раньше не понимала их, не старалась вслушаться.

Еще долго потом то той, то другой вспоминались особенно поразившие их отрывки, по которым вспоминалась полностью и вся паремия:

...И бысть, егда бяше Иисус во Иерихоне, и воззрев очима Своима, виде человека, стояща пред Ним, и меч его обнажен в руке его. И приступив Иисус, рече ему: наш ли еси, или от супостат наших?.. (ИсНав. 5: 13)

...И возопи Илия ко Господу, и рече: увы мне, Господи, свидетелю вдовы, у нея же аз пребываю, Ты озлобил еси, еже уморити сына ея... И призва Господа и рече... Господи Боже мой, да возвратится душа отрочища сего в онь, и бысть тако. И возопи отрочищъ... И даде его матери его... (3 Цар. 17: 20–22)

...Господь царствуяй веки, и на век и еще, егда вниде конь фараонов с колесницами и всадники в море. И наведе на ня Бог воду морскую, сынове же Израилевы проидоша сушию посреде моря... (Исх. 15: 18–19)

...И отвещаша Седрох, Мисах и Авденаго... (Дан. 3: 16)

...Есть бо Бог наш на небесах... силен изъята нас от печи, огнем горящия, и от руку твоею избавити нас, царю. Аще ли ни ведомо да будет тебе, царю, яко богом твоим не служим, и телу златому, еже поставил еси не кланяемся... (Дан. 3: 17–18)

А история женщины из Сонама... А Книга пророка Ионы... правда, в ней всего три главы, но все они и прочитываются... а Авраам и Исаак... а восторженные хвалы пророков в честь провиденного ими грядущего Спасителя мира!.. Если начать писать наиболее ценное, придется выписать все...

И вместе с Юлией Гурьевной, остается только удивляться, как могли чтецы читать так небрежно и не довести до сердец слушателей одно из центральных мест такого глубокого по содержанию и прекрасного по форме богослужения.

После Пасхи новый благочинный надел рыженький дорожный подрясничек и новые лапти и «поехал» по округу.

Народ в степном и полустепном Заволжье, на границе Самарской и Саратовской областей, совсем не тот, что в лесистых северных районах ближе к Ульяновску. Он исстари слыл под прозвищем «пшеничники» – до 1914 года ржи там и в помине не было, разве кто посеет немного «на посыпку скотине», и ни одна женщина не умела печь настоящий ржаной хлеб. Лапти они тоже знали больше понаслышке. В 1920–1921 годах многие надели их.

Отец Сергей наравне со своими прихожанами ходил косить сено, молотить хлеб; наравне с ними в 1921 году теребил с корнем низкорослую, не поддающуюся ни косе, ни серпу пшеницу с маленьким, тощим колосом. Наравне со всеми он обулся и в лапти, ходил в них в поле да похваливал: легко, мягко, не то что в сапогах. Народ ценил его простоту и еще больше уважал его за это. А вот прогуляться в лаптях по округу – на это нужно было иметь смелость...

Апексимов, к которому отец Сергей направился прежде всего, вообще игнорировал его как благочинного: «Унизившись перед митрополитом, не буду унижаться перед С-вым», – говорил он и держался прежних позиций, не обращая внимания на недовольство народа, и не допускал общего собрания. На предложение, сделанное отцом Сергием старосте, отчислять посильную сумму на содержание епископа ответил отказом. «С-в сам в лаптях ходит и нас хочет в лапти нарядить», – сказал он старосте.

Почти так же принял благочинного и Мячин, но отец Сергей заметил, что никольские прихожане, противники Мячина, держатся увереннее левенских.

Вскоре после посещения Левенки отец Сергей снова был вынужден провести три недели в Пугачеве, где он, между прочим, заходил и к епископу Павлу, которого в первый раз видел архиереем.

А чуть ли не в то самое время, когда он вместе с приехавшими за ним Соней и Наташей сидел у архиерея, в Острой Луке снова бушевал пожар: при сильном ветре выгорела чуть не треть села, сгорели почти все гумна и много амбаров. Хорошо, что в это время, в начале июня, на гумнах оставалась одна прошлогодняя солома, да и в амбарах почти ничего не было, а новый урожай зеленым муаром переливался в поле.

Побывав у архиерея, отец Сергей, собственно, только уточнил, с каким материалом и какими вопросами он должен явиться к нему вновь. Возвратившись, он известил округ о предстоящей поездке, и снова поехали к нему священники с просьбами привезти и на их долю святого мира, и крестьяне левенские и никольские приезжали с коротенькими заявлениями (все давно сказано), заканчивающимися длинными неровными столбцами подписей.

Другие привозили сами или передавали через своих священников просьбы о разрешениях браков в пяти-шести степенях родства, о разводах. Было несколько заявлений и от своих прихожан.

Разводы были новостью в многолетней практике отца Сергия и очень беспокоили его. Он не сразу определил свою тактику в этом деле, обдумывал, советовался с другими священниками. Конечно, прежде всего, его усилия были направлены на то, чтобы как-то сохранить рас-

падающуюся семью, примирить, усостить виновную сторону. Того же он требовал и от других священников, требовал и их заключения о том, кто виноват, и следует ли санкционировать развод. На таком заключении настаивал епископ Павел. Если развода добивались виновники распада семьи, их сразу же предупреждали, что они его не получат. Конечно, следствием этого являлись всевозможные неприятные разговоры, но отец Сергей твердо стоял на своем и лишь в исключительных случаях, после длинных разъяснений, принимал заявление, с оговоркой, что все равно ничего не получится.

Разговоры о нарушении супружеской верности и о подозрениях в этом происходили, разумеется, «при закрытых дверях», а о семейных ссорах говорили открыто.

– Ведь я же тебя предупреждал, – волнуясь, говорил отец Сергей молодому мужу, у которого ушла жена, не поладившая со свекровью.

– Я тогда сразу вам говорил, – нужно рубить дерево по себе. А то вот погнались за шелковыми шальями да за дорогой одеждой, взяли богатенькую да еще единственную дочку, а теперь не знаете, на какой козе подъехать. И пища ваша ей не нравится, и работать мать не заставляла, а свекровь заставляет, значит – свекровь плоха. Отрубили голову, а потом к батюшке: «Батюшка, приставь!» Трудно ее теперь приставить.

Отец Сергей замолчал, еще раз обдумывая создавшееся положение. Собственно, пришедший почти ничего нового ему не сказал, ему и так все было известно, в селе ничего не скроешь.

– Попробуй еще раз сходить уговорить, – говорил он наконец. – И я с родителями поговорю, чтобы они дочкиным капризам не потакали. А ты обещаешь отделиться от семьи, может быть, вдвоем вы лучше уживетесь. Только смотри, и мать потом не забывай, помогай ей, забывать ее тоже грех. Так и жену предупреди.

Бывали и другие случаи. За бедную, довольно некрасивую девушку неожиданно посватался старообрядец Перепелкин, один из самых зажиточных местных женихов, сын бывшего владельца крошечной лесопилки. Обрадованная мать быстренько скрутила дело, выдала дочь без венца, по-старообрядчески. Как раз подошел Великий пост, и отец Сергей не допустил мать до причастия. А дочь и до того еще начала бегать к матери и плакать: и муж вроде ничего, а совесть покоя не дает. Отец Сергей посоветовал ей уйти, объяснив мужу причину.

Вскоре молодой муж пришел к батюшке с просьбой присоединить его к Православию и обвенчать. Отец Сергей в это время уже не одобрял браков православных со старообрядцами, но здесь случай был особенный, фактически брак состоялся. Он предложил молодому человеку приходить поучиться основам Православия, что тот с готовностью выполнил. На Красную горку⁸⁰ его присоединили и повенчали, и молодая пара зажила как нельзя лучше.

Пока отец Сергей собирал материал для поездки, пришло известие, что владыка Павел переехал в Большую Глушицу. Добираться туда было значительно труднее, чем до Пугачева, но дело требовало своего. За полтора примерно года, которые архиерей прожил там, отец Сергей побывал у него несколько раз.

Епископ Павел жил в небольшом домике своей тещи, Анны Ивановны Бельской. Конечно, там не было никакой возможности отделить для него кабинет и приемную, но семейные как-то умели не мешать деловым разговорам. Правда, почти сразу же по приезде отца Сергея в комнате появлялась Тася, младшая дочка епископа, и просила благословения.

– Тасенька, я не имею права благословлять при твоём папе, – объяснял девочке отец Сергей.

– Да благословите уж, – добродушно отзывался владыка. – Очень уж она любит благословения собирать.

⁸⁰ Неделя после Пасхи.

Епископу Павлу в это время было около пятидесяти лет, и он отличался приятной наружностью. Невысокого роста, довольно полный, но не чересчур, с широкой и длинной седой бородой, величавыми манерами и ясными кроткими глазами такой чистой голубизны, какая редко сохраняется у взрослых, а особенно пожилых людей.

Эта его мягкость и кротость в первое время внушали отцу Сергию опасения. Он считал, что в такое сложное время, которое они переживают, епископ должен иметь особенно твердый характер, и боялся, что при епископе Павле окончательно разрушится и без того расшатавшаяся церковная дисциплина. Но опасения оказались напрасными, новый епископ прекрасно сумел сочетать мягкость и твердость. Спустя несколько лет отец Сергей уже говорил, что епископ Павел лучший архиерей из всех, которых он знал.

После первых приветствий начинался разбор заявлений. Их именно разбирали – не перелистывали наскоро, чтобы только подписать, а рассматривали со всех сторон, обсуждали, какие последствия повлечет за собой то или иное решение не только для подавшего заявление, но и для всех в той или иной степени заинтересованных в деле.

Не принимались во внимание только интересы самого владыки, а были среди заявлений и такие, которые грозили неприятностями лично ему. Потому что виновной стороной почти всегда оказывались самые нахальные, которые не постеснялись бы при первой возможности наделать гадостей и ему.

Случалось, он в раздумье сидел над каким-нибудь документом, соображая, как ответить.

– Если написать вот так?.. Пожалуй, не поймут. А если так?.. как бы не было неприятностей... Ну, Господи, благослови. – И, осенившись крестным знаменем, он писал резолюцию, грозящую неприятностями.

Потом начинались разговоры уже не по заявлениям, а обо всем, что обращало на себя их внимание за последнее время, будь то события или случаи мирового или сельского масштаба. Делились своими радостями, опасениями, затруднениями, надеждами. Гостю устраивали постель около кровати владыки, и разговор иногда продолжался чуть не всю ночь, пока один из собеседников не засыпал на полуслове.

Не раз вспоминали и Мячина, и Варина с Апексимовым. (Грозившие неприятностями резолюции чаще всего касались их.) При этом к ним присоединялась еще фамилия Крюков. Чем он тогда «прославился», когда и как попал в округ и когда исчез оттуда – все это почему-то забылось, осталось только яркое воспоминание о том чувстве, которое вызывали поставленные рядом фамилии трех китов обновленчества: Варин, Крюков, Апексимов; Крюков, Варин, Апексимов; Варин, Апексимов, Крюков.

Близость у них была не только моральная, но и территориальная, Крюков служил где-то в той же стороне, где и двое остальных. По-видимому, он или самостоятельно (т. е. без разрешения архиерея, но и без протеста Апексимова) занял Орловку, официально все еще числившуюся за Апексимовым, или же служил в Линовке, где были две церкви, и одна из них с двумя священническими штатами.

Апексимов так крепко засел в Левенке, что вытесненный им Седнев потерял терпение и попросил епископа Павла назначить его на приход в другой округ. Зато Мячин наконец оставил Никольское, а вскоре затем в селе появился молодой, бойкий и добродушный отец Яков Пеньков с целой кучей детворы. Второй штат решили упразднить, так как Никольское принадлежало к числу сел, особенно сильно пострадавших в 1921 году.

Трудно сейчас установить, в каком году, в 1924-м или 1925-м, приезжал в Острую Луку отец Николай Хришонков. Кажется, все-таки в 1924 году.

Существует старая поговорка: «Попа узнаешь и в рогожке». Но отец Николай и в рясе был похож на самого захудалого крестьянина, только что отошедшего от сохи. Не от плуга, а именно от сохи. Казалось, еще не успели как следует разогнуться державшие рукоятки сохи

узловатые пальцы на его громадных, загорелых руках, не успела распрямиться ссутулившаяся спина... да и вся его внешность соответствовала этому представлению.

Отец Сергей никогда раньше не встречался с Хришонковым. Он был из Линовки, из местных крестьян. По рекомендации Варина епископ Николай Амасийский посвятил его сначала во диакона, потом во священника. На вопрос отца Сергея о причинах, заставивших его присоединиться к обновленчеству, а потом порвать с ним, и как он получил сан, ответ был простой: поверил своему батюшке, отцу Иоанну, куда тот пошел, и он за ним. А потом батюшка написал ему характеристику и предложил поехать в Пугачев посвятиться. Конечно, он поехал с радостью. Образование у него маленькое, он никогда и не мечтал быть священником, но раз сам батюшка предлагает... Потом заметил, что соседние села их обегают, начал разузнавать, советоваться, наконец надумал ехать к епископу Павлу. Варин больно отговаривал, даже грозил. Ну, это как Господь... Все-таки поехал, а архиерей наказал и сюда, к благочинному заехать, сообщить о своем присоединении.

После отъезда Хришонкова отец Сергей еще раз пересмотрел оставленные им документы, особенно характеристику Варина.

– Образование низшее, три класса сельской школы, – прочитал он. – Хором управлять не может, принадлежит к группе ЖЦ⁸¹. В этих двух буквах и все дело.

В дальнейшем, присматриваясь к отцу Николаю, отец Сергей заметил у него и крупные достоинства. Народ ценил его за благочестие, за безупречную жизнь; он был, по местному выражению, «неженемый», т. е. девственник. С его словами считались. И если по недомыслию, по доверию к своему духовному отцу Варину, он уклонился в обновленчество, то потом нашел в себе мужество пойти по правильному пути, несмотря на Варина, находясь в самом логове врага. А через несколько лет он жизнью заплатил за свои убеждения.

В это же, приблизительно, время, осенью 1924 года или весной 1925 года умер отец Сергей Филатов, один из трех не признававших на съезде обновленчества, запрещенных Амасийским и не подчинившихся этому запрещению. Отец Сергей ценил его, зная, что его кротость соединяется в нужных случаях с твердостью. «Не беспокойтесь, он сам все прекрасно знает, что нужно сделает и делает без указки», – говорил он, когда при нем намекали на властную руку матушки Филатовой.

На место отца Сергея Филатова был посвящен его сын, Владимир Сергеевич.

Глава 38

1925 год

– Николай Потапович, я письмо получил. Знаете от кого? От вашего знакомого. От Николая Максимовича Варина.

Николая Потаповича никак не назовешь экспансивным. Он только хмыкнул, не то удивленно, не то недоверчиво, во всяком случае заинтересованно.

В прежние годы он действительно хорошо знал жившего сейчас в Пугачеве Николая Максимовича, отца уполномоченного ВЦУ. Но что тот мог писать отцу Сергию?

Письмо было большое, и все заполнено обвинениями против староцерковников и, в частности, против митрополита Тихона. «Вы не знаете митрополита, он давно обновленец», – писал Николай Максимович и в доказательство указывал на некоторые награды, данные недавно присоединившимся из обновленчества, на старика единоверческого священника, будто бы жена-того вторым браком. Приводил и другие обвинения.

Прослушав до конца, Николай Потапович опять хмыкнул, на этот раз определенно недоверчиво, и протянул руку к письму:

⁸¹ Имеется в виду обновленческая организация «Живая Церковь».

– Не мог Николай Максимович так написать. Разрешите, отец благочинный, я взгляну. Ну, конечно, и рука не его, он малограмотный, а здесь почерк выработанный. Посмотрите хоть на эти завитушки у букв Р и Б.

– Итак, кто же тогда писал? – удивился отец Сергей.

Потолковав, решили, что это мог быть только кто-то из второго округа, и, открыв папку с перепиской благочинного, попробовали сличить почерки. Но сначала могли установить только то, что почерк Варина-сына, безусловно, не похож на тот, что в письме.

Перелистав раза два все бумаги, решили обратить внимание на отдельные, наиболее характерные буквы, на те завитушки, которые заметил Николай Потапович. Результаты оказались неожиданными: с такими завитушками писал Апексимов. Еще первая страница письма могла вызвать некоторые сомнения, но на второй он, по-видимому, устал изменять почерк, и все согласно признали, что почерк письма и некоторых бумаг, написанных Апексимовым, один и тот же.

– Кому же теперь отвечать? – задумался отец Сергей. Он не сомневался, что отвечать необходимо, иначе компания, устроившая эту штуку (он и в том не сомневался, что это была компания), будет кричать, что благочинный не нашел что возразить. Написать Апексимову – тот может ото всего отпереться и поднимется шум еще больше. Значит, отвечать придется Варину-отцу, а там пусть сами разбираются, кому что нужно.

Ответ был послан и сразу же почти забыт, не до того было. Вскоре было получено печальное известие о смерти Патриарха Тихона, умершего во вторник на шестой неделе поста, в день Благовещения. Следом за этим известием получили и заверенную копию с копии его завещания, а вместе с ней привезли и слухи о новом брожении наверху, новых попытках завести смуту, отклонить верующих от повиновения Патриаршему Местоблюстителю, митрополиту Петру Крутицкому, ставшему теперь главой Церкви.

А затем наступила и Пасха, надолго запомнившийся первый день Пасхи, который так хорошо начался и так печально кончился.

Так хорошо и спокойно было на душе у всех в это ясное утро, что сначала никого не смутила группа неизвестных людей, подошедших к сторожке, где с прошлой осени жил отец Сергей. Тем более что с этими людьми шел свой, сельский – Павел Яшагин, ловкость которого два года тому назад спасла попавшую в бурю лодку.

Подошедшие спросили священника. Его, конечно, не было, он ходил по селу с праздничными молебнами. Тогда, посоветовавшись, они послали за ним, а сами, в ожидании, мирно уселись на лавочке под окнами сторожки.

И тут почему-то всех, находившихся в комнате, постепенно охватило беспокойство, которое каждый старался скрыть от себя и особенно от других. Почувствовали его и посторонние. На площади, вдоль домов, там и сям возникали группы людей, как будто занятых своими делами, но исподтишка бросавших обеспокоенные взгляды на сторожку. Некоторые заходили в комнату и потихоньку спрашивали, что это за люди. А Павел Яшагин за спиной своих спутников взволнованно делал какие-то непонятные знаки.

Все выяснилось, когда пришел отец Сергей. Едва он подошел, один из знакомцев протянул ему бумагу – ордер на обыск и арест.

Павел Яшагин случайно оказался в сельсовете, когда работники волисполкома зашли туда и, предъявив документы, потребовали понятых. Он сам вызвался на это неприятное дело, «чтобы не было какой обиды с их стороны». Обиды не было, но было тяжелое горе, особенно тяжелое, потому что оно произошло в этот радостный, торжественный день.

Казалось, что никогда еще не было такого светлого дня, такого яркого, веселого солнца, такой нежной молодой листвы, как в тот пасхальный день, когда отец Сергей, одетый по-дорожному, в сопровождении приезжих, семьи и наиболее близких прихожан вышел из дома и пошел

по направлению к сельсовету, помещавшемуся в доме, где он жил полгода назад. И как-то особенно бодро и радостно звучал и переливался трезвон на маленькой колокольне.

– Перестаньте трезвонить! – крикнул кто-то из попечителей.

Звон прекратился, а солнце сияло. Когда немного спустя Соня вышла из сельсовета за какими-то забытыми мелочами, оно ударило ей в глаза, заиграло на граненых хрусталиках блестящего крестика у нее на шее. Опустив глаза, девушка заметила их радужные переливы, и таким неуместным показался сейчас ее праздничный наряд, ее белое воздушное платье и этот крестик, который она надевала только на Пасху да на Троицу. Она развязала голубую ленточку и зажала крестик в руке.

Толпа на площади еще увеличилась. Многие хозяйки держали узелки с праздничным угощением на дорогу батюшке. Вскоре подъехала ожидаемая подвода. Отец Сергей встал и повернулся к своим. Началось прощание.

Первой подошла к зятю Юлия Гурьевна. Он благословил ее и вдруг сам, как ребенок перед матерью, сложил руки.

– Благословите и вы меня, мамаша! – почти по-детски попросил он.

Когда взволнованная необычной просьбой старушка дрожащей рукой осеняла его крестным знаменем, в его глазах заискрилась и сразу же исчезла слезинка. Ее заметили только Юлия Гурьевна и подошедшая за ней Соня.

– Даже он не выдержал, – ужаснулась она.

За исключением дней смерти матери и ее похорон, Соня никогда не видела слез отца. Ни при первом аресте, ни при втором, ни в тяжелом 1918 году, когда, расставаясь на несколько часов, не знали, не будет ли это прощание последним. Тогда, один раз, прощаясь с отцом, Соня заплакала, а он сказал ей: «Не узнаю тебя! Где же твоя выдержка?»

Если у тринадцатилетней девочки и была выдержка, то только из подражания, глядя на взрослых, а эти слова как бы вменили ее в обязанность.

До чего же, значит, был силен и тяжел сегодняшний неожиданный удар, что эта выдержка, хоть на мгновение, изменила ему самому! Изменила она и Юлии Гурьевне. Старушка украдкой вытирала глаза, пока провожали подводу, плакала идя обратно.

– Зачем это бабушка плачет? – нервно, по-видимому, тоже с трудом сдерживаясь, шепнул Наташе Костя.

– Как бы ей сказать... разве можно плакать? Тем более перед ними слезы показывать... Дома было пусто и тоскливо, словно только что вынесли покойника. Тяжело было одним, и не хотелось, чтобы кто-то пришел, ведь от неловкого соболезнования становится еще тяжелее. Поэтому, когда на крыльце раздали шаги, Соня торопливо встала и пошла навстречу.

– Только не плачь, не расстраивай бабушку, – шепнула она пришедшей, своей бывшей няньке, Маше Садчиковой.

– Что я, не понимаю? – так же тихо и торопливо ответила та и, входя в комнату, громко сказала:

– А я, матушка, к вам с гостьей! Это наша Танюшка, Пашина.

Печальное лицо Юлии Гурьевны осветилось мягкой улыбкой.

– Гостья пришла? Так мы ее сейчас угостим. Вот тебе яичко, Танюша, смотри, какое красненькое! Ах, да какая ты нарядная! Какой у тебя капор!

Хорошенькая маленькая девочка в бледно-зеленом шелковом капоре деловито оттянула свободной ручкой подол платяца и причмокнула.

– И платье у тебя новое? Ах ты рыбка моя! Пойдем ко мне на ручки?

Девочка протянула было ручонки, потом вдруг убрала их и, смеясь, спрятала личико на мамином плече. Теперь ласково улыбнулись и Соня, и Наташа. Даже мальчики оживились.

Недаром Маша, избегавшая показываться с чужими детьми, на этот раз специально сходила к племяннице за ее бойкой и умненькой дочкой. В семье С-вых очень любили детей, и

крошечная девчушка своими забавными выходками и ужимками отчасти смягчила угнетенное настроение.

На следующий день некоторые остролюкские прихожане ездили в церковь в Березовую Луку и вернулись с сообщением, что батюшка еще в волости. Накануне на предложение семьи сопровождать его до Березовой отец Сергей ответил: «Дальние проводы – лишние слезы». Вероятно, вчера это было бы действительно невыносимо тяжело для всех – и для уезжающего, и для провожающих. Сегодня же они быстро собрались и поехали, но арестованного уже отправили.

Томительно тянулась грустная Пасха. И вдруг, в последний день ее, в субботу, отец Сергей неожиданно вернулся домой.

В Пугачев его привезли во вторник 8/21 апреля, когда в учреждениях был еще нерабочий день по случаю Пасхи, и поместили в милиции. Отец Сергей провел там еще и среду, а в четверг его допросили и сразу же отпустили. Счастливый, он зашел в Новый собор, поблагодарить Бога, а также и настоятеля, отца Александра Моченева, эти двое суток присылавшего ему праздничные обеды, ужины и завтраки, которыми он делился с соседями и охраной.

Незнакомая старушка, обратившая внимание на совсем уж не праздничный костюм вошедшего, заговорила с ним и дала ему булочку «на дорогу». Он пошел домой.

На допросе выяснилось, что причиной его ареста было злополучное письмо неизвестного автора. Отец Сергей недоучел «возможностей» Апексимова. Оказалось, что тот, подписав письмо именем старшего Варина, и не подумал сообщить ему о таком использовании его имени. А Николай Максимович, человек очень горячий, неожиданно получив письмо от С-ва, которого привык считать чуть ли не злейшим врагом сына, вскипел и бросился в ГПУ. «Смотрите, какая наглость, я ему не писал, а он мне отвечает», – кричал он, показывая письмо.

Несомненно, что если бы кто-то другой явился с подобным письмом, но тоже от другого, неизвестного человека, то его не стали бы слушать, а то и просто не впустили бы. Но можно догадываться о том, что, готовясь к новому выпадку против «врага», Апексимов и Варин предварительно хорошо подготовили почву, наговорив кому следует всяких нелепостей против смутьяна С-ва. Потому-то эти лица, услышав о новом, хотя и незначительном факте, подтверждающем слова двух дружков, сочли необходимым лично разобраться в деле. А для этого предложили березоволукскому волисполкому арестовать отца Сергея и доставить его в Пугачев.

Скоро выяснилась и еще одна подробность. Это распоряжение прибыло в волисполком еще в четверг на Страстной неделе, но «власть на местах» на свой страх решила не отравлять людям праздника и отложить арест до середины дня в воскресенье. Таким образом, они отчасти разрушили план, созданный, несомненно, Апексимовым, может быть и совместно с Варинным-сыном, – испортить отцу Сергию и приходу самые торжественные дни в году.

– Можно войти?

Что там спрашивать «можно?», когда уже вошел! В дверях комнаты, слегка наклонившись, чтобы не стукнуться головой о косяк, стоял теликовский священник, отец Иоанн Локаленков, молодой, красивый, оживленный, и смеялся, потряхивая недлинными, но густыми черными кудрями.

– Проходите, проходите! Какие новости?

– Я только что из Москвы, – сказал Локаленков.

– Знаю, потому и спрашиваю о новостях.

– Ну, что... Смерть Патриарха для вас уже не новость, – начал гость. – А там много говорят о ней и о похоронах. Хоронили его в Вербное воскресенье, а со вторника до воскресенья, до самого отпевания, народ непрерывно шел прощаться. Очередь, говорят, на несколько кварталов стояла. В день похорон с раннего утра трамваи, шедшие к Донскому монастырю, были переполнены, а шло их туда больше обычного. Все улицы вблизи монастыря были забиты

народом. С трудом пропускали только духовенство да иностранные делегации. Зато один священник рассказывал, что, когда он шел вдоль трамвайной линии к остановке, – в Москве ведь между ними несколько кварталов, – переполненный трамвай остановился и захватил его.

Боялись несчастных случаев, в такой толпе легко могли задавить кого-нибудь, но все обошлось благополучно. Епископ Борис Можайский, один из распорядителей похорон, перед выносом вышел на паперть и сказал народу, что на него возложена ответственность за порядок и поэтому он просит, чтобы и во время погребения, и после, пока представится возможность уйти, никто не двигался со своего места, так как в такой массе людей и самое незначительное, на первый взгляд, движение может создать смертельную давку. Епископ просил близко стоящих передать его слова дальше, и порядок все время соблюдался образцовый, хотя было много слез и рыданий. В церкви, во время отпевания, священники стояли от гроба до алтаря, в несколько рядов с каждой стороны прохода. Локаленков рассказал еще несколько слышанных им подробностей и перешел на другую тему.

– Камилавку я получил, – сообщил он.

– Узнаю митрополита, – сказал отец Сергей, по лицу которого пробежала легкая тень. – Разве он может отпустить без награды кого-то приехавшего к нему, тем более своего «академика». А Сысоева вы там не встретили? Говорят, наконец-то поехал каяться.

– Как же, был, – подтвердил Локаленков. – Митрополит его наперсным крестом наградил.

– Сысоева? – ахнул отец Сергей. – Это за какие же заслуги? За то, что два года обновленцем был, держался до тех пор, пока во всем уезде обновленцев по пальцам пересчитать можно стало. Он разволновался и долго не мог успокоиться. Даже тогда, когда заговорили о другом, он нет-нет да и возвращался опять к Сысоеву.

– Я очень рад, что он, наконец, опомнился, – повторил он, – но награждать его рано. Не следовало бы.

– Митрополит передавал, чтобы вы свой послужной список прислали, – как бы между прочим проронил Локаленков.

– Это еще зачем? – удивился отец Сергей.

Локаленков замялся:

– Кажется, к протоиерейству хочет вас представить.

– Меня? К протоиерейству? – Отец Сергей, сам того не замечая, взволнованно заходил по комнате. – Опять посыпались награды. Какая же им после этого цена? Сысоеву – крест, мне, едва год прошел после прежней, третья часть минимального срока, положенного между наградами, – протоиерейство. А если мы еще лет пятнадцать – двадцать прослужим, чем нас тогда награждать будут? Нет, раньше не так было. Слышали про Лаврского, – обратился он к Локаленкову, – сколько лет в Самаре настоятелем кафедрального собора был, человек действительно достойный, уважаемый, архиереи и те с его мнением считались. А попробовал было епископ Гурий⁸² выхлопотать для него митру, так знаете, что ему в Синоде ответили? «Самара еще слишком молодой город, чтобы иметь митрофорного протоиерея». Разбирали, город-то достоин ли такой чести... А теперь и по селам протоиереев ставят, того и гляди, и митрофорные появятся.

Он на минуту остановился, сделал несколько глотков чая и продолжал:

– В то время или, может быть, еще немного раньше, на всю Россию было пять митрофорных протоиереев: в Петербурге, в Москве, протопресвитер военно-морского духовенства (так он чуть не архиерейскими правами пользовался, только не рукополагал) – в Казани... Двоюродный брат моей бабушки, Ефим Александрович Малов... так это величина и не Лаврскому чета! Можно сказать, апостол татар. Всю жизнь, с юности до смерти, среди них прожил, татарский язык изучил, богослужебные книги на него переводил. По словам татар, «Коран лучше

⁸² Гурий (Буртасовский, 1845–1907), епископ Самарский и Ставропольский (1892–1904).

муллы знал». Сколько добра татарам сделал! Сколько беседовал с ними, сколько окрестил, наверное, и сам счет потерял. И до сих пор его там помнят. Недавно я встретил на пароходе казанского татарина, заговорил с ним об отце Ефиме, так он сразу просиял. «А, бачка Юхим! хороший был человек бачка Юхим, якши!» Вот таких и награждать было за что, а то мы... протоиереи деревенские!

Исполняя распоряжение митрополита, отец Сергей выслал послужной список, но вместе с ним послал и письмо. Там, насколько возможно в почтительной форме, он высказывал свой взгляд на награды. Писал о том, что ему сообщили о намечающемся награждении его протоиерейством. А между тем он и так, за короткий срок, с 1922 года, получил уже несколько наград – скуфью, камилавку, наперсный крест, был назначен благочинным. Говорил, что нельзя так часто награждать одного и того же человека; что награждения даже без особых заслуг, просто потому, что человек на глаза попался, обесценивает награды, лишают их значения. Тут же упомянул, хоть и не так подробно, как в разговоре, о старинной практике, о Лаврском и Малове. Добавил и то, что даже обновленцы, ссылаясь на эти награды, делают вывод: «Вы не знаете митрополита Тихона, он давно обновленец».

Писал и о том, что скромные, честные труженики всегда останутся позади в этой чехарде с наградами. Только что он представил двоих лучших и старейших в округе священников к камилавкам, по возможности поравнял их с другими, а теперь опять то же. У Сысоева – наперсный крест, сам отец Сергей почти уже протоиерей, и эти двое снова остаются где-то сзади, наравне с молодежью, вроде Локаленкова. Конечно, они не ради того работают, а все-таки им будет горько.

Отец Сергей еще раз попросил прощения за то, что вмешивается не в свое дело, закончил письмо, как водится, просьбой молитв и благословения и сказал с невеселой усмешкой: «Теперь, вместо протоиерейства, митрополит меня, может быть, и набедренника лишит».

Ответ пришел очень быстро, и это, вместе с его тоном, показывало, что письмо отца Сергея сильно задело митрополита, особенно включенная в письмо фраза Апексимова⁸³ об его обновленчестве.

«Богу известно, – писал митрополит Тихон, – что я никогда не был обновленцем».

По поводу основной мысли письма он довольно резко ответил, что отец Сергей «проявил ревность не по разуму», и уже более спокойно объяснил свое отношение к делу.

Нельзя в настоящее время брать пример с прежних спокойных лет. В мирное время и военных почти не награждают, а начнется война – и награды следуют одна за другой. И в Церкви сейчас идет война, поэтому нечего удивляться обилию наград. И если те священники, которых отец Сергей в прошлом году представлял к награде, заслуживают этого, пусть пишет о них опять, не смущается тем, что прошло еще немного времени. Не так-то много, применительно к «военному» времени, значат его прошлогодние награды. А благочиние (он почти буквально повторил слова Табунщикова) – не награда, а обязанность, тяжелое дело, за добросовестное выполнение которого тоже следует награждать. А потому отец Сергей должен немедленно по получении письма поехать к епископу Павлу для возведения в сан протоиерея.

Что он и выполнил. Уже не возражая больше, он приехал в Большую Глушицу к дням памяти апостола Иоанна Богослова и святителя Николая.

Летом 1925 года к отцу Сергию пришел бывший миссионер Афиноген Антонович Кургаев. Лишенный сана за пристрастие к выпивке, он жил в родном селе Дубовом и по собственному желанию заводил беседы с раскольниками, сектантами и даже с безбожниками везде, где другому показалось бы невозможным. Когда вернулся митрополит Тихон, Кургаев написал ему просьбу – разрешить во время бесед надевать священнический крест. Полученное разрешение окрылило старика.

⁸³ Или Н. М. Варина. – *Авт.*

На этот раз он предложил отцу Сергию за сходную цену купить у него «Толковую Библию» Лопухина. Конечно, любая «сходная» цена все-таки заставляла сделать долги и на несколько месяцев отказаться от мечты о многом необходимом, но не часто является возможность приобрести такую ценность.

– А как же вы-то, Афиноген Антонович, расстаетесь с этим сокровищем? – удивлялся отец Сергей.

– Мне деньги нужны, в Самару съездить. Слышали, что обновленцы там съезд собирают? Я поеду туда и обличу их.

Вернувшись из поездки, Кургаев чуть ли не в тот же день опять явился к отцу Сергию с такой животрепещущей новостью, что отложил даже рассказы об «обличении»: на съезде был Апексимов, они встретились на пароходе.

Этот факт лишний раз подтверждал сведения, поступавшие к отцу Сергию из разных источников, и от друзей, и от врагов. Сообщали, что Апексимов не порвал связи с обновленцами, даже получает их журнал «Вестник Священного Синода», который высылается только их единомышленникам; что он по-прежнему числится у них благочинным и в качестве такого заводил разговоры с некоторыми из духовенства – Пеньковым, Бурцевым...

Отец Сергей не признавал неопределенных положений. Он вспоминал печальную Пасху этого года, которой был обязан, несомненно, Апексимову, но все-таки решил еще раз сходить к нему. И, придя, поставил вопрос ребром: *Наши ли еси, или от супостат наших?* (ИсНав. 5: 13)

– Что значит супостат? – Апексимов страшно обиделся на это слово, а может быть, только сделал вид, что обиделся, чтобы увильнуть от ответа по существу. Впрочем, их отношения с отцом Сергием сложились таким образом, что самое его существование едва ли не расценивалось Апексимовым как оскорбление. Недаром же он бросил фразу: «Перед митрополитом могу унизиться, а перед С-вым не унижусь!»

Конечно, прямой вопрос отца Сергия остался без ответа, но поведение Апексимова само по себе являлось ответом. Вернувшись, отец Сергей, по обыкновению, рассказывал о своем посещении всем, кто хотел слушать, а таких нашлось много.

– Я Варина и то больше уважаю, чем Апексимова, – комментировал отец Сергей свои рассказы. – Тот как повел свою линию, так и ведет ее, а этот крутится во все стороны. Уж лучше бы оставался в обновленчестве. Так, по крайней мере, церковь очищается от карьеристов и неискренних. От тех, которые вышли от нас, но не были наши.

Тут, кстати, следует привести определение, которое несколько лет спустя давал обновленчеству Костя, тогда уже отец Константин. Он говорил: «Христианские идеалы так высоки, что к ним трудно приблизиться. Обычно христианам ставят в вину несоответствие их идеалов с жизнью. Все мы знаем о том, что их нужно сблизить, но обновленчество не стремится поднимать жизнь до христианского идеала, а, наоборот, снижает идеалы и приспособливает их к жизни».

Вскоре Апексимов еще раз показал себя. Незадолго до этого, в конце 1924 или начале 1925 года, когда окончательно стало ясно, что он не оставит Левенку и не вернется в свой прежний приход Орловку, когда бывший левенский священник Седнев получил новый приход, епископ Павел, по просьбе прихожан, посвятил в Орловку нового священника. Это был местный уроженец, еще молодой, Александр Р-в.

Р-в был вдовцом, епископ Павел сначала не хотел рукополагать его, но он прожил в Большой Глушице несколько дней, молился по ночам и всем своим поведением достиг того, что епископ поверил ему. Приезжавшие с Р-вым попечители, как оказалось потом, его родственники, тоже ручались за его безукоризненное поведение. Епископ поверил и рукоположил Р-ва во священника. А через несколько месяцев, может быть, даже через несколько недель, Апексимов обвенчал его со второй женой.

Узнав об этом, епископ Павел запретил Р-ва в священнослужении, но он не подчинился и, поддерживаемый родственниками и подстрекаемый Апексимовым, еще некоторое время продолжал служить в Орловке. А однажды явился к отцу Сергию за личным делом, найдяшимся в делах благочиния. Отец Сергий отказался выдать его.

Не только старшие дети отца Сергия, но даже и маленькая Наташа запомнили эту сцену. Р-в устроил целый скандал, грозил, кричал: «Отдайте мои документы!»

– Документы не ваши, а церковные, – отвечал отец Сергий. – Это личное дело запрещенного священника Р-ва, которое должно храниться в благочинническом архиве. – Если бы даже я и выдал их, – помолчав, добавил он, – то только с пометкой, что указанный в документах Р-в запрещен в священнослужении, как второженец.

– Ни вы, ни епископ Павел ни уха ни рыла не понимаете, – кричал Р-в, крупными шагами расхаживая по комнате, и добавил, что его первый брак был незаконный, так как первая жена была ему родственницей.

– Если считать брак незаконным, значит, она была наложница, – отвечал благочинный, а это запрещается тем же семнадцатым правилом святых апостолов и третьим правилом Шестого Вселенского собора: «Кто по святом крещении двумя браками обязан был или на ложни цу имел, не может быть ни епископ, ни священник, ни диакон».

Р-в шумел, кричал, грозил, но вынужден был уехать ни с чем.

Епископ Павел очень тяжело переживал этот случай, считая его своим тяжелым грехом. Отношение его к виновнику ярко характеризует душевные качества епископа, когда, несколько лет спустя, Р-в попал в тюрьму, епископ Павел, живший тогда опять в Пугачеве, посылал ему отдельные передачи, объясняя своим близким: «Мой грех!», и горячо молился о его вразумлении.

Но это было, повторяю, спустя несколько лет, году в 1929–1930-м, а в конце 1925 года епископ Павел был вынужден переехать из Глушицы в город Покровск (Энгельс).

Глава 39 «Ибидем»

Зимой 1924 года приехал отец Иоанн Тарасов и, не успев раздеться, сообщил:

– На днях в Черном Затоне состоится диспут. Со стороны верующих выступает федоровский псаломщик Каракозов. – Почему же псаломщик? – удивился отец Сергий, – неужели не нашлось священника?

– А Николай Александрович Каракозов не уступит ни одному священнику. Он семинарист, еще молодой, окончил Саратовскую семинарию чуть ли не в год ее закрытия. Имеет хорошую апологетическую библиотеку – кажется, при закрытии семинарии сумел получить оттуда ценные книги. Хороший оратор. Давно бы был священником, если бы не одно препятствие, на вдове женат.

– А если мы вчетвером заявимся? Видите, как мои разволновались.

– Вчетвером не советую, мальчиков не пропустят. А с Соней можно.

Под вечер назначенного дня отец Сергий с Соней и с Сергеем Евсеевичем под видом кучера заехали за отцом Иоанном и отправились дальше, через Волгу, в Черный Затон.

Здание клуба было битком набито. На помощь докладчику-безбожнику явились активисты из соседнего села Груневки. Съехались священники ближайших сел. Некоторые из них, так же как и отец Иоанн и отец Сергий, ехали с намерением выступать. Собравшись в ожидании диспута, у местного батюшки, они предложили договориться между собой, составить план выступлений, но Каракозов запротестовал.

– Я ставлю условием, чтобы никто не вмешивался, – сказал он. – Я буду говорить один. Мы друг друга не знаем, проработать план диспута и распределить материал не успеем, тем

более что неизвестно, о чем будут говорить безбожники. В таких условиях случайные ораторы могут отклониться в сторону от намеченного мною плана и этим принести не пользу, а вред. Лучше уж я один использую все положенное нам время.

Диспут был первым, так сказать опытным. И та и другая сторона на нем только пробовали свои силы, брели ощупью. Эта неопытность сказалась и в самой теме диспута, слишком общей, не то «О религии», не то «О вере в Бога». Такая тема скорее годилась бы при случайных стычках где-нибудь на вокзале или на пароходе. На диспуте говорили обо всем, что имело отношение к религии, и не было возможности заострить внимание на каком-то определенном вопросе. Несколько лет спустя такой диспут называли бы слабым, он и сейчас не удовлетворил ни слушателей, ни самого Каракозова, хотя и безбожники, по-видимому, приняли его как свой провал. Зато для верующих он послужил толчком для дальнейшей работы над собой. Много значило уже то, что стало понятно, в каком направлении нужно работать, и то, что эта работа не являлась теперь уже только теоретической подготовкой к чему-то далекому, а оказалась живой, необходимой именно сейчас, такой, которой нужно отдавать все свободное время. И на ближайший период апологетические сочинения вытеснили на столах у обоих священников все остальные книги. Отец Иоанн, и раньше знакомый с Каракозовым, теперь начал бывать у него чаще и привозил от него ценнейший материал. Два тома «Христианского вероучения в апологетическом изложении» протоиерея Светлова, его же «Религия и наука» – книжечка небольшая, но для данного момента чуть ли не еще более ценная, «Христианская апологетика» Рождественского и другие книги не только прочитывались отцом Сергием и старшими детьми, но и тщательно прорабатывались. Отцу Сергию уже некогда было самому делать выписки. Он только отчеркивал заинтересовавшие его места и осторожно помечал карандашом, к какой теме следует их отнести. А едва он выпускал книгу из рук, как ей завладевали «переписчики» – трое старших детей. Заготовленные отцом Сергием толстые тетради для выпи сок по разным вопросам были разделены между переписчиками. Каждый из них искал в отчеркнутом материале свои темы и тщательно переписывал. Чаще всего чести быть переписанными удаивались не собственные слова автора книги, а цитаты, заимствованные им из других сочинений. Тогда переписывались и примечания, в которых указывались наименование и автор цитируемого труда, чаще всего иностранного. В этих случаях примечание тщательно копировалось буква за буквой, чтобы не ошибиться в правописании, независимо от того, понятно или непонятно было самое слово.

– Как много написал ученый Ибидем, – сказала как-то вечером Соня, списывая в тетрадь очередную выдержку. – Только почему-то у него нигде не указано заглавие сочинения, только страницы.

– Какой ученый Ибидем? – встрепенулся отец Сергей. – Что ты говоришь? – А вот смотри: «Ibidem, стр. 159–160».

– И вы все так писали? – взволновался отец, обращаясь к остальным.

– Конечно! – подтвердил Костя. Миша, внимательно переписывавший мучительные для русского языка слова, только кивнул головой.

– Ох!.. Ну, хорошо, хоть вовремя заметили, пока не отдали книги. Ведь это значит «там же», то есть что выдержка приводится из того же сочинения, на которое ссылались раньше. А вы пишете не подряд, с разных страниц, из разных глав, у вас впереди может оказаться цитата совсем из другой книги. Ну-ка, берите все тетради, ищите, где написано, проверяйте по книге, кого автор цитировал перед этим.

На проверку ушел целый вечер. Аккуратно, чтобы не испортить внешнего вида тетрадей, вычеркивали так полюбившееся всем коротенькое словечко и заменяли его громоздкими, тяжеловесными, чаще всего немецкими заглавиями. Зато на практике стала понятна польза этих, так надоевших переписчикам примечаний. Как бы они стали искать нужные выдержки,

если бы после иностранного заглавия не стояли названия и страница той русской книги, из которой они были взяты?

– Что с вами, отец Иоанн?

Отец Иоанн стоял в дверях, держа в руке только что снятую шляпу. Его рассыпавшиеся по плечам обычно белоснежные волосы на этот раз были нежно-розового цвета, словно на них падал отблеск зари.

Гость показал новую коричневую расческу:

– Она, злодейка, виновата. Сходил я в баню, причесался... Она сухие волосы не красит, а с мокрыми да горячими видите что сделала... Да ну ее... давайте разберемся...

Село Екатериновка, где служил отец Иоанн, было маленькое, жители там все перероднились между собой, и нигде в соседних селах не возникало столько вопросов о степенях родства и о возможности браков в этих степенях. Приезжая в Острую Луку, отец Иоанн чуть не каждый раз привозил новый запутанный случай.

Из глубины лет появлялись дедушка Мирон Степанович или Николай Прохорович, его первая и вторая жена, их сводные дети, родные и двоюродные племянники и, наконец, молодая пара, о которой сейчас идет речь. Если случай был очень запутанный, доставали бумагу и карандаш, чертили схему; мужчины изображались квадратом, женщины – кружками, а от родителей к детям и от детей к внукам тянулись прямые линии. Потом оставалось только посчитать эти линии, чтобы сказать: вот тут родство дальше, можно венчать, в другом случае требуется разрешение архиерея, а в третьем – и архиерей не разрешит. В Острой Луке таких случаев тоже было немало. Как и в Екатериновке, предусмотрительные родители прежде, чем начинать сватовство, советовались со священником. И не было случая, чтобы архиерей разрешил брак, который отец Сергей считал недопустимым.

Покончив с определением родства, переходили на другие темы. О чем только не говорилось: о происхождении зла; о темах последних проповедей (отец Иоанн был единственным, опередившим отца Сергея по их количеству, – за шесть дней первой недели Великого поста отец Сергей произнес восемнадцать проповедей, а отец Иоанн – двадцать одну, причем их не уставали слушать); о последних выступлениях Александра Введенского или Илариона Верейского⁸⁴; об Оригене, Канте и Платоне; о том, в чем прав и в чем не прав Владимир Соловьев в своем «Оправдании добра» и т. д.

– Калякай, баць’шка Иван, – вдруг шуточно, подражая татарскому акценту, перебивает отец Сергей длинное рассуждение друга и, переходя на обычный тон, продолжает: – А что же все-таки им от нас нужно? – Это значит, что он опять вспомнил о недавнем, не совсем ясном по последствиям, происшествии, о котором у них уже был разговор, о переданных через третье лицо и недостаточно понятных словах их принципиальных противников. Отец Иоанн, улыбаясь глазами, оглядывается на Юлию Гурьевну или Соню, как бы ища их сочувствия, с шутивным сокрушением покачивает седой головой и, как купальщик в омут с высокого берега, окунается в новую тему. Соня, мальчишки, и даже Наташа сидят вокруг, готовые слушать хоть всю ночь.

– Я часто думаю, – заметил однажды отец Иоанн, и в его добрых серых глазах промелькнуло какое-то сложное чувство, – не то печаль, не то забота, – как они жить будут, что на их долю достанется? Он обращался как будто к Юлии Гурьевне, но ответил отец Сергей.

– Им будет легче, – в тон другу сказал он, – они прошли другую школу жизни, не избалованы, как в свое время были избалованы мы. Мы только с большим трудом, ломая свои прежние привычки, дошли до того, с чего они начинают жить. А им все это кажется нормальным,

⁸⁴ Иларион (Троицкий, 1886–1929), архиепископ Верейский (1920). Секретарь и главный консультант Патриарха Тихона по духовным вопросам. Активно выступал против обновленчества. С 1922 г. большую часть времени провел в тюрьмах и ссылках. Скончался от сыпного тифа, заразившись на этапе в очередную ссылку. В 1999 г. прославлен в лике местночтимых святых, в 2000 г. причислен к лику новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.

значит, они могут дальше пойти. Вот вы в Саратов за архиереем ездили, а они, может быть, в Японию или в Абиссинию поедут...

Глава 40

Дети и отец

Весной 1925 года, по возвращении из Пугачева, отец Сергей наконец-то приобрел собственный дом, вернее, крестьянскую избу. Об этом он думал много лет, его беспокоило, что он может оставить семью на произвол судьбы, даже без крова. И вот, отдав в счет уплаты за дом молодую корову, с трудом заняв недостающие семьдесят рублей, он сколотил наконец необходимые шестьсот рублей и семья переехала в «собственный дом». Он состоял из единственной комнаты площадью около двадцати квадратных метров, значительную часть которой занимали русская печь и «чулан» для стирки. Поставив поперек комнаты фисгармонию и повесив занавески, отделили для привыкшей к лучшим условиям Юлии Гурьевны уголок с окном, крошечным столиком и постелью на сундуке, а остальные члены семейства по-прежнему должны были спать на полу или полатах. Правда, при покупке имелось в виду, что пристроенные к дому большие, чуть ли не больше самой комнаты, сени из толстых пластин, со временем можно будет отеплить и превратить в жилое помещение. Но главное – теперь и у них есть свой угол. Отец Сергей чувствовал, что с его плеч свалилась гора.

Однако жизнь, налаживаясь в одном отношении, в другом становилась все тревожнее, все беспокойнее: дети что ни дальше, то больше ссорились. Мальчики делались все более непослушными, резкими, подчас прямо грубили. «Это переходный возраст, это пройдет, – не раз повторяла Юлия Гурьевна. – У всех так бывает. Хоть бы мой Миша. Такой он всегда был ласковый, услужливый, а в этом возрасте на себя стал не похож. Я тогда очень волновалась, пока мне не объяснили, в чем дело. А потом все прошло, стал таким же, как и раньше».

– В нашем роду этот период переживается очень болезненно, – добавлял отец Сергей. – Особенно тяжело проходила ломка характера у брата Евгения. Несколько лет это тянулось. Наш Миша мне сейчас отчасти его напоминает. Главное то, что в это время обыкновенно происходит и переоценка всех прежних взглядов и убеждений. Многим это очень трудно достается. На мальчиков, у которых ломается характер, нужно смотреть как на больных.

Может быть, все проходило бы гораздо спокойнее, если бы в семье, кроме мальчиков, были только кроткая Юлия Гурьевна да разумный, вдумчивый воспитатель – отец Сергей. Но тут была и Соня, а с ней мальчики ссорились чуть ли не чаще, чем между собой. Ее авторитет учительницы сошел на нет, старшинство на три-четыре года становилось все менее заметным. Мальчики и на уроках, и в обычных разговорах, все чаще, каждый по-своему, восставали против выдвигаемых ею положений: Костя – целыми речами, за которые она досадливо называла его профессором, а Миша – едкими шуточками. Девушка в запальчивости не видела за этими шутками того, что бросалось в глаза отцу, – собственной Мишиной внутренней борьбы, она видела только насмешку. Выдержка, которую она проявляла в серьезных случаях, при мелких стычках совершенно изменяла ей; она начинала горячиться, грубить со своей стороны и, чаще всего, плакать. Ссорились из-за всего: из-за того, можно ли поставить к столу скамейку или обходиться стульями – теснее, зато красивее.

Осложнило положение и то, что спорщиков было трое. Пока ссорились двое, дело еще кое-как шло, но стоило вмешаться третьему, и равновесие нарушалось. Получивший поддержку усиливал нападение, а оставшийся в одиночестве чувствовал себя несправедливо обиженным, чуть ли не преданным. Мальчики, благодаря большой близости по возрасту, чаще оказывались вместе, а для Сони дело оканчивалось слезами и сильнейшей головной болью. Нередко в ссору вмешивалась и Наташа, обыкновенно бравшая сторону сестры, хотя часто и

не понимала хорошенько, из-за чего началось дело. Дошло до того, что о некоторых вопросах стало невозможно заговаривать, за первыми же словами разражалась буря.

– Папа, и вы советуете терпеть, ждать, когда пройдет переходный возраст, когда характеры установятся, – со слезами говорила или думала иногда Соня. – А почему же никому не приходит в голову, что у меня, может быть, тоже характер ломается? Разве у девочек это невозможно? И сколько ждать? Пока солнышко взойдет, роса очи выест. Характер-то у них устанавливается, а прежняя дружба у нас наладится ли? Может быть, так и останемся на всю жизнь врагами, конечно, ведь я прекрасно знаю, что они и сейчас, если бы это понадобилось, пожертвовали бы за меня жизнью, как и я за них. Почему же мы то и дело ссоримся? Врагами мы не будем, а охладеть друг к другу можем.

Возможно, что в словах Сони о ломке характера и у нее была доля правды. Раньше подобных явлений не замечали, потому что жизнь девочек прежних поколений шла ровнее, чем у мальчиков, десятилетиями двигалась по одному руслу. Учение, замужество или преподавание в школе, обычно кончавшееся тоже замужеством, семья. В этой жизни не оставалось места для проклятых вопросов, переходный возраст проходил незаметно, и у отца Сергия и Юлии Гурьевны могло создаться впечатление, что это чуть ли не свойство женского организма. Другое дело сейчас, когда все взбудоражилось, когда каждое установившееся мнение, каждый шаг требуют внутреннего обоснования применительно к новым условиям жизни. Ее мозг и сердце работали так же настойчиво, как и у братьев, как и у Миши, с которым у нее было больше сходства в характерах и, может быть, именно поэтому чаще происходили столкновения. Несколько лет спустя выяснилось, что, исходя из общего центра, их мысли и подошли тоже к сходным решениям и выводам, но путь развития проходил по сложным кривым, которые у брата и сестры часто пересекались так, что казались идущими в противоположные направления. Миша тщательно рассматривал каждый проверяемый момент, каждое мнение со всех сторон, с любопытством, полным, может быть, затаенного трепета, наблюдал, а что получится, если мы повернем его этой стороной?.. А если вот этой?.. Свои взгляды он формировал по методу исключения, отсекая все не выдержавшее испытания и оставляя единственно возможный вариант. Соня, услышав, как он высказывает одни из неприемлемых для нее, иногда парадоксальных тезисов, не понимала заключенной в них боли и искания, принимала их за его действительные новые взгляды, возмущалась и огорчалась за брата, и бросалась спорить со страстностью, никак не способствовавшей установлению истины. А Миша, встретив противника, тем настойчивее защищал даже случайную мысль, и с тем же появившимся у него холодным любопытством исследователя, следил уже за сестрой: «А как она будет держать себя, если я еще так скажу? А если так?»

Даже отцу Сергию не удавалось прекращать эти бурные споры-ссоры. Тут не помогало и то, что чем дальше, дети все ярче и болезненнее чувствовали любовь к отцу, все больше боялись потерять его. Наоборот, это только подливало масла в огонь. Стоило ему чуть-чуть склониться на сторону одного из спорящих, как другому представлялось: «И папа против меня», и, он, не рассуждая, не считаясь с выражениями, усиливал натиск, стараясь привлечь отца на свою сторону.

Костя реже принимал участие в таких спорах, он лучше умел выбрать момент и поговорить с отцом один на один, но если вмешивался и он, то страсти разгорались еще больше.

Как-то вечером, в разгар одной из таких бессмысленных ссор, Соня выскочила во двор, чтобы выплакаться и успокоиться. А почти следом за ней из комнаты вышел отец. Он остановился на крыльце, приложился лбом к поддерживающему крышу столбу, и долго стоял неподвижно. В темноте не было видно его лица, но какое горе выражала эта поза!

Соня рассказала об увиденном братьям, и некоторое время все старались сдерживаться, но все-таки иногда прорывались. Одна из таких ссор, принявшая самую неожиданную форму, корнями уходила к прошедшему диспуту.

Во время диспута безбожники доказывали, между прочим, классовое происхождение религии, базируясь на том, что слова «Бог» и «богатый» происходят от одного корня. Уже после окончания диспута, когда духовенство обменивалось впечатлениями на квартире местного – чернотонского – батюшки, Каракозов сказал, что интересно было бы выбрать соответствующие слова на возможно большем количестве языков и доказать, что это созвучие случайно и, следовательно, не может являться серьезным доказательством – аргументом. Уже спустя порядочно времени Соня решила заняться этим. Она старательно копалась в старом дедушкином немецком словаре, во французском, английском и латинском, приложенных к Энциклопедическому словарю Брокгауза и Эфрона, тщательно выбирая синонимы этих слов, и оказалась довольна результатами: в разных языках эти понятия обозначались несходными словами. Она выписала все найденные слова и, войдя в комнату, торжественно протянула листочек отцу.

По-видимому, отец Сергей думал в это время о чем-то своем, важном. Возможно, он даже забыл этот аргумент безбожников, который и тогда не произвел на него впечатления. Он бегло взглянул на клочок бумаги с несколькими неразборчивыми, написанными карандашом иностранными словами, и, почти не выслушав объяснения, молча возвратил его Соне. А Миша не замедлил поддразнить:

– Наш великий философ!

Быстрым движением Соня разорвала записку на мелкие клочки. Отец Сергей строго взглянул на нее:

– Что это за выходка? Кому ты что доказала?

Соня не успела ответить. Из-за занавески появилась Юлия Гурьевна. Всегда такая выдержанная, никогда не повышавшая голоса, она была страшно возбуждена.

– Вы несправедливо поступили, Сергей Евгеньевич, – горячо и взволнованно проговорила она. – Девочка старалась, хотела принести пользу, а в ответ получила только насмешку и выговор. Несправедливо!

У маленькой кроткой старушки даже руки дрожали, и голос прерывался от волнения. А отец Сергей ответил тихо и смиренно:

– Простите меня, мамаша, может быть, я действительно не прав.

– Это вы меня простите, что я вмешалась и наговорила Бог знает чего, – со слезами на глазах ответила старушка.

Соня незаметно выскользнула из комнаты и поплакала в своем потайном уголке, пораженная тем, что из-за нее, первый раз в жизни, поссорились папа и бабушка. А Миша одиноко бродил по огороду и думал.

Летом 1926 года окончательно было решено, что осенью мальчики поедут учиться в село Спасское (Приволжье), где была школа-семилетка. Соня уже ничего больше не могла им дать, им требовались настоящие учителя. Таким образом, отпала одна из главных причин ссор в семье. Принесла пользу и разлука; сестры и братья соскучились друг по другу и серьезнее прочувствовали право каждого иметь свои взгляды и по-своему выражать их.

С годами устанавливались и крепились убеждения молодых людей, выравнивался их характер. Стычки становились все реже и реже. Новые продолжительные разлуки заставляли забывать о старых ссорах, стыдиться их, все глубже становились взаимные любовь и уважение. Находясь в разлуке, они что ни дальше, то сильнее желали соединиться вместе, неоднократно предпринимали попытки к этому, и снова разлетались в разные стороны, подхваченные бурными событиями тех лет. И в укреплении их взрослой дружбы, в стремлении жить вместе опять большую роль сыграл отец, не устававший до самой смерти, сначала на словах, а потом в письмах твердить им:

«Живите дружно, детки, не отделяйтесь один от другого. Знайте, что у вас не будет никого, более близкого, никого, кто бы вас так понял, так пожалел. Старайтесь по возможности, опять соединиться в одну семью, живите дружно, любите и берегите друг друга!»

Глава 41

Один

1925–1926 гг.

Как было во дни Ноевы – ели, пили, женились и выходили замуж, пока не пришел потоп на землю и не истребил всех, так будет и в пришествие Сына Человеческого⁸⁵.

– Грозные слова! Люди жили, занимались своими делами и не думали о том, что их ожидает скорая гибель. Так, говорит Господь, будет и в пришествие Сына Человеческого, то есть перед Страшным Судом. А думаем ли мы о нем? Конечно, нет, а если и подумаем, то успокаиваем себя, говорим, что это будет еще не скоро. Да, время общего последнего суда скрыто не только от нас, но и от ангелов, может быть, он, и действительно, будет еще не скоро. Но каждого из нас ожидает свой, отдельный, страшный суд, после смерти, когда уже невозможно будет покаяться и изменить свою судьбу, и этот суд будет, может быть, и очень скоро. А готовы ли мы к нему? Проверили ли хоть раз, нет ли и в нашей жизни тех пороков, которые погубили древних людей? Что тогда случилось? Ведь Библия повествует, что вначале, по крайней мере половина рода человеческого, потомки Сифа, вели праведную жизнь, настолько праведную, что в Библии они называются «сынами Божиими». Почему же они развратились до того, что потоп истребил всех, кроме восьми душ, бывших с Ноем в ковчеге? В Библии говорится: *тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемому человеками сими, потому что они плоть...* (Быт. 6: 2–3) Вот, значит, какая причина. Люди начали обращать внимание на наружную красоту женщин больше, чем на их внутренние достоинства, и, женившись на них, под их влиянием сами забывали думать о духовном и заботились только о земном.

Отец Сергей говорил, по обыкновению, горячо и убежденно, и молящиеся, прислушиваясь к его словам, соображали, к чему он ведет.

За долгие годы, проведенные в Острой Луке, отец Сергей так сроднился с народом, так вошел в жизнь села, что от него не скрывались никакие изменения в настроении людей, никакое самое мелкое происшествие. И проповеди его были не просто отвлеченными рассуждениями, они говорили о том, что волновало село в последнее время, о новых, пока еще не всем заметных, ненормальностях в их жизни. И ничто не могло заставить его промолчать, он считал проповедь своей главной обязанностью.

«Не послал меня Господь крестить, но благовестить, – говорил он словами апостола Павла, – горе мне, если не благовестую». А в своем «окружном послании» – письме духовенству того округа, в котором он был благочинным, письме об их пастырских обязанностях и, в частности, о проповеди, он приводил горькие и гневные слова пророка: «И это псы немые, не умеющие лаять, и это пастыри бессмысленные!» Сам он не хотел быть немым псом и все силы полагал на охрану паствы, к которой был приставлен.

Сейчас его волновало новое неприятное открытие. Как всегда, о всякой новой, еще не совсем для него ясной, мысли он говорил сначала с самыми близкими – это помогало мысли оформиться, сделаться более определенной. А потом, если находил предмет достаточно важным, начинал говорить о нем везде: и наедине, и с амвона, и с друзьями-единомышленниками, и со случайными собеседниками. Затем наступал следующий этап: мысль превращалась в решение, которое он и сам старался проводить в жизнь и от других добивался того же.

⁸⁵ См.: Мф. 24: 37–39.

То, о чем он сейчас говорил в проповеди, а до того к чему неоднократно возвращался в частных разговорах, зрело долго, являлось плодом многих наблюдений. Отчет, аккуратно составившийся и посылавшийся им в конце года, не был для него только надоедливой бумажной волокитой. В это время он мысленно отчитывался и перед собой. И, записывая в отчете строку: «В течение года присоединено к Православию из раскола столько-то человек», он видел не цифры, а людей, не только присоединенных в течение года, а за все время своей работы. Тут была и бабушка Загаринская, и старик Липат Точилкин, и семья Горшуновых, и множество молодых парней и девушек, пожелавших присоединиться, потому что их женихи или невесты оказались православными. И, перебирая в памяти всех этих людей, отец Сергей что ни дальше, то больше убеждался, что самыми твердыми в принятой вере оказывались те, которые долго и мучительно колебались, раздумывали, подходили к этому вопросу как к решающему судьбу всей жизни, не только настоящей, но и будущей. Какая-нибудь старуха, еще долго державшаяся своей моленной после того, как вся ее семья перешла в Православие, последовав наконец за остальными, зорко следила, чтобы ее дети и внуки не ленились ходить в церковь и выполнять все, что полагается по Уставу. «Кто родился в своей вере, может, когда и заленится, не подумает, какое сокровище ему ни за что ни про что досталось, – говаривали такие, – а мы по своей воле выбирали, нам пятиться нельзя, и перед людьми стыдно, и перед Богом грешно». С молодежью получалось другое.

«Им не вера нужна, – говорил отец Сергей, – а богатые женихи да красивые невесты».

«А что же дальше? Выходит девушка в старообрядческий дом. Жених присоединился, родители согласились, все как будто в порядке. А как только свадьбу сыграли, так и начинается: свекровь молодых с собой за стол не сажает, из отдельной посуды кормит, на свои иконы молиться не позволяет, корыто не дает белье постирать, на каждом шагу попрекает: вы – поганые. Сын, обыкновенно, долго не выдерживает, быстро возвращается к старому, и сам начинает жену пилить, а то и поколачивать. Бабенка потерпит-потерпит, поплачет-поплачет, да и сама за мужем уйдет.

Чаще, конечно, меняют веру девушки, переходят в православную семью. Это, кажется, надежнее. Но тут начинает работу сватья, мать молодой, ведь со времени боярыни Морозовой и до наших дней раскол, главным образом, женщины поддерживают. Она сегодня забежит без старших, поплачет, завтра поговорит, потом молодуха сама домой пойдет, там ей все время начитывают. И, смотришь, открыто-то она не отшатывается, а и в церковь не ходит, и мужа отвлекает. Вот и готовая семья – ни рыба ни мясо, – не холодные, не горячие, а попросту безнадежные». Если шел частный разговор, отец Сергей называл несколько фамилий. «Вот у Капишиных молодых в церкви увидишь только на Рождество да на Пасху, у Келаревых и ребенка-то причащать бабушка с боем носит. Максим Дуров парнем ни одной вечерни не пропускал, не говоря об обеднях, а теперь на улице меня увидит, так норовит свернуть куда-нибудь, боится, что уговаривать начну. А у Андрея Полякова вся семья перешла в Православие, а Настенку оставили, хоть она и охотилась. Говорят: «Посмотрим, какой жених просватается». Я их предупредил: «Если хочет переходить ради Христа, пусть сейчас переходит, пока не поздно, а ради жениха я ее присоединять не стану».

В этих словах заключалось решение, к которому, после мучительных колебаний и бессонных ночей пришел отец Сергей – решение не присоединять переходящих из раскола ради брака.

– Будет буря, – сказал он, возвратившись домой в день произнесения проповеди.

Буря действительно разразилась с силой, которой отец Сергей, может быть, даже не предвидел. Оказалось, что его решение затронуло интересы многих, надеявшихся на запрещенное теперь сватовство. Они и их родственники подняли целый бунт, доказывая, что отец Сергей не имеет права отказывать в приеме желающим принять правильную веру.

– Хорошо, если кто-нибудь из этой молодежи действительно стремится к вере, сделаем, как делали в старину с готовящимися к крещению. Пусть они приходят ко мне и учатся, а в следующий мясоед я их присоединю и обвенчаю.

– А если до следующего мясоеда свадьба разойдется, если жениха или невесту за это время с другими сосватают? – возражали спорщики.

– Ну, вот, видите, значит, я прав, дело не в вере, а в женихах с невестами. А об этом я уже сказал, не допущу насмешки над верой.

Нареченный зять Антипа Назаровича Конькова решил-таки прийти «на оглашение». Отец Сергей поговорил с ним несколько времени и отправил его обратно: «Нечего воду в ступе толочь, ничего у тебя не выйдет».

После этого пришел сам Антип Назарович. Еще от двери, едва поздоровавшись, он поднял шум. «Что это ты, батюшка, за выдумки выдумываешь, – кричал он, – почему парня отталкиваешь?»

Отец Сергей, сидевший за обедом, положил ложку и повернулся к вошедшему:

– А ты что, криком хочешь взять? Разве так разговаривают? Садись-ка лучше, да поговорим спокойно. Парня, говоришь, отталкиваю? Чего его отталкивать, его на волах не подтащишь.

– А как же Христос сказал: *Грядущего ко Мне не иждену вон?* (Ин. 6: 37)

– Ну да: грядущего ко Мне. А этот куда грядет? Вот я, можно сказать, насильно добился того, чтобы он ко мне пришел. Так ты бы посмотрел на него тут. Уселся нога на ногу и сидит, ждет не дождется, когда я кончу говорить. Я думал, у него рот разорвется от позевоты. Камню легче что-нибудь внушить, чем такому слушателю. А ты говоришь – отталкиваешь! Да его тащишь, так он упирается! Хоть бы из приличия сделал вид, что слушает! Антип Назарович, присевший было на стул, снова вскочил с места. «Я жаловаться буду, – кричал он, – сорвать хотите! Если бы я хороший куш отвалил, по-другому бы разговаривали!»

–

Тише, тише, Антип Назарович, не говори пустяков. Разве я с кого-нибудь назначал цену за требы? Разве говорил, что мало дают?

Но Антип Назарович не слушал. Расхаживая по комнате, он продолжал кричать, мешая в одну кучу и *грядущего ко Мне не иждену вон*, и мнимое вымогательство большей платы, и угрозы пожаловаться и архиерею и гражданским властям. Покричав часа полтора, он ушел, так и не выслушав того, что говорил ему отец Сергей. После его ухода девочки убрали со стола застывший обед, к которому никто так и не притронулся.

Через несколько дней прошел слух, что Антип Назарович выдал дочь без венца. Отец Сергей сказал: «Дурная трава из поля вон», а ночью вздыхал и ворочался и встал с бледным лицом и красными от бессонницы глазами.

Еще через несколько времени пришел Афиноген Антонович Кургаев. Люди еще помнили, когда его звали «отец Афиноген». Мордвин из соседнего села, теперь уже старик, он в молодости каким-то образом попал в миссионерскую школу и навсегда заболел этим делом, как некоторые болеют спортом, охотой или увлечением каким-нибудь искусством. Другая страсть – к водке – в конце концов довела его до того, что его лишили священнического сана и отстранили от работы миссионера, но он и после того не оставлял любимого дела. Везде: во время отдыха на сенокосе, на пароходе, в гостях – он готов был затеять спор о вере, а если спорить было не с кем, рассказывал о проведенных раньше беседах. Благодаря ли большому опыту, или прирожденным ораторским способностям, старик говорил медленно, отчетливо, веско, отчеканивая каждое слово, чтобы оно дошло до его, по большей части, малограмотных слушателей. Даже легкий мордовский акцент не мешал ему, а кажется, придавал его речи большую авторитетность. Это был настоящий народный оратор, не особенно глубокий, но понятный и находчивый, особенно на такие ответы, которые часто не отличались даже большой логичностью,

иногда грубоватые, насмерть поражают противника тем, что делают его смешным. «Для чего было Богу творить диавола, ведь он Ему не нужен», – вмешалась раз в его спор на пароходе какая-то молодая женщина. Кургаев, не меняя положения, обратился в ее сторону одним глазом. «Да ты и сама-то Богу не больно нужна, а все-таки Он тебя сотворил!» – почти лениво бросил он в ее сторону, вызывая взрыв хохота, – метод, не убеждающий противника, но сразу уничтожающий доверие ко всему сказанному им.

Однажды, и это было знаком особого благоволения, Кургаев принес отцу Сергию несколько книг «Толковой Библии» и предложил купить ее за сравнительно недорогую цену.

– Мне нужны деньги на поездку в Самару, – объяснил он. – Там собирается съезд обновленцев. Я непременно должен быть там, чтобы послушать, что они говорят, и обличить их.

На этот раз Афиноген Антонович пришел, чтобы «обличить» самого отца Сергия – человека, которого он уважал, но который, по его мнению, сейчас пошел по неправильному пути. Кургаев был миссионер по специальности и по призванию, весь успех в работе для него измерялся количеством присоединенных, о дальнейшем он не задумывался, дальнейшее было делом приходского священника.

Он обрушился на отца Сергия всей силой своего слова, всей своей неглубокой, но обширной эрудицией. И много же, должно быть, перед тем молился и передумал отец Сергей бессонными ночами, если его не поколебал этот напор. Но и спокойным он оставаться не мог, как и при следующем посещении. На этот раз приехал отец Федор Сысоев. С ним отец Сергей часто расходился в мнениях, но уважал его за настойчивость, хотя и возмущался, когда эта настойчивость переходила в упрямство. Отец Федор не признавал ни за кем права мыслить иначе, чем он сам, не признавал никаких смягчающих обстоятельств; разногласие с ним для него было равносильно преступлению.

– Вы слишком много на себя берете, отец Сергей, – с самоуверенностью ограниченного человека говорил он на этот раз, – такие крупные вопросы нельзя решать без согласия других. Это – гордость. Был бы жив митрополит Тихон, он не одобрил бы вас!

– Не знаю, одобрил ли бы митрополит Тихон, а епископ Павел, который сейчас является нашим главой, одобрил несомненно, – вспыхнул отец Сергей. – А с действиями митрополита Тихона я часто бывал не согласен и писал ему об этом, а все-таки он назначил меня благочинным, значит, несмотря ни на что, доверял мне!

Даже в беспокойной жизни отца Сергия немного было моментов, когда ему приходилось выдерживать такой напор с разных сторон от сотоварищей и от прихожан. Среди последних, несомненно, как потом выяснилось, были люди, считавшие его образ действий правильным, но они молчали, а его противники, те, чьи личные интересы оказались затронутыми, кричали, и кричали громко, создавая впечатление, что за ними стоит все село. Даже непосредственный помощник отца Сергия, псаломщик Николай Потапович, обыкновенно покорно молчавший, особенно с тех пор, когда отец Сергей стал благочинным, или, в крайнем случае, недовольно похмыкивающий, на этот раз прорвался, возмущаясь, что уменьшилось количество свадеб. Безусловно соглашались с отцом Сергием только его верный единомышленник и друг – Сергей Евсеевич да кум – отец Григорий Смирнов, с которым отец Сергей, что ни дальше, то больше сходил, разглядев под его внешней инертностью стойкого и убежденного союзника. Но отец Григорий не был миссионером, и его слово в данном случае не имело решающего значения. Втайне отец Сергей желал поддержки авторитетной и энергичной, равной по силе создавшемуся противодействию; точнее, он ждал отца Иоанна Тарасова и мечтал убедить его.

Хорошо зная своего друга, отец Сергей не ожидал, конечно, что тот сразу согласится с его взглядами, но и никак не думал встретить такое упорное сопротивление, переходящее в нападение. Отец Иоанн служил на одном приходе не девятнадцатый год, как отец Сергей, а только восьмой, его опыт не давал еще ему такого материала для наблюдений и горьких выво-

дов, он видел только то, что в прежние годы увлекало и отца Сергия: большое количество присоединенных ради брака, – и не мог представить себе, что их можно не принять.

– А если молодые люди любят друг друга? – привел еще новый аргумент отец Иоанн.

– Это как в романах, что ли? – чуть-чуть усмехнулся отец Сергей. – Много вы видели, чтобы на это обращали внимание при сватовстве?

Он был прав. При сватовстве обращали внимание на все, кроме взаимной склонности молодых людей. Не только характер и наряды, а даже сравнительная красота всех сельских невест обсуждаются на семейном совете, и свататься идут, имея в виду не одну невесту, а несколько: откажут у одних – сваты сразу же идут к другим. Правда, бывает, что по настоянию парня или по собственным соображениям кто-нибудь упорно, несколько раз сватается к одной девушке, или родители невесты отказывают женихам, потому что ждут, не посватаются ли вот такой-то. Но ждут далеко не всегда того, кого девушка хочет, тому-то, может быть, как раз и откажут. И, во всяком случае, если парню или девушке «вышли года»⁸⁶, их непременно окрутят в эту зиму не с тем, так с другим. Воля жениха или невесты в этом случае пассивная, достаточно, чтобы они не протестовали слишком сильно. На это общеизвестное положение намекал отец Сергей другу, добавив, что незачем ставить вопрос о романтической любви на первое место, когда в жизни ей отводится последнее.

– Но ведь бывает, что и протестуют, – возразил отец Иоанн.

– Бывает, конечно, – согласился отец Сергей, – но не доводят протеста до конца. Был ли в вашей практике хоть один случай, чтобы жених или невеста отказались под венцом? У меня не было, и я не слышал о таких, хотя молодежь твердо знает, что ни один священник не будет после отказа продолжать венчание.

– А вот в Васильевке у Кудринского недавно был случай...

– Да, я знаю, он мне подробно рассказывал. Родители невесты пришли просить, чтобы при венчании он не спрашивал ее о согласии, так как она грозит отказаться.

Отец Петр ответил, что раз его об этом предупредили, то он спросит не один, а три раза, советовал не неволить девушку, вызвал жениха с родителями, предлагал им самим расторгнуть сватовство, а девушку предупредил, что без ее согласия венчать не будет. Так ведь в конце концов ее уговорили же, дескать, мы уж потратились, как же теперь расходиться? Она сама пришла к священнику сказать, что согласна. Отец Петр рассказывал, что все-таки, как и обещал, не один, а три раза задал ей уставный вопрос, предупредил: «Подумай, ведь это на всю жизнь!» – она призадумалась и все-таки ответила: «Согласна!» Что тут прикажешь делать? Отец невесты и так грозил подать на него в суд за то, что он после ответа невесты обратился к жениху и спросил: «А ты согласен ее такую взять?» Вот это слово «такую» и показалось им обидным...

– Ну да это не на тему, – перебил себя отец Сергей.

– Да, не на тему, – подхватил отец Иоанн. – Дело сейчас в том, что иногда, пусть это будет в исключительных случаях, отказом повенчать можно разбить жизнь молодых людей.

– А вы посмотрите на это, если вас попросят обвенчать двоюродных, или дядю с племянницей, или сводных брата и сестру? Как исключения и такие явления возможны. Они крайне редки, потому что молодежь заранее знает, что в таком родстве венчать не будут, хоть умри, и невольно бывают друг с другом сдержаннее. Если они привыкнут считать таким же препятствием иноверие, то, будьте уверены, подобные случаи будут почти так же редки, как и при близком родстве. А главное, на исключения правила составлять не приходится, может быть, придется говорить о каждом в отдельности. Притом, по-моему, при глубоком чувстве больше надежды, что молодые люди не поскучают ради достижения своей цели выполнить сие условие – приходите ко мне поучиться. А если они будут слушать внимательно и без предубежде-

⁸⁶ То есть они достигли брачного совершеннолетия. – *Авт.*

ния, это уже половина дела. Еще раз повторяю, об исключениях сейчас говорить рано, нужно потверже приучать людей к самому правилу и... *довлеет днєви злоба его* (Мф. 6: 34).

– Да нужно ли? – усомнился отец Иоанн.

Оба друга снова заспорили горячо, убежденно, страстно желая склонить другого на свою сторону. Юлия Гурьевна подала на стол обед, сама налила и подставила им тарелки, из которых они машинально, подчиняясь ее настойчивым требованиям, съели по несколько ложек, потом суп заменили вторым, потом и его убрали совершенно остывшим, а спор все продолжался. Вернее, теперь говорил уже только отец Иоанн, старательно подыскивающий новые доказательства в защиту своего мнения, а отец Сергей, убедившись в бесполезности слов, сидел, по своей привычке задумчиво склонив голову на руку и что-то чертил на столе подвернувшимся карандашом.

– Ну, согласны? – приостановил отец Иоанн речь.

Отец Сергей, не поднимая головы, сделал отрицательный жест:

– Нет, не согласен. Лучше присоединить одного человека в год, но искреннего, чем десять равнодушных и пять лицемеров, которые своим примером отвлекут от церкви еще пятерых.

– А если среди них оттолкнется и искренне желающий присоединиться?

– Искренний не побоится выдержать испытание, которое я им назначаю. Пусть подождет полгода, год, в это время ходит в церковь и ко мне. Когда он докажет свою искренность, я его присоединю. В глазах отца Иоанна погасли всегда мелькавшие там веселые искорки. Они стали строгими, почти суровыми.

– Жесток человек еси, Илие! – не то с укором, не то с уважением проговорил он.

– Я рад, что вы сравнили меня с Илией, – ответил отец Сергей, старательно оттушевывая карандашом рисунок светлой клеенки на столе. – Следующую проповедь о браках со старообрядцами я начну со слов Илии: «Доколе вы храмлете на оба колена? Аще есть Господь Бог, идите вслед Его, аще же Ваал есть, идите за ним!»⁸⁷ Вы и не представляете, как это сравнение меня подбодрило.

– Но вы же сами говорите, некоторые уходят в раскол! – Голос отца Иоанна чуть заметно дрогнул. – Ведь жалко же людей! Отец Сергей бросил карандаш и поднял голову. В его светло-голубых глазах светились печаль и непреклонная воля.

– Вам жалко? А я их крестил, учил, еще родителей некоторых из них венчал, вы думаете, мне не жалко? Но я жалею не только Домашку Ливочкину и Леску Антипа Назаровича, мне гораздо больше жалко других, и жалко, что я давно не додумался до тех требований, которые применяю теперь. Если бы я отказался обвенчать Максима Дурова с его Стешей, он бы до сих пор ходил в церковь, может быть, был бы моим помощником, вроде Николая Сабашникова, а не прятался бы от меня. И у Капишиных, а Анюрку Старикову и Лизку Никуткину, вероятно, выдали бы за православных. А теперь они обе беспоповки и детей у них крестит какой-то Китай Герасимович, «наставник», а я их венчал, дал им благословение на жизнь с этими мужьями. Думаете, мне их меньше жалко, чем Леску с Домашкой? А есть одна такая... ее свекровь поедом ела, она не выдержала и перешла к австрийцам⁸⁸, а теперь плачет, бьется, всячески старается не ходить в моленную, а открыто порвать боится. Постом договорится как-нибудь с матерью, прибежит к ней попозднее, и меня позовут, я ее исповедаю и причащу и ребят всех бабушка ко мне приносила миром помазывать. А чем это кончится? Сама-то она долго ли выдержит такую жизнь, не говоря уже про детей, их она сохранить не сумеет. Я бы не знаю, что отдал, чтобы этих браков не было.

⁸⁷ См.: 3 Цар. 18: 21.

⁸⁸ Здесь: к старообрядцам так называемой Белокриницкой иерархии, возникшей в австрийской деревне Белая Криница в XIX в.

Эти слова были сказаны так горячо, с такой болью, что дальше продолжать спор стало невозможно. Оба друга помолчали несколько минут, потом заговорили совсем о другом. Оба опять оживились, загорячились, и, как всегда, когда отец Иоанн собрался, наконец, уезжать, у обоих оказалось столько непереговоренного, важного, неотложного, что они останавливались и говорили и в дверях, и на крыльце, и надолго еще остановились на улице, один уже сидя в тележке, а другой облокотившись на нее. Смирная лошадь, обмахиваясь хвостом, покорно ждала, а они все говорили и говорили. В опустевшей комнате, на исчерченной здесь же брошенным карандашом клеенке, на которой еще валялись не убранные после обеда крошки, чернели тщательно написанные четким овальным почерком отца Сергия слова:

«Душа моя скорбит смертельно!»⁸⁹

Глава 42 Половодье

Чем чаще виделись отец Иоанн и отец Сергей, тем больше им друг друга не хватало, и тем труднее было расставаться при встречах. Этим и объясняется то, что однажды, во время разлива в 1926 году, отец Сергей сам решил перевезти приятеля через воду. Узенькая, с бродом по колено, речка Чагра, извивавшаяся среди лугов и кустарников, а ближе к Волге исчезающая в чаще деревьев, каждую весну совершенно скрывалась под массой воды, заливавшей все окрестности настолько, что в самом узком месте, между Острой Лукой и Дураковкой, ширина «пролива» приближалась к полутора километрам. В это время отец Иоанн, приезжая к другу, оставлял лошадь у знакомых в Дураковке, а сам шел на берег и ожидал первого направлявшегося на лодке «на ту сторону», прося захватить его. Так он мог поступить и на обратном пути, и если отец Сергей вызвался перевезти его, так это потому, что они еще не обо всем переговорили. Для того же, чтобы с ними пошли все четверо детей отца Сергия, причин было несколько. Во-первых, кому-то нужно было грести; во-вторых, интересно до конца дослушать разговор двух друзей; и, наконец, кто же откажется лишний раз прокатиться на лодке, если есть возможность?

Выезжали из небольшого озерца с громким названием Ильмень, тихим заливом врезавшегося в берег за огородами Можар, улицы, где жил отец Сергей. Когда подъехали к острому мысу, за которым открывались залитые водой луга, в лодку подсел попутчик, крепкий, здоровый мужчина, и сразу же взялся за весла. Это оказалось большим счастьем, может быть, спасло всем жизнь при возвращении: молодежь не устала раньше времени.

Пока переезжали на ту сторону, пока прощались и, под прикрытием высокого берега выезжали на открытый простор, оказалось, что ветер, и сначала довольно заметный, еще усилился; по воде загуляли крупные беляки. Притом в начале пути был сильный гребец, а сейчас гребли Соня и шестнадцатилетний Миша. Вдвоем, на небольшом расстоянии, они, пожалуй, стоили и побольше одного мужчины, но у них не хватало выносливости. Они начали быстро уставать, а разгуливающаяся на почти пятнадцатикилометровой шири Волга считалась только с сильными. Вдобавок они гребли неравномерно – Миша сильнее налегал на свое весло. Если бы не было ни руля, ни волн, лодка при таких гребцах шла бы не вперед, а описывала бы широкий круг, как колесо с неравномерно стесанным ободом. И это еще не так страшно, только труднее рулевому, вынужденному выправлять недостатки гребцов. Хуже было то, что ветер дул вбок лодки. Не было никакой возможности плыть туда, откуда выехали, подставив волнам борта; одного сильного удара волн было бы достаточно, чтобы опрокинуть лодку. Отец Сергей правил к противоположному концу села, даже чуть правее, ближе к Волге, и то лодка разрезала волны наискось; они ударяли не прямо в нос лодки, а несколько сбоку, но правому борту. Конечно,

⁸⁹ См.: Мф. 26: 38.

все, кроме, может быть, Наташи, понимали, что положение серьезное. Года четыре тому назад, когда дети, возглавляемые Соней, попробовали было выплыть из Ильмена примерно в такую же по году, у нее хватило ума понять опасность и вернуться. Но тогда ответственность лежала на ней, да и гребцы были меньше и слабее. Главное же все-таки заключалось в том, что с ними был папа. Он правил рулем. От рулевого в бурю зависит жизнь и смерть остальных. Папа хороший рулевой, хотя и слабосильный, а главное, он ПАПА, все четверо верили ему безгранично и были почти спокойны. Сам же отец Сергей знал только то, что вернуться невозможно, что он смертельно устал, но ему непременно нужно сохранить внешнее спокойствие: если кто-нибудь, испугавшись, сделает лишнее движение, они пропали. И он, напрягая все внимание и все силы, следил, чтобы лодка не повернулась бортом к волнам, и думал, как тогда, четыре года назад, когда узнал, что дети отправились на лодке в Березовую:

«Все четверо сразу!»

Миша немного плавает, но до берега, конечно, не доплывет, остальные не плавают совсем. Кого спасать, если лодка опрокинется?!

Он напряженно всматривался в разбушевавшийся простор, легким движением весла поворачивал лодку чуть больше наперерез каждой набегавшей волне и снова выравнивал путь, направляясь по-прежнему несколько правее села.

Еще недавно на этом направлении был островок, высокая грива, которую почти никогда не заливает. В двадцать втором году, а может быть, и в двадцатом, они с Соней, отправившись в ветреную погоду осматривать рыболовные снасти, отсиживались на нем. А два дня назад пастухи, стерегшие там жеребят-двухлеток, взбудоражили все село – островок заливало. Испуганных водой жеребят с большим трудом удалось переправить вплавь за лодками; теперь над островком около трех метров воды.

Лодка скользила уже мимо села. Слева сзади остался острый, обрывистый мыс, давший название селу; потянулись полузатопленные огороды. Нужно поворачивать. Господи! Кого спасать, если опрокинемся?!

Отец Сергей дождался, когда очередная волна пронеслась мимо лодки, и повернул. Теперь волны ударили уже в корму, тоже немного с правого борта, но все же положение лодки было правильнее. Впереди показались кольца затопленного плетня. Только бы не напороться, не пробить лодку! Впрочем, тут уж можно дойти вброд. Еще немного, и лодка врезалась в берег. Подоспевшие мужики помогли вытащить ее повыше, подальше от воды, привязали к яблоне, чтобы не унесло до тех пор, пока ветер уляжется и лодку можно будет перегнать на прежнее место. Вода так сильно прибывает.

Вода в 1926 году прибывала необыкновенно. Никто не помнит такого большого половодья, граничащего с наводнением. Даже в церковной летописи ничего подобного не было записано. Волга не ограничивалась теми жертвами, которые сами неосторожно лезли к ней, она забиралась в села, разрушала и сносила постройки. На расстоянии сотен километров вдоль Волги, у ее берегов дежурили катера, шлюпки, рыбацкие лодки, перехватывали плывущие по реке избы, снимали с них окоченевших, перепуганных людей. Случалось, что плыли только перекосившиеся срубы, спасать там было некого, трупы их обитателей всплывали где-то в другом месте. Около Самары, Покровска и других городов, на залитых водой запасных железнодорожных путях стояли целые составы, приспособленные под жилье оставшимся без крова жителям прибрежных слободок. В окнах и дверях вагонов виднелись детские головки, висело мокрое белье. Шлепая по колена в воде, женщины выходили на берег, готовили на кострах обед.

Острая Лука находилась в стороне от главного русла, там дома не разрушало, люди не погибали, но и там разлив принял невиданные размеры. Считалось нормальным, что во время половодья из села можно было выехать только одной дорогой, а иногда даже и не дорогой, а в объезд ее, через пески. По этому пути, уже за песками, перед подъемом на увал, приходилось

переезжать вброд через неширокую долину. Если вода стояла невысоко и сама не заходила в долину, там нарочно прорывали канаву, чтобы полая вода освежила узкое, длинное озеро Мартышечье, по высокому восточному берегу которого зеленели «дальние» сады. Если вода не зайдет в озеро, земля у корней деревьев не напитается влагой, озеро летом зацветет и пересохнет; задохнутся живущие среди камышей и осоки караси.

В 1926 году сады были залиты надолго, так что гордость остролюкцев – сладкая, почти черная вишня-украйка полностью вымокла. Брод стал глубоким, вода разлилась по пескам, коровы с пастбища брели по колено, а где и по брюхо в воде; пастухи сгоняли их в тесную кучу, чтобы какая-нибудь, отбившись, не ввалилась в яму. Многие коровы ночевали на площади, потому что их дворы были отделены еще более глубокими озерами и оврагами. Хозяйки из высоко расположенных, но окруженных водой улиц вечером и утром приезжали доить коров на колодах и снятых с петель воротах. Ворота и плотные, не пропускающие внутрь воду, колоды-кормушки для скота заскользили по улицам и задворкам, заменяя гондолы в селе, неожиданно превратившемся в Венецию.

Сначала поднялось и залило все мосты длинное, перерезавшее все село озеро Язев, потом, разрезая село на части, налились мелкие, обычно сухие, овражки и долочки, а затем начало затоплять и улицы. Жители пытались бороться, окружая дома и дворы земляными насыпями, но вода все поднималась. Тогда на колодах и воротах (лодок не хватало) начали перевозить на другие улицы повыше домашнее имущество, кур, поросят. Поросята не боялись воды, и, случалось, бойкий хрюшка вырывался и с визгом плыл обратно к дому, опережая хозяина, догонявшего его на своем неуклюжем судне. Некоторые уходили из домов, только когда вода начинала выпирать полы. Иногда это случалось среди ночи.

В разгар половодья незалитой оставалось около трети села. Почти в каждом доме теснились две-три семьи. Жили в половнях, на гумнах, в пожарном сарае, в школе; две семьи ютились на широком крытом школьном крыльце. Когда вода спала, оказалось, что в домах и банях размыты печи, обвалились погреба и колодцы, всюду нанесло разного мусора.

Избы держались, но амбары и бани иногда срывались с места и плыли, подгоняемые незаметным на первый взгляд течением. Хозяева с помощью соседей – на лодке – догоняли их, отводили на буксире поближе к прежнему месту и покрепче привязывали к деревьям.

Отец Сергей сначала перенес свой пчельник с дальнего конца огорода прямо ко двору, потом перетащил ульи на противоположную сторону улицы, в сад одного из прихожан. Там, за домами, вдоль всей улицы, тянулась неширокая, но довольно глубокая долина. Весной в ней собиралась снеговая вода, поившая корни яблонь и ягодных кустарников, но в половодье ее никогда не заливало, она была изолирована со всех сторон. Неожиданно вода прорвалась там, где не думали, на окраине села, и быстро начала заливать долину. Отца Сергея, как на грех, не было дома. Пока его нашли, вода поднялась настолько, что ульи пришлось перевозить на безопасное место при помощи лестницы, превращенной в плотик, причем отец Сергей и помогавший ему старик пчеловод ходили сначала по пояс, а потом по грудь в воде. Когда очередь дошла до последних, выше всех стоявших ульев, вода уже подбиралась к леткам.

При этом знавшие привычки пчел обратили внимание на мелкий, но интересный факт. Только крайность может заставить пчеловода перенести улей днем, когда пчелы разлетелись за взятком. Пчелы примечают не улей, а место, на котором он стоит. Если днем передвинуть улей хотя бы метра на два, возвратившиеся с добычей пчелы уже не найдут его и будут кружиться на старом месте, а потом и совсем растеряются. В другие ульи их не пустит бдительная охрана; в чужой улей могут принять только молодых, в первый раз вылетевших и заблудившихся пчелок. Остальных охранники вежливенько подхватывают челюстями за крылья и «выводят под руки», точно милиция пьяного буяна. Если пришельцев много, то на помощь являются пчелы, занятые работой внутри улья, и начинается борьба. На этот раз ничего подобного не произошло. Прилетевшие пчелы, покружившись над водой, садились на любой улей, и их принимали.

Огород отца Сергия, как и его соседей, был полностью затоплен, вода пробралась даже в сарай. В открытую калитку, ведущую со двора на огород, выставили широкую скамейку с отломленной с одной стороны ножкой. Получились удобные мостки, с которых набирали воду для стирки и мытья полов и полоскали белье. Там было приятно сидеть с книгой или рукоделем, особенно тихим вечером, на закате. Почти круглая чаша Ильменя наполнилась до краев, залила не только капустники, но и сады до самых дворов. Дальше, на север, открывалась водная гладь с зеленеющими, как островки, вершинами осокорей, и за ней маячили старинная церковь и избы Березовой Луки. Вода, как и небо, переливалась разными оттенками голубого, розового и золотистого цветов, и в ней отражались буйно цветущие стоя в воде яблони и вишни; каждую веточку, каждый лепесток можно было рассмотреть в водном зеркале. Пение гнездившихся в них соловьев разносилось по воде особенно звучно и красиво. А ведь вишня вымокла. В этом году она почти не дала ягод, а на следующий и совсем засохла. Сады погибали, радуя глаз своей прощальной красотой.

В последний приезд отца Иоанна разговор получился не совсем обычный – друзья толковали о необходимости собрать окружной съезд. На последнем съезде, собиравшемся в 1923 году Вариным, конечно, не было возможности говорить о чем-нибудь, кроме «Живой Церкви», да и с тех пор прошло почти три года. За это время накопилось много вопросов, подлежащих коллективному обсуждению; съезд был необходим. Но для того, чтобы собрать его, требовалось разрешение из Пугачева, требовалось согласовать кое-какие организационные вопросы с местной властью, разослать по округу приглашения на съезд, – и все за каких-нибудь шестнадцать-семнадцать дней, чтобы собрать духовенство на единственной свободной от праздников неделе, следующей за Преполовением. И не менее необходимо было до того с первыми парходами съездить в Покровск (Энгельс) к епископу Павлу⁹⁰. Договорились, что туда поедет отец Иоанн, а отец Сергий возьмет на себя организацию съезда.

Съезд был назначен в понедельник 18/31 мая в Острой Луке, ставшей после отделения части сел естественным центром округа. Извещения были разосланы, а вода все прибывала, село оказалось на острове. За священников из сел, расположенных по Чагре, отец Сергий не беспокоился, доберутся на лодках, если не будет бури. Зато легко могло получиться, что приехавшие из степной части округа потолкуются у того места, где дороги уходят в воду, повздыхают или поворчат и уедут обратно. Во избежание этого, с раннего утра в день съезда у брода дежурил один из попечителей с помощниками, несколькими молодыми мужиками и подростками. Приезжавших знакомили с обстановкой и посылали с ними одного из помощников, чтобы, по желанию гостей, проводить их вброд через пески или довести до другой дороги, где на месте затопленного моста почти в самом селе курсировала лодка.

На лодке, которой распоряжались Костя и Миша с товарищами, нужно было проплыть метров двадцать – тридцать, но для степняков, видевших воду только в колодцах да в гнилых прудах, где скапливала снежница, и это казалось страшным. Отец Никита Сидорычев со своими спутниками чуть было не повернул обратно, их едва уговорили другие.

Двое из приехавших привезли сообщения о смерти митрополита Тихона, сразу же после обычных песнопений, которыми всегда открывали съезд: «Царю небесный» и «Днесь благодать Святого Духа нас собра», – соборно отслужили вселенскую панихиду о почившем.

– Теперь, отцы, прошу ко мне, пообедаем чем Бог послал, – пригласил отец Сергий после окончания съезда. – Гаврила Сафронович, и вас прошу, – обратился он к присутствовавшему на заседании съезда председателю сельсовета.

Отец Федор Сысоев поморщился.

⁹⁰ Павел (Флеринский, 1871–1940), епископ Пугачевский, викарий Уральской епархии. Был сельским священником с 1895 г. В 1923 г. уклонился в обновленчество, однако вскоре принес покаяние. В 1924 г. принял монашество и был хиротонисан во епископа. В 1926 г. сослан в Покровск (Энгельс). В 1931 г. арестован и приговорен к пяти годам лишения свободы.

– Зачем это, – шепнул он хозяину, – поговорили бы спокойно в своей компании.

– А чем вы потом докажете, что в этих спокойных разговорах не было ничего противозаконного, – возразил отец Сергей. – Нет, по-моему, так спокойнее.

Только года два спустя присутствовавшие на съезде оценили правильность его поступка. Тогда отец Иоанн, после перевода отца Сергия в Пугачев назначенный благочинным, собрал съезд в Дубовом, и Сысоев пригласил на обед одно духовенство. Вскоре и он, и отец Иоанн были арестованы по обвинению в том, что после окончания съезда на квартире Сысоева состоялось незаконное собрание.

Едва гости усадились за стол, как отец Иоанн, во все время съезда бывший как на иголках, заявил:

– Вот что, отцы! Архиерей у нас голодает. Грех нам будет, если мы его не поддержим!

И рассказал, что ему об этом шепнула квартирная хозяйка епископа Павла; рассказала, как был рад епископ, когда он, отец Иоанн, купил ему большой каравай белого хлеба. «С нас никаких отчислений на епархиальные нужды не требуют, так должны же мы совесть иметь и сами догадаться посылать ему».

Некоторые имели при себе деньги и сразу же передали отцу Иоанну, другие обещали прислать. Присылали не только деньги, но и продукты, собранные прихожанами: масло, яйца, далее муку. После Троицы отец Иоанн повез епископу хорошую помощь. Впоследствии отчисления делались регулярно, и положение епископа несколько улучшилось, хотя и потом он должен был экономить каждую копейку и все-таки нередко сидел без денег.

Глава 43

«Если любите Меня, заповеди Мои соблюдете»

– Папа, там тебя кто-то ждет, – предупредил Миша отца, возвращавшегося с рыбной ловли. Отец Сергей открыл калитку. Около стола, на крытом крыльце, поставив между ног палку с серебряным набалдашником и опираясь на нее положенным на руки подбородком, сидел старик определенно городского типа – в пиджаке, со слегка подстриженной седой бородкой. Увидев отца Сергия, он встал и снял фуражку.

– Из Пугачева, член церковного совета кафедрального собора Василий Ефремович Козлов, – отрекомендовался он вполголоса, подходя под благословение.

– Проходите в комнату, – пригласил отец Сергей.

Василий Ефремович с сожалением оглянулся на оставленную скамейку.

– Может быть, мы здесь поговорим, отец протоиерей, на прохладе, – сказал он.

– Что же, давайте здесь. Садитесь, я только на минутку, переоденусь. Сейчас нам дадут чай.

– Мы писали вам, вы получили нашу открытку? – начал Василий Ефремович, когда отец Сергей вернулся.

– Да, получил.

Действительно, приблизительно за месяц до этого отец Сергей получил открытку от церковного совета пугачевского собора с сообщением, что в соборе освободилась вакансия священника второго штата, и с приглашением приехать в Пугачев на пробу, как желательному кандидату на это место. Отец Сергей показал открытку кое-кому из близких и не ответил на нее, высказав в коротких словах свой взгляд, который ему сейчас пришлось повторить гостю.

– По церковным правилам назначение и перемещение духовенства является делом епископа, – сказал он, – а никак не договоренности между народом и каким-то желательным ему священником. Эти пробы, на которых народ все равно ничего не узнает о кандидате, кроме его голоса, противоречат каноническим правилам и просто оскорбительны. Церковь – не базар,

а священник – не цыганская лошадь, чтобы ему смотреть в зубы. Василий Ефремович беспокойно заерзал на месте.

– Напрасно вы так говорите, отец протоиерей, – возразил он. – Мы, понятно, не лошадь себе ищем, а пастыря. А пробы не мы выдумали, все так делают. И владыка против них не возражает.

– Владыка не может возражать, потому что сейчас такой порядок. Это уж вы сами должны понять и передать решение в руки епископа, который все решит на основании наших церковных правил, установленных апостолами и соборами. И вот есть такое правило – тринадцатое правило Лаодикийского собора, которое определяет: «Да не будет дозволено соборному избирать имеющих произвестися во священство», – и это очень разумное правило. Священник должен учить, настаивать, добиваться, иногда, может быть, того, что народу неприятно, а как же это возможно, если они его сами на собрании выбрали, а завтра, если захотят, выберут другого, не такого строгого. Еще апостол Павел говорил: *Будет время, когда люди здравого учения принимать не будут, а будут по своим приходам выбирать себе учителей, которые льстили бы слуху* (2 Тим. 4: 3). Вот она, ваша проба. Что во время пробы можно узнать? Каков голос, да хороший ли оратор, то есть именно то, что льстит слуху. И, бывает, до того льстит, что народ услышит такого батюшку с хорошим голосом и начинает уже не просить, а требовать у архиерея: «Дай нам этого, а больше никого не хотим и не примем». А у архиерея-то, может быть, свои соображения, он и этого священника лучше знает и других имеет в виду и думает о пользе не только этого прихода, а и всей епархии, а ему руки связывают, кричат: «Поддай нам такого-то, а больше никого знать не хотим». Нет, к епископу не так нужно идти: в крайнем случае можно просить, что хотели бы мы, если можно, такого-то, а если нельзя, то кого дадите, ваша воля. А лучше с этого прямо и начинать.

– А мы, отец протоиерей, так и сделали! Мы поехали к епископу Павлу и попросили, кого он нам посоветует. Он посоветовал Пентеровского, вас и Фесфитянинова. Тогда мы приглашения разослали. Те два батюшки приезжали, служили пробную службу, очень понравились: а все-таки нам и от вас хочется ответ иметь, мы об вас много хорошего слышали.

– От кого же вы могли слышать? – усмехнулся отец Сергей. – Меня в Пугачеве никто не знает. Разве только считать ту старушку, которая мне булочку дала, когда я в прошлом году, возвращаясь домой, зашел мимоходом в собор.

– Да-да! – обрадовался Василий Ефремович, – и она рассказывала. С Максимом Михеевичем, у которого вы ночевали, разговорилась и догадалась, что это вы. Ужасственно вы ей тогда понравились. Худой, говорит, строгий, в лаптях, в ситцевом подрясничке... И преосвященный Павел вас очень хвалили, и от других слышали. Слухом земля полнится!

– Не всякому слуху можно верить, – нахмурился отец Сергей, не любивший похвал. – А вам не говорили, что я человек скандальный?

– Ну уж и скандальный? – недоверчиво повторил Козлов.

– Конечно, скандальный. Уж если я считаю что правильным или неправильным, так буду настаивать на своем, нравится это людям или нет, все равно. А у вас вот, говорят, певчие на клиросе разговаривают и смеются, регент неверующий. Я бы этого не потерпел, а вы будете кричать, что при нем поют хорошо.

– Убрали уж этого регента, отец Сергей, теперь у нас другой, скромный, верующий. А если вы певчих в руки возьмете, так вам никто слова поперек не скажет, все только приветствуют.

– Да у вас, по-моему, не только певчих в руки нужно взять, а в первую очередь церковный совет. Тоже, кажется, много на себя берете. Вот такой серьезный вопрос решаете, приглашаете нового священника, а настоятеля спросили, желает он меня или нет? Ведь ему с новым священником служить, а вы его подписи на письме не попросили. А может быть, он против? Да еще, кажется, он у вас и благочинный? Так это, прежде всего, его дело. Вот тут могут у нас

выходить большие неприятности. Я бы вас постоянно одергивал. Нечего церковному совету в алтарь лезть. Их дело у свечного ящика, а у престола духовенство само разберется. На лице Василия Ефремовича расплылась довольная, почти умиленная улыбка. От полноты чувств он даже руки к груди прижал.

– Вот нам такого пастыря и надо. Как хотите, отец Сергей, я теперь от вас не уеду, пока вы мне письменного согласия не дадите.

– Ни письменного, ни устного не дам. Я никуда уходить не собираюсь.

– Почему так? – удивился Козлов. Он откашлялся и привстал, собираясь перечислять все преимущества пугачевского собора.

– Как ни говорите, хоть маленький городок Пугачев, а все-таки город. И люди покультурнее, и жизнь не та. Уж у нас вам самому рыбу ловить не придется и в лаптях ходить не будете. У вас дети подрастают, учить их будет удобнее.

– Может быть, это и так, да я никогда прихода менять не буду. Я вам сказал давеча, что я не цыганская лошадь, а теперь добавлю, что и не цыган. И я удивляюсь, как это архиерей предложил мою кандидатуру. Ведь он знает мой взгляд на этот вопрос. – Какой же ваш взгляд, батюшка?

– А вот! – Голос отца Сергия зазвучал почти торжественно, в этом вопросе заключалось отчасти его исповедание веры. – Вы знаете, что при рукоположении священника его три раза обводят вокруг престола и поют те же песнопения, что и при венчании. Так вот, я считаю, что в это время священник повенчался с церковью, именно с той, которая указана в его ставленной грамоте, и перейти на другое место может только в двух случаях: если епископ сам найдет нужным перевести его или если его выгонят. Переходить по собственному желанию на другой приход так же недопустимо, как менять жену. Василий Ефремович хитро прищурился.

– А вас, отец протоиерей, в это село посвящали? Как будто бы я слышал, что нет. Ушли же вы с первого прихода!

– Меня оттуда выгнали, – просто сказал отец Сергей.

– Все-таки вы, батюшка, обдумайте хорошенько, – продолжал убеждать Козлов. Он выпил уже бесчисленное количество стаканов чая с медом, весь раскраснелся и от чая, и от волнения, не продвинулся вперед ни на йоту, но продолжал уговаривать, хотя и он, и его собеседник уже по несколько раз повторили свои доводы.

– Мне нечего обдумывать, – повторил отец Сергей, с терпением, выработанным беседами с раскольниками, и, нужно сознаться, с большим, чем ему бы хотелось, волнением. – А если бы я и стал взвешивать, все равно мое решение было бы в пользу Острой Луки. Я здесь служу двадцать лет, сроднился со всеми, знаю каждого, кто чем дышит. Здесь я схоронил четверых детей и жену и сам собираюсь, когда придет время, лечь рядом с ней.

– А если архиерей вам прикажет? – вдруг спросил Василий Ефремович.

– Приказание я, конечно, должен был бы выполнить, но думаю, что против моего желания он меня не переведет.

– Ну, так вот, напиши мне это слово! – оживился Василий Ефремович, от волнения переходя на «ты». – Мне больше ничего не надо, поеду и расскажу верующим и архиерею все как есть, только напиши это слово!

– Да зачем же писать? Епископ Павел и так знает, что я не могу нарушить его распоряжения, – пытался протестовать отец Сергей, но Василий Ефремович впился в него мертвой хваткой, и было видно, что он не отстанет, пока не добьется своего. Отец Сергей взял лист бумаги и, перекрестившись, начал писать. Василий Ефремович тоже перекрестился, но молились они о противоположном. В письме отец Сергей кратко изложил все то, что говорилось, и в конце добавил: «Если епископ сочтет необходимым, ради пользы дела, перевести меня в пугачевский Воскресенский собор, я подчиняюсь его распоряжению, но сам желания не выражаю и хотел бы лучше остаться в селе Острая Лука».

– Ты только последнюю букву зачеркни, – снова заволновался Козлов, когда отец Сергей прочитал ему письмо (он имел в виду вторую половину фразы после «но») – только эту последнюю букву зачеркни!

На этот раз сколько он ни спорил, ему ничего не удалось добиться. Отец Сергей подписал, сложил письмо и передал гостю со словами:

– Еже писах – писах!⁹¹

Правда, раньше он спросил тещу и детей, присутствовавших при разговоре, согласны ли они с тем, что он написал. А как они могли быть не согласны, если думали все одними словами и болели одними печальями. У Миши на этот раз печаль была так велика, что он подал голос за изменение другой «буквы» письма – о безусловном подчинении. Но он и сам понимал, что смысла этих слов изменить нельзя, значит, формулировка безразлична. Он кончил тем, что забрался на сеновал и, несмотря на свои семнадцать лет, наплакался там до того, что весь вечер ходил с красными опухшими глазами.

Через несколько дней пришло письмо от настоятеля собора, протоиерея Моченева. Он тоже подтверждал приглашение.

А еще через некоторое время, в субботу после Успения, было получено письмо епископа Павла. Он писал, что общее собрание верующих Воскресенского собора произойдет в воскресенье 18 августа, и предлагал отцу Сергию прислать к этому времени заявление с согласием на переход.

– Це дило треба разжувати! – сказал отец Сергей, скрывая под шуткой свое волнение. Но Соня уже завладела письмом и, посмотрев на даты, сказала, тоже взволнованно:

– Нечего тут и разжевывать и писать нечего. Собрание будет завтра.

– Значит – судьба! – торжественно произнес отец Сергей и написал на обороте письма: «Получено 17 августа, накануне дня собрания, когда уже поздно было писать. Вижу в этом Промысел Божий на то, чтобы дело решилось безо всякого моего участия».

Несмотря на то, что один из трех кандидатов присутствовал на собрании, а другой прислал заявление и только от отца Сергия не было ничего, избранным оказался он. Вернувшись в Пугачев, Козлов так расхвалил несговорчивого кандидата, что сразу привлек на его сторону большую часть прихожан. После стало известно, что, не дождавшись его письма, решили отложить собрание и, напрасно прождав еще неделю, все-таки выбрали его. Епископ Павел утвердил постановление собрания и прислал указ о переводе.

Отец Сергей не имел привычки скрывать от прихода ни личных, ни церковных дел, особенно последних. О всякой заслуживающей внимания новости он рассказывал, а то и объявлял с амвона. Так было и с переводом. Правда, о первой открытке, которой сам не придавал значения, он говорил мало, зато о посещении Козлова, естествовенно волновавшего его, говорил многим. И еще задолго до получения указа о переводе, в селе начались разговоры об этом. «Правда, что батюшку переводят?» – спрашивал то один, то другой, останавливая самого отца Сергия или кого-нибудь из его семьи. Спрошенный подробно описывал положение дела. Затем начинались предположения: так, почему, будет ли в Пугачеве лучше или хуже!

– Говорят, наш батюшка теперь архиереем стал. Ему уже нельзя в селе жить.

– Не архиереем, а протоиереем, и не сейчас, а в прошлом году, – поправляли более сведущие.

– Ну, все равно, значит, поэтому.

Друг отца Сергия Сергей Евсеевич, узнав о полученном указе, неожиданно заговорил тоже о том, что ставшему протоиереем отцу Сергию «низко» оставаться в не большом селе, что город больше подходит та кому вид ному человеку, что и дети подросли, учить надо, а в Острой Луке как-нибудь обойдутся, пожили вместе и ладно, не солнышко, всех не обогреешь. Для

⁹¹ Что я написал, то написал. – *Авт.*

Острой хватит и Субботкина, недаром тот уже ходит по гумнам и поит народ, подготавливает себе сторонников... Его голос дрожал от волнения, и, против обыкновения, в нем чувствовалась язвительность.

Отец Сергей молчал, давая ему высказаться. Он понимал, что предстоящая перемена должна была затронуть и взволновать Сергея Евсеевича больше, чем кого-нибудь. Он страдал вдвойне: как человек, теряющий друга и духовного руководителя, перед которым с юных лет привык раскрывать все изгибы своей души, веря, что всегда получит беспристрастный и бескорыстный совет, – как председатель церковного совета, которому в первую очередь придется вступать в столкновения с новым священником, если тот будет действовать неправильно.

Отец Сергей понимал скорбь друга, а поняв, терпел и то, что его волнение перешло в раздражение, давал ему высказаться, чтобы он, успокоившись, сам понял свою неправоту.

И, прождавши сколько ему казалось нужным, отец Сергей наконец перешел в наступление: «Ну, хорошо, по-твоему, мне самому захотелось перейти в город. Пугачевцам тоже хотелось иметь меня у себя, иначе зачем бы они хлопотали. А вы-то что же молчали? Хотели, чтобы архиерей оставил меня здесь, а сами не то что человека послать, даже и письмом не собрались попросить об этом. А почему он знает, может быть, вы рады от меня избавиться?»

Сергей Евсеевич широко открыл глаза:

– А ведь и правда! Как это мы не догадались? Как же вы не подсказали?

– Разве я могу подсказывать в таком деле? Нужно было самим думать. – А если мы сейчас напишем?

– Нет, это не в мячик играть, такое дело епископ решает только один раз.

– Он прав в том отношении, – сказал отец Сергей, когда Сергей Евсеевич ушел, – что епископ, решая вопрос о моем переводе, не принимал во внимание интересов Острой Луки. Но и здесь никто не додумался просить о моем оставлении. Это я считаю лишним доказательством того, что мой перевод произошел по воле Божией. А о Субботкине нужно подумать. Это серьезная опасность.

Наступило воскресенье, когда отец Сергей должен был служить последнюю литургию. В этот день в маленькую церковь, построенную на месте сгоревшей, набилось столько народу, сколько набивалось только в большие праздники. А как щемило сердце у всех, начиная с самого батюшки и кончая дряхлой полуслепой старушкой, с трудом протиснувшейся в уголок около двери.

Вот уже служба подходит к концу. Вот уже в обычное время отец Сергей, приложившись, как и всегда, к правому углу престола, выходит говорить проповедь. Но на этот раз сторож Ларивон не ставит перед ним аналоя и он виден во весь рост: худощавый, стройный, в аккуратно сидящем поношенном облачении, с аскетическим лицом и покрасневшими от бессонницы, а может, и от тайных слез глазами. Он изо всех сил сдерживает себя, но эти люди, изучившие каждый его жест, знавшие, когда и почему пролегла на его лице та или другая морщинка, – видели, как он волнуется, и его волнение передалось им, и они ждали его слова, как ждут завещания умирающего отца.

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа, – как и всегда, начал отец Сергей. Лес рук с чуть слышным шорохом взметнулся следом за его рукой, творя крестное знамение, и опять все затихло.

– Сегодня я служу здесь последнюю службу, – продолжал отец Сергей и остановился, потому что ему неожиданно не хватило дыхания. В толпе послышались рыдания, и, как ни странно, это вернуло ему самообладание. Он всегда восставал против рыданий, а тем более причитаний в церкви, хотя бы во время похорон. Он считал, что не всегда можно удержать слезы, но взять себя в руки и не нарушать тишины, благоговейного порядка, не расстраивать других, всегда можно и должно. Тем более что некоторым плачущим и не особенно трудно сдерживаться: они начинают плач ради приличия, ради своеобразного хорошего тона.

И поэтому отец Сергей сказал коротко и властно, как говорил обыкновенно на похоронах: – Прекратите! Рыдания прекратились.

– Сегодня я служу последнюю службу здесь, где прослужил уже двадцать лет... – снова начал отец Сергей. Он сказал, что за эти двадцать лет они столько пережили вместе: войну, голод, эпидемии и много другого. На их глазах он схоронил жену и детей, и в жизни каждого из них было много событий и печальных, и радостных, которые известны ему и в которых он, как священник, даже принимал участие. Многие – состарились, все они ему как родные, больно оставлять их, как своих детей, хотелось бы и самому умереть здесь.

– По вашим лицам я вижу, – продолжал он, – что и вам жалко расставаться со мной, что и вы любите меня. И вот я говорю вам словами, которые сказал Господь наш Иисус Христос Своим ученикам в прощальной беседе: *Если любите Меня, заповеди Мои соблюдайте!* (Ин. 14: 15). – Заповеди эти известны, они не мои, – говорил отец Сергей, – а Спасителя, о них я постоянно повторял вам и в проповедях, и лично, в частной беседе. Но сейчас я особенно имею в виду одно: вы остаетесь без священника, епископ разрешил вам самим подыскать такого, который согласился бы пойти сюда, но это-то и опасно. Нужно действовать так, как предписывают церковные правила, подчиняться которым я всегда учил вас, да, впрочем, вы и сами понимаете их значение.

Нужно найти священника православного, не запрещенного, и обратиться к епископу за указом о его переводе, а без этого не допускать до служения даже на один раз. А то сейчас много таких, которых епископ за какую-нибудь вину запретил в священнослужении, или им просто не понравилось на старом приходе, и вот они ездят и ищут себе места. Случается даже, по домам ходят, подпаивают и уговаривают принять их, а когда уговорят, советуют не торопиться ехать к архиерею. «Вот поживем, посмотрим, узнаем друг друга хорошенько, а там, когда будет случай, и съездим, чтобы зря не расходоваться».

А об этом вот что сказано в апостольских правилах. В правиле 39-м говорится: «Пресвитеры и диаконы без воли епископа ничего да не совершают, ибо ему вверены людие Господни и он воздаст ответ о душах их». А в правиле 15-м сказано: «Аще кто пресвитер или диакон... оставив свой предел, во иной отыдет, и совсем переместясь, в другом жити будет без воли епископа своего, таковому повелеваем не служити более».

А в «Требнике», в сказании, «какову подобает быти духовнику», сказано еще строже: «Аще кто без повеления местного епископа дерзнет приимати помышления исповеди, таковый по правилам (слав., правильно) казнь (то есть наказание) приимет, яко преступник божественных правил. Ибо не точию себе погубил, но и елика у него исповедашеся, не исповедали суть, и елицах связа или разреши, не исправлени суть».

– Вот до чего можно прийти, – заключил отец Сергей, – встав на эту дорожку. А если только допустить такого лжесвященника временно, потом попробуй от него избавиться; на примере некоторых соседних сел известно, как это трудно.

Не рыдания, а тихие слезы, сверкавшие чуть не на всех глазах, когда он вспоминал пережитое вместе, позволили отцу Сергию заговорить о выполнении его заветов «если любите меня». Все слушали с напряженным вниманием, не отрывая глаз от оратора, не оборачиваясь. Даже сам отец Сергей ни разу не взглянул в дальний правый угол, где среди старух стоял Субботкин, но все чувствовали, что его дело проиграно.

Отец Сергей уже кончал проповедь. Он говорил о взаимных недоразумениях и неприятностях, которые бывали не раз за долгий срок их совместной жизни, о том, что в своих требованиях, какими бы тяжелыми они ни казались, он всегда думал только о пользе людей; если на него обижались, значит, он, может быть, не сумел как следует разъяснить своих требований, не сумел достаточно мягко убедить в их правильности. Может быть, в своих частных отношениях он кого-нибудь обидел, у кого-нибудь осталась против него горечь или скрытое неудовольствие... слова почти стандартные, повторяемые с некоторыми изменениями каждое

Прощеное воскресенье, но в них была особенная теплота и искренность. И высохшие было слезы опять потекли по лицам оратора и слушателей, и никто не обращал на это внимания – это казалось таким естественным...

– Простите меня, как и я вас всех прошоаю.

Церковь была набита до отказа, так, что почти нельзя было креститься. И трудно понять, как сумели все эти люди рухнуть на колени в ответ на земной поклон священника. Поднимались медленно, с трудом, и, подходя к кресту, вытирали мокрые от слез лица, а иные даже и не вытирали, не замечали, так и шли. Вдоль задней стены образовался узкий промежуток, и по нему из дальнего правого угла прошел к двери человек в черном пиджаке.

– Субботкин. Ушел совсем!

Недаром Сергей Евсеевич так расстроился, когда перевод состоялся. Как он и думал, именно ему пришлось возглавить борьбу за соблюдением «заповедей» отца Сергия. Но он был в этом не одинок. И замечательно, что теперь, когда отец Сергий был далеко, нашлось много людей, одобрявших самые строгие его требования и в вопросе о присоединении из старообрядчества молодежи, и в вопросе о родителях, разрешивших детям обходиться без венчания. И чем строже были эти требования, чем больше споров вызывали они в прошлом, тем настойчивее их защищали теперь.

Глава 44

Отъезд

Когда отец Сергий получил распоряжение о переводе и разговаривал о нем с Сергеем Евсеевичем, он (т. е. отец Сергий) вполне искренно сказал, что архиерей не в мячики играет и что возврата быть не может. Однако ни ему, при отъезде на новое место служения, ни его близким не верилось, что все изменилось навсегда. Казалось, что-то произойдет и он опять вернется в Острую Луку. Но время шло, и все постепенно привыкли к мысли, что в жизни нет поворотов назад. Отец Сергий постоянно писал о своих делах. Для него нашли квартиру, хозяйка которой временно согласилась готовить ему обед. Сослуживцы приняли его хорошо. Потом сообщил, что доход оказался меньше, чем он предполагал. Если принять во внимание городские условия – отсутствие своего хозяйства и поступления натурой: маслом, яйцами, хлебом, шерстью, – жить, пожалуй, придется поскуднее, чем в Острой Луке.

«За неделю я получил около семидесяти рублей, – писал он, – но отец настоятель расстраиваться не велит, обещает, что зимой будет больше. Говорит: „Мы живем и вы проживете“».

Впрочем, сообщение о доходе было сделано вскользь, только для того, чтобы дать правильное представление о будущих материальных условиях. Никто из семьи не интересовался этим вопросом, когда начались переговоры о переводе, а сейчас он и вовсе не мог иметь решающего значения.

«Чем дольше я живу здесь, – писал отец Сергий спустя еще некоторое время, – тем яснее понимаю, что все произошло вполне серьезно и нет никакого смысла тянуть с окончательным переездом. Постепенно готовьтесь ему. Я приеду за вами при первой возможности, может быть, скоро, если будет сухая осень, или по первому санному пути».

В это время мальчиков уже не было дома, они, как и намечалось раньше, учились в Спасском. Женщины перекладывали бельем застекленные иконы, посуду, укладывая в ящики книги и все вещи, без которых кое-как можно было обходиться. В промежутках между сборами ходили прощаться с близкими людьми, а девочки – еще и с любимыми местами. Изо всех сил старалась Соня запомнить облитую вечерней зарей излучину реки, кусты и песчаный противоположный берег, золотые листья, тихо опускающиеся на освещенную осенним солнцем лесную дорогу; пушистый, сверкающий снег, окутывающий молодые сосенки, гладкий, не тронутый между деревьями даже заячьими следами.

«Запишите на скрижалях сердца», – вспоминалась ей любимая фраза отца. Да, только на скрижалях сердца это и останется. Без нее никто не придет сюда вот так, зимой, и она больше не придет. С людьми, может быть, удастся еще встретиться, а этого больше никогда не увидишь. Будет другое, что, может быть, тоже станет родным, но прошлого ничто не заменит. Думать об этом все равно что сказать дорогим сейчас людям, так ласково разговаривающим с ней при последних встречах: «Для чего нам прощаться с вами, жалеть о вас? Скоро у вас будут другие друзья».

Зимний путь рано установился в этом году. Отец Сергей приехал за семьей с расчетом прожить с неделку в Острой Луке и к Николе⁹² вернуться в Пугачев. Конечно, за неделю много нужно было сделать: оформить продажу дома, продать коз, разный хозяйственный инвентарь, – но в первый день он смог только разговаривать. Услышав о его приезде, заходили Сергей Евсеевич, Николай Потапович, сторож Ларивон, Маша Садчикова, Иван Ферапонович и многие другие. Кто только наведовался, чтобы поздороваться и сказать несколько слов, а кто сидел с утра до ночи, слушая рассказы хозяина и сообщая о своих новостях и заботах.

«Собор там – красота, – говорил отец Сергей, – только что отремонтирован, светлый, высокий. Даже слишком высокий, резонанс чересчур силен, слова сливаются, зато служить легко. Вот здесь, в нашей маленькой церковке, очень трудно служить, особенно в большие праздники, когда народ битком набьется. Кричишь, что есть голоса, а толку мало. А там скажешь „и во веки веков...“, а „аминь“ за тебя собор допоет.

Ну, конечно, обстановка совсем не та, что здесь. Там послушание нужно. С настоятелем отцом Александром Моченевым отношения у нас хорошие, а все-таки здесь я был хозяин, а там на втором штате: как скажет, так и делай.

Всего нас там пять человек – два священника, диакон и два псаломщика; один из них вдобавок регент. Он с настоятелем служит. Парень как будто хороший, мягкий, сговорчивый, но как регент неважный. Зовут его Михаил Васильевич. А со мной служит Димитрий Васильевич, с ним иногда трудненько приходится. Совсем еще молодой, самолюбивый, ершистый, чуть его против шерсти погладишь, так и вспыхнет, как спичка. А молчать тоже нельзя: если теперь, когда мы только начинаем вместе работать, не поправить, после труднее будет, да и у него дурные привычки укоренятся. Торопится очень за службой. И в конце, еще только „Господи, сохрани!“ – поют, а у них обоих уже шапки в руках, последние слова чуть не на ходу допевают. А скажешь – буря. Я уж немного начал приспособливаться. Пойдем вместе с Димитрием Васильевичем домой, я и начинаю рассказывать, как у нас, бывало, в семинарии служение шло, при ректоре Боголюбском или при архимандрите Вениамине, как епископ Гурий порядка требовал. Смотришь, кое-что и наматает себе на ус. Бывает, что ненадолго, потом опять по-старому начинает действовать, но после этого уж говорить легче. А вы как с отцом Тимофеем ладите?»

Вопрос был задан не попусту. Еще в письмах отцу Сергию сообщали, что многие недовольны новым священником, отцом Тимофеем Кургаевым, сыном бывшего миссионера Афиногена Антоновича. И голос не такой, как у батюшки Сергия, и кадиллом взмахивает, перекидывает его, по мнению некоторых, неблагоговейно. И со Святыми Дарами не так выходит, а в боковой двери один раз даже ризой зацепился. Конечно, с непривычки, тесно здесь очень, а все-таки батюшка Сергей не зацеплялся.

– И тон правильно не задает, – возмущался Никита Иванович Амелин, ведущий тенор, еще молодым парнем начавший ходить на спевки к отцу Сергию и на клирос.

– Вот, бывало, мы ектению за здравие и за упокой в «до-ми-соль-до» пели, а «помолитесь, оглашении, Господеви», ты, батюшка, на «ре-си-соль» переходил, и мы за тобой. А он все в одном тоне дует. И тяжело, и красоты такой нет.

⁹² 19 декабря – день памяти святого Николая Чудотворца.

– Он не переходит, вы бы перешли, а он бы подхватил за вами. Слух у него есть. Не всегда священники тон задают, чаще наоборот бывает.

Отцу Сергию пришлось проводить целую беседу на тему о том, что у каждого священника своя манера служения и обижаться на то, что отец Тимофей не похож на отца Сергия, так же нелепо, как на то, что Николай Потапович ниже ростом, чем Трофим Поликарпович, поет басом, а не тенором, как Никита Иванович. Они двадцать лет вместе прожили, привыкли, поэтому им и нравится больше служение отца Сергия, а пройдет несколько времени и отец Тимофей понравится. А если уж очень хочется что-нибудь наладить или по-старому оставить, пошли бы к отцу Тимофею да поговорили. Конечно, по-хорошему, без обиды, а в виде просьбы. Отец Тимофей человек разумный, может навстречу пойти, если с ним мирно потолковать, а то ведь, как говорится, и у воробья самолюбие есть. Тем более что он больной, нужно стараться его по пустякам не расстраивать⁹³.

– Так-то оно так, а нам такого соловья, как ты, больше не видать, – вздохнул кто-то из женщин.

– Послушали бы вы, как в Пугачеве смеялись, когда я сказал, что меня здесь соловьем считают, – усмехнулся отец Сергей. – Вы помните, какой у меня был голос, когда я сюда приехал, и не заметили, что за двадцать лет от него почти ничего не осталось... Да что это я? – вдруг спохватился он. – Самое-то интересное не рассказал. Ведь я, когда в Пугачев ехал, с Вариным и Аpekсимовым разговаривал.

– Как так?

– А вот так. В Селезнихе на постоялом дворе встретился. Они из Пугачева ехали. Сначала кое о чем, о пустяках разговаривали, а потом Варин не выдержал, говорит: «Так, так... Значит, в пугачевском Воскресенском соборе собирается штаб контрреволюционных элементов... Ну что же. Сейчас ты протоиерей; будешь архиерей – за решеткой».

– Ну?

– А я отвечаю: посмотрим, может быть, у власти на виду лучше будет, они сами увидят, что я за человек. А то издали какой-нибудь прохвост наплетет с три короба, а они верят, или хоть проверять должны.

– А они что?

– Ничего, скушали. Не выдавать же себя. А ведь это и на самом деле так, – добавил отец Сергей. – Вот в прошлый раз, на Пасху... Случилось такое дело в городе, вызвали бы и поговорили, всего часа два семья бы волновалась. А отсюда чуть не неделю нервы мотали. А пока... – Отец Сергей встал. – Вы здесь посидите, а я на часок к отцу Тимофею загляну.

У отца Тимофея со своей стороны оказались претензии к новым прихожанам.

Идя навстречу еще не высказанному желанию гостя, он сам предложил отцу Сергию послужить в будущее воскресенье. Народу в церкви собралось, как в большой праздник, и отец Сергей, воспользовавшись этим, сказал примирительную проповедь для предотвращения возможных недоразумений. За проповедь отец Тимофей поблагодарил, хотя и расстроился немного – не ожидал, что могут быть недовольные.

На следующий день после приезда отец Сергей побежал в Березовую Луку к куму, а еще через несколько дней отец Григорий с матушкой явились в последний раз повидать отъезжающих.

Двадцать лет прожили рядом эти два, так не похожие один на другого батюшки. Даже друзьями они не назывались, а только год за годом все вновь кумились между собой, год за годом устраивали в складчину елки для детей, да по делу и без дела, вовремя и не вовремя, ходили и ездили друг к другу не только сами, а и их матушки и дети.

⁹³ Отец Тимофей умер от туберкулеза, прослужив в Острой Луке два года с половиной. Потом туда попал отец Владимир Беляев, с которым у воспитанников отца Сергия выходило много неудовольствий. – *Авт.*

– Что это ты ушла? – шутливо ворчал отец Григорий на жену, которой не оказалось дома, когда отец Сергей однажды явился к ним. – Разве не видишь, какой буран, значит, кум приедет.

Отец Григорий был лет на десять старше отца Сергия, гораздо спокойнее его, и не отличался крепкой памятью. В горячую пору обновленчества он не брал на себя ответственных поручений – поездок, опасаясь забыть что-нибудь важное, но так, без поручений не раз ездил и в Самару, и к брату своей жены, епископу Павлу. Возвращался он, как и другие, начиненный новостями, но рассказывал их по-своему, не торопясь, припоминая то одну, то другую подробность. После нескольких часов рассказов еще раз перебирал все в памяти – не забыл ли чего? Разговор переходил на другие темы, не имеющие ничего общего с предыдущим, и вдруг отец Григорий вспоминал еще что-нибудь интересное.

У отца Сергия выработалась особая манера извлекать из друга все, что тот мог дать. Просидев чуть не целый день в Березовой, он назавтра снова собирался туда.

– Пойду опять кума подою, – объяснял он, – может быть, еще что-нибудь скажет. И почти всегда возвращался с новостями, которые отец Григорий за это время успевал припомнить.

Знали батюшки друг друга чуть ли не лучше, чем самих себя, со всеми достоинствами и недостатками; гораздо лучше, чем знали родных братьев. Но даже теперь, в последнее свидание перед разлукой, которая легко могла оказаться вечной, не было сказано ни одного громкого слова о любви, о дружбе, о том, как каждому будет не хватать кума. Только, как в день похорон Евгении Викторовны, хотелось, насколько возможно, оттянуть минуту расставанья.

Наконец гости поднялись. Как будто не они уезжали домой за три версты, а вот сейчас провожали хозяев в дальнюю дорогу, на новую, неизвестную жизнь, все истово помолились перед иконами. Отец Григорий простился с отцом Сергием и подошел к Юлии Гурьевне.

– Давайте и с вами поцелуемся! Мы старики, нам можно, – сказал он и трижды, со щеки на щеку, расцеловался со смущенной и тронутой старушкой⁹⁴.

Живя в Острой Луке, отец Сергей послал подводу за мальчиками. Зимние каникулы еще не наступили, но ему хотелось, чтобы вся семья в полном составе простилась со старой родиной и познакомилась с новой.

Выезд был назначен на крайний срок, ранним утром 4 (17) декабря. Подводы с мебелью, домашними вещами и коровой двинулись накануне, а утром оставалось только погрузить и хорошенько укутать ульи с пчелами, которые отец Сергей на всякий случай хотел сопровождать сам, и выехать налегке.

Утром, еще затемно, изба наполнилась народом. В пустой комнате, где оставался только кухонный стол, по положению проданный вместе с домом, было неуютно и холодно. Утром, когда выносили из подвала пчел, жарко натопленную с вечера комнату выстудили, а подтопить было нечем: все дрова и пригодные на дрова деревяшки были запроданы, и отец Сергей не считал себя вправе пользоваться ими. Но собравшиеся женщины рассудили по-своему.

– Мало, что ли, на дворе всяких палок валяется! – заявила Маша Садчикова. – Бабы, кто помоложе, подите наберите да растопите подтопок; разве можно из холодного помещения уезжать. Сейчас задрогли, а дорогой что будет! Вы хоть поели? – спросила она, когда в печке затрещали сухие прутья и комната стала быстро нагреваться.

– В такую-то рань? Не хочется.

– А на голодный желудок выезжать нельзя, сразу закоченеете... что закоченеете... – по перенятой от матери привычке повторила она. – Да уж я так и знала, пораньше печку истопила, горяченькой картошки принесла. Она развернула закутанный в чистое тряпье чугунок, и с горячим паром распространился аппетитный запах тушеной с луком картошки.

⁹⁴ Года через три отца Григория перевели в село Толстовка, километрах в двенадцати от Пугачева, так что на этот раз разлука не оказалась вечной. Когда же им пришлось прощаться навсегда, они об этом не догадывались. – *Авт.*

– Садитесь, из одного блюда поедите, я и блюдо захватила, и ложки, вы уж свое, наверное, все попрятали, – распоряжалась она в то время, как соседки расставляли около стола принесенные от себя табуретки. – Да батюшку крикните, бабы, пусть поест горяченького, без него там увяжут. А я вам еще мешулечку тыквенных семечек захватила на дорогу. Мороз-то сейчас не сильный, днем и вовсе разогреет, все погрызете от скуки... Так, согретые горячей Машиной картошкой, с мешочком тыквенных семечек, и оставили отъезжающие свою дорогую родину. Попрощались с плачущими женщинами и нахмурившимися мужчинами; поднявшись на увал⁹⁵, в последний раз оглянулись на занесенные снегом избы и сады; поискали глазами скрытые за этими избами дорогие могилки, место которых теперь можно было определить только по церковному кресту. Промелькнули последние знакомые овражки, кустики, повороты. Слез нет, да и не хочется плакать, а сердце болит, словно оно разодрано надвое...

– Ну-ка, достаньте Машиных семечек, – говорит отец Сергей.

Как живые, представляются мне удивленные лица некоторых из тех, кому приходилось говорить, как тяжело было расставаться с родным селом.

– Что же тут жалеть? Деревня, глушь, никаких культурных развлечений...

На других лицах выражается самое искреннее сочувствие.

– И вообще-то, какая тяжелая жизнь! Горе за горем!

Унылая, беспросветная... А в молодости ведь хочется повеселиться!.. Целая серия обвинений. Тяжелая, унылая жизнь, без культурных развлечений, без проблеска веселья... Это целый обвинительный акт против бедной Острой Луки, так обездолившей своих питомцев. Но, может быть, свидетель сказал не все или судьи неправильно его поняли?

Тяжелая жизнь. Горе, утраты, всевозможные испытания размечают ее, как вехи. Но не нужно их забывать, вехи потому и заметны, что резко отличаются от окружающей их ровной поверхности, и тем заметнее, чем ровнее эта поверхность. И не обойтись здесь без фразы, ставшей банальной как раз благодаря своей бесспорности, что счастье, как и здоровье, не замечается, пока оно есть. Зато, чем полнее было счастье, тем тяжелее терять его.

В последний год своей жизни Евгения Викторовна, может быть, уже бессознательно подводя итоги этой жизни, сказала бабушке Наталье Александровне:

– Шестнадцать лет прожили мы с Сережей, и он ни разу меня даже душой не назвал.

Разве это не значит, что, несмотря на множество острых, тяжелых испытаний, которыми была наполнена их жизнь, супруги прожили шестнадцать лет большого, чистого счастья? Такого счастья, которому могли бы только позавидовать другие, те, чья жизнь внешне сложилась гораздо более удачно.

И разве не счастливые дети, прожившие сколько-то лет в атмосфере любви и согласия? Ведь даже ссоры в период ломки характеров так болезненно действовали на них именно потому, что были необычны, что нормальным состоянием всей семьи были мир, единодушие и непринужденное веселье. Вот именно веселье, а не уныние и скука. Даже в этот, внутренне самый тяжелый период их жизни, бурные вспышки так и оставались вспышками на фоне спокойных, дружелюбных отношений, оживленных разговоров, шуток и смеха. Тем более так было в другое время. Недаром сам отец Сергей никогда не мог долго пассивно подчиняться горю, не мог видеть около себя угнетенных, опустивших руки людей. Всегда он старался подбодрить их, оживить, найти какой-нибудь выход, средства для борьбы, вызвать хоть печальную, но улыбку. Потому и о безвозвратно потерянном счастье он вспоминал не с тоской, а с благодарностью, и в самых тяжелых условиях находил возможность увидеть малейший проблеск радости, воспользоваться им независимо от того, что будет дальше. Это не легкомыслие, не себялюбивая теория: «Хоть день, да мой!» Это нормальная потребность здорового человеческого духа, для

⁹⁵ Пологий склон.

которого нет ничего противоестественнее уныния, отчаяния, недаром признаваемого христианством за один из тяжелейших грехов.

Даже постоянное беспокойство за отца в период борьбы с обновленчеством и другие подобные моменты доставляли детям счастье, доступное немногим, – счастье уважать в отце стойкого, убежденного и неподкупного борца.

Конечно, эти свойства характера могли бы проявляться не только в Острой Луке, но, возможно, ее роль была тут гораздо серьезнее, чем могло показаться с первого взгляда. Едва ли будет ошибкой признать, что причиной этой стойкой жизнерадостности в семье С-вых в значительной степени было и общение с природой.

Острая Лука располагалась в одном из прелестных уголков Среднего Поволжья, и дети с самого рождения привыкали видеть вокруг себя красоту – красоту тихую и скромную, не бьющую в глаза, но проникающую в душу, очищающую, укрепляющую. Беспреданно меняющаяся водная ширь весной; летом и осенью цветущие луга, озера, перелески, где за каждым поворотом открывались картины, одна другой чудеснее; сверкающие белоснежные просторы зимой, – сделались для всех членов семьи необходимыми – там рассеивалось горе, там обдумывались серьезные жизненные вопросы, там складывались и крепились убеждения. Недаром, уезжая, дети прощались с любимыми местами, как с лучшими друзьями; недаром впоследствии эти места являлись мерилем красоты. Слова «похоже на Острую Луку» являлись величайшей похвалой.

Теперь о культурных развлечениях. Главным из них, безусловно, было чтение. Правда, выбор книг в двух-трех личных библиотеках, своей и знакомых, был невелик, зато подбирались они внимательно и, за немногими исключениями, имели действительную литературную ценность. Не следует забывать, что в это время и в помине не было не только телевизоров, а даже и радиоприемников. Значит, и в городах из «культурных развлечений» оставались только малодоступные театры, да кино. Вдобавок кино заполнялось боевиками с хлесткими названиями «Женщина с миллиардами» в восьми сериях, «Вулкан любви» и т. п. И уж конечно, более полезно в культурном отношении, более интересно и даже более человечно было вместо ознакомления с авантюрами «женщины с миллиардами» посвятить эти восемь вечеров знакомству с Достоевским и Тургеневым, Диккенсом и Бичер-Стоу, Гоголем и Лермонтовым, даже с Майн Ридом и Дюма. Небольшие размеры библиотек были полезны еще и тем, что, перечитав всю художественную литературу, молодежь волей-неволей бралась за популярно-научную и специальную. А начав по необходимости, постепенно входила во вкус серьезного чтения.

Кроме того, была музыка, шахматы, катание на коньках и на лодках, купанье, длинные прогулки по лесу и лугам – каждый выбирал то, что для него было интереснее и по силам. Вместо футбола и хоккея, которыми городские ребята «культурно развлекаются» на пыльных улицах, рискуя попасть под автомашину, или на чуть-чуть менее пыльных стадионах, – лапта, горелки, шары (т. е. тот же хоккей) и множество других игр на зеленой траве, при безукоризненно чистом воздухе. Даже полевые работы, пока они не доводят до изнеможения, тоже доставляют удовольствие здоровым молодым людям.

И у каждого, начиная с отца Сергия и Юлии Гурьевны и кончая Наташей, в селе оставались друзья, с которыми трудно расстаться. Да и родные сюда нет-нет да и заглянут; не все, которые съезжались раньше, а Санечка К-ва и Наденька С-ва бывали почти каждое лето.

В Пугачев-то Надежда Евгеньевна едва ли поедет, дорога туда гораздо сложнее, чем до Острой Луки. И самим отъезжающим, по той же причине, путь в Самару теперь почти что отрезан. А ведь даже деловые поездки туда были желанны и радостны, потому что являлись одновременно и встречей с родными.

Словом, было много причин жалеть об Острой Луке, и, хотя молодежи свойственно любить перемены, они ехали со смешанным чувством ожидания и грусти, и грусть преобладала даже у них. Нечего и говорить об отце Сергии.

Книга вторая В городе 1926—1931

1926–1929

Глава 1 История с географией

Давным-давно, еще во времена Пугачева, и еще раньше его, стояла на одной из извилин Большого Иргиза, на правой его стороне, слобода Мечетная. Стояла она как будто посреди широкой степи, тянувшейся от Волги до Урала, а на самом деле уже на крайних западных отрогах Общего Сырта. Поэтому степь, к западу совершенно ровная, только кое-где перерезанная оврагами, к востоку начинала постепенно холмиться; да и на запад от слободы горизонт закрывал, точно край котловины, длинный, пологий подъем, тоже носивший название Сырт. За этим Сыртом целиком пряталась слобода, позднее город Николаевск. Он скрывался в котловине даже тогда, когда в нем выстроили высокий Новый собор. С запада все равно была видна только пустая, безлюдная степь, и лишь с края Сырта открывался сразу весь городок и окаймленная лесом линия Иргиза. Линия эта отнюдь не была прямой; можно было пойти и вниз, и вверх по реке и одинаково километра через три увидеть на левом берегу село Давыдовка, занимавшее горловину большой извилины, которыми отличался Иргиз. Рассказывали, что когда-то, когда по реке еще тянули бечевой небольшие плоты и баржи, бурлаки утром не тушили разложенного на ночь костра, только присыпали его сверху золой, а вечером, располагаясь на новый ночлег, бежали туда за огоньком. Так длинный, целодневный путь по берегу продвигал их по прямой на каких-нибудь полтораста – двести сажен⁹⁶.

К двадцатым годам нашего времени по берегам Иргиза оставались только отдельные лесные островки, почему-то носившие украинские названия «гай»: Титов гай, Белый гай, Толстый гай, но раньше здесь леса было гораздо больше. Лесная глушь заполняла берега Иргиза, и под ее защитой стояли скиты раскольников, скрывавшихся здесь, в вольной стороне, от «тесной» жизни обжитой части России. Старообрядческий Иргиз в свое время славился между раскольниками не менее, чем Черемшан или описанный Мельниковым-Печерским⁹⁷ Керженец. И ничего, что слобода, по обе стороны которой они расселились, называлась Мечетная, т. е. что первыми и основными насельниками в ней были татары. Сейчас трудно сказать, как сложились первоначальные отношения русских с татарами, но нужно думать, что хозяева не имели ничего против новых соседей, иначе они, конечно, сумели бы быстро отвалить их. Больше того, археолог мог бы доказать, что в какой-то период пришельцы даже оказывали на аборигенов сильное влияние, приведшее к осязательным результатам. Правда, и до нашего времени татары занимали отдельную, северную часть города, так называемый «татарский конец», или «аул». Жили они там своей обособленной жизнью: две мечети, медные, чеканные, с узким, как у чайников, горлышком, кувшины для омовения, стоявшие во дворах; женщины в свободных, как рубаха, платьях и заменивших чадру платках вроспуск⁹⁸, часто не умеющие даже объясняться по-русски.

⁹⁶ Около 300–400 м.

⁹⁷ Мельников Павел Иванович (1818–1883), выдающийся российский беллетрист-этнограф, известный под псевдонимом Андрей Печерский. Всю жизнь посвятил изучению церковного раскола.

⁹⁸ Кстати, старинные старообрядки так же носили платки. Кто у кого заимствовал? – *Авт.*

Но на пустыре за татарским концом, на высоком берегу Иргиза, примерно посредине между последними домами и зданием электростанции, еще в двадцатых – тридцатых годах можно было видеть заросшие бурьяном остатки старинного кладбища. Не было на нем ни русских дубовых крестов с верхушками в виде маленькой часовенки, ни поставленных стойком, грубо выломанных, нетесаных глыб белого камня, как у татар. Там рядами лежали поросшие мхом, изъеденные временем, но с ясными признаками отделки каменные плиты. На каждой плите сверху был высечен крестик, а под ним русское христианское имя и татарская фамилия. Значит, жили здесь когда-то крещеные татары, достаточно культурные, чтобы оставить по себе эти памятники, и настолько многочисленные, что имели собственное кладбище.

Не до них было в те годы, а может быть, тут скрывалась еще одна интересная страница истории края и русского христианства. Сейчас трудно сказать не только то, когда появились здесь крещеные татары и почему исчезли, а и вообще, когда они жили там, – когда Иргиз был еще старообрядческим, или когда скиты и монастыри постепенно переходили в единоверие. Ко времени этого перехода слободы Мечетной не было и в помине, она превратилась в уездный городок Николаевск. Городок понемногу ширился, рос; появились в нем один за другим «темные» богачи: Мальцев, Волковойнов, Чемодуров и другие. Про источники их богатства ходили такие же темные слухи: тот «занимался» фальшивыми деньгами; тот сам их не печатал, а нашел на своем гумне спрятанную в омете соломы кипу ассигнаций, да еще сумел скрыть большую часть их от брата, вместе с которым сделали находку; тот убил проезжавшего купца; тот обманул и обобрал своих же собратьев-старообрядцев. Конечно, все это скрывалось во мгле времен, а ближе к нашему времени представители их фамилий были просто богатые купцы, торговавшие в основном хлебом. После революции, когда купцы исчезли, а Николаевск был переименован в Пугачев, в нем оставались две громадные для такого городка мельницы.

Находившиеся близ города монастыри к 1926 году один за другим были закрыты. Самый дальний из них, Преображенский, располагался километрах в девяти – двенадцати на северо-восток от города, в живописной местности между Иргизом и заросшим лесом озером «Ковшик». Он служил резиденцией епископа Уральского и Николаевского Тихона; там же помещалась и основанная епископом Тихоном миссионерская школа. В двадцатых годах монастырь был превращен в тюрьму, но недавно эту тюрьму перевели ближе к городу, на его юго-восточную окраину, в православный женский Вознесенский монастырь. Там еще функционировала церковь, закрытая только в начале 1927 года, и часть корпусов еще занимали монахини, которых постепенно переселяли в город. Говорили, что перенести тюрьму вынудила необходимость: с некоторого времени в Преображенском монастыре начал слышаться подземный звон, не дававший покоя ни заключенным, ни охране.

Третий монастырь, женский, единоверческий, Никольский, находился километрах в трех к югу от города, как и первые два, тоже на берегу Иргиза; там уже несколько лет существовала трудовая артель, организованная монахинями.

В городе имелись кладбищенская и единоверческая церкви и два собора – Старый, екатерининских времен, деревянный и приземистый, и Новый, кирпичный, насчитывавший всего два-три десятка лет⁹⁹.

Соборы стояли на двух примыкавших одна к другой площадях, или на одной, разделенной глубоким оврагом, а совсем рядом со Старым высилась громада еще одного, самого Нового собора. Его начали было строить перед войной 1914 года, вывели стены и своды, а закончить помешала война. Так он и стоял, непокрытый, под дождями и снегом, как памятник прошлого, дав тему для местной пословицы. Когда в городе хотели сказать о чем-то, что делалось очень медленно, говорили: «Как собор строится». В двадцатых годах его начали разбирать, но добротный цемент превратил здание в крепкий монолит, кирпичи не отделялись, а ломались и

⁹⁹ Прилагательные Старый и Новый употреблялись в городе как собственные имена. – *Авт.*

крошились, работа еле подвигалась. Тогда вместо прежней пословицы стали говорить: «Как собор ломают».

Глава 2

Первые впечатления

*То правда. Город не широк, Не длинен...
– И площадь. Площадь велика.*

Н.А. Некрасов

Если рассуждать с практической точки зрения, переход отца Сергея из Острой Луки в Пугачев казался вполне естественным, почти неизбежным. Прослужил человек в небольшом, бедном приходе двадцать лет, дослужился до протоиерейства и, вполне понятно, при первой же возможности занял место, более соответствующее его новому сану, тем более что и дети подросли, учить надо. И, может быть, никому не приходило в голову, как тяжело было всей семье расставаться с этим бедным приходом, каким неприятным казался в первое время Пугачев. Он был теперь виной всех мелких неполадок, всех жизненных неудобств, начиная с холодной квартиры до... Да сама Соня, которая чаще других употребляла формулу «в этом Пугачеве!..», имея в виду, что «в этом Пугачеве» не может быть ничего хорошего, – даже она скоро заметила, насколько подчас бывает пристрастна, и, смеясь, говорила: «Теперь, кажется, если у нас чашка разобьется, и в этом Пугачев будет виноват». Вполне понятно, что им было тяжело менять зеленое раздолье приволжского села на сухой, пыльный и грязный городок. До того они знали только один такой маленький городок – Хвалынский. Но Хвалынский привольно раскинулся по склону высокого берега Волги; главную улицу его до 1918–1919 годов украшала аллея пирамидальных тополей; весь городок утопал в зелени – сады карабкались по склонам высоких холмов до самого леса. Целое лето по улицам разливался аромат то цвету щих фруктовых деревьев, то липы, то бахчей и, непременно, бодрящий аромат сосновой хвои. Правда, мостовая была не лучше пугачевской и при езде по ней «кишки с печенками перепутывались». Зато каждый дождь смывал с нее пыль и уносил в Волгу. Если же и приходилось кому-нибудь выпачкаться, пробираясь по немощеным окраинам, то эта грязь, вернее, мокрый песок, сама отставала, как только просохнет.

В Пугачеве почва была грубая, суглинистая, дававшая массу мелкой, скрипящей на зубах пыли летом, а в сырое время превращавшаяся в глубокую липкую грязь, в которой оставались подметки, а то и отрывались головки сапог. В глубокие галоши грязь заливалась сверху; живущим на окраинах непременно нужны были сапоги, а многие ли имели возможность сделать их на всю семью?

Вдобавок эту грязь нужно было срочно и тщательно отскабливать и смывать с обуви, отстирывать с подолов верхней одежды, хотя бы стеганой или меховой. Высохнув, она превращалась в плотно въевшуюся глянцевитую корку, как будто была замешена не на воде, а на клее. Даже на мостовой лежал такой слой грязи, что на выбоинах можно было зачерпнуть в сапоги. Соня полушутя-полусерьезно уверяла, будто мостовая сделана только для того, чтобы не утонуть с головой. А какая эта была грязь! Вонючая, желтая, наполовину перемешанная с навозом; от отвращения мороз пробегал по коже, когда она заливалась в обувь.

Но и такая мостовая была только на двух-трех отрезках ближайших к центру улиц, а район, где поселился отец Сергей, весной и осенью превращался в настоящее болото.

Особенно трудно было женщинам пробираться за водой к водокачке, стоявшей посреди улицы на перекрестке. Тут уже не обойдешь, не выберешь, где помельче, лезь прямо в самую топь. Те три года, которые С-вы жили в этом районе, отец Сергей в грязное время старался сам приносить воду. Иногда он пропадал значительно дольше, чем необходимо, а вернувшись, объ-

яснял: «Выбрался я на угол, к домам, где грязи поменьше, смотрю – стоит женщина с пустыми ведрами и не решается переходить к водокачке. Я перелил ей воду, а сам опять полез».

Даже распорядок жизни горожан в какой-то мере за висел от этой грязи. Например, весенние каникулы в школе-семилетке, стоявшей среди большой площади на окраине города, приурочивались ко времени весенней распутицы, независимо от того, совпадало ли это с каникулами в других школах или нет. В некоторые годы каникулы в семилетке особым постановлением исполкома приходилось продлевать на несколько дней против положенного, да и этого было мало. Случалось, что отцы сопровождали в школу двенадцати-тринадцатилетних дочерей и в особенно топких местах переносили их на руках.

Конечно, сейчас, зимой, приезжие могли только слышать и догадываться об этом биче города, но были и другие прелести, заметные и теперь, – пронзительные ветры, морозы, почти полное отсутствие деревьев; даже городской сад находился на другом берегу Иргиза за плотиной. Тяготила жесткая вода, от которой чай терял вкус, а волосы после мытья так склеивались, что иногда казалось: их так и не удастся расчесать и нет другого выхода, как обрезать весь этот плотно свалывшийся войлок.

Единственное, что не только произвело на всех хорошее впечатление, но даже примирило со многим, был собор. И не снаружи. Снаружи он представлял из себя темно-красный пятиглавый куб с облицованными белым камнем оконными наличниками, пятью когда-то посеребренными, а теперь просто серыми куполами-луковицами и отдельно стоящей высоченной колокольней под таким же серым куполом. Зато изнутри он очаровал всех, даже отца Сергия и Юлию Гурьевну, знавших все тридцать с лишним самарских церквей, из которых многие были гораздо богаче уездного собора.

В этом случае помогла именно его бедность. Стены внутри до того почернели от копоти, что прошлой весной почувствовалась необходимость, не откладывая больше, произвести внутренний ремонт, а средств почти не было. Как ни изворачивались члены церковного совета, как ни занимали, где только могли, – набранных денег едва-едва хватило на покраску, о росписи нечего было и думать. Зато покрасили собор в нежно-голубой цвет, переходящий на прямоугольных колоннах в зеленовато-бирюзовый. Краски казались почти прозрачными, как воздух, а своды и купол были так высоки, что создавалось впечатление, будто тебя окружает чистое, светлое небо с поблескивающими в самом зените первыми редкими звездами. От одного этого молитвенный порыв охватывал душу, и создавшееся настроение оказывалось настолько сильным и прочным, что заставляло забывать о мелких житейских неполадках.

Нужно сознаться, что такому настроению мешало многое. Прежде всего несоразмерная высота здания, куда улетало зимой все печное тепло, а всегда в любую пору года – весь звук. Отец Сергей, говоривший вначале, что служить в соборе легко, так как собор сам допевает «аминь», скоро почувствовал и отрицательную сторону этого непосредственного участия соборных стен в чтении и пении. Особенно в чтении. Гулкий резонанс многократно преломлял, искажал и совершенно заглушал голос чтеца, и нужно было иметь большую привычку, чтобы разобрать хоть что-нибудь. Старожилы говорили, что раньше было еще хуже, но потом догадались отгородить десятисаженный цилиндр главного купола поперечным стеклянным перекрытием вроде потолка. Тогда явилась возможность понимать кое-что из читаемого, а зимой стало немного заметно, что собор отапливался. Впрочем, очень немного. Громадное (конечно, в уездных масштабах) здание требовало непосильных расходов. Ремонт, налог со строений, освещение все стоило гораздо, иногда в два-три и более раз, дороже, чем в старом соборе. А особенно отопление. Трудно сказать, сколько нужно было дров, чтобы добиться постоянной, ровной температуры. Теперь в каждую топку закладывали всего воз (на дровнях, примерно 3/4 кубометра), а то и полвоза дров, и все тепло поднималось к сводам, а внизу царил свирепый холод. Особенно он мучил в будни, да еще Великим постом, когда на дворе начинало таять и нельзя было ходить в валенках. Да и весной было нелегко. Промерзшие за зиму каменные

стены согревались чуть ли не к концу июня, а в апреле и мае внутри собора все еще было холодно. Люди приспособлялись, кто как мог. Духовенство чуть не круглый год имело в запасе валенки, в которые обувались, приходя в церковь; в алтаре, чтобы не замерзали Святы Дары, была сложена маленькая печка-буржуйка. Некоторые прихожане приносили с собой специальные половички, а другие шли по линии наименьшего сопротивления и просто уходили в Старый собор. Как ни обидно было патриотам Нового, приходилось признать, что старинный, с низкими сводами и деревянными полами, Старый собор имел больше преимуществ перед Новым. Там было тепло, была хорошая слышимость и хороший хор, тоже привлекавший немало молящихся из чужого прихода. А лишние молящиеся давали лишний доход и, следовательно, возможность больше платить певчим, иметь лучшего регента, содержать третьего священника, словом, там могли позволить себе много расходов, недоступных значительно беднейшему Новому собору, хотя официально он и считался первым, кафедральным. Впрочем, был определенный круг людей, привязанных к нему служебным положением или сердечной склонностью, или тем и другим вместе, потому что было в нем что-то внушавшее искреннюю любовь. Этим людям приходилось вести напряженную борьбу за то необходимое, что в Старом соборе давалось легко и просто, о чем там даже не думали.

Глава 3 Новые знакомства¹⁰⁰

Пока приезжие устраивались на новом месте и толковали о том, что женщины должны сделать визиты семьям всех членов причта, счастливое для них стечение обстоятельств помогло познакомиться сразу со всеми. Настоятель, отец Александр Моченев, справлял третью или четвертую годовщину смерти матери и пригласил на поминки всех сослуживцев, в том числе и отца Сергия с Юлией Гурьевной и Соней.

Следуя старинной традиции, отец Александр и матушка встречали гостей у входа в комнаты. Они здоровались с новоприбывшими и приглашали их пройти в столовую.

Отец Александр был крепкий, немного грузный батюшка лет за пятьдесят. Несмотря на довольно большой нос картошкой, он был красив своеобразной красотой людей пожилого возраста. Когда-то темно-русые, а теперь наполовину седые волосы его ложились крупными волнами; сохранившиеся в широкой бороде темные волосы красиво оттеняли седину, а из-под густых, совершенно черных бровей глядели большие приветливые глаза. Людям, знакомым с хроникой Лескова «Соборяне», отец Александр внешне напоминал протопопа Савелия Туберозова, но характер у него был другой, более мягкий и покладистый. Беспокойный характер Савелия достался, скорее, отцу Сергию. И как ни привлекателен образ Туберозова, трудно представить его с такой добродушной улыбкой, которая почти всегда светилась на лице отца Александра, прячась в его роскошной бороде и таких же пышных, почти белых, усах.

Словно по заказу, матушка София Ивановна, как и жена Туберозова, была маленького роста – не просто меньше мужа, а совсем маленькая, чуть повыше Юлии Гурьевны, но зато полненькая и кругленькая, как колобок. При первой встрече, конечно, можно было заметить только ее приветливость хозяйки, но отец Сергий, узнавший ее несколько больше, очень уважал матушку, даже больше, чем ее мужа.

– У них женщины глубже, чем мужчины, – говорил он, характеризуя семью настоятеля и относя к числу этих, так высоко оцененных им, женщин и невестку Моченевых, жену их сына Анатолия.

Эта невестка, Евгения Ивановна, или просто Женя, была хорошенькая молодая женщина с пышными светло-русыми волосами. Она выглядела особенно изящной и хрупкой рядом со

¹⁰⁰ Все имена и фамилии подлинные, за исключением одного лица. – *Авт.*

своим здоровяком мужем. Оба они пели в соборном хоре. У Анатолия был сильный бас, второй по мощности в городе, где было немало хороших голосов. Нежный, серебристый дискант Жени, к сожалению многих любителей пения, редко удавалось слышать. В хоре его заглушал гораздо более сильный, хотя и менее приятный голос жены регента, Прасковьи Степановны, а сольные партии из-за той же Прасковьи Степановны редко доставались.

Кроме них в семействе Моченевых было две дочери – Зоя, студентка, учившаяся в Саратове, и пятнадцатилетняя Маруся, копия своего отца, с такими же большими глазами. Был еще девятимесячный внук Шурка, худенький, болезненный малыш, с крохотным красным носиком и вечно стоящими дыбом редкими пушистыми волосенками.

Таким его вынесли к гостям, подняв с постели, и таким он оставался пять лет спустя, когда его увозили из Пугачева.

Подходя к дому, С-вы столкнулись с регентом Михаилом Васильевичем, а войдя, увидели среди собравшихся громоздкую фигуру диакона Федора Трофимовича Медведева. Едва присутствовавших перезнакомили между собой, едва Михаил Васильевич успел извиниться за свою «Панюрку», которая не могла оставить прихворнувшего ребенка, как явились последние приглашенные, второй псаломщик Димитрий Васильевич, и его жена, как и Моченева, тоже Женя. Оба высокие, темноволосые, хорошо одетые, чего нельзя было сказать об остальных гостях, веселые и, видимо, свои люди в этом доме, так как отец Александр встретил их шутливым возгласом:

– Вот и молодожены явились! Их, как полагается, посадим в передний угол. Честь и место! Проходите!

– Какие же мы молодожены, отец Александр?! – низким грудным голосом возражала вновь прибывшая, поправляя золотое пенсне на слегка прищуренных близоруких глазах. – Мы раньше ваших поженились.

– Ничего не знаю, раз держите себя как молодожены, значит, такие и есть. Садитесь, садитесь, не задерживайте людей!

Матушка Софья Ивановна усадила Юлию Гурьевну около себя, и у них завязался оживленный разговор. Нашлись общие знакомые – учителя и классные дамы епархиального училища, где учились и обе они, и три дочери Юлии Гурьевны. Вспоминали бывших в их время архиереев. Юлия Гурьевна, как и много раз раньше, с удовольствием рассказывала про основателя училища, епископа Серафима¹⁰¹. Он постоянно следил за нуждами воспитанниц и даже, по мере сил, баловал их. То дорогих конфет к празднику пришлет, то апельсинов; зимой распорядился сделать в саду ледяную гору для маленьких и прислал что-то много салазок. Потом даже песенку пели, кто-то из преподавателей составил:

Продолжая свои ласки, Подарил ты нам салазки. И с счастливой той поры Мы катаемся с горы.

– Епископ Гурий тоже очень заботился об епархиалках, – подхватила Софья Ивановна. – И сам часто бывал и на уроках, и на вечерах. Послушает, как девочки поют и декламируют, полюбуется, как маленькие играют, только на танцы никогда не оставался; как подойдет время начинаться танцам – встанет и уезжает.

– Вот я уже забыла, – продолжала вспоминать Софья Ивановна, – какая это была игра, когда все встают в круг и поют, а одна ходит и палкой пристукивает. Когда я в первом классе была, ходить досталось мне. Я всегда маленькая была, первым номером в классе. Вы представляете, первый номер в первом штатном классе – это самая маленькая во всем училище. А епископ Гурий к нам всегда приезжал с красивым посохом, наверное, кипарисный был, я тогда не разбиралась, высокий, с серебряным набалдашником. Он мне его и дал, я и постуки-

¹⁰¹ Серафим (Протопопов, 1818–1891), епископ Самарский и Ставропольский (1877).

вала архиерейским посохом, который был раза в полтора выше меня. А он, конечно, сидел да посмеивался, он очень любил маленьких.

– Посмеяться он любил, покойник, Царство ему Небесное, – вмешался отец Сергей, прислушавшись к разговору. – У нас один семинарист хорошо его смех копировал. Бывало, сидим в классах и слышим: «Ха-ха-ха!» Все, конечно, насторожимся, и из каждого класса кто-нибудь выглянет посмотреть, Гурий приехал или наш товарищ балуется.

– А его воспитанницу Анну Васильевну Киселеву помните? – спросила Юлия Гурьевна.

– Как не помнить Анюту Киселеву, – встрепенулась матушка. – Мы с ней почти одних лет были, я немного постарше. Епископ Гурий ее вывез из какой-то голодающей деревни. Анюта не круглая сирота, у нее мать была, бедная вдова. Епископ платил за содержание Анюты в училище и в женском монастыре, она там жила, а на лето ее обыкновенно кто-нибудь из подруг приглашал. У нее много было подруг, она была очень общительная и, к слову сказать, очень красивая. После окончания епархиального, уже когда епископ Гурий был в Симбирске, Анюта так и осталась в училище классной дамой. А потом, уже много спустя, замуж вышла, уехала в Москву. Епископ Гурий еще мальчика тогда воспитывал, тоже сироту, Павла Петровича Мурашкина. Он потом, кажется, инженером стал.

– Да, я это все знаю, – подтвердила Юлия Гурьевна и переспросила: – Неужели Анна Васильевна моложе вас?

– Моложе. Вы не смотрите на моих детей, я старше, чем они показывают, – улыбнулась матушка. – У меня до Анатолия еще несколько человек было, все умирали. Анатолий тоже рос слабенький, болезненный, мы и не думали, что он выживет. Сама не помню теперь, кто нас надоумил в Саров съездить и в Дивеево, к юродивой Пашеньке. Слышали про нее?

– Слышала, а съездить не пришлось.

– А мы вот побывали. Приняли нас ласково, с Толей играет, разговаривает, а на руки не берет. Мне очень хотелось, чтобы она взяла, а она говорит: «Материн, материн» – и на руки не берет. Я, когда вышла, заговорила с ее послушницей и пожалела, что Пашенька ребенка не взяла, а послушница отвечает: «Это хорошо, что не взяла, значит, жить будет; она, когда берет, этим предсказывает, что ребенок умрет. А у вас, что, дети не живут?»

«Не живут», – говорю. «То-то она про этого говорила – материн. Этот жить будет. Вы его еще, когда в пустыньку к отцу Серафиму пойдете, в источнике испкупайте!»

Пошли мы на источник. Не знаю, как потом, а тогда там две купальни стояли – мужская и женская, и вода по трубе текла холодная, прямо ледяная. У меня ноги стыли, пока я купалась, а после очень приятно сделалось. Стала я и Толю раздевать, а женщины, которые тут были, говорят мне: «Неужели вы и ребенка купать будете, да еще такого больного? Простудите!» А я думаю, все равно он не жилец, только и надежда, что Бог поможет. И понимаете, не успели мы от пустыньки до монастырской гостиницы дойти, как он есть запросил, а до того насильно заставляли. И вот видите, какой стал! Когда поет свои упражнения, пианино за ручку поднимает – и голос не дрогнет. А то подойдет к лампе – видите, у нас тридцатилинейная «Молния», – и возьмет какую-нибудь длинную ноту. Так лампа тухнет...

– Ты что же, хозяйка, заговорила и гостей не угощаешь! – раздался веселый, звучный голос отца Александра. – Кушайте, пожалуйста, рыбу, моя матушка мастерица ее готовить. Да и рыба хорошая попалась. Конечно, судак, а не осетрина, да Бог с ней, с осетриной, очень она коварная; меня это один раз больно коснулось, с тех пор видеть ее не хочу.

– Вы не о том ли случае вспомнили, когда не то двое, не то трое ею отравились? – переспросил отец Сергей. – Я уже теперь подробностей не помню, а тогда по всему уезду разговор был. Священник с женой тогда, кажется, умерли.

– Моя родная сестра с мужем, – вздохнул отец Александр. – Съезд был в Николаевске, зять приехал, и она с ним, хотела со мной повидаться. В одном номере мы и остановились. После съезда прошли по магазинам, купили малосольной осетрины, поели на дорожку;

в охотку-то много съели. Мне тогда нездоровилось что-то, я отказался, а то с ними же был бы. Я осетринку-то любил. У меня кое-какие дела в городе были, я задержался, а они сразу после обеда собрались. Едва половину пути до Подшибаловки проехали, как зять почувствовал, что ему нехорошо: голова кружится и в глазах двоится: две лошади, два солнца, четыре руки. Заговорил с женой, оказывается, и у нее тоже. До Подшибаловки от города двадцать пять верст; там больница была. Зять погнал лошадь что было сил, да все равно не успел. Сестра дорогой умерла, а он вскоре по приезде. Успел все-таки мне телеграмму послать: «Жена умерла, я лежу». Я, конечно, сейчас же ямщика, застал зятя при последнем издыхании... Да, вы правы, отец Сергей, шума тогда этот случай много наделал... – Возьмите пирога, не пожалеете!

– Спасибо. Я уж полтора года знаю, какие у матушки вкусные пироги.

Отец Сергей намекал на свое первое знакомство с Моченевыми, на Пасху 1925 года. Тогда, на первый день Пасхи, он был арестован, а на третий доставлен в Пугачев. В городе очень скоро стало известно, что в милиции находится арестованный священник и, хотя никто его не ждал, в тот же день ему принесли от Моченевых передачу – вкусный праздничный обед. То же было и в среду, только в тот день передачу приносили три раза – в завтрак, обед и ужин, и утром в четверг. Приносили столько, что отец Сергей делился со своими случайными товарищами и с дежурными охранниками – им ведь тоже не очень приятно было сидеть на работе, когда все их товарищи отдыхают (тогда еще в учреждениях праздновали Пасху). Понятно, что это угощение помогло установиться добрым отношениям.

В четверг, едва начались занятия, отца Сергея отпустили; он зашел в Новый собор, отстоял литургию и поблагодарил отца Александра за сочувствие и помощь.

Этот случай и напомнил отец Сергей, сидя за обедом; он был не из тех, которые стесняются лишний раз поблагодарить за сделанное добро. А отец Александр был не из тех, которые готовы без конца слушать благодарности; он сразу перевел разговор на другое.

– Я по себе знаю, как тяжело человеку в праздник в таких условиях, – сказал он. – В 1924 году нас, несколько человек, привезли в Самару, как раз в Великую Субботу. Вот тяжело было! На улицах чувствуется праздник, звонят колокола, а нас, грязных, полуголодных, ведут через весь город в тюрьму. Только что мы вышли с вокзала, мимо нас, будто случайно, прошла женщина и тихонько спросила: «В чем нуждаетесь?» Мы-то еще недавно из дома уехали, а с нами были два архиерея, они не помню сколько уж времени с этапа на этап переходили. Один из них показал на разбитую обувь, другой знаком объяснил, что нужно белье. И не успели нас в тюрьме оформить, как несут передачу – белье, обувь, громадный кулич, пасху, узел крашенных яиц, еще что-то. Слезамы мы тогда это угощение облили, а все-таки радостно было. Устроили-таки добрые люди и для нас праздник!

– А ты расскажи, как тебя причащали, – напомнила матушка.

– Да, интересно получилось! – Глаза у отца Александра заблестели, по лицу разлилась счастливая улыбка.

– Сами понимаете, пост, а я в милиции. Владыка Павел, дай ему Бог здоровья, и придумал: отслужил литургию, да и направил ко мне отца диакона со Святыми Дарами... – Вот он, герой-то, сидит, – показал отец Александр на диакона Федора Трофимовича, с аппетитом обсасывавшего рыбку косточку. – Так прямо в Чаше и нес через площадь.

– И пропустили?

– Представьте себе, пропустили.

Во время прошлогодней встречи отец Александр сказал: «Трудновато нам одним кормить всех, кто сюда попадает. Если бы вы из сел нам немного помогли».

Вернувшись, отец Сергей поговорил кое с кем из соседей и прихожан, и вскоре в Пугачев были отправлены сухари, масло, яйца и другие непортящиеся продукты. Немного спустя и другие села последовали их примеру.

Глава 4

Две семьи

Диакон Федор Трофимович Медведев был вдов, и женщинам не нужно было делать ему визита, а в молодые семьи к псаломщикам более подходило идти Соне. Кстати, Женя Жарова так настойчиво приглашала ее. Выбрав для храбрости время, когда Димитрия Васильевича заведомо не было дома, Соня отправилась в красивый особнячок, где Жаровы снимали квартиру.

Женя происходила из состоятельной и культурной семьи, одной из тех, членов которых в маленьком городке все знают. Может быть, сложившиеся в детстве привычки отразились и на выборе именно этой квартирке... Во всяком случае, обстановка темноватой, но уютной столовой, в которой Женя приняла гостью, могла быть только у таких людей.

Вынув из старинного, резного темного дерева буфета, тонкие хрустальные вазочки с вареньем, красивые чашки и маленькие тарелочки для закусок, Женя угощала новую знакомую и, приветливо сияя глазами, без умолку говорила. О чем только она не говорила! И о своей свадьбе, о борьбе, которую ей пришлось выдержать с родителями, не желавшими этого брака, и о том, как они в прошлом году чуть не утонули, катаясь на худой лодке, и о своей бабушке, которая, бывало, водила ее к заутрене в монастырь, и еще о многом. А Соня слушала и думала.

Ей вспоминался рассказ отца, как он удивился, когда молодая женщина при первом знакомстве отрекомендовалась просто: «Женя!» Обычай называться уменьшительным именем тогда только входил в моду и до села еще не дошел. Впрочем, и в городе он не вполне утвердился; Димитрий Васильевич, например, совсем не претендовал на то, чтобы остаться Митей. Поэтому отец Сергей спросил: «А как ваше отчество?»

– Я еще молоденькая! – с легкой смущенной гримаской ответила Женя.

Действительно, она была молоденькая. Что-то совсем юное проскальзывало в ее тоне и манере, несмотря на пенсне и густые, срастающиеся брови, придававшие ей солидность. Совсем по-молодому она любила и поболтать, и повеселиться, и в кино сходить. Это служило иногда причиной очередных недоразумений между ее мужем и отцом Сергием. Принаряженная для кино или гостей, Женя появлялась к концу вечерни в церкви, Димитрий Васильевич, увидев ее, начинал торопиться и зарабатывал замечание, иногда довольно резкое.

Все же бабушкино воспитание было в Жене очень заметно.

– Вы посмотрите, как она молится, – говорила о ней Юлия Гурьевна.

Правда, молилась Женя удивительно – горячо, искренно, забывая об окружающем. Жена регента, Прасковья Степановна, не вставала на клирос, когда собиралась говеть и хотела спокойно помолиться, а Жене ничто не мешало, она и на клиросе могла прекрасно отдаться молитве. Вообще, несмотря на сверкавший в ее глазах огонек юности, она казалась взрослее, серьезнее, вдумчивее мужа. Размышляя о горячем, неустоявшемся характере Димитрия Васильевича, отец Сергей возлагал надежды на ее доброе влияние. И не ошибся.

Регент Михаил Васильевич Емельянов, был человек совсем иного типа, чем его младший товарищ, – небольшого роста, более спокойный. Он был почти новичком в городе, приехал туда из Уральска ровно за год до отца Сергея. И у него, и у его жены Прасковьи Степановны, и даже у маленького Бори, когда он начал достаточно понятно объясняться, был сильно заметен уральский говор. Они говорили: «пямы», «Сяров», «дярутся» и т. п.

Емельяновы еще не успели обзавестись постоянным кругом знакомств и скучали. Как псаломщик первого штата, Михаил Васильевич в основном служил с настоятелем и мог бы почти не встречаться с отцом Сергием. Однако он часто, гораздо чаще, чем Димитрий Васильевич, заходил к новому батюшке, еще когда тот жил один, продолжал заходить и когда к нему приехала семья.

Вначале для таких посещений было два основных повода – возможность получать ссуды и брать книги для чтения. К отцу Сергию, продавшему свой домик в Острой Луке, до покупки нового все сослуживцы обращались за небольшими займами, и чаще всех это делал Михаил Васильевич. С другой стороны, он как манна небесная ждал библиотечки отца Сергия, о которой зашел разговор еще тогда, когда они вдвоем сидели в полупустой и страшно холодной квартире нового священника. Когда же библиотечку наконец привезли, Михаил Васильевич стал самым частым и аккуратным ее абонентом.

Михаил Васильевич успел принять участие в гражданской войне. В 1919–1920 годах он отбывал действительную службу в закаспийских степях, воюя против казаков Серова. На память об этом времени остался глубокий круглый шрам на правой щеке, а на правой руке у него два пальца были оторваны осколком снаряда. После армии Михаил Васильевич пел на клиросе в Уральском соборе, даже был там помощником регента. Естественно, что, не зная других образцов, он во всем, хорошем и плохом, подражал этому регенту и считал его непрекаемым авторитетом в области пения. Пение Михаил Васильевич страстно любил, и в этом была одна из точек соприкосновения его с отцом Сергием, хотя вкусы их были совершенно различны, и они много спорили, толкуя о стилях пения.

Для начинающего регента у Михаила Васильевича была довольно большая нотная библиотека; когда закрывали собор, он ночью вынес оттуда, какие мог, нотные тетради и зарыл их в сугробе, а потом постепенно перетаскал домой. Он красочно рассказывал о своих переживаниях в это время, да и вообще любил и умел рассказывать; рассказывал и случаи из певческой жизни, и о военном времени. Вопреки распространенному мнению, будто самым страшным видом оружия обычно считают то, от которого пострадали сами, Михаил Васильевич самым страшным считал конную атаку казаков.

– Пехоте труднее всего выдержать, когда казаки мчатся на нее во весь опор с шашками наголо, – рассказывал он, – да при этом еще орут или визжат, что ли, дикими голосами; мороз по коже пробирает. А шашками они так работают: с одного удара пополам разрубают человека или руку с плечом отрубают – та же смерть, только мучений больше. Очень трудно выдержать, не стреляя, подпустить их на нужное расстояние, так бы и повернулся и побежал... а если побежал – конец... От верховых не убежишь, а бегущих казаки рубят как им вздумается. Зато уж, если выдержит пехота, да с близкого расстояния даст залп, тут, считай, казакам конец. Потому-то они так и стараются кричать, на психику подействовать, чтобы этого не допустить. От залпа передние ряды упадут, задние не остановятся, ни повернуть на скаку не могут, сшибаются друг с другом, падают, лошади под ними бесятся, а по ним в это время залп за залпом...

Рассказывая, Михаил Васильевич страдальчески морщился – он не годился в поэты, у которых война выходит красивой.

Зато первый муж Прасковьи Степановны был воин по профессии – казак из-под Гурьева. Туда он увез из Уральска молодую жену, там и оставил ее с ребенком, когда стало ясно, что красные вот-вот завладеют городом.

– Я плакала, просила его, чтобы остался, а он мне ответил: «Что же мне, из-за бабьей юбки ждать, пока у меня из спины ремней накроют?» – рассказывала Прасковья Степановна. По ее тону было ясно, что даже тогда, во время паники, ее внимание остановили не «ремни», а «бабья юбка». Оскорбление, звучавшее в этих словах, не забылось, а может быть, стало еще ядовитее от того, чего молодая женщина натерпелась потом от пьяного свекра.

– Кормиться-то нужно было, я на людей стирала, – продолжала она, по-видимому, снова переживая прошлое. – Запрუსь, бывало, в бане и стираю до поздней ночи, а он куролесит. Сколько я тогда передрожала, наверное, и сердце тогда испортила. Нет-то нет, заснет или уйдет куда-нибудь, а мы со свекровью наплачемся, наплачемся вместе... Потом ребенок у меня умер, в хозяйстве моей части не стало, а в области поспокойнее сделалось и поезда пошли. Я и уехала обратно в Уральск, стала на клиросе петь. Миша тогда из армии вернулся, тоже там пел. С тех

пор как мой муж пропал, уже четыре года прошло, мне церковный развод дали, мы и повенчались. А тут вскоре и мой первый в Уральск явился, где он пропадал это время, не знаю. Ну, мы и решили оттуда уехать.

Как и Женя, Прасковья Степановна рассказала свою историю в первый раз, как Соня пришла к ней. Они сидели в небольшой комнатке, жарко натопленной, чтобы было тепло ребенку, игравшему на полу, а маленький Боря деловито возился под столом. Боря был вылитый отец и в то же время хорош, как картинка. Чистая белая кожа с нежным, чуть заметным румянцем; небольшой, красиво вылепленный носик, большие голубые глаза под тонкими черными бровями, пунцовые губки бантиком. Если бы такие краски были не у ребенка, а у девушки, никто бы не поверил, что это все натуральное. Вдобавок Прасковья Степановна любила одевать сынишку во все белое. Даже зимнее пальтецо и шапочка были у него из мягкой белой ткани, а этот цвет очень шел мальчику. Вот и сейчас хозяйка и гостя залюбовались на Борю, когда он, выбравшись из-под стола, подошел к ним. Личико ребенка было озабочено, а на пальчике, который он выставил вперед, виднелась капелька крови.

– Нозем! – взволнованно лепетал он, подходя к матери.

– Это значит – ножом, – пояснила та, завертывая пальчик чистой тряпочкой.

– Ухитрился где-то стеклянку найти, – добавила она, наклоняясь под стол и убирая опасный предмет. Такой полазука, никак за ним не уследишь. Вот посмотрите, что у него на ногах.

Прасковья Степановна указала на яркие зеленые валеночки, из которых один был совершенно новенький, а на втором в двух местах красовались заплаты:

– Сжег было пимы. И как только ухитрился кинуть, ведь печь-то высоко. Я затопила, а сама вожусь у стола, стряпаю. Он подходит, бормочет: «Папа, мама», а я и не пойму, о чем он. Сунулась к печи, а пимауже пылает, вон какие две дыры прогорели.

1 февраля 1927 года у Бори родилась сестренка Валя, такая же блондиночка, но с темно-кариными материнскими глазами. Прасковья Степановна охотно ходила к С-вым с обоими детьми, которых там с радостью встречали. Правда, первый самостоятельный поступок Вали, когда она стала без чужой помощи передвигаться по комнате, состоял в том, что она вытащила из-под письменного стола большую бутылку чернил и вылила их в стоявшую рядом картонную коробку. Конечно, произошел переполох. Пока Соня тряпками и бумагой собирала чернила и оттирала пол, матери пришлось отмывать теплой водой виновницу происшествия, стирать и сушить ее беленькое платьице. Посещение на этот раз затянулось дольше обычного.

Глава 5 О певчих и пении

Отец Сергей имел очень хорошее мнение о Михаиле Васильевиче как человеке и сослуживце, но находил, что как регент он оставляет желать многого. Большинство прихожан разделяло его взгляд. Прихожане еще помнили «старого регента Жукова», умершего от туберкулеза несколько лет назад. В последнее время Ефим Иванович не мог долго стоять; хором управлял его сын Борис Ефимович, перешедший потом в Старый собор. Он регентовал, а отец сидел на клиросе и поднимался только в самые ответственные моменты. «И при Борисе хорошо пели, сразу как будто и незаметно разницы, – рассказывали любители пения, – а как Ефим Иванович встанет да взмахнет руками, хор будто подменяет, совсем по-другому зазвучит!»

Уж если Борис Ефимович не мог угнаться за отцом, то Михаилу Васильевичу и вовсе было до него далеко. Вдобавок не только наших приезжих, привыкших в селе к благоговейному поведению певчих, но и многих из здешних старожилов коробило то, как держались певчие на клиросе: они стояли спиной к алтарю, улыбались, перешептывались, особенно во время чтений. Регент отчаянно размахивал руками, точно все пение зависело от силы его размаха, а

так как он стоял на самом виду, то внимание молящихся отвлекалось – невозможно было не следить за его движениями.

– Михаил Васильевич, если бы вы постарались делать как другие регенты, – говорил ему отец Сергей. – Вот в Самаре, в Петропавловской церкви, есть регент. У него весь хор стоит лицом к алтарю, а он сам сбоку и чуть впереди их, вполборота, – и ему их видно, и им его. И совсем не машет руками, только чуть-чуть шевелит пальцами, да иногда бровью, а певчие поют, как хороший музыкальный инструмент. И смотреть, и слушать приятно.

– Не умею я так, – отвечал Михаил Васильевич.

Он и действительно не умел, да и не считал нужным что-то менять, находил все вполне нормальным. Сам вчерашний певчий, он в разговорах на клиросе не видел ничего особенного. Когда же ему со всех сторон начали делать замечания, он уже не мог справиться с избаловавшимися людьми. При Ефиме Ивановиче Жукове на клиросе была строгая дисциплина, при Борисе Ефимовиче она ослабела, а поступивший потом регент, о котором составилось мнение, что он неверующий, и совсем распустил певчих. И уж, конечно, не Михаилу Васильевичу с его мягким характером было взять хор в руки.

Связывало его и то, что певчие с хорошими голосами при первой же попытке призвать их к порядку фыркали: «Уйдем в Старый собор». Там, правда, им не было такой свободы, они не были там единственными и незаменимыми, но грозить – грозили, а некоторые даже выполняли угрозу. С этим тоже приходилось считаться.

Чуть ли не основная беда Михаила Васильевича как регента состояла в том, что он не мог добиться подчинения от собственной жены. Свое первенствующее положение в домашней жизни она перенесла и на клирос. «Главный регент» – язвительно звали Прасковью Степановну обиженные ею певчие, а за ними и все прихожане. Неплохая женщина, хорошая семьянинка и хозяйка, благодаря привычке командовать мужем, она потеряла чувство такта и на клиросе сделалась нетерпимой и несправедливой. Частенько, не стесняясь тем, что это видит вся церковь, она настаивала на исполнении именно тех вещей, которые нравились ей, пела все лучшие партии, загирая других дискантов. Особенно обидно было невестке отца Александра, Жене Моченовой, обладавшей удивительно красивым голосом, мягким, но не очень сильным. В хору резковатый, громкий голос Прасковьи Ивановны совершенно заглушал ее, а солировать ее не допускали. Дело дошло до того, что вмешался церковный совет и потребовал, чтобы Жене дали исполнить соло «Ныне отпускаеши». Когда начали готовить «На реках Вавилонских», только благодаря вмешательству того же церковного совета дискантовая партия была отдана Жене. Молящиеся получили незабываемое наслаждение. Чистый, серебряный голосок Жени, с глубоким чувством повторявший: «Аще забуду... Забвена буди...», вызывал слезы на глаза; как будто слышалось пение самих иудейских пленников. Мне он слышится и теперь, спустя сорок лет.

В известной мере Прасковью Степановну оправдывало то, что она действительно любила пение. Некоторые песнопения она исполняла так, что ее приятно было слушать. Когда она пела «Благословлю Господа на всякое время» за Преждеосвященной литургией или «Реку Богу: заступник мой еси», голос ее терял обычную резковатость и звенел неподдельной искренностью.

Были удачи и вообще в репертуаре хора. Прежде всего «Святой Боже» угорского распева, которую с искренним удовольствием слушала даже Соня, особенно тяжело переживавшая переход «от греческого пения к итальянскому», как определил отец Сергей. Хорошо, со вкусом, которого не хватает многим более видным хорам, пели «С нами Бог» – крещенские песнопения и прокимен «Море виде и побеже». Да и «На реках Вавилонских» с Женей Моченовой производило сильное впечатление.

Правда, о последнем отец Сергей говорил, что он значительно выиграл бы, если бы вместо бесчисленных повторений на разные лады каждой фразы из них взяли бы только по одному

наиболее сильному варианту И добавлял: «А камней-то скольки навалили, это уже совсем лишнее!.. Теряется чувство меры, основным звучанием становится не скорбь, а жестокость».

Отец Сергей горячо любил пение и, несмотря на эти недостатки, вместе с Костей старался не пропускать ни одной спевки. Возвратившись, он иногда с удовольствием напевал понравившуюся ему мелодию, а иногда комментировал: «Марш какой-то!» И, расхаживая по комнате, наглядно доказывал, что под эту музыку очень удобно маршировать. А однажды пропел фразу из песнопения (не буду указывать из какого, чтобы не смутить тех, которые его услышат) и спросил Юлию Гурьевну и Соню: «Что это?»

– Что-то очень знакомое, но что, не могу припомнить, – ответила Юлия Гурьевна.

Отец Сергей еще раз пропел мелодию уже без слов, а затем со словами, «переводя на русский язык»: «Ле-он мо-ой, ле-ен!» – и добавил с горечью: «Вот чем нас потчуют новые-то, модные композиторы!»

– Как много значит в церковном пении правильный темп, – говорил он в другой раз. – А у нас то торопятся, чуть не захлебываются, слова не выговаривают, особенно на левом клиросе, то, как воз в гору тащат. Некоторые регенты, особенно второстепенные и третьестепенные, медленность и вычурность считают торжественностью. Чем больше праздник, тем больше они стараются насовать всяких концертных «номеров» с бесконечными, а часто и бессмысленными повторениями одних и тех же слов. Затянут службу, а потом начинают пропускать стихиры, не считаясь с тем, что некоторым стихирам, по их содержанию, цены нет. Понравилось им это «Ныне отпускаеши»! Я прошлый раз по часам заметил, ровно пятнадцать минут пели. Сколько стихир можно бы пропеть за это время, если бы не увлекались итальянщиной! Эти все сложные «херувимские» да «Отче наш» – «птички» хороши для духовных концертов, какие устраивались раньше во внебогослужебное время, а не для самого богослужения. На концерте можно полюбоваться и голосами певцов, и искусством, с которым они справляются с разными, чуть не оперными, фокусами. А за богослужением нужно другое, нужно, чтобы пение создавало и усиливало молитвенное настроение – его «птичкой» не достичь. Наши лучшие духовные композиторы – Иоанн Дамаскин, Косьма Маюмский знали этот секрет, и лучше их гласовых напевов ничего не придумаешь. А у нас в последнее время привыкли гласовое пение считать за ничто. Какие-то деревенские регентишки и хоришки и то норовят петь «понотно» (хотя в нотах почти ничего не смыслят), а так называемое «простое» пение оставили левому клиросу. А оно, кстати сказать, совсем непростое, далеко не всякий хор сумеет как следует исполнить его, не подменяя всякими «приторными» и тому подобными распевами. Конечно, если ноют два старика да три старухи, хорошего не получится, а когда на него, хотя бы и в селе, обращено должное внимание, то споют так, что заслушается. А вот у епископа Тихона в его миссионерской школе пели по-единоверчески молодые звучные голоса, куда до них нашему хору! И в семинарии у нас, бывало, все больше гласовое пели, нотного очень мало, и только настоящих церковных композиторов вроде Архангельского, а сколько людей приходили слушать!

– Да, я тоже очень любила семинарское пение, – подтверждала Юлия Гурьевна, – очень любила туда ходить. Да и вообще мне больше нравится мужское пение.

– Это еще новый вопрос. Женские голоса по природе резкие и страстные, они заглушают мужчин. Чтобы они не преобладали в хоре, а украшали его, женщины должны составлять примерно четвертую часть поющих, а в современных хорах бывает наоборот – мужчин четвертая, а то и пятая часть.

На квартиру к новому батюшке частенько заходил по-соседски один из церковных попечителей, Григорий Амплеевич Калабин, маленький, худенький и очень горячий старичок. Как-то так получалось, что он почти всегда попадал во время обеда.

– Садитесь к столу, Григорий Амплеевич, – приглашали его.

– Спасибо, не хочу, – солидно отвечал он. – Сейчас только пообедал. Щи с горохом ел.

Он брал стул и усаживался чуть поодаль от стола, аккуратно устроив между ног довольно увесистую палку.

Разговор начинался с текущих соборных дел, переходил на воспоминания о недавнем прошлом, снова возвращался к собору и т. д. Григорий Амплеевич был ярким противником обновленчества, в 1923 году вместе с другими членами церковного совета привлекался к суду за сопротивление, оказанное уполномоченному ВЦУ, и очень любил об этом рассказывать.

– Ведь оправдали нас, – говорил он. – Значит, и суд согласился, что по-другому мы не могли поступить. А что же было, терпеть, когда Варин к нам в собор лез? Мы замок навесили, а он со своими явился, хотели ломать. Тут, конечно, народ сбежался, попечители пришли, не дали. Я вот этой палкой!..

Его глазенки возбужденно блестели, палка внушительно стучала об пол, убедительно подчеркивая наиболее острые моменты рассказа. С языка, по адресу Варина, с силой срывались эпитеты: «чубук»... «лоскут»... – самые резкие выражения, которые позволил себе употребить маленький попечитель. Можно было поверить, что противники у Варина оказались не из смиренных.

Григорий Амплеевич стоял в церкви на левом клиросе, подпевал там дискантом, как его когда-то учили в школе, и имел свой идеал церковного пения. Он не забирался в дебри теории, а рассуждал попросту, требовал, чтобы пение было «церковное, а не как в театре», и чтобы певчие ни своим поведением, ни самым пением не нарушали церковного благочиния.

– Не могут начать сразу! – горячился он. – Священник возглас даст, а они «докают» да «микают», камертон разогревают.

Эта привычка не беспокоиться о непрерывности богослужения, задавать и перезадавать тон иногда в самые важные моменты, даже во время Евхаристийного канона, волновала и отца Сергия. Еще больше его возмущало то, что даже в эти моменты регент и певчие считаются только с собой, по собственной фантазии выбирая то очень быстрый, то очень медленный напев.

– Во время Евхаристийного канона, хотя бы и не сам служил, хочется сосредоточиться, углубиться, – говорил отец Сергий, объясняя, почему не выходит в это время исповедовать. Он и в селе перестал руководить хором отчасти для того, чтобы не рассеиваться. – А то читаешь тайные молитвы и прислушиваешься, как певчие такую-то и такую-то ноту возьмут.

В селе он мог не следить за пением, знал, что певчие возьмут нужный темп и кончат одновременно с ним, а если поторопятся, то и повторят последние слова. А здесь?

– Я евхаристийные молитвы читаю, в это время все должно идти по порядку, в привычном ритме, чтобы не нарушалось молитвенное настроение, – жаловался он. – А тут читаешь и слышишь, что на клиросе молчат – спели что-то быстрое и меня поджидают. Тут невольно начинаешь нервничать, торопиться. А то еще хуже, дойдешь до самого важного момента, скажешь начало стиха, нужно возглашать «Приимите, ядите!», а певчие все свои рулады выводят. Вот и сохрани тут молитвенное настроение перед самым Пресуществлением!

Он ненадолго замолкал, чтобы дать почувствовать серьезность сказанного, особенно если его собеседником был Михаил Васильевич, потом продолжал:

– Рассказывали про митрополита Филарета Киевского¹⁰², что ему однажды пришлось служить в присутствии императора Николая Первого. Придворные перед началом шепнули митрополиту, что, мол, его величество торопится, нужно кончить литургию за час. А он два прослужил и на сделанное ему замечание ответил: «В присутствии Царя Небесного я не могу помнить о земном». Знаете, что Николай Первый из себя представлял? А вы хотите, чтобы я к певчим приравнивался!

¹⁰² Филарет (Амфитеатров, 1779–1857), митрополит Киевский и Галицкий (1837).

По поводу какого-то такого «Господи, помилуй», в котором сопрано выделяет замысловатые коленца, один слушатель высказался так: «Посмотрел бы я, как она запоет «Господи, помилуй», когда смерть пред собой увидит; пожалуй, забудет все эти выкрутасы-то».

Глава 6 Новоселье

Едва квартира была приведена в порядок, устроили новоселье. У отца Сергея собралась та же компания, которая была на поминках у Моченевых, только Михаил Васильевич на этот раз явился «со своей Панюркой». Они вместе с диаконом Медведевым пришли первыми. Михаил Васильевич хозяйским взглядом окинул знакомую комнату. Она совершенно изменилась – трюмо, фисгармония, книжный шкаф, небольшой красивый буфет, какие были в моде, когда отец Сергей женился, портреты его родителей на стенах. Но чего-то не хватало – исчез корявый, полузасохший фикус, который раньше занимал середину комнаты.

– А где же древо жизни? Выбросили? – спросил Михаил Васильевич, здороваясь.

Диакона Федора Трофимовича заинтересовал японский лакированный альбом, лежавший на столике перед трюмо. Мальчики, приехавшие на каникулы из села Приволжье, где они учились, подсели к нему, и Костя начал объяснять, кто изображен на фотографиях. Евгений Егорович С-в... он же с женой... Юлия Еурьевна. Отец Сергей с женой вскоре после рукоположения, еще с короткими волосами и пушком вместо бороды. Братья обоих супругов в студенческой и военной форме. Юлия Еурьевна с двумя красавцами-сыновьями. Отец Сергей, вернее, маленький Сережа С-в, то один, то с братьями, то на руках у матери... Федор Трофимович перевернул еще один лист; с небольшой «визитной» фотографии на него взглянуло юношеское лицо с задумчивыми глазами и светлыми волосами. Федор Трофимович перевел взгляд с фотографии на Костю, потом на фотографию, опять на Костю и сказал чуть-чуть укоризненно, словно тот хотел его обмануть: «Да это и не ты!»

– Не я, – подтвердил Костя. – Это папа.

– Похож ты на отца. Я сначала подумал, что ты.

В прихожей хлопнула дверь. Вошли Жаровы, и следом за ними сразу четверо Моченевых. Жаровы, как и в прошлый раз, были принаряжены. Димитрий Васильевич в новеньком костюме, Женя – в светлой шелковой кофточке и высоких сапожках с пуговицами. Эти сапожки из дорогой кожи, на белой шелковой подкладке, Димитрий Васильевич недавно купил за 35 рублей и уже хвастался ими перед сослуживцами. Михаил Васильевич тогда сокрушался; что не имеет возможности подарить такие своей жене, а отец Сергей возмущался:

– Отдал за сапожки чуть не весь месячный заработок! Конечно, им родители помогают, и те и другие, да не в том дело. Если и средства позволяют, недопустимо бросать такие деньги на наряды.

Все гости, за исключением матушки Моченовой и отца диакона, не переступавшего в своих музыкальных познаниях за пределы церковных служб, были певцами. Они заинтересовались грудой нот, лежавших около фисгармонии, и после молебна и обеда занялись ими. Там было несколько тетрадей с партитурами опер, кипа различных печатных нот, но больше всего рукописных, оставшихся от того времени, когда квартиру С-вых каждое лето наполняли музыкальная молодежь, братья и сестры хозяев.

– Споем? – предложил кто-то из гостей. – Отец Сергей, найдите что-нибудь хорошенькое!

Отец Сергей порылся в нотах и вытащил четыре тоненькие тетрабочки:

– Вот! Полностью все голоса сохранились! Знакомо ли это вам? «Дай добрый товарищ, мне руку свою».

– Знакомо. Хорошая вещь! – потеплевшим голосом отозвался отец Александр.

Молодежь была не настолько осведомлена, но Прасковья Степановна смело взяла тетрадь с надписью «Дискант». К ней подошла Женя Моченева. Женя Жарова, единственный альт, получила свою тетрадь в единоличное пользование, мужчины сгруппировались у двух других. Отец Сергей, знавший теноровую партию наизусть, приготовился аккомпанировать. Но пение не пошло. Мелодия оказалась красивой, но довольно трудной, а молодежь не привыкла петь с листа, без подготовки. Все-таки им не хотелось отступать, и, когда батюшки отошли, они продолжали перебирать ноты, пробовали спеть то одно, то другое.

– А ваши дети не поют? – спросила Софья Ивановна Моченева, заметив, что дети хозяина присоединились к сидящим за столом.

– Нет, не поют. И желание есть, да певческих данных нет.

Отец Сергей не стал подробно распространяться о том, что являлось его больным местом. Когда-то давно он много пел с детьми и убедился, что певцами они не будут. Поэтому он не стал тратить дорогого времени на обучение их теории пения, а все свободные часы употреблял на другое – занимался с мальчиками богословскими предметами, необходимыми будущему священнику. В надежде на то, что его сыновья пойдут по этому пути, он еще в Острой Луке требовал, чтобы они вставали на клирос, читали и пели там, на практике знакомясь с Уставом и гласовым пением. Миша выполнял это без особого энтузиазма, зато Костя с большой готовностью, но у него была слабая грудь, заставлявшая опасаться туберкулеза, и петь ему было трудно. Соня в епархиальном училище начала было учиться пению и музыке, но все заглохло, когда ее в 1917 году взяли из третьего класса. Миша одно время увлекался скрипкой. Отец Сергей по случаю купил ему недорогой инструмент, чтобы неопытный музыкант не испортил тона хорошей скрипки, и вскоре они вдвоем уже исполняли несложные скрипичные дуэты и украинские песенки. Потом бурей налетели события 1923–1925 годов и направили мысли в другую сторону. Теперь пределом музыкальных знаний всех четверых являлось умение одним пальцем наиграть на фисгармонии любимую мелодию.

Должно быть, Софья Ивановна поняла, что крылось за ответом отца Сергея, потому что добавила: «Наташе самое время вставать на правый клирос, начинать учиться петь».

Конечно, отец Сергей и сам уже думал об этом. Именно в таком возрасте начинало большинство певчих. Если бы она стала сейчас петь, возможно, что и голосу ей развился бы и она постепенно научилась бы разбираться в нотах, хотя бы вот так, как эти молодые певчие. А еще чему научилась бы она там? Болтать, считать из всей службы заслуживающим внимания одно нотное пение? И он сказал:

– Пусть лучше учится молиться.

Точку зрения отца Сергея неожиданно поддержали давнишние, почти забытые знакомые Юлии Гурьевны, сестры Кильдюшевские, из которых младшая, Александра Михайловна, была ее одноклассницей по епархиальному училищу, а вторая, Людмила Михайловна, одноклассницей ее старшей сестры, Ольги Гурьевны. Самая старшая, Аполлинурия Михайловна, была одной из старейших самарских епархиалок. Она окончила училище во втором выпуске и сразу же, еще совсем молодой девушкой, была назначена классной дамой в том классе, где учились ее сестры и Юленька, а впоследствии много лет была начальницей своего родного училища. В свое время все сестры пели в хоре, сначала там, потом в тех селах, где жили. Лучшей певицей считалась Александра Михайловна, которая даже была солисткой в епархиальном училище. И именно она отчетливо выразила свое «еретическое» отношение к хору, с которым соглашались все сестры.

– Ведь это мы только когда стояли на клиросе, считали, что принесем кому-то пользу, если разучим новый концерт, – вспомнила она, – а теперь я вижу, что мы делали это для себя. Нам самим было приятно и лестно сознавать, какие трудные вещи мы научились петь. А слушателям, вроде меня теперь, гораздо дороже простое пение, под него легче молиться. И Наташе нечего делать на клиросе.

Последняя сестра, Юлия Михайловна, была года на два старше Александры Михайловны, ей было под семьдесят лет. Это была очень красивая старушка с волнистыми серебряными волосами и большими кроткими глазами. Она единственная из сестер выходила замуж. Ее мужем был монастырский священник отец Павел Смеловский. В прошлом году сестры, сложив свои маленькие средства, приобрели при его содействии домик в городе. Тогда еще, познакомившись с отцом Сергием, они передавали приветы и поклоны Юлии Гурьевне и с нетерпением ожидали ее приезда. Осенью отец Павел умер, едва успев отремонтировать домик и перевезти в него жену и своячениц. Осиротевшие старушки ждали Юлию Гурьевну так, словно надеялись новым знакомством отчасти возместить недавнюю утрату. Действительно, скоро между семьями установились близкие, почти родственные отношения.

Юлия Гурьевна гораздо спокойнее отнеслась к предстоящей встрече с подругой детства, но это сближение оказалось приятным и полезным и для нее, давая ей возможность отвлечься от домашних забот и волнений. Оно даже в какой-то мере смягчало ее тоску о детях.

Каждый год она месяца на два, на три уезжала из дома и гостила у дочери, сына и сестры. Дети не раз уговаривали ее остаться у них навсегда, но она возвращалась туда, где чувствовала себя более необходимой. Однако, считая своим домом дом зятя, она сильно скучала о детях, беспокоилась, если долго не получала писем.

– Что-то Санечка (или Миша) не пишет, – упоминала она сначала вскользь; через день-два заговаривала об этом настойчивее, а еще через некоторое время ее беспокойство переходило в настоящую тревогу.

– Что-нибудь случилось с ними! – волновалась она. Заболели. У Миши грудь слабая, не дай Бог, воспаление легких! А Санечка постоянно в поле, и до лаборатории далеко ходить, долго ли простудиться!

Письмо приходило, когда тревога достигала наивысшей степени, и это повторялось с такой регулярностью, что Соня, успокаивая бабушку, уверенно говорила о ее волнении как о следствии передачи мыслей на расстоянии.

– Они начинают подумывать, что пора бы написать письмо, – убеждала девушка, – а вы в это время начинаете думать, что давно их не получаете. Может быть, происходит и наоборот – сначала вы подумаете и тем у них пробудите первую мысль о письме. Только едва ли и они обладают такой же способностью воспринимать мысли. Эта мысль приходит все чаще, но все что-то мешает, наконец они садятся писать, а у вас поднимается беспокойство – заболели. А когда письмо опущено в ящик и уже приближается, вы места себе не находите. И вот наконец...

С этой теорией был согласен и отец Сергей. Иногда он даже командовал дочери: «Ну-ка, Соня, запиши, какое сегодня число. Бабушка начала беспокоиться». Скоро приходило письмо, дата которого была очень близка к записанной. Полученное письмо Юлия Гурьевна перечитывала несколько раз, обсуждая все его подробности, без конца рассматривая новые фотографии. А в свободное время она доставала свой толстый семейный альбом и небольшую шкатулочку, обтянутую потертым зеленым бархатом, где хранились самые мелкие фотографии, тихо рассматривала их. Когда очередь доходила до маленькой карточки, с которой смотрели обрамленные зимними шапками детские личики двух ее самарских внуков, она слегка улыбалась: ей вспоминалось определение, сделанное одним островским попечителем. Он пришел к отцу Сергию в то время, когда Юлия Гурьевна, любуясь только что полученным снимком, сказала, что малыш Вова выглядит тихоньким, будто и не он.

– Что, разве озорковатый? – спросил Василий Максимович, с интересом заглядывая через ее плечо. – А взгляд-то хозяйственный.

Глава 7

Домашние заботы

На Святки Кильдюшевские в первый раз пришли к Юлии Гурьевне и были встречены необычным образом. Двери квартиры были открыты, из них полз едкий дым с запахом горелой краски, а посредине выходящей в прихожую двери спальни виднелось черное, вздувшееся пузырями пятно.

Произошло вот что: ожидая редких гостей, Соня поскорее прибежала из церкви, натаскала полную прихожую бурьяна-чернобыла, которым отапливалась половина города, растопила печь и пошла в кухню ставить самовар. Когда она выглянула, бурьян пылал. От напора воздуха печная дверца открылась, пламя «вымахнуло» в комнату и подожгло приготовленный запас. Хорошо еще, что девушка была в кухне и могла схватить ведро воды и быстро ликвидировать начавшийся пожар; если бы она отошла в какую-то из двух других комнат, дело могло кончиться хуже.

Кто знает, если бы в этой массивной изразцовой печке вместо нескольких корзин чернобыла сжигать столько же охапок хороших дубовых дров, может быть, в квартире было бы тепло. Но в степном безлесном городке дрова были редки и дороги; русские печи топили кизяком, а голландки – соломой, подсолнечными стеблями и вот этим чернобылом. Он давал большое пламя, очень много золы и не так-то много полезного тепла; печь от него прогревалась плохо и быстро остывала; в квартире, по пословице, можно было волков морозить. Еще в спальне, где устроились все три женщины, было теплее, там имелось всего одно окно и туда выходили две стороны печки. Зато в зале, угловой комнате, открытой трем четвертям всех ветров, бушующих по широкой равнине, окон было четыре, а от печи в нее выглядывала только одна небольшая стенка возле самой двери.

Представляя себе жизнь в городе, С-вы были довольны, что вместо деревенской избы, в какой жили последние годы, они опять поселятся в более поместительной городской квартире, где можно расставить всю мебель и каждому иметь свой уголок. Общим советом даже определили, что в дальней, наиболее светлой и наиболее уютной части залы можно устроить кабинет для отца Сергия, используя в качестве перегородки фисгармонию. «Кабинет» отгородили, поставили туда кровать и письменный стол, но пользоваться им не пришлось – по температуре он ненамного отличался от сарая. Заниматься отец Сергий выходил к обеденному столу, приткнувшись около печки, сюда же поближе перетащили и кровать. Вскоре и этого оказалось мало, и он перебрался на небольшую кухонную печь. В маленькой полутемной кухоньке с окном и коридоре тоже стоял собачий холод, но печные кирпичи сохраняли на ночь небольшой запас тепла, и отец Сергий, хоть с трудом, умащивался по диагонали печки. В довершение всех прелестей, внизу, у самой печи, мирно посапывал теленок. Это превысило даже непоколебимое терпение отца Сергия, и теленка, маленькую телочку, на которую возлагались большие надежды, вскоре продали за бесценок.

Что ни дальше, все заметнее становилась правота отца Сергия, предположившего, что в материальном отношении в городе будет тяжелее, чем в деревне. В конце концов, в селе жили не только на церковный доход, но и благодаря своему хозяйству. Был небольшой посев, огород, пчелы, корова, козы и куры. Сена накашивали сами с выделенной в лугах на общих правах делянки, как и все, заготавливали в лесу дрова – переросший хворост и дубовую мелочь. Осенью, по прадедовскому обычаю, хоть и очень тяжелому для отца Сергия, он обходил село со сбором капусты, шерсти, хлеба, дополняя, таким образом, то, чего недобрал в своем хозяйстве. После этого осенью, в урожайные годы, можно было чувствовать себя обеспеченным всем необходимым «до нового».

В городе не было уверенности ни в чем. За все нужно бы платить, а сколько получают в следующем месяце, неизвестно. Еще в зимние праздники и Великим постом доход был побольше, а пройдет Троица, и клади зубы на полку на все лето. О каких-нибудь заготовках на зиму не могло быть и речи, впору хоть зимой откладывать на лето. Зимой же каждый лишний рубль съедало отопление. Не только чернобыл, но и кизяки, по-местному – пласты, покупали на базаре возами. А закрутит на недельку-другую буран, позанесет все дороги, и хоть сиди с нетопленной печью. Подвоз прекращается, отдельных смельчаков, не испугавшихся погоды, ловят еще за городом. Если крестьянин окажется упорным и не захочет продавать, пока не увидит, что делается на базаре, то за ним бежит целая толпа покупателей, и он заламывает такую цену, что этих покупателей, несмотря на мороз, в жар бросает. Вдобавок в такой обстановке некогда не только торговаться, но и посмотреть товар, и, когда привезешь покупку на двор, может оказаться, что воз только снаружи обложен приличными кизяками, а внутри – одни сырые, промерзшие крошки. Даже если покупка оказывалась сравнительно удачной, хозяин и хозяйка оценивали ее по-разному.

– Посмотри, какие я пласты купил, не поднимешь! – хвалился жене отец Александр. Матушка горестно всплескивала руками: «Саша, да тут же одна земля!»

Отец Сергей никогда не попадал впросак, покупая в селе пласты оптом на год, а то и на два. Там товар был налицо, делали для себя, а здесь с каждым возом новые сюрпризы. Впрочем, он скоро покончил с этими недоразумениями.

– Покупай сама, – предложил он дочери. – Ты бабушке помогаешь, тебе виднее, что вам нужно. Сходишь раза два-три со мной, присмотришься к порядкам, и покупай!

Новая обязанность оказалась нелегкой. Случалось, Соня ночь не спала, готовясь идти на базар, но этот небольшой опыт впоследствии пригодился ей.

Холод в квартире еще больше подталкивал поторопиться с приобретением дома. Правда, большинство новых знакомых не советовали связываться с покупкой. Квартиру все равно дадут от собора, а эти средства лучше употребить на другие насущные нужды, хоть приобрести необходимую одежду и обувь. Но у отца Сергея были свои соображения; он хотел на всякий случай обеспечить семью хоть жильем. С этой целью он еще в Острой Луке постарался приобрести избу, а теперь, продав, хотя и подешевле ее, большой амбар и еще кое-что, рассчитывал и в городе присмотреть удобный домик. Целую зиму он с Василием Ефремовичем в качестве консультанта осматривал все продающиеся дома, но так ничего и не купил. Попадались и подходящие и по цене, и по качеству, но вставал вопрос о быстрой оплате, а денег налицо не было. Если отец Александр, Михаил Васильевич и другие брали у отца Сергея от случая к случаю несколько десятков рублей, то Василий Ефремович в самом начале зимы «перехватил на недельку» чуть не половину всего запаса. Сотрудники отца Сергея только ахнули, услышав об этом, и не знали, на кого досадовать – на него ли, что он сделал такой шаг, ни с кем не посоветовавшись, или на себя, что не предупредили.

– Отдавали руками, теперь ходили ногами, – выразила общее мнение алтарница, матушка Евдокия Гусинская. – Ему никто копейки не доверяет, очень уж он на расплату тугой.

Наконец, уже в начале Великого поста, зашел Григорий Амплеевич и сообщил, что продается домик совсем рядом, за углом. Смотреть пошли всей семьей. Домик был невелик – кухня, столовая и такая же передняя комната с отгороженной в ней спальenkой; зато во дворе стоял хороший амбар, который со временем тоже можно было превратить в комнату. Цены на дома к весне начали подниматься, и особенно выбирать не приходилось. Впрочем, домик всем понравился – чистенький, заново оклеенный светло-зелеными обоями с цветочками – прием, пользуясь которым, ловкие продавцы не раз надували неопытных покупателей. А главное – чисто побеленная голландка дышала жаром, и в комнате было очень тепло.

В уплату за дом пошли и лошадь, и корова, так как от Василия Ефремовича на этот раз с трудом удалось выручить только часть долга.

Разочарование наступило очень скоро. Первую же ночь на новом месте скверно спали все, особенно Юлия Гурьевна, постель которой устроили в самом теплом уголке, в спальне. На следующий день, едва истопили голландку, обнаружилось, что чисто побеленный потолок и светло-зеленая стенка около печи покрыты большими коричневыми пятнами – это было невероятное скопление клопов. Обследовав положение, отец Сергей убедился, что единственный выход – выломать переборку вместе со светлыми обоями и, хорошенько ошпарив кипятком, выбросить все на мороз. Затем он тщательно веником смел оставшихся клопов с потолка и печки в таз с кипятком и в течение некоторого времени продолжал эту процедуру ежедневно. Была объявлена беспощадная война каждому маленькому кровопийце, выбравшемуся из своего убежища, и в сравнительно недолгий срок они были побеждены.

Зато с первого же похолодания, сменившего несколько дней оттепели, был обнаружен другой, на этот раз непобедимый враг – новая квартира оказалась почти не теплее старой. Хозяева, знавшие, когда придут покупатели, постарались к этому времени хорошенько натопить помещение, обману помог ясный, теплый день, и впечатление было создано. Только на горьком опыте новые владельцы убедились, что тепло в доме почти не держится. Все время, пока они жили тут, Юлия Гурьевна изо всех сил натапливала русскую печь, а голландку раскаляли до того, что кирпичи расходились и в щели между ними было видно гудящее, рвущееся вверх пламя. Проходило несколько часов, из горячей голландки выгребали еще не потухшую золу, ставили ее в герметически закрытом бачке на кухне к умывальнику, чтобы полностью использовать сохранившееся тепло, и начинали заново калить печь. Даже при усилиях под умывальником намерзал лед, который приходилось вырубать топором. А как-то раз под большой праздник не успели дважды истопить печь. Когда вернулись от всенощной, голландка была еще очень теплая. Вдруг со звоном лопнула бутылка, подвешенная к подоконнику, чтобы собирать стекающую с него воду, и эта вода, разлившись по полу, замерзла раньше, чем ее успели потерять.

Вдобавок летом принесли извещение – штраф и налог за скрытого от обложения жеребенка, не уплаченные старым хозяином. Напрасно было доказывать, что платить должен он, а не отец Сергей, – в финотделе значилась не фамилия, а номер дома.

Финотделу трудно было доказать и другое: там не верили декларации о доходах духовенства. «У вас даже прожиточного минимума не получается, – говорили там священникам, – как же вы живете?»

Вот именно, как живете?

У отца Сергея было примерно подсчитано, сколько откладывать из каждой получки на наиболее крупные расходы – на уплату будущего налога, на дрова и т. п. Вечером в воскресенье он приносил доход за неделю – грудку серебра и медяков и очень немного бумажек, и начинал распределять намеченные суммы по отдельным пакетам.

Нередко, прежде чем заняться этим, он спрашивал Юлию Гурьевну: «Сколько я вам должен?» Это значило, что на прошлой неделе Юлия Гурьевна на что-то тратила свои деньги, те, которые время от времени присылали ей сын или дочь. Такой долг погашался в первую очередь.

Покончив с распределением, отец Сергей клал на подоконник медяки для нищих, а оставшееся серебро сыпал в ящик стола: откуда деньги могли брать на текущие, так сказать, утвержденные расходы все члены семьи, не исключая подростка – Наташи; и можно было быть уверенным, что ни одну копейку не истратят не по назначению. При этом строго соблюдалось лишь одно правило: всякий расход записывался в лежащую тут же тетрадку, по которой время от времени проверялось – не допущено ли каких-либо излишеств.

Для характеристики того, какая строгая экономия соблюдалась во всем, можно указать, что был и еще «пакетик», куда каждое утро откладывалось по двадцать копеек за молоко. Молоко, четверть в день, брали у соседки, которая просила платить ей не ежедневно, а «кучкой». Она могла в любое время попросить причитающуюся ей сумму (два-три рубля), а эту

сумму не так-то легко оторвать от своего бюджета. Поэтому, чтобы деньги всегда были наличо, их и откладывали каждый раз, когда приносили молоко.

Понятно, что при таких скудных средствах, дети не всегда могли решиться попросить у отца пятак на семечки. Костя старался использовать для этого Наташу – должно быть, заметил, что ей, еще ребенку, легче это сделать.

Пятаки лежали в незапертом ящике. Казалось, почему бы, беря сорок две копейки на покупку пышного шестифунтового, так называемого «серого», калача, не взять и еще один пятак? Этого не делали даже не потому, что взятых без спроса денег через пару дней может не хватить на что-то безусловно необходимое; просто это было невозможно, так невозможно, что никому и в голову не могло прийти.

Несмотря на все старания, все-таки случалось, что в конце недели не на что было купить масла или керосина. В таких-то случаях Юлия Гурьевна прибегала к своему карману, после чего отец Сергей спрашивал: «Сколько я вам должен?»

Иногда Юлия Гурьевна допускала непредусмотренный расход. Существовало тонкое различие в определении степени необходимости того или иного продукта. Четверть молока каждый скоромный день – по пол-литра на человека – были необходимы, как хлеб. Осенью базар завален свежими овощами, сравнительно недорогими, и недавние сельские жители ели вдоволь арбузов и помидоров, отказаться от которых куда труднее, чем от мяса. (Кстати, к осени и доход отца Сергея немного повышался.) Керосин необходим безусловно. Вечерами дети учат уроки, и всем, детям и взрослым, вечером так хорошо работается; следовательно, экономить на освещении совершенно невозможно. Другое дело – масло, можно, пожалуй, денек-другой обойтись и без него, если денег нет. Но тут уже Юлия Гурьевна имела твердое свое мнение, которое готова была отстаивать даже наперекор уважаемому ей зятю.

Молодым организмам нужно питание (о себе она, по обыкновению, забывала), они и так сильно подорваны голодными 1921–1922 годами; это нужно возмещать – масло нужно безусловно. И она покупала на свои деньги масла, а иногда и другие покупки, которые могли показаться отцу Сергию излишними. Об этих расходах Юлия Гурьевна сообщала со смущенным видом, она немного робела перед зятем, как раньше робела перед мужем, а потом перед сыном; не потому, что они могли сказать ей что-то неприятное, а по необычайной своей кротости. Отец Сергей слегка хмурился, соображая, каким образом покрыть этот «перерасход», но сдерживался. Он никогда не забывал, что теща ради его детей делит с ними их лишения, тогда как могла бы вести более обеспеченную жизнь у одного из своих детей. Зато не раз бывало и так, что Юлия Гурьевна, истратив все свои деньги, отказывалась получить их обратно, говоря: «Пусть это будет мой расход».

Случались и экстренные затраты – починить обувь, купить что-нибудь из одежды мальчикам (девочки чаще обходились, перешивая материнские вещи). Тогда опять расплачивалась Юлия Гурьевна, но такой долг не удавалось погасить из одной получки, оплата растягивалась на несколько недель.

Чаще всего такой дефицит получался после уплаты очередного налога. Налоги росли все время; иногда среди года приносили дополнительные извещения – перерасчет за прошлое. Как ни старался отец Сергей откладывать с учетом этого обязательного повышения, действительный налог всегда оказывался больше, чем ожидали, и отложенных денег не хватало. Они давали только возможность извернуться, использовав все ресурсы, иначе положение могло стать совсем безвыходным. Получив очередное извещение, отец Сергей не спал ночь, ворочался, вздыхал, а утром говорил: «Ничего, детишки, Господь поможет, как-нибудь вывернемся». И садился подсчитывать по тетрадке расходы, чтобы решить, по какой статье еще можно сэкономить.

К чести причта нужно сказать, что, несмотря на такую скудость и денежные затруднения, которые по-своему отражались на каждом, никто не заикался о введении таксы за требы. Прихожане платили кто сколько мог, кому как позволяла совесть.

Глава 8

Сучки и задоринки

В то время, когда отец Сергей переехал в Пугачев, крупных недостатков в приходской жизни Нового собора не было, а к мелким старожилы притерпелись, или совсем не замечали их, или считали неустранимыми, вроде неправильного резонанса. Свежему же человеку, как отец Сергей, притом привыкшему совсем к другим порядкам, многое не просто бросалось, а прямо било в глаза. При своем характере он не мог смиряться даже с мелкими неполадками, а старался исправить их, найти выход; и, конечно, не мог не рассказывать дома о том, что волновало его в течение дня.

У детей не было своих отдельных знакомых, своих отдельных интересов, они жили делами и интересами отца. Он ничего не скрывал от них, делился впечатлениями, как когда-то с женой; остро анализировал характеры и поступки людей. Но это не было осуждением, наоборот, он старался понять, подойти, найти общий язык, хотя и часто бывал резок в выражении своих мыслей. Он не чувствовал бы всей полноты жизни, если бы лишился возможности вот так вновь переживать недавние события и вслух обдумывать их. «Отец Александр с Димитрием сегодня за час десять минут обедню скрутили! – взволнованно говорил он, вернувшись из церкви и вешая на место парадный подрясник. – А как скажешь? Отец Александр и то обижается, что я не хочу крестить во время всенощной. Мне же, как и любому верующему, хочется в праздник помолиться, я лучше после задержусь... так народ обижается, приучили. И псаломщики... Михаил Васильевич, тот хоть молчит, пыхтит, а Димитрий Васильевич, чуть что ему скажешь, сейчас же в амбицию вломится. То и дело с ним стычки. Настоятель-де ничего не говорит, а вы везде придираетесь. В том-то и беда, что настоятель не говорит, а мне приходится на рожон лезть».

Отец Сергей отхлебывал несколько глотков чая и продолжал: «А торопятся! В соборе с его резонансом, чтобы было разборчиво, нужно каждое слово отчеканивать, а у нас на правом клиросе тянут до невозможности, а на левом частят. Среди певчих тоже много любителей этого стиля, но все-таки главное дело в псаломщиках. Псаломщики должны руководить клиросом, подавать пример, а они сами, еще служба не кончилась, все книги в шкаф засуют, а последние слова допевают уже на ступеньках. Михаил Васильевич даже ухитрялся во время часов на базар бегать, благо базар рядом, только из ограды выйти. Я запретил, он теперь не ходит, а понял ли, что был не прав?»

Бороться с такими неполадками было тем труднее, что причиной их были не только собственные молодежи легкомыслие и небрежность; это было следствием неправильной системы, действовавшей в некоторых местах. Михаил Васильевич усвоил в певческих кругах понятие, что основой каждой службы является пение, а чтение – только малосущественный придаток, и потому считал себя вправе во время длинных чтений – часов, Шестопсалмия, кафизм – заниматься своими делами, даже совсем выходить из церкви. Много пришлось отцу Сергию поговорить и поспорить с ним и после службы, и дома, прежде чем он понял красоту и важность этих чтений. Димитрий Васильевич тоже был не просто торопыга, его так приучили, и он считал умение быстро читать большим достоинством. Еще мальчишкой, при бабушке, он бегал с братьями в Старый собор, и они хвалились одни перед другим умением без остановки прочитать сорок раз «Господи, помилуй!» Позднее монахини учили его петь с закрытым ртом, уверяя, что очень хорошо получается: и быстро, и отчетливо. Быстро – да, а уж отчетливо... может быть, в маленькой, низкой церковке у таких искусниц и можно что-то разобрать, но

только не в соборе. Зато о Дмитриии Васильевиче прихожане отзывались: «Поет читком, а читает скороговоркой».

Вдобавок в маленьких уездных городишках, чуть ли не больше, чем в областных, гордятся тем, что мы-де не кто-нибудь, а городские. Поэтому претензии какого-то деревенского батюшки учить, указывать на недостатки «городских» сами по себе казались обидными. А он продолжал вести свою линию.

– Прекратите хождение! – приказывал он, заметив, что псаломщики то и дело перебегают около горнего места с одной стороны алтаря на другую. В этом были повинны не только Жаров и Михаил Васильевич, а и другие певчие. Чтобы не сновать на виду у народа по амвону, они пользовались алтарем как коридором, по делу и без дела переходя с одного клироса на другой, или заходили в алтарь пить воду.

– Здесь вам не водопой! – возмущался отец Сергей. – Можно и потерпеть два-три часа. Терпят же ваши женщины. В крайнем случае приносите воду на клирос.

Кончалась вечерня. Отец Сергей вышел на амвон и начал читать последнюю молитву «Христе, Свете истинный...» Одновременно с этим на левом клиросе запели «Взбранной Воеводе». Так делали уже не раз, не считались с замечаниями, поэтому отец Сергей применил другой метод – остановился, дал клиросу допеть, и снова начал «Христе, Свете истинный...» Поневоле пришлось и клиросу повторить «Взбранной». Как нарочно, Дмитрий Васильевич собирался куда-то идти. Обычно в будни он ходил в потрепанной курточке с коротковатыми рукавами, придававшими ему вид длинного подростка, выросшего из своей одежды, а на этот раз был одет в парадный костюм, и около клироса его ждала жена. Было вдвойне неприятно, но препираться некогда, да и что скажешь? В глубине души приходилось сознаться, что отец Сергей прав, но недовольство его строгостью оставалось.

Как относилась к подобным случаям Женя? Гораздо чаще, чем муж, она признавала правоту строгого батюшки, открыто становилась на его сторону. То, что отец Сергей совсем не пил, внушало ей и симпатию к нему, и надежду на его помощь. До его приезда она много перестрадала, замечая, что муж частенько приходит домой «под хмельком» и что эта пагубная привычка все больше и больше овладевает им. Может быть, пока это была еще не страсть и даже не привычка, а просто по пути то и дело встречались соблазны. Предшественник отца Сергия был очень не прочь выпить, его уволили именно за этот недостаток, при нем и Дмитрий Васильевич постепенно втягивался в выпивку. Длинными зимними вечерами, ожидая возвращения мужа, Женя то и дело с тревогой посматривала в окно. «Господи, хоть бы не упал где-нибудь, а то свалится и будет лежать...»

Молодожены тогда еще не имели отдельной квартиры и жили вместе с родителями Дмитриия. Жене было там тяжело. Семья грубоватая, свекор человек властный, и притом совсем не в том роде, к которому привыкла Женя в своей семье. Заметив, что невестка то и дело подходит к окнам, закрытым тяжелыми ставнями, и, подставив стул, старается выглянуть на улицу в щель сверху, свекор прикрикивал на нее: «Долго ты тут будешь по окошкам лазать? Кончай это! Не дай Бог, придет пьяный, стукну, поучу его. По-настоящему стукну, будет знать, как бабенку мучить».

От этих обещаний Жене становилось еще больше не по себе. А что, ведь правда может стукнуть! Да еще стукнет так, что уродом сделает... А то, пожалуй, и Митя не стерпит, на отца руку поднимет... Час от часу не легче!

Когда Дмитрий Васильевич, никому не сказав, нашел отдельную квартирку, Женя не знала, радоваться ей или горевать. Конечно, ей одной будет свободнее, спокойнее, чем в семье, но ведь и Митя будет свободнее. Не перестанет ли он совсем сдерживаться?

Вскоре по приезде отца Сергия Дмитрий Васильевич вернулся домой чернее тучи.

– Этот новый протоиерей совсем невозможный человек, с ним нельзя служить, – с раздражением начал он, не успев даже переодеться.

– В чем дело? – испугалась Женя.

– Пригласили нас на поминки, – рассказывал Димитрий. – За обедом налили по рюмочке. Новый наотрез отказался. Хозяева попробовали угощать, да отступились. Хозяйка говорит: «Тогда я Димитрию Васильевичу налью», а он отвечает: «Димитрий Васильевич как хочет».

– Митенька, а ты неужели выпил? – не выдержала Женя.

– Выпил, конечно, что же тут такого? Я не алкоголик, без него понимаю, сколько мне можно. Да он сам сказал – как хочет. Немного погодя наливают по второй...

– Ну?!

– Ну, он с кем-то разговаривал. Поднял голову, да на меня и посмотрел...

Чувствовалось, что после этого взгляда рюмка встала Димитрию Васильевичу поперек горла. Тем сильнее было его раздражение против отца Сергия.

– Митенька, ты же ему за это должен быть благодарен, он же тебя добру учит, – горячо вступилась Женя. Она была рада такому союзнику и изо всех сил старалась, чтобы муж правильно воспринял его замечания.

Со своей стороны отец Сергий у себя дома тоже с большим волнением рассказывал о подобных рюмочках. «Смотрю – выпил одну, другую, потом еще... хмель начинает... И такой человек помышляет со временем стать священником! Да, он помышляет. Просил продать ему мой священнический крест. Вам, говорит, не нужно, вы наперсный носите. Я отговорился, сказал, что нужен мне крест, сын подрастает. В священники! Да он и посты-то не соблюдает, много раз я видел, как он скоромное ел...»

В отношении постов о семье Жаровых рассказывали и другое. Мать Жени вспоминала, что, будучи девушкой, Женя одна из всей семьи старалась соблюдать посты, по возможности избегая в постное время скоромной пищи. Сама мать не имела привычки поститься и говорила о постах с досадой: «Не могу я голодом сидеть, люблю хоть немного поесть, да вкусенького».

Следовательно, и в этом отношении Женя рано проявила свою самостоятельность и настойчивость, а выходя замуж, ясно видела, что над ее Митей надо много поработать, и еще неизвестно, что из него получится. Он стоял как бы на перепутье, решалась его судьба, кем он будет и куда пойдет.

Впрочем, на это, пожалуй, можно взглянуть и несколько иначе. Женя раньше всех заметила в молодом человеке лучшие черты его характера и поняла, что они могут победить, если для них будут созданы благоприятные условия. По всей вероятности, именно эта вера в него в свое время послужила причиной того, что она, вопреки воле родителей, отвергнув более блестящих претендентов на ее руку и сердце, сделала своим избранником простого псаломщика.

Гораздо раньше мужа Женя заметила, как тяготили отца Сергия их размолвки, как он старался сгладить неприятное впечатление, особенно если почувствует, что чересчур вспылит и сказал лишнего.

– Что-то у них случилось, – вспоминала однажды Женя. – Митя пришел, возмущается, я стараюсь его успокоить. Вдруг слышим в окно стук – отец Сергий. Пришел будто бы напомнить, что сегодня им предстоит всенощную на дому служить. Я, конечно, обрадовалась, пригласила его позавтракать – это еще тогда было, когда он один жил, а я как раз блины пекла, он их любил. За завтраком отец Сергий рассказал несколько случаев из своей жизни. Он интересно умел рассказывать. Смотрю – и Митя успокоился. Вот как он действовал! Почувствовал, что Митя очень обиделся, и сам прибежал мириться.

Последним и очень серьезным поводом для взаимных неудовольствий был вопрос о благословении. Простой и скромный в частной жизни, отец Сергий всегда требовал уважения к своему сану. Немного пооглядевшись на новом месте, он настоятельно предложил псаломщикам перед началом богослужения подходить под благословение к служащему священнику, как это строго соблюдалось в Острой Луке. Конечно, за отца Александра он требовать не мог, а в свою неделю настаивал. Это особенно обостряло отношения. Опять слышался аргумент

– «отец Александр не требует, а вы требуете», с прозрачным намеком на то, что деревенский батюшка слишком уж зазнается. И опять, конечно, Михаил Васильевич молча подчинился, а Димитрий Васильевич бушевал и ломал копья. Самолюбивому юноше тем труднее было исполнить подобное требование, что он и за всенощной, прикладываясь к иконе или Евангелию, ухитрился убежать, не поцеловав руки священника. Отец Сергей не допускал и этого.

Конфликт разросся до того, что Димитрий Васильевич несколько дней вообще не здоровался с отцом Сергием. Отец Сергей вздыхал, вслух разговаривал с непокорным во сне, что у него являлось признаком предельной взволнованности, а днем в алтаре, убедившись, что сказанные ранее добрые слова не действуют, по-прежнему довольно резко обрывал псаломщика. Для разговоров более подробных он предпочитал находить другое время и место, не в алтаре и не во время богослужения. Много раз он напоминал о том, с каким благоговением следует входить в алтарь и о том, что старозаветные христиане до сих пор каждое житейское дело начинают благословясь, и тем более нельзя без благословения принимать участие в церковной службе; что целуют руку не у какого-то отца Сергия, отца Александра или отца Василия, а руку священнослужителя, который этой рукой совершает Бескровную Жертву; что благословение, с его освящающей благодатной силой, нужно не столько подающему, сколько принимающему его. Словом, говорил то, что должно бы быть ясно каждому верующему, но что до некоторых не доходит за всю жизнь.

Влияние жены в какой-то мере смягчало Димитрия Васильевича, он и сам был неглупый человек и, несмотря на вспыльчивость и юношеское самомнение, был не чужд способности понять искренность своего беспокойного начальника и оценить горение его духа. Когда исчезал неприятный осадок в душе, Димитрий мысленно признавал, что большинство предъявленных ему требований не только справедливы, но и очень важны и что резкость замечаний вызывается необходимостью и, главное, ревностью о Духе Святе, стремлением, чтобы все «благоговейно и по чину».

Эти выводы давались не сразу. Раздражение, переходящее во внутреннее сопротивление, держалось долго, а для того, чтобы изменить свои взгляды и привычки, требовалась большая внутренняя ломка. В душе юноши происходил сложный процесс, разрушающий много старого и создающий новое. Этот процесс совершался крайне медленно, незаметно. Однако пришло время, когда отец Сергей, говоря о псаломщиках, употребил новую формулировку: «Их можно сравнить с евангельскими братьями, из которых один сказал „пойду“ и не пошел, а другой отказался, а потом пошел, – определил он как-то. – Михаил Васильевич на замечания отмалчивается, выполняет, но, пожалуй, без внутреннего согласия, только потому, что требуют, а когда есть возможность, постарается и не выполнить. Димитрий Васильевич, тот вспыхнет, нагрубит, а через некоторое время не только сам начинает делать, как я говорил, а и другим указывает».

Глава 9

Как обтираются углы

Многим работавшим в каких-либо учреждениях приходилось наблюдать, как их начальники с трудовой книжкой и характеристикой в руках обсуждают кандидатуры на вакантную должность:

– Сильный работник! Такому и то, и то можно доверить, с чем прежние не справлялись, и по объему работы больше сделает, и по качеству. По всему видно – человек энергичный, знающий и с размахом. Но... на самостоятельной работе долго был, такие подчиняться не любят, по-своему норовят повернуть...

Непосредственный начальник кандидата может еще добавить про себя: «И опасный соперник». И документы сильного работника возвращаются с извинениями, а на свободное место берется другой, которого нельзя заподозрить в излишней самостоятельности.

Отец Александр Моченев не побоялся назначения на второй штат человека, имевшего двадцатитрехлетний стаж самостоятельной работы и репутацию непримиримого, а отец Сергей был готов к тому, что на новом месте придется подчиняться. Неизбежные на первых порах разногласия и недоразумения не заставили ни одного из них забыть о больших достоинствах другого. Никогда не было и соперничества, боязни, что другой затмит его, заслужит большую любовь прихожан. Наоборот, оба они, как своему, радовались каждому успеху другого, каждому проявлению его высоких качеств. Конечно, это в первую очередь относилось к Моченеву, который имел уже в городе определенный, установившийся авторитет и с интересом и сочувствием наблюдал за первыми шагами нового сослуживца.

Несмотря на это, их отношения оставались сложными, и нужно было много такта и терпения с обеих сторон, чтобы мелкие неудовольствия не испортили добрых отношений между ними, перешедших впоследствии в большую дружбу.

Нельзя сказать, что у отца Александра был слишком мягкий характер. Он, когда считал нужным, умел поставить на своем, но предпочитал жить со всеми в мире. Этим в значительной степени объяснялось и то, что он обходил молчанием, «не замечал» тех неполадков, которых отец Сергей не мог оставить без внимания. Но если отец Сергей часто был недоволен таким благодушным молчанием, если его задевало, когда отец Александр позволял себе во время службы посторонние разговоры или слишком быстро заканчивал будничную службу, то у отца Александра тоже были поводы к неудовольствию. Это, прежде всего, уже упомянутый отказ отца Сергия крестить во время всенощной.

В Пугачеве, кроме деления всего города на приходы, относящиеся к той или другой церкви, существовало еще деление внутри прихода. Если нужно было идти на дом к прихожанам, причащать больного, выносить покойника, служить молебен или панихиду или совершать другие требы, то одни улицы обслуживал настоятель, а другие – второй священник. В церкви служили понедельно, но случалось, что кто-нибудь просил заменить его и потом отслуживал на другой неделе. Так получалось, что отец Александр иногда служил с Жаровым, а отец Сергей – с Емельяновым. В церкви требы совершал очередной. Впрочем, оба священника часто бывали в церкви и в свою свободную неделю помогали в алтаре или на клиросе, исповедовали. Исполнение этой обязанности во время службы особенно тяготило отца Сергия.

– Всегда мы приходим в церковь заранее, – говорил он. – Кажется, те, кто готовится к причащению, тоже могли бы прийти пораньше, исповедаться до службы, а потом стоять и молиться, не отвлекаясь. Так нет, только приближается самая важная часть богослужения, хочется сосредоточиться, углубиться – обязательно подходит сторож: пришли опоздавшие или намеренно задержавшиеся, «чтобы после исповеди не согрешить». И опять нужно идти погружаться в грязь...

При крестинах тем более люди не связаны определенным временем, неужели нельзя прийти на полчаса пораньше?!

С крестинами вошло в обычай приходиться во время всенощной, какой бы праздник ни был. Нередко случалось, что, едва кончали крестить одного ребенка, как приносили другого. Если была неделя отца Сергия и он служил, отец Александр покорно шел крестить, если же служил Моченев, а так всегда бывало по большим праздникам, то отец Сергей предлагал дожидаться конца всенощной. Кумовья обижались и ворчали, а главное, обижался Моченев. Отец Александр вообще-то не часто делал замечания, тем более он не использовал своих прав настоятеля по отношению к своему ближайшему сотруднику, но заметно бывал очень недоволен. Обычно при встрече с людьми его большие глаза ласково смеялись, а благодушная улыбка и все его существо как бы излучали свет доброжелательства, и отец Сергей очень переживал, когда

этот свет потухал. Хуже всего было, что внешне дело выглядело так, будто он не хочет помочь старшему товарищу. В конце концов пришлось идти на компромисс – крестить во время первого часа. Прихожане постепенно привыкли к этому порядку и стали приходить с крестинами к концу службы, так что выиграл и отец Александр.

Зимой крестили в строжке, а весной, когда здание прогрелось, – в самом соборе. Это вносило дополнительные неудобства – две службы мешали одна другой.

– Василий Ефремович, – говорил отец Сергей казначею Козлову, тому самому, который приезжал для переговоров в Острую Луку, – как бывший подрядчик, не сумеете ли вы придумать какую-нибудь перегородку в правом углу, где крестят? Можно бы сделать между колоннами легкие раздвижные стенки, вроде ширмы или ворот; на передней можно бы даже нарисовать что-то вроде иконостаса и повесить несколько настоящих икон. Тогда сзади отделится большая комнатка, чтобы детский плач не мешал молящимся, а хор не заглушал нашего пения. А по окончании крестин эти стенки можно бы сдвигать, чтобы не занимали места, особенно в большие праздники.

Василий Ефремович был достаточно изобретателен. Перед последним ремонтом храма он соорудил высокую, передвигающуюся на деревянных катках лестницу с площадкой наверху, с которой легко было красить стены и обметать пыль. Если бы он заинтересовался мыслью отца Сергия, он, вероятно, сумел бы что-то придумать, но мысль показалась ему странной – он не замечал неудобств установившегося порядка. Поэтому он ответил не раздумывая, что ничего нельзя поделывать, для этого нужно долбить стену и колонну, будет стоить очень дорого. План провалился. А могла бы пугачевская крестильня оказаться одной из первых!

Хотя отец Сергей и говорил, что псаломщики должны быть хозяевами на клиросе, но сам же признавал, как трудно стать там хозяином новичку Михаилу Васильевичу, а тем более Димитрию Васильевичу, которого певчие помнили еще мальчишкой, да и сейчас считали почти таким же. А на левом клиросе годами стояли солидные мужчины, по большей части члены церковного совета, привыкшие, чтобы с ними считались не только в церкви, но и в городе. Все они, правильно или неправильно, считали себя знатоками церковного пения и Устава, и незаменимыми украшениями хора...

Аборигенов левого клироса заинтересовал новый священник, избранный несмотря на то, что отказался приехать на пробу. Интерес был чисто профессиональный. Тогда, на собрании, говорили о разных его качествах, заставивших предпочесть его другим кандидатам. Многим понравились слова, которыми он обосновал свой отказ и которые в точности передал Василий Ефремович: «Я не цыган, чтобы меняться приходами, и не цыганская лошадь, чтобы меня „пробовали“. Я считаю, что обручился с церковью, к которой назначен, и не нахожу возможным переходить в другой приход без приказа епископа».

Все это хорошо, а все-таки как он служит?

Первое впечатление оказалось не в его пользу. После громкого, хотя и пропитого баса его предшественника, рядом с мягким, сочным баритоном и внушительной фигурой Моченева, его голос показался слабым, а манера служить – слишком простой, не эффектной.

– Ничего особенного, – пожимали плечами представители общественного мнения.

Михаил Васильевич откровенно улыбнулся, когда отец Сергей, рассказывая, как его провозжали в Острой Луке, упомянул о сожалениях некоторых прихожан: «Такого соловья больше не услышим!»

Подумаешь, соловей! Михаил Васильевич охотно признавал, что в молодости, когда отец Сергей только приехал на приход, голос его был значительно лучше и сильнее, но это было когда-то. Теперь человеку шел сорок пятый год, и по его рассказам видно, что ему пришлось много испытать, а тенор – такой нежный, капризный голос! Хорошо, что хоть частичка осталась!

Трудно показать свой голос и уменье, когда приходится только давать возгласы. Но вот однажды, в пятницу, когда у диакона был выходной, отец Сергей служил один. Служил так, как когда-то в селе, не подчиняясь хору, а ведя его за собой, даже сделал свой обычный переход с одного тона на другой, когда начинал ектению об оглашенных. Этот переход так любили в Острой Луке; кроме своей музыкальной красоты он пробуждал внимание молящихся, ослабленное однообразным ритмом предыдущих прошений, заострял его на новом и важном моменте. Но главное, что произвело впечатление на слушателей, было чтение Евангелия. Отец Сергей не одобрял излюбленную многими диаконами и чтецами Апостола манеру начинать на самых низких, едва доступных голосу нотах, причем в начале чтения слова сливались в сплошной, невнятный гул, а под конец из горла вылетали резкие, дребезжащие звуки. Он начинал своим обычным голосом и читал отчетливо, просто, без декламации, но как бы вкладывая каждое слово в уши и сердца слушателей. Постепенно и вполне естественно, без напряжения, голос его начинал повышаться и четко и свободно поднимался вверх, почти до самого своего предела.

Но так как отец Сергей хорошо знал этот предел и не доходил до него, может быть, на каких-то полтона, то казалось, что этого предела и нет и что, продолжай он читать еще полчаса, его голос так и будет лететь ввысь, придавая особую лирическую прелесть произносимым им словам.

Любители церковных служб были покорены. «Вот это да!» – восхищенно произнес один из певчих, выражая этой короткой фразой чувство слушателей. Это было признание.

Когда отец Сергей еще только начал вставать на клирос, там к нему отнеслись со сдержанным недоверием – деревенский, что он понимает! Да он и не старался лезть вперед; он стоял, пел и прислушивался. И скоро убедился, что на клиросе достаточно неплохих голосов, есть и хорошие, но нет руководителя и потому нет хора. Начинать пение не умеют. Еще Михаил Васильевич в свою неделю может, как регент, задать правильный тон, и, оказывается, он неплохо знает гласовые напевы, а без него некому. Каждый запекает самостоятельно, и если выйдет дружно, так выйдет, а не выйдет, победит тот, у кого сильнее легкие.

– Руководитель должен учитывать возможности каждого певца, – говорил отец Сергей дома семейным или новым знакомым, чаще всего тому же Михаилу Васильевичу. – Сам он должен нести мелодию, т. е. теноровую или дискантовую партию. Если запекает бас или альт, другим очень трудно попасть в тон, да иногда, как запекают здесь, и не по силам – слишком высоко или слишком низко. Воту Димитрия Васильевича вырабатывается прекрасный голос, но петь он не умеет, он не поет, а подпевает (об этом, конечно, при посторонних не говорилось). А ведь у него альтище... запоет, унесется под небеса, а остальные справляйся, кто как может.

Выждав момент, отец Сергей запекал сам. Сначала никто, кроме разве Михаила Васильевича, не заметил его вмешательства. Чувствовалось только, что на этот раз всем легко петь и хорошо получилось. Потом обратили внимание – деревенский-то, оказывается, кое-что понимает!

Наконец, однажды Михаил Васильевич тихонько назвал «Херувимскую», которую собирался запеть, а отец Сергей так же тихо предложил: «А что, если спеть простую?»

Михаил Васильевич смущенно кашлянул, видно, не был уверен в себе, и ответил: «Может быть, вы запоете?»

«Простая» «Херувимская» понравилась и вошла в употребление.

Позже, когда в город уже вернулся епископ Павел, он однажды должен был служить в какой-то небольшой праздник среди недели. Многие певчие работали и не могли прийти. Тогда представители церковного совета явились к епископу и к отцу Сергию с просьбой – пусть отец Сергей не служит, а поет на правом клиросе басовую партию. При небольшом хоре он и это мог. «Я ведь партитурой пою», – шутил он по этому поводу.

Признание признанием, а борьба по разным поводам продолжалась – не такие люди стояли на левом клиросе, чтобы беспрекословно подчиняться кому бы то ни было. Правда, борьба эта, что ни дальше, становилась менее напряженной.

Великий пост. По городу разносится медленный, печальный звон. В церкви – такие же печальные и торжественные, пробуждающие душу покаянные напевы. Еще не забытая прекрасная старинная манера делает то, что все голоса, не только певчих, но и священника и диакона, звучат как-то своеобразно, необычно музыкально, мягко, задушевно. Кажется, если бы человек много лет провел в темнице, так много, что потерял счет не только дням, но и временам года; если бы такой человек неожиданно всего на несколько секунд попал в церковь, он и тогда, услышав переливы одного слова «а-минь» или первые нотки «Херувимской», понял бы – сейчас Великий пост.

Продолжительные чтения тоже как-то по-особенному трогают сердце. Даже знакомые слова звучат совсем по-иному, а незнакомые иногда являются целым откровением. Конечно, если их хорошо можно разобрать. А если не разбираешь, сразу становится заметно, что читают очень долго, что в соборе страшный холод и мучительно мерзнут ноги. Хорошо еще, что немного людей и ноги можно укутать несколькими стегаными половичками, которые приносят и оставляют по углам заботливые старушки. А если этого нельзя, люди нетерпеливо топчутся и... уходят в Старый собор. Значит, вдвойне нужно отчетливое чтение, оно согревает не только душу, но и тело. А как его добиться?

На Масленицу служил Моченев, первая неделя должна быть отца Сергия, но отец Александр объяснил ему, что принято первую и Страстную неделю служить настоятелю. Значит, отцу Сергию придется отслуживать подряд две недели – вторую и третью. Опять, как на Рождество и другие большие праздники, отец Сергей столкнулся еще с одним неудобством положения второго священника – он лишен возможности сам совершать службу в наиболее дорогие ему торжественные дни. Положим, Великий канон они читают по очереди, но это еще не все. Считается, что настоящая, полная служба должна быть только на первой неделе, а дальше можно дать себе поблажку. Особенно чтецы, которым тяжело достается Великим постом, норовят, где только удастся, сократить. Нельзя совсем выбросить кафизму, так прочесть вместо нее один псалом покороче, а то и всего несколько стихов. Да и петь, если возможно, поменьше.

Сначала отцу Сергию неудобно было настаивать, но скоро он возмутился и заявил, что если они – второй штат, это не значит, что служение их должно быть второго сорта. Да и люди, которые не смогли поговорить на первой неделе, имеют такое же право и так же хотят помолиться на любой другой. Постепенно, конечно, не в первый год, он добился, что на клиросе привыкли – нет второстепенных недель, служба всегда должна идти одинаково. Впрочем, уступки пришлось делать с обеих сторон. Скрепя сердце согласились, что на второй неделе, как и на первой, кафизмы будут вычитываться полностью, а на остальных по псалму на «славу». «Все равно ведь никто ничего не разбирает», – защищались чтецы.

Что «никто» и «ничего» – это неправда. А что мало, к сожалению, правда. Так нужно добиться, чтобы разбирали. И отец Сергей сам брался читать, брал то один, то другой темп, выходил то на середину, то поближе к клиросу, то дальше. Своих близких он просил тоже вставать то на одно, то на другое место, спрашивал, как слышно. Выяснилось, что нужно читать не нараспев, а старательно отделяя каждое слово – так слышимость лучше. Но этого мало. Требовалось что-то еще.

Глава 10

Еще углы

Исповедь – нравственно самая тяжелая из обязанностей священника и в то же время дает самое глубокое внутреннее удовлетворение. Так не раз говорил отец Сергей, так переживал он

дни Великого поста. И опять и здесь разница с прежним была громадна. В Острой Луке он изучил души своих прихожан, знал каждое изменение этих душ в течение двадцати лет, все колебания и падения, трепетную надежду возрождения и тяжелые срывы. Знал и тихий мир тех, кто не устает следить за своей внутренней жизнью и приходит на исповедь, внимательно рассмотрев каждый уголок души. К этому отец Сергей особенно заботливо приучал своих духовных детей, приучал с их первого появления у аналоя, когда внимание малыша разделяется между страшными грехами ребяческих ссор и непослушания и зажатой в кулаке копеечкой, которую нужно не забыть положить на столик. Зато и сам батюшка подмечал даже те перемены, которые были еще не ясны самому исповедующемуся; не забывал спросить и о том, о чем начинали говорить по селу и в чем самим кающимся так трудно признаться. И лекарство он предлагал каждому свое, считаясь со скрытыми опасностями и дремлющими духовными силами, присутствующими именно этому человеку. Такое знакомство с прошлым каждого он считал необходимым и даже порекомендовал тем, кто кается у нового духовника, рассказывать все грехи, начиная с первой исповеди. Не потому, что они требовали вторичного прощения, а чтобы этот духовник знал, с кем имеет дело, как врач, расспрашивающий обо всех болезнях, которыми когда-то страдал его пациент.

В Пугачеве все исповедники были незнакомы отцу Сергию, со всеми приходилось разговаривать дольше обычного. Таким образом, стоящая около левого клироса, где он исповедовал, группа людей убывала очень медленно. Отец Александр исповедовал на правом клиросе, там подвигались гораздо быстрее.

Никто не мог бы обвинить отца Александра в том, что он небрежничал или торопился. Нет, он напоминал обо всех часто встречающихся грехах, спрашивал, не знает ли человек за собой еще чего-то, в нужных случаях давал советы. Но он говорил сам, быстро, привычно перечисляя грехи, а отец Сергей стоял и ждал, пока подошедшая к нему медленно и с сокрушением повторяет: «Сердилась... завидовала... на базаре, когда молока мало было, лишнюю цену брала...»

Наскучив долгим ожиданием, исповедники переходили от левого клироса к правому, и отцу Александру приходилось исповедовать больше людей, чем в прежние годы. Это был новый повод к неудовольствию, но тут отец Сергей не считал себя вправе уступить ни на йоту; он готов был оставаться дольше, чем настоятель, исповедуя «своих» прихожан, но не мог позволить себе сократить исповедь.

Понятие о том, как важно каждому иметь постоянного духовника, не было чуждо ни отцу Александру, ни другим городским священникам. Они не раз пытались добиться того, чтобы люди ходили на исповедь к священнику «своего прихода», в смысле того частного разделения, о котором говорилось раньше; однако это не удалось по многим причинам. В приходе отца Сергия имелось несколько семей горячих приверженцев прежнего священника.

Они были возмущены его увольнением, и, хотя отец Сергей был назначен через несколько месяцев после этого события, они довольно долго бойкотировали его, обращаясь со всякими требованиями к отцу Александру. На дом к таким отец Александр отказывался ходить, но не мог не принять их на исповедь. Точно так же нельзя было отослать людей «чужого прихода», когда исповедь проводил один священник. Впрочем, постепенно все более или менее установилось. К отцу Сергию стали ходить те, кто хотел поговорить подробнее, хотел, чтобы священник отнесся к ним построже, а отца Александра любили за то, что он «не задерживает, исповедует и быстро и хорошо».

Потом отец Сергей нет-нет да и возвращался к ставшей для него больной теме о распределении служения по неделям. «Хорошо, настоятелю положено служить первую и Страстную неделю, это его привилегия. Так ведь именно привилегия, я бы тоже с радостью послужил в эти дни, а у меня и право это отнято, да еще приходится «отслуживать». Что же получается? На первой неделе я все равно присутствую в церкви каждый день и помогаю, иначе нельзя, да

и самого тянет. На второй и третьей я служу, а отец Александр имеет возможность в любой день отдохнуть, не прийти или прийти только в пятницу или субботу, чтобы помочь при исповеди. Крестопоклонную неделю служит опять он, а я неизменно присутствую. Пятая неделя – моя; шестая – его, вот тут только разве я могу день-другой отдохнуть. Страстная по очереди моя, а считается, что служит он, хотя я тоже хожу каждый день и нагрузку несущу не меньше его. Зато на Пасху он только на первый день придет к вечерне, а все остальные дни до позднего вечера ходит по своему приходу с праздничными молебнами. А мы с Димитрием Васильевичем после литургии должны исправить все требы и вечером служить вечерню. Поэтому и устаем мы гораздо сильнее, и прихожане вправе обижаться, что к ним пришли в конце недели, когда, по их словам, они «уж и забыли, что праздник». Да еще и Фомину неделю нам же служить. Не справедливее ли было бы с первой недели назначать новую очередь, не считаясь с тем, кто служил на Масленицу?»

Чем больше задевали все эти необтершиеся углы, чем больше находилось случаев, когда сравнение со старым было не в пользу нового, тем дороже оказывались те моменты, когда в новом обнаруживалось что-то хорошее. Так, всем очень нравился обычай, существовавший в Пугачеве во время причащения. После уставных слов: «Причащается раб Божий...» – священник добавлял: «Се прикоснуся устом твоим, и очищены беззакония твоя, и грехи твои омыты». Нелегко повторить эти слова столько раз, сколько подойдет людей, зато как они увеличивали праздничное настроение причастников!

Если С-вы жалели о простом пении в обычное время, то тем более жалко его постом, и особенно на Страстной неделе. Когда пели «Волною морскою», хотелось плакать не от умиления, как обычно, а от разочарования, от досады.

– Что, если договориться с левым клиросом и на полунощнице под Пасху запеть ирмосы простым напевом? – предлагал Костя. (Каникулы совпадали с праздниками, и мальчики опять были дома.) – Один раз Михаил Васильевич спел по-своему, второй раз пусть будет по-нашему.

– Нельзя. Тут не один Михаил Васильевич, и среди народа многие привыкли к такому пению, – возразил отец Сергей. – Как нам хочется своих напевов, так им хочется своих. А впрочем, можно попытаться сделать так, чтобы ни им, ни нам не было обидно.

И он, придя вечером пораньше, договорился, что ирмосы «Волною морскою» будут петь по два раза – правый и левый клиросы. На левом это предложение приняли с удовольствием, каждому хотелось принять личное участие в праздничной службе. Но другое требование отца Сергея о том, чтобы не только пели ирмосы, но и читали канон, встретило возражение. Так никогда не делалось. Один из ведущих певчих, Бушев, обладавший красивым сильным баритоном и соответствующим апломбом, даже попробовал сделать по-своему. Едва правый клирос закончил первый ирмос, Бушев, в свою очередь, запел его. Отец Сергей моментально оказался на клиросе.

– Читайте канон! – распорядился он.

– Не успеем, – стоял на своем Бушев. – Крестный ход задержится. Не обойдем до двенадцати часов.

– Я не первый год служу, – возразил отец Сергей. – Сейчас только половина двенадцатого, как раз успеем. Читайте, или я сам возьмусь.

Бушев начал читать, а уж если начал, то постарался прочитать как только мог лучше. Трогательные слова тропарей, перемежающиеся с двумя напевами ирмосов, произвели сильное впечатление. Полунощница заняла то место, какое она и должна была занимать, – не торопливой вставки, сделанной ради того, чтобы успокоить истомившийся ожиданием народ, а неповторимо прекрасного вступления к праздничному ликованию пасхальной утрени. Крестный ход, разумеется, не задержался. Отец Александр даже постоял молча минуты две и сделал возглас только тогда, когда подтянулись отставшие и люди замерли в ожидании. С первым ударом колокола, выбивавшего полночь на пожарной каланче, священники запели «Христос

Воскресе», а последние удары были заглушены мощным пением нескольких тысяч голосов, повторяющих торжествующий гимн победившего христианства.

Недаром отец Сергей столько раз поминал о трудности великопостного и пасхального служения. Он давно еле перемогался, всю Пасху через силу ходил с молебнами и даже вынужден был в одном доме попросить разрешения полежать. В последний день, ходя по домам, он едва держался на ногах, так что некоторые заподозрили, будто он пьяный. «От одного едва-едва избавились, и другой такой же оказался», – кто с горечью, а кто и со злорадством говорили прихожане. Правда, эти разговоры прекратились так же быстро, как и возникли, когда выяснилось, что отец Сергей серьезно болен.

Освободившись уже в конце недели, он наконец-то отправился к врачу, своему товарищу по семинарии, Александру Алексеевичу Попову. Александр Алексеевич по-товарищески отругал его за пренебрежение здоровьем, сказал, что отец Сергей перенес на ногах воспаление легких, и, во избежание серьезных последствий, велел лежать до тех пор, пока он не разрешит встать.

– Если не будет слушаться, привязывайте его, – полушутя-полусерьезно сказал он на следующий день Соне, пришедшей к нему в больницу за рецептами и за инструкциями. Но отцу Сергию уже не до того было, чтобы не слушаться. Он лежал как пласт, в полубессознательном состоянии, и перед ним с необыкновенной яркостью разворачивались картины прошедшей жизни. «Говорят, что человек перед смертью вспоминает всю свою жизнь, – говорил он впоследствии. – Я тоже вспоминал такие подробности, о которых никогда и не думал, только раннего детства не мог вспомнить. Наверное, если бы я действительно умирал, то вспомнил бы и его».

Мощный, настойчивый, все усиливающийся гудок врвался в окна, проникал сквозь стены, будил спящих. Костя воспроизводил на фисгармонии этот по-своему даже приятный звук и говорил, что вот также, только во много раз сильнее, должна звучать архангельская труба, которая при конце света поднимет мертвых. Мертвых труба Чемодуровой мельницы не поднимала, но среди живых, в сфере ее действия, едва ли кто мог не проснуться, разве одна Наташа. Еще здесь, за два квартала дальше, она звучала глуше, а на старой квартире, после гудка, длившегося более пяти минут, заснуть снова было почти невозможно. Правда, отец Сергей и Юлия Гурьевна и так поднимались до шести часов и им гудок не мешал, а Соню и приезжавших на каникулы мальчиков он сильно донимал.

В первые дни болезни гудок не доходил до сознания отца Сергия; он, как составная часть, включался в полу-бредовые картины, возникавшие в его мозгу. С началом выздоровления гудок рассеивал эти картины, и больной просыпался. Лежа или сидя, читал он утреннее правило и брался за книгу. К этому времени он окончательно вошел во вкус аскетических сочинений. «Лествица», «Добротолюбие» и особенно письма епископа Феофана Затворника сделали его настольными книгами. «Стоит утром прочитать одно из этих писем, чтобы получить зарядку на целый день», – говорил он и старался придерживаться этого правила. Позавтракав и передохнув немного, отец Сергей принимался за письма. Писал он лежа, карандашом, но в таком количестве и таких подробных, как никогда в жизни, ни раньше, ни после. В течение этого, правда кратковременного, периода Наташа ежедневно относила на почту несколько толстых писем. Ответов пришло гораздо меньше, но отец Сергей не обижался. Ведь и сам он не написал бы этих писем, если бы был здоров и мог заниматься своим делом.

Глава 11

У каждого свое

Еще тяжелее досталась эта весна семье Моченевых (1927 год). Опасно заболела их невестка Женя. По несчастному стечению обстоятельств, невольным виновником ее болезни оказался отец Сергей.

Убедившись, как трудно получить долг с Василия Ефремовича, он стал придерживать остальные деньги и давал их только при условии занять где угодно, но возвратить долг по первому требованию. Когда дом был куплен и нужно было срочно внести задаток, за отцом Александром скопилась довольно значительная для обоих священников сумма, взятая на таких условиях. Как нарочно, отец Сергей в этот день обошел всех своих должников и никого не застал дома – в городе шла ярмарка и все кто мог отправились туда. Ушел на ярмарку и отец Александр, и Женя побежала искать его. Искать пришлось долго, а стояла самая опасная погода – начало весны, с лужами под ногами и пронизывающим ледяным ветром. Надеясь быстро вернуться, Женя оделась очень легко и сильно промерзла, а незадолго до этого она перенесла грипп. Последствия оказались страшные – туберкулез, в несколько месяцев погубивший цветущую молодую женщину.

Все знали, что Женя больна серьезно, но никто не ожидал такого быстрого конца. В последний раз, когда Соня видела ее, она сидела на полу, на ковре, и играла с сынишкой. Она похудела, лицо ее стало одухотворенным. Определение «прозрачное личико» стало настолько избитым, что мы не замечаем его прямого смысла, но у Жени лицо действительно как бы просвечивало; сквозь тонкую, слегка желтоватую кожу пробивался розоватый оттенок, как свет фонаря сквозь фарфор. Глаза стали большими и глубокими, светло-русые, немного растрепавшиеся волосы казались особенно пышными и легкими; если раньше ее можно было назвать просто хорошенькой, то сейчас она была прекрасна.

Понятно, как больно отразилась ее смерть на всей семье, как переживали ее С-вы, которые не могли забыть связь двух событий – покупки дома и этой болезни. Но ни отец Александр, ни матушка Софья Ивановна никогда ни полсловом не намекнули на эту связь; казалось, они даже в глубине души не чувствовали ее.

Когда состояние отца Сергея стало немного лучше, однажды утром он заметил под окном на улице движение и шепот. Несколько человек стояли у открытого окна и, тихо переговариваясь, старались заглянуть через занавески.

– Кто там? Заходите! – окликнул отец Сергей.

Голоса на улице зазвучали громче и оживленнее, и в комнату, с некоторым смущением, вошли пятеро попечителей, живших неподалеку друг от друга на самой окраине города. Сначала они деликатно умалчивали о причине, заставившей их прийти сюда, потом проговорились. В это ветреное утро громко, как в мороз, гудели сосновые телеграфные столбы, создавая иллюзию далекого колокольного звона. На окраину, против ветра, настоящий звон доносится так же слабо, и им показалось, что звонили в соборе. Значит, решили они, отец Сергей умер, и этот звон – уставные двенадцать ударов по умершем священнике; значит, нужно пойти помочь, чем могут.

Около дома не было заметно никаких тревожащих признаков, но и в своей ошибке они не были уверены, а войти в дом не решались: как войдешь к больному и скажешь, что пришли хоронить его?

После этого случая отец Сергей близко сошелся со всеми пятерыми своими скромными доброжелателями, особенно со стариком Белобородовым, окладистая седая борода которого вполне оправдывала его фамилию. Впоследствии Белобородов неоднократно рассказывал отцу

Сергию различные интересные случаи из своей жизни, в частности случаи проявления действий темной силы.

Один из этих случаев относился к тому времени, когда Белобородовы только что переехали в свой теперешний дом в татарском конце. Вечерами под праздники в переднем углу дома раздавался громкий стук, словно кто-то ударял палкой по стене. Чем больше был праздник, тем сильнее удар, так что даже кот шарахался со своего места и прятался в дальний угол. Помучившись несколько времени, Белобородов обратился за советом к священнику.

– А были прежние хозяева? – спросил он. – Татары?

– Татары.

– Значит, дом не освящен, – сказал священник и посоветовал отслужить в нем молебен и окропить все святой водой.

После молебна стук стал слабее. Освящение повторили, и все прекратилось окончательно.

Но это было не самое главное. В молодости Белобородов, как он сам выражался, «пятнадцать лет сидел на цепи» – бесновался, и был исцелен священником женского монастыря отцом Александром Кубаревым.

Белобородовы тогда жили еще в селе. Намучившись с бесноватым и услышав об отце Александре, брат Белобородова положил его в телегу и повез в монастырь. Бесноватый в это время уже не буйствовал, а лежал, как парализованный. У него не действовали руки и ноги, но более никаких не было. Теперь, едва они тронулись, он почувствовал страшные, нестерпимые боли и начал кричать, прося брата остановиться. Брат остановил лошадь – боли прекратились, тронул – они начались с новой силой, так что, проехав несколько сажень, пришлось вновь останавливаться. Так продолжалось долго, пока брат не потерял терпение. «Это тебя бес мучит», – сказал он и погнал лошадь, не обращая больше внимания на отчаянные крики бесноватого. Боли, а с ними и крики прекратились, когда повозка приблизилась к монастырю. Отец Александр прочитал над бесноватым положенные молитвы и велел привезти его еще. Ездить пришлось несколько раз; в конце концов бесноватый совсем исцелился и вот, дожил до старости нормальным уважаемым человеком.

Старые прихожане тоже не забывали своего батюшку и нередко заезжали к нему. Их не смущало даже отсутствие адреса. Один мужичок ухитрился от самого элеватора, вблизи которого появились первые окраинные домишки, спрашивать чуть не каждого встречного: «Где тут живет отец Сергей, что из Острой Луки приехавший?» И ведь нашел.

Чаще всех бывал самый желанный гость, Сергей Евсеевич, председатель церковного совета, друг отца Сергия и сподвижник во всех его делах и начинаниях.

Во время школьных каникул приехала сестра псаломщика Николая Потаповича Тарасова – Валентина Потаповна, учительствовавшая в той же Острой Луке. Валентина Потаповна привезла много сельских новостей, но больше всего она говорила о своих семейных делах и о старинной иконе, хранившейся в их семье около двухсот лет. Об этой иконе рассказывала еще покойная жена Николая Потаповича, Антонина Петровна. Юлия Гурьевна и Соня хорошо помнили этот разговор, он происходил вскоре после смерти матушки Евгении Викторовны.

Антонина Петровна тоже вспоминала о древности иконы и с удивлением говорила о необъяснимом явлении, происходящем от нее. Время от времени икона издает треск, похожий на тот, когда лопаются пересохшие доски. Икону осматривали и не обнаружили на ней ни малейшей щелочки; перевешивали в другой угол, чтобы проверить, правильно ли они определили источник звука, и убедились, что треск исходит именно от иконы.

Антонина Петровна умерла, и в том же году и, по словам Валентины Потаповны, после ее смерти треск прекратился. С тех пор он повторялся два раза – перед тем, как заболела и умерла старушка мать Тарасовых, и перед тем, как совсем молодой умерла в Самаре невестка Николая Потаповича, жена его сына. Недавно треск возобновился. Значит, говорила Валентина Пота-

повна, должны умереть или Николай Потапович, или она сама. Поэтому-то она и постаралась приехать в Пугачев, чтобы подготовиться к смерти.

Она прожила в городе несколько дней, поговела, исповедовалась у отца Сергия, причастилась, а через непродолжительное время было получено известие о ее смерти.

В доме теперь то и дело появлялись новые священники, но на первых порах запомнился только один, вероятно потому, что он был совсем иного рода, чем остальные.

Вначале говорили о приходских делах. Гость жаловался, что в селе портятся нравы. Люди настаивают на венчании в самых недопустимых случаях. Недавно один требовал, чтобы его обвенчали с сестрой его покойной жены. Участились и разводы. Не удивительно, если церковного развода добивается невинная сторона, да они-то как раз редко обращаются, до последней возможности ждут, не образумится ли беспутный муж или жена. А эти беспутные, те, которые виноваты в развале семьи, в первую очередь лезут за разводами.

– Я ни с теми, ни с другими много не разговариваю, – добавил гость, – сразу же отсылаю к архиерею.

– Как к архиерею? – встрепенулся отец Сергий. – Вы же знаете, что в этих случаях и архиерей не может разрешить, зачем же посылать к нему? Только лишние неприятности ему устраивать. Нужно самому с ними покрепче поговорить, объяснить их неправоту, предупредить, что по таким вопросам архиерей требует заключения священника, а заключение будет не в их пользу.

– Стану я еще такое заключение писать! Чтобы мне за него какую-нибудь пакость устроили. Нет уж, пусть сам разбирается. У меня дети.

Отец Сергий встал и взволнованно прошелся по комнате:

– Я бы мог вам просто сказать – и у него дети. Вы не хуже меня знаете, что епископ Павел вышел из вдовых священников и что у него трое неустроенных детей. Но пусть бы архиерей и другой был, одинокий, я говорю не о нем, а о вас... или, скажем, о всех нас. Вы не забыли, что перед рукоположением сняли обручальное кольцо в знак того, что принимаете на себя другие, более важные обязанности, при которых семья должна отойти на второй план?

– А архиерей, что, таких обязанностей не принимал? – азартно ответил гость.

– Принимал, но у него и без ваших приходских дел хватает забот и неприятностей таких, о которых мы с вами, может быть и не подозреваем. Мы не имеем права заставлять его отвечать еще и за наши кровные, приходские дела. Наоборот, где только можно, мы должны грудью его загораживать, все трудности на себя принять.

– То есть свою шею за него подставлять, – неприязненно буркнул гость.

– Пусть, по-вашему, шею подставить... – подтвердил отец Сергий. Глаза его вспыхнули, голос прозвучал особенно твердо, он говорил о своем продуманном, выстраданном. – Пусть шею подставить! Нас, священников, много, если некоторые и пострадают, на церковных делах это мало отразится, лишь бы архиерей был на месте. А вот если его не будет...

– Грудью загораживать! – возмущенно повторял гость. – А нас кто будет загораживать?

– Нас – миряне, – ответил отец Сергий. – В приходе священник занимает такое же положение, как архиерей в епархии, и прихожане должны его так же оберегать, как мы архиерея.

– Заставишь их!

– Конечно, не заставишь, сами должны понимать и делать. И делают. Слышали, как здесь было в 1923 году? Весь церковный совет под суд пошел, а священников не затронули. Ну а если даже они этого не сделают, нам на них оглядываться не приходится, мы сами должны им пример подавать.

– Мне детей воспитывать надо!

– Какое же это воспитание, если вы ради своего спокойствия будете душой кривить! Дети-то прежде всего это и заметят. Сегодня вы ради их благополучия архиерея подведете, а завтра они ради хорошего места или возможности учиться от вас откажутся.

– Своя рубашка ближе к телу, – опять возразил гость.

Отец Сергей так резко повернулся, что стул под ним скрипнул.

– И вы, священник, не можете найти для себя правила, более соответствующего христианскому учению!

Разговор продолжался еще долго, но теперь говорил один гость, отец Сергей только изредка вставлял свои реплики. Он сидел вполоборота к гостю, вернее, почти совсем отвернувшись от него, и заметно с трудом сдерживался, чтобы не сказать резкость. Наконец гость догадался, что ему нужно уйти. Отец Сергей проводил его до крыльца и, вернувшись, шумно вздохнул всей грудью.

– Слава Богу, ушел! Я думал, что не выдержу, прорвусь. Как по-вашему, кто был прав? – обратился он к Юлии Гурьевне.

– Вы, конечно. Только... может быть, нужно было быть немного повежливее. Все-таки он гость...

– А я все равно старался помнить об этом, – ответил отец Сергей. Если бы я на минуту забыл об этом, я бы его выгнал.

В другой раз отец Сергей пришел из церкви с пожилым, на вид очень энергичным священником. Не обращая внимания на подготовленный завтрак, оба прошли в переднюю комнату; отец Сергей достал с полки какую-то книгу, открыл ее и что-то показал гостю. Гость взял книгу и ушел.

– Сообщите, чем кончится! – крикнул ему вслед отец Сергей. – Это отец Федор Нотарев, – объяснил он и в нескольких словах рассказал, зачем тот приходил.

Нотарев обратил внимание на то, как сформулирован закон о запрещении преподавания Закона Божия. Было сказано, что запрещается преподавание группам свыше трех человек. Отец Федор собрал из школьников пятнадцать или двадцать групп по три человека и занимался с каждой тройкой отдельно. Несколько времени все шло благополучно, потом на занятия обратили внимание местные власти, и Нотарева отдали под суд. Как на грех, сборника законов, касающихся Церкви (сборник под редакцией Гидулянова), теперь у него не было, и он не надеялся, что такой сборник окажется в суде. Суд был назначен на сегодня. Отец Федор приехал в Пугачев еще вчера и в поисках этой книги обошел всех знакомых. «Ведь догадался же человек! – не то с восхищением, не то с завистью говорил отец Сергей. – А мы что думали?»

После суда Нотарев не зашел. На следующий день был праздник, и он торопился к себе служить. Он только переслал взятый у отца Сергея сборник, где на чистом листе написал своим крупным размашистым почерком: «ОПРАВДАН».

Другу отца Сергея, ставшему после него благочинным отцу Иоанну Тарасову, не повезло. Приняв благочиние, отец Иоанн горячо взялся за дело, стараясь не только закрепить, но и развить все сделанное его предшественником. Его мечтой было ввести в правило ежегодные съезды духовенства. Опираясь на то, что в 1926 году съезд разрешен, он довольно легко добился такого же разрешения и в 1927 году, на этот раз в селе Дубровом. Но тут-то была совершена маленькая ошибка, оказавшаяся для отца Иоанна роковой.

Еще в прошлом году некоторые священники, в том числе и дубовский отец Федор Сысоев, остались недовольны тем, что отец Сергей после съезда пригласил на обед не только все духовенство, а и присутствовавшего на съезде представителя гражданской власти. Им хотелось официальную часть закончить неофициальной, поговорить за обедом по-семейному. Оказавшись в роли хозяина, Сысоев сделал именно так. Вечер провели по-семейному, а вскоре затем Сысоев и Тарасов были арестованы «за организацию незаконного собрания». Хорошо еще, что пострадали только они двое, а не все присутствовавшие.

Весной 1927 года церковь обращенного в тюрьму женского монастыря была закрыта, но несколько монахинь еще жили по своим кельям и, чем могли, помогали заключенным; порядки в тюрьме тогда были самые патриархальные. Через этих-то монахинь отец Иоанн известил о

себе, просил прислать подушку и что-нибудь из провизии. Через них же просимое было передано, и потом, в течение всего лета, они служили посредницами между друзьями, носили отцу Иоанну передачи от отца Сергия, иногда ухитрялись передать и несколько слов. Ближе к осени монахини принесли обратно подушку – отца Иоанна отправили куда-то на побережье Каспийского моря. Оттуда от него пришло одно письмо, потом всякая связь с ним прекратилась, и дальнейшая судьба его неизвестна. Но связь, установившаяся с тюрьмой, больше не порывалась.

Глава 12

Земные заботы и небесная помощь

Однажды отец Сергий зазвал к себе домой ссыльного священника отца Иоанна Ферронского, чтобы покормить его чем Бог послал, и дать ему возможность провести несколько часов в семейной обстановке. Отдавая должное аппетитному пирогу, изделию рук Юлии Гурьевны, Ферронский не скрыл своего удивления тем, что отец Сергий оказался семейным.

– Я почему-то думал, что он монах, – повторял Ферронский, несколько раз возвращаясь к этому, словно только что сделал неожиданное открытие и с усилием заставляет себя по-новому взглянуть на человека.

Зная отца Сергия только по церкви, он видел, что этот протоиерей не участвует в обсуждении базарных цен на муку и сено, не торопится уйти домой и не пропускает почти ни одной службы, хотя на неделе отца Александра в будни имел полное право не приходить в собор. Впечатление отрешенности от всех мирских забот было настолько сильным, что Ферронский даже упустил из вида, что отец Сергий был протоиерей, а не иеромонах. У него создалось впечатление, которое легко могло создаться и у любого другого малознакомого с причтом Нового собора, что отец Сергий человек свободный, не обремененный заботами о семье и житейские земные интересы ему чужды. Зато знавшие его ближе отлично видели, что мысль о детях всегда была с ним и что бы ни делал, о чем бы ни говорил, все напоминало ему о них. Впоследствии мать Евдокия, алтарница, вспомнила, что отцу Сергию нельзя было сделать большего удовольствия, как спросив о детях. Несомненно, выполнение пастырских обязанностей стояло у него на первом плане, но в глубине души его никогда не оставляла и эта мысль – забота о том, как воспитать детей. И не только воспитать по-христиански, но как-то устроить их жизнь.

Весной 1927 года особенно остро, прямо ребром, встал вопрос о школе. Собственно, он вставал уже давно, так как в Острой Луке и окружающих ее селах были только школы первой ступени, но до сих пор удавалось ограничиться полумерами. В прошлом году отец Сергий устроил мальчиков в школу-семилетку в чужом районе, в селе Спасском (Приволжье), отстоявшем от Острой Луки километров на тридцать, а от Пугачева и на все сто двадцать. Костя окончил там последнюю, седьмую группу, значит, его нужно было устраивать в восьмую, а Миша хоть и перешел только в седьмую – не было никакого смысла везти его одного в такую даль. Наташа же вообще училась только дома. Отец Сергий сознательно заботился о том, чтобы младшая девочка, как перед тем и мальчики, подольше не встречались с чужими и чуждыми идеями и влияниями, чтобы ее внутренний мир формировался и креп полностью в его руках. Но ограничиваться дальше домашним обучением стало невозможно, наступило время знакомить и ее со школой, систематизировать те знания, которые она имела, и увязать их со школьной программой.

Соня тоже беспокоила отца, может быть гораздо больше, чем она сама подозревала. Конечно, она получила среднее образование, но не имела никакой специальности и, случись что с ним, не могла бы не только поддержать семью, а и себе-то обеспечить кусок хлеба. Но это был вопрос, хотя и больной, но не связанный с определенным моментом. Самое основное сейчас было – школа.

Нужны были пятая, седьмая и восьмая группы, а в эти-то группы было особенно трудно поступить.

Начальных школ, по четвертую группу включительно, в городе было вполне достаточно, а начиная с пятой группы положение резко менялось. В Пугачеве была только одна школа-семи-летка и одна так называемая школа второй ступени с пятой по девятую группы. Естественно, что при поступлении в пятую, а особенно в восьмую группу создавалась пробка; далеко не все окончившие четвертую и седьмую группы могли продолжать образование. Правда, не все к этому и стремились, некоторые уходили в недавно открытый педтехникум, другие просто шли работать, не считая обязательным даже семилетнее образование. Зато приезжали ребята из сел, и все равно желающих было гораздо больше, чем мест.

Трудность поступления увеличивалась еще тем, что прошедшие тяжелые годы – гражданская война, разруха и особенно голод 1921 года, оставшийся тяжелым кошмаром в памяти переживших его, нарушили правильный ритм школьного обучения. Школы работали с перебоями, не имея ни бумаги, ни учебных пособий, а иногда и совсем не работали. Костя и Миша потеряли по этой причине четыре учебных года, а среди их одноклассников было немало и старше их, значит, у них пропало еще больше. Теперь жизнь наладилась, и переростки кинулись в школы. А вместе с ними и другие ребята, моложе их, которым пришлось учиться, с таким же правом претендовали на места в школе.

Во время приема обращали внимание почти исключительно на социальное положение родителей. Дети рабочих имели все преимущества, дети крестьян принимались по мере возможности, а для детей служащих поступление оказывалось делом счастливого случая. Что же говорить о детях духовенства? Кто учился раньше, те оставались, а положение вновь поступающих было безнадежно.

Отец Сергей «облетел всю поднебесную», стучался во все двери в поисках возможности устроить детей, но безуспешно. Заведующая школой-семилеткой, сама дочь священника, немного знала его и хотела бы помочь, но это было не в ее силах. Она могла лишь развернуть перед ним только что описанную картину, объяснить, как обстоит дело, и на что можно, вернее, на что нельзя рассчитывать. Оставалось признать, что надежды нет никакой, и сложить крылья.

Как всегда в трудных случаях, отец Сергей в кругу семьи уточнил обстановку. Без паники, но и без утайки, по-деловому.

– Ну, детишки, – сказал он, – теперь уж я не знаю, куда еще можно идти. Все, что мог, я сделал, и ничего не вышло. Теперь одна надежда – на Бога и Божию Матерь. Будем еще молиться о упокоении блаженной Ксении. Это в Ленинграде была такая подвижница, она многим помогает в разных домашних затруднениях, особенно когда не удается устроиться в школу или на работу. Ей молиться и служить молебны нельзя, потому что она еще не причислена к лику святых; кто хочет получить от нее помощь, молится за нее, заказывает о ней панихиды и вообще молится о упокоении ее души. Давайте и мы отслужим завтра панихиду, а потом я буду ежедневно на проскомидии вынимать за нее частицу, а вы поминайте ее в своей молитве, когда поминаете всех своих близких.

Так произошло, можно сказать, личное знакомство семьи отца Сергея с этой праведницей. Как умели, молились, и немало, а многозаботливая праведница и для этой семьи исплопотала у Господа велию и богатую милость.

К концу лета выяснилось, что все трое детей зачислены в школу, а спустя некоторое время даже и Соне совершенно неожиданно удалось поступить на курсы кройки и шитья.

Трудно передать, что чувствовал отец Сергей, узнав, что и последний из троих, Миша, принят. Он лучше всех понимал трудность исполнения того, о чем они молились, и потому был больше других потрясен.

– По молитвам блаженной Ксении совершилось чудо, – сказал он. – Никогда не забывайте этого!

Глава 13

Неугомонный

Служба еще не начиналась. Отец Александр разговаривал на левом клиросе с псаломщиками. Молящиеся подходили к небольшому столику, стоящему внизу около клироса, и клали на медный поднос просфоры, поминанья и деньги. Когда поднос заполнялся, сторож переносил все на другой столик около жертвенника. Деньги со звоном катились по клеенке, покрывавшей столик.

– Скоро ли вы уберете отсюда этот престол сатаны? – послышался голос отца Сергия. Он только что пришел и с ходу заговорил о том, о чем толковал уже не раз. Можно бы поставить там, внизу, кружку или весь столик перенести к свечному ящику. Незачем около престола Божия деньгами звенеть.

Отец Александр обыкновенно отмалчивался. Он не видел в этом обычае ничего дурного и не соглашался с отцом Сергием. К тому же сейчас он был серьезно озабочен другим.

– У нас тут события поважнее этого разворачиваются, – сказал он, здороваясь с сослуживцем. – Слышали новость? Диакон Маркин приехал.

По лицу отца Александра можно было прочесть, что эта новость не доставляла ему удовольствия. Отец Сергей тоже сразу помрачнел.

– Что он вам говорил? – спросил он.

– Ничего не говорил, хоть бы из приличия подошел поздороваться. Собрались около него наши воротилы за свечным ящиком, шепчутся.

– Значит, подкапываться приехал? На живое место лезет? – возмутился отец Сергей, а отец Александр добавил в тон ему:

– На живое место, несомненно, а что подкапываться, так еще вопрос – сам ли он приехал или его вызвали?

Новособорные прихожане не очень ценили своего диакона Медведева. И голос у него был не особенно хорош, и выпить не прочь, и об отношениях его с квартирной хозяйкой ходили темные слухи. Священники тоже не были им очарованы и были бы довольны, если бы архиерей заменил его более подходящим. Но именно архиерей, и именно более подходящим, а не Маркиным, и не таким незаконным и нечестным путем.

– О чем вы думаете? – встретил отец Сергей «воротил», подошедших к нему после обедни договориться о том, чтобы Маркин послужил с ним в будущую пятницу. – Кукушку на ястреба меняете? Что, у него голос громче медведевского? Не лучше, а только громче. А остальные-то недостатки у них одни, только у Маркина они крупнее; недаром его из Балакова выживают. А как вы набрались смелости без архиерейского разрешения, на живое место диакона приглашать, пробу устраивать?

– Да мы не пробу, – возразил председатель церковного совета Андрей Платонович. – Маркин сюда к родным приехал, а мы надумали – в пятницу Медведев будет отдыхать, так пусть этот послужит для торжественности.

– О торжественности беспокоитесь в будни, – усмехнулся отец Сергей. – Что вы меня за малого ребенка считаете? Соберете в пятницу, кто поскандальнее, покажете им Маркина, а потом поедете архиерея за горло брать. Не буду я с ним служить.

– Настоятель не возражает, – продолжал напирать Андрей Платонович. Только с вами согласовать велел, потому что вы очередной.

– Настоятель с вами связываться не хочет, потому ко мне и послал. Если у Маркина совесть чиста, почему сам к настоятелю не подошел, не объяснил, что, мол, так и так, не могу трех дней не служа пробывать, разрешите. А он обходным путем, через адвокатов действует.

– Так если церковный совет желает! – повысил тон Андрей Платонович.

– Мало ли чего вы желаете! – вспыхнул и отец Сергей. – Ваше дело у ящика, там и распоряжайтесь, а в алтарь не лезьте, мы и без вас разберемся.

– Мы тоже имеем право каких нам хочется священнослужителей принимать, – настаивал председатель.

– Ваше право вам гражданская власть дала, там не вникают в наши церковные правила. А вы, как христиане, сами должны от этого права отступить или пользоваться им умеренно, подчиняя его власти епископа. Мое последнее слово – если Маркин придет и будет облачаться, я разоблачусь и уйду. Просите тогда настоятеля, пусть он служит, если вы уверяете, что он согласен.

Отношения испортились всерьез и надолго. Андрей Платонович был человек властный и не любил, когда ему противоречили.

Это было первое и последнее такое крупное столкновение. До того причт и церковный совет жили мирно, разве иногда спорили со старостой Гурием Лукьяновичем, отличавшимся чрезвычайной бережливостью, вернее, скупостью. Он страшно любил копаться в деньгах и только ради этого удовольствия согласился принять должность старосты, не представлявшую для него никаких выгод, – церковные должности тогда еще не оплачивались. Зато нужно было провести целую кампанию, чтобы получить от него хотя бы три копейки на чернила. Уже обсуждены все доводы за и против такой траты. Уже Гурий Лукьянович пошел искать сторожа, чтобы послать в магазин, и вдруг он опять шаркает своими большими ногами и несет прошлогодний пузырек, на стенках которого присохла чернильная пыль: «Может быть, сюда водички налить, так и обойдется?»

Маленький анекдот, над которым можно посмеяться дома, хотя батюшки иногда и досадовали на старика, заставлявшего их тратить время на бесполезные разговоры. Теперь не то. Андрей Платонович и его сторонники смотрят на отца Сергея как на врага, они не привыкли, чтобы их так резко ставили на место. А отец Сергей не может позволить, по его выражению, «ногам стать выше головы». Много воды утечет прежде, чем забудется этот конфликт.

– А тебе до всего дело! – ворчал старик протоиерей, отец Василий Парадоксов, когда отец Сергей делился с ним своими заботами. – Везде поперек лезешь. Борода больше чем наполовину седая, а ведешь себя, как пятнадцать лет назад.

Парадоксов намекал на выступления отца Сергея на съездах 1910–1912 годов, одно из которых так всполошило присутствовавшего там представителя власти, что он счел нужным вызвать исправника. Именно тогда старик и заприметил молодого священника, заговорившего о том, что, прежде чем добиваться в Государственной Думе жалованья для духовенства, нужно добиться земли для крестьян.

– Где побывал? Домой-то заходил ли? – встречал отец Василий гостя.

– «Облетел всю поднебесную и приидох семо¹⁰³», – отвечал тот, усаживаясь.

– То-то! Лидия Александровна! – звал хозяин старушку-свояченицу, ведавшую его хозяйством. – Чайку нам поскорее да закусить чего-нибудь, а то умрет, не дай Бог, с голода, мы отвечать будем. Где же все-таки был-то?

– У татарского муллы. Услышал, что им разрешили в мечети детей Корану учить, и пошел узнать, как они этого добились.

– Узнал?

– Узнать-то узнал, да для нас это не подходит. Принял он меня с почетом, должно быть, лестно ему, что я пришел. Поговорили. Мулла человек неглупый, магометанское высшее учебное заведение окончил в Казани. Он не простой мулла, а мухтасиб, вроде нашего благочинного. А жена у него, кстати, по-русски не понимает. Он мне подробно объяснил, как они действовали. Ну, повторяю, нам их способ не подходит, к нам отношение более серьезное. Слово за

¹⁰³ Семо (церк. – слав.) – сюда.

слово, и казанского протоиерея Ефима Александровича Малова мы с ним вспомнили. Он тоже подтверждает, как я раньше от казанских татар слышал, что «бачка Юхим Коран лучше мулла знал» и что много татар обратил. Вот я и подумал – если и мне, пока свободное время есть, татарским языком заняться да с Кораном познакомиться?

– Я и говорю – неугомонный!

Отец Василий Парадоксов, старейший протоиерей города, пользовался большим уважением не только в Пугачеве, но и среди уездного духовенства. Правда, его авторитет сильно пострадал, когда он присоединился к обновленчеству, многие из новособорных прихожан до сих пор не могли простить ему его грех, но отец Сергей, не забывая об этом, все-таки питал к старику симпатию. С тех давнишних встреч на съездах он знал его как либерала; советуясь с ним о чем-нибудь, всегда учитывал этот его уклон, но ценил, что в смутное время старик искренно заблуждался, а не искал для себя никаких выгод. И какие выгоды мог он получить от обновленцев?

Лучший приход? Парадоксов и так был настоятелем Старого собора, прослужил в нем чуть ли не с самого рукоположения и не променял бы его ни на какой другой. От архиерейства он отказался еще в 1922 году, когда в конце концов выбрали Амасийского. Новую награду? Отец Василий уже был награжден митрой, но принципиально не носил даже набедренника. В этом пренебрежении наградами он доходил до крайности, до чудачества, да и вообще был известен своими чудачествами. Взять хотя бы такую подробность: зимой, при служении в холодной церкви или на открытом воздухе, например, когда сопровождают покойника, не только всем священникам, но и диаконам разрешается надевать скуфью, не фиолетовую, которой награждают, а простую, черную; отец Василий не пользовался и ею. Любители торжественных служб серьезно обижались на него, когда он на Крещение возглавлял шествие на иордань, укутав свою лысую голову большой шалью. Обижались, но терпели, мирились с его выходками ради его неиссякаемого доброжелательства к людям. А ведь жизнь его была не из легких. Он рано потерял жену, его младший сын покончил с собой – для верующего это одно из наиболее тяжелых несчастий. Сам отец Василий в молодости болел туберкулезом, врачами был приговорен к смерти. Выжил он с третьей частью легкого и изуродованным рубцами пищеводом, так что несколько десятков лет не мог глотать ничего твердого, он питался только полужидкой пищей. И вот доживал уже восьмой десяток и собирался жить еще. Только длинные богослужения были ему не под силу, и он старался по возможности сократить их. И регенты в Старом соборе так налаживались, и при совершении треб отец Василий оставлял только самое главное. Во время крестин, например, полагается прочитывать три заклинательные молитвы, а он читал только одну, самую короткую, в которой говорится о том, как Спаситель послал бесов в стадо свиное.

– А ты, наверное, полностью все молитвы вычитываешь? – спрашивал он несколько лет спустя молодого батюшку, отца Константина. – Нечего с нечистым церемониться, послал его к свиньям, и все.

В 1927 году умер бывший настоятель Нового собора, отец Павел Попов, встретивший в 1923 году только что посвященного епископа-обновленца Николая Амасийского словами: «Дверьми ли входишь, владыко?» и переведенный за это в село. Все городское духовенство участвовало в его отпевании. Служба была длинная, отец Василий измучился.

– Меня так не хороните, – наказывал он во время поминок. – Меня поскорее отпевайте.

– Ишь вы какой, отец Василий, – возразил отец Сергей, стараясь безобидной шуткой развеять обычное на похоронах тяжелое настроение. – И сейчас вы во главе, и тогда хотите распоряжаться. Нет уж, тогда лежите да слушайте, мы вам будем петь!

Парадоксов живо обернулся к нему: «А ты что, меня хоронить собрался? – спросил он своим обычным добродушно-грубоватым тоном. – Ишь какой хитрый! Я еще тебя переживу!»

Отец Василий не раз отвечал так тому, кто намекал на возможность его близкой смерти, и не раз его предсказания оправдывались. Оправдалось оно и по отношению к отцу Сергию. Парадоксов лет на шесть пережил его.

Глава 14

Авилкин дол

– Иван Александрович, что вы знаете об Авилкином доле? – Вопрос был задан как раз тому человеку, от которого легче всего можно было получить исчерпывающий ответ.

Иван Александрович Вавилов являлся как бы живой летописью города. Он знал биографии чуть ли не всех жителей до их отцов и прадедов и помнил все мало-мальски примечательные события, связанные с городом и его окрестностями. Это и послужило точкой соприкосновения между ним и отцом Сергием, который всегда интересовался прошлым родных мест и часто нуждался в отчетливой характеристике то одного, то другого прихожанина, с которыми ему приходилось иметь дело. Правда, к характеристикам Ивана Александровича отец Сергей относился осторожно, проверяя их по другим источникам, а вначале и его самого немного сторонился – была в нем какая-то легковесность, и настораживало то, что Иван Александрович, один из немногих прихожан Нового собора, был в свое время активным сторонником обновленчества. Но обновленчество осталось уже в прошлом, а постепенно отцу Сергию начали открываться и более глубокие черты характера нового знакомого. А однажды, во время поста не то 1928, не то 1929 года, Вавилов проявил себя с совершенно неожиданной стороны.

Среди собравшихся к всенощной пронесся слух, что Иван Александрович онемел. Физически он чувствовал себя неплохо, это не удар и не какая-нибудь подобная болезнь, просто онемел, и все. Он даже присутствовал в храме, сидел на раздвижном стульчике, недалеко от выхода, и не то растерянно, не то смущенно смотрел на людей, старавшихся выразить ему свое сочувствие. Несомненно, он слышал все, что ему говорили, но ответить не отвечал. И вдруг на первый день Пасхи он, как ни в чем не бывало, заговорил снова. Оказалось, что балагур и шутник, не лезший за словом в карман, Иван Александрович наложил на себя такой тяжелый при его характере подвиг – не сказать ни одного слова во время поста. Тогда некоторые вспомнили, что это уже не первый случай, что уже когда-то, несколько лет назад, он вот так же умолкал.

Еще раньше отец Сергей узнал, что Иван Александрович не раз бывал в Авилкином, или, как некоторые из вежливости называли его, Вавиловом долу, который пользовался в народе известностью как святое место. Не удивительно, что именно к нему он и обратился с этим вопросом.

Иван Александрович не то что затруднился с ответом, просто его ответ показался малоудовлетворительным.

– Что я знаю? Почти ничего. Рассказывают, что раньше там жили старцы-отшельники, что будто бы они до сих пор там где-то скрываются, а правда ли это, трудно сказать; то есть о том, что они и теперь там живут; что были, я не сомневаюсь. И сейчас в ближних туда селах есть женщины, которые будто бы знают о них и даже передают им пищу и одежду; одни им верят, другие нет. Только если правда есть там отшельники, значит, они очень искусно скрываются. Ведь сколько туда народа ходит, тысячи за лето перебивают, и каждый непременно пойдет в лес, попробует, не найдет ли какой-нибудь лазейки под землю. Я сам весь дол обшарил и ничего не видел. А в прежнее время, говорят, люди видели.

– Что, пещеры или старцев?

– Старцев. Говорят, кое-кто в одиночку их встречал, а то и в толпе богомольцев появлялись какие-то странные заросшие люди. Да ведь почему-то прославилось это место, не ходят же куда-нибудь еще, а именно туда.

– Ну а когда там отшельники появились, откуда они взялись, неизвестно?

Иван Александрович немного замялся.

– Попадалась мне в руки одна брошюра, да что-то она мне подозрительна. Там было сказано, что это старообрядцы, выходцы из Соловков, которым удалось уйти оттуда после «Соловецкого сиденья». Помните, так называли осаду Соловков войском царя Алексея Михайловича. Монастырем тогда самые заядлые старообрядцы владели и долго от царских войск отбивались, а после взятия монастыря часть их будто бы пришла сюда. Только я думаю, не сами ли старообрядцы эту брошюру написали, не их ли это измышление?

– Возможно. Если бы отшельники были такие ярые старообрядцы, они непременно влияли бы на окрестные села, и там старообрядчество было бы особенно крепко, а этого незаметно. Наоборот, их там, пожалуй, меньше, чем в других местах, например, у нас на Чагре...

– А может быть, началось со старообрядцев, а кончилось православными, как в монастырях по Иргизу? – предположил Иван Александрович.

– Может быть, и так.

Отец Сергей задумчиво прошелся по комнате и остановился перед собеседником.

– Вы вскоре не собираетесь туда? Захватите меня с собой! – попросил он.

– С удовольствием, когда вам угодно. – Иван Александрович весь просиял, так ему приятно было, что батюшка заинтересовался почитаемым им местом.

– Я давно подумываю, да как-то все не удается... Так... Вы сейчас служите, значит, будущая неделя у вас свободна... Может быть, тогда и пойдём?

– Что же. На будущей, так на будущей! Если Бог велит, сходим, – с удовольствием согласился отец Сергей.

Авилкин дол находился в сорока пяти – пятидесяти километрах от Пугачева, недалеко от сел Ивановка и Ивантеевка. Маленькая церковка Авилкина дола была приписана к ивантеевскому храму, где настоятельством отец Анисим Пряхин, брат самарского миссионера отца Сергия Пряхина. Наши паломники решили зайти к нему, взять хранившиеся в церкви антиминсы и сосуды, чтобы отслужить литургию.

Отец Анисим приветливо встретил гостей, а на вопрос отца Сергия о старцах ответил: «Неизвестно, есть ли там подвижники, но место это свято уже потому, что полито молитвенными слезами десятков, а может быть, и сотен тысяч верующих».

Отец Сергей согласился с таким мнением, но в глубине души у него все-таки жила надежда – не удастся ли узнать что-либо побольше.

Дорога от села была довольно однообразна. Кругом широко раскинулась приуральская степь. Было жарко и пыльно, но путники чувствовали особенное воодушевление. Хотелось говорить только о чем-то чудесном, вспоминались необыкновенные случаи из жизни. Иван Александрович начал рассказывать о событии, происшедшем когда-то в их семье.

Его жена Прасковья (кажется, Абрамовна) рано осиротела, и ее воспитывала не то тетка, не то совсем чужая женщина. Воспитанница горячо любила свою приемную мать, и старушка жила с ней и тогда, когда Прасковья Абрамовна вышла замуж и начала работать в местной больнице. Эта старушка, будучи уже в больших годах, заболела однажды двусторонним воспалением легких. В то время, когда не было пенициллина, такая болезнь считалась очень серьезной даже для молодых, крепких людей, а в таком возрасте признавалась безусловно смертельной. Прасковья Абрамовна была в страшном горе; как медсестра, она яснее других представляла опасность и ночами горячо молилась о помощи Божией. В одну из таких ночей она вдруг увидела преподобного Серафима (к сожалению, подробности видения не помню), который успокоил ее и сказал, что дорогая ей старушка будет жива. Сказав это, он направился к запертой двери и вышел. Прасковья Абрамовна еще провожала его глазами, когда услышала громкий зов: «Паша!» Она оглянулась и увидела, что больная, которая лежала в соседней комнате без движения и почти без голоса, стоит в дверях и громко зовет: «Паша, где ты, иди скорее! Ко мне отец Серафим приходил, просвирочку мне дал!» И действительно, в ее руках оказа-

лась необыкновенной белизны просфора. Вскоре она совершенно выздоровела и прожила еще несколько лет.

– А теперь, когда поднимемся вон на тот пригорочек, будет видно и Авилкин дол, – сказал Иван Александрович, заканчивая рассказ.

Вдали показался поросший лесом глубокий и широкий овраг, а на опушке леса, там, где верхний край дола отлого поднимался к дороге, виднелась небольшая деревянная церковка с отдельной колокольней на столбах, а рядом с ней старый, но довольно поместительный дом. Около него стояли несколько человек и смотрели на приближающихся путников. Неожиданно раздался громкий трезвон во все колокола.

– Что такое? – удивился отец Сергей.

– А здесь так принято, – улыбнулся Иван Александрович. – Священника всегда трезвонном встречают, знают, что он идет со святыней.

Гостей радушно приняла заведующая странноприимным домом: старая монахиня – крещеная татарка; у нее уже кипел громадный самовар. Новоприбывшим сначала предложили вымыть горячей водой ноги, что было очень приятно после тяжелой дороги, а потом закусить. Немного отдохнув, отец Сергей, к великой радости немногочисленных богомольцев (была самая рабочая пора), отслужил всенощную. Уже смеркалось, а в овраге и совершенно стемнело, идти туда было невозможно, поэтому все собрались на лужайке около церкви. Слушали таинственный, навевавший благоговейные мысли шум леса и тихонько разговаривали.

Невдалеке от церкви находился старинный колодец, из которого богомольцы брали воду домой и здесь пользовались ею для своих потребностей. Воды было немного, колодец зарастал. Монахиня и старик богомольец из Ивановки рассказывали, что колодец очень древний, последний раз его чистили, когда старик был еще подростком. Тогда в нем под слоем тины обнаружили два небольших, пудов по шесть-семь, колокола. Один из колоколов повесили сюда, на колокольню, а другой куда-то увезли.

– Откуда же они взялись? – задал кто-то вопрос.

– Кто знает? – задумчиво сказал старик. Говорят, в старое время тут всякого народу было... и башкиры, и калмыки налетали, и свои хуже чужих. От кого-нибудь прятали.

– А старцев тебе не приходилось видеть? – спросил отец Сергей.

– Видел один только раз, лет двенадцати еще, – ответил старик. Мы тогда с отцом тут недалеко бахчи сажали, отец и послал меня с бочкой к колодцу за водой. Это до того еще было, как его почистили, воды в нем оставалось чуть, на дне, больше полведра сразу зачерпнуть не удавалось, а то и вовсе одна жидкая грязь. Подъехал я, смотрю: возле колодца стоит монах, молится. Оглянулся на меня, спрашивает: «Ты чего, за водой приехал?»

– За водой.

Он заглянул в колодец да и говорит: «А воды-то чуть-чуть. Ну, давай ведро, я тебе начерпаю».

И начал черпать, да все по полному ведру, а я в бочку сливаю. Налили полную бочку, я и поехал. Отец меня еще не ждал, удивился, спрашивает: «Ты это что так скоро?»

– Мне, говоря, монах помог.

– Какой монах? Где? Ты у него хоть благословился?

– А я и не догадался.

Бросил отец работу, подхватил меня, да к колодцу, думал, не застанет ли монаха. Нет, ушел. Заглянули в колодец, а он полон, даже через края вода переливается. Ну а после этого случая больше никто их не видел, ни я, ни другие.

Утром отец Сергей отслужил литургию, потом побродили по лесу, теснившемуся по склонам дола. Лес был высокий, но площадь занимал небольшую, и уж, конечно, каждый его уголок, каждое мало-мальски подозрительное место было многократно и безуспешно исследовано прежними богомольцами. На опыте подтверждались слова отца Анисима: «Неизвестно,

есть ли здесь подвижники, но место это свято уже потому, что полито молитвенными слезами десятков, а может быть, и сотен тысяч верующих».

С таким выводом отец Сергей и вернулся домой.

Глава 15

Ищущий находит

Наконец-то отец Сергей нашел то, что искал, – место, с которого чтение было отчетливо слышно по всему собору! Это получилось не сразу. Уже он постепенно завоевал авторитет на клиросе, уже по его настоянию стали петь больше стихир. Следуя своему правилу: нельзя настаивать только на своем, как нам хочется своих напевов, так и другим хочется своих, – он добился, чтобы ирмосы по двенадцатым праздникам исполнялись по два раза – постные и простым напевом. Хоть с трудом, но всего этого удалось достигнуть, а чтение по-прежнему оставалось неразборчивым. Между тем оказалось, что вопрос этот был уже решен в свое время, и решен удивительно просто.

Как-то отец Сергей обратил внимание, что на средней колонне, отделяющей правый придел от центральной части собора, на ее грани, обращенной к алтарю и центру храма, укреплен массивная откидная доска. Старожилы вспомнили, что с возвышения, получавшегося, когда доску откидывали, священники раньше говорили проповеди, чтобы их было лучше слышно. Для этой цели место оказалось ненужным, так как проповедник стоял лицом к народу, и его было достаточно хорошо слышно и с амвона. А если перевести сюда чтецов с клироса? В одну из суббот отец Сергей сам прочитал с нового места канон и спросил мнения людей, стоявших в разных углах храма; в другой раз, уже в будни, попросил почитать Михаила Васильевича, заявившего себя горячим сторонником новой идеи, а сам слушал, переходя то на одну, то на другую сторону. Слышимость оказалась гораздо лучше обычной. Казалось, теперь оставалось сделать немного – указать на новое место чтецам, которые должны обрадоваться такой находке... Но не тут-то было! Чтецы не хотели идти туда. Они выслушивали доводы отца Сергея, соглашались, что с нового места звук не рассеивается, а выходить туда отказывались.

– Всегда и везде читают с клироса, нечего новшества придумывать, – заявлял самым упорный противник нововведения Михаил Алексеевич, бывший обновленческий диакон, оставшийся после отъезда Бушева одним из старейших певцов левого клироса. – Как читали, так и будем читать.

Сопротивление походило на забастовку. Чтецы явно рассчитывали на то, что если они будут настойчиво игнорировать новую затею, то она заглохнет сама собой. Действительно, дело клонилось к этому. По будням еще можно было держаться – читали сам отец Сергей и псаломщики, Михаил Васильевич с воодушевлением, а Дмитрий Васильевич скрепя сердце. Но в праздники отец Сергей служил, Михаил Васильевич был занят с хором, а Дмитрию Васильевичу было трудно одному. Хорошее начинание оказывалось близко к гибели.

Неожиданно выручил самый «шебутной» из певчих, горбатенький, суетливый старичок Григорий Егорович, «согбенный старец», как называл его впоследствии Иван Борисович Семенов. Называл он его еще и «вибрион», за то, что он не мог стоять смирно, все время «вибрировал». Гораздо прочнее привилось к Григорию Егоровичу другое прозвище, данное ему Дмитрием Васильевичем. Он прозвал его Закхеем, потому что он «возрастом мал бе».

Голос у Григория Егоровича был несильный и не особенно приятный, и в обычное время читать ему редко удавалось, а желание было большое. Ради возможности читать он не считался ни с какими партийными интересами. Едва на клиросе возникала заминка и чтецы начинали лениво торговаться, выходить или не выходить, Закхей подхватывал книгу и легкий раскладной аналой и трусил к новому месту. Оппозиционеры вынуждены были поступать так же или вообще отказаться от чтения. В конце концов, и это неопределенное «новое место» получило

через Григория Егоровича точное наименование, раз он Закхей, значит, он лезет на смоковницу¹⁰⁴. Так это название – «смоковница» – и утвердилось среди сторонников нововведения и клиросной молодежи во главе с Дмитрием Васильевичем и Костей.

Уже много времени спустя выяснилось, что среди оппозиционеров бытует другое название, как раз и определяющее причину нежелания стоять там, хотя непонятно, почему они сразу не высказали эту причину. Костя случайно услышал, как Михаил Алексеевич ядовито говорил очередному чтецу: «Иди лезь на полочку!»

Полочка! Вот в чем дело! Их смущал неказистый, несовместимый с их представлением о своем достоинстве вид этого сооружения.

Не составляло никакого труда поправить дело. Доску перестали поднимать и опускать, а закрепили постоянно в одном положении. Вместо прежней табуретки, с помощью которой взбирались наверх, сделали ступеньки, покрыли все спускавшимся со всех сторон до пола ковром, поставили настоящий аналой. «Полочка» преобразилась. Вскоре самые заядлые ее противники начали без смущения входить на нее.

Когда в Пугачев вернулся епископ Павел, снова возник вопрос, не следует ли, по примеру прошлого, и проповеди произносить со смоковницы. Посоветовались и решили, что нет, обычные не следует, лучше, когда все молящиеся стоят лицом к иконам, а не поворачиваются вбок, к проповеднику. А вот вечером, пожалуй, можно; тут создается обстановка домашнего разговора, и неплохо, если слушатели плотнее, со всех сторон, окружают священника.

После вечерни по воскресеньям в Новом соборе служили водосвятный молебен, который пели всем народом, а потом один из священников говорил уже не короткую проповедь, как утром, а длинное, иногда чуть не на час, катехизическое поучение. Объясняли некоторые молитвы, смысл и значение различных богослужебных действий, время от времени затрагивались и разъяснялись новые нападки безбожников. Вечерни любили и хорошо посещали, хотя состав слушателей был несколько иной, чем по утрам. Однако батюшки не успокаивались ни на этом, ни на том, что большинство прихожан и за литургией внимательно и как будто с удовольствием слушали их проповеди. Их заботило, почему не все так слушают, почему некоторые во время проповеди нетерпеливо переминаются и перешептываются. Может быть, даже и ушли бы, если бы проповедь была, как в других церквях, в конце службы, но в Пугачеве было принято произносить ее сразу после Евангелия.

– Мы все это давно знаем, – отвечали эти прихожане, когда кто-нибудь из священников вызывал их на откровенность. – И сами читали, и слышали сколько раз.

Конечно, чаще всего говорилось о всем известных христианских истинах, но ведь слушали же другие; да разве мало батюшкам было известно случаев, когда самые простые, общеизвестные истины, даже в самой скромной передаче, вдруг представлялись чем-то неожиданным, трогали людей до слез. Иначе, что ли, были они сказаны, другими словами, с другим чувством? Значит, нужно искать эти слова.

– О чем говорить? – спрашивали батюшки у домашних и у близких к ним прихожан. – Вы стоите в народе, слышите, как он реагирует на наши слова, замечаете, может быть, такие недоумения и недостатки, которые нам в голову не приходят. Подумайте, понаблюдайте.

Люди наблюдали, подсказывали, а потом с первых же слов проповедника с удовлетворением догадывались: в ответ на мои слова говорит.

– Иногда неплохо и к Александру Введенскому прислушаться, – заметил как-то Мочев. – Обновленец он ярый, но против безбожников хорошо выступает, и ораторские способности у него блестящие. А он, между прочим, говорит, что проповедь должна быть не длиннее десяти минут, иначе слушатели утомляются.

¹⁰⁴ Имеется в виду эпизод из Евангелия, когда небольшой ростом мытарь Закхей влез на смоковницу, чтобы увидеть поверх толпы входящего в Иерусалим Христа. См.: Лк. 19: 1–4.

– Если у него утомляются, то как же у нас? – вставил присутствовавший при разговоре сравнительно молодой священник. – Нам тогда что, три минуты говорить?

– Три минуты мало, – ответил отец Александр, – чтобы в коротких словах людей за сердце затронуть, нужно большой опыт иметь и большой дар. Но и нельзя говорить, если видишь, что люди начинают хуже слушать. Нам ведь это с амвона очень заметно – перестают глядеть на проповедника, озираются по сторонам, даже перешептываются. Тут уж скорее закругляйся и кончай.

– Хорошо говорить – кончай! А это и есть самое трудное, – снова возразил гость. – Иной раз и сам чувствуешь, что чересчур разговорился, а чтобы закончить, никак слов не найдешь.

– Слова нужно подготовить заранее, – вмешался отец Сергей. – Меня еще давно один опытный батюшка научил, подсказал конец: «Богу нашему слава, во веки веков, аминь!» Так любую проповедь можно закончить, и когда скажешь все, что нужно, и когда растеряешься и забудешь, о чем хотел даже сказать. И как-то округлее, благоговейнее выходит: начало – «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», а конец – «Богу нашему слава!» Я всегда так кончаю.

Отец Сергей и отец Александр говорили по-разному; каждый имел свой круг ценителей его стиля, и методы подготовки у них были разные. Отец Александр писал свои проповеди заранее, иногда и на амвон выходил с тетрадкой, правда, пользовался он ею очень искусно и незаметно и только в крайних случаях. Говорил он красивыми, округленными периодами, такими же солидными и спокойными, как он сам. Отец Сергей иногда долго и напряженно выбирал тему, но обдумывал только главные мысли, костяк, а говорил теми словами, которые приходили ему в голову на месте; слова иногда получались шероховатые, зато задевали душу живым чувством.

– Если писать проповеди, то заранее все переживешь и переволнуешься, а говоришь уже с холодком, – объяснял он. – А так, хоть иногда, может быть, и запнешься, зато живое слово скорее до сердца доходит.

И правда, во время его проповеди нередко слезы дрожали на глазах и у проповедника, и у слушателей.

– Ведь вот как иногда бывает, – говорил он, бьешься, бьешься, ничего не получается, думаешь уж совсем в этот раз не говорить. А подходит время, и вдруг явится мысль, как ударит, да и не только когда не о чем говорить. Случается, и была подготовлена тема, – ее оставишь, а говоришь о том, что в последнюю минуту на ум пришло. И такие проповеди бывают самые удачные.

– Хорошо вам! – позавидует кто-нибудь из молодых. – Вы привыкли говорить, не волнуетесь.

– Нет, я всегда волнуюсь, выходя, – ответил отец Сергей. – Приложишься к престолу, повернешься лицом к народу, а на тебя столько глаз смотрит... Хоть беги!.. Как тут не волноваться! Нужно только себя в руках держать, чтобы все слова не растерять, а то ведь с некоторыми и так случается.

Глава 16 Левый карман

– Дети, сейчас мне дали два рубля, отдать кому-нибудь нуждающимся. Я кладу их в левый карман вот этого подрясника, на вешалке. Имейте в виду – это не наши деньги.

В городе даже в таком сугубо личном деле, как помощь ближнему, не всегда можно обойтись без посредника. В селе это делалось проще. Все знали друг друга и дружески помогали.

Казалось вполне естественным отнести кринку молока, пару арбузов, блюдо ягод или яблок «ребятишкам», в семью, где пала корова или не уродила бахча. В другой раз, может быть, и самим так придется. Наоборот, казалась дикой мысль, что за молоко можно взять деньги. Когда после рождения Кости у Евгении Викторовны пропало молоко, а корова перестала доиться, отец Сергей все село обошел, подыскивая постоянную молочницу. Никто не соглашался продавать. «Так приходи бери, а продавать... я уж что-то и не знаю...» Пришлось завести козу.

Принять помощь от односельчан было не обидно. Вдова или калека, видевшие, что им не обойтись своими средствами, прикрепляли к стене дома ящичек для тайной милостыни; другие посылали детей, а то и сами шли «кусочки собирать». В первый раз это, конечно, было нелегко, но никого не удивляло – не голодным же сидеть. Нищие имели при себе мешки для хлеба, для муки. Профессионалы «странние» (так называли тех, которые много лет жили в селе, но пришли откуда-то со стороны) брали только муку.

Попадая в разные концы села, разговаривая с людьми, знавшими друг о друге всю подноготную, отец Сергей быстро узнавал, кто сейчас особенно нуждается. Возвратившись домой, он наказывал кухарке: «Если без меня придет вдова такая-то, насыпь ей пудовку (или две) муки». И кухарка насыпала «мерой доброй и утрашенной».

Иногда Соня спохватывалась, что исчезло какое-нибудь любимое платьице, из которого она почти еще не выросла. На ее вопрос мать отвечала: «Я его отдала». Конечно, это касалось только любимых вещей, остальные, как и рубашечки мальчиков, исчезали незаметно. Разве только после ночного пожара в селе, когда люди выскочили в чем были, дети замечали, как мама перерывала сундук и комод, собирая, что можно отдать.

Было в селе несколько бедняков – безродных вдов и калек, постоянно живущих тем, что им принесут. Перед Рождеством и Пасхой матушка на лошади объезжала их, отвозила денег, кусок мяса фунта в два-три, еще чего-нибудь на разговорье.

В голодном 1921 году, когда в селе не было семьи, где бы ели чистый хлеб, или хотя и подмешанный, но досыта, все-таки и в этом сплошном горе можно было выделить самых горьких. Однажды отец Сергей пришел домой с выражением муки и страдания, которое не изгладилось с его лица, пока он шел от школы.

– Вы бы посмотрели, что ребята Сергея Пахомовича едят, – сказал он. – Вынула его жена хлеб из печки, а он разваливается, как навоз, и пахнет навозом! – И сейчас же отнес учителю сколько-то пшеничной муки, хотя и сами пекли хлеб пополам с перемолотым подсолнечным стеблем.

Там все было просто и ясно. А в городе некоторые и хотели бы помочь нуждающимся – отметить память дорогих покойников, выполнить данное в тяжелую минуту обещание или просто удовлетворить сердечную потребность сделать кому-то что-то хорошее, так не все находили, кому дать. Нищие, стоящие около церквей, не в счет; они питаются благодаря копеечкам, которые им подают почти мимоходом. В серьезных случаях хотелось найти других, таких, которые не протянут руку на паперти, хотя нуждаются даже сильнее, чем эти нищие. В таких случаях часто прибегали к помощи батюшек – они больше имеют дела с народом, с ними настигнутые неожиданной нуждой откровеннее и принять от них легче – они только посредники. Вот и совали отцу Сергию кто рубль, кто два, а он откладывал эти деньги в левый, неприкосновенный карман и время от времени говорил: «Ну-ка, достаньте там из левого кармана, сегодня мне про такую нужду рассказали...»

Он не ограничивался только тем, что давали ему на подобные расходы другие. Туда попадала и часть того, что он больше обычного получал в церкви; иногда ему совали деньги на личные расходы, или случалось какое-то другое неожиданное поступление. В таких случаях он вносил предложение: «Это нам Бог дал, может быть, отложим из них в левый карман?» Возражений, разумеется, не было, и постепенно подобные отчисления вошли в правило. Получил и специальное значение термин «левый карман».

В поисках посредников между собой и нуждающимися люди обращались не только к духовенству. В городе была хорошо известна старушка Анастасия Ивановна, нищенка. Несколько лет назад обратили внимание, что из собранной милостыни Ивановна оставляла себе только самую малость, а остальное раздавала другим нищим или бедным многодетным женщинам. Ей стали подавать больше, а она относила остатки в больницу или в тюрьму; в тюрьме ее помощь оказалась нужнее. Теперь уже люди специально стали приносить ей кто что мог для этой цели. Дошло до того, что перед Пасхой, Рождеством и другими большими праздниками ей давали лошадь, и она везла передачи на лошади. Теперь она уже не стояла с нищими, все нужное приносили ей на дом, а ее клиентами постепенно оказалось почти исключительно духовенство. Кстати, когда на Пасху 1925 года отец Сергей после освобождения зашел в собор, именно она подала ему булочку. А на следующий год, во время обсуждения кандидатуры на священническое место в соборе, она так охарактеризовала его: «Худой, строгий, подрясник из мешковины» – и этим завоевала ему симпатии многих.

За последние годы Ивановна постарела, ослабела и уже не могла сама таскать тяжелые сумки, стала поручать это другим, но в ее избушку, как в штаб или перевалочную базу, по-прежнему стекались приношения.

С переводом тюрьмы ближе к городу, в женский монастырь, передачами занялись монахини. Некоторые передавали от случая к случаю, пока их не переселили, а одна, мать Агапия, сделала это своим основным занятием. Эта высокая худощавая старуха оказалась юркой и находчивой. Живя на монастырском дворе, она изучила порядки, заведенные у новых соседей: когда выводят на прогулку, когда на работу, через какой двор, куда. Узнала, кто из охранников разрешает поговорить с заключенным, а при каком можно только заранее спрятать узелок с передачей между грядками на плантации, а потом, «нечаянно» столкнувшись на дороге, шепнуть, чтобы искали.

Осенью работы на плантации закончились, и пришлось передавать через контору, а там принимали только от родственников. Мать Агапия узнавала уже не только имя и фамилию, а и примерный возраст нового подопечного и, в зависимости от него, называлась то его сестрой, то теткой.

– Что-то ты, бабушка, всем попам сестра и тетка! – замечал кто-нибудь из выдающих пропуска, но дальше не шло. Формальность соблюдена, и ладно.

В свое время мать Агапия много помогла Соне и другим начинающим ходить «к воротам» своими советами. На практике показывала, когда нужно стоять и ждать ответа, а когда бежать куда-то, где можно хоть издали увидеть гуляющих и работающих. Потом ее опека стала не нужна: ученицы, особенно молодые, далеко превзошли свою учительницу.

Пока в тюрьме оказывались только отдельные священники, и носили им поодиночке. Но вот в 1928 году с разных концов уезда почти одновременно привезли по несколько человек. Тут вразнобой не справиться. Может получиться, что кому-то будут приносить много, а кому и ничего. А некоторые «не искушенные от злых» могут и вообще не догадаться помочь. Отец Сергей обошел все городское духовенство и договорился, кто кому будет носить.

– Ведь и вы можете оказаться в таком же положении, – убеждал он кого-нибудь из «неискушенных». – Может быть, нас Господь для того и хранит, чтобы мы других поддерживали.

Впрочем, убеждать почти не приходилось. Почти у каждого в числе доставленных оказались знакомые, а то и друзья; у кого их не было, те брали на свое попечение незнакомых. Договорились взять по два человека. Это согласовывалось и с тюремными правилами, по которым из одних рук принимали не более двух передач, и с количеством подопечных. Заключенных отправляли дальше, иногда выпускали, на их место привозили новых, так что их количество все время колебалось около этой «нормы» – два на одного. Если же их оказывалось больше, к делу помощи привлекали диаконов и псаломщиков, – они обслуживали не более одного человека каждый – и кого-нибудь из мирян. Договорились приблизительно и о содержании передач.

Их принимали раз в неделю, значит, нужно посылать столько, чтобы хватило на неделю добавлять к пайку. Большой, восьмифунтовый, калач, килограмм вареного мяса, сахар, по возможности молоко. Кто хотел, мог добавить что-то еще, но этот минимум должен быть непременно. С помощью прихожан собирать такие передачи было посильно, хоть и нелегко. Вот в это-то время и потребовались еженедельные отчисления в «левый карман».

Разумеется, такие регулярные стандартные передачи не остались незамеченными. «Попы организовались», – сказал кто-то из проверяющих. Впрочем, это пока никого особенно не интересовало.

В числе тех, кому носили С-вы, оказался новотульский священник, отец Алексей Саблин, тот самый, который в 1923 году так ловко ускользнул от участия в съезде, а после него, в тяжелый для отца Сергия день, привез весть об освобождении Патриарха Тихона. До сих пор, когда говорили о Саблине, вставало в памяти, как он, в повозке, запряженной двумя коровами, подъезжал к дому отцу Сергия и его лицо сияло рядом с серьезными мордочками двух сынишек.

– Мелюзга у него, – сочувственно вздыхал отец Сергий. – Тем, у кого дети от рук отошли, много легче. Как говорят: «Одна голова не бедна, а бедна, так одна». Еще он хорошо держится, вида не подает, а у самого, конечно, кошки на душе скребут.

Отец Алексей почему-то один из всех священников работал на разборке недостроенного собора, и его иногда удавалось видеть. Однажды ему удалось даже забежать во время службы в стоявший совсем рядом с недостроенным Старый собор и причаститься там. Вскоре его отпразднили, а через некоторое время и его матушка с детьми куда-то уехала.

Почти через сорок лет удалось узнать один эпизод из последующей жизни отца Алексея.

Сколько-то лет спустя одна из его бывших прихожанок гостила в Казани у сестры. Сестра предложила ей съездить к старцам, жившим в лесу недалеко от Казани. Одним из этих старцев и оказался отец Алексей. Он так изменился, что женщина его было не узнала. Он сам узнал ее, окликнул и спросил о семье. Женщина эта, чуть ли не одна в селе, имела адрес матушки. Она рассказала, что ей известно, обещала наладить связь и... вернувшись домой, неожиданно умерла, не успев ничего сделать, а с ней оборвалась и последняя нить, которая могла бы соединить отца Алексея с семьей и приходом. Так и осталась его дальнейшая судьба неизвестной.

Об этой встрече случайно упомянула одна старушка в разговоре, шедшем совсем о другом. Она не смогла даже уточнить, когда это произошло – до ставшего роковым для многих 1937 года или после него.

Неизвестно ни то, как отец Алексей попал в лес, ни долго ли он пробыл там. Ни начала, ни конца. Как будто темной ночью на мчащейся по неизвестной местности автомашине на мгновение включили фары, осветили кусочек чужой жизни и снова выключили. И опять – тьма и неизвестность...

Глава 17

Школьники

** **

На левом клиросе частенько появлялся молодой паренек, чуть постарше Кости. Его звали Николай Романов, и он очень гордился своим именем. Иногда кто-нибудь из певчих, пряча улыбку, выражал сожаление, что у него не все получилось гладко, что он не Александрович, а Игнатьевич.

– А если бы Александровичем был, меня бы давно свергли, – горячо возражал Николай.

Однажды обнаружилось, что на эмалированном абажуре электрической лампочки (были тогда и такие) выцарапана его фамилия.

– Это не я, это Димитрий, – оправдывался он.

– Я? – возмутился Димитрий Васильевич. – У меня, кажется, своя фамилия есть. – Если бы мне так уж загорелось расписаться, я бы своей расписался.

Николай покорно выслушал все, что нашли нужным сказать ему старшие, потом шепнул Косте: «Все равно это Димитрий, я только на себя вину принял».

Чем-то этот суматошный, простоватый паренек понравился Косте, они подружились. Может быть, потому, что Николай мог без конца самозабвенно слушать «умные разговоры», а Косте, как и раньше, не хватало собеседника.

В восьмом классе Костя окончательно увлекся философией. Помогло ему то, что теперь он получил возможность доставать книги через учителей. В первый раз он встретился с настоящими, хорошо знающими свое дело, преподавателями, имеющими высшее образование. Каждый по-своему привлекал его: и Н. И. Заседателей, сын местного единоверческого священника, и яркий оратор Баскаков. Впрочем, последний недолго восхищал учеников. Старшеклассники были требовательны. Они скоро открыли, что звонкие, красивые фразы Баскакова довольно-таки легковесны, и с улыбкой говорили про него: «Это наше солнышко, которое светит, но не греет». Больше других помог Косте учитель математики Андрей Васильевич Антропов. Он обратил внимание на способного, серьезного новичка, поговорил с ним и предложил пользоваться своей библиотекой. Костя набросился на книги по истории философии. Теперь он читал не так, как когда-то раньше, не щеголял количеством прочитанных страниц, а работал по-настоящему – перечитывал по несколько раз заинтересовавшие его места, выписывал наиболее характерные определения, делал конспекты. Пятьдесят четыре ученические тетради, исписанные его убористым почерком, давали ему при возможности воспроизвести в памяти прочитанное. На это ушло около года. Наконец и эта возможность иссякла. «Больше у меня ничего нет, – сказал ему Андрей Васильевич. – Если бы вы владели каким-нибудь иностранным языком, я бы еще много мог дать, а по-русски вы все у меня прочитали».

Конечно, Костю не удовлетворяло одно чтение и конспектирование, ему хотелось и поделиться своими новыми сведениями, а поговорить было не с кем. Отец Сергей, с глубоким удовлетворением следивший за тем, как вырослел и развивался его сын, когда только возможно, вел с ним разговоры, как равный с равным. Но свободного времени было мало, а тем для разговора много, и из них философия была далеко не самой главной. Соня и Миша слушали брата постольку, поскольку невозможно было жить рядом с Костей и оставаться равнодушными к его увлечениям, но, занятые каждый своим, не стремились углубляться в дебри философии. Поэтому Николай Романов был для Кости настоящей находкой. Он не мечтал о чести понимать то, о чем рассуждал его товарищ; он только с упоением слушал странные, звучные слова: «трансцендентный», «имманентный», «категорический императив», – и не менее звучные имена: Лейбниц, Фейербах, Шопенгауэр – такие слова и не выговоришь сразу. Вот фамилия Кант – другое дело; она произносится легко, да и Костя говорит о Канте больше, чем об остальных. Скоро Николай и Костю начал звать Кантом.

– Нагрешник этот Николай Романов, – рассказывал как-то Костя с обычным своим коротким, словно смущенным, смешком. – Влетел в большую перемену в школу, несется по коридору и орет: «Кант! Где Кант?» Я уж от него в физкабинете между шкафами спрятался. Недоставало того, чтобы меня в школе Кантом прозвали!

В школьном самоуправлении Костя занимал должность заместителя председателя санитарно-хозяйственной комиссии, сокращенно «зампредсанхозком». Ребята оценивали всю соль такого «сокращения» и со вкусом развивали его всякими дополнениями. В конце концов его титул принял форму:

«зампредсанхозкомгосспиртшвеймашинарпитупромкомбинат». Ну, да такое словечко часто говорить не будут, прозвищем оно не станет.

Одной из обязанностей зампреда с таким громким продолжением было следить, чтобы никто не оставался в школе в головном уборе. Костя только добродушно посмеивался, когда кто-нибудь из младших школьников, завидев его в коридоре, с преувеличенной поспешностью и деланным испугом стаскивал с головы шапку. Все это было в порядке вещей, но Кантом в школе он не хотел быть, и так поговорил с Николаем о его выходке, что даже тот понял – всему есть предел.

Между тем сам Костя любил пошутить и легко подмечал смешное. Да и в семье у них, несмотря ни на что, всегда было весело и оживленно. Дух бодрости отца Сергия передавался всем, и, по-видимому, именно это влекло в маленький батюшкин домик не только Николая, но и более серьезных людей – Михаила Васильевича, отца Александра, даже сначала державшегося в отдалении Димитрия Васильевича.

Чавкала в худых сапогах знаменитая пугачевская грязь, годами носились сшитые бойкими самоучками уродливые пальто и пиджаки, зимой сидели, закутавшись во все что-нибудь теплое и время от времени растирая мерзнувшие руки, а все, начиная с отца Сергия и Юлии Гурьевны и до Наташи, с живейшим интересом встречали нового посетителя, слушали рассказы и о школьных делах, и о приходских или государственных новостях. Серьезный разговор вдруг прерывался шуткой, раздавался смех, и опять все молчали и слушали.

Костя был лучшим рассказчиком в семье. Он не только подмечал ускользающие от других интересные или смешные детали, но и умел передать их. Соня не раз пыталась при новых слушателях повторить чуть не слово в слово его рассказы, и – никакого эффекта. А стоило ему вмешаться и начать рассказывать с обычным серьезным видом и только слегка вздрагивающими уголками губ – и на лицах слушателей появлялась заинтересованность и веселые улыбки.

Разговор кончен. Романов рассматривает поданный ему Костей том исследований профессора Юнгера о Книге пророка Михея. Материал подан сухо, даже Костя не смог одолеть его, но он дорожит книгой только ради надписи на заглавном листе: «Дорогому Евгению Егоровичу от автора».

– Значит, в вашем роду авторы были? – с почтением спрашивает Николай.

Проникшись уважением к «учености» новых знакомых, Николай усиленно старался поддержать и свой авторитет в их обществе. Однажды, влетев, по обыкновению, как сумасшедший, он с ходу начал рассказывать, что его укусила пчела. «Шишка в два диаметра вскочила», – вдохновенно повествовал он, а когда Соня не выдержала и расхохоталась, поправился: «Я же шучу! Разве я не знаю, что диаметр – это больше метра!»

В другой раз он сообщил, что всерьез занялся самообразованием, начал читать словарь иностранных слов.

– И до чего же ты дошел? – поинтересовался отец Сергей.

Роковая судьба Николая подсунула ему на язык одно из любимых Костиных словечек, и он выпалил пред охнувшей от восторга аудиторией: «До абсурда».

Романов работал рассыльным в прокуратуре и гордился этим почти столько же, сколько своей фамилией. Отец Сергей иногда добродушно подшучивал над ним. «Подумать только, в прокуратуре работает! Не важно кем, а важно, что в прокуратуре. Это тебе не баран чихнул! Уж ты, Коля, в случае если нас туда потащат, помоги по-дружески!»

Николай внимательно всматривался в батюшку, стараясь понять, в чем тут шутка, на всякий случай обещал солидно: «Помогу».

Какая горькая правда крылась в этой шутке! Впоследствии каждому члену семьи в отдельности и всем вместе не раз приходилось убеждаться, как много может значить доброе или недоброе расположение такого вот маленького человека.

Наташа приходила из школы с целым ворохом новостей, которые спешила выложить за обедом. Иногда к ней приходили подруги заниматься вместе, и тоже не только занимались, но и болтали о школьных делах.

Отец Сергей присматривался к девочкам, внимательно слушал рассказы дочери, а потом говорил иногда всего только несколько слов, но таких, которые заставляли Наташу посмотреть на все другими глазами. Она вдруг понимала, что они (Наташа и подруги) были неправы, возмущаясь нетоварищеским поступком одной из подруг; что выходки озорника Голова не смешны, а возмутительны; отчасти она понимала и главное – что отец всегда около нее, на страже. Он наблюдал и за ней, и за всем новым, что появлялось в мальчиках, только там нужны были другие методы, другой, более тонкий подход, особенно к Мише, у которого все было в брожении.

Миша по школе был старше Наташи на класс, а по годам на пять лет. Держался он солидно, но с той настороженной самостоятельностью, которая бывает у вчерашних подростков, считающих себя взрослыми, но еще не уверенных, что настоящие взрослые примут их всерьез. Отец Сергей старался не задевать этого больного места; он, например, никогда не проверял уроков ни у него, ни у Кости. Впрочем, он действительно надеялся на них.

Наташа тоже становилась все самостоятельнее, хотя ни она, ни Соня еще не забыли о своих отношениях учительницы и ученицы, и Соня продолжала следить за ее занятиями по русскому языку. Грамотность в школе сильно хромала, и учительнице русского языка было не до того, чтобы вырабатывать еще и слог учеников. Наташа была грамотнее других, значит, не требовала особого внимания учительницы, и Соня боялась, как бы она не опустилась до общего уровня. Поэтому она просматривала письменные работы Наташи, но не до проверки их учительницей, а после, чтобы ее замечания не оказались подсказкой. Наташа еще продолжала считаться со старшей сестрой и обращалась к ней за разрешением своих недоумений.

– Посмотри, Сонинька! – смущенно попросила она как-то. Само полузабытое слово «Сонинька», которым она несколько лет назад называла сестру, желая приласкаться, показывало, что девочка растерялась.

– Вот, посмотри, по-моему, я написала правильно: «Здравствуй, солнце, до утра веселое!» А Ольга Ивановна зачеркнула и написала: «Да утро». Я не понимаю.

– А как ты понимаешь все предложение?

– Ну, что солнце всегда веселое, с вечера до утра.

– Девочка, как оно может быть веселым с вечера до утра? Ведь его в это время не видно. Это надо понимать так: солнце и утро.

– А, ну теперь понятно, – с удовлетворением ответила сестренка. – Значит, я правда ошиблась.

Как-то ее класс писал сочинение на вольную тему. Наташа написала о наводнении 1926 года. Ольга Ивановна похвалила ее, сказала, что написала интересно, но исправила одно слово: вместо «долевой» пароход написала «дольный». Наташа опять сунулась к Соне.

– Что же поделаешь, это специальное волжское слово, а она не волжанка, – вместе решили сестры.

Было еще сочинение «Самый печальный случай в моей жизни». Наташа написала о смерти маленького братца Сережи. Отец Сергей, потихоньку от младшей дочери, не одобрил заданную тему.

– Разве можно давать такие? – сказал он. – Конечно, они еще подростки, но у некоторых из них могут быть и очень тяжелые воспоминания; зачем заставлять их снова переживать старое? Хорошо еще, что Наташа вспомнила только про Сережу, а не про маму.

Мишин класс тоже писал на вольную тему, и написал «Разговор крестьянина с рабочим в вагоне». В «Разговоре» были переданы и взгляды, и стиль речи рабочего и крестьянина. Вообще, Миша, бывший всегда вторым, когда учился вместе с Костей, теперь считался одним

из лучших в классе, но особенного пристрастия ни к одному предмету не проявлял. Его интересовало другое – домашнее хозяйство, которого теперь не стало, лошади, цыплята. Он хорошо рисовал животных, особенно лошадей.

Еще когда С-вы жили в Острой Луке, к отцу Сергию ездил посоветоваться любитель-пчеловод, по специальности художник. Случайно увидев какой-то Мишин рисунок, он попросил показать и другие и заявил, что у мальчика несомненный талант, что ему нужно поступать в художественное училище. «Если бы я жил поближе и бывал почаще, я сам взялся бы учить его, – говорил он. Ведь есть же художники, которые прославились, рисуя кошек или собак. Может быть, и Миша добился бы известности своими лошадьми. Вы смотрите, как его лошади сгибают ноги. Сразу видно, что вот эта идет крупным шагом, а эта бежит рысью. Нужна большая наблюдательность и чутье, чтобы изобразить это самостоятельно, без подсказки».

Попасть в художественное училище сыну священника нечего было и думать. Так и остался Миша при том, чему научился самоучкой. За человеческие лица он не брался, только раз, уже взрослым, довольно похоже написал акварелью на серой оберточной бумаге автопортрет. Обыкновенно же люди у него появлялись только там, где лицо оказывалось незначительной подробностью, например, в карикатурах для стенгазеты, или в том, что с легкой руки Николая Романова, называлось «дружеский жорж». В таких рисунках важна была выразительность фигуры, а это у него хорошо выходило. Большую роль в них играли второстепенные персонажи – смеющееся или удивленное солнце, которое выглядывает из-за горизонта, уцепившись пальцами за край земли; возмущенная или испуганная сорока, собачонка, которая, то, захлебываясь от лая, хватается кого-то за ногу, то испуганно прячется в дальний уголок. Лучше всего выходили случайные рисунки-шутки, неожиданно появлявшиеся на первом попавшемся обрывке бумаги или на старом конверте.

Уже лет десять спустя, сидя в дружеской компании за вечерним чаем, Миша что-то чертил карандашом на полях посланной вместо скатерти газеты. Скоро там оказалась серия рисунков, изображающих драку различных животных. Два здоровенных быка сцепились рогами в отчаянной схватке; с пронзительным ржаньем лягаются лошади; две собаки сплелись в пестрый клубок, из которого летят в стороны клочки шерсти; потом белая собака удирает во все лопатки, а черная со сосредоточенно-деловым видом гонится за ней. Два кота, ошетилившиеся, с извивающимися хвостами, стоят друг против друга в угрожающих позах, таких живых, что, кажется, слышишь отчаянные, режущие ухо вопли, которыми каждый старается утратить другого. Эти же коты, пустившие в ход когти и зубы. Две козы, поднявшиеся на задние ноги, чтобы нанести взаимный удар всей тяжестью своего тела. Сорока, с победоносным видом треплющая за хохол взъерошенную, бессильно разинувшую клюв, соперницу...

Рисунки передавали из рук в руки, смеялись, хвалили. Кто-то обратил внимание на то, что на всех рисунках можно было понять, кто победит. Общий восторг усилился, когда заметили, что везде побеждают черные животные. Дело в том, что сам Миша обыкновенно ходил в темной рубашке, а его приятель Павел Иванович – в белой. А серию борцов из животного мира завершали два боксера, из которых черный окончательно и бесповоротно одолевал белого.

Это было много лет спустя, а тогда, на рубеже 1927–1928 годов, становилось ясно, что не только в художественную школу, а в восьмую группу Мише попасть не удастся.

Летом 1928 года снова начались хлопоты, тревоги, поиски. После долгих волнений узнали, что на станции Ершово, откуда проходила железнодорожная ветка на Пугачев, будет открыта восьмая группа на родительские средства. Это было измышление тех сложных лет, которое, впрочем, продержалось недолго. Руководители школы подсчитывали, во что обойдется содержание еще одной группы и каждого ученика в отдельности, включая сюда зарплату преподавателям и обслуживающему персоналу, отопление, освещение, ремонт и т. п.; накидывали еще сколько-то, как резерв на непредвиденные расходы. Родителям, не имевшим другой

надежды устроить детей, предлагалась довольно кругленькая сумма взноса. Родители кряхтели, но другого выхода не было.

Отца Сергия выручили кролики. В те годы чуть не все поголовно занимались разведением кроликов, благо заготконтора охотно принимала шкурки и можно было купить племенных животных. Отец Сергей с Дмитрием Васильевичем купили несколько пар наиболее ценных пород, с пломбами в ушах. Да, именно с Дмитрием Васильевичем. К этому времени острые углы обтерлись, отец Сергей и Жаров попривыкли друг к другу, нашли общий язык, и вот даже в складчину купили кроликов. Отец Сергей не столько радовался дополнительному доходу, хотя он был серьезным добавлением к бюджету семьи, сколько установившимся добрым отношениям. А Костя так по-настоящему подружился с Дмитрием.

В уходе за кроликами Дмитрий Васильевич почти не участвовал. Клетки стояли в сарае у С-вых, и, естественно, ухаживать приходилось им, главным образом Мише. До его отъезда кролики были почти исключительно на его попечении. Особенно любил он возиться с молодняком от двух недель до двух месяцев – пушистые зверьки в этом возрасте прелестны. Самых маленьких подкармливал сепараторным молоком из пипетки. Подросших кроликов забивали. Этим занимался уже Дмитрий Васильевич, так как отец Сергей не мог убивать животных по своему сану, а Миша – по любви к ним.

Молоко для кроликов покупали у одной вдовы, державшей коз. Такая мелочь, как покупка сепараторного молока, помогла укрепиться случайному знакомству, которое началось при не совсем обычных обстоятельствах, а впоследствии перешло почти в дружбу. Вот как это получилось.

Незадолго до каникул Наташа принесла из школы сенсационную новость – ее одноклассник Николай Иванов сбежал из дома. Он плохо учился, ленился, мать пригрозила ему, а он ушел. Через несколько дней к отцу Сергию пришла эта мать, Прасковья Матвеевна. Смуглая, худая, с большим «восточным» носом, по которому одна за другой стекали слезы, она сидела против отца Сергия и рассказывала.

– Да, побила его и еще пригрозила, а он вот что сделал. Не со страху, что там мои удары для большого пятнадцатилетнего мальчишки, а от обиды. Самолюбивый он, вольный, без отца рос; старшие не такие, с ними легче было. Старшие уже разъехались, работают. И им писала, спрашивала, не у них ли Коля, – нет ни у того, ни у другого. Может быть, уж и в живых нет?

– Вернется, куда он денется, – успокаивал отец Сергей. – Не он первый, не он последний. Еще когда я учился, бывали такие случаи – начитается разных приключений да и убежит в Америку или на Кавказ, а его с первой станции воротят. Так и с вашим будет.

Прасковья Матвеевна приходила еще несколько раз. Сын пропал недели две, и мать что ни дальше, то больше беспокоилась. Наконец он явился – действительно, попытался пробраться на Кавказ, оттуда они были родом, да голод заставил вернуться. Прасковья Матвеевна пришла поделиться радостью, а потом продолжала заходить просто так, отвести душу.

– Молиться-то я не умею! – жаловалась она отцу Сергию. – Когда Коля пропал, как горячо молилась, со слезами. А теперь надо бы так же благодарить, а у меня не выходит.

– Да, а ведь и этого мало, – отвечал отец Сергей. Надо не только просить и благодарить за полученное, а еще и бескорыстно восхвалять Господа. А то у нас как: кланяемся, когда поют «Господи, помилуй» или «Поддай, Господи», а когда «Тебе, Господи!» или «Слава Тебе, Боже наш!» – так у нас словно рука отсохнет – стоим столбом, как будто это нас не касается!

– Батюшка, у меня еще вопрос, – заговорила как-то Прасковья Матвеевна. – Мы всегда привыкли, что от Пасхи до Троицы нельзя в землю кланяться, а после Троицы в положенных местах вставали на колени каждую службу. А недавно один старик говорил, что по правилам не полагается по воскресеньям на колени вставать?

– Есть такое правило Трулльского собора, да не для нас оно писано, – отвечал отец Сергей. – Канонические правила – дело серьезное, ими всегда нужно руководствоваться, но не кое-как, а с рассуждением. Некоторые правила в свое время были необходимы, а теперь их выполнять нельзя. Есть, например, такое правило, что если человек без уважительной причины три воскресенья подряд не будет у литургии, то он отлучается от причастия. Так ведь это было возможно тогда, когда христиане каждое воскресенье причащались. А теперь народ ослабел, попробуй это правило применить, так половину отлучать придется. Или еще. За тяжелые грехи отлучались от причастия на десять, пятнадцать, а то и двадцать лет. А теперь если отлучить кого хоть года на три, он и на четвертый к причастию не пойдет, отвыкнет. Так и с коленопреклонением. Раньше много было подвижников, которые каждый день клали десятки, а то и сотни земных поклонов; им-то это правило и давало отдых в воскресные дни. А нам от чего отдыхать? Сейчас редко кто дома поклоны кладет, да и в церковь ходят только по воскресеньям и по большим праздникам. Так если им еще и здесь запретить коленопреклонения и земные поклоны, значит, они совсем, никогда и нигде не будут делать, а ведь большинство только на коленях от души и помолятся. Нет, для нас и того достаточно, если мы от Пасхи до Троицы от земных поклонов воздержимся. Ведь недаром на Троицу читаются молитвы с коленопреклонением, дается нам на это благословение на целый год.

– А еще, – добавил отец Сергей, – я опять про обычную повседневную молитву скажу. Если что просите, нужно просить усердно, как евангельская вдова у судьи, но не требовать от Господа, а всегда добавлять: «Да будет воля Твоя». И не просто языком добавлять, а так и чувствовать, что Он лучше нас знает, что нам на пользу. Значит, исполнит Он нашу просьбу или нет, благодарить Его нужно всегда.

Глава 18

Диспут

– Вот досада, разбил бутылку с керосином! – Отец Сергей с трудом стащил намокшие в керосине варежки и начал мыть руки. Руки у него были красные, оковеневшие, с негнувшимися пальцами. По боку стеганого подрясника расплывалось темное, с острым запахом пятно.

– Недалеко и нести-то оставалось, так вот на тебе, сломалась корзина, бутылка выскользнула, и сам весь залился, и керосин пропал!

Носить керосин из ларька на площади было тяжелое дело. Керосин не замерзал ни при каком морозе, зато температура его понижалась вместе с температурой воздуха. Если нести его в четверти, стекло, охлажденное изнутри керосином, жгло даже сквозь рукавицы, да и неудобно в рукавицах, того и гляди выскользнет бутылка; приходится ограничиваться варежками, а в варежках руки застывают так, что хоть кричи. Да и надолго ли хватит четверти, много если на неделю или дней на восемь. Вдобавок керосин пачкал, носить его было одним из самых неприятных дел, никому не хотелось за него браться. Отец Сергей предпочитал сразу приносить большую, литров на двадцать пять, стеклянную бутылку в корзине: обвяжет корзину веревкой и тащит. И вдруг такая неудача!

Да, сколько ни уделяй времени высшим интересам, а от хозяйственных забот тоже не уйдешь. Можно не говорить, даже не думать в церкви о ценах на хлеб и сено, а совсем забыть об этом хлебе, о керосине и топливе тоже нельзя. Нельзя не думать, как дай себе волю, пусти на самотек, и не хватит приносимой раз в неделю кучки денег. Неудача с керосином обидна не только потому, что бесполезно устал и замерз, что нужно замывать и выветривать подрясник, а и потому, что разбитая бутылка и пролитый керосин стоят денег.

Едва успел отец Сергей отогреться и пообедать, как явился неожиданный гость – невысокий, коренастый, еще молодой мужчина с немного одутловатым лицом. Он назвал себя председателем Союза безбожников Бочкаревым и предложил отцу Сергию выступить оппонентом на диспуте, который намечался через неделю.

– На какую тему?

– Происхождение религии.

Отец Сергей поморщился.

– А какие условия?

Условия были кабальные. По две речи той и другой стороне, после первых речей ответы на вопросы, выступления желающих, не более пятнадцати минут, заключительные речи. Это нормально, но безбожникам давалось полтора часа на первую речь и час на вторую, а верующим – вдвое меньше, и притом у безбожников были и первая и последняя речи.

– У нас, бывало, на беседах со старообрядцами и сектантами времени давалось поровну, и у одной стороны было вступительное слово, а у другой – заключительное, без новых доказательств, – попробовал возразить отец Сергей.

– Такой регламент, – отрубил Бочкарев, – мы организуем диспут, мы и начинаем, и заключительная речь должна быть наша.

– Без новых доказательств, – уточнил отец Сергей.

– Само собой.

Отец Сергей отложил ответ на завтра, чтобы подумать и посоветоваться. В глубине души он чувствовал, что отказываться нельзя. Бочкарев уже намекнул, что диспут все равно состоится, найдется кто-нибудь из публики, кто будет возражать. Но при этом безбожники будут играть на том, что попы не пришли, испугались, а это хуже всякого провала. Если согласиться, то, хотя и в неравных условиях, все-таки что-то успеешь сказать, чего те, кто не ходит в церковь, без этого никогда бы не услышали. А если еще подчеркнуть, что не хватает времени, то для беспристрастных слушателей будет понятно, что у верующих имеются простые и ясные ответы и на остальные вопросы, хотя они и кажутся неразрешимыми. Да, именно ради этого и нужно соглашаться, а вообще хорошего мало. И тема не основная, расплывчатая, где трудно определить, о чем будут говорить противники, да еще дающая простор для всяких враждебных выпадов. И времени для подготовки мало; безбожники-то, конечно, сначала основательно подготовились, а потом уже пошли договариваться. А тут в неделю и материал нужно подобрать, и речи обдумать со всеми возможными вариантами, в зависимости от того, что будут говорить противники. И все одному, без помощников. Что Моченев не желает выступать, это уже известно, Бочкарев ходил сначала к нему.

– Что вы при таких условиях можете сделать? – сказал отец Александр, когда отец Сергей пришел посоветоваться. – Только осрамитесь да лишних недоброжелателей наживете.

Старик отец Иоанн Заседателев, единоверческий священник, пожалуй, и не прочь бы был принять участие в диспуте, но отец Сергей сам не хотел этого. Образование отец Иоанн имел небольшое, что-то вроде миссионерской школы, но это бы не испугало отца Сергия.

Мешало другое. Заседателев много читал. У него имелся богатый материал против атеизма, особенно по вопросам о происхождении мира, жизни и человека, который он собрал, пользуясь библиотекой сына-преподавателя. Но все это укладывалось в голове отца Иоанна как-то не так, как понимал отец Сергей; говоря на эти темы, они часто спорили. Сейчас, заикнись только, Заседателев с удовольствием возьмется помогать, но поведет свою линию и будет только помехой. Поэтому отец Сергей побывал у него, попросил материал, выслушал советы, а его довольно прозрачных намеков будто не понял.

Конечно, если бы предложение Бочкарева застало отца Сергия совсем врасплох, он мог бы и отказаться от выступления. Но вопрос назревал давно, и давно чувствовалось, что рано или поздно придется столкнуться с ним вплотную. В Москве уже не первый год гремели дис-

пути сначала архиепископа Илариона Верейского, потом А. Введенского с Луначарским и другими. Еще в 1924–1925 годах в селах около Хвалынска выступали на диспутах священник отец Гавриил и псаломщик Николай Александрович Каракозов. Чтобы находиться в курсе дела, отец Сергей читал и апологетическую, и антирелигиозную литературу, выписывал газету «Безбожник» и журнал «Антирелигиозник». Он завел несколько тетрадей на разные, касающиеся религии темы, куда вписывал из прочитанных книг все, что могло впоследствии пригодиться. Но это был пока еще сырой материал, отдельные мысли, отдельные цитаты, которые нужно было соединить, логически увязать, предусмотреть все возможные возражения, не оставив незащищенным ни одного пункта.

Как на грех, и этих тетрадей под рукой не было, их выпросил знакомый батюшка из села. Конечно, за ними срочно послали, но дорогие часы уходили, план пришлось составлять еще без них.

Моченев имел постоянную связь с Саратовом, где училась его дочь. Там диспуты были уже не в диковину, существовал даже кружок верующей интеллигенции: врачи, юристы, инженеры – они, каждый по-своему, участвовали в работе. По рукам ходили записи выступлений отца Аристарха Полянцева. Через знакомых отца Александра обратились туда за помощью и чуть не накануне диспута получили несколько тетрадей, на проработку которых почти не осталось времени.

Не дожидаясь помощи, которая или придет, или нет, отец Сергей работал целые дни. Всю неделю он вставал еще раньше обычного и сидел до позднего вечера. Несколько раз произносил свою речь вслух, чтобы определить, сколько времени она займет, а потом в одном месте сокращал, в другом добавлял недостающее. У него была привычка говорить во сне, когда он был чем-нибудь взволнован. Иногда, не поняв, что он спит, кто-нибудь переспрашивал. Отец Сергей отвечал и сразу же просыпался. Теперь он говорил чаще обыкновенного, а в один из вечеров обменялся с Соней несколькими как будто вполне сознательно сказанными фразами и так и не проснулся.

Нечего скрывать, беспокоил всех и еще один вопрос. Он был у всех на языке, но задать его решила только Юлия Гурьевна, и то лишь тогда, когда стало ясно, что отступать уже нельзя и что вопрос не будет понят как попытка отговорить.

– А вам за это ничего не будет? – спросила она.

Отец Сергей пожал плечами: «Сейчас не будет, неудобно, если народ поставит это в связь, а после отыграются».

Кажется, на третий вечер после посещения Бочкарева отца Сергия спросил другой незнакомец, благообразный чернобородый мужчина лет тридцати семи. Он истово перекрестился на иконы и отрекомендовался: «Николай Андреевич Роньшин. Услышал, что вы согласились выступать на диспуте, и пришел предложить свои услуги в качестве помощника».

– Проходите, пожалуйста, – пригласил отец Сергей.

Роньшин сел на предложенный стул и продолжал: «Я имею одну книгу. Соломон Рейнак...»¹⁰⁵ – Он вынул толстую книгу, по внешнему виду которой было понятно, что ею частенько пользовались, но и тщательно берегли ее.

– В ней очень много хорошего материала. Вот, например... – Роньшин уверенно открыл одну страницу, другую, третью. Цитаты, которые он прочитал, были действительно ценные, и прочитал он их в таком порядке, чтобы создать цельное, все усиливающееся впечатление. Как опытный миссионер, отец Сергей оценил и то, что у гостя красивый и, по-видимому, сильный голос, прекрасная дикция, и держится он свободно и уверенно, как человек, привыкший, чтобы его слушали.

¹⁰⁵ Рейнак Соломон (1858–1932), французский историк культуры, искусствовед и археолог. Автор многочисленных трудов по археологии, всеобщей истории, истории литературы и религии, филологии, грамматике и т. д.

– Мне уже приходилось пользоваться этой книгой у себя на родине, – продолжал Николай Андреевич. – Правда, начал я не с нее, а с «Толкового Евангелия» Гладкова. Раз объявили диспут, священник почему-то отказался, а я пошел послушать и Евангелие захватил. Определенного намерения у меня не было, а так, на всякий случай. Пришел, послушал. Говорят о Воскресении Христа, у Гладкова это хорошо разобрано. Я попросил слова, говорю: «Я от себя сказать не могу, а вот из книги прочитаю». И прочитал несколько страниц, да так кстати получилось, что им и отвечать нечего. В другой раз диспут наметили, меня уж специально пригласили. А я после первой легкой победы пришел не подготовившись. И был бит.

– И на этом дело закончилось?

– Нет, – улыбнулся Роньшин. – Только потом я с подготовкой выступал. Вот тут и Рейнаком начал пользоваться.

Проговорили до позднего вечера, на следующий день встретились еще. Договорились, что первую, основную речь будет говорить отец Сергей, а вторую – Роньшин. Это тоже нелегко. Нужно найтись, ответить на все вопросы, которые будут заданы в прениях, добавить то, чего не успеет сказать основной оппонент. Тут же тщательно условились, кто о чем будет говорить, чтобы не повторяться и не упустить чего-нибудь важного.

– Кажется, Бог послал хорошего помощника, – заметил отец Сергей, проводив гостя.

Клуб, в котором должен был проводиться диспут, теперь показался бы странным даже в селе. Раньше в нем был магазин или склад какого-то купца. Это было длинное низкое здание с небольшой сценой с одной стороны и самодельными плакатами и лозунгами на стенах. Места на диспут занимались заранее, да и как занимались – битком, сколько могло втиснуться на узкие, без спинок скамейки. Еще задолго до начала зал был полон и двери закрыты, однако едва начал говорить первый оратор, у входа послышался треск, шум – толпа сломала двери и ворвалась в помещение. Люди заполнили свободное пространство у задней стены, втискивались между скамейками, которые от их напора сдвинулись до того, что придавили ноги сидящих. Шум, крик. Председатель напрасно старался водворить порядок.

– Товарищи! – кричал он. – Давайте потише! У меня глотка хоть и луженая, а я вас перекричать не могу!

Прошло немало времени, прежде чем все успокоились, и докладчик начал свою речь сначала.

Это происшествие оказалось на пользу другу отца Сергея, Сергею Евсеевичу. Он случайно приехал, когда все уже ушли. Дома оставались только Наташа и Юлия Гурьевна, которая чувствовала, что не может слушать безбожников. Увидев приехавшего, она заторопила его – может быть, еще успеет. Сергей Евсеевич побежал в клуб, потолкался некоторое время у входа и, когда дверь открылась, вошел вместе с другими в зал.

Соня сидела в зале, а Костя, которому отец Сергей поручил держать и по мере надобности подавать подсобный материал, прошел за кулисы вместе с Жаровыми. Все были напряжены и взволнованы. Особенно волновалась Женя Жарова. Когда начал говорить основной оратор-безбожник, молодой врач Лушников, она несколько раз порывалась встать и уйти.

– Не могу я слышать такой мерзости! – возмущалась она.

– Потерпите! – уговаривал ее Костя. – Подождите, вот наши будут говорить!

Вторым выступил отец Сергей. Женя повеселела.

Вдруг в разгар речи в зале потух свет. Произошла заминка. Наконец откуда-то принесли стеариновую свечу, и отец Сергей продолжал свое выступление. Но контакт с залом был уже нарушен. Публика, не привыкшая долго слушать серьезные речи, и без того была утомлена полуторачасовым выступлением Лушникова. Внимание рассеялось и долго не могло восстановиться. Мешала и необычная обстановка – темнота и слабое пламя свечи, бросавшее дрожащий отблеск на лицо оратора.

– Нам страшно было, когда твой отец говорил, – признавались потом Косте его товарищи. – Худой, строгий, свечка его едва освещает... Жутко!..

Понятно, что в таком настроении было не до того, чтобы вникать в смысл речи.

Свет через некоторое время дали, но это еще раз отвлекло внимание слушателей. Авария настолько снизила впечатление от доклада, что некоторые потом высказывали подозрение – не нарочно ли это было подстроено? Может быть, и не руководителями, а кем-нибудь из слишком горячих болельщиков.

После перерыва начали говорить желающие. Среди выступавших в прениях безбожников было несколько человек, несомненно подготовленных заранее. Среди них выделялись Мурзалев, преподаватель обществоведения во второй ступени, и его тесть Ефименко. Особенно первый.

Мурзалев учился в «Тихоновской академии» – миссионерской школе, открытой архимандритом, впоследствии митрополитом Тихоном, – и любил играть на этом, утверждая, что именно эта школа сделала его атеистом. В своих выступлениях он не пользовался даже теми мнимонаучными данными, какими щеголяли его товарищи. Он любил говорить о доходах, которые получали до революции некоторые епископы и монастыри, о притеснениях старообрядцев при Николае Первом, со смаком размазывал некрасивый поступок какого-нибудь священника. При этом он не мог, или делал вид, что не может, держаться спокойно, как-то особенно жестикулировал, с ехидной улыбкой отпускал ядовитые шуточки, рассчитанные на молодежь круга воинствующих безбожников. Эта молодежь была от него в восторге, встречала и провожала его аплодисментами, а для верующих его выступления были самыми тяжелыми не по убедительности, а по тону.

Однажды кто-то возмущался грубостью ораторов, употреблявших слово «попы».

– А что тут обидного? – отозвался отец Сергей. – Поп – значит «папа», «отец». Когда так говорит, скажем, какой-нибудь крестьянин, у него это слово звучит не грубо, а даже с уважением. Все дело в тоне, в настроении, с каким слово говорится. Вон Мурзалев говорит «священнослужители», так от этого мороз по коже пробирает.

Чтобы не передавать своими словами полузабытые факты и впечатления, приведу стихотворение, написанное Костей через несколько месяцев после диспутов. С внешней стороны оно оставляет желать многого: постоянно меняющийся ритм, неправильные выражения. Костя и сам понимал его недостатки и писал для себя, потому что только об этом и думал. Зато в стихотворении есть то, что не всегда сохраняется в хорошо отработанных литературных произведениях: живые мысли и чувство. Оно является свидетельством очевидца, под свежим впечатлением передающего, о чем говорилось на первых двух диспутах, как говорилось и как воспринималось определенной частью слушателей. А это сейчас самое главное.

Диспуты
Мгновенных пару впечатлений
О диспутах недавних я,
Покорный чувства повелению.
Открыть намерен вам, друзья.

Условий ряд пренебрежен,
Попрана совесть, честь забыта,
И Фадин – председатель – он
Считает диспут наш открытым.

Фадин с «глоткою луженой»
Любит «громко выступать».

Лексиконами снабженный,
Несмотря на них – наврать.

Врач-«ученый» Пятинов
Поднимает руку:
«Нам не надобно попов,
Дайте нам науку!»

«Религия есть дело буржуазное,
Она есть средство угнетенья масс,
И от нее, как от поветрия заразного
Давно сторонится рабочий класс».

Роньшин быстро объяснил
Публике безмолвной:
«Пятинов что говорил,
Все ведь голословно.

Ведь не религия, а в сущности, безбожие,
Рождает злобу классово́й борьбы.
Союз Христа с богатыми есть мысль в основе ложная,
В религии равны владыки и рабы».

Бочкарев Вольтера зря
Приписал Рейнаку,
Сам с собою говоря:
«Не найдут ведь справку».

Но не тут-то было, милый,
Здесь-то ты попался;
Хоть тебе и стыдно было,
Лучше б уж сознался!

Ведь Роньшин силой аргументов
Так двинул положенье,
Что этот из моментов
Был просто загляденье.

Примечание: Отец Сергей указывал, что безбожие – это тоже своего рода вера, не основанная ни на опыте, ни на доказательствах. Как пример, он привел слова Вольтера, что если бы на парижской площади в присутствии толпы народа и при соблюдении всех условий для производства опыта был воскрешен мертвый, то он (Вольтер) все равно бы не поверил. Отвечая на это, Бочкарев перепутал Вольтера с Рейнаком и заявил, что Вольтер был верующим. Роньшин коротенько, но едко прошелся на тему о том, что безбожники даже своих основоположников не знают, не разбираются в том, что было сто пятьдесят – двести лет назад. Как же им разобраться в вопросах мирового значения?

Лушников от имени науки
Говорит, что все врачи не верят в Бога,

А «Безбожник», испуская звуки,
Свирепые, как вопли носорога,

Пишет: «Караул, сюда, безбожники!
Медицинский персонал России
Чуть ли не подряд церковники
И религию всю оставляют в силе».

Если Лушников безбожник,
Как сказал он в речи,
То зачем же он с «Безбожником»
Впал в противоречье?

Одним словом, было дело
Лыками здесь шито:
Как безбожье ни шумело,
Карта его бита.

Мурзалев тем, что в часы великие
Прыгал, словно клоун тренированный,
Лишь показал, что в отношении религии
Он человек совсем необразованный.

Разбавив правды полтора процента,
Добавить гаденьких насмешек гору,
Запачкать личность оппонента,
На это мастер он, нет спору.

Врач Пятинов, «вступаясь» на науку,
Забыл последние ее слова:
«Природа только составляет руку,
А Бог – над всей природой голова».

Науке и религии не тесно
В громадной мысли творческих голов.
Нам непосредственно из Дарвина известно,
Что в Бога верят лучшие из мировых умов.

Наука и религия, как сестры,
Не могут в длительный войти раздор;
Кто говорит, что здесь конфликты остры,
Тот не ученый, а фразер.

Примечание: Буквально: «Наука и религия есть родные сестры, дочери Всевышнего Родителя. Они никак между собой в распрю придти не могут, разве кто... для показания своего мудрования на них вражду всклепляет» (Ломоносов).

И тот не знает ни науки и ни веры,
Кто, поддаваясь обольщению века,

Без веса, без числа и меры
Плюет на честь и званье человека.

Знаток ли дела Мурзалев?
И Бочкарев ли жрец науки?
Нет, к этим слово «философ»
Далеко, как глухому звуки.

И Лушников, и Пятинов
Стоят в науке у порога,
А врач-профессор Пирогов,
Тот, безусловно, верил в Бога.

Кант, Фихте, Бэкон и Сократ,
Все люди логики железной,
Нам в Бога веровать велят,
Чтоб жизнь была не бесполезной.

Ведь если не было бы Бога,
Тогда не надо бы и жить;
Зачем послушною игрушкой
Бездушных атомов служить?

Ведь разум наш, краса вселенной,
Себя бессмыслием не должен унижать,
И лишь Тому служа, Кто Разум совершенный,
Задачу жизни можно уважать.

Примечание: Маленькая, но интересная подробность, показывающая, как строго относился Костя к содержанию стихотворения. Вместо Бэкона он поставил было сначала Лейбница, но потом заменил, сказав, что у Лейбница логика далеко не железная.

Отец Сергей не ошибся, доверившись Роньшину. Николай Андреевич действительно оказался очень ценным сотрудником. Даже внешние его данные помогали ему производить нужное впечатление. Он стоял за кафедрой также спокойно, как будто разговаривал с соседом, а его мягкий звучный баритон свободно долетал до всех уголков зала. К выступлению он усиленно готовился, но его речь казалась импровизацией, так искусно перемешал он подготовленное ранее с тем, что оказалось необходимым сказать по ходу диспута. Он на лету подхватывал оговорки противника, их неосведомленность в определенных пунктах, вопросы, возникавшие из их освещения фактов, и неторопливо, скупыми, но хорошо понятными слушателям словами добивал одно возражение за другим. Несколько дольше остановился он на вопросе, на котором задержался в своей речи Лушников. Лушников доказывал, что современные книги Священного Писания искажены, даже не отражают тех мыслей, которые были в них в древности. В древнееврейских рукописях писались только согласные буквы, а гласные опускались. Написано, например, «р к». А что это значит? Может быть, «река», может быть, «рука», а может быть, и вовсе «рак». И так каждое слово. Значит, один может прочесть фразу так, другой – по-другому, а третий и еще по-своему. Ищи там, как было написано в подлиннике!

Роньшин согласился, что так могло бы получиться, если бы язык, на котором написаны рукописи, был забыт хотя на несколько сот лет. И то ученые, находя рукописи на неизвестных

языках, по большей части находят и способ правильно перевести их. Но Священное Писание никогда не находилось в таком положении, его читали и переводили люди, прекрасно знакомые с тем, что значит то или иное сокращение. Это как и у нас в славянском языке. Написано, например, «аггл», а все читают – «ангел», и никому и голову не придет придумывать другое значение этому слову. А если какой-то начинающий и ошибется, так его сразу поправят. Да нам как будто и неудобно говорить о том, что сокращения непонятны, когда у нас кругом сокращения, и мы их прекрасно понимаем. Вот, например, на плакате буквы РСФСР. Мало ли можно найти слов, начинающихся на эти буквы, можно и так подобрать, что какой-то смысл получится, однако любого малыша спроси, да и любого иностранца, и они скажут, что это значит: Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика.

Раздались аплодисменты. Вообще, слушатели и той и другой стороны вели себя экспансивно, прерывали ораторов выкриками сочувствия или протеста; иногда одни выкрики вызывали другие, противоположные. Фадину не раз приходилось пускать в ход свою «луженую глотку». Горячилась не только молодежь, не отставал от нее и маленький попечитель Григорий Амплеевич Калабин. Он со своей знаменитой палкой сидел в первом ряду, и отцу Сергию не раз приходилось взглядом останавливать его. Особенно трудно было сдерживать его во время речи Мурзалева.

– Что ты из брюха-то вытаскиваешь! – кричал он своим тоненьким голоском, когда слышал слишком уж откровенный вымысел. – Ты из брюха не вытаскивай, ты дело говори!

Коротенько, но дельно сказал отец Николай Амасийский. Он возражал против нападок на Иосифа Прекрасного, будто бы являвшегося угнетателем народа. Конечно, он служил фараону, ответил на это отец Николай, но, запасая хлеб, заботился обо всем народе. Он как бы хлебозаготовками занимался и спас египтян от голодной смерти.

Как ни удачны были отдельные выступления, все время чувствовалось, какой перевес дало безбожникам преимущество во времени. Не было возможности ни детально разобрать сказанное противниками, ни повторить свои основные положения, а это особенно требовалось после того, как речь отца Сергия была наполовину сорвана аварией со светом. Такое впечатление особенно усилилось во время заключительной речи Бочкарева. Бочкареву явно не давали покоя лавры Мурзалева, но ему не хватало ума, пожалуй, и злости, чтобы подражать товарищу в ехидстве. Зато он брал грубостью и бесцеремонностью, причем старался сказать свою грубость так, чтобы за ним осталось последнее слово. На одном из последующих диспутов, в то время, когда председатель уже объявил его законченным, Бочкарев вдруг попросил минутку внимания и сказал, что ему только что задали вопрос: в Евангелии сказано, что к Иисусу привели двух ослов, и что это за ослы? А ослы вот эти самые... Бочкарев широким жестом обвел зал... – эти самые, которые до сих пор верят в эти сказки и позволяют попам на себе ездить...

Зал возбужденно зашумел. Одни возмущались, другие торжествовали. Отец Сергей безуспешно пытался сквозь шум объяснить, что слова «сел поверх них» – относятся не к ослам, а к возложенным на осла одеждам (пришлось потом сказать об этом в проповеди), а Бочкарев довольно улыбался – реакция публики была как раз в его вкусе. В тот первый вечер для него была полная свобода изошряться в подобных шуточках. По условию, в заключительной речи должно было только суммироваться и комментироваться сказанное раньше. Несмотря на это, Бочкарев приберег к ней несколько наиболее эффектных, по его мнению, доказательств. Доказательства все пустые (выходки подобно описанной), разбить их было бы легче легкого, но не оставалось возможности сделать этого, а без объяснения они многим показались убедительными. Верующие вынуждены были признаться, что диспут окончился далеко не так, как они желали, а безбожники торжествовали.

Диспут взбудоражил весь город. Разговоры и рассуждения о нем и затронутых им вопросах, как круги от брошенного в воду камня, захватывали все больше людей. Говорили и единомышленники, и противники, причем Бочкареву и его присным пришлось выслушать немало

Получив для своих выступлений вдвое больше времени, отец Сергей, не стесняясь, подробно излагал все доказательства бытия Божия и, выступая, не думал о том, что вот такое-то возражение безбожники упустили, значит, о нем можно и не говорить. Наоборот, он сам начинал нападение.

– Нападать всегда легче, хоть в бою, хоть в споре, – учил он неопытных. – И слов меньше надо, и первое впечатление важно. Вот почему легче тем, кто начинает диспут или беседу. Но и оппонент, если не растеряется, может перейти в наступление, повести разговор, как ему удобнее, а докладчик пусть защищается.

Действуя по этому правилу, он, дойдя до не затронутого докладчиком пункта своей речи, замечал: «Об этом безбожники еще не говорили, может быть, еще скажут... на это существует такой-то ответ...»

После таких заранее данных ответов некоторые записавшиеся выступать в прениях, отказались, а кто-то, чуть ли не Бочкарев, начал как по-писаному, развивать положение, только что опровергнутое отцом Сергием. Из зала раздались выкрики: «На это уже ответили, нечего опять то же говорить!»

Мурзалев применил собственное доказательство. «Вот я, по-вашему, богохульствую, – насмеялся он. – Так почему же Бог меня не наказывает? Если Он есть, пусть Он меня сейчас накажет!»

Некоторые из слушателей пропустили это издевательство наравне с другими его богохульствами, но многие и запомнили.

– Командовать Господом Богом вздумал, требует, чтобы сейчас же его наказал, – переговаривались они после диспута, обсуждая выступления ораторов. – А Господь и Сам знает, когда наказать.

Третий диспут был о душе – вопрос и вообще трудный, а особенно когда пришлось говорить перед неподготовленной аудиторией. Возможно, что отец Сергей и Роньшин допустили ошибку, ограничив себя лишь научными доказательствами существования души, которые, конечно, могли быть только косвенными. Может быть, следовало бы привести несколько примеров, хотя бы из Дьяченко, о явлении умерших и о других явлениях потустороннего мира. Конечно, это было бы не совсем на тему, а безбожники сразу заговорили бы о ненаучности таких доказательств, но на многих эти факты произвели бы впечатление. Пожалуй, их даже ждали.

Ошибка или не ошибка, этим материалом не воспользовались. Безбожники говорили о том, что душа является лишь продуктом деятельности головного мозга, а верующие, главным образом, упирали на отличие человека от животных, на высшие свойства души, которых нельзя развить даже у наиболее высоко организованных животных. Приходилось много рассуждать, получалось сухо, малопонятно для основной массы слушателей, а потому и не убедительно. Что говорить этим слушателям хотя бы цитаты из Вирхова о том, что «человек мыслит понятиями, и эта маленькая штучка «понятие» имеет такое значение, что, овладей им обезьяна, она «сразу же превратилась бы в человека, несмотря на свой малый мозг и длинный хвост». Да и о самом Вирхове кто слышал? А рассуждение о другом различии, о стыде при отправлении определенных естественных потребностей, некоторым показалось даже неприличным. Словом, верующие были не удовлетворены.

А Бочкарев разошелся. В конце заключительной речи он отпустил такую фразу, которую нельзя повторить не только потому, что она кощунственна, а и потому, что похабна. Зал взорвался. Возмущенные возгласы, хохот, аплодисменты превратились в настоящую бурю.

– Хоть бы постыдился, здесь девушки! – негодуя кричали женщины. Парни рядом бросали им насмешливо-успокоительные реплики. Григорий Амплеевич, опять сидевший и передних рядах, поднялся с места и, размахивая своей неизменной палкой, что-то возбужденно

выкрикивал срывающимся дискантом. Около него, на свою беду, оказался Николай Романов и на правах дальнего родственника пытался утихомирить старика.

Маленькие глазенки Григория Амплеевича загорелись. Подвернулся человек, на которого он мог по-родственному излить свой гнев.

– А, и ты туда же! – Палка угрожающе поднялась и опустилась на голову Николая. Опустилась довольно тихо – в последнюю секунду Григорий Амплеевич сдержал руку, но это немногие заметили, зато все видели, какой угрожающий полукруг описала перед тем палка. К нарушителю спокойствия подошел милиционер и предложил выйти в его сопровождении. Григорий Амплеевич проследовал поперек зала к двери, напяливая на голову малахай и торжественно поблескивая глазенками. Его раздражение нашло выход и улеглось, и теперь он чувствовал себя героем, пострадавшим за правду.

Мысли всей семьи С-вых до того были поглощены переживаниями, связанными с диспутами, что они даже не так остро, как в прошлом году, почувствовали, когда Миша вдруг среди зимы вернулся домой. Родительскую группу, в которой он учился, запретили, и теперь уже не было никакой возможности продолжать образования ни ему, ни оканчивающей семилетку Наташе. Конечно, это расстроило всех, но далеко не так сильно, как можно было ожидать, судя по волнениям прошлого года. Смирились, что ли, с неизбежным. Не каждый же год ожидать чуда. Приходилось успокаивать себя тем, что все-таки положение лучше прошлогоднего, хоть семилетнее-то образование у всех будет. Вскоре и Миша тоже сидел с остальными за столом и переписывал тетради.

К Святкам предложили диспут «Был ли Христос?» Это было так хорошо, что не верилось своим ушам. Разумеется, безбожники, выбирая эту тему, не собирались поддаваться верующим; по-видимому, они считали, что обладают неопровержимыми доказательствами, если решились выступить с ними публично. Большое значение для них имело то, что тема совпадала с наступившими праздниками, и было соблазнительно ударить по самому корню христианства. Но желание – одно, а дело другое. Верующие надеялись, что в дни памяти Своего Рождества Христос поможет им, и эта вера не посрамила.

У отца Сергия материала нашлось более чем достаточно, и какого материала! Свидетельства историков – Тацита, Плиния, Иосифа Флавия; ссылки на писателей II и III веков, не только друзей, но и врагов христианства, на Евангелие, подлинность которого никому из них не внушала сомнений. . . Оставалось только выбрать самое ценное и распределить так, чтобы показать каждое доказательство в полной силе.

– Папа, а что, если я выступлю в прениях на пятнадцать минут? – спросил Костя.

Отец Сергей взволнованно прошелся по комнате.

– Я ничего не буду тебе советовать, – сказал он, – решай сам. Сам не маленький, можешь учесть все последствия.

– Не надо бы, Костенька! – тихонько вступилась Юлия Гурьевна.

Все-таки Костя решился. Слишком уж возбуждающе подействовали на него предыдущие диспуты. Да еще на руках такие сокровища, что впору хоть и не готовиться. Просто, как Роншин в первый раз, бери и читай по напечатанному.

Такой легкий хлеб не привлекал Костю. Он тщательно обрабатывал свою первую публичную речь. Взяв за основу предисловие к Толковому Евангелию Гладкова, он добавил кое-что из статьи А. Введенского «Бог ли Христос». Брал и из других мест, комбинировал по-своему, подолгу советовался с отцом. Отец Сергей, используя накопившийся за это время опыт, уже не тратил на подготовку так много времени, как в первый раз. Главное, он уже знал, как уложиться в предоставленный ему регламент, да и с материалом был знаком так, что, хоть ночью его разбуди, скажет, что нужно. Поэтому он уделял Косте столько внимания и времени, сколько тому требовалось. Он не касался содержания речи, не подменял собой сына. План, подбор и разработка материала полностью принадлежали Косте. Отец Сергей только прослушивал его,

указывал на недостаточно отработанные места, на недостатки в произношении, помог найти правильный темп – не слишком торопливый и не слишком медленный. Но уж тут он не успокаивался до тех пор, пока не убедился, что Костя не осрамится.

Ни на один диспут верующие не шли так бодро, с такой уверенностью в победе. Кроме хорошей подготовки, для них, как и для безбожников, только в противоположном смысле, имело значение то, что это происходило на праздник.

Перед самым началом, как только безбожники заняли места за своим столом на сцене, стоявшее в углу знамя вдруг пошатнулось, описало полукруг в воздухе и, падая, ударило Бочкарева древком по голове.

– Заранее бьет! – сказал Димитрий Васильевич. Сказал вполголоса, но достаточно отчетливо для того, чтобы его услышали в первых рядах.

Бочкарев кисло улыбнулся. Кажется, он и сам воспринял этот случай именно так.

В противоположность расплывчатой теме первого диспута, эта была так строго ограничена, что можно было заранее с уверенностью сказать, о чем будут говорить безбожники. Как и раньше, в других местах, они будут стараться изложить подложность и недостоверность Евангелий. Все те мнимые противоречия между евангелистами, дата смерти Ирода, будто бы умершего до Рождества Христова... Все это столько раз объяснялось, что делалось неловко за ораторов, вновь и вновь повторявших те же избитые доводы. Конечно, неподготовленным слушателям в первый момент они могли показаться и очень убедительными, но не могли же Бочкарев и Мурзалев надеяться, что их оппоненты не знают, что ответить!

Отец Сергей был особенно в ударе. На этот раз он не только ссылался на авторитеты, но читал цитаты прямо из книг. На столе перед ним лежала большая стопа этих книг, и он, ссылаясь на того или иного автора, брал нужный том, открывал закладку и читал «на строке» – вот что он говорит! Это производило на публику более сильное впечатление, чем чтение тех же цитат по тетради.

– Теперь поговорим немного о противоречиях, – продолжал отец Сергей. – Посмотрим, можно ли на основании мнимых противоречий в описании чьей-либо жизни говорить, что этого человека совсем не было. Вот у меня в руках две современные книги, изданные в последние годы. (Он сказал в какие.) Та и другая – биографии Ленина, только разных авторов. И вот послушайте, что здесь написано...

Отец Сергей зачитал выдержки о покушении Каплан. В одной из биографий говорилось, что, когда был сделан выстрел, Ленин сидел в машине, в другой – что он находился около машины... Отец Сергей отложил книги и обратился к народу:

– Вот видите! В большинстве случаев, которые приводил докладчик, и противоречий-то нет, просто евангелисты обратили внимание на разные стороны одного и того же события, или рассказывали один кратко, а другой подробно. Таких случаев и в этих биографиях можно найти сколько угодно. А то, что я прочитал, действительное противоречие – не мог Ленин одновременно находиться и в машине, и около нее. Так что же, значит, можно говорить, что Ленина не было? Мы-то так сказать не можем, все мы знаем, что он был, а многие и лично его видели. Но пройдут даже не тысяча девятьсот лет, как от Христа, а всего лет двести или двести пятьдесят, и кто-нибудь, рассуждающий так, как наш докладчик, вполне может сделать такой вывод. Очевидцы, мол, не очевидцы, они ничего не видели, а все выдумали, а противоречия налицо – значит, Ленина не было. Так вот и евангельские «противоречия» совсем не означают, что Христа не было... Есть еще доказательства, не зависящие от свидетельства отдельных лиц – это вы сами, ваша вера. Как могло христианство распространиться по всей земле, если не было Христа? Ведь распространялось оно не тихо, не спокойно. Множество древних писателей и мученические акты, по-нашему – протоколы допросов, говорят, что христиан жестоко преследовали почти триста лет, а в иных странах и больше. Так неужели во время этих страшных пыток, которым подвергались не только сами первые христиане, но и на их глазах их любимые

родственники – мужья, жены, родители, даже малолетние дети, – неужели не нашлось бы ни одного, который сказал бы: «Все это неправда, никакого Христа не было, мы это выдумали?» И для чего бы им терпеть страдания за вымысел? Одно дело – поддерживать обман, если это приносит какие-то выгоды, а другое – если за него получишь только мучительную смерть. Апостолы терпели, потому что знали, что все сказанное ими – правда. И последующие мученики тоже знали это, не только по слухам, а и по собственному опыту; они на себе испытали поддержку Христа во время своих мучений. Это было так ясно для всех видевших их страдания, что количество христиан во время гонений не уменьшилось, а увеличилось, и в конце концов христианство распространилось по всему миру...

В противоположность отцу Сергию, Роньшин не искал других книг, кроме своего Соломона Рейнака, за которого он крепко держался и которого почти никогда не позволял себе назвать просто Рейнаком. Зато и изучил он его так, что, о чем бы ни зашла речь, он на все находил там краткие, но исчерпывающие ответы – в книге был собран материал по самым разнообразным вопросам. А уж донести этот материал до слушателей, передать его образно и понятно – на это у Николая Андреевича был настоящий талант; недаром же его и встречали, и провожали аплодисментами.

Отцу Сергию на этот раз особенно удалась тактика нападения. Разъясняя сказанное докладом во вступительной речи, он одновременно опровергал и то, что еще не сказано, но будет сказано. Бочкареву, некоторым выступавшим в прениях и, отчасти, Мурзалеву, пришлось брести по его следам. Если употребить недавнее сравнение отца Сергия, безбожники оказались в положении людей, ищущих давно найденный клад, да еще доказывающих, что его нет, когда им ясно показали – вот он!

Правда, Мурзалев заговорил и о менее известном факте, который он поворачивал и так и этак, всячески стараясь придать ему как можно большее значение. Не только, дескать, Евангелие подделано, да еще и подделано-то невежественными фальсификаторами, не представлявшими условий жизни и обычаев того времени. Сколько все евангелисты распространяются об отречении апостола Петра, как трогательно описывают его раскаяние при крике петуха, а никому и в голову не пришло, что петухов-то в Иерусалиме тогда не было: по еврейскому закону запрещалось иметь там кур.

После Мурзалева на сцену вышел его тесть Ефименко. На первом диспуте на верующих тяжело подействовал вид этого слабого седого старика, который, стоя одной ногой в могиле, кощунствовал не хуже зятя. Теперь это было уже не ново. Затем вышел Костя.

«Какой-то комсомолец», – послышался негромкий голос в зале. А «комсомолец» вдруг начал говорить в защиту религии. Для большинства это была полнейшая неожиданность. Тем сильнейшее впечатление произвела его речь. Конечно, Костя не мог не волноваться – ведь это не школьный доклад, хотя в числе лиц, обращенных к нему из зала, было много лиц товарищей и преподавателей; сейчас это не успокаивало, а пожалуй, еще больше волновало. Но он так искусно скрывал свое волнение и держался так спокойно и уверенно, словно ему не в диковинку были подобные выступления. В конце концов, смотреть на товарищей было все-таки смелее, и он начал говорить, как будто обращаясь к ним, тем ровным тоном, каким делал доклады в школе, так было легче. Он разобрал несколько возражений безбожников и перешел к последнему, о петухах. Ведь надо же было, чтобы об этом сказал не кто другой, а Мурзалев. Теперь Косте приходилось опровергать своего учителя. Тем же ровным, спокойным тоном, внушавшим гораздо больше доверия, чем кривлянья Мурзалева, Костя объяснил, что закон такой, правда, существовал, но он не строго соблюдался даже евреями. А в Иерусалиме в то время жило множество людей различных национальностей, которые не считались с еврейским законом. В частности, там стоял большой гарнизон из римских воинов; петух вполне мог быть римским, от этого ничего не меняется. «Из всего этого я делаю только один вывод, – добавил Костя, и уголки губ его слегка дрогнули, как бывало в домашнем разговоре, когда он мимохо-

дом забрасывал камешки в чей-нибудь огород, – одно мне ясно, что плохи у безбожников дела, если они петухов мобилизовали».

Фразу о петухах Костя взял у Введенского, но она была так уместна здесь, что оказалась убийственной. Ее поняли и запомнили, и много раз потом вспоминали. Костю проводили аплодисментами, каких еще ни разу не удостоился никто из выступавших в прениях.

Глава 20 Круги по воде

Великим постом диспуты в городе прекратились, но дела стало не меньше. Круги по воде распространялись все дальше, эпидемия диспутов перекинулась в села; сельские священники ехали в город и просили помощи. Один-два имевшиеся в городе экземпляры записей были каплей в море, да и опасно было рисковать ими, пришлось переписывать еще и еще. Писали под копирку, по два, по три экземпляра. Трудов не жалели, даже Юлия Гурьевна отрывала время у необходимого отдыха и проводила вечера за перепиской. Возникло новое затруднение – не хватало бумаги, она была дефицитным товаром. Покупали любую, даже муаровую почтовую, по три копейки за листочек. Такой расход оказался чувствительным для кармана отца Сергия, пришлось предлагать оплачивать стоимость бумаги. Батюшки платили беспрекословно, охотно заплатили бы и за работу, если бы кто-нибудь взялся переписывать за плату более крупные вещи, но таких людей не было.

Один экземпляр тетради «Был ли Христос», включавший речи отца Сергия, Роньшина и Кости, как нельзя более кстати попал в Березовую Луку, к старому соседу и другу отца Сергия, отцу Григорию Смирнову. Березовские безбожники, подчиняясь моде, тоже подготовились к диспуту и пригласили батюшку. По правде, они никак не ожидали, что пожилой, рано потерявший память отец Григорий примет их предложение. А он не только принял, а прочитав по тетрадке все, что считал нужным, отбил у своих противников охоту повторять рискованный опыт. До отца Григория дошло короткое, но сильное определение, которое сделал о нем организатор диспута: «Старый ч.».

Отец Григорий всегда был очень щепетилен и чувствителен ко всякой грубости, но этим определением он гордился.

Отец Александр Моченев не принимал участия в распространении литературы, но у себя имел полный комплект всего и с удовольствием хватался за каждую новинку. Когда отец Сергий заходил к нему, отец Александр вдруг выносил какую-нибудь книгу издания Сойкина или Тузова и с загоревшимися глазами указывал напечатанные на обложке длинные списки выпущенных издательством книг.

– Посмотрите, какое богатство! – с сожалением говорил он. – Почти все это мы, когда учились, могли брать в семинарской библиотеке, а не брали, не интересовались. И потом, на приходе, могли без труда оторвать несколько рублей и выписать то одно, то другое. Так нет, выписывали какие-нибудь журналы с приложениями, «Вокруг света» или «Природа и люди», а об этих книгах не думали. А теперь хоть локти кусай!

В Костином классе приступили к изучению происхождения жизни. Учительница Анастасия Александровна Ахматова вкратце изложила две основные теории – самозарождения и перенесения зародышей из других планет (теория Аррениуса). Потом она неожиданно предложила: «Чтобы детальнее познакомиться с этими теориями, мы устроим... ну, что-то вроде диспута. Один будет защищать теорию, другой опровергать. Начнем с наиболее распростра-

ненной – теории самозарождения. Кто будет защищать ее? Ты, Скородумов? А опровергать? С-в? Хорошо. Подготовьтесь, через неделю мы вас послушаем».

Через неделю получилось так, что, выслушав обоих противников, Анастасия Александровна сказала: «Да, приходится признать, что эта теория несостоятельна». Отсюда логически вытекало, что нужно принять теорию Аррениуса. По этой теории Анастасия Александровна диспута не назначала, ученики сами организовали его.

– Давайте соберемся через полторы недели, в воскресенье, – предложил кто-то. Скородумов будет докладчиком, С-в – оппонентом. Возьмешься?

– А что же? Конечно, возьмусь.

В речи, рассчитанной на школьников-старшекласников, Костя вложил все свои знания и все свое остроумие. Имея дело с товарищами, он не стеснялся применить какой-нибудь специально школьный оборот или лишний раз пошутить. Пример «петухов» показал ему, что шутка иногда очень помогает. Вот отдельные моменты его речи.

– Наука не противоречит религии. Верующие говорят, что мир и жизнь сотворены Богом, а ученые – что они созданы силами природы. В этом так же мало противоречия, как и в том, если кто скажет, что сочинение написано Бурениным, а другой возразит – нет, чернилами. Деятель – Буренин, чернила – средство. Так и во вселенной. Деятель – Бог, природа – средство...

– Поговорим о возможности занесения жизни с других планет. Мы недавно учили, каковы размеры вселенной. Небесные тела отстоят друг от друга на тысячи и миллиарды световых лет, и среди всех, которые поддаются изучению, не нашлось ни одного, на котором была бы обнаружена жизнь. Но предположим, что в те времена, когда Земля только что сформировалась, где-то существовало такое тело, с которого во все стороны распространились зародыши жизни. Сколько же должно быть этих зародышей, чтобы в неизмеримой вселенной некоторые из них могли попасть на Землю – представляющую в этой вселенной микроскопически малую точку? Возможность этого практически равна нулю, разве только допустить, что «жизнь» организованным порядком устремилась прямо на Землю. Но и тогда ей предстояло преодолеть невероятные трудности. Несясь по мировому пространству, «жизнь» в течение длительного периода, исчисляемого энным количеством световых лет, должна была подвергаться действию холода, достигающего в мировом пространстве, как вы знаете, более тысячи градусов Цельсия¹⁰⁶. После этого, попав в земную атмосферу на метеорите или космической пылинке, или еще как, «жизнь» сразу же перейдет в раскаленное состояние, измеряемое несколькими тысячами градусов. Если бы при такой обстановке «жизнь» сохранилась, это было бы чудом, далеко превосходящим чудеса христианской религии, вроде трех отроков в вавилонской печи.

Мне возразят, что «жизнь» могла сохраниться в глубоких трещинах крупных болидов, где температура значительно ниже, чем на поверхности. Но если эти трещины узки, то при полете сквозь земную атмосферу они должны накрепко заплываться и похоронить в себе «жизнь»; если же достаточно широки, то температура там будет та же, что и на поверхности. И в том, и в другом случае можно сказать вместе с поэтом: «Тише! О „жизни“ покончен вопрос»...

...Если «жизнь» вещественна, то ей бы не поздоровилось, а если нематериальна, тогда другой вопрос, но и другой разговор...

Но допустим, что «жизнь» преодолела все эти препятствия и расселилась на Земле. Тогда нужно ответить, откуда же она взялась на той, самой первой планете. Что ни говори, а вопрос все равно остается открытым...

Ребята построили свой диспут по образцу недавно слышанных, так что Костя разделил весь материал на две речи, но сказать ему удалось только первую. Во время нее школьные активисты (сами же и предложившие диспут) беспокойно шушукались между собой, а потом сек-

¹⁰⁶ На самом деле абсолютный нуль (минимальная температура, которую может иметь физическое тело) составляет -273 °С.

ретарь комсомольской ячейки Федотов заявил, что они поступили неосмотрительно, допустив диспут без согласования с руководством, и что поэтому его нужно отложить до тех пор, пока не будет получено разрешение от начальства. Разрешения такого, конечно, не последовало. Вместо того через несколько дней зав. школой И. Я. Родионов вручил Косте справку, что он исключается «как не поддающийся влиянию школы и разлагающе действующий на учеников».

– Вы хоть напишите: «разлагающе действующий на учеников в религиозном отношении», – попросил Костя. – А то можно подумать, что я какой-то хулиган.

Родионов добавил требуемые слова и, передавая Косте справку, сказал: «С этим документом можете в академию ехать».

Неизвестно, с каким чувством были сказаны эти слова, но они были похожи на злую насмешку – ни о какой академии в то время не могло быть и речи.

Еще давно, за несколько лет до смерти жены, отец Сергей заметил, что самые тяжелые события в его жизни происходят Великим постом. Как бы в подтверждение этого, Костя был исключен тоже Великим постом, за два месяца до окончания школы.

В конце Фоминой недели был назначен еще один диспут: «Возможно ли воскресение мертвых?» Опять Костя собрался выступать, опять отец Сергей пришел в клуб с целой связкой книг, но безбожники не явились. Может быть, они надеялись, что слушатели, устав ждать, разойдутся, но ушли только единицы, основная масса упорно ожидала. Наконец часа через полтора-два послали узнать, в чем дело. Только после этого на трибуне появился один из членов союза безбожников и объявил, что диспут отменяется, так как докладчик уехал в командировку. Причина была явно неуважительная. Если уехал один, могли выдвинуть другого или, в крайнем случае, отложить диспут, а не отменять совершенно.

Все восприняли это как решительную победу верующих. Значит, ни Бочкарев, ни Мурзалев и никто другой не решились взять на себя ответственность и заменить докладчика. Да и вообще, никто не сомневался в том, что командировка была только предлогом. Просто, обсудив возможности, свои и противника, безбожники решили отступить с наименьшими потерями. На это указывало даже то, что с объявлением об отмене диспута прислали какого-то незаметного, который на все вопросы мог бы отговориться незнанием.

Отец Сергей забрал свои книги и отправился домой в сопровождении детей и Димитрия Васильевича. Его возвращение было похоже на небольшой триумф.

– Поздравляем, батюшка! – кричали ему обгонявшие и даже те, которые спокойно сидели у домов, как будто их ничего не касалось. Отец Сергей на ходу приподнимал шляпу и отвечал: «Да вот, без драки попал в забияки».

Диспуты кончились, учење прекратилось, а нового дела, новых интересов пока не было. Костя все еще переживал тревоги и волнения прошедшей зимы. Вот в это-то время, начав с шуток и постепенно перейдя на серьезный тон, он и сочинил стихотворение, первая половина которого приведена в главе «Диспут», а продолжение дается сейчас.

Атеисты в докладах стремились
Фактов цепь повернуть кверху дном.
Оппоненты-священники бились
Величайших ученых умом.

Много было здесь всем возражений,
Много сильных и шумных похвал.
Но, быть может, объятый сомнением,
Кто-нибудь здесь и правду искал.

Кто действительно истину ищет,

Вникни сам, рассмотри и реши:
Рукоплещет народ или свищет,
Ты вниманьем к тому не гречи.

Посмотри на безверие модное,
Что внушает нам страх пред концом,
И на веру в Христа благородную,
Что венчает бессмертья венцом.

Обратись и к научному методу,
Посмотри, сколько веры и в ней.
Не имеешь ты права поэтому
Говорить, что наука сильней.

Прикрываясь суждениями ложными,
Нам кричат: справедливость напрасна!
Грех и лживость найдены возможными...
Но мы с этим совсем не согласны.

Мы за Того, Кто в мученьях распятыя
Пролил за всех неповинную Кровь.
Наша программа – всеобщее счастье,
Наши лозунги – Бог и Любовь.

Выбирай, если хочешь, проклятья,
Твоя воля свободна, иди!
Но, гоняясь за призраком счастья,
Ты увидишь тоску впереди.

Если ж ты, укрепляемый верою,
Встанешь твердо, как дуб-великан,
То ты кровью своею и нервами
Впишешь подвиг в науку векам...

Как червь волочится в пыли,
Считая грязь своим пределом.
Так и безбожье на земли
Животным манит стать уделом.

И как орел, взлетая к небу,
Кругами мощными парит,
Так вера в огненном порыве
О Боге вечном говорит.

Ни Лушников, ни Мурзалев,
Ни Олещук иль Луначарский
Не поразят из-за углов
Великой веры христианской.

Сгниют они в своей пыли,
Развеет вихрь земное счастье;
А Бог и вера – посмотри —
Во всех не потеряют власти.

Мы знаем: в этом мире боле
Все только внешность и наряд.
А в нашей вере в Божью волю
Зарницы вечности горят.

И. К. С.

(Такую подпись Костя придумал несколько позже. Она означает: иподиакон, потом иерей, Константин С-в.)

Примечание: На своем стихотворении Костя сделал надпись: «Посвящается священнику Зиновьеву, положившему на звуки знаменитую декларацию гонимого, но торжествующего христианства „С нами Бог!“».

Сильнее всего диспуты отразились на Димитрии Васильевиче. Если у Кости в результате их изменилась жизнь, то у него укрепились убеждения.

Лишь значительно позже он сознался, что в этот период он как раз переживал душевный кризис. У него усилились колебания, сомнения в основных истинах веры. Самолюбие не позволяло ему обратиться за разъяснением к старшим, он считал, что должен решать все сам, не по чужой подсказке, а может быть, возникшие у него вопросы казались ему настолько трудными, что он и не надеялся получить ответа. Дело дошло до того, что он подумывал уйти из собора и перейти на светскую работу.

Только сам Димитрий Васильевич мог бы передать те чувства, которые он испытывал в начале диспутов. Держался он около духовенства, даже сидел с отцом Александром и другими священниками на сцене, что было совсем не обязательно, но еще вопрос – был ли он уверен в возможности доказать правоту своей стороны, или же, по свойствам своего характера, в трудную минуту хотел подчеркнуть, с кем он. Возможно, что к серьезному беспокойству у него присоединялся и чисто спортивный интерес – кто кого? Но сознавал он это или нет – несомненно, что в это время решалась его судьба, быть или не быть ему христианином.

Внутренний спор решился в пользу веры.

В своих речах отец Сергей и Роньшин ответили на многие сомнения молодого человека. Не меньше пользы принес ему и оживленный обмен мнениями, начинавшийся после каждого диспута. Говорили дома и по дороге домой, до начала службы в соборе и за обедом у кого-нибудь из прихожан, пригласивших отслужить молебен или всенощную. Уточняли недосказанное, разбирали подробности, вызвавшие различные понимания. Говорили и о предстоящих новых диспутах, обсуждая ответы на знакомые тезисы безбожников и на все попутные темы, которых кто-нибудь, пожалуй, мог и коснуться. Много из того, что здесь намечалось, так и осталось несказанным, не понадобилось, но для Димитрия Васильевича иногда именно это-то и было особенно важно.

По мере того как его взгляды укладывались в более стройную систему, менялся и его характер, он становился мягче, серьезнее. Конечно, эти перемены произошли не в один день, они были не всем заметны. Для многих он оставался прежним задиристым и резким Димитрием. Но толчок был дан, внутренняя работа становилась все углубленнее, и в тайных уголках его души уже вырабатывался будущий отец Димитрий.

Прошло около года со времени последнего диспута. Стоял чудный февральский воскресный день. Когда шли в церковь, солнце ярко светило на чистом, высоком, бледно-голубом

небе. Но во время обедни вдруг крупными хлопьями повалил снег, поднялся сильный западный ветер, настолько сильный, что Соня и Наташа, возвращаясь из церкви, вынуждены были несколько раз отдыхать, оборачиваясь спиной к ветру, хотя им нужно было пройти всего два небольших квартала. Разыгрался страшный буран. В степи, по общепринятому выражению, «света вольного было не видно».

Соня в этот день обещала знакомой матушке отнести передачу ее мужу – ожидалось, что в этот день его отправят. Конечно, трудно было думать, чтобы рискнули отправлять этап в такую погоду, но и ручаться за обратное тоже было нельзя.

Соня наскоро поела и пошла, не дождавшись возвращения отца. Только отойдя подальше, она поняла, насколько разбушевался буран. На обширной базарной площади и на окраине, где дома широко расступились по обе стороны длинной, топкой низины, ветер рвал и крутил со всех сторон с такой силой, что захватывало дыхание. Приходилось, набрав в легкие воздуха, идти, не дыша, сколько хватало сил, потом останавливаться и, отвернувшись, отдыхать. Особенно тяжело пришлось на открытом с трех сторон пустыре, метров в двести, отделившем тюрьму, бывший монастырь, от последних домиков города.

Закутанный в тулуп охранник у калитки как-то странно посмотрел на девушку и велел идти прямо в караулку. А когда она, занесенная снегом, вошла туда, один из охранников сказал: «Ну и женщины! Мужчина для жены ни за что бы в такой буран не пошел».

Дома отец встретил ее словами: «Вот я и говорю: что это – сумасшествие, или героизм?»

– Скорее всего, первое – весело отпарировала она. – Ведь я же твоя дочь. Помнишь, как отец Григорий говорил матушке: «Что ты ушла, разве не видишь, какой буран? Значит, кум придет».

Она сняла пальто и легла на кровать. Сердце билось так, что бант на блузке трепетал, словно от сильного ветра. Прошло не меньше недели прежде, чем сердце наконец стало работать нормально.

Можно бы и не вспоминать об этом случае, если бы он не показывал, что творилось тогда в природе. Буран продолжался всю ночь и весь следующий день, а на третий день, когда отец Сергей пришел в собор, его встретил взволнованный Михаил Васильевич.

– Слышали? – еще издали спросил он. – Мурзалев замерз.

– Как? Когда?

– В воскресенье утром, по хорошей погоде, выехал в Ивантеевку. Не один, их подвод пятнадцать или восемнадцать ехало. А когда начался буран, он, должно быть, отбился. Что его подводы нет, заметили только в селе, да и то не сразу обеспокоились, решили, что он к знакомым заехал в начале села. Так что пока хватились, пока собрали людей, пока начали искать, времени много прошло. И где бы, вы думали, нашли? Под самым селом, у стога соломы.

– Так как же он замерз? Почему в солому не залез?

– Вот в том-то и дело! Кого Бог захочет наказать, прежде разум отнимет. В степи любой ребенок знает, что около соломы не замерзнешь, нужно только в нее закопаться. А вот он, степной житель, растерялся. Да что там! На нем волчий тулуп был, в таком и без соломы можно не знаю сколько протерпеть. Ведь мороз-то совсем слабый был, только что буран. Его жена, говорят, верить не хотела, когда ей сказали, все про волчий тулуп толковала, пистолет около него нашли и стреляные гильзы. Видно, хотел выстрелами сигнал подать.

Михаил Васильевич помолчал, потом добавил: «Помните, отец Сергей, как он на диспуте кривлялся: „Если Бог есть, пусть Он меня накажет!“... Вот и дождался. Летом двое детей один за другим умерли, а теперь сам».

О неожиданной смерти заговорил весь город. Жалели жену погибшего, которая, хоть и неверующая – не даром дочь Ефименко, – была очень доброй женщиной. А пуще всего опытные степняки удивлялись, как он мог незамеченным отбиться от обоза – ведь не последний ехал, и

не ночью – и так быстро замерзнуть. Да у него и спички были, мог из соломы костер развести, и сам бы погрелся, и сигнал подал. Сигнал-то подавал, а его все равно не слышали.

Кто бы и с чего бы ни начинал этот разговор, рано или поздно в нем появлялись слова: «А помните?» И заканчивали его тем, что Господь долго терпит, да больно бьет.

Глава 21

Костины невесты

В Спасском, где мальчики прожили зиму 1926–1927 годов, священствовал отец Федор Филатов, состав семьи которого очень напоминал семью С-вых. Отец Федор тоже был вдов, и хозяйство у него вела теща, Елена Ивановна. Старшая дочь отца Федора, Тося, была примерно ровесницей Сони, Нина лет на пять моложе ее, а Коля немного моложе Нины. Нина и Коля учились в одном классе с Костей. Была еще Лида, Наташиного возраста, и маленький Володя.

Костя и Миша бывали у Филатовых. Гостеприимная Елена Ивановна приглашала их на блины на Масленицу и разговляться на Рождество и Пасху. Костя заходил и в другое время, не только как товарищ Коли, а и к отцу Федору. Один из учителей, некто Борисов, на уроках частенько бросал антирелигиозные реплики, а Костя не мог спокойно выслушивать их. Он старался сначала хорошенько уяснить себе мысли, возникавшие в связи с этими замечаниями, а потом разъяснить их товарищам. Но первое время мысли плохо укладывались в слова.

– У меня много есть что сказать, да не знаю как, – жаловался он сначала Мише, Коле, а потом и отцу Федору. Слова не являлись, скорее всего, не только от неопытности, а и оттого, что мысли были еще неясны ему самому. Юноше, недавно только начавшему мыслить самостоятельно и впервые столкнувшемуся с такими вопросами, не хватало опыта, он не всегда мог разобраться в словах Борисова, хотя ясно чувствовал их несправедливость.

Отец Федор помогал ему сформулировать то, что смутно бродило в его голове, давал ему книги. Постепенно Костя начал не только разговаривать с товарищами, а и возражать учителю. Свои возражения он облекал в форму вопроса, на ответ Борисова следовал новый вопрос, так что в конце концов получалась целая дискуссия. Товарищи Кости были довольны прежде всего тем, что не оставалось времени спрашивать уроки, но кое-кто внимательно прислушивался и к самому спору.

В Пугачеве о Филатовых частенько вспоминали знакомые Юлии Гурьевны, сестры Кильдюшевские. Две из них всю жизнь учительствовали в Спасском и хорошо знали семью отца Федора, а с Еленой Ивановной даже переписывались. Скоро у них возникла мысль сосватать Костю и Нину.

– Хорошая была бы для него невеста, – мечтали они. Старушки полюбили Костю, как внука, и по-своему были озабочены его будущим. Как и большинство знакомых отца Сергея, они считали не подлежащим сомнению, что Костя впоследствии будет священником. А ведь священнику нужна и жена, а сейчас так трудно найти подходящую девушку. Нина подошла бы во всех отношениях, Костя сам знает ее. И отец Сергей видел...

Несомненно, что отец Сергей, размышляя о будущем сына, думал и о том, что ему придется жениться. Кто знает, может быть, и ему приходила на мысль эта хорошая религиозная девушка. Но он ничего не отвечал на намеки старушек, а Костя и вовсе не подозревал, что за чайным столом пытаются решить его судьбу.

Неожиданно Кильдюшевские получили известие, что Нина умерла от осложнения после гриппа. Старушки сильно расстроились, жалели и девушку, и свою несбывшуюся мечту. Впрочем, мечту скоро удалось заменить другой.

– У отца Федора еще Тося есть, – говорили они Юлии Гурьевне. – Тося немного постарше Кости, но тоже очень милая девушка, пожалуй, еще лучше Нины, такая рассудительная, религиозная. Она отцу Федору секретаря заменяет, всеми его делами интересуется. У нее с Костей много общего найдется.

Скоро пришло новое сообщение. Тося тоже умерла.

Чуть ли не на следующий день после исключения Кости отец Сергей зашел по какому-то делу к Кильдюшевским. Он очень торопился и не прошел в комнату, а в коридоре рассказал Юлии Михайловне свою невеселую новость. Юлия Михайловна охала и сокрушалась, а гостившая у них ее шестилетняя внучка Риточка вертелась тут же, внимательно прислушивалась. Потом она побежала в спальню, где отдыхала Людмила Михайловна. «Знаешь, баба Люда, – взволнованно, со слезами на глазах, зашептала она. – Костю исключили из школы. Мне так его жалко!»

– Жалко, говоришь? – Людмила Михайловна не смогла удержаться от неуместной шутки. – Значит, он тебе нравится? Может быть, ты за него замуж пойдешь?

Малютка подняла на нее невинные, влажные от слез глазки. «Я бы пошла, баба Люда, – серьезно сказала она, – да он, пожалуй, не возьмет!»

И что же? Прошло совсем немного времени, и девочка умерла от менингита.

Как будто Косте было так строго предназначено оставаться безбрачным, что около него не должна была появиться даже тень женщины-подруги, пусть даже помощницы в будущих делах. Даже шутки, могущие нарушить целомудрие его души, пресекались свыше. Все его помыслы должны были быть посвящены Богу, а не семье.

1929–1931

Глава 22 Архиерей приехал

Еще не кончились волнения, связанные с диспутами, как появилась новая, на этот раз приятная, забота – в начале лета 1929 года должен был вернуться живший в Покровске епископ Павел. Его ожидали с нетерпением и любовью. К его приезду усиленно готовились – подыскивали квартиру, проверяли, в порядке ли сохранились архиерейские облачения, лежавшие без употребления более трех лет; певчие разучивали «исполла»; входное «Достойно» и другие песнопения. Подбирали иподиаконов и мальчиков для участия в богослужении. Первым иподиаконом, безусловно, должен быть Димитрий Васильевич, исполнявший эти обязанности при епископе Николае и при епископе Павле во время его короткого пребывания в Пугачеве в 1925 году; вторым наметили Костю. В соборной библиотеке отыскивали книгу, составленную ключарем самарского собора, в которой подробно описывался порядок архиерейской службы. Что было особенно важно для неопытных иподиаконов и подчиненного им штата мальчиков, в книге подробно указывалось, когда и куда положить «орлец», когда подать посох или книгу, с какой стороны подойти, в какую повернуться, когда поклониться или поцеловать руку.

Целыми часами прорабатывали «архиерейские позвонки», как сразу окрестил их диакон, каждое свое движение. При этом нередко присутствовали и батюшки, они тоже находили тут для себя немало полезного, а диакону Федору Трофимовичу участие в этой проработке чуть ли не вменилось в обязанность – он мог много напутать без подготовки.

Учась в семинарии, отец Сергей был «рипидчиком»¹⁰⁷ у епископа Гурия, и теперь дома с удовольствием вспоминал отдельные моменты торжественного архиерейского богослужения. То он пел «архиерейское» «Приидите, поклонимся», то, подражая мягкому тенору епископа Гурия, показывал, как он произносил «Призри с небесе, Боже» или «Божественная благодать»...

На встречу в Новый собор собралось все городское духовенство и верующие со всего города. Случайно оказался даже один остролюкский крестьянин, бывший прихожанин отца Сергея. Он в первый раз видел архиерейскую службу и был в восторге.

– Голос-то у него какой легкий, – восхищался он за обедом. – А хиротония-то какая длинная!

Молодежь скрыла улыбки, уткнувшись в чашки с чаем, а отец Сергей, тоже с веселыми искорками в глазах, поправил: «Мантия, а не хиротония».

– Ну, мантия так мантия, спутался маленько, – не смутился гость.

Зато с первым его утверждением все охотно согласились. Голос у епископа Павла действительно был «легкий» – чистый, приятный тенор, хотя немного как будто надтреснутый. И, к удивлению слышавших, как отец Сергей изображал епископа Гурия, владыка Павел произносил молитвы с точно такой же интонацией.

¹⁰⁷ Рипида – укрепленное на длинной рукоятке металлическое опухало с изображением шестикрылых серафимов. Используется при архиерейском богослужении.

– Вполне понятно, – объяснял отец Сергей. – Ведь владыка тоже при епископе Гурии учился и тоже слышал, как он служит, и теперь подражает ему, хорошему образцу. Тем более что и тембр голоса у них сходный.

Епископ Павел Флоринский¹⁰⁸ был посвящен из вдовых священников Уральской (раньше Самарской) епархии. Когда в 1924 году ему предложили архиерейский сан, у него было пятеро детей, из них трое неустроенных. Было подвигом с его стороны при таких условиях согласиться на посвящение, оставив семью на руки старшей дочери, и с ее стороны было подвигом взять на себя такую тяжелую ношу. И сейчас двое детей еще учились. Было у него и двое маленьких внуков-близнецов, Петр и Павел, названные так один по мирскому, а другой по монашескому его имени.

Преосвященному Павлу было около пятидесяти пяти лет. Он был среднего роста, в меру полноватый, причем это впечатление полноты сохранилось и несколько лет спустя, когда он был серьезно болен. Открытое, чисто русское лицо его, окаймленное большой, почти совершенно седой бородой, украшали ясные голубые глаза, добрые и простодушные. Маленький внук называл его «белый дедушка». Может быть, он говорил так потому, что видел его обыкновенно летом, в белом подряснике, но и независимо от цвета одежды владыка оставлял впечатление какой-то особенной чистоты, света, того, что дает ощущение белизны. Это не была сверкающая, холодная белизна снега; скорее она напоминала пронизанное солнцем весеннее облако, сквозь которое кое-где просвечивает небесная лазурь и которое излучает мягкий свет и теплоту.

Держался епископ Павел просто, приветливо и в то же время с какой-то особенной доброжелательной величавостью. В этой величавости не было ничего напускного, наигранного, она очень шла к нему и казалась прирожденной. Впоследствии один много поездивший по белу свету и много видевший человек, познакомившийся с владыкой, очень удивлялся, узнав, что он сын деревенского диакона¹⁰⁹.

– Можно подумать, что он из княжеского рода, – говорил этот человек.

Но епископ Павел был не князь, а простой деревенский батюшка, а теперь «деревенский архиерей», как он сам себя называл.

Став епископом в трудное время, владыка Павел даже не имел возможности приобрести обычную для прежних архиереев серебряную панагию¹¹⁰. Его панагия была деревянная, резная, на цепочке из таких же деревянных точеных шариков, и не какого-нибудь ценного дерева вроде кипариса, а самого простого, первого, которое оказалось в руках местного резчика. Зато ряса его была из хорошей, дорогой шерстяной материи песочного цвета с атласными отворотами. О происхождении этой рясы владыка любил рассказывать. Рассказывал об этом и за чаем у отца Сергея, когда вскоре после приезда посетил по очереди все городское духовенство.

Эту рясу ему подарил епископ Гурий, когда после рукоположения молодой ставленник пришел к нему за благословением ехать на приход.

– Что же, у тебя и рясы приличной нет? – спросил преосвященный и, кликнув келейника, велел принести вот эту.

– У него-то она была, наверное, самая скромная, говорил владыка Павел, задумчиво улыбаясь приятным воспоминаниям. – Он ведь больше шелковые носил, голубые да лиловые, вообще яркие, эту-то он, пожалуй, и не надевал. Да и я ее тогда почти не носил, берег как память о преосвященном Гурии, я ведь его всегда очень уважал. Да и свои рясы у меня скоро появились, приход попался хороший. А теперь вот все пообносилось, пришлось и дареную рясу в ход пустить.

¹⁰⁸ Так в оригинале. Правильно – Флоринский. См. сноску 90.

¹⁰⁹ По другим сведениям – псаломщика.

¹¹⁰ Отличительный нагрудный знак епископа. Небольшое изображение Богородицы, носимое поверх облачения.

От таких рассказов и воспоминаний, предназначенных более для семейства отца Сергия, чем для него самого, перешли на животрепещущие, злободневные вопросы – дела епархиальные. Вспомнили и то, как после Троицы 1924 года отец Сергий с дочерьми пили чай у владыки. Тогда девочки приехали в Пугачев навестить арестованного отца и попали, когда его готовились отпустить. После освобождения отец Сергий, забрав дочерей, отправился к епископу поблагодарить за присланные им передачи и переговорить обо всех необходимых делах, так как обоим было ясно, что теперь они скоро не увидятся. Между прочим отец Сергий рассказал о запутанных делах в одном из соседних с Острой Лукой сел, которое относилось к другой епархии, не имевшей сейчас епископа, – границы трех епархий, Самарской, Саратовской и Уральской, сходились в том уголке земли, где стояла Острая Лука.

– Вы бы шепнули им, пусть ко мне обратятся, – сказал тогда владыка, ставя обратно стакан с чаем, который собирался было поднести к губам. – Я бы им помог, как говорится, не ради хлеба куса, а ради Иисуса.

Этой пословицей, только в обратном порядке «не ради Господа Иисуса, а ради хлеба куса», отец Сергий и его друзья часто пользовались, говоря о новом типе священников-«гастролеров», ездивших по епархии и старавшихся без архиерейского благословения «влезть» в приход побогаче. Отношение к таким людям, как у старших, так и у молодежи, было раз навсегда установившееся. Поэтому, когда та же пословица была употреблена в смысле, прямо противоположном привычному, образ нового епископа получил в глазах Сони особое, идеальное освещение.

– Видели, какой хороший у нас архиерей? – сам весь светясь от счастья, говорил отец Сергий, проводив гостей. Впрочем, он говорил это не только дома, а везде и со всеми, кто только мог разделять его чувства. – Очень хороший, я такого еще не встречал.

А однажды добавил: «Единственный его недостаток – это его доброта. Как бы он не распустил викариатство».

– Впрочем, был и раньше такой же добрый епископ, митрополит Филарет Киевский, – продолжал размышлять вслух отец Сергий, – и дело у него шло не хуже, даже лучше, чем у других, строгих. Да и наш архиерей не первый год управляет, а не видно, чтобы распушенность была больше, чем при других. Скорее наоборот.

Время показало, что опасения отца Сергия были напрасны. Где нужно, епископ Павел умел быть и твердым. Так получилось с певчими, кое с кем из сельского духовенства, со старособорным регентом П. Е. Жуковым, надумавшим как-то со своим хором петь народные песни в клубе. Конечно, их разговор происходил с глазу на глаз, но один из посетителей, ожидавший очереди в крохотной кухоньке, невольно слышал этот разговор. По его определению, владыка, не повышая своего мягкого голоса и почти не меняя манеры говорить, пробрал виновного «до разделения души же и духа». Но особенно запомнился как будто мелкий, но выразительный случай с настоятелем собора отцом Александром Моченевым. Владыка очень ценил и уважал отца Александра, но не постеснялся, когда счел нужным, сделать замечание и ему. По своим качествам отец Александр вполне заслуживал доброго к нему отношения, но... и на старуху бывает проруха...

Однажды в будни отец Сергий служил один, а владыка стоял, как обычно, в алтаре и молился. Отец Александр во время литургии присел на корточки около шкафа с облачениями и что-то стал искать там в нижнем ящике. Искал довольно долго. Подходили самые важные моменты литургии. Совершая их, отец Сергий волновался. Он понимал, что не должен делать замечания старшему товарищу, даже начальнику своему, человеку уважаемому им, но не мог и оставаться спокойным. Неподходящая поза настоятеля не давала ему покоя, не давала молиться, не дав сосредоточиться и уйти духом ввысь. «Сидит тут, как лягушка, раскорячившись», – вспоминал он потом свое смятенное состояние духа.

И вдруг из уголка за дверью раздался негромкий голос архиерея: «Отец протоиерей! Станем добре, станем со страхом!..»

Отец Александр смущенно поднялся и, простояв несколько секунд, как провинившийся школьник, тихонько вышел из алтаря.

Пришлось и отцу Сергию раза два испытать на себе, что мягкая рука владыки Павла может быть твердой, но об этом после.

Сам владыка всегда держался за богослужениями в высшей степени благоговейно. Чтобы не возвращаться потом к этой теме, нужно добавить, как он однажды сказал о себе: «Во время „Тебе поем“ я всегда молюсь о спасении души».

Готовясь к приезду епископа, для него сняли маленькую квартирку на берегу Иргиза, недалеко от единоверческой церкви, но вскоре освободили для него половину сторожки Нового собора – небольшую комнатку в два окошечка, где с трудом помещались кровать и два стула, и совсем крохотную кухоньку. Жившая там просвирня перебралась в комнату к алтарнице в другой, более просторной половине сторожки; во второй комнате там жили сторожа, а в довольно большой кухне, как и раньше, пекли просфоры. За столами в квартире епископа поместились сам владыка и Костя, которого владыка взял к себе секретарем, а в кухоньке ожидали посетители и хозяйничали те же просвирня и алтарница, которым за особую плату было поручено обслуживать преосвященного.

Характерно для финансового положения церкви того времени, что это переселение было вызвано не только удобством епископа – близостью к обоим храмам, но и хозяйственными соображениями. Иначе нужно было бы платить за квартиру и услуги, а теперь квартиру Новый собор предоставил натурой, а Старый собор платил за услуги. Выходило немного дешевле, и это было важно, особенно для Нового собора.

Алтарнице, матушке Евдокии Ивановне Гусинской, было сорок три – сорок четыре года, но она казалась значительно моложе. Такая у нее была стройная изящная фигурка, такое нежное беленькое личико с тонкими чертами. Трудно было поверить, что она выросла в деревне, тем более что и держалась она как человек, получивший хорошее воспитание. Можно было залюбоваться, когда она во время богослужения, в аккуратной черной ряске и апостольнике, тихо и благоговейно выходила с подсвечником из алтаря. Кажется, этой-то своей миловидностью и врожденному умению держать себя молоденькая послушница Дунечка была обязана тем, что в 1903 году, собираясь на открытие мощей преподобного Серафима, игуменя взяла с собой именно ее. Мало того, в Сарове на нее обратила внимание великая княгиня-инокиня Александра Петровна и усиленно просила ее у игуменя.

Но тихая деревенская девушка не прельстилась возможностью близости к членам императорской фамилии и со слезами умолила свою матушку не отпускать ее.

Мать Евдокия постепенно оказалась в числе самых верных друзей семьи отца Сергия, и, несмотря на все невзгоды, перенесенные обеими сторонами, дружба эта продолжалась до самой ее смерти.

Глава 23

Федор Трофимович и его муза

Димитрию Васильевичу нелегко было соединять обязанности псаломщика с обязанностями старшего иподиакона, да и недолго это продолжалось, всего три-четыре месяца. Поэтому руководство участвовавшими в архиерейских служениях мальчиками очень скоро перешло к Косте, и он усердно принялся за дело.

Среди мальчиков больше всего обращал на себя внимание посошник Гора Пятаков, прелестный шестилетний малыш.

Длинные праздничные службы, конечно, утомляли его. Тогда, стоя прислонившись к колонне у открытых Царских врат, он слегка склонял голову и сильнее опирался на блестящий, никелированный архиерейский посох. При взгляде на него невольно приходили на ум стихи: «В дверях Эдема ангел нежный главой поникшею сиял». А товарищи, которые все были порядочно старше его, имели для него другое определение: «Никто не таков, как Егор Пятаков!..»

Обязанности ему достались довольно трудные. Парадный металлический посох епископа Павла был гораздо выше Горы, и нести его, да еще так, чтобы он сохранял вертикальное положение, даже просто держать, было нелегко. Случилось однажды, когда Гора поторопился, посох перетянул его, и мальчик растянулся во весь рост на ковре. С тех пор по возможности употребляли легкий, деревянный посох, но в торжественных случаях все-таки приходилось пользоваться металлическим.

Да главное было не в том, что тяжел посох, а в том, что Гора был слишком мал.

Он хорошо знал свои обязанности. Костя не только до приезда епископа учил мальчиков, но и потом чуть не после каждой службы устраивал коротенькие совещания со своим беспомощным штатом. Мальчики сами разбирали ошибки друг друга, а замеченным в шалостях грозили: «Смотри, Костя себе выходной даст!» Этого они боялись больше всего. Горе выходным не грозили, но он сам понимал, что оказывается в буквальном смысле не на высоте. Ведь, подавая и принимая посох, нужно поцеловать владыке руку, а где ее, эту руку, достанешь, когда владыка берет посох где-то далеко над Гориной головой. Мальчик только каждый раз поднимал вверх свое прелестное личико с большими черными глазами, словно проверяя, не убавилось ли со вчерашнего дня расстояние между ним и рукой владыки, и беспомощно взмахивал длинными ресницами.

Был, правда, случай, когда пригодился и его маленький рост. Куда-то подевались поручи от парадного облачения. Все с ног сбились, ища их, пока не догадались спросить Горю.

– Сейчас, – ответил малыш, как будто того и ждал, полез за шкаф и извлек оттуда потерю.

Порядок среди мальчиков установился строгий, и не только из-за боязни «выходного», а и потому, что каждый был увлечен, каждому хотелось, чтобы дело шло как можно лучше. Когда в следующем году Костя предложил обходиться без слов во время службы, а объясняться знаками, это предложение встретили с восторгом.

– Вы за богослужением не вертитеесь, а молитесь, – говорил Костя, – а на меня время от времени поглядывайте. Если я немного подниму палец, значит, нужно подать диакону свечу, да не все бросайтесь, а только тот, на кого я посмотрю. Если два пальца, значит дикирий, если покачаю рукой – кадило. Если покажу опущенный палец или два, три, четыре – несите орлец на то место, сколько пальцев я показал¹¹¹.

Новый способ оказался очень полезным. Он сократил до минимума суету и разговоры в алтаре, что было очень по душе и епископу Павлу, и отцу Сергию, не терпевшему, особенно во время литургии, нарушений благоговейной молитвенной тишины¹¹².

¹¹¹ Орлецы – маленькие круглые коврики с изображением орла, летящего над городом, – символ архиерейской власти. Они подкладывались на те места, куда по ходу службы должен был встать епископ. Каждому месту Костя дал номер и тщательно прорепетировал с мальчиками, чтобы они не сбивались. – *Авт.*

¹¹² Отец Димитрий Шашлов, священник Старого собора, однажды даже крепко обиделся на него за это. Как-то во время «Тебе поем» он вспомнил какой-то свой грех и попросил отца Сергия немедленно исповедовать его, а отец Сергей довольно резко отказался, сказав, что теперь не время для этого. Отец Димитрий не мог забыть этой обиды и тогда, когда отца Сергия уже не было. Отец Сергей, в свою очередь, очень расстроился в тот раз – и оттого, что отец Димитрий нарушил его молитвенное настроение, и оттого, что сам не сдержался. Но ему, конечно, никак не приходило в голову, что его ответ будет принят как крупная обида, иначе он постарался бы, хоть впоследствии, примириться с Шашловым. – *Авт.*

Такого внимательного, благоговейного отношения отец Сергей добивался за любой службой. Прасковья Матвеевна Иванова, та женщина, которая ходила к нему, когда у нее пропал сын, а потом тянулась душой к нему и его семье, даже сетовала на него за это.

– Очень уж отец Сергей строгий! – говорила она. – Выйдут на середину церкви, Костя и так как свеча стоит, а чуть оглянется на народ, отец Сергей только глазами на него поведет... ну, Костя, конечно, сразу и выпрямится. Чересчур строгий! – И никак не могла поверить, что в домашней обстановке отец Сергей бывает и очень веселым – шутит и рассказывает интересные, а подчас и смешные случаи.

Навести порядок среди мальчиков еще половина дела. Тут же в алтаре, рядом с маленьким Горой, бойким Федей, застенчивым меланхоличным Митей и другими, находился громадный, тумбоватый диакон Федор Трофимович Медведев, а от него добиться безошибочного служения было гораздо труднее.

Хотя Федор Трофимович служил диаконом уже давно, никогда нельзя было быть уверенным, что он не допустит какой-либо досадной, а то и смешной ошибки.

До революции Федор Трофимович был купцом. У него были дом или два, и магазин в городе, и лавки в двух-трех ближайших больших селах. Кроме того, он обладал сильным, хотя и не очень благозвучным, басом и любил слушать голосистых диаконов. Он слушал их в разных городах, подражал им, и, когда пришло время, полученное как бы шутя умение помогло ему найти новое место в жизни.

Был он дубоват и добродушен, большой мастак выпить, из-за чего у него выходили неприятности и со священниками, и с церковным советом, и с отдельными прихожанами, не глуп и по-своему грубовато остроумен. У него существовали свои излюбленные словечки. Вместо «брандмауэр» он говорил «гранди мвра»; услышав о какой-нибудь судебной ошибке или несправедливости, сокрушенно и иронически замечал: «Фомаида!» (вместо Фемида).

Как-то в сумерки они с отцом Сергием возвращались после совершения требы. Со скамеечки, скрытой в тени дома, донесся насмешливый голос: «Поп! Поп!»

Федор Трофимович, продолжая идти своей ленивой, неуклюжей походкой, как бы нехотя, но достаточно громко добавил:

– Попа видно, а дурака слышно!

Но одно дело – остроумие, а другое – строгий, раз и навсегда установившийся порядок. Тут Медведев мог ошибаться самым изумительным образом.

– Опять отца диакона его муза подвела! – говорил Костя, рассказывая об очередной ошибке Федора Трофимовича.

Музу приходилось вспоминать из-за того, что сам виновник досадных ошибок имел обыкновение сваливать все на нее, свою музу: «У меня что-то сегодня музы не было, а то бы я разве так прочитал!»

Особенно часто, как бы упорно, ошибался он перед чтением Евангелия в словах: «Благослови, преосвященнейший владыко!» В этом месте муза Федора Трофимовича считала нужным добавлять слово «святой», и епископ Павел, услышав добавление, страдальчески морщился. Обычно он умел «не замечать» ошибок во время богослужения и, если считал нужным сказать что-то по поводу их, говорил после окончания службы, но это слово волновало его больше других. Там, где полагалось произносить «святой владыко», приходилось принимать этот эпитет, а лишний раз добавлять его – совсем другое дело. Об этом говорил Федору Трофимовичу и сам владыка, и Костя, и другие, а когда дело доходило до этих слов, диакон снова начинал колебаться. Стоя перед открытыми Царскими вратами у аналоя и уже прикоснувшись лбом к поставленному на аналоя Евангелию, он слегка поворачивал лицо вправо, к старшему иподиакону, и шепотом спрашивал:

– Говоришь, не нужно здесь «святой»?

– Не нужно, не нужно, отец диакон, просто «преосвященнейший владыко».

– А как же там написано: «Помяни нас, владыко сбитый»?

– Так это в начале литургии, а здесь не положено.

И все-таки, несмотря на все предупреждения и разъяснения вне службы и во время ее, Федор Трофимович частенько ошибался, и его муза вновь проталкивала на свет роковое слово.

С течением времени Костя приспособился в самый крайний, критический момент подсказывать ему кратко «святой не надо». Иногда это помогало, а иногда Медведев все-таки провозглашал: «Благослови, преосвященнейший свитый владыко!» А потом оправдывался: «Тут же есть „святой“. Вот, смотри: „Свитый Иоанн Богослов“».

Наступал какой-нибудь большой праздник. Всем, прежде всего самому Федору Трофимовичу, так хотелось, чтобы все шло «благообразно и по чину». С особой важностью выступал он, собираясь говорить многолетие, а Костя опять подсказывал: «Отец диакон, „благоденственное и мирное“...» Но даже при этих предосторожностях случалось, что, отмахнувшись от надоевшего подсказчика, диакон провозглашал: «Благоденственное и всемирное житие!...»

После службы на него наседали с упреками, а он бубнил обиженно и убежденно: «Ведь всемирное-то больше!»

Он мог заняться чем-нибудь в алтаре как раз в то время, когда ему нужно было говорить ектению. Стоило тогда окликнуть его: «Отец диакон, малая ектения» – он обязательно запутывался. Костя выходил из положения проще: «Отец диакон, паки и паки...» И Медведев, подхватив первые слова, величественно выплывал на амвон.

Хуже всего получилось однажды, уже в самом конце его служения. «Воскресенских орлов», как звали епископа Павла с обоими протоиереями, уже не было в городе, а матушка Моченева собиралась уезжать к сыну. Перед отъездом она заказала молебен о путешествующих, и Федор Трофимович старался изо всех сил. Но и тут «муза подвела». Вместо прокимна: «Скажи мне, Господи, путь, в онь же пойду», он вдруг хватил: «Скажи мне, Господи, кончину мою!»

На матушку, которая была расстроена, это произвело тяжелое впечатление. Она сочла это чуть ли не предзнаменованием своей близкой смерти и очень плакала.

Хотя Новый собор считался кафедральным, епископ Павел не хотел никого обидеть и служил по очереди в Старом и Новом, отдавая последнему преимущества только в дни великих праздников – Рождества, Крещения, Пасхи со Страстной неделей. Его «позвонки», конечно, везде были с ним.

Благодаря такому порядку, Костя близко познакомился со старособорным духовенством, особенно с отцом Василием Парадоксовым. Старик, известный своими чудачествами половине уезда, и тут не оставлял своей привычки шутить. Однажды после службы, когда Костя и второй иподиакон Ваня Селихов подошли к нему прощаться, он протянул Косте копейку: «Это вам с Ваней на двоих».

– А сколько сдачи, отец Василий? – невинным голосом осведомился Костя.

– Ишь ты... какой шустрый... – проговорил отец Василий, вскинув на молодого человека свои быстрые глазки.

Между стариком и юношей что ни дальше, то крепче росла взаимная симпатия, но один раз Костя с Ваней допекли-таки его.

Всем было известно, что отец Василий не признает никаких наград и, имея митру, не надевает за службой даже скуфьи. А обоим юношам очень хотелось увидеть его в полном параде. Они воспользовались одной подробностью пугачевской архиерейской службы.

Не имея диаконского сана, они, хотя и служили за иподиаконов, но до престола не касались, а когда нужно было взять оттуда или положить туда что-то, например архиерейскую митру, обращались к помощи ближайшего священника. И вот однажды, после чтения Евангелия, когда все священники надели положенные им по сану головные уборы, Костя подал стоя-

щему с открытой головой отцу Василию митру Отец Василий, не сообразив, взял, хотел передать епископу, но, увидев, что тот уже в митре, с удивлением взглянул на юношу.

– Это вам, отец Василий, наденьте! – сказал Костя.

– Дурак! – вспыхнул отец Василий. Он так рассердился, что Костя испугался, как бы он сгоряча не бросил митру. Нет, старый протоиерей овладел собой и поставил митру на престол, но с Костей потом долго не разговаривал.

– Я никак не думал, что это так его разволнует, – сознавался потом Костя.

Глава 24 Служба и дружба

Епископ Павел ценил и уважал отца Александра, отца Сергия и дядю своей покойной жены отца Василия Парадоксова и часто советовался с ними по разным запутанным вопросам или просто отводил с ними душу. Но если с отцом Василием он виделся от случая к случаю, когда навещал его или когда старик сам прибредал к нему, то отец Александр и отец Сергий заходили к нему почти ежедневно по окончании службы. «Моя консистория», – шутя говорил он о них. Если владыка был занят с посетителями, они дожидались его на скамеечке в огороде или разговаривали с алтарницей, матерью Евдокией. Главной заботой матушки Евдокии было то, что владыка вечно сидел без денег. «Все раздает, все раздает, – сокрушалась она. – То Василия Евстигнеевича, который в лачужке живет около ограды, зазовет к себе, покормит. Тот, конечно, нуждается, а все-таки... То матушка какая-нибудь из деревни к арестованному батюшке приедет, так владыка идет ко мне: „Матушка Евдокия, дайте чего-нибудь из продуктов!“ Когда есть сахар, или молоко, или еще что, конечно, дашь, а то и скажешь: „Ничего у нас, владыко, нет!“»

– А сухарики?

– И сухариков нет, помните, позавчера все отдали.

– Ну, пойду у Михаила Григорьевича рублевочку займу. – И идет в сторожку. Михаил Григорьевич хоть и сторож, а деньжонки у него всегда есть.

У батюшек, как и у архиерея, с деньгами тоже было негусто, особенно летом, но отец Сергий и в это первое лето, и потом ухитрялся время от времени подsunуть владыке то три, то пять рублей.

– Смотрите, владыка, деньги, – говорила мать Евдокия, открывая чайницу или поднимая стоявшую на столе тарелку.

– Это отец Сергий след оставил, – догадывался владыка. А иногда и не догадывался. Открыв какую-нибудь постоянно требовавшуюся ему книгу, он радостно говорил Косте: «Константин Сергеич, у нас, оказывается, еще деньги есть! Хоть убейте, не помню, как я их сюда заложил».

Костя, только что отвлекавший внимание владыки, чтобы он не заметил хозяйничанья отца Сергия в его вещах, и мать Евдокия, у которой гость спрашивал о состоянии архиерейских финансов, пряча улыбку, радовалась счастливой находке, а епископ Павел уже соображал, не нуждается ли кто-нибудь в экстренной помощи.

Раньше было сказано, что отцу Сергию пришлось на себе испытать, как ласковая рука владыки может быть твердой. В первый раз это коснулось не его самого, а его друга Сергея Евсеевича и приходских дел в Острой Луке, но для отца Сергия все это было сугубо свое.

Сергей Евсеевич часто приезжал в Пугачев, как будто по хозяйственным делам, а в действительности отвести душу. Чуть не всю ночь проводили друзья за разговорами, но радост-

ного в рассказах Сергея Евсеевича было мало. Он тяжело переживал то, что новый батюшка, отец Тимофей, с легкостью ломал введенное отцом Сергием правило – присоединять из старообрядчества только после более или менее длительного испытания, когда есть уверенность, что желающие присоединиться, особенно из молодежи, делают это по убеждению, а не ради жениха или невесты. Когда этот обычай только вводился, многие восставали против него, даже устраивали отцу Сергию скандалы. Потом к нововведению привыкли, все большая часть прихожан понимала его смысл и одобряла его, и вдруг опять все насмарку!

Отец Тимофей Кургаев был неплохой убежденный священник. Он только слишком уверенно, без сомнений и рассуждений, следовал тактике своего отца, миссионера-самоучки.

Как его отец, он радовался самому факту присоединения, а дальше – будь что будет; пусть хоть сами присоединенные окажутся ни рыба ни мясо, не будут ходить ни в церковь, ни в моленную и жену или мужа сделают такими же.

Члены церковного совета и просто церковные ревнители во главе с Сергеем Евсеевичем и Иваном Ферапоновичем, не раз спорили с батюшкой – чуть не со слезами просили его придерживаться установившегося порядка, но говорить было трудно. Кроме того, что отец Тимофей непоколебимо верил в свою правоту, он еще, как больной туберкулезом, был очень раздражителен. Единомыслия не получалось, а создавалась атмосфера настороженности, холодности, почти враждебности. Сергей Евсеевич очень страдал от этого. Через два года оказалось, что это только цветочки.

Отец Тимофей умер в такое время, когда священников становилось все меньше и меньше. В свой маленький, бедный приход остролюкцы с трудом нашли никому не известного отца Владимира Беляева. Скоро им пришлось убедиться, что, по терминологии, принятой ими от отца Сергия, это не пастырь, не священник, а только требо-исправитель и даже еще хуже – «наемник». Служил он торопливо, небрежно, требы совершал кое-как... С отцом Тимофеем попечители спорили о том, что полезнее для души и на что могли быть разные взгляды. Теперь же приходилось говорить о том, что ясно каждому, – о хотя бы относительном соблюдении Устава и о благоговейном совершении таинств. Но все ответы Беляева сводились к одному – не суйтесь не в свое дело!

Вдобавок здесь, в селе, была своя, почти непонятная горожанам, трудность: каковы бы ни были отношения со священником, а на исповедь нужно идти к нему, другого нет. А Сергей Евсеевич не привык отделяться общими мечтами – мол, сердился, осуждал. На исповеди он открыл отцу Владимиру все, что о нем думал, а Беляев без стеснения использовал оружие, которым настоящие священники с большой осторожностью пользовались только в крайних случаях для исправления нераскаянных грешников. Он отлучил своего противника от причастия.

Для такого глубоко верующего человека, как Сергей Евсеевич, не могло быть ничего страшнее. Он несколько раз один и с другими ходил к отцу Владимиру, просил снять отлучение, но Беляев стоял на своем. Он требовал, чтобы Сергей Евсеевич отказался от своих взглядов, изменил свое отношение к нему. Но как отказаться, как изменить? Ведь дело шло не о внешнем только – замолчать, перестать противоречить, а о внутреннем, об изменении взгляда на новые порядки, на нового духовника. А мнение если и менялось, то только к худшему. Не мог же Сергей Евсеевич солгать на исповеди.

Его заступникам, пытавшимся образумить Беляева, тот грозил той же карой. Кончилось тем, что Сергей Евсеевич поехал к епископу.

Вот тут-то отцу Сергию пришлось поволноваться. Епископ Павел вызвал Беляева для объяснений, и для разбора дела назначил авторитетную комиссию, но не отца Сергия, который в какой-то мере являлся здесь заинтересованной стороной, а Моченева и Парадоксова.

Решалась судьба многолетних трудов отца Сергия, но решалась так, что о них даже и не говорилось; стоял вопрос только о ненормально обострившихся отношениях между священ-

ником и прихожанами. Батюшки решили дело внешне правильно и беспристрастно. Они указали Беляеву на недопустимость отлучения от причастия из личных счетов. На основании их выводов епископ Павел предложил допустить Сергея Евсеевича до причастия и даже, кажется, разрешил ему в будущем обращаться, как к духовнику, к священнику одного из соседних сел. Но зато ему было строго внушено, чтобы он не вмешивался в то, что является делом совести священника.

Вынося свое решение, батюшки считали, что защищают авторитет священника в приходе, в то же время сознавая, что вот такому Беляеву не создашь авторитета, если он сам его губит. А если бы они знали, сколько вреда принесет в будущем этот Беляев! Не так много времени спустя он самовольно покинет Острую Луку ради лучшего прихода, куда «влезет» без разрешения архиерея. Покинет в такое время, когда заменить его будет некем, и после него церковь закроют.

Этого, конечно, никто не мог знать, хотя и можно было догадываться, что Беляев держится за Острую Луку только за неимением лучшего. Но что было делать? Другого все равно негде было взять, а убрав Беляева, только ускорили бы неизбежное. Даже отец Сергей, как ни глубоко переживал печали родного села, не мог подсказать ничего лучшего.

Приблизительно в это же время отцу Сергию пришлось выдержать еще один бой по поводу брака в неразрешенной степени родства. Жених был уже не юный мальчик, как в Острой Луке, а энергичный мужчина лет под тридцать, задумавший жениться на своей близкой родственнице. Выслушав от отца Сергия, а потом от епископа Павла, что его брак не может разрешить ни архиерей, ни митрополит, он все-таки отправился в Саратов к митрополиту Серафиму¹¹³. Трудно понять, что там получилось, почему такой законник, как митрополит, решил дать разрешение, но он его дал, и торжествующий жених явился с его резолюцией к отцу Сергию.

Для отца Сергия это было тяжелое испытание. Когда несколько лет тому назад он решал, подчиниться или не подчиниться подозреваемому в обновленчестве архиерею, основной вопрос был в том, является или не является Николай законным епископом; от этого зависело – признавать или не признавать любое его распоряжение, даже самое безобидное. Теперь хуже. Митрополит Серафим, несомненно, был законным; отец Сергей всегда боролся за строжайшее подчинение духовной власти; но вот распоряжение, данное законным епархиальным архиереем, таково, что подчиниться ему невозможно. А чтобы не последовало за отказом запрещение в священнослужении или еще что, этому приказанию придется подчиниться безусловно, иначе бы это обрекло семью на голод.

В резолюции митрополита была одна подробность, на которую непосвященные могли не обратить внимания, но которая, по сути дела, сводила на нет данное разрешение. Давая его, митрополит указал родство на одну степень дальше, чем было в действительности. На это и сослался отец Сергей, отказываясь выполнить распоряжение. В той степени, о которой писал митрополит, он имел право разрешить брак, а в действительно существовавшей мог разрешить только Синод.

Последовала сцена, напоминавшая те, которые происходили когда-то в Острой Луке. Для отца Сергия она была тем тяжелее, что он не только знал жениха, но и был очень расположен к нему. Жених хотел снова ехать в Саратов, но нашел более простой выход – обратился к единоверческому священнику Заседателю, и тот его обвенчал. В затруднительное положение попал и епископ Павел. Какого бы мнения ни держался он сам по спорному вопросу, как бы ни сочувствовал отцу Сергию, но факт оставался фактом – священник не подчинился епархи-

¹¹³ Серафим (Александров, 1867–1937), митрополит Саратовский (1928–1933), митрополит Казанский и Свяжский (1933–1936). Арестован (1936), расстрелян (1937).

альному архиерею. И епископ Павел, как викарный, обязан был официально сообщить об этом митрополиту.

Как отнесся к этому отец Сергей? Может быть, даже еще больше стал уважать владыку за его беспристрастность, по крайней мере, он же и защищал его, когда кто-то осудил его за этот рапорт.

– Так и должно быть, – сказал отец Сергей. – Владыка должен был подать рапорт. А митрополит Серафим теперь должен запретить меня в священнослужении. А я должен буду подчиниться.

Но митрополит, должно быть, понял, что был не прав, или не захотел вступать в резкий конфликт с уважаемым протоиереем. Его резолюция на рапорте гласила: «На усмотрение епископа Павла».

А епископ Павел счел наиболее правильным не давать дальнейшего хода делу – «вменить его, яко не бывшее».

Иногда, в то время, когда владыка и Костя были погружены в серьезные дела, в кухоньке раздавались звонкие детские голоса. Лицо владыки светлело: «Кто это там? Заходите!»

В комнату влетели Боря и Валя, дети регента Михаила Васильевича, оживленные, хорошенькие, всегда в беленьких костюмчиках. Владыка любил детей. Когда он вечерами прогуливался в ограде, к нему забегали и другие дети из ютившихся против церкви хибарок, и для всех у него находилось и ласковое слово, и конфетка или яблоко. А Боря и Валя были почти свои.

Пятилетний Борис, беленький, с большими голубыми глазами, смело подходил под благословение; за ним складывала ручонки маленькая даже для своих лет Валя, которой шел третий год. Мать, Прасковья Ивановна, подталкивавшая их вперед, вместе с матушкой Евдокией выглядывала из-за двери, потом подходила и сама.

– Ах, какая ты нарядная, Валя, – ласково восхищался владыка, любуясь темноглазой говоруньей-девочкой. – Куда это ты собралась?

– Я надела матлосскую блузку и иду к отцу Сельгию, – докладывала девчушка так же, как успела уже не раз доложить встречавшимся на дороге знакомым!

В семье отца Сергея детей тоже принимали с удовольствием, и они и Прасковья Степановна любили туда ходить.

– А не устанете вы? Ведь далеко!

– Не очень далеко, – солидно вмешался Боря. – Вот до Жаровых так далеко! Как от Старого собора до Москвы!

* * *

Не успели пугачевцы нарадоваться на своего епископа, как возникла новая тревога. Получилось так, что независимо друг от друга, но почти одновременно поехали в Самару Дмитрий Васильевич и член церковного совета Григорий Амплеевич Калабин. В первое же воскресенье Дмитрий Васильевич зашел в занятый обновленцами кафедральный собор, посмотреть «много ли в нем людей» и услышал, что там поминают епископа Павла Пугачевского. Дмитрий Васильевич подошел к свечному ящику и спросил, что это за епископ. Ему показали стоявшего недалеко архиерея и объяснили, что он недавно посвящен и теперь собирается ехать в Пугачев.

«Не советую, – сказал Дмитрий Васильевич. – Там свой епископ Павел есть, народ за него держится. А обновленцев у нас не жалуют, может крупная неприятность получиться. Это не Самара, а Пугачев».

У Калабина, как можно было понять из его слов, получилось еще крепче. Он зашел попить чайку на квартиру к бывшему священнику своего родного села Левенка, а теперь актив-

ному деятелю обновленчества, протоиерею Алексееву. Там он застал этого же епископа, которого Алексеев отрекомендовал ему, добавив, что он скоро приедет в Пугачев.

Люди, знавшие Калабина, могли, почти как присутствовавшие при этой сцене, представить, как загорелись глазки горячего старика, как застучала по полу его внушительная палка и как он взволнованным фальцетом закричал: «Вот этой самой палкой... Я Варина, лоскута, с паперти прогонял, когда он в собор лез!» Что было прибавлено в адрес новоявленного претендента на кафедру, Калабин не рассказывал, ограничившись передачей общего тона «совещания».

В Пугачеве много говорили по поводу ожидаемого приезда непрошеного гостя. Догадывались, что, как и в других местах, обновленцы рассчитывают при помощи сходства имен создать путаницу и смуту в приходах. В ожидании его много молились, порядочно волновались, но так и не дождались. По-видимому, тон двух случайных представителей города показал Павлу-обновленцу, что борьба предстоит не из легких, и он предпочел совсем не показываться в город.

Глава 25 Пугачев и Самара

– Соня, тебе письмо. Наташа пишет.

В середине лета 1929 года свояченица отца Сергия, Александра Викторовна, переезжала на новое место работы, на станцию Погромное около Бузулука. Она попросила Соню пожить у нее и помочь, пока она обоснуется на новом месте. Александра Викторовна и принесла долгожданное письмо. Соня, прочитав, протянула его тетке. Витя, воспитанник Александры Викторовны, вертелся около. «Что пишет Наташа?» – нетерпеливо допытывался он.

– Вот послушай, что дописывает к письму дядя Сережа, – улыбнулась Александра Викторовна.

Сие письмо огромное
На станцию
Погромное
Писала Наташа,
Хозяйка наша.

Много над письмом трудилась,
А поклон приписать поленилась,
Исправляя ее ошибку,
Кланяемся мы шибко.

– Хм! – снисходительно улыбнулся восьмилетний мужчина. – Письмо огромное, на станцию Погромное... Писала Наташа, хозяйка наша... – И отправился по своим делам.

А содержание письма было совсем не таким безоблачным, как можно было думать по этой приписке. Кроме нескольких мелких новостей, Наташа описывала гибель своей школьной подруги Нади Востоковой. Эта гибель поразила всех знавших Надю своей неожиданностью и каким-то особенным несоответствием с возможностями и ожиданиями девушки.

Надя была дочерью врача, известного не только в Пугачеве. Когда пугачевцы обращались за квалифицированной помощью в Саратов, они нередко слышали: «Зачем вы сюда приехали,

у вас свой Востоков есть». Понятно, что каждый такой случай увеличивал его популярность, а вместе с тем и благосостояние, так как тогда врачи еще практиковали на дому.

В 1929 году Надя, его младшая дочь, вместе с Наташей и другими, окончила семилетку. Для большинства это окончание означало серьезный перелом в жизни; с ним связывался вопрос, как сложится их дальнейшая судьба. Разговоры об этом шли всю зиму. Очень немногие надеялись попасть в школу второй ступени или в техникум, и даже из этих лишь некоторые решались несмело мечтать о высшем образовании. Не говоря уже об институтах, Пугачев не мог обеспечить всех желающих даже полным средним образованием, а ехать куда-то на сторону – далеко не все имели возможность. Большинство гадало о том, как устроиться на работу. На какую? Где? В маленьком городке это было серьезной проблемой. Сами преподаватели во время занятий частенько проводили беседы на эти темы.

– Имейте в виду, что для большинства из вас семилетка будет концом ученья, – говорили они. – Сама программа семилетки построена таким образом, чтобы выпустить вас в жизнь с необходимыми знаниями.

Ученики понимали это, и никто не был уверен, удастся ли ему учиться дальше.

Одна только Надя Востокова была уверена в этом. «Я буду врачом», – твердо сказала она Наташе, когда они стояли около школы на солнышке во время одной из перемен.

В семье отца Сергея и среди его друзей вообще не было принято так категорически ставить вопрос. «Хотелось бы», «если Бог даст» – вот к чему привыкла Наташа, и Надины слова показались ей прямо чудовищными.

– Что ты, Надя, разве можно так говорить: «Я буду». Ну, скажи просто: «Я хочу быть». Кто знает, что может случиться.

– Нет, я о себе твердо знаю, – настаивала девушка. – Я буду врачом. Меня примут в восьмой класс, а если бы не приняли, можно в любой город поехать. У нас везде есть родные или знакомые, которые все устроят. Я буду врачом.

Училась Надя прекрасно, способности и усердие у нее были. Никто так заботливо не готовил документы для подачи их в школу второй ступени, никто так рано не подал их. Она принесла их первая, 20 июня, как только начался прием документов. 21 июня для их семьи был не менее знаменательный день. Женился брат Иван, и Наде пришлось в этот день много повеселиться и потанцевать. Танцевала она до упаду, а 22 июня пошла с книжкой отдохнуть в городской сад.

Летние грозы налетают сразу, стремительно, без подготовки. Заметив, что небо потемнело, Надя поспешила домой, но успела добежать только до соборной площади. Там около трибуны уже стояло несколько человек, искавших убежища от проливного дождя. Туда же к ним подбежала и Надя, как вдруг оглушительный удар грома потряс все кругом. Молния ударила Надю прямо в висок. Все пятеро находившиеся около трибуны были оглушены, но их удалось спасти, а Наде ничто не могло помочь, хотя сам отец хлопотал около нее вместе с другими медицинскими работниками. На виске у Нади остался след – ярко-синее пятно; с одной ноги молния каким-то образом сняла высокий зашнурованный ботинок и отбросила далеко в сторону.

Гроза пронеслась так же быстро, как и возникла. Через несколько минут над городом снова сияло солнце, небо, освеженное дождем, заголубело приветливо и ласково, а по улицам города, перепрыгивая через ручьи и шагая по грязи, уже шли люди, передавая друг другу, и знакомым и незнакомым, потрясшую всех весть:

– Врача Востокова дочь убило.

– Врача? – переспросил отец Сергей, имея в виду старшую дочь Востокова, работавшую вместе с ним, а ему ответил кто-то: «Да, врача», – имея в виду, что убитая – дочь врача. Так отец Сергей и шел домой в полной уверенности, что случилось несчастье с Ниной Алексан-

дровной Востоковой, и только на своей улице, недалеко от дома, он услышал все от Альбина Альбиновича Здановского, брата Наташиной учительницы немецкого языка.

– Вы знаете, что подружку вашей дочери молнией убило? – спросил Альбин Альбинович.

– Говорят, старшую дочь, врача, – ответил отец Сергей.

– Нет, нет, Надю...

Очень скоро к Наташе прибежали подружки поделиться, обсудить ошеломляющее известие и подумать о том, как им принять участие в похоронах.

Долго и много потом говорили в Пугачеве о смерти Нади Востоковой, а ее подружки с особенной яркостью увидели, как верна старинная поговорка: «Человек предполагает, а Бог располагает».

Вспомнили, что Надя – младшая дочка в семье, балованная, любимая. Старшие дети сводные, только Иван да Надя общие, ну, вот мать и баловала ее, души в ней не чаяла. Доходило до того, что, прежде чем дочке лечь спать, мать ложилась в ее постель, чтобы согреть ее своим телом.

Все для Нади было готово, все ей давалось легко, без забот, и вот – одно мгновение, один удар грома – и ничего нет... «Не надейтесь на князи, на сыны человеческие...» и ни на что земное. Только к Господу нужно обращаться за помощью.

Отец Сергей не делал специальных нравоучений на эту тему; он просто время от времени вставлял свое словечко в общий разговор, и от этого словечка как бы само собою получалось так, что всякий раз, вспоминая о Наде, дети отца Сергея не могли не думать о том, как непрочны, как бессильны все человеческие планы, надежды и расчеты.

Вернувшись вскоре домой Соня тоже привезла тяжелые новости. В то время как она жила в Погромном, в Самаре шел судебный процесс над священниками отцом Иосифом Орловым, отцом Николаем Донсковым, отцом Анисимом Пряхиным и над группой верующих, имевших отношение к Авилкину долу. Совершенно искусственно к ним присоединили еще группу хлыстов с их вожаком Кондратием, хотя он не менее чем за год перед тем православной духовной властью был отлучен от Церкви. Самарская газета описывала грязные подробности изуверской деятельности хлыстов и попутно старалась мазнуть этой грязью духовенство. Но это попутно. В основном же им, особенно Пряхиному, предъявлялось обвинение в агитации в Авилкином доле. Всех четверых приговорили к расстрелу.

Возвращаясь из Погромного, Соня остановилась на несколько дней в Самаре повидаться с родными, в том числе и с Юлией Гурьевной, гостившей у сына. Ночевала Соня у сестры отца, Надежды Евгеньевны. Утром они еще лежали в постели, когда постучала Юлия Гурьевна. Вид у нее был такой, что Надежда Евгеньевна встревоженно спросила: «Что случилось?»

– Павла Гурьевича приговорили к расстрелу, – тихо и как будто безучастно ответила Юлия Гурьевна.

Глаза Надежды Евгеньевны выразили испуг и страдание.

– Да что вы? Не может быть! – ахнула она и заторопилась: – Садитесь, рассказывайте. Да не расстраивайтесь так, может быть, все еще обойдется.

Тем же тихим, ровным голосом, за которым скрывалась тяжелая мука, Юлия Гурьевна рассказала подробности закончившегося накануне суда. Впрочем, она сама знала очень мало, только внешние факты. Остальное стало известно значительно позже.

Погубили его те же хлысты, которые у них и в соседних селах были известны под именем беседчиков. Они давно враждовали против отца Павла. Большинство духовенства не склонны были считать их сектантами, считали обыкновенными любителями собраться «побеседовать». Многолетние наблюдения привели отца Павла к другим заключениям. Он поделился своими наблюдениями с самарским священником Докукиным, давно интересовавшимся этим вопросом. Вскоре Докукин выпустил книгу, изблещившую беседчиков, и в особом обращении благодарил отца Павла, который много помог ему. После этого отец Павел, тогда еще довольно

молодой, жил в постоянной тревоге. Его дом несколько раз поджигали. Матушка не спала ночей, следя за двором, и все-таки поджоги продолжались. Благодаря бдительности матушки, пожары удавалось быстро замечать и тушить, но один случай чуть не кончился катастрофой. Это случилось ранним утром, когда отец Павел ушел к заутрене, а матушка прилегла, решив, что опасность миновала. Внезапно вспыхнули облитые керосином стены и дверь; матушке пришлось спастись через окно. При следствии выяснилось, что поджигала кухарка батюшки, дочь которой была беседчицей; даже керосин, которым она пользовалась, она взяла из стоявшей в чулане большой бутылки. Это ее и выдало. Ночевавшая в доме по просьбе матушки старушка, заметила, что накануне бутылка была почти полна, а утром – чуть не наполовину пустая.

После этого пожара семья отца Павла долго жила в каменном здании школы; там пришлось сделать железные двери, так как деревянные тоже поджигали.

После нескольких лет таких волнений жизнь потекла несколько спокойнее, но процессы над духовенством подали хлыстам мысль, как избавиться от ненавистного священника. Подкупленный ими свидетель (на областном суде он не подтвердил своих показаний, а потом сознался, что был подкуплен) дал показания, что отец Павел агитирует против колхозов. Его, как и первую группу, приговорили к высшей мере, но потом заменили десятью годами лагеря. Он погиб в 1938 году.

Глава 26 Свое важное дело

– А, Николай Андреевич, заходите, заходите! Давно вас не видел. Что нового?
– Новости, отец Сергей, тревожные, – ответил Роньшин, даже не успев пройти в комнату. – Говорят, Александр Введенский сюда собирается.
– Может быть, попусту болтают? Что ему здесь делать? – усомнился отец Сергей.
– Нет, слухи верные, от людей, которые с Москвой, с тамошними обновленцами связь имеют. Введенский ведь теперь везде разъезжает, особенно, где обновленчеству туго приходится. Старается оправдать свое звание «митрополит-благовестник». Придумают же такое! Вызывает православное духовенство на диспуты, а если оппонентов ему не находится, лекции читает.

Задумались... Помолчали...

– Да-а... – протянул отец Сергей.

– Что?

– Скажешь и «да», коли нечего больше сказать.

Опять посидели молча.

– С Введенским много не наговоришь, – сказал Николай Андреевич. – Он Луначарского побеждал. Один Иларион Верейский его забивал. А мы что?

– Мы что? – встрепенулся отец Сергей. – У нас правда. Почему он Луначарского побеждал, а Илариона победить не мог? Потому что в первом случае он за правду стоял, за Бога, а во втором – за свое обновленчество. Обновленческий обман мы, в случае чего, и простыми словами объяснить можем, хоть не имеем такого красноречия, как Введенский. На правду слов немного нужно.

Опять волнения. Опять молитвы.

Введенский не приехал, зато на смену этим волнениям пришли уже описанные волнения с появлением второго епископа Павла.

Все меньше оставалось духовенства по селам. В первую очередь, конечно, страдали наиболее видные, так что в некоторых округах некого было назначать благочинными. Епископ Павел вынужден был передавать управление этими округами соседним благочинным. На юге викариата он выбрал протоиерея Устимова из Сухой Вязовки, почти такого же известного, как Парадоксов, и почти такого же старого, а у Моченева объединил даже три ближайших к городу благочиния.

– Уж вы потрудитесь, отец Александр, – сказал ему владыка. – Отца Сергия я не нагружаю, у него свое важное дело.

Этим важным делом была апологетика. Хотя диспуты больше не организовывались, отец Сергей продолжал собирать и обрабатывать попавший в его руки апологетический материал. Особенно упорно работал он над темами происхождения мира, жизни и человека. Материал для этого он собирал по крупицам – запись чьих-то диспутов, статьи из журнала «Антирелигиозник»¹¹⁴, отдельные книги писателей-атеистов, старых и современных, и критика на эти книги. Сопоставляя высказывания атеистов по интересующему его вопросу, отец Сергей показывал, как путаются и противоречат себе и друг другу атеисты в своих наиболее крайних утверждениях, в то время как общепризнанные выводы вполне можно увязать с различными пониманиями этих вопросов.

Много помогла ему книжечка бывшего преподавателя Самарской семинарии Василия Васильевича Горбунова «Творение или эволюция?». Изданная в 1910 году, эта книжечка была первой попавшей в руки отца Сергия, в которой систематически и убедительно доказывалось, что нет нужды делать тяжелый выбор – «или признать современные выводы естествознания и отвергнуть идею творения, сохранив веру в Библию, заглушить голос разума. Нужно тщательно разобраться в современных выводах естествознания, чтобы решить, какие из них приемлемы для христианства, а какие нет».

В. В. Горбунов доказывал, что развитие мира по Канто-Лапласовской теории происходило в том же порядке, как это указано в библейских днях творения, если, конечно, принять во внимание разницу формулировок и языка ученых XIX века и Моисея, писавшего для кочевников-евреев почти за три с половиной тысячи лет до того¹¹⁵. Горбунов в известной степени признавал теорию эволюции, но с серьезными ограничениями. Органическая жизнь не возникла самостоятельно, а сотворена Богом особым актом творения. Впрочем, это такой вопрос, который касается только внутренних убеждений человека, а никак не его научной деятельности. Признать ли естественное происхождение жизни или сотворение как ее, как и мира, Богом, – это не остановит и не продвинет развития естественных наук. «Если такие научные гении и таланты, как Коперник, Кеплер, Ньютон, Фарадей, Максвелл, Ляйелль, Дж. Гершель, Луи Пастер, Ю. Либих, Гельмгольц и другие, были людьми религиозными, то, полагаю, можно не опасаться, что религия может помешать естествознанию», – писал он.

Горбунов отвергал самозарождение, но не по религиозным соображениям, а потому, что оно научно не обосновано. Наконец, он считал, что «в полном согласии с Библией» можно признать, что «тело человека состоит в кровном родстве с органическим миром», но... «Без творческого вдыхания в него духа жизни оно так и осталось бы только телом, неспособным подняться выше телесных потребностей. И если мы в религии, искусстве и науке возвышаемся над животными, то потому лишь, что носим в себе образ Божий, образ Того, Кто создал миро-

¹¹⁴ Оттуда впервые узнали о проблеме расширяющейся Вселенной. – *Авт.*

¹¹⁵ То же можно сказать и о теориях, вставших на место Канто-Лапласовской, так как расхождения между ними касаются, так сказать, механики происходящего, а не его порядка. Некоторые моменты, например, творение растений прежде солнца, далее лучше объясняются в свете новых теорий. Кроме того, эти расхождения, эти заменяющие одна другую гипотезы, говорят о том, что в науке далеко не все решено, и поэтому честным, серьезным ученым не следует так категорично утверждать того, в чем наука еще не сделала окончательных выводов. Разница в том, что наука не указывает и не может указать причины возникновения материи и движения, а религия указывает эту причину – творение Богом. – *Авт.*

вые законы, почему законы нашей мысли и оказываются тождественными с законами вселенной».

По-прежнему приносил книги из библиотеки сына и отец Иоанн Заседателев. Он и сам начал писать о происхождении мира и с увлечением толковал о том, что еще нашел у «профессора Онучина», как он, упорно нажимая на «о», произносил фамилию Анучин.

По-прежнему добывала кое-что в городской библиотеке Соня. Как было раньше с историческими сочинениями, так и теперь – с естественно-научными. В библиотеке находились только разрозненные тома отдельных ученых. Все-таки девушке удалось достать «Естественный отбор» А. Уоллеса, друга и последователя Ч. Дарвина, и «Чудеса жизни» Э. Геккеля. История ей больше нравилась, естественную литературу она читала только по необходимости, с внутренним сопротивлением. Может быть, поэтому у Геккеля ей больше всего запомнились и, конечно, сильнее поразили ее не научные, а моральные его выводы. «Следует дать врачам право, если не вменить в обязанность, убивать безнадежно больных и вообще неполноценных людей. А матерям нужно разрешить не только делать аборт, но и убивать почему-либо мешающих им уже рожденных детей, пока они не достигли такого возраста, что начнут сознавать свое „я“ отдельно от мира».

Попробовала Соня попросить и «Мировые загадки» Геккеля – книгу, без упоминания о которой не обходилось почти ни одно антирелигиозное сочинение. Почему-то в этот вечер в библиотеке не было заведующей, очень опытной и знающей, а выдавала книги ее помощница. Она долго рылась в соседней комнате, где лежали книги, не пользующиеся широким спросом, и вышла оттуда с виноватым видом. «„Мировых загадок“ у нас нет, – извиняющимся тоном сказала она. – Может быть, вас устроит вот эта?»

Небольшая, по сравнению с недавно сданным Уоллесом, всего страниц на двести – двести пятьдесят крупной печати книжечка, в скромном черном переплете. На заглавном листе острым, напоминающим готический, шрифтом, напечатано: «Д-р Э. Деннерт. Геккель и его „Мировые загадки“».

У Сони мелькнула мысль скорее схватить книгу и бежать, пока библиотекарша не спохватилась и не отобрала ее.

– Думаю, что устроит, – ответила она, с трудом сдерживаясь, чтобы не показать своей радости. Ей случайно пришлось прочитать в «Миссионерском обозрении» подробную рецензию на эту книгу. Книга заключала в себе беспощадную критику не только произведений Геккеля, но и его добропорядочности. Д-р Деннерт говорил о многочисленных подделках и подержках в работах Геккеля, подробно рассказывал нашумевшую «историю о трех клише» – о том, как в доказательство своей теории Геккель дал три отпечатка с одного клише и выдал их за снимки зародышей собаки, обезьяны и человека. О другом случае, когда Геккеля уличили, что он в рисунке эмбриона обезьяны убавил несколько хвостовых позвонков, а к эмбриону человека прибавил, опять с той же целью – доказать, что в эмбриональном периоде они одинаковы и т. и.

В книге Деннерта эти случаи выдачи желаемого за действительное были описаны подробно, указаны фамилии ученых, обнаруживших обман, высказывания других, несогласных с Геккелем. Указывался и метод оправдания Геккеля: уличенный, припертый к стенке, он не опровергал сказанного противником, а старался облить его грязью, не особенно заботясь об истинности своих обвинений.

Словом, книга оказалась настолько интересной, что расстаться с ней в положенный срок не было сил. Решили насколько возможно задержать ее, и Соня взялась переписывать сначала наиболее важные главы, а потом, увидев, что с возвратом не торопят, и все остальное. Когда же месяца через два-три переписка была закончена и Соня понесла книгу в библиотеку, там ее ожидал новый сюрприз.

– За вами эта книга не числится, – сказала библиотекарьша, просматривая пухлый формуляр Сони, в котором за эти месяцы прибавилась не одна страница записей.

– Вы, вероятно, спутали, взяли ее не у нас, а где-то в другом месте. – И не приняла книгу, несмотря на то, что на ней стоял штамп библиотеки.

Когда работа отца Сергия получила такой вид, что ее можно было считать законченной, он отвез ее В. В. Горбунову¹¹⁶, попросил его дать свой отзыв. Отзыв был благоприятный. Василий Васильевич в приложенной записке хвалил работу своего бывшего ученика, только сделал примечание на полях, что теперь уже никто не говорит о происхождении человека непосредственно от обезьяны, а только от общих предков. Поэтому достаточно было бы раскритиковать только эту теорию и не тратить время на другую.

Отец Сергей принял совет во внимание. Когда у него накопился новый материал и он начал заново перерабатывать «происхождения», то сосредоточил внимание на указанном моменте, но не выбросил и другого. К странице с примечанием Горбунова он приклеил вырезку из недавнего номера «Известий», где говорилось о происхождении именно от обезьяны. Ученые, писавшие для ученых, давно оставили эту теорию, но в популярных статьях ею еще широко пользовались, может быть, потому, что она была нагляднее. А раз пользовались, значит, надо и ее разобрать.

Глава 27

Большие дети – большое горе

О материнской любви складывают стихи и поют песни. А кто из поэтов заглянул в отцовскую душу? Разве отец не помогает матери вынашивать дитя?.. Не встает по ночам, чтобы унять ребенка и дать отдых матери? Разве он меньше радуется первой улыбке младенца и первому его слову? Он только меньше о том говорит. Его с детства приучают к суровости, чтобы бороться с невзгодами и беречь семью и родину.

И. Корженевская. Дубовый листок

«Дети мои, дети! Куда мне вас дети?»

Когда отец Сергей напевал эти слова, он улыбался, как будто шутил, но вопрос был серьезным. Дети выросли, им нужна была специальность, какое-то дело, нужно было место в жизни. Даже если бы он захотел держать их у себя под крылышком, это не могло бы долго продолжаться. Вон по селам берут по несколько священников из одного прихода. Возьмут одного, назначат другого, смотришь, и того замели, и третьего, и четвертого, если решится идти в такую обстановку. Скоро наступит и его очередь. Что же тогда будет с детьми?

Определеннее всех была Костина судьба. Она должна быть нелегкой, но все-таки его путь ясен – он будет священником. Пока можно, пусть он работает на своем теперешнем месте. Конечно, на пятнадцать рублей, которые только и в состоянии платить ему епископ, нельзя просуществовать самостоятельно, но для семьи это все-таки помощь, да и у Кости есть сознание, что он приносит пользу в доме. А владыке он, безусловно, нужен.

Соня, еще с шестнадцати лет начавшая задумываться, чем бы она могла помочь отцу, как раз теперь как будто примирилась с тем, что ничего не поделаешь, что она и дома нужна. Когда отец заговорил о том, как они будут жить, если его не будет, она отвечала с каким-то даже легкомыслием: «А что? Как-нибудь проживем. Люди живут же. Я никакой работы не боюсь и не стыжусь. В поле могу работать. В крайнем случае и полы мыть пойду».

¹¹⁶ Прошло еще немного времени, и Горбунова постигла участь многих. Ему предложили официально отречься от своей книги, но он предпочел отказаться от мирной спокойной жизни. Дальнейшая судьба его неизвестна. – *Авт.*

Не к этому он ее готовил, не об этом для нее мечтал. Она жизни не знает, потому так и рассуждает. Если не говорить о связанных с этим унижениях, случайным мытьем полов не проживешь, а уборщицей устроиться нелегко, особенно с ее происхождением. Для них нигде места не приготовили, даже места уборщицы.

Только что приехав в Пугачев, отец Сергей узнал, что просвирня, мать Евдокия Хованская, берет девушек-учениц, учит их вышивать гладью. В начале 1927 года Соня стала ходить к ней. Матушка Евдокия позанималась с ней с полмесяца, показала ей все приемы, различные швы, мережки, паутинки и отправила домой, даже с неоконченной работой – дальнейшее не требовало вмешательства учительницы, а только практики. Отец Сергей присмотрелся, сколько времени требует эта работа, и понял, что прожить на нее нельзя, даже имея постоянные заказы. А заказов не хватало даже на опытных вышивальщиц-монахинь. Недаром та же матушка Евдокия, вторая в городе вышивальщица, предпочитала подрабатывать не вышивкой, а стежкой одеял.

Потом открылись частные курсы кройки и шитья. Соня окончила и их, и опять столкнулась с тем же затруднением – не было ни опыта, ни заказов. Кое-кто из знакомых дал ей какую-то мелкую работенку, но на том все и кончилось. Уже в конце 1929 года отец устроил ее к одной машинистке, дававшей уроки машинописи. Три специальности, а подойдет нужда, ни одна не прокормит. А тут и Наташа кончает семилетку, дальше ей учиться тоже не дадут. Надо и о ней подумать, устроить на работу до того, как ей исполнится восемнадцать лет, чтобы хоть она не была лишена права голоса со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Тяжелее всего было Мише. И забота о нем была самая тяжелая. Закрытие группы, в которой он учился, как-то пришибло его. Он старался бодриться, подчас даже дурачился, старался принимать как можно больше участия во всех семейных делах и интересах, но его никогда не оставляла мысль, что он, здоровый юноша, сидит на отцовской шее и ничего не может сделать и что чем дальше, тем труднее будет ему поступить на работу.

Чтобы хоть чем-нибудь быть полезным, он придумал сделать мазанку, в которой можно было бы зимой держать кроликов. Он выкопал среди двора яму (почва в Пугачеве глинистая) и целое лето таскал туда воду, месил глину ногами, лепил большие кирпичи и просушивал их на солнце. Для крыши потребовалось бы много досок, поэтому Миша занял угол большого, открытого с широкой стороны сарая. Узкую стену он разобрал, использовав ее впоследствии на потолок, вставил в мазанку двери и запасную оконную раму, поставил железную печку. Все это он делал один. Только когда кирпичи пришлось поднимать на уровень человеческого роста и выше, ему помогал отец Сергей. Наконец все было сделано, и Миша перетащил в новое помещение кроликов, заботы о которых давно полностью взял на себя. И если за большими он ухаживал по необходимости, то возня с маленькими была чуть не единственным его удовольствием. Он всегда любил всякую живую мелкоту – козлят, щенят, цыплят, а крольчата были из числа самых прелестных малышей. Миша носился с ними. Летом, когда самые маленькие гибли от жары, отпаивал их холодным снятым молоком из пипетки, кормил, чистил в клетках. И все равно его угнетало сознание, что, не будь его, эту работу выполнил бы кто-то другой. Значит, он даже в этом деле не необходим. «Не нужен», – жестко беря свои раны, определял он.

В таком состоянии особенно лезли в голову всякие «проклятые вопросы». Переоценка ценностей началась у него уже давно, а теперь, на двадцатом году жизни, да еще когда жизнь складывалась не так, как бы хотелось, эта переоценка проходила особенно трудно. Миша разбирал и критиковал такие понятия, которые всегда казались бесспорными, задавал вопросы отцу с той же жестокой прямоотой, с какой они представлялись ему самому. Отец Сергей отвечал возможно мягче, чтобы не бередить открытую рану, которую видел под внешней резкостью, но Соня, а иногда и Костя, не понимали состояния брата и вступали с ним в ожесточен-

ный спор. Поэтому отец и сын старались говорить наедине, где-нибудь на пчельнике или в крольчатнике. И о чем только они не переговорили в эти печальные, трудные для обоих часы!

Сколько раз бывало, когда дети были еще маленькими, особенно если матери не было близко, малыши бросались за помощью к отцу – увидели плохой сон, порезали, а чаще ушибли пальчик. Для таких случаев существовало испытанное и верное лекарство – подуть и поцеловать больное место. С годами горести становились серьезнее. Наташа вспоминала впоследствии, как однажды она долго плакала. Она считала себя обиженной, ей казалось, что все ее не любят, а папа и бабушка говорили, что она капризничает, даже запретили говорить с ней, пока она не успокоится. А ей так хотелось сочувствия!

Она подошла к вешалке, где висел старый папин подрясник, уткнулась в него лицом и стала плакать в него. И вдруг папа строго сказал: «Оставь мой подрясник!» Как горько было девочке! Неизвестно, легче ли было отцу, хотя он и считал нужным выдержать характер. Но разве все это сравнишь с теперешним!

К С-вым время от времени приходила Евдокия Ивановна Попова, мать врача Александра Алексеевича Попова, товарища отца Сергея по семинарии. Почему-то именно с ней он заговорил о тяжелой школе, которую проходят сейчас дети духовенства. Вероятно, это получилось потому, что сама Попова, обычно без конца повторявшая одни и те же мелкие жалобы, на этот раз заговорила взволнованно, вдумчиво, с чувством.

– Как жить, как жить-то будем? – восклицала старушка. – Все труднее становится жить, а что дальше будет, и подумать страшно. Я не о себе говорю, мы-то уж почти прожили жизнь, а вот дети-то наши как будут жить? У них жизнь только начинается!

Конечно, она имела в виду не столько детей, сколько внуков, но в волнении не замечала этой неточности. И отец Сергей тоже разволновался и заговорил о своем, много раз передуманном, прочувствованном и пережитом.

– Нашим детям легче будет, – сказал он уверенно. – Они должны выйти более твердыми и закаленными, чем мы. Они прошли другую школу. Они с малых лет не видели хорошей, спокойной жизни и не знают ее, поэтому им теперь проще. К чему мы с трудом привыкали уже взрослыми, с того они начинают.

А однажды вырвалось у него и совсем другое. Это было в разговоре с одним сельским батюшкой, приехавшим к епископу просить увольнения за штат. Отец Сергей уговаривал его, доказывал, что священник не имеет права бросать своего дела, что при посвящении он как бы венчался с церковью, даже снял при этом свое обручальное кольцо; поэтому Церковь должна быть на первом месте, а семья – на втором.

– У меня дети, – возражал приезжий батюшка.

– У меня тоже дети, – отвечал отец Сергей, – потому я и имею право так говорить.

– У вас большие, а у меня маленькие... они плачут.

Отец Сергей помолчал, пересиливая волнение. Он тоже знал, что значит, когда дети плачут от голода.

– Маленькие дети плачут – тяжело. А вот когда большие заплачут!..

При их разговорах с Мишей бывало и такое... Бывало и то, что Миша забивался куда-нибудь в укромный уголок двора и плакал там.

Среди других забот и невзгод эта боль за детей, конечно, сыграла немалую роль в том, что все сильнее и сильнее белела широкая борода отца Сергея, что в сорок семь лет он выглядел шестидесятилетним.

Глава 28

«Мы не сами-то идем...»

Мы не сами-то идем, нас нужда ведет.

*Нужда горькая.
Русская песня*

– Вот так акробат!

Димитрий Васильевич и Анатолий Моченев стояли у входа в сарай и смеялись, глядя, как умывается Миша. Он висел вниз головой, обвив ногами поперечную балку сарая. Соня поливала ему из кружки, и он, подхватывая в пригоршни широкую струю, тщательно тер руки, чуть не по локоть покрытые глиной. Увидев гостей, он соскочил на землю и поздоровался немного смущенно, хотя смущаться было нечего. Ничего нет плохого в том, что он немного поразвлекся после тяжелой работы – он продолжал класть мазанку. Да и Димитрий Васильевич теперь не такой уж редкий гость, он приходил часто и с удовольствием разговаривал с отцом Сергием, а с Костей они стали друзьями.

Анатолий немного полюбовался на кроликов и ушел, а Димитрий Васильевич прошел в комнату. Соня, готовившаяся было собирать на стол, занялась другим делом – при Димитрии не обедали.

Прошло с полчаса или больше. Неожиданно отец Сергей вышел и сказал дочери: «Поддай обедать!»

– Папа! – Лицо Сони страдальчески сморщилось. – При Димитрии Васильевиче! Он же не будет есть наш обед!

– Делай, что тебе говорят! Надо пригреть человека, – неожиданно резко ответил отец Сергей. Соня удивленно посмотрела на него и пошла на погреб за квасом. Она не увязала вспышки отца с присутствием гостя и, приготовив все, ничего не подозревая, вошла в переднюю комнату звать к столу.

Отец Сергей что-то очень взволнованно говорил, а Димитрий Васильевич сидел лицом к двери, облокотившись на стол и подперев голову рукой. К удивлению Сони, привыкшей считать его легкомысленным и беззаботным, глаза его были полны слез.

– Он срочно уезжает, ему стало невозможно здесь жить, затаскали. Думают, молодой, поддастся, – мельком сказал отец Сергей, когда гость ушел, и добавил: – Думаю, что вам понятно, что об этом не нужно говорить.

Только много позже стало известно, что Жаров уехал к архиепископу Николаю, когда-то служившему в Пугачеве. Теперь он занимал одну из православных кафедр на юге и до сих пор сохранил доброе отношение к своему бывшему иподиакону. Еще позднее, когда отец Сергей уже умер, а Димитрий Васильевич стал отцом Димитрием, он с волнением рассказывал, что перед его отъездом отец Сергей взял с него обещание не оставлять служения Церкви. И он не только выполнил это обещание, но, став священником и настоятелем храма, иногда сознательно, а иногда, по-видимому, и бессознательно предъявлял своим сослуживцам те же требования, из-за которых они с отцом Сергием испортили друг другу столько крови. Дети отца Сергия только переглядывались и втихомолку улыбались, когда отец Димитрий рассказывал, как он борется с торопливым чтением и разговорами на клиросе, как требует, чтобы члены причта перед службой подходили к нему под благословение и как запрещает «водопой» в алтаре – даже слово это сохранил. Ему удалось добиться даже того, чего так и не смог за свое служение добиться отец Сергей и что в Пугачеве ввели уже после него: отец Димитрий запретил вносить в алтарь вместе с поминаньями деньги. «У нас здесь престол Божий, а престол сатаны нужно убрать подальше», – говорил отец Сергей. И отец Димитрий усвоил эту мысль и настоял на исполнении ее.

Теперь, когда страсти улеглись, а жизнь жестоко потрепала его, он все больше и больше начал понимать своего прежнего руководителя и с другим чувством вспоминал былые столкновения.

– Произошла у нас какая-то очередная стычка, – с веселой улыбкой рассказывал отец Димитрий, явно наслаждаясь этим воспоминанием, – я разгорячился, говорю: нельзя же все требовать да требовать, все строгость да строгость. Нужно помягче, с любовью. А отец Сергей отвечает: «Мягкость не всегда полезна, иногда нужно и „емь – давяше!“»

Опять отец Сергей ночи не спал.

Сколько ни говорили они с Мишей, сколько ни искали выхода, они ничего не могли придумать, кроме того, чтобы Мише вернуться в Острую Луку. Только там, где его знали, где еще пока много было людей, доброжелательно относившихся и к отцу Сергию, и к самому Мише, и можно было попытаться найти хоть какую-нибудь работу. Если очень повезет, проработав там год-другой и получив справку о трудовом стаже, можно, пожалуй, устроиться и еще куда-нибудь, но начинать нужно только там. И притом отправляться туда немедленно, не доводя до осени, когда потребность в рабочих руках уменьшится. А если сейчас, то нужно восемьдесят верст идти пешком – в горячую летнюю пору подводку ни за какие деньги не достанешь. Можно, конечно, мимоходом зайти на элеватор, но найдутся ли там попутчики, привозившие в город зерно? Но если и найдутся, то только до соседней волости, в лучшем случае за пятнадцать – двадцать верст от села, – из Острой Луки и ближайших к ней сел хлеб возили не в Пугачев, а в Духовницкое.

Багажа пешком много не захватишь, только самое необходимое. Зимние вещи, постель, кое-какие книги и Мишину скрипку должны были переправить после, когда приедут за Анной Филюшиной, которая уже вторую неделю жила у бабушки, ходила на процедуры в больницу. Таким образом, трудности вставали с самого начала. Правда, несмотря ни на что, сунул-таки он в карман книжечку стихотворений Надсона, а с тяжелым томом своего любимца Некрасова пришлось расстаться до осени.

Что бы ни чувствовали отец Сергей и Миша, другие члены семьи оставались почти спокойными: сказывалось то, что они не принимали участия в обсуждении вопроса и потому не чувствовали всей важности совершавшегося. Даже то, что Миша не ехал, а шел пешком, вместо того чтобы вызвать беспокойство и заботу о нем, придавало в их глазах делу отпечаток легковесности. Казалось, пойдет он, повидается с друзьями, поживет немного и вернется. Даже в школу, Спасское и Ершово, его провожали с большим волнением. Только когда, простившись со всеми, Миша вышел со двора, а Анна, всхлипнув, сказала: «Что это вы его как провожаете? Кто знает, когда теперь увидите?» Только тогда у Сони кольнуло сердце.

Все вышли за калитку. Миша шел по улице, уже недалеко от поворота, закинув за плечи свой убогий багаж, в мешковатом бумажном пиджачке – первом Сонином опыте по шитью верхней одежды. Сиротливо понурившись, ни разу не оглянувшись, шел он к новой, нелегкой жизни.

Глава 29

Мятущаяся душа

Наконец, епископ Павел и отцу Сергию добавил дела. Однажды отец Сергей вернулся от веношной в сопровождении незнакомого человека, очень худого, с провалившимися щеками, острым носом, в очках с тонкой золотой оправой, за которыми поблескивали небольшие живые глаза. Одет он был немного необычно – в длинную, почти до колен, вышитую косоворотку из сурового полотна. Но, несмотря на своеобразный костюм, производил впечатление человека интеллигентного, каких нечасто приходится встретить в Пугачеве.

– Что вы ни говорите, отец Сергей, а нет людей хуже православных, – донеслось до собравшихся в столовой, пока гость проходил в переднюю комнату.

– Нельзя так с маху осуждать всех, – возражал задержавшийся у вешалки отец Сергей. – Среди людей любой веры, как и любой нации, встречаются и хорошие, и плохие.

– Нет, уж вы, пожалуйста, не спорьте... – При этих словах дверь затворилась.

Немного спустя отец Сергей вышел и сказал, чтобы подавали чай.

Новый знакомый, Иван Борисович Семенов, и сидя за чаем, продолжал говорить все на ту же тему. Отец Сергей задумчиво слушал, время от времени вставлял короткие реплики.

Иван Борисович был баптист, точнее пашковец¹¹⁷, бывший учитель, вышедший на пенсию по болезни (у него был туберкулез). Он недавно приехал в город, куда перевели на работу его жену, а на днях явился к епископу Павлу и выразил желание хорошенько поговорить. Разговор затянулся. Он повторился на другой и на третий день. Епископ не мог уделять столько времени одному человеку и передал его отцу Сергию, как знакомому с миссионерским делом.

С тех пор Иван Борисович стал приходить каждый день и просиживать по несколько часов. Постепенно к нему привыкли и без стеснения занимались в его присутствии своими делами, хотя основным делом были выписки из книг и переписка под копирку тетрадей. Иван Борисович оказался очень интересным человеком – он много видел, много передумал и умел говорить так, что его не уставали слушать. Когда он поднимался со словами: «Наконец-то Иван заткнул фонтан своего красноречия» – и прощался. Молодежь разочарованно вздыхала.

– Нужно уметь уйти, пока еще не надоел слушателям, тогда вас с удовольствием встретят и на следующий день, – говорил он, когда его приглашали посидеть еще.

Конечно, не все его излияния слушались с удовольствием. Когда Иван Борисович оседлывал своего конька – осуждение православных, молодежь начинала волноваться и нетерпеливо поглядывать на отца, ожидая, что он будет возражать с привычной и горячей убежденностью.

Но отец Сергей, как и в первый день, только изредка вставлял реплики в непрерывно льющуюся речь гостя.

И странно: страстные обличения Семенова постепенно становились все менее ожесточенными. Он уже перестал обвинять подряд всех православных, а сосредоточил свой гнев на одном духовенстве. Потом признал, что и среди духовенства много достойных людей, плохо лишь одно ленинградское духовенство. Наконец, пришел к выводу, что действительно плох лишь один петербургский протоиерей, с которым ему пришлось столкнуться в молодости (Семенов был года на три-четыре моложе отца Сергия), и разговоры на эту тему потеряли остроту.

Зато чего только не касался Иван Борисович в течение тех часов, которые провел в кухне-столовой отца Сергия. С рассуждений о вере переходил к своим семейным делам, к пребыванию за границей; опять к фактам личной биографии, к характеристике баптистского руководства, к каким-то мелким, но интересным случаям. Невозможно повторить его речей со всеми скачками, изгибами его мыслей, но если сгруппировать все, получалась довольно ясная и очень живая картина его жизни.

Иван Борисович происходил из крестьян не то Горьковской, не то Ярославской области. Его отец сумел дать ему образование. Когда Иван Борисович жил в Петербурге, с ним произошло то, что случалось со многими и раньше, и после него, – он потерял веру. Но переживал он это, как немногие: как крушение всех своих жизненных интересов, даже думал о самоубийстве. Вот тут-то он и столкнулся с пашковцами. Новые знакомые, умевшие разбираться в психологии подобных людей, поддержали его, ободрили, помогли вернуть веру в Бога, но Бога своего,

¹¹⁷ Пашковцы – религиозная секта, возникшая в Санкт-Петербурге среди высшего общества после проповедей английского лорда Редстока, приехавшего в Россию в 1874 г. Названа по имени своего главы – отставного гвардейского полковника В. А. Пашкова. Одно из течений протестантизма, близкое к баптизму.

баптистского. Его послали учиться за границу, а по возвращении сделали разъездным проповедником. В конце концов он стал заметным в своей среде лицом, помощником известного Проханова, редактора баптистского журнала «Христианин». Упомянув об этом, Иван Борисович на следующий раз принес фотографию – группа баптистов, членов какого-то всероссийского съезда, в центре – Проханов, а рядом с ним сам Иван Борисович.

– Мне не хочется, чтобы вы приняли меня за пустого хвастуна, – объяснял он.

Перед отъездом за границу и произошла встреча, оставившая у Ивана Борисовича такое тяжелое впечатление, которое не изгладилось в продолжение добрых двух десятков лет. По законам прежнего времени все отпадающие от Православия посылались на увещания к священнику. Видный городской протоиерей, к которому направили молодого человека, вышел к нему в прихожую. Не садясь и не предлагая сесть, поговорил минут пятнадцать – двадцать. Контраст между этим сухим, казенным разговором и вкрадчивым вниманием пашковцев оказался решающим. Если у Семенова и оставались какие-либо сомнения в том, следует ли порывать с Православием, после этой встречи они исчезли.

– В Германии мне должны были дать не только богословское образование в духе баптизма, но в какой-то мере и светское воспитание, – рассказывал Иван Борисович. – Для этого меня поместили в так называемую «хорошую» семью, где я мог бы научиться, как держать себя в обществе. Можете представить, как я чувствовал себя там первое время. Может быть, вы помните рассказ о молодом офицере, который так смутился в незнакомом обществе, что опрокинул на скатерть чашку кофе, а хозяева как будто ничего не заметили. Там был вывод, что настоящее хорошее воспитание состоит не в том, чтобы не совершить неловкости, а чтобы не замечать неловкости других. Я тогда находился в положении этого офицера, и ко мне, конечно, в какой-то мере применялся этот способ, иначе я бы совсем растерялся. Но меня должны были еще и воспитывать. И вот однажды мне дали урок совсем иного рода, – продолжал Иван Борисович, весело поблескивая очками.

– Это произошло, когда я уже по привычке. За чаем около меня поставили вазу с различными сортами печенья, и я начал рыться там, выбирая самое вкусное. А хозяин взял да и вывалил всю вазу предо мной на скатерть, да еще объяснил с улыбкой: «Так вам удобнее искать».

Молодежь засмеялась. Улыбнулся и отец Сергей.

– Да, способ оригинальный, – сказал он.

– Впрочем, кофе и печенье – это парадная сторона, – продолжал Семенов. – Вообще-то питание там было более чем неважное. К кофе подадут тонюсенькие кусочки хлеба, не намазанные, а так, накрашенные... заштрихованные маслом; к обеду – жидкий суп. Тогда я и туберкулез нажил.

Жена у меня немка. Русская, а не германская, но из настоящей немецкой семьи, теща до сих пор русского языка как следует не знает. Притом – упрямая. Скажет, например: «Лампа стоит на стол». Поправишь ее: «Муттерхен, не так – лампа стоит на столе». Так она сейчас же повторит таким непререкаемым тоном: «Die Lampe steht auf dem Tisch». И потом от нее слова по-русски не добьешься.

Они баптисты, не пашковцы, но это не посчиталось препятствием, разница в учении слишком незначительная, а вот язык... Пока я ходил к ним как жених, все в семье говорили по-русски. А на следующий день после свадьбы теща вдруг заявила: «Раз он теперь наш, следует говорить по-немецки». Да еще в какой форме сказала! На немецком языке для выражения этого понятия – «следует, должен что-то сделать» – существует три глагола: *dürfen*, *müssen* и *sollen*. *Dürfen* означает, что человек может, если хочет, имеет право сделать то-то и то-то, *müssen* – глагол, имеющий более определенное значение. Он употребляется, например, когда нужно сказать – «я должен победить», «должен закончить свою работу», «должен пойти погулять». А *sollen* – самый твердый, он обозначает – «быть обязанным». Так теща употребила именно этот глагол – *er soll*, «он обязан говорить по-немецки».

Тут у нас коса на камень нашла. Я ведь тоже упрямый. Я вспыхнул, говорю: «Если так, с этих пор вы не услышите от меня ни одного немецкого слова. Даже дети знают: с матерью и бабушкой говорят по-немецки, а со мной только по-русски».

А все-таки, должно быть, Ивану Борисовичу хотелось иногда вспомнить и немецкий язык. Не для того он изучал его столько лет, чтобы забывать. И он пользовался каждым случаем, чтобы вставить в разговор немецкое слово, объяснить какую-то тонкость языка. Однажды он обратил внимание на сидевшую на полу кошку, голова которой была, как будто нарочно, окрашена в разные цвета – одна щека, ухо, половина лба и носа белоснежные, а другие – угольно-черные.

– Какое странное у кошечки лицо, – сказал Иван Борисович, прервав какое-то глубоко-мысленное рассуждение, и тут же поправился: – У кошечки не лицо, а морда. К животным нельзя применять слово «лицо». Как в немецком: говоря о человеке, употребляют глагол *essen*, а о животных – *fressen*. Кошечка не ест, кошечка жрет.

По мере того как Иван Борисович смягчился и признавал все больше хорошего в православных, по мере того как он сближался с новыми знакомыми, он все чаще говорил о недостатках внутри баптистских общин, недостатках, заставивших его разочароваться в баптизме и прийти излить душу православному архиерею. У баптистов все показное. Они принимают все меры, чтобы привлечь к себе новых людей, ухаживают за ними, входя во все их нужды и заботы, случается, даже помогают им материально. А когда человек стал своим, забывают о нем и бросаются искать других. Упрекают православных, что молятся заученными молитвами. Так ведь эти молитвы составлены великими христианскими учителями, они талантливы по форме, глубоки по мысли и трогают душу. А что представляют из себя «идущие от сердца» импровизированные молитвы, какими молятся баптисты на своих собраниях! Смешно и грустно вспомнить о невежестве, которое проявляют при этом не только рядовые члены общины, а и проповедники, так называемые пресвитеры.

Однажды Ивану Борисовичу пришлось услышать речь такого горе-учителя. «Прежде чем Иуда удавился, он успел оставить послание, которое мы сейчас читаем». Тот человек даже не знал, что в Евангелии, в числе двенадцати апостолов, названы два Иуды – Искариотский и Иуда, брат Иакова, сын Иосифа Обручника, и что этот-то последний и написал послание. Охладев к баптизму, Иван Борисович начал усиленно искать правду. «Я изучил все европейские религии, – рассказывал он, – бывал на всех богослужениях, кроме хлыстовских радений и черной мессы, на которую меня тоже приглашали в Париже. (По словам раскаявшихся, основная часть черной мессы является надругательством над Святыми Тайнами.) На эти не пошел, побоялся.

– Какие же выводы вы сделали из своего изучения? – спросил отец Сергей.

– Те, с которыми пришел к вам: нет веры лучше православной, и нет людей хуже православных. От второго положения я, как вы знаете, отказался, а от первого – нет. Я в восторге от православного богослужения. Нигде больше не встречал я такой глубины и законченности. Православные не понимают, каким сокровищем они обладают.

Когда разговоры приняли такой оборот, естественно, настал момент, когда отец Сергей спросил Ивана Борисовича, почему бы ему не возвратиться снова к Православию.

– Я еще не готов, – сразу посерьезнев, ответил Семенов. Что-то мне мешает – моя домашняя обстановка и, может быть, моя самость. Знаете, существует выражение, что здешние враги человека – Яшка, Самошка и Гордюшка, т. е. Я, я Сам и моя Гордость. Вот этих врагов мне и нужно победить. А пока, с вашего разрешения, я буду продолжать без присоединения ходить в церковь.

В церковь Иван Борисович начал ходить вскоре после того, как познакомился с епископом Павлом и отцом Сергием. Ходил он не только в праздники, но и в будни, вставал с правой стороны у колонны и внимательно следил за богослужением. Каждая служба давала ему новый

повод для рассуждений и восхищения, и, придя к отцу Сергию, он снова и снова разбирал слова и мысли, на которые сегодня обратил внимание.

– Я только теперь начал по-настоящему понимать догматики, – говорил он как-то. Раньше я не обращал на них внимания. А вы, молодежь, знаете, что такое догматики?

– Это молитвы, которые поются после стихир на «Господи воззвах», перед «Свете тихий», – слегка смущаясь, ответил Миша (он тогда еще был дома).

– В них раскрывается догмат рождения Христа от Девы, потому они и называются догматиками, – добавил Костя.

– Вот именно, раскрывается этот догмат, но как раскрывается, с какой тонкостью, точностью и разнообразием! Кроме праздничных, имеется восемь догматиков, по одному на каждый из восьми гласов, и в каждом этот догмат изложен новыми словами, и не знаешь, какой лучше.

Он отхлебывал несколько глотков чая и переходил на другое.

– А апостольские послания! Какое там сокровище! Я что ни дальше, все больше прихожу в восторг от посланий апостола Павла. Возьмите любое из них: к Солуньянам, к Евреям, к Колоссянам – написаны они для людей разных наций и обычаев, по разным поводам, а кажется, что все они писаны прямо для нас. А маленькая записочка к Филимону! Это ведь именно записочка, к частному лицу, по частному случаю... Апостол посылает к Филимону бежавшего от него и обокравшего его раба Онисима, которого обратил в христианство, и при этом пишет: «Хотел удержать его при себе, чтобы он служил мне вместо тебя... Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужденно, а добровольно. Прими его, как меня... как мое сердце... Имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе... по любви лучше прошу... а если он чем обидел тебя или должен... я, Павел, написал моею рукою: я заплачу... Успокой мое сердце о Господе...»¹¹⁸ Как, должно быть, стал близок его сердцу этот когда-то строптивый Онисим, «которого он родил в узах». И все-таки он не боится послать его к его бывшему господину, чтобы и тот переборол свой гнев и встретил когда-то оскорбившего его раба, как брата, как представителя любимого учителя. У апостола Павла болели глаза, он не мог писать, свои послания он диктовал, только подписывал в конце: «целование моею рукою Павловою». А этой своей просьбе и обещанию заплатить придавал такое значение, что пишет его сам и подчеркивает это – я, Павел, написал своею рукою. Какие после этого могут быть у Филимона претензии к Онисиму, если Павел принимает все на себя! Как все это написано, с любовью и в то же время с властью...

Иван Борисович помолчал и прибавил уже другим тоном:

– Жаль только, что чтецы взяли такую странную привычку: читают Апостол сначала тихо, ничего не разбираешь, а потом кричат.

– К сожалению, эта мода повсеместно так укрепилась, что с ней ничего не поделаешь, как ни борись, – ответил отец Сергей.

Дальнейших обсуждений не требовалось, и Иван Борисович вдруг перешел на совершенно иную тему – стал рассказывать, с какими чувствами в первый раз подъезжал к Пугачеву.

– Вы меня поймите, вы тоже говорили, какое неприятное впечатление произвел он на вас по сравнению с местом, где вы жили раньше. А я ведь видел побольше вашего, видел чудную природу, большие, красивые города – Ленинград, Париж и другие. И вот когда я только что услышал о Пугачеве, и потом, когда из поезда увидел эти голые, унылые степи, этот маленький, бедный, как говорится, Богом забытый, городок, я подумал: «Может ли быть что доброе из Пугачева?»

Первое время я сильно тосковал. Наконец почему-то решил пойти к епископу Павлу. Я уже говорил, какое впечатление он на меня произвел. Какой-то необыкновенно добрый, свет-

¹¹⁸ См.: Филим. 13–20.

лый... Недавно я и жену уговорил сходить к нему. Когда мы вышли, я спросил, как ее впечатление. И знаете, что она сказала?

– Да?

– Она сказала: «Это впечатление можно выразить только музыкой». Вот вам и Богом забытый городок!

Глава 30 Сказка о китайской стене

Положение в приходе становилось все напряженнее. Приближались перевыборы церковного совета, и в первый раз за все время существования Нового собора некого было выбрать председателем. Прежний председатель Василий Ефремович категорически отказывался, а другие, с кем бы ни зашел разговор, и руками и ногами отмахивались, чуть только дело доходило до их кандидатуры. И духовенство, и наиболее активные верующие по несколько раз говорили со всяким мало-мальски подходящим человеком, начиная с авторитетных, влиятельных членов церковного совета, много лет занимавших такое положение, и кончая малоизвестными старичками, никогда не подававшими голоса на собраниях. И везде встречали один ответ: «Не могу». Пришлось созывать собрание не наметив кандидатур, в надежде на того, «кого Бог пошлет», и эта фраза сейчас имела особенно глубокий смысл.

Народу на собрание пришло много, и все чувствовали себя тревожно. Все, даже наименее интересующиеся церковными делами, знали, что никто не решается работать председателем, и понимали, что может грозить собору, если председатель так и не найдется.

– Михаил Васильевич, запевайте молитву.

Михаил Васильевич отделился от кучки духовенства, собравшегося на амвоне ближе к правому клиросу, обернулся к народу и, задав тон, запел «Царю Небесный». Народ дружно подхватил. Пели с жарким чувством, с болью сердечной, горячо просили о помощи, вразумлении и подкреплении: «Прииди и вселися в ны!» Потом намечали председателя собрания – уже несколько лет священники не руководили ими во избежание подозрений, что на собрание произведен нажим. На этот раз был избран Михаил Васильевич. Волнуясь и потирая рукой с изувеченными пальцами шрам на щеке, он огласил повестку дня: перевыборы председателя церковного совета, так как прежний председатель Василий Ефремович Козлов отказывается.

– А может, еще поработаете, Василий Ефремович? – неуверенно спросили из толпы.

Все знали, что Василий Ефремович, человек старого воспитания, считает неприличным сразу давать согласие на занятие почетной должности; так же неприличным, как, скажем, по первому приглашению хозяина садиться за стол и приниматься за закуски. Нельзя, могут сказать, что он лезет на это место. Поэтому каждые перевыборы начинались с его отказа. Он стоял на амвоне, торжественный и счастливый; из толпы раздавались возгласы: «Мы вами очень довольны, Василий Ефремович! Василий Ефремович, потрудитесь еще!» А он кланялся, прижимая руку к груди, улыбался, как майская роза, и... отказывался. До тех пор, пока всем не становилось ясно, что отказываться больше нельзя: приличие соблюдено, нужно давать согласие.

Сейчас Козлов держался совсем по-другому. Услышав обращенные к нему слова, он энергично замотал головой. «Нет, не могу, сил больше не хватает. Как пойдешь туда, – он выразительным кивком показал направление, – так хотите верьте, хотите нет, не только рубашка, а и пиджак трясется».

Уговаривавшие примолкли. Ясно, теперь хоть до темной ночи толкуй, все равно не согласится. Кого же просить? Старика Белобородова? Он категорически отказывается. Григория Амплеевича Калабина? И с ним уже не раз говорили, он ссылается на свой горячий характер и большое сердце. «Как только разволнуюсь, сразу умру». Сокольникова? Причинина? Со всеми говорили, и все отказываются.

Отец Сергей сделал шаг к краю амвона и знаком попросил у председателя слова. Худощавый, с запавшими щеками, он за последние дни, кажется, даже за последние часы, похудел еще больше. Глубокое сдерживаемое волнение прорывалось в блеске глаз, в вибрациях голоса и, как всегда во время его поучений, передавалось слушателям, вызывая встречную реакцию взволнованного внимания.

– Я только немного задержу вас, братие христиане, – начал он. – Только расскажу одну китайскую сказку. Это было очень давно. На Китай тогда со всех сторон нападали враги, разоряли страну; и вот жители решили построить стену, которая защищала бы их от нападений. Приготовили материалы, нашли искусных архитекторов, но, прежде чем строить, решили узнать у мудрецов, что нужно для того, чтобы стена стояла крепко, вечно и никакой неприятель не мог бы разрушить ее. Спрашивали множество мудрецов, и никто не дал настоящего ответа.

Наконец явился один старец и сказал: для того, чтобы стена стояла вечно, нужно в ее основание живым замуровать человека. Да не какого-нибудь старика или больного, которому, может быть, и жизнь-то надоела, а здорового, полного сил юношу. И этот юноша должен быть единственным сыном матери-вдовы, т. е. чтобы мать в нем теряла все и не имела надежды на то, что, хотя этот сын и умрет, зато у нее другой есть или будет. И чтобы юноша пошел на мучительную смерть добровольно, и мать чтобы отдала его добровольно.

Как будто шорох пробежал по народу. Все впились глазами в оратора, настороженно слушая «сказку».

– Долго искали такого юношу, – продолжал отец Сергей, – наконец нашли. Назначили день, собрался народ, пришли и старый мудрец, и юноша, и мать его, и их друзья. Юноша простился с матерью, вошел в углубление, устроенное в основании стены, и каменщики начали закладывать отверстие. А мать тут же рядом стоит, он с ней разговаривает, пока можно. И вот осталось положить последний камень...

Голос отца Сергея зазвенел. Народ почти не дышал, точно он рассказывал не сказку, а что-то имеющее непосредственное отношение к ним всем, к настоящему моменту.

– ...Осталось положить последний камень. И вдруг старец остановил каменщиков и приказал: «Освободите юношу!» А народу сказал: «До тех пор, пока в стране будут находиться люди, готовые ради блага других жертвовать собой и своими близкими, до тех пор будет стоять стена».

Отец Сергей чуть помедлил и добавил: «Так и наш собор будет стоять до тех пор, пока найдутся люди, которые не пожалеют себя за него. Больше я вам ничего не скажу, братие христиане».

Еще несколько минут молчания. Потом Михаил Васильевич спросил: «Ну как, православные христиане, кого же будем выбирать? Прошу называть имена».

– Медведева! – раздалось чье-то, будто несмелое, предложение. – Афанасия Матвеевича! – А и правда, Афанасия Матвеевича! А! Как это об нем до сих пор не подумали? Старик хороший, честный, верующий. Тихий очень, потому его и не все знают, потому о нем и забыли...

– Афанасий Матвеевич, прошу, войдите на амвон, покажитесь народу, – попросил председатель.

Афанасий Матвеевич, невысокий чернобородый старик, вышел на амвон и остановился, обернувшись лицом к народу и бессильно опустив, словно ненужные, руки.

– Ишь, помертвел, бедный, – шепнул кто-то.

Нельзя было сказать, что он бледен как мертвец. В застывшем лице мертвого все-таки есть какие-то краски – восковая желтизна, синеватые тени. Лицо Афанасия Матвеевича было бело, как алебастр; он стоял, как человек, неожиданно услышавший свой смертный приговор, в глазах застыло сознание неотвратимости обрушившегося на него несчастья. И все-таки когда его спросили, он тихо прошептал белыми, как и его лицо, губами:

– Согласен!

– Батюшка меня убил своими словами, – говорил он впоследствии. – Я не мог ничего напротив сказать.

Он понимал, на что шел, и так все и случилось. Проработав всего несколько месяцев, он был взят, и о его дальнейшей судьбе ничего неизвестно. Но пример мужества уже был показан. После, несмотря на тяжелое время, найти председателя уже было легче. Сменилось два-три человека, и, наконец, в 1932 или 1933 году председателем церковного совета был избран Михаил Васильевич.

А Григорий Амплеевич, побоявшийся укоротить свою жизнь, взявшись за это дело, умер еще раньше. Накануне Казанской – престольного праздника в левом приделе – вернулся от всенощной, поужинал и неожиданно упал мертвым.

Глава 31 Счастливые

Наступало время осенних заготовок. В Пугачеве жизнь шла почти по-деревенски. Запасали на зиму картошку, солили капусту. Нужно было запастись и кизяков для русской печки, и бурьяну для голландки, но на такой единовременный расход за все годы жизни в городе не хватало средств – покупали возами зимой, хотя это было и дороже. Зато непременно покупали муки. Хлеб брали печеный в лавчонке или пекарне, но ларь на пять пудов муки всегда стоял в запасе на всякий случай. В 1929 году хотелось бы запастись побольше, печеный хлеб перестали продавать, но... вопрос опять упирался в средства. Подсчитав свои ресурсы, отец Сергей сказал детям: «По-человечески нам с нашими запасами и до Рождества не дотянуть, а дальше надежда только на Божию милость. А ведь надо и Мише помочь, что он там получит со своими случайными заработками!»

Впечатление от этих слов было как во время близкого пожара, когда он говорил: «Непосредственной опасности нет, но узелки потихоньку складывайте». Так это было воспринято. Без паники, но сознание большой трудности было.

И вдруг случилось то, чего, конечно, ожидали, но что в данном случае не бралось в расчет, потому что самый этот факт разбивал вдребезги любые расчеты. Отцу Сергию принесли повестку – вызывают в комиссию по хлебозаготовкам. Явиться указано на следующий день вечером, но уже сейчас все ясно представили себе картину будущего. Ведь и до того многих «вызывали». Эти хлебозаготовки главным образом и повлияли на повышение цен на хлеб.

Комиссия давала вызванному «контрольную цифру» – предлагали внести столько-то пудов зерна, на первый раз не очень много. Если человек «выполнял» заданное, ему давалась новая контрольная цифра, потом еще. Наконец подходил момент, когда ни везти было нечего, если раньше и имелись запасы, ни купить не на что. Тогда этот человек объявлялся злостным неплательщиком, и его «кратировали» – давали новую контрольную цифру, в двух-, трех-, десяти-, но чаще всего в пятикратном размере. Затем следовала опись имущества и арест хозяина. Позднее, в начале 1930 года, когда положение особенно обострилось, такая практика была, но «кратирование» со всеми вытекавшими из него последствиями прекратилось.

Прекратилось, как уже сказано, в начале 1930 года, а когда отец Сергей получил вызов, все это было еще в самом разгаре, и его ожидала та же судьба, что и других.

Целые сутки волнений и молитв... Наконец, он пошел и возвратился с известием – по десять пудов с него и с отца Александра. Такое количество еще можно было купить, потратив все средства, в том числе и отложенные на уплату налога. Это означало короткую отсрочку: еще неделю-другую они будут дома до следующего вызова.

На следующий день зашел Моченев. Не советоваться – советоваться было не о чем, а так – немного рассеяться.

– Удивительно держался отец Сергей, – вспоминал он. – Даже шутил. Члены комиссии и то удивились.

– А что же мне, плакать перед ними? Ни жалобами, ни просьбами тут не поможешь. Вот и шутил, хотя... – В первый и последний раз за все время голос отца Сергея дрогнул, он на мгновение остановился, точно проглотил что-то, потом добавил: – Шутил, а на душе кошки скребли.

Во второй раз назначили по пять пудов. Их купить было не на что. Продать мебель? А кому она нужна? Диакон Маркин не прочь был бы купить фисгармонию, но он в Саратове, с ним быстро не договоришься и денег в нужный срок не получишь. Кроме того, была мысль, что, если побольше останется вещей, не так строго отнесутся к хозяину.

Занять? Для этого нужно иметь хоть маленькую надежду, что сможешь вернуть долг, а ее не было. Люди дали бы, с удовольствием дали бы. Предлагали даже не займы, а просто говорили – мы соберем. Никогда раньше не отдавали так охотно все, что имели, как отдавали теперь, мысленно ставя себя в такое же положение. Отец Сергей называл этот период апокалиптическим словом – филладельфийская эпоха, эпоха братолюбия. Но воспользоваться таким проявлением любви было невозможно.

– У людей последнее вытянешь, а конец один, – кратко сформулировал отец Сергей свою мысль, к которой присоединился и отец Александр. А детям только внушал: «Молиться нужно, да и то не забывать добавлять: да будет воля Твоя! Чем мы лучше других? Другие давно уже это горе мычат, а мы все еще вместе, все еще счастливее их. Не может так без конца продолжаться».

Потянулись тяжелые дни ожидания конца. Утром, уходя в церковь, отец Сергей одевался потеплее и, как перед долгой разлукой, прощался с семьей. Не всегда опись имущества предшествовала аресту, случалось и наоборот. Могло получиться, что его возьмут из церкви или с дороги. Возвращаясь, спрашивал: «Все благополучно?»

И днем, и вечером прислушивались к шагам на улице, к хлопнувшей калитке – не конец ли? Сердце падало, если входил кто-то незнакомый, а незнакомых было много. Заходили прихожане со своими нуждами, даже отец Сергей не знал всех, тем более его семейные.

Епископ Павел в своей сторожке каждое утро с волнением поглядывал на часы. Подходит время начинать литургию – будет ли звон? Если зазвонили, значит, все в порядке, батюшки пока дома. Целый день, до всенощной, вместе с владыкой и его «хозяевами» – Евдокией и Клавдией, волновался Костя. Да и многие, сидя у себя дома, с беспокойством прислушивались – зазвонят ли?

До сих пор у людей, переживших то время, сохранились остатки этого чувства. Случается, народ соберется, часы прозвонят, а служба почему-то не начинается. Проходят две минуты... три... пять... Хоть и понимают люди, что не то время, ничего серьезного не может произойти, а все-таки на сердце тревожно – все ли благополучно? Не случилось ли чего?

Засыпали с мыслью: «Еосподи, только бы ночь прошла спокойно!» Спали крепко, сказывалось многодневное напряжение, но эта молитва не оставляла и во сне. Просыпаясь ночью, крестились, опять с той же мыслью: «Еосподи, помоги! Еосподи, сохрани!» И за этой горячей

искренней молитвой, другая, тоже искренняя, но более горькая: «Да будет воля Твоя! Чем мы лучше других?»

Просьпаясь, отец Сергей говорил: «Слава Богу, еще ночь прошла благополучно». Ложился тоже с благодарением – еще один день провели вместе. Какие мы счастливые!

Все ярче и болезненнее чувствовалась у детей любовь к отцу, все бережнее относились они к нему, чтобы не задеть, не расстроить словом. Все больше боялись потерять его. Каждое его слово выполнялось безоговорочно, как приказ. Случалось, сами замечали, что он сказал, между прочим, не придавая своим словам серьезного значения, а выполнять тяжело, до слез не хочется.

И все-таки выполняли беспрекословно, не подав вида, что это неприятно.

Какое это счастье – видеть его, остановить на себе его взгляд! Утром и вечером ощутить на своих руках его благословляющую руку, прикоснуться губами к его губам. Правду он говорит – какие мы счастливые!

Иногда отец Сергей еще развивал свою мысль, повторяя то, что говорил во время голода в 1921 году: «Эх, детишки, как хорошо все-таки, что мама-то у нас умерла! Как бы она сейчас мучилась, глядя на вас!»

Не дай Бог никому такого счастья, когда приходится радоваться смерти дорогих людей!

А впрочем, во всем этом действительно было своеобразное счастье. У А. К. Толстого в «Иоанне Дамаскине» есть стихи:

Любовь и скорбь одно и то же,
Но этой скорбью кто скорбел,
Тому всех благ она дороже...

Вот такое-то скорбное счастье испытывала теперь семья.

– Удивляюсь я Наташе, – сказал раз вечером отец Сергей, – не маленькая уж она, и не глупая, и меня, я знаю, любит, а вот поет, словно радуется чему-то.

Наташу тогда удивили и огорчили эти слова. Что странного нашел папа в ее поведении? Конечно, ей уже шестнадцатый год, она не хуже взрослых понимает, что может случиться, но ведь сам папа не раз говорил: «Мы должны радоваться, что мы вместе». Вот она и радуется.

Хотя отец Сергей и не понял тогда Наташи, ее поведение не только вполне согласовалось с буквально понятыми ею его словами, но и являлось подтверждением высказанной им ранее мысли, что их детям будет казаться нормальным то, к чему сами они пришли с большим трудом.

И так тяжело, а тут еще всякие сочувствующие (ведь действительно, сочувствующие) приносят всякие невероятные, а кто их знает, может быть, и вполне достоверные известия. Так был испорчен один из спокойных, почти счастливых дней, которые были так редки в эту зиму. Епископ Павел любил служить по небольшим праздникам или в дни памяти малоизвестных, но почему-либо чтимых им святых; теперь такие службы совершались чаще прежнего. Оба батюшки и их семьи тоже любили эти службы, а Иван Борисович приходил от них в восторг. Основным отличием их было то, что певчие правого хора, все где-то работавшие, не могли участвовать в них, пели любители левого во главе с духовенством. Михаил Васильевич, не имея под руками хора, следовательно, лишенный возможности управлять им, оказывался хорошим помощником для них. Особенно отличалось от обычного облачение архиерея. Отбрасывали крикливый концерт «Да возрадуется душа твоя...» и тихонько, не заглушая диакона, повторяли стихи на облачение, которые он произносил тоже негромко, но отчетливо, красивым низким голосом. Затем «Приидите, поклонимся» так называемого архиерейского распева. Этим напевом поют и духовенство, и хор. В строгую, благородную мелодию не вклиниваются чуждые ей модные рулады женских голосов. Мирно и плавно звучит у духовенства старинный напев, так

же плавно и красиво подхватывается он певчими, опять духовенством, и органически переходит в не менее благородное, сдержанное «исполла...».

И вдруг в алтарь передается записка. Ее подал зашедший в собор, но почему-то не вошедший в алтарь отец Владимир Романов, крестник матушки Моченевой. В записке – просьба епископу – усиленно помолиться о протоиереях Александре и Сергии.

Мирное настроение сменилось новым беспокойством. И сами батюшки, и окружающие их уже привыкли к мысли, что они получают не менее пяти лет. А отец Владимир пишет об усиленной молитве, значит, он узнал что-то новое и ужасное.

Только через сутки выяснилось недоразумение. Оказывается, отец Владимир так давно не был в Пугачеве, что не имел понятия о таких новостях, которые в городе казались древними. Случайно услышав разговор о том, что как бы новособорным батюшкам по три года не дали, он переполошился и поспешил принять свои меры. На следующий день он зашел к Моченевым, и там наконец разобрались во всем, да и то не сразу.

– Матушка, на правах крестной, его за волосное правление взяла, – рассказывал поспешивший успокоить сотоварища отец Александр, не замечая, что на губах его опять играет исчезнувшая было добродушная усмешка. – Да что толку? Все равно по его милости переволновались.

– Еще слава Богу, что только переволновались, – задумчиво ответил отец Сергей и добавил: – Все-таки и на этот раз счастливо обошлось.

К отцу Сергию частенько заглядывал отец Аркадий Каменев из ближнего села, по странному совпадению также называвшемуся Каменкой. Он был не стар, может быть, чуть постарше отца Сергия, но его красивые, пышные, завивающиеся крупными кольцами волосы были почти совсем седые. Он до того изнервничался, до того был напряжен, что не мог сидеть, а разговаривая, постоянно бегал по комнате. Едва ли отец Сергей смягчал что-нибудь, разговаривая с ним, но, значит, что-то в его словах успокаивало отца Аркадия, иначе для чего бы он ехал именно сюда, когда был особенно обеспокоен. А впрочем, даже в такой обстановке отец Сергей мог иногда пошутить, когда нужно было разрядить напряженное состояние собеседника.

– Время, говорите, очень тяжелое? – Глаза отца Сергия загорались. – Самое хорошее время, интересное! Умрем – скажем своим старикам: «Что вы на земле видели?» Вот мы так повидали всего. Войну, революцию с гражданской войной, голод, то, что сейчас делается... И спастись в это время гораздо легче, – добавил он уже совершенно серьезно. – Наши отцы обдумывали, какой подвиг на себя принять, а нам думать не надо, только терпи и не ропщи.

– Я больше всего боюсь, – сказал отец Аркадий, остановившись против отца Сергия, – больше всего боюсь, вдруг я попаду в такие невыносимые условия, что сойду с ума и в этом состоянии похую Бога. Буду я за это отвечать на том свете?

Отец Сергей помолчал немного, должно быть, подбирая слова, а когда заговорил, ни одной шутилкой не было уже в его голосе, он звучал строго и убежденно.

– За то, что похулили Бога в безумии, не ответите, – сказал он. – А за то, что сошли с ума, ответите. Не ответили бы, если бы лишились ума от болезни, а если от тоски, то ответите. Значит, на Божию волю мало полагались, на то, что Он лучше нас знает, что для нашей души полезней.

– Тяжело очень, – пожаловался отец Аркадий, – никогда спокоен не бываешь.

– А покой нам по штату не положен, – ответил отец Сергей, – как не раз отвечал и другим. – Покой тогда будет, когда над нами «со святыми упокой» пропоют.

О том, что состоялось постановление комитета бедноты на следующий день произвести опись имущества, узнали поздно ночью. Об этом сообщила бывшая на собрании соседка-беднячка Елена Субботина. Она же предложила спрятать вещи покрупнее и тут же переправила через забор на свой двор большое зеркало и кое-что из теплой одежды. Кое-какие материалы, платья покойной Евгении Викторовны и другие наиболее ценные и необходимые вещи

уже были рассованы по почти незнакомым людям, предложившим сохранить их. Еще раньше Юлия Гурьевна отнесла к Кильдюшевским шкатулку, где лежало все золото семьи – несколько колец, в том числе обручальное, крестильные крестики, две броши с искусственным жемчугом и бирюзой, серьги покойной матери отца Сергия, две старинные золотые монеты его бабушки. Что осталось, оставили с мыслью, что, может быть, увидев довольно много вещей, мягче отнесутся к их хозяину.

Когда отец Сергий переселялся в свой дом, против его окон, по ту сторону улицы, был пустырь, через который в грязь выходили на соседний квартал. Весной 1929 года там построились какие-то приезжие из деревни. Они были не то старообрядцы, не то баптисты, до православного священника им не было дела, даже фамилии их никто не знал. Хозяйку этого дома вместе с Субботиной назначили понятыми, когда пришли производить опись. Ей поручили осмотреть вещи в сундуке и определить их качество. Женщины не знали, как поступать. Если хвалить все подряд, может быть, эти вещи оценят подороже, при помощи их покроется задолженность, и тогда претензий к отцу Сергию не останется. Но едва ли тряпки помогут там, где не хватило дома; тогда, значит, лучше признать их малоценными, чтобы их не взяли. Женщины бросались из одной крайности в другую, шепотом выговаривали Соне, что оставили дома столько вещей, хоть бы к ним принесли, и, пользуясь всякой возможностью, совали то одно, то другое в кучу забракованного старья.

Рядом описывали мебель. Красивая фисгармония с целой башенкой из резных полочек, буфет, книжный шкаф были оценены по грошовой стоимости, наравне с обшарпанным, изрезанным письменным столом, к которому отец Сергий в 1921 году прикреплял мясорубку, чтобы перемалывать на муку подсолнечные стебли. Зато милиционера, наблюдавшего за разгрузкой сундука, поразила большая диванная подушка, на которой шерстями был вышит попугай и крупные яркие розы. Эту подушку когда-то кто-то подарил, она лежала в сундуке не потому, что ее очень ценили, а просто за ненадобностью. Однако наблюдавший так заинтересовался ею, что несколько раз напоминал, как бы не забыли внести ее в опись; это была единственная вещь, оцененная дорого – дороже, чем она стоила. Во время возни с подушкой понятая ухитрилась сунуть за сундук, в кучу старья, почти новую полотняную простыню с широким кружевом, лучшую приданую простыню Евгении Викторовны. Потом уже, во время войны, в 1942 или 1943 году, эта простыня очень помогла Соне в тяжелое голодное время.

Вещи описали, но не забрали. Оставили отцу Сергию копию описи и предупредили о строгой ответственности, если что пропадет. По списку еще раз проверили все, отделили «свое» от «не своего». Кроме посуды, бедных постелей и необходимой одежды, остались кухонный стол, пара табуреток, поломанная скамейка, маленький сундучок Юлии Гурьевны с ее вещами (ее вещи не описывали) и книжная полка-стеллаж; последняя осталась по недоразумению, потому что она стояла на письменном столе и описывавшие сочли ее частью стола. Потом, когда приехали за вещами, о ней завели было речь, но распорядившийся изъятием милиционер остановил ретивых – нет в описи, значит, пусть остается.

Зато никто не обратил внимания на книги, которыми были битком набиты и эта полка, и книжный шкаф. Восемь ящичков с книгами, приехавших из Острой Луки, полностью остались у хозяев; все они, вместе взятые, не стоили в глазах оценщиков старого стула и тем более подушки с попугаем.

Вот уж действительно, не поймешь, что невероятно и что достоверно. Верно только то, что неотвратимое все приближается и что оно неотвратимо, как смерть. И еще верно, что все эти волнения, все эти тревожные дни и ночи перед тем неотвратимым не только казались, но и действительно являлись настоящим счастьем.

Ни в Острой Луке, ни в Пугачеве не было в обычае причащаться Рождественским постом. О причащении в каждый пост священники говорили в проповедях как о недостижимом идеале или неприменимом теперь обычае древности. Некоторые старушки причащались Великим

постом на первой и Страстной неделях, но таких было мало, а о Рождественском и они не думали.

Против обыкновения Юлия Гурьевна вдруг решила причаститься, и притом как можно скорее, не дожидаясь даже субботы. Кто знает, уцелеют ли наши до субботы, будет ли тогда служба? «Лучше, если будет возможность, после походим в церковь, поговорим», – говорила она. Она и Наташе предложила причаститься. С Соней они старались говеть в разное время, чтобы дома оставалась хозяйка, но теперь постарались устроиться так, чтобы и Соня не осталась без причастия.

Соне это напомнило случай времен гражданской войны. Тихой летней ночью с субботы на воскресенье нахлынули беженцы из недалекого села Липовка, заполнили подводами всю площадь. Наслушавшись ужасов, которые они рассказывали, отец Сергей и матушка ранним утром подняли детей, пригласили гостившего у соседей священника отца Алексея Вилкова, все исповедались (и отец Алексей исповедался у отца Сергея) и причастились, готовясь к смерти.

Было что-то от того времени и в теперешнем настроении.

По пятницам у диакона был выходной. Отец Сергей служил литургию один, сам произносил ектении, сам читал Евангелие. Понятно, что теперь, когда каждая служба для него могла быть последней, каждое слово он произносил с особенным чувством.

Среди молящихся стояла монахиня мать Пераскева, певчая с левого клироса; она, как и некоторые другие певчие, предпочитала во время гонения не вставать на клирос, чтобы не развлекаться. Сейчас она горячо со слезами молилась и вдруг негромко воскликнула: «Где мы теперь такую музыку услышим?»

Мать Пераскева пользовалась на клиросе известным авторитетом, два года назад была в числе оппортунистов, недовольных порядками, которые устанавливал отец Сергей. Тем важнее было именно от нее слышать высокую оценку его служения, видеть, как изменились ее чувства к нему.

– И правда, Сергей Евгеньевич тогда особенно музыкально служил, – подтвердила и Юлия Гурьевна, вспоминая потом этот день.

Друзья познаются в беде, но какие они разные, эти друзья! Одни придут, посидят и, если есть другие люди, даже слова не вымолвят, а от одного их присутствия становится легче. Другие еще от входа делают убитое лицо, начинают моргать глазами, вызывая покорные им слезы. Они тоже искренно сочувствуют, но они считают, что неприлично без слез входить в «дом плача». И вот они стараются, а от одного только взгляда на них закипает раздражение, и нужно собрать все силы, чтобы в ответ на их утешения не сказать какую-нибудь резкость. А силы и так на пределе. Только постоянное напряжение и многолетняя школа выдержки позволяют сохранять внешнее спокойствие. Только чаще обычного раздается звон упавшего ножа или резкое дребезжание разбившейся посуды – у кого-то выпал из рук стакан, блюдечко или ламповое стекло...

Регент Михаил Васильевич приходил по-прежнему, может быть, даже несколько чаще обычного. Приходил то за книгами, то просто так, посидеть. Старался держаться как обычно, пытался даже шутить, но это плохо получалось. «Как же мы будем?» – вздохнул он однажды.

– А вы-то что? – спросил отец Сергей. – На вас контрольную цифру не наложили?

Михаил Васильевич взглянул на него чуть не с упреком, сам, мол, понимаешь, и ответил коротко: *Поразжу пастыря, и разъедутся овцы* (Мк. 14: 27).

Глава 32

Который спасать?

В одной из молитв Божией Матери есть слова: «Отовсюду беды обстоят мя, а заступающего несть». Бывают такие счастливые моменты в жизни, когда при чтении этой молитвы приходит мысль: «А какие же беды? Как будто все спокойно». И только потом напомним о себе старые раны, привычную боль которых почти перестаешь замечать.

Но бывают и такие периоды, когда физически чувствуешь, что беды действительно обступают со всех сторон, и не знаешь, от какой в первую очередь просить помощи, от какой отбиться.

Вот так было осенью и в начале зимы 1929 года. Едва удалось выбрать председателя церковного совета, еще не решилась судьба церковного духовенства, а пришлось дрожать за соборы. В одно из ближайших воскресений перед Рождеством в Старом соборе было назначено общее собрание прихожан обоих соборов, чтобы решить, который из них оставить. Само собой подразумевалось, что один должен быть закрыт, вопрос только – который.

Вопрос был поставлен круто и в то же время хитро, хотя хитрость эта и была шита белыми нитками. Всем был ясен расчет, что прихожане каждого собора будут защищать свой, и при этом или голоса разделятся так, что можно будет посчитать, будто голосовали за закрытие обоих соборов. Или же, в крайнем случае, оставив один, в споре, в запальчивости укажут на такие его недостатки, которые впоследствии дадут возможность закрыть и его. Уже сейчас начались разговоры, что Старый собор действительно очень старый, построен в екатерининские, если не в елизаветинские времена, что он очень низкий, в нем душно, а деревянные опоры сводов, пожалуй, уж подгнили. С другой стороны, Новый очень холодный, его ничем не согреешь, звук в нем уносится вверх, ничего не разберешь. Серьезным было только указание на непрочность сводов Старого собора, но и оно отпало, когда открыли и попробовали рубить толстые балки перекрытий; они звенели, как металлические, топор отскакивал от них.

Значит, оба собора могли бы простоять еще долго, но один из них должен быть закрыт. Который? Невольно вспоминалась буря, когда отец Сергей оказался в лодке со своими детьми. Которого спасать, если лодка опрокинется? Тогда все окончилось благополучно, а сейчас островок, где стоят оба собора, захлестывает волнами. Который отстаивать? Необходимо добиться одного общего решения, но как этого достигнуть?

И вдруг пришло решение, такое простое и ясное, что казалось удивительным, как о нем не подумали раньше. Правда, такие решения появляются только тогда, когда вопрос хорошо «обмолят». Но решение – это еще не все, его надо довести до людей, а кто за это возьмется? Уж самим-то священникам на это собрание никак нельзя показываться. Даже их молчаливое присутствие там может нарушить неустойчивое равновесие их положения, явиться началом конца. А придя на собрание, разве промолчишь, если заметишь, что собрание уклоняется на неправильный путь? Нет, о присутствии там нечего и думать, на этом настаивали все, с кем только заходила речь, а некоторые и сами начинали разговор, сами упрашивали – только не ходите!

Значит, нужно кому-то подсказать этот выход, и не одному, чтобы, если оробеет один, решился выступить другой. Но кто? Опять вопрос о китайской стене.

Воскресенье подошло очень скоро. Народ потянулся в Старый собор, а батюшки, незаметно для себя, очутились в сторожке у епископа Павла. Невозможно было в одиночестве переживать неизвестность, хотелось чувствовать руку друга. К счастью, добродушный, немного

простоватый сторож Сергей Егорович охотно принял на себя обязанности связного. Он беспрестанно сновал между сторожкой и собором, пробирался то к одному, то к другому из «столпов», узнавал от них последние новости, как умел, передавал их в сторожке и спешил обратно.

Первое принесенное им известие было благоприятным – председателем собрания выбрали Роньшина. Именно он нужен был на этом месте. Именно он, со своим самообладанием, громким голосом, со своей спокойной, авторитетной манерой и находчивостью мог держать собрание в руках, не допустить никаких эксцессов. Впрочем, их пока нечего было бояться, наоборот, чувствовалась какая-то... не вялость, нет, и не равнодушие... эти слова не подходили после того проявления глубокого чувства, с каким перед началом собрания, со слезами на глазах пропели «Царю Небесный».

Равнодушия не было, а говорить не решались. Каждый болел душой особенно за один из соборов, но боялся, защищая его, повредить другому, поэтому говорили осторожно, неуверенно.

Роньшин не торопил. В других случаях так делается, чтобы дать людям выговориться, а сейчас приходилось даже понукать:

– Что вы молчите, православные христиане? Говорите, давайте вместе думать!

От этих понуканий, от бессильных, ничего не решающих выступлений все яснее становилась безвыходность положения. Это было удивительное состояние – внешняя вялость при громадном, все усиливающемся внутреннем напряжении.

Наконец напряжение достигло предела. Как-то сразу почувствовалось, что если сейчас же, сию минуту, не будет сказано нужное слово, не будет указан выход, то может произойти непоправимое. Кто-нибудь сделает самое неподходящее предложение, и народ, не видя лучшего, примет его, а то и просто начнет расходиться, не желая совершать поступок, равносильный духовному самоубийству. И тогда конец обоим соборам.

А те, которые знали нужное слово, колебались и молчали, оглядывались, не заговорит ли кто другой.

Роньшин еще раз окинул взглядом собрание и поднялся. Кажется, вопреки обычаю, не позволявшему председателю выступать в качестве оратора, он решил сам внести предложение. Но в это время раздался голос. Попросил слова Максим Павлович, сын бессменного члена церковного совета, Павла Максимовича Мушникова. Да и сам Максим Павлович уже не один год был в церковном совете Нового собора.

– Православные христиане! – волнуясь, сказал он. – Не понапрасну ли мы тут спорим? Я полагаю так, что нам, верующим, оба собора нужны, и Новый, и Старый. Давайте так и ответим!

Общий вздох облегчения пронесся по храму. Облегчения, соединенного с удивлением и некоторой долей досады на себя: как это мы не догадались! Совсем было попались на удочку!

Поднялся такой шум, что Роньшин, взволнованный не меньше других, должен был призывать к порядку. Водворив относительную тишину, он предложил проголосовать.

Лес рук, поднятых над головой, был дружным ответом председателю. Разумеется, против никто не голосовал, не было и воздержавшихся. Голосовали так единодушно и с таким подъемом, что даже голубоглазая девчушка на руках у матери, глядя на взрослых, подняла измазанную конфетой ручонку. И может быть, Всевидящее Око оценило и эту ручонку, как ценит Оно безыскусную детскую молитву.

«Достойно есть» пропели с новым воодушевлением, как песнь победы, все больше и больше уясняя себе, что едва не сделали большого промаха, чуть не закрыли один из соборов собственными руками.

На этом дело не кончилось. Давно было замечено, что каждый год перед Рождеством в той или иной форме усиливается нажим на религию. Правда, результаты подобных действий не всегда соответствовали ожиданиям, не могли же, например, безбожники считать победой прошлогодние диспуты, на последний из которых они предпочли совсем не явиться. Зато в

этом году нападение было необычайно сильным, сразу по двум направлениям: на духовенство и соборы. Последнее, как видим, провалилось с треском, да и первое не привело к желаемым результатам. Казалось бы, чего проще, забрать перед Рождеством «кратированных» священников и оставить полгорода без праздничной службы, но что-то (или, может быть, кто-то) мешало этому.

Через неделю после собрания о соборах безбожники сделали новую попытку. В следующее воскресенье снова были назначены собрания, на этот раз не вместе, а отдельно в каждом приходе. Обсуждали вопрос о колоколах. На этот раз прямо, без вуалировки, было предложено вынести решение о снятии колоколов и сдаче их в металлолом. Однако под впечатлением первого собрания люди были настроены воинственно и рассуждали, что ничего не нужно отдавать добровольно, если имеют право, пусть берут сами. На этот раз не потребовалось ничьей подсказки, решили самостоятельно: колокола нам нужны, мы их не отдадим, а для сдачи в лом наберем по домам металла, сколько весят колокола.

Столько или не столько, но набрали много самоваров, медных тазов и проч. Кто-то привез даже целую косилку. Но собранный металлолом никому не понадобился, и он долгое время лежал около колокольни.

Очень скоро вслед за этим произошло и еще одно событие, показавшее, что люди недавно колебались, не решаясь выступить с предложением на собрании. Семью Мушниковых, считавшуюся середнячком, объявили кулаками, раскулачили и отправили куда-то за Котлас. Там погибли старик Павел Максимович с женой и сам Максим Павлович. Остальные члены семьи уцелели. Пешком, через тайгу и болота, добрались они до железной дороги, сначала старшие дети, потом девочка лет двенадцати, которую мать поручила какой-то чужой женщине, наконец, похоронив стариков и мужа, и сама мать. Чтобы не подвергнуться участи дочери, получившей три года за самовольное возвращение, она не показалась в городе, а захватив девочку, уехала подальше от родины. Впоследствии к ней присоединились и старшие дети.

Глава 33 Новый, 1930-й

– Осторожнее, не оступитесь!

Новая «квартира» отца Сергия отличалась тем, что пол в сенях не был приподнят вровень с остальной избой, а полусгнившие доски его лежали прямо на земле. Открыв кухонную дверь, нужно было сразу шагать вниз и спускаться по нескольким ступенькам. Причем это крыльцо не соединялось наглухо со стеной, а было сколочено отдельно и постоянно отодвигалось на покато полу, и между ним и стеной образовывался все время менявший ширину промежуток, в котором легко было сломать ноги. Поэтому, провожая по вечерам Ивана Борисовича, отец Сергий брал со стола керосиновую лампу и светил ему.

– Скажите, пожалуйста, отец Сергий!.. – Иван Борисович и голосом и всем существом подчеркивал, что это только шутка. – Скажите, пожалуйста, вы меня провожаете или выпроваживаете? – Он проходил несколько шагов до дверей и снова останавливался. – Не примите этого за злорадство, отец Сергий, но я восхищен вашим крыльцом, это прелесть что такое! – восторгался он. – Раньше священники жили во дворцах и стучались головой о косяки наших хижин, а теперь, наоборот, мы стучаемся головой о ваши косяки. Это великолепно! Вы помните, какой-то древнерусский церковный деятель, кажется, времен Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, говорил: «Прежде кресты были деревянные, а священники золотые, а теперь кресты золотые, зато священники деревянные».

И вот опять появились деревянные кресты, как у епископа Павла и у отца Николая. А сами они разве не золотые? Да и не только они... Вот и ваше крыльцо... Разве оно не подчеркивает ту же перемену, что и деревянные кресты?

Такие разговоры повторялись не раз и не два. Пришло-таки время, когда ко двору отца Сергия подъехали несколько подвод, забрали по описи все вещи, а возглавлявший дело милиционер предъявил распоряжение о выселении. Срок давался самый короткий, да и что делать в пустом доме, который даже истопить было нечем? Впрочем, с мыслью о выселении и с потерей вещей давно смирились; главное – самого отца Сергия не тронули.

Конечно, сразу же после описи и сами, и попечители начали подыскивать квартиры не только для отца Сергия, но и для отца Александра; хотя он жил не в собственном доме, а на квартире, хозяин испугался и предложил уйти. Но найти что-нибудь оказалось почти невозможным. И вообще зимой это трудно, а теперь хозяйева еще и боялись.

В самый критический момент выручил Федя, один из мальчиков, прислуживавших в церкви. Услышав Костин разговор с кем-то об этом, он предложил: «У моей бабушки есть квартира. И недалеко, всего полтора квартала от площади. Она пустит, у нее никого нет».

Никого не было, по-видимому, потому, что квартира не отвечала самым скромным запросам местных квартиросъемщиков, да и характер у хозяйки был далеко не сахарный. Правда, она редко бывала дома, больше жила удочери (не у Фединой матери, а у другой). Но выбирать было не из чего, хорошо хоть она согласилась.

По счастью, в это время в Пугачеве оказался Сергей Евсеевич. Узнав о происходящем в городе, он вместе с сынишкой Иванушкой приехал, как думал, навсегда проститься со своим духовным отцом и другом, захватив с собой и Мишу. На его лошади и перевезлись, за один раз забрали оставшееся имущество и несколько раз съездили за книгами.

Когда пришлось размещаться на ночь, это оказалось нелегким делом. Хозяйка оставила за собой печку и стоящий около нее сундук со своей постелью. Деревянную кровать, занимавшую почти всю боковую стену, она уступила Юлии Гурьевне. Небольшой кухонный стол, поставленный в простенке между окнами, на ночь поворачивали к простенку торцом, под него ставили две табуретки, а на них снятые на ночь платья девушек, – это служило ширмой, отделявшей мужскую половину от женской. В женской, ближе к кровати, на полу спали Наташа и Соня; пока жил Сергей Евсеевич, они лежали, плотно прижавшись друг к другу. По другую сторону стола так же плотно ложились отец Сергей с сыновьями и Сергей Евсеевич. Для Иванушки места не хватало, его устраивали в ногах у старших, поперек их постели. Зато сени были так велики, что в них, кроме вещей хозяйки, свободно поместился ларь с мукой и все ящики с книгами.

Вдобавок ко всему, гнилая избушка была лишь немного теплее прежней квартиры, где все-таки у каждого было свое место. По полу дул ледяной ветер, даже Юлия Гурьевна мерзла на кровати. Не скоро обнаружили в углу под кроватью сквозную дыру, в которую свободно пролезал кулак; дыру заткнули тряпками, и в комнате стало немного теплее. А летом оказалось, что гнилые бревна кишели клопами, забившимися и в стол и в табуретки. По вечерам, в самое счастливейшее время дня, когда вся семья собиралась вместе, во время интересного содержательного разговора, кто-нибудь вдруг вставал и, перевернув табуретку, начинал спичками выжигать донимавших его кровопийц. С ними ничего нельзя было поделаться.

– Я поймаю ночью клопа на себе, – со свойственной ему юмористической интонацией рассказывал Костя, – выброшу его в открытое окно, а он не трудится даже до подоконника добраться, прямо сквозь стенку опять ко мне лезет.

Соня, которая вела героическую, но безуспешную борьбу с этой казнью египетской, определяла по-своему: «Чтобы от них избавиться, нужно избу подпалить, да спички жалко. И все равно гореть не будет, это ведь не дерево, а гнилушка!»

Но так или иначе, все были вместе, и отец Сергей опять говорил то, что чувствовали все: «А все-таки, какие мы счастливые!»

В первый же день, когда только-только перевезлись и кое-как растолкали вещи по углам, он сказал: «Пойду поищу, где устроился отец Александр. Они, наверное, носы повесили».

Собственно, он догадывался, где искать. Некуда им было деваться, как только к двоюродной сестре матушки, Ольге Петровне Курмышской. Муж ее, отец Мстислав, служил в селе, а матушка с дочкой-школьницей жила в собственном домике в Пугачеве. Она тоже побаивалась последствий, пустив таких «опасных» квартирантов, но свой своему поневоле брат. Моченевы только старались не разглашать, где они поселились.

Постучав в дверь, отец Сергей услышал за стеной взволнованное движение, и все. Только после вторичного стука вышла перепуганная хозяйка и, впусив гостя, поспешила успокоить остальных: «Это отец Сергей!»

В семье действительно еще не улеглось беспокойство. Услышав стук отца Сергия, решили, что это пришли за отцом Александром, а тут еще оказался сын Моченевых, Анатолий. Считалось, что он живет отдельно от родителей, и потому его встреча здесь с кем-нибудь из посторонних была нежелательной. Когда услышали стук, его поспешили спрятать в подпол. Услышав голос гостя, Анатолий поднял западню и возник перед компанией большой, как его отец, весь в пыли, с паутиной в пышных волосах. Взглянув на него, отец Сергей встал в позу и пропел фразу Фауста, вызывающего Мефистофеля из преисподней: «Ко мне, злой дух!»

– Все рассмеялись, и сразу настроение изменилось, – рассказывал он дома.

Да и его домашним, когда он пересказал эту сцену, стало как будто легче, напряжение разрядилось.

Иван Борисович по-прежнему чуть не каждый день заходил к отцу Сергию, только теперь его разговоры приняли менее воинственный и более вдумчивый характер. Однажды разговор коснулся ленинградской подвижницы, блаженной Ксении, и он рассказал связанный с ней случай из своей жизни. Это было еще до его знакомства с баптистами, в то время, когда он еще не утратил веру. Он только что окончил техническое училище и, как первый ученик, имел право выбирать любое место. Он уже выбрал, но, прежде чем идти за назначением, решил по примеру многих петербуржцев отслужить панихиду на могиле блаженной Ксении. А когда пришел в училище, оказалось, что обещанное ему место отдано другому, второму ученику.

– Я тогда обиделся на блаженную, – рассказывал Иван Борисович, – а получилось, к лучшему. Как выяснилось после, там была крупная революционная организация, мой товарищ сразу же принял активное участие в ее делах и вскоре был арестован и повешен. Если бы на это место попал я, то по своему характеру тоже стал бы работать там, и эта участь постигла бы меня. А блаженная Ксения меня спасла.

Еще он рассказывал, как присутствовал на публичном сеансе известного спирита и, сидя в зале, все время читал про себя «Отче наш». Выступление спирита оказалось неудачным, опыты срывались один за другим. Наконец он отказался продолжать, заявив: «Мне кто-то мешает». Выходя из зала, Иван Борисович встретил знакомого священника, который сказал, что тоже все время молился о неудаче выступления.

На Благовещение епископ Павел сказал проповедь, которая произвела большое впечатление своей задушевностью. Он говорил, что у Девы Марии по-человечески была очень тяжелая жизнь. Она еще совсем ребенком потеряла отца, а через несколько лет и мать. Обрученная праведному Иосифу, вошла в семью, где все, кроме старшего сына Иакова и младшей дочери Марии, были против нее. А как тяжело ей было после зачатия замечать подозрения Иосифа и не иметь возможности оправдаться! Нужно было откровение через ангела, чтобы он поверил происшедшему чуду.

– Мне до сих пор и в голову не приходило, что Божия Матерь росла сиротой, – против обыкновения немногословно, но с чувством сказал на другой день Иван Борисович.

Подошло Вербное воскресенье (24 марта 1930 года). В соборе из-за малого числа священников сложился такой порядок: по воскресеньям служились две литургии, ранняя и поздняя. Когда служил архиерей, отец Сергей, которому в эти дни обычно приходилось служить раннюю, за архиерейской службой, ради торжественности, принимал участие в выходах, а в самом служении не участвовал, не причащался. По большим же праздникам ранняя отменялась, и архиерейское служение происходило по всей форме, с двумя сослужащими священниками.

Перед Вербным воскресеньем несколько командиров стоявшей в Пугачеве военной части подошли к владыке и попросили, чтобы в этот день была отслужена ранняя. Им хотелось причаститься, а на этот день у них неожиданно назначили занятия; к поздней они не могли попасть.

Почему-то получилось, что отец Александр не помогал за ранней, и отец Сергей, окончив проскомидию, сам вышел исповедовать. Времени не хватило, последний военный подошел к аналою перед самой «Херувимской».

– Я сейчас должен уйти, выйду после, – сказал ему отец Сергей. – Может быть, вы пока сойдете вниз?

– Ничего, я постою здесь, – ответил военный.

– Ждать придется долго, – опять предупредил отец Сергей.

– Все равно, меня это не смущает.

И простоял на амвоне, на виду у всего народа, до тех пор, пока отец Сергей не вышел, причастившись.

В этот день была очередь отца Сергия говорить о действительности Воскресения Христа и общем воскресении всех к вечной жизни. При этом были использованы доказательства, приготовленные еще в прошлом году к диспуту, который должен был состояться на Пасху, но главное, что действовало на людей, это взволнованность и глубокая убежденность, с которыми говорил отец Сергей. Михаил Васильевич вспоминал эту проповедь даже после смерти отца Сергия.

Кроме Ивана Борисовича в эту зиму постоянным гостем отца Сергия был отец Николай Авдаков, тот самый, о деревянном кресте которого упоминал Семенов. Этот молодой тридцатитрехлетний священник уже успел провести по три года в Великом Устюге и на Соловках и был прислан в Пугачев на третье трехлетие. Он приехал почти без ничего, и первое время его каждый день приглашали обедать то владыка, то отец Сергей, Моченев или Парадоксов, то еще кто-нибудь из духовенства. Вскоре его устроили псаломщиком в Старый собор, но в свободное время он по-прежнему тянулся к отцу Сергию, в семье которого его искренно полюбили. Несмотря на свою молодость, он много пережил, много испытал; его слушали с жадностью.

Его рассказы были совсем в другом роде, чем у Ивана Борисовича. Те открывали для молодежи новые горизонты, будили новые мысли, но все-таки его мир был чужой, не вызывавший даже стремления к нему приблизиться. То же, о чем говорил отец Николай, было свое, родное, пережитое если не самими, то кем-то из хорошо известных, близких людей, или такое, что им не сегодня-завтра придется испытать на себе, к чему нужно заранее подготовиться.

Отец Николай был сын священника из Иваново-Вознесенска. Когда в 1922 году его отец умер, прихожане обратились к овдовевшей матушке с просьбой дать им на место умершего одного из сыновей. Так и было сказано: «Дай нам!» Она, оставшись во главе семьи, решала судьбу остальных. Матушка вызвала всех троих сыновей на семейный совет. Старший, Василий Васильевич, бывший уже врачом, соглашался стать священником, но не хотел жениться, а без женитьбы мать его не благословила – человек молодой, здоровый, он мог не вынести безбрачной жизни. А младший, Николай Васильевич, учившийся тогда на медицинском факультете, согласился и на женитьбу. Но служить на отцовском месте ему пришлось недолго. Скоро началось брожение, связанное с обновленчеством, и отец Николай был отправлен в Великий Устюг, а потом, почти сразу же за этим, на Соловки.

Возвращавшимся с Соловков обычно предлагалось жить где угодно, за исключением трех (это называлось минус три) или шести (минус шесть) городов. Как правило, это были Москва, Ленинград и родной город, а если шесть, то какие-то еще из крупных городов страны или такие, с которыми данный человек был особенно близко связан. По какой-то случайности отцу Николаю не запретили въезд в Иваново-Вознесенск, и он, конечно, приехал именно туда. Жены у него уже не было, она без него вышла замуж, но оставалась горячо любимая мать. Она потом рассказывала случай, очень характеризующий отца Николая. Когда ожидалась отправка на Соловки, она при свидании выразила опасение, что не узнает, когда их будут отправлять. Тогда сын дал ей слово, что не уйдет, не повидавшись. И действительно, когда их предупредили об отправке, он объявил голодовку и добился, что ему разрешили повидаться с матерью.

Мир тесен. Впоследствии об отце Николае пришлось узнать еще много такого, чего он сам о себе не говорил. Лет пять – семь спустя на далеком юге молодой человек Роман Михайлович Шилов, сын великоустюжского священника, вспоминал, что отец Николай в 1923–1926 годах бывал у его отца и, как равный, возился с ними, детьми. Приехавший в конце 1930 года в Пугачев товарищ Авдакова по Соловкам рассказывал разные случаи из его тамошней жизни, о его борьбе с администрацией за свои права. Здоровье молодого священника сильно пострадало в этой борьбе, но дух остался прежним.

Вскоре после возвращения отца Николая местные власти решили поправить ошибку своих далеких коллег и предложили ему выехать из области куда угодно. Он ответил, что ему разрешено проживать в Иваново-Вознесенске и он никуда добровольно не поедет. «Если имеете право, отправляйте, куда хотите». Его отправили в Пугачев.

В противоположность своему брату отец Николай всегда был хрупким, со слабым здоровьем. После перенесенных испытаний его одухотворенное лицо с тонкими чертами стало совсем прозрачным; многие находили в нем сходство с изображениями Спасителя. Но на этом лице сияли веселые, почти всегда смеющиеся, подчас даже по-мальчишески озорные глаза.

Отец Николай очень сблизился с Костей, который после отъезда Миши и Димитрия Васильевича чувствовал себя одиноким и всей душой потянулся к новому другу.

По вечерам они часто отправлялись гулять на берег Иргиза, и, кажется, отец Николай рассказывал о себе Косте больше, чем другим.

Ходил он всегда в черной рясе с деревянным священническим крестом. Сначала носил крест на черном шнурке, потом одна монахиня подарила ему вместо цепочки свои четки, белые перламутровые зерна которых эффектно выделялись на черной рясе. В то время еще все священники ходили в рясах, в этом не было ничего особенного, но остальные носили крест под рясой, а он снаружи. Это выглядело как вызов, тем более что путь на Иргиз они с Костей выбрали мимо здания ГПУ. А может быть, таким образом он старался закалять свой характер.

Костя рассказывал, что однажды, идя мимо ГПУ, отец Николай не то забыл вынуть крест, не то поосторожничал. Пройдя с квартал, он остановился и сказал: «Нехорошо получилось, как будто я боюсь, пойдем обратно!» Вынул крест, повернул назад и вместо одного прошел этим путем еще два раза.

Глава 34

«И небо дало дождь...»

** **

Весна стояла жаркая, сухая. Кругом по селам молились о дожде, в Пугачеве все не могли собраться. Как-никак город, не село, здесь люди только наполовину живут заботами сельского хозяйства, да и гораздо труднее здесь получить разрешение на крестный ход за город, по полям,

да еще из всех церквей сразу. Наконец решили молеbstвовать в каждом храме отдельно, а крестные ходы делать только в ограде, кругом храма.

Молеbstвовали три дня. В первый день, кроме специального молебна о дожде, служили водосвятный молебен, на второй день читался акафист пророку Илии, а на третий – Божией Матери.

Молящихся собралось много. Город городом, а у каждого еще свежо воспоминание о голодном 1921/1922 годе, когда дело доходило до людоедства. В местном музее еще сохранялся уголок голода, где рядом с образцами хлеба из коры, лебеды, колючки перекати-поле и др., стояли фотографии двух семей, занимавшихся людоедством. Их застали на месте преступления и сфотографировали около их ужасных трофеев – мяса убитых ими жертв.

Души людей, как натянутые струны, готовые воспринять малейшее прикосновение к ним, раскрыты навстречу трогательным молитвам, навстречу слову священников. Это настроение передавалось проповедникам, и их проповеди получались особенно сильными.

В первый день говорил отец Александр. Все привыкли к тому, как он выходит на амвон, большой, величественный, как-то особенно по-домашнему сложив руки под епитрахилью, словно женщина под фартуком. Внимательно смотрели на народ его большие красивые глаза, а под пышными усами чуть не дрожала знакомая приветливая улыбка. На этот раз улыбки не было. Ударило по сердцу уже одно то, что он стоял строгий, взволнованный.

Очень многие ценили его спокойную неторопливую манеру говорить, с законченными, округленными фразами и красивыми оборотами. Однако сейчас, когда он говорил более взволнованно, и слова его действовали сильнее. У молящихся чувствовался особенный подъем.

На следующий день, когда молились пророку Илии, была очередь отца Сергия. Разумеется, проповедь была на слова апостола: *Илия человек был подобным нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой* (Иак. 5: 17–18).

– Мы молимся пророку Илии, – говорил отец Сергий, потому что в древности он свел своей молитвой дождь на землю. Но мы забываем, что прежде, чем свести дождь, по его молитве заключилось небо и три с половиной года не было дождя. И только когда вразумленные засухой люди покаяться, тогда он помолился о дожде. И нам надо пересмотреть свою жизнь и дать твердое обещание отказаться от замеченных за собой грехов. А то мы молимся: «Даждь дождь...», «Избави нас от всякия скорби». А пророк Илия в это время, может быть, просит: «Господи, прибавь им еще, они не исправилась...»

По храму пронесся общий вздох.

Еще накануне, приложившись к кресту и выходя из храма, люди с привычным ожиданием взглядывали на небо. Уже сколько дней на безоблачном раскаленном небе горело жгучее солнце, а в этот день зной как будто чуть-чуть смягчился и, как дымка, появились тонкие перистые облачка. Настолько легкие, что люди не решались о них заговорить, словно боялись спугнуть, а только тихонько вздыхали: «Господи! Дал бы Бог!»

На второй день на небе были уже большие облака. На третий день люди сошлись с трепетным чувством ответственности: поможет ли Бог, совершит ли чудо или они окажутся недостойными?

Шла служба Пресвятой Богородице, и епископ Павел, весь белый и светлый в своем легком летнем облачении, слегка прищуривая добрые, чуть близорукие глаза, говорил о Ее милосердии, о жалости к согрешившим людям, о том, что всегда Она молит Сына Своего только о милости для людей, с любовью принимая и поддерживая малейшее их намерение исправиться.

Когда возвращались по домам, шел крупный, сильный затяжной дождь. Отец Сергий и отец Александр, как всегда, шли вместе.

– Спасибо вам, отцы! – крикнул им встречный мужичок.

Но отец Сергий не собирался приписывать этой заслуги ни себе, ни своим прихожанам.

– Не думайте, что это наша с вами молитва такая сильная, – говорил он им потом. – Все кругом молились безуспешно, а мы помолились – и сразу дождь пошел. Нет, молитва – она как бы собирается, скапливается на небе. Недаром правосудие и милосердие Божие сравнивается с весами. На одной чаше весов, как гири, лежат наши грехи, а на другую ложится молитва и тех, и других, и третьих. Все больше и больше собирается ее, недостает еще немного, как раз нашей недостает, потому что мы еще не молились. А когда весы начинают колебаться, тогда достаточно немногого, соломинки, пера, чтобы чаша перетянула. И вот добавилось это немногое, и общая молитва исполнилась. Пошел дождь.

У Ивана Борисовича новое богослужение вызвало новые рассуждения.

– Удивительный этот акафист пророку Илии, – говорил он вечером того же дня. – И какой современный! Неужели все это в нем написано и о духе века сего? А я уж было подумал, не добавил ли туда владыка и свои воздыхания?

– Я никак не могу забыть последнего пути пророка Илии и Елисея, – добавил он, помолчав. – Когда Елисей попросил: «Дух, который в тебе, да будет сугуб во мне», а Илия ответил: «Если увидишь, как я буду взят от тебя, будет тебе, а если не увидишь, не будет»¹¹⁹. Как же после этих слов должен был Елисей следить за Илией, чтобы не упустить момента, когда он будет взят!

К этому времени вопрос о присоединении, или, как он выражался, воссоединении, Ивана Борисовича был окончательно решен. Возможно, что последний толчок для этого дали Страстная и Пасхальная недели, во время которых он не пропускал ни одной службы. В пятницу после вечерни он пришел в церковь со своими сыновьями, мальчиками лет одиннадцати-двенадцати. Он подошел с ними к плащанице и долго и серьезно что-то им объяснял. Глубоко уверившись в истине Православия, Иван Борисович, естественно, хотел бы и детей видеть православными, но как это сделать, когда мать и бабушка внушают им другое?

Ожидая с этой стороны упорного сопротивления и не желая отравить себе праздник, он в эти дни не говорил дома о своем решении, сказал только после Пасхи. Но сам готовился, и «для подкрепления духа» попросил у епископа Павла разрешения присутствовать за богослужением в алтаре. Владыка охотно разрешил, и Иван Борисович благоговейно стоял в облюбованном им уголке, тихонько выходя из алтаря только на время пресуществления Святых Даров. Стоял, но не крестился.

Еще когда он стоял внизу, у стенки справа, обращая на себя внимание молящихся своим сугубо интеллигентным видом, к нему подошла одна старушка.

– Сынок, что же ты не молишься? – спросила она.

– Почему вы думаете, мамаша, что я не молюсь? Я молюсь, только по-своему, в уме.

– Креститься, сынок, надо, нельзя без креста. А ты крестись, миленький. . .

Иван Борисович и сам уже понимал, что это необходимо, но ему нелегко было переломить себя после многолетнего перерыва. Первое крестное знамение, положенное на себя, было для него серьезным событием. Для этого он заранее наметил Светлую заутреню и встал в этот день на амвоне около левого клироса, откуда был виден всем. После этого дня крестное знамение вошло у него в обиход.

О той буре, которую ему пришлось перенести дома, он говорил мало, но и то немногое, что сказал, было достаточно выразительно. Однажды он принес целую стопу бумаги, исписанную его мелким аккуратным почерком, и попросил отца Сергия сохранить рукопись.

– Это мое толкование на Апокалипсис, – объяснил он. – Я положил на него много труда и очень дорожу им. Это единственный экземпляр. Был и второй, я оставил его на сохранение у знакомых в Ленинграде, а он там пропал, скорее всего, знакомые побоялись хранить его и уничтожили. А теперь я боюсь, чтобы жена не изорвала и этого.

¹¹⁹ См.: 4 Цар. 2: 10–12.

В другой раз он попросил поджарить ему яичницу – жена отказалась его кормить. После этого всякий раз, как он приходил, ему предлагали пообедать. Несколько дней он пользовался этим, потом поблагодарил и отказался – домашняя гроза стихала. А ведь дело доходило до того, что жена грозила разводом.

Как ни странно, возбужденную против Православия женщину помогали успокаивать опять-таки епископ Павел и отец Сергей. Последний, по просьбе Семенова, не раз ходил к нему домой, а когда страсти немного улеглись, Иван Борисович предложил жене сходить к владыке. Как и в первый раз, это посещение благотворно подействовало на нее, она несколько смягчилась, только наблюдала, чтобы муж не склонял к Православию сыновей.

К присоединению Иван Борисович готовился всей душой. Постился так, что похудел еще сильнее, чем раньше, вспоминал всю свою жизнь, ту четверть века, которую он был вдали от Церкви; снова, с еще большим чувством, разбирал все затронувшее его.

– На Востоке есть такое ароматическое вещество – смирна, – заговорил он однажды. – Чем больше его трешь, тем оно сильнее благоухает. Так и православное богослужение – чем больше в него вдумываешься, тем больше оно показывает свою глубину. Возьмите хоть небольшое, всем хорошо известное слово – исповедь, исповедать свои грехи. В нем одном заложено объяснение всего, что необходимо для истинного покаяния. Прежде всего, нужно хорошо проверить себя, все свои чувства и поступки, вспомнить все грехи, узнать, ведать их. Затем поведать их духовнику. И наконец... – Иван Борисович сделал рукой движение, как будто вырывая что-то из сердца... – И наконец... исповедать их.

Наконец, присоединение совершилось. Крестить Ивана Борисовича не пришлось, потому что он был рожден в православной семье и крещен по-православному, но все-таки он попросил отца Сергия быть его поручителем, вроде крестного отца. Присоединяли третьим чином, т. е. через покаяние. После исповеди требовалось ответить на несколько вопросов, заданных священником: отказывается ли он от своего заблуждения, обещается ли твердо держаться Православия, а затем над присоединяющимся была прочитана разрешительная молитва.

Присоединение происходило всенародно, перед литургией, в один из летних воскресных дней. Иван Борисович, взволнованный и торжественный, в белой рубашке с надетым поверх нее золотым крестиком, подарком «крестного отца», в первый раз за двадцать пять лет подошел к причастию. После службы он даже сказал с разрешения владыки небольшую речь, в которой объяснил историю своего отпадения и своего возвращения.

Когда он вернулся домой, жена за чаем как бы между прочим, бросила несколько слов, показывая, что она видела весь обряд, и он произвел на нее сильное впечатление.

– Значит, ты была в церкви? – спросил обрадованный Иван Борисович.

– Конечно, – ответила она. – Ведь это меня все-таки касается.

– У меня остается еще один невыполненный долг, – озабоченно сказал Иван Борисович, придя в следующий раз к отцу Сергию. – Ведь я, перейдя в баптизм, убедил перейти и своего отца. Теперь этот грех не дает мне покоя. Чтобы загладить его, я должен добиться, чтобы отец снова последовал моему примеру.

– Едва ли это удастся, – возразил отец Сергей. – Если он тогда искренно поверил вашим доводам, теперь будет гораздо труднее убедить его в обратном.

– А все-таки я постараюсь летом съездить к нему и переубедить его. Это мой долг и перед ним, и перед своей совестью, – повторил Семенов.

Он съездил, но, конечно, безуспешно. Впрочем, такие вопросы решаются не за один раз, требуют многих, длительных разговоров, а Ивану Борисовичу, как оказалось вскоре, времени для устройства земных дел было отпущено очень мало.

Глава 35 «Молите Господина жатвы...»

– Ну хорошо! Предположим, что с сегодняшнего дня аресты прекратятся, а всех ранее арестованных священников вернут на свои места. Мы же все равно не бессмертны; пройдет двадцать, много – тридцать лет, и из нас никого не останется. А если дело пойдет так, как сейчас, то это произойдет гораздо раньше. Что же тогда?

Как-то между семнадцатым и девятнадцатым годами к нам приезжал из Москвы ревизор, проверял работу нашего сельского потребительского общества, тогда они еще существовали, жена работала в нем счетоводом. Какая там проверка, на три часа, а остальное время мы с ним сидели на крылечке и разговаривали. Он коренной москвич, глубоко верующий. Знаете, что он мне сказал?

– Что?

– Он сказал: а ведь вам, батюшка, смены не будет. Духовные школы закрыты, вы умрете, кого будут ставить? Дубовых да осиновых колов!

– Горько сказано...

– Горько, а верно. Уже сейчас среди священников не только семинаристов, а и окончивших какие-нибудь пастырские курсы по пальцам можно пересчитать. Ставят грамотных мужичков-певчих, вроде отца Николая Хришонкова или березоволукского Ивана Лазаревича – был церковный сторож, а теперь диакон и наверняка священником будет, если уцелеет. Люди-то они, может быть, и очень хорошие, а что знают? Хорошо еще, если в Уставе разбираются, а ведь им учить народ нужно. Зададут им вопрос не то что безбожники, а свои же прихожане, даже чисто церковный вопрос, они и плавают, отвечают порой так, что хоть плачь. А дальше – и таких не будет.

Дивны дела Твои, Господи! Если бы в те годы кто-нибудь увидел будущее, увидел духовные семинарии и академии, молодых священников, даже архиереев, – он не поверил бы своим глазам. Подумал бы, что видит чудесный, фантастический сон, на который и время-то терять не стоит, как на несбыточную мечту. Теперь мы знаем, что это действительность, но пора нам, наконец, понять и то, что открытие семинарий и академий не простая случайность и не закономерность, а самое настоящее чудо Божие, особая милость русскому народу, оказанная Господом по чьим-то молитвам.

После зимы 1930-го стало очень ясно, что недостаток духовенства год от года будет ощущаться все острее. Отец Сергей все чаще и чаще задумывался над этим, разговаривал об этом то с одним, то с другим, а в одно из воскресений, когда была его очередь служить и говорить проповедь, темой своей проповеди он взял евангельские слова: *Жатвы много, а делателей мало; итак, молитте Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою* (Мф. 9: 37–38; Лк. 10: 2).

– К кому относятся эти слова? Ко всем нам. Не кто-то другой, а мы сами, все мы должны просить Господина жатвы, чтобы Он дал Церкви Русской новых делателей, которые заменят стариков. Если каждый из нас положит хоть по одному поклоннику об этом, попросит: «Пошли, Еосподи, делателей на жатву Свою!» – получится большая сила. Подумайте, какая большая сила получится! Сам Господь научает нас, что нужно делать...

Сила вошла в мир. Нет на земле таких приборов, которые могли бы учесть, кто сколько молился и как усердно, но конечный результат налицо. Из разных концов нашей родины текли эти молитвы в одну общую чашу – по каплям собирались в струйки, в ручейки, и все текли,

текли год за годом. Бог знает, из какой епархии больше, откуда меньше и чья молитва была угодней Ему Ведь Он слышит не только затворников и столпников, не только патриархов и митрополитов, а и старушек подслеповатых, просидевших всю службу на скамейке, и хозяек суетливых, которых и в церкви не оставляют мысли о том, что сготовить и где купить, а поклончик-то нет-нет да и положит, нет-нет да и вздохнет.

Не от этих ли поклонников совершилось чудо? Конечно, от них.

Опять творит с нами Господь «великая же и неисследованная, славная же и ужасная!»

Чудны дела Твои, Господи!

Призывая на помощь силу Божию, отец Сергей думал и о том, не могут ли и они с этой помощью вложить свою долю в общее дело – организовать у себя в Пугачеве обучение кандидатов во священника, поделившись с ними двоими знаниями и опытом. Тщательно обдумав, что должен знать современный священник как минимум и кто может дать эти познания, отец Сергей пришел к выводу, что, если бы только никто не мешал, в Пугачеве можно бы подготовить достаточно священников для всего викариатства. Не за год, конечно, а именно если бы никто не мешал. Сколько в среднем может прослужить священник? Десять – двадцать лет? Исходя из этого, и готовить замену.

Практическое знакомство с Уставом, церковным пением и чтением можно проводить при соборе. Если вместо двух псаломщиков иметь одного, можно использовать вторую долю дохода на содержание обучающихся, а остальные средства для этого пусть дают все храмы, и сельские, и городские. Всем нужно.

Занявшись этими планами не на шутку, отец Сергей прикинул, какую сумму мог бы выделять для этого ежемесячно каждый сельский храм и каждой городской, сколько это дало бы в общей сложности и сколько нужно для содержания одного человека. Сосчитав эти цифры, он пришел к выводу, что финансовую сторону дела можно устроить. Хоть с трудом, но можно, если бы только никто не мешал. Если бы не мешали... Вероятно, помешают, но бездействовать тоже нельзя.

И сам отец Сергей, и настоятель окончили семинарию по первому разряду. По настоящему времени это немало, тем более что Самарская семинария давала своим воспитанникам не только знания, но и привычку работать над собой, умение двигаться вперед. При нужде два таких протоиерея могли сделать многое. Правда, отец Александр слушал рассуждения сослуживца с добродушной усмешкой, как слушают взрослые наивный детский лепет, но отец Сергей уже достаточно знал его и был уверен, что, если удастся перейти от слов к делу, отец Александр отбросит весь свой скептицизм и будет прекрасным преподавателем и организатором. Епископ Павел, конечно, тоже не отказался бы преподавать какой-нибудь предмет, помог бы немного и старик Парадоксов. Единоверческий священник отец Иоанн Заседателей семинарии не кончал и вообще систематического образования не имел, но был трудолюбив, много работал над собой и в отдельных вопросах был большим специалистом. Нашлось бы дело и для Ивана Борисовича и для некоторых других, в частности для Николая Андреевича Роньшина, который во время диспутов был правой рукой отца Сергия, а после отъезда Димитрия Васильевича служил псаломщиком в Новом соборе. Конечно, все это были не педагоги, и нужна была большая смелость для того, чтобы думать открыть нечто вроде школы при таких кадрах.

Но отец Сергей умел дерзать и надеялся, что эти кадры не посрамили бы чести земли Русской, если бы только удалось получить разрешение на такие занятия, как татары получили разрешение на преподавание Корана.

– Нужно выжимать из себя максимальное количество пользы, – сказал он Николаю Андреевичу, который с блестящими глазами выслушивал этот проект.

– На безрыбье и рак рыба, на безлюдье и мы с вами преподаватели. Одновременно со всем этим не нужно забывать и про апологетику. Диспуты показали, что сейчас мы с вами

не слабее атеистов, а все-таки всегда нужно иметь в виду, что у них вузы, молодежь кончает институты и, если мы задремлем, то быстро отстанем.

– Да, уж если против нас окажутся люди с высшим образованием, нам тогда придется в кусты... – заметил Николай Андреевич.

– В кусты? – задорно переспросил отец Сергей. – Пожалуй, можно и в кусты, а из кустов-то пощипывать их при случае. Только не дремать, все время работать над собой...

Хотя рассуждения отца Сергия о подготовке священников казались тогда почти утопией, все-таки в них были моменты, осуществимые даже в то время. А вот откуда взять матушек?

Везде, и в селах, и в городах, подрастающие мальчишки и молодые мужчины из религиозных семей жались к клиросу, где получали, хотя бы уменьше петь и разбираться в Уставе. Там же они получали и известную нравственную закалку, большую или меньшую, в зависимости от религиозной настроенности их руководителей. Для девушек не было и этого пути. В большинстве сел присутствие женщин на клиросе считалось нежелательным, даже соблазнительным, разве кое-где принимали участие в пении келейницы, в основном уже не молодые. А там, где были заведены смешанные хоры, по примеру городских, они не воспитывали в нужном направлении; там больше обращалось внимания на технику пения, чем на духовную настроенность. Потому и получалось так, что кандидаты в священники выбирали жен кто как сумеет, и далеко не всегда удачно. Уже было немало случаев, показывавших, что жены священников часто не помогают мужьям в их трудном подвиге, а, наоборот, отвлекают их. Отчасти это было понятно. Женщины больше мужчин прикованы к семье, на их долю достается трудная обязанность сводить концы с концами. Поэтому они сильнее погружаются в будничные заботы о благосостоянии семьи, о том, чтобы хоть как-нибудь накормить детей и мужа. И в более благоприятные времена можно было слышать такие отзывы: «Батюшка-то у нас простой, сколько ему ни дай, все ладно, а вот матушка скуповатая, прижимистая». Тем более когда сердце матери надрыдают похуевшие от недоедания, а то и плачущие от голода дети, когда она не уверена, будет ли еще завтра ее муж с ней или она останется с детьми совсем одна, – далеко не у всякой хватит мужества выносить такую жизнь.

К этому еще надо добавить, что многие, выходя замуж, вообще не думали о возможных трудностях, представляя замужество в виде постоянного праздника. Такие при первом же испытании начинают требовать от мужа: «Брось, уйди! Или священство, или я!»

Выход из этого положения не найден до сих пор. Все больше становится батюшек – семинаристов и академиков, а вопрос о матушках как был, так и остается тяжелым вопросом. И до сих пор не потеряла значения молитва, которой учил отец Сергей: «Пошли, Господи, делателей на жатву Свою!»

– Делателей мало, число священников все уменьшается, и никому не известно, какие формы примет церковная жизнь в недалеком будущем. Может быть, все храмы закроются, и тогда священники не смогут выполнять свой долг, а нуждающиеся в них не будут знать, куда обратиться. Не будем ли мы тогда жалеть, что заранее не продумали, как поступать в подобных случаях?

Вот еще какие мысли беспокоили отца Сергия, и он напряженно думал о будущем Церкви. У высшей иерархии свои проблемы, а в низах – свои, и Бог знает, насколько трудными и важными окажутся эти низовые. Не оказались бы они еще более трудными!

Ведь вот теперь священники, да и не только священники, а многие другие упрекают себя в том, что раньше недостаточно пользовались возможностью приобретать книги, которые теперь позарез нужны. Не будем ли мы потом также упрекать себя за то, что не подумали своевременно, как подготовиться к всевозможным трудностям впереди? Кто придет к нам, чтобы сделать за нас все это? Никто? Мы сами должны что-то предпринимать. Но что именно?

После напряженных размышлений отец Сергей стал приходить к решению, что хорошо бы мысленно разделить город на небольшие участки и в каждом участке иметь верного тол-

кового человека, через которого осуществлялось бы общение священников с прихожанами. Желательно, чтобы этот человек в своем участке хорошо знал, кто чем дышит, в чем нуждается, в чем сомневается, какие у него возникают вопросы. Попутно следовало обращать внимание на больных и старых, беспомощных, нуждающихся в уходе, и на тех людей, которые могут и желают потрудиться по уходу за больными. Некоторые женщины высказывают такое желание и спрашивают священника, кому помочь, – это дело тоже неплохо бы взять в свои руки; притом поставить эту жизнь так, чтобы она не замерла и в случае закрытия церквей и отсутствия священников.

Помощь заключенным священникам тоже такое дело, которое требует постоянного внимания. И опять нужны люди, нужна твердая организация.

Отец Сергей уже наметил для начала нескольких, с кем надо поговорить, из кого создать костяк, с некоторыми из них начинал и разговор, но заниматься этим делом вплотную все не находил времени.

Глава 36 **«В бурю, во грозу»**

** **

С каждым днем положение становилось все более угрожающим. То оттуда, то отсюда доходили известия о новых арестах, о вновь закрывающихся церквях. За этот период в викариатстве из двухсот церквей осталось двадцать. Их закрывали не просто, а злобно, с кощунством. Входили в церковь в шапках, с папиросами, с матерщиной. В Клопихе рубили иконостас топорами, грубо сдирали облачение с престола, садились на него. Священником там был Тимонин-Казарин, брат председателя горисполкома, человек настойчивый, энергичный. Он приехал в город и, по очереди с председателем церковного совета Талачи, обивал пороги всех мало-мальски подходящих учреждений, добиваясь не только открытия церкви, а и наказания хулиганов.

– По кодексу за оскорбление религиозного чувства верующих шесть месяцев тюрьмы полагается, – говорил он. – Тоже, конечно, не густо, да хоть бы по месяцу или по два им дали, и то бы другие поостереглись.

Его увезли с паперти Нового собора. Дождались, когда он шел под праздник ко всеобщей, посадили в подъехавшую машину и увезли прямо в Саратов. Но оказалось, что он был готов и к этому, даже позаботился, чтобы дело после него не остановилось. Его, уже в одиночку, продолжил Талачи.

– С меня батюшка перед крестом и Евангелием клятву взял, что не успокоюсь, – объяснял он. Да я ведь хохол, а хохлы – они упрямые.

Через некоторое время исчез и он.

На узловой станции Ершово местный начальник Самородов арестовал всеми любимого и уважаемого протоиерея отца Николая Позднева. Народные представители собрались к Самородову просить освобождения отца Николая. Им отказали, а когда они начали настаивать, вывели их из помещения и заперли двери. Ершовцы – народ рискованный, вольница, потомки бывших беглецов на вольные земли, в основном железнодорожники; много было и красных партизан. Толпа все увеличивалась, накалялась... Сначала только кричали, требовали освободить батюшку, потом начали стучать... напирать... дверь затрещала... Самородов сообщил по телефону в Пугачев, но, видя, что события разворачиваются быстрее, чем может прийти помощь, застрелился. Кто-то из сотрудников оказался догадливей его – Позднева отпустили, взяв с него подписку, что он сам придет в Пугачев. Таким образом, до того неизвестный сельский свя-

щенник повторил подвиг святого Иоанна Златоуста. Он уговорил народ разойтись, успокаивал их, пока они еще, кажется, трое суток дежурили, охраняя его дом. Потом, когда все поверили в его безопасность, тихонько, ночью, уехал в Пугачев. Там по делам духовенства работал тоже Самородов, старший брат застрелившегося.

Матушке, приехавшей к отцу Николаю с передачей, сказали, что он в Саратове. Она поехала в Саратов, но ей заявили, что такой не поступал, и направили обратно в Пугачев. Так она металась то туда, то сюда, тратя последние средства, пока ей не «посоветовали» сидеть смиренно, если не хочет разделить участь мужа. Под горячую руку она, пожалуй, и рада была бы такому исходу, но у нее оставались дети. Она прекратила поиски.

Некоторые священники оставляли приходы и уезжали куда-нибудь, где были меньше заметны. Так поступил, между прочим, отец Владимир Иванов, предшественник отца Сергия по Новому собору. Он оставил село, куда его перевели, и жил в своем пугачевском доме. Но эти только отходили в сторону. Появились и другие, которые публично, в церкви или через газету, отказывались от сана, а то и от веры. Об одном из отказавшихся, тихом, как будто убежденно верующем человеке, стало известно, что он тоже в Пугачеве; он сам зачем-то сообщил епископу свой здешний адрес. Что-то в его деле показалось владыке неясным, или просто этого человека было жалко больше, чем других, и владыка послал к нему Костю.

Намеренно или ненамеренно, адрес был дан неправильный – в названной улице оказалось чуть не на сотню домов меньше, чем указано в адресе. С большим трудом, при помощи расспросов, Костя нашел его и передал поручение. Хозяин выслушал с безразличным и угнетенным видом, и Костя вдруг решился спросить: «Как вы себя после этого чувствуете?»

– Как будто меня шубой с головой накрыли, – ответил тот.

Через несколько дней он не выдержал, пришел к епископу Павлу, упал ему в ноги и попросил: «Что хотите от меня требуйте, какое хотите испытание назначайте, только примите. Не могу больше так жить».

– А вы знаете, что по правилам вас можно принять только как мирянина? – спросил владыка.

– Знаю, пусть так, мне бы только отступником не быть.

– А понимаете, что вас ждет? Если второй раз не выдержите, еще хуже будет!

– Я на все пойду, лишь бы душу свою от погибели спасти.

Тогда кроткий епископ Павел, за которого боялись, что он по своей доброте распустит духовенство, указал:

«Поезжай туда, где ты отрелся, где посеял соблазн, и там, тоже публично, покайся».

И он поехал.

Молодой многодетный священник Бечевин, вместе со своим старшим собратом, явились к владыке с просьбой уволить их за штат. Много они говорили, доказывая, что для них это единственный сейчас выход, а владыка сидел печально опустив голову и молчал. Что он мог сказать? По-человечески они правы, безусловно, трудно, особенно когда маленькие дети. И вдруг, не поднимая головы, тихо проронил: «А апостолы за штат не уходили!»

– Меня как кипятком обварило, – рассказывал Бечевин. – Я взял заявление обратно.

Вскоре после Пасхи из пугачевской тюрьмы ушел большой этап, с которым отправили всех находившихся там священников. «Разведчики», направленные в очередной день с передачей, не нашли, кому ее отдать, отдали на усмотрение носивших передачи заключенных: «Кому-нибудь, кому не приносят».

– Для нас место освободили, – сказал отец Сергей. – Может быть, Бог нас для того и хранил, чтобы подкармливать этих голодных, а теперь передавать некому, значит, нужно ждать, что самих возьмут.

Это были не просто слова, а глубокая уверенность. Настолько глубокая, что он даже посоветовал Юлии Гурьевне, собиравшейся в ежегодную летнюю поездку по родным, уехать

поскорее и не возвращаться. Трудный разговор происходил в присутствии Сони. Отец Сергей говорил каким-то особенно проникновенным, взволнованным тоном. Он сказал, как тяжело и неудобно ему давать ей такой совет. Она столько сил отдала детям, перенесла с их семьей столько горя и лишений, хотя могла бы спокойно и обеспеченно жить у сына или дочери. Найдутся такие, которые подумают, а может быть, и в лицо скажут, что вот, мол, пока дети были маленькие, зять удерживал ее, а теперь, когда они подросли, и она не нужна стала. Она всегда нужна, как дорогой, близкий человек, но в недалеком будущем можно ожидать таких серьезных трудностей, каких, пожалуй, они еще не испытали. Уже было столько случаев, правда, пока не в среде духовенства, когда страдали не только глава семьи, но и вся семья. Если бы он мог, он, разумеется, с радостью избавил бы от такой судьбы не только ее, но и детей, но тут уж ничего не поделаешь... Да они молодые, им легче приспособиться к любым условиям, тем более что они, можно сказать, другого и не видали. А тянуть за собой и ее, когда она может еще уехать и поселиться в другом месте, просто грешно. Надо пользоваться тем, что она числится на иждивении сына и пока еще не лишена голоса, но это может случиться в любую минуту; тогда будет гораздо труднее даже устроиться на новом месте. Так что, как это ни тяжело для всех них, надо торопиться, пока есть возможность.

Юлия Гурьевна уехала очень скоро, даже не дождалась присоединения Ивана Борисовича, на котором ей очень хотелось присутствовать. Уехала, чтобы, как она делала каждый год, побывать и у сына, и у дочери, и у сестры. Только на этот раз она не вернулась обратно, а осталась жить в Мелекесе, у сестры, Ольги Гурьевны.

Через несколько дней отец Сергей собрался написать Мише. Он сидел за столом, а Соня пристроилась с шитьем на кухне и, погрузившись в работу, не обращала на него внимания. Он тоже, кажется, забыл о ее присутствии. Вдруг Соня услышала странный звук, похожий на всхлипывание. Она подняла голову и остолбенела: отец Сергей плакал. Крупные редкие слезы одна за другой скатывались на письмо.

Девушка подошла к склонившемуся над столом отцу и тихонько обняла его.

– Папа, не плачь, не надо! – шепнула она, сама едва сдерживая слезы.

Отец Сергей всхлипнул уже не скрываясь и слегка прижался головой к ее плечу.

– Ведь мне же его жалко! – как-то по-детски, беспомощно прошептал он.

Конечно, ему было жалко всех детей, но остальные были пока вместе. Даже оставшись без него, они смогут поддерживать друг друга, ободрить, посоветоваться, просто поделиться горем, а Миша совсем один.

Этой весной (1930 года) епископ Павел назначил отца Сергия благочинным дальнего, десятого округа.

– До сих пор я берег вас, не отрывал от занятий апологетикой, – сказал он, – а теперь больше нет такой возможности. У отца Александра и так уже три округа, больше его нельзя нагружать, а в самом округе некого назначить.

Впрочем, новое назначение вначале не доставляло отцу Сергию никаких хлопот. Оттуда ничего не писали, никто не приезжал, кроме одного мужичка, да и тот попал к своему благочинному по ошибке: вопрос, с которым он приехал, в прежнее время мог разрешить только архиерей, и теперь не мог никто. Представитель дальнего прихода приехал просить священника.

– Это не ко мне нужно, а к владыке, – сказал ему отец Сергей. Да и он едва ли что сделает. Нет священников.

– Нам бы хоть плохонького, – настаивал представитель. – Вот вас в соборе двое.

Такая формулировка в первый момент вызывала улыбку, а при внимательном отношении под ней можно было рассмотреть трагедию. Люди не просили священника знающего, хорошей жизни, о чем так беспокоились, бывало. Им бы хоть плохонького, лишь бы не умирать без

покаяния, лишь бы не зарывали без отпевания, как животных. Вскоре отцу Сергию пришлось столкнуться с той же трагедией в еще более яркой форме.

Проходя по базару, он встретился еще с одним мужичком. Тот остановился невдалеке и без стеснения удивленно смотрел на него.

– Батюшка... ты что?.. – заговорил наконец мужичок. – Ты почему не в тюрьме?..

– Откуда ты, друг? – спросил отец Сергей.

– Из Перелюбского района.

Отец Сергей почувствовал укол в сердце. Перелюбский район – это как раз тот, в котором находится его благочиние. Там люди даже не представляют, что где-нибудь священники могут оставаться на свободе, а он, их благочинный, можно сказать, благодушествует дома, в своей семье, в своем соборе.

После коротких размышлений отец Сергей отправился к владыке, рассказал ему о встрече и высказал только что родившуюся мысль объехать свой округ и посмотреть, что там делается.

Владыка отнесся к этому плану сдержанно, не отклонил и не поддержал. Дескать, смотрите сами, ваше дело. Съездить бы, конечно, не плохо, но не настаиваю на поездке. Только один совет владыка дал очень определенно, как он умел очень хорошо делать – мягко, но настойчиво, так что его приходилось принимать как приказ:

– Если поедете, сначала обязательно зайдите в адмотдел окрисполкома. Объясните свое намерение и попросите у них документ, что они ничего не имеют против вашей поездки. В Перелюбе тоже, прежде всего, идите в райисполком и покажите этот документ. Потом в каждом селе начинайте прямо с сельсовета. Показывайте документ, объясняйте, зачем приехали, и будьте всегда у властей на виду. Пусть следят за вами, видят все, что вы делаете, и слышат все, что вы говорите. Потихоньку, наедине, без свидетелей, ни с кем не разговаривайте!

Все так и было сделано.

Отец Сергей уехал, а на другой день после его отъезда пришли с обыском. Непрошенных гостей встретили Соня и Костя, который почему-то был дома, может быть, пришел обедать. Наташи не было, у нее незадолго до того появилась работа, она готовила по немецкому языку двух девочек-сестер.

Высокий худой следователь Фролов, назвавшийся почему-то помощником начальника, начал вынимать книги с полки и из шкафчика в переднем углу и откладывать в сторону все писанное от руки. Прежде всего, туда попали сто пятьдесят ученических тетрадей с Костиными выписками из книг по истории философии и истории Вселенских соборов, и его записи уроков по физике. За последние он решил было вступить. В них нет ничего интересного для Фролова, зато они скоро понадобятся Наташе, которая, не попав в восьмую группу, зимой занималась дома без учебников, по этим тетрадям. Фролов ответил, что, если в тетрадях не обнаружится ничего незаконного, он их вернет, и развернул недавнее Мишино письмо.

– Что это за чертеж? – строго спросил он.

Пришлось объяснять историю «чертежа». Соня собралась сшить брату новую рубашку, но не догадалась заранее снять с него мерки, и написала ему, чтобы он измерил одну из своих рубашек. А он, не зная точно, как нужно мерить, нарисовал в письме рубашку с растопыренными рукавами, провел пунктиром линии и написал цифры. Фролов недоверчиво выслушал объяснение, положил письмо в пачку изъятых бумаг и, видя, что работы будет много, послал своего помощника в сени, разбирать книги в ящиках. Соня пошла с ним. Писаного и там было немало. Отложен был и дорогой по памяти девический альбом покойной Евгении Викторовны со стихами, и многое другое, более или менее нужное. Попала и рукопись Ивана Борисовича, которую он принес, чтобы сохранить, и которую отец Сергей из деликатности даже не прочитал, и несколько толстых тетрадей – дневники отца Сергия и его покойного отца. Дневник дедушки было, конечно, очень жалко, но он Соню не смущал: кого заинтересует дневник чело-

века, умершего более двадцати лет назад; тем более что там, как она хорошо знала, говорилось только о чисто личных, семейных делах. А что писал в своем дневнике отец Сергей, ей было неизвестно, кроме отдельных отрывков, которые он иногда читал вслух. Этот дневник он начал, когда началась его самостоятельная жизнь, в 1904 году, и продолжал хоть не до последнего времени, но довольно долго. Там вполне могли оказаться какие-нибудь неосторожные фразы, к которым легко придрасться. Как быть?

Помощник Фролова копался в ящиках, кругом него все росли кипы вынутых книг и рукописей. Несколько стопок, в том числе и дневники, лежали на знаменитом крыльце, предмете «восторгов» Ивана Борисовича. Крыльцо давно не подвигали, и оно отошло от стены на добрую четверть. Соня устало присела на него ступенькой ниже заветной пачки, еще раз посмотрела на углубившегося в свое занятие помощника и... сунула пачку в щель.

Хозяйка не пришла ночевать, и вечером молодежь строила самые фантастические планы, чтобы предупредить отца о случившемся. Но как? Адреса его нет, он на одном месте не задерживается, да и неудобно по почте писать об этом. Предположим, что в доме крестьянина найдется какой-нибудь мужичок из Перелюбского района. Предположим, что это человек, внушающий доверие, и он возьмется поискать отца Сергея. Там, в районе, его, конечно, заметили, и найти его не очень трудно. Но как написать? Наконец составили такой текст: «Папа, беспокоимся о тебе, как бы ты не простудился. Будь осторожен, погода плохая».

К счастью, в доме крестьянина перелюбских не оказалось, и только тогда наконец додумались, что затея с письмом в высшей степени наивна, и любое письмо принесет больше вреда, чем пользы. В конце концов пришли к самому простому решению – ждать, когда отец приедет. Если приедет, так как его вполне могли снять с парохода или задержать в любом селе.

Вернувшись, отец Сергей не успел как следует поздороваться и сразу попросил:

– Дайте чего-нибудь поесть, вторые сутки не ел.

Ему собрали обед, а для улучшения аппетита угостили своими последними новостями.

Покончив с их обсуждением, отец Сергей рассказал о поездке. Он начал словами:

– Ну и живут люди! Еолодно, трудно.

Позавчера вечером, в последнем селе, где он был, чтобы покормить его, собрали кто что мог: корочки, заломанные куски, оставшиеся от обеда, а чтобы на дорогу что-то дать, и думать нечего. И на пристанях ничего нет.

На его приезд смотрели как на чудо; первой мыслью, первыми словами было как спрятать и переправить дальше. А когда он, тоже с первых слов, спрашивал, где у них сельсовет, и сам шел туда, и возвращался, это было просто уму непостижимо.

Посещение благочинного подняло дух верующих, дало понять, что не все еще потеряно, что церковная жизнь не умерла, а идет своим чередом. О его приезде сразу узнавало все село, на квартиру, где он останавливался, сходились, кто остался из ревнителей, начинались рассказы. Чего он только не наслушался!

С церквями, как и предполагали, было по-разному. Были и разрушенные, и занятые под зерно или под клубы, и просто запертые за неимением священников. Удалось найти два или три антиминса. В одном селе к отцу Сергию пришла старушка, немного что-то понимающая. Она знала, что за святыня антиминс, знала и то, что в самом антиминсе главной святыней является зашитая в нем частица мощей. И вот когда закрыли их церковь, когда начали рубить и выбрасывать иконы и срывать облачения с престола, она с трудом выпросила эту частицу и... съела ее.

– Как это она смогла! – ужасался отец Сергей. – Ведь самая частица мощей там крошечная, может быть всего часть волоса какого-нибудь святого. Она залита воскомастиком, т. е. сплавом воска с какими-то другими составными частями; все это затвердевает, как камень.

– Как ты до этого додумалась, бабушка? – спросил я ее, а она отвечает: «А что, батюшка, было делать? Хранить у себя такую святыню я недостойна, даже прикоснуться к ней недостойна, да и старая я, умерла бы, опять бы она на поругание осталась. Вот я и съела».

Первые дни после возвращения отца Сергия жили, считая не часы, а минуты; ожидали, что за ним явятся, как только узнают, что он приехал. Вздрагивали от хлопнувшей калитки, прислушивались к шагам на улице, к голосам, особенно ночью. Но прошла неделя, другая, и напряжение постепенно ослабевало. Думалось, может быть, рассмотрели бумаги, не нашли в них ничего вредного и решили прекратить дело. Отец Сергий с первых же дней с головой погрузившийся в свои заботы, стараясь успеть сделать как можно больше, теперь начал работать спокойнее. А Соне засела в голову мысль, что Фролов (помощник начальника!) обещал после проверки вернуть тетради, и она пристала к отцу, чтобы он разрешил ей сходить и вырвать их. Ведь к записям уроков при всем желании не придерешься, а Наташе они понадобятся.

Впоследствии Соня так никогда и не смогла себе объяснить, как случилось, что отец Сергий на это согласился. Ну, она сама не понимала опасности такого напоминания, у нее могло быть что-то вроде жажды приключений, желание провести такое трудное «взрослое» дело, а он? Неужели и он настолько поддался обманчивому чувству тишины, что счел это безопасным? Или думал, что от судьбы все равно не уйдешь? Или еще что? Непонятно, но он согласился.

Когда Соня попросила выписать ей пропуск к помощнику начальника Фролову, бывшие тут молодые сотрудники засмеялись.

– Колька (или Васька) Фролов – помощник начальника!

А комендант переспросил: «К кому же? К помощнику начальника или к Фролову?»

Тут, надо думать, Соня допустила вторую ошибку, сказала – к помощнику начальника.

Он не сразу понял, что ей нужно, и сказал, что через несколько дней разберется. А через несколько дней за отцом Сергием пришли. Конечно, пришли бы и независимо от этого, но, может быть, несколько позднее.

Глава 37 Два месяца

Значительно позже, в 1937 году, в Куйбышеве жила одна семья, древняя тетка-монахиня, две ее племянницы, одна тоже монахиня, а другая вдова, и две дочери последней, тоже уже не молодые. По бедности они когда-то воспитывались в монастыре у теток, а последнее время пели в церковном хоре.

Когда осенью забрали священников и попечителей и начали, что ни ночь, выдергивать то того, то другого из певчих, в семье установили своеобразное дежурство. Каждую ночь, с вечера до утра, кто-нибудь стоял перед иконами и читал акафисты. В ту памятную ночь последней читала старая матушка София. Уже рассвело, вдова племянница, ведавшая хозяйством, встала и затопила печь, а старушка дочитала последний акафист и прилегла отдохнуть, оговорившись, что день настал, теперь уже не придут. И в эту минуту постучали.

Этот случай можно назвать символическим. Часто люди с минуты на минуту ожидают, что вот-вот придет горе, волнуются, молятся, плачут, а горе все-таки придет тогда, когда хоть ненадолго вздохнут свободнее.

* * *

Семья Тимоника-Казарина, священника, взятого с паперти собора, переехала в Пугачев и очень бедствовала. Опять отец Сергей пошел с подписным листом по всем, кто мог отозваться на это новое горе. На этот раз он даже забыл поговорку, которую раньше часто повторял:

«Бумажки клочок далеко поволочет». Возвращаясь домой, он столкнулся у калитки с двумя военными. Остававшаяся дома Соня, услышав голоса, заподозрила неладное и вышла.

– За мной пришли, – сказал ей отец Сергей. – Собери там, что нужно.

Все пошли от калитки к дому. Вдруг отец Сергей остановился и попросил:

– Разрешите зайти туда. – Он показал на сарайчик в глубине двора.

Ему разрешили, подождали, пока он вернулся, и все вместе вошли в дом. Еще несколько минут ушло на то, чтобы собрать смену белья, мыло, ложку, кружку, кое-что из провизии. Отец Сергей благословил Соню и, наклоняясь, чтобы поцеловать ее, глазами настойчиво показал в сторону сарайчика.

– Пошли! – поторопили его.

Соня вышла за ворота, посмотрела вслед идущим, пока они не повернули за угол, потом зашла в сарайчик. Там в сторонке лежал подписной лист и деньги. Деньги в тот же вечер были доставлены по назначению.

Три года спустя вернувшийся из ссылки Тимонин-Казарин, на той же соборной паперти, с которой его взяли, в ноги поклонился за эту помощь отцу Константину – вместо его отца.

ГПУ в то время помещалось на Московской улице, около аптеки. Помещение там было небольшое, для заключенных чуть ли не одна камера в подвале. Приходилось держать в ней только тех, которые будут нужны для допросов в ближайшие дни, а остальных отправляли за город, в тюрьму, именовавшуюся другим, более приличным словом – исправительно-трудовая колония (ИТК). Колония, бывший монастырь, собственно, предназначалась для осужденных, а следственные находились в ней только потому, что для них не было особой тюрьмы.

Отнести передачу в ГПУ было проще – ближе, и носить можно хоть ежедневно. Пожалуй, комендант и поворчит, а все-таки примет, в тюрьме же передачи принимают только два раза в неделю. Свеженького, горяченького туда уже не принесешь – пока несешь да очереди дожидаться, все остынет.

В этом отношении в ГПУ как бы лучше, но едва ли кто из-за этого пожелал бы лишний денек провести в переполненном подвале, в напряженной атмосфере ожидания допросов.

Из тюрьмы на допрос водили пешком, иногда одного человека, иногда целую группу. Кто-нибудь из жителей Ревпроспекта или улицы К. Маркса, по которым проводили заключенных, обязательно видел их, как правило, тотчас же сообщали в сторожку, если среди них был отец Сергей. Из сторожки бежали на квартиру, подчас уже с готовой передачей, а если без всего, то передачу быстро организовывали, стараясь хоть этим поддержать дух заключенного, показать – помним, следим. Иногда передачу приносили, когда вновь приведенных еще не успели внести в списки, и комендант удивлялся: «Мы и сами еще не знаем, а вы уже в курсе дела, и передача готова».

Передачи носила больше Соня, как самая свободная, но и Наташа ознакомилась с этим удовольствием. Случалось, что комендант доставал из принесенного кушанья кусочек жареной картошки, ложечку каши или еще что-нибудь и давал съесть тем, кто принес, – дескать, не отравлено ли. Конечно, он отлично понимал, что такое правило если и существует, то для других, а священнику отраву никто не понесет, но фасон держал. Только неизвестно, действительно ли требовалось соблюдать эту формальность или он делал это для собственного удовольствия.

В тюрьме было свободнее. Каждое утро основную массу заключенных отправляли на плантацию, и становилось тихо. Некоторые дежурные надзиратели иногда отпирали камеру подсудимых и даже позволяли слегка открыть дверь в коридор, следя только за тем, чтобы этого не заметил кто-нибудь из старшего начальства.

С отцом Сергием первое время сидел отец Иоанн Троицкий и его брат, оба хорошие певцы. Втроем, а потом, когда прибавились еще и другие, то целым хором, они частенько пели, а надзиратель иногда прислушивался к их пению. Один раз он даже попросил их: «Отцы, спойте еще раз ту „Херувимскую“, которую вчера пели»...

Одну из этих вещей, которую в свое время пели в семинарии, «Взбранной Воеводе», отец Сергей даже записал на ноты и переправил на волю, попросив, чтобы соборный хор исполнил ее. Фамилию композитора он не вспомнил, и ее так и называли: «Взбранной Воеводе» арестантского распева.

Находиться день и ночь в камере – хуже всякой работы, а поэтому отец Сергей и его союзники соглашались даже на ту грязную работу, которую им стали поручать ежедневно, – чистить уборные. Эта работа имела то достоинство, что яма от нечистот находилась за стеной тюрьмы и, вылив в нее содержимое специального бачка, можно было отойти в сторону и посидеть на травке. Конвоир не запрещал отдыхать. Лишь бы успели за день сделать свое дело, а ему и самому лучше постоять на месте, за пределами тюремного двора.

Яма была очень большая, в нее лили все лето. Вырыта она была позади глухой восточной стены, а еще дальше на восток начинался большой пустырь, поросший невысокой травкой, в которой кое-где мелькали простенькие цветочки. С юга – плантации; с севера – невидимый сверху Иргиз в глубокой ложбине своих берегов, а еще дальше за ним – сады. Везде места, насыщенные чудесным чистым воздухом, и только с одной стороны мрачная, грязная стена – начало тюремного царства.

Те, кто придумал поручить священникам эту работу, недоучли, что таким образом дали им возможность общаться с внешним миром. О том, что они выходят за ограду, скоро узнали, и на пустыре, в некотором отдалении, но достаточно близко, чтобы их было хорошо видно, стали появляться одна, две, а то и три женские фигуры. Желающих нашлось бы много, но тогда начальство могло принять свои меры, поэтому снаружи сами следили и допускали к яме только родственников заключенных. Когда с отцом Сергием сидели только сельские священники, их родственники появлялись редко. Чаще всего, почти каждый день, бывали там Наташа и Соня, особенно последняя. Потом ненадолго появилась матушка Шашлова.

Бачки с нечистотами выносили по двое, на длинных, толстых палках, положенных на плечи. Один из священников шел впереди, другой следом за ним; на некотором расстоянии от них – другая пара, потом следующая, сколько их там было. Не торопясь выходили из ворот, а где-нибудь между ними или после всех лениво брел конвоир. Иногда до его появления удавалось подбежать к отцу Сергию и что-нибудь сказать, а еще лучше, когда это делалось с разрешения самого конвоира.

Население следственной камеры, вернее, нескольких маленьких камер, постепенно увеличивалось. Вскоре вместе с отцом Сергием поселились его знакомые – третий священник Старого собора отец Димитрий Шашлов и отец Николай Хришонков из села Липовка второго благочиннического округа, где отец Сергей был благочинным, служа в Острой Луке.

Хришонкова провёл в священники уполномоченный обновленческого ВЦУ Варин. В его характеристике значилось: «Образование низшее, три класса сельской школы. Хором управлять не может. Принадлежит к группе ЖЦ».

Впрочем, в эту группу отец Николай попал по простоте, доверившись Варину, а как только разобрался, порвал с ним, хотя это было и очень небезопасно. Впоследствии оказалось, что он человек кроткий, строгой жизни – «неженемый»; народ его любил. Беда же его, поставленная ему в вину, заключалась в том, что в сельсовете кто-то выбил стекла, а его сочли под-

стрекателем. Само действие расценили не как простое хулиганство, а чуть ли не как своего рода восстание. Может быть, стекла были выбиты после его ареста, как бы в виде протеста, а может быть, этот случай вообще не имел к нему никакого отношения, неизвестно. Известно было только, что подобные бурные проявления чувств всегда отражаются на священниках, потому городское духовенство строго следило за тем, чтобы их прихожане держали себя ровно и корректно.

Большое значение для настроения отца Сергия имело то, что материальное положение семьи не ухудшилось с его арестом. Уже давно они договорились с отцом Александром, что в случае ареста кого-нибудь из них другой будет служить один, отдавая семье собрата его долю. Отец Александр свято выполнял свое обещание. В первый же день он сказал о нем Косте, предупредив, чтобы не беспокоились, и аккуратно каждый понедельник отдавал ему долю отца. И у Наташи появился еще заработок. Кроме прежней девочки, с которой она теперь занималась по всем предметам, отец Николай Амасийский предложил на тех же условиях давать уроки его сыну Сереже, а к нему, уже бесплатно, присоединили Олю Роньшину.

Время от времени на небольшой срок появлялись и другие ученики. Наташе не справиться бы самостоятельно с такими предметами, как, например, физика, но друзья познаются в беде. Оказалось, что ей сочувствовали и старались помочь не только всегда хорошо к ней относившаяся Мальвина Альбиновна Здановская, их классный руководитель, но и другие, в частности, внешне суровая преподавательница физики Елена Филипповна Волкова. Она очень помогла своей бывшей ученице, дав ей некоторые методические указания и одолжив на лето учебник физики. Без ее помощи такой учебник достать было бы невозможно, так как даже для занятий в школе выдавалось много если пять-шесть книг на класс. По другим предметам помогли другие.

Следуя теории отца Сергия, можно было думать, что отца Александра, а может быть, и отца Николая Амасийского не трогали потому, что они помогали семье заключенного, но на остальных в Старом соборе начался нажим. Предложили выехать диакону Бородкину, уехал «от греха» другой диакон-регент, П. Е. Жуков, арестовали настоятеля Парадоксова и отца Димитрия Шашлова. Отца Василия продержали недолго. Почти восьмидесятилетний старик, он еще в молодости болел туберкулезом и жил с одним легким и сужением пищевода, где вследствие туберкулезного процесса образовались рубцы. Он не мог есть ничего твердого, даже хлеба, и много лет питался только густой лапшой и тому подобной пищей, которую приготавлила ему хорошо знакомая с его потребностями старушка-свояченица Лидия Александровна Архангельская. Поэтому, как только его взяли, ему стали носить передачи три раза в день – завтрак, обед и ужин. Лидии Александровне одной с этим было бы не справиться. Носили добровольные помощники, чаще всего Костя. Дежурные коменданты морщились, но принимали – не умирать же человеку с голоду. По-видимому, это сыграло свою роль: нельзя было все время держать старика в своем подвале, а ни Пугачевская ИТК, ни Саратов не приняли бы заключенного, которому необходимо диетическое питание. Словом, отца Василия продержали с неделю и отпустили.

Отец Димитрий был самым молодым из городских священников и особых болезней не имел, поэтому его препроводили в ИТК и частенько вызывали в город на допросы. Возвращался он оттуда то страшно возбужденным, то, наоборот, в подавленном состоянии и ни с кем не делился, не рассказывал, о чем с ним говорили, а это хуже всего. Товарищи, если даже не смогут помочь дельным советом, хоть посочувствуют, развлекают.

Через некоторое время в камере стали замечать, что отец Димитрий заговаривается. Ему казалось, что его вот-вот должны расстрелять. Он то подолгу молился, то вдруг вскакивал, начинал раздеваться, повторяя: «Я готов... готов...» Отказывался от пищи. Отец Сергей всячески успокаивал его, даже перестал в это время выходить на работу, прибегая ко всяким уловкам, чтобы заставить отца Димитрия поесть. Иногда принимал начальнический тон, говоря:

«Я старше вас, я приказываю вам сесть и пообедать!» Делал вид, что обижается, если тот не слушал.

Однажды утром отца Димитрия на его месте не оказалось. Стали искать и обнаружили его в дальнем углу под нарами. Ни на какие уговоры он не отвечал; отец Сергей сам полез к нему под нары и едва убедил его вылезть.

– Не особенно приятно я там себя чувствовал, – говорил он потом. – Кто его знает, что ему может прийти в голову. Может быть, он схватит меня и начнет душить, как там отбиваться, под нарами! Он моложе меня и сильнее.

Надо думать, что и вообще в это время отец Сергей чувствовал себя «не особенно приятно». Целые дни один на один с сумасшедшим, да еще с близким по духу человеком, которого так жалко!

Спустя сколько-то времени Шашлова увезли в Саратов. Он пробыл несколько месяцев в больнице и вернулся как будто здоровым, но ненадолго. В 1931 и 1934 годах у него были рецидивы, и от последнего он, кажется, так и не оправился.

Были ли у отца Димитрия основательные причины ожидать расстрела – это вопрос, а вот Хришонков, скорее всего, не думал о такой участи. Он всегда держался очень спокойно, можно полагать, что не ожидал ничего страшного, поэтому его судьба поразила всех своей неожиданностью.

В связи ли с судьбой отца Николая или независимо от нее, в это время усилились строгости около тюрьмы. Священников перестали выпускать за стены, находили им работу внутри двора. Родственников к воротам и близко не подпускали, даже у задней стены появился постоянный охранник, так что нельзя было даже издали убедиться, все ли на месте. О событиях внутри тюрьмы снаружи еще не знали, и все-таки это действовало угнетающе, каково же было в камерах?

Наконец однажды передатчик (так называли заключенных, разносящих передачи), отдавая Соне пустую сумку, шепнул: «Отец велел подойти вон к тому сараю».

Полуразрушенный сарай с широкими щелями в стенах относился уже к территории хозяйства. Там стена несколько вдавалась вглубь и, если суметь проскользнуть к ней, стоящих там от ворот не было видно. Отец Сергей уже ждал; попался хороший охранник, который сделал вид, что послал заключенных убирать около сарая.

– Соня, это ты? – спросил отец Сергей каким-то странным, не своим голосом и сразу же, не теряя дорогого времени на подготовку, сообщил: «Отца Николая расстреляли».

Потом он рассказал, что Хришонкова вызвали с вещами. Все думали, что его освобождают, и радовались за него. А через несколько дней одного из их камеры взяли на допрос, и он видел, как вещи отца Николая отдавали крестьянину, который обыкновенно привозил ему передачи.

Расстреляли... Как-то это не укладывалось в голове. Перед Соней ясно стоял отец Николай, сутулый, мужиковатый, добродушный, в порыжелом, бывшем черном, бумажном подряснике. Последний раз она видела его совсем недавно, перед Преображением. Отец Сергей тогда не выходил, сидел около Шашлова, а отец Николай подозвал Соню, дал ей денег и попросил купить к Преображению яблок. С яблоками получилось неловко. Больше двух передач (т. е. двум разным людям) из одних рук не принимали; все знакомые и так носили по две, яблоки поручить было некому. Соня передала их в отдельном узелке, но в общей передаче отцу Сергию, надеясь сегодня увидеть его и объяснить все. Но увидеться не удалось, начались уже опосаные строгости. Отец Сергей, получив так много яблок, поделился со всеми, и отец Николай получил, но такую же долю, как все, а не столько, сколько заказал, и как подарок из чужой передачи, а не как свое. Когда разобрались в ошибке, поправлять уже было поздно.

Этот, казалось бы, незначительный случай надолго остался в памяти и на совести девушки. А сколько подобных случаев было с каждым из нас! Думается, не допускаются ли они промыслительно, чтобы мы не забывали тех, кого невольно обидели, и горячее молились о них?

А отец Сергей торопливо рассказывал вещи, для них еще более страшные.

Последнее время его долго не вызывали на допрос, наконец недавно вызвали снова, и следователь сделал ему предложения, на которые он согласиться не мог.

В дальнейшем разговор следователь довольно недвусмысленно предупреждал: «Сами себя угробливаете! Пойте себе вечную память!»

Очень возможно, что это говорилось просто с целью напугать, но как можно ручаться, особенно когда еще жива память об отце Николае? Отец Сергей счел нужным подготовить детей к худшему и рассказал кое-что Соне.

И они готовились.

Глава 38 В воскресенье после обедни

Чай стоял на столе, и не только чай, а еще что-то вроде обеда. Вся семья – Соня, Костя и Наташа, только что возвратившись домой после обедни, садились за стол, когда короткий стук калитки заставил их повернуть голову к окну, выходящему на двор. Там мелькнула крупная фигура отца Александра Моченева. Размашисто шагая, он не шел, а буквально бежал по двору, не обращая внимания на то, что полы его рясы легкомысленно развевались. Это было совершенно не похоже на него. Всегда такой выдержанный, солидный, он и по улице обычно шел почти так же степенно и торжественно, как на Великом входе.

Вид настоятеля так ярко говорил о чем-то особенном, что табуретки моментально отскочили в сторону, стол был забыт, лица всех повернулись к двери. Вот она с силой распаивается, на пороге стремительно вырастает верхняя часть настоятельской фигуры, а его далеко не тихий голос еще издали восклицает:

– Что же вы сидите? Встречайте отца! Отец Сергей вернулся!

Отец Александр задержался в алтаре несколько дольше Кости и вдруг увидел отца Сергия как раз в тот момент, когда он рухнул перед престолом, делая земной поклон, прежде чем приложиться к его краю, поздороваться с ним. Потом обернулся к отцу Александру. Расцеловались. Оказалось, что эту ночь отец Сергей провел в ГПУ, а утром его вызвали с вещами из камеры и без особых объяснений сказали:

– Можете идти домой. Вы свободны... Пока...

Поздоровавшись с собором и настоятелем, отец Сергей забежал на минутку в сторожку к владыке, а настоятель, как мальчишка, бросился поскорее сообщить неожиданное и потому дорогое известие и видеть произведенный им эффект.

Наташа и Соня замерли в радостном ожидании, а Костя ринулся навстречу отцу и прогадал. Они разошлись – отец Сергей прошел другим путем и появился дома на несколько минут раньше Кости. Как жалко этих минут! Знал ведь Костя, что есть два пути, что они могут разойтись, а в этот момент не учел, забыл обо всем на свете.

И вот опять все вместе. Дома, за столом, без конвоиров и вообще без посторонних. Встретились, подошли под благословение, расцеловались и слушают, слушают без конца, закидывая отца вопросами.

С чего начинать рассказы – неизвестно. Хочется все сказать сразу, и в то же время знаешь, что уже не важно, с чего начать. Всему будет время, обо всем сейчас переговорят. Не

обязательно сначала сказать самое главное, наоборот, приятно остановиться на таких подробностях, о которых при спешке и вообще не будешь рассказывать.

Вот, например, в сторожке у владыки получилась такая картина. Когда отец Сергей вошел в прихожую, заменявшую также и кухню, владыка сидел за столом в передней части своих «апартаментов». С ним за столом сидели еще отец Николай Авдаков и полунищий старичок с левого клироса, Василий Стигнеич. Владыка имел обычай после службы приглашать к себе на чай или обед кого-нибудь из таких бессемейных. Сидели и разговаривали об отце Сергии. Его им еще не видно, а он уже молится перед иконами в кухне и слышит, как упоминают его имя – «отец Сергей».

– А вот и он! – воскликнула матушка Евдокия, алтарница, в эту неделю обслуживавшая архиерейскую квартиру По роду своих обязанностей она сновала то туда, то сюда. Ей было видно и слышно все, и ее восклицание связало в единое целое разговор об отсутствующем с его появлением.

Разговаривать можно и лежа. Хорошо разговаривать, лежа в кругу своей семьи, наслаждаясь неожиданным поворотом судьбы. Отец Сергей комфортабельно растянулся на единственной кровати, которая, правда, была ему не совсем по росту, и с удовольствием развернул плечи и члены, утомленные многодневным нервным напряжением. Наташа примостилась совсем близко к нему, так что видела даже темные точки на его лице – поры. Эти точки кажутся ей особенно убедительным доказательством того, что папа опять с ними, и это он сам, действительно, во плоти, а не в мечте и не как мираж. Это казалось почти сверхъестественным. Стало быть, она совсем мало надеялась на его возвращение, а вместе с тем эта совсем малая надежда оказалась такой цепкой, что пережила его самого. Несколько лет после его смерти все ее мечты неизменно начинались одним и тем же: «Вот если бы вдруг оказалось, что папа жив, тогда...» Продолжение было разное, а начало одно и то же.

Потом отец Сергей сказал, что все его вещи остались в камере, в тюрьме, и ему нужно сегодня за ними сходить, да заодно и с товарищами проститься, порадовать их своей радостью.

Нетрудно догадаться, что за вещами можно было сходить когда-нибудь потом, они там никуда не делись бы. Важно было полнее почувствовать себя свободным, пройти без конвоира по тем улицам, которые много раз видели его под конвоем. Важно было пройти по тюремному двору уже не в качестве заключенного, а совершенно свободным человеком. Важно было поговорить с теми, кто там оставался.

А для того, чтобы нагляднее подчеркнуть себе разницу между тем, что было вчера, и что есть сегодня, чтобы скорее поверить, что это не сон, отец Сергей взял с собой Наташу.

– Пойдем, Наташа, со мной, поможешь нести вещи.

День был холодный, с ветром, настоящий осенний. Большого дождя не было, но временами начинал накрапывать и дождь. Никаких плащей тогда и в помине не было. У Наташи осеннее пальто, перешитое Соней из чего-то старого, а отец Сергей был одет в стеганый серый подрысник. Подрысник очень не нов, давно уже подумывали, как бы его постирать, а от пребывания в камере, на нарах, он еще больше залоснился и во многих местах откровенно покрылся грязью.

Как только отец Сергей и Наташа завернули за угол, им встретилась Нина Амасийская, старшая дочь отца Николая. Наташа всегда немного стеснялась ее, мысленно сравнивая ее одежду со своей. Все ее костюмы были сшиты у хорошего портного, не говоря о качестве материала, и по сравнению с ней девочка казалась себе замарашкой. А тут как раз этот серый подрысник, действительно грязный! Наташа встретилась с Ниной глазами, но на этот раз не почувствовала никакой неловкости, хотя и думала о грязном подрыснике. Наоборот, она торжествовала и окинула Нину взглядом не просто, а с гордостью – смотри, мол, я с папой иду.

Вот они, эти улицы, по которым пролегает путь к тюрьме. Ревпроспект, потом мостик через овраг, поворот налево, еще несколько домов, а потом дорога между заборами лесопиль-

ного завода длиной с обыкновенный квартал. Им встретился незнакомый мужичок на лошадке, внимательно посмотрел на них и дружелюбно крикнул:

– Ну что, освободился? На свет родился?

Наташа осталась у ворот около хоздвора, а отец Сергей вошел внутрь и не возвращался довольно долго. Потом он подошел в сопровождении нескольких священников, которым позволили дойти с ним до ворот. Среди них был и отец Иоанн Троицкий, с которым отец Сергей сблизился больше, чем с другими. Отец Иоанн посмотрел на Наташу добрыми глазами:

– Вот и барышня-то стоит радостная...

– Ну, она у меня вроде бы всегда такая. Носа не вешает.

– Нет, все-таки. Совсем другие глаза.

Обратно пошли по другой улице, по К. Маркса (Казанской). Отцу Сергию хотелось пройти и там, по двум дощечкам, переброшенным через овражек, мимо Кильдюшевских, мимо единоверческой церкви. Хотелось, чтобы кто-нибудь увидел его в окно, вышел, заговорил, хотя нужно уже поторапливаться, да и дождь пошел сильнее. Все-таки на площади остановились, поговорили с Иваном Александровичем, а потом скоро подошло время собираться в церковь.

Девушки редко ходили к вечерне в воскресенье, а на этот раз пошли, потому что служил ПАПА. Вечерня была будничная, без певчих. Жена регента и солистка, Прасковья Степановна, пришла с Валею не петь, а помолиться и встала в сторонке возле колонны. В храме было полутемно, на клиросе стояло несколько стариков, но как хорошо чувствовалось и молилось!

Вот и конец. Отец Сергей вышел к Царским вратам произнести отпуст, и в это время на весь собор, до самых его высоких сводов, прозвучал звонкий, торжествующий детский голос:

– Мама, гляди-ка, кто вышел-то!

Это Валя. В полутьме, да еще, конечно, занятая своими делами, она раньше не рассмотрела служащего священника, рассмотрела только теперь, и не постаралась скрыть своего ликования. Последние звуки резко оборвались, как будто мать одернула ее, может быть, даже прикрыла ей рот рукой. Вблизи можно было расслышать торопливый шепот, вероятно, она объясняла дочке неуместность такого проявления чувств. Но Валя, наверное, подумала, что мать просто не видит того, что увидела она, и тем же звонким, ликующим голосом закончила:

– Это не владыка, а отец Сельгий!

В этот вечер, и на следующий день у владыки и дома обсуждались прощальные слова следователя: «Вы свободны... пока...»

Было совершенно ясно, что за этой фразой скрывалась другая – «вы свободны... поэтому уезжайте, пока целы...»

Несомненно, отец Сергей уже решил, как ему поступить, но с владыкой нужно было поговорить немедленно, не откладывая, кто знает, сколько протянется это «пока». Нужно, так сказать, получить его санкцию, его благословение на предстоящий подвиг. И с детьми нужно поговорить, чтобы они поняли обстановку и почувствовали себя участниками принятого решения. Единственное возможное решение было таким: апостолы за штат не уходили и с места своей проповеди не уезжали. Священник, как солдат, не имеет права покинуть своего поста, как бы опасен он ни был. Тем более не может этого сделать протоиерей кафедрального собора – на них смотрит, по ним равняется все викариатство. Стоит ему уехать, хотя бы перевестись в другое место, как по селам заговорят – «соборные уезжают». Слабые потянутся за ним, а твердым добавится лишний шип в ране. Он продолжал служить. Потянулись дни большого счастья – свободен – и напряженного ожидания конца. Ложась вечером на свою грубую постель на полу, отец Сергей глубоко и счастливо вздыхал: «Хорошо жить на белом свете!» А увидев на дворе незнакомого человека, настораживался, как и прежде.

Он ложился и вставал раньше всех и вначале часто вдруг просыпался от глубокого сна, пока дети еще сидели, несколько раз крестился и вслух творил молитву.

– Ты что? – спрашивали его.

– Мне показалось, что я в тюрьме, – отвечал он.

Связи с тюрьмой отец Сергей не терял, хотя и шутил иногда: «Ведь там всякой твари по паре, а нечистых по семи пар». Но и этих «нечистых» – шпану, уголовников, которые, случилось, просили: «Отцы, дайте корочку, хоть заплесневелую», – их тоже из памяти не выкинешь. Ведь в тюрьме тоже приход, там тоже священник нужен, а он сам научился понимать, что как бы низко ни пал человек, в нем все же остается что-то доброе. Вот это доброе он и старался находить во встретившихся ему уголовниках, когда оказывался рядом с ними. А уж если они не забываются, то как забыть своих собратий?

Троицкому дали десять лет, готовили к отправке на север, а у него ничего теплого и до дома далеко. Опять нужно устраивать складчину. Пошел в дело и коротенький женский тулупчик, в котором Соня еще в Острой Луке ходила за водой, – а Ивана Кузьмича Бог ростом не обидел. Отдал отец Сергей и недавно сделанную на заказ по случаю шапку-малахай с кожаным верхом, единственную хорошую вещь в его гардеробе.

Еще то одному, то другому давали сроки. Как осужденных, их держали не так строго, разрешали отлучаться в город или посылали в город на работу. Троицкого сделали кучером. Он и другие ухитрялись иногда вырваться в собор. Пробегут левым приделом в алтарь, надедут на свою грязную рвань чью-нибудь свободную рясу и причастятся. Им нельзя было ждать, когда подойдет время, им давали возможность причаститься на ходу, и в начале литургии, и за всенощной, запасными Дарами. Большим счастьем было, если кому удавалось здесь, в торжественной обстановке, исповедаться, но больше исповедовались в камере, друг у друга.

Однажды произошел случай, внешне похожий на памятное появление Моченева. Как и тогда пили чай. Вдруг отец Сергей вскочил, крикнул: «Отец Петр!» – и бросился навстречу высокому священнику, крупными шагами бежавшему по двору.

Они чуть не столкнулись в дверях.

– Мир ли приходу твоему? – почти крикнул отец Сергей.

– Мир, мир, – радостно отвечал тот, крестясь на иконы и целуясь с хозяином. Крупное, изрытое оспой, лицо его так и сияло.

Это был отец Петр Борщов, один из немногих освобожденных в те годы.

– Вот мы здесь сидим и ни о чем не думаем, – сказал как-то отец Сергей. – А в это время, может быть, где-то разрабатывается план, как окончательно рассчитаться с религией. И вообще, конечно, не обязательно в эту минуту, а в любое время могут подготавливаться разные неприятности, и крупные, и мелкие, и против нашего собора, и против Церкви вообще, и лично против нас. А может быть, за границей опять замышляется война, вроде того крестового похода, к которому призывал римский папа. И тогда мы говорили, и сейчас я скажу, что католичество для Православия хуже безбожия. Безбожие – враг открытый, а эти скрываются под маской религии, а в том, как они ее искажают, многие не разберутся. Да мало ли что еще может быть!

А мы ничего не знаем, узнаем только, когда беда нагрянет на Церковь ли, на весь народ или на нас самих. Об этом никогда не нужно забывать, каждый день нужно молиться: «Разрушь, Господи, злые замыслы нечестивых!» А какие замыслы в это время готовятся, Он Сам знает...

Были встречи и разговоры и более обыденные, напоминавшие прежние спокойные годы (когда-то они были?), но и в эти разговоры отец Сергей умел внести что-то свое. Как-то раз зашла старая знакомая, Прасковья Матвеевна. Заговорили о молитве.

– Во время молитвы нужно не только просить Бога о милости и даже не только благодарить за полученные блага, – в который раз повторял отец Сергей то, что без конца повторяют и другие проповедники и духовники, – нужно бескорыстно, от чистого сердца славословить и хвалить Его.

И тут же пояснил своими словами: «А то у нас как получается? Крестимся, когда поют „Господи, помилуй!“, „Подай, Господи!“ А как запоют: „Слава Тебе, Боже наш!“ или „Тебе, Господи!“ – так у нас словно руки отсохнут».

Глава 39 Кто о чем

Необыкновенное воскресенье прошло. Все стали привыкать к возвращению отца Сергея, жизнь пошла своим чередом. И вот однажды зашел знакомый батюшка. Ему подали табуретку, но ни чаю, ни какого-нибудь угощения почему-то не предложили. Устроившись поудобнее, он спросил:

– Ну как, отец Сергей, картошечки-то запасли?

В голосе гостя слышался живой интерес, но отец Сергей ответил сдержанно:

– Запас. И картошку, и помидоры.

– Даже и помидоры? Ну, помидоры – это дело второстепенное. Вот картошка – самое главное. Без нее никак нельзя.

– А я вот запас. И картошку, и помидоры. Вон помидоры в тарелке на столе лежат, а картошка в ведре под столом.

Гость удивленно взглянул на хозяина:

– Ну, что вы, отец Сергей, разве я об этом говорю? Я говорю о запасе на зиму, на весь год, до нового урожая, а это что...

– А я говорю о том, что вот встретились два протоиерея после длительного перерыва, и поговорить им больше не о чем, о картошке заговорили...

Наступило неловкое молчание. Гость первый нашелся, переборол себя и заговорил о Владимире Соловьеве и о его книге «Оправдание добра».

Из всех сочинений Соловьева у отца Сергея была только эта книга, и ее читали многие из его знакомых.

Увлекаясь историей философии, Костя выделял Вл. Соловьева из всех известных ему философов, как христианского философа, но отец Сергей и у Владимира Соловьева нашел ошибку, и разбор этой ошибки имел для его детей большое жизненное значение. Речь шла о лжи. Соловьев рассуждает, что иногда ложь не грех, бывают такие обстоятельства, когда нужно солгать, чтобы спасти человека. Например, за кем-то гонится убийца. Ты видишь, что человеку грозит опасность, но защитить его своей силой не имеешь возможности. Зато можешь сделать это хитростью, обмануть преследователя, пустить его на ложный след. Такая ложь не грех, а наоборот, твой долг.

Отец Сергей много раз говорил по этому поводу, что ложь всегда грех, а ее отец – дьявол, но мир во зле лежит, и бывают иногда такие обстоятельства, когда приходится выбирать из двух зол меньшее. Сказать ложь тоже грех, но допустить, чтобы злодей сделал свое черное дело, – еще грешнее. Приходится солгать, но при этом все-таки нужно иметь внутреннее сокрушение о том, что лжешь. Если не будет такого сокрушения, страха перед ложью, можно привыкнуть к ней как к чему-то обыкновенному и позволять себе ложь, даже если можно обойтись без нее.

– А у Соловьева получается оправдание добра и зла.

Отзыв о книге вылился в форму шутки, но сам вопрос о том, как избегать лжи, поднимался нередко, и всегда оказывалось, что он не так уж прост и очень важен.

Теперешний гость тоже незадолго до этого брал у отца Сергия «Оправдание добра», так что желание обсудить затронутые там вопросы было вполне естественным, но разговор все равно не клеился. Настоящего дружеского взаимопонимания так и не получилось.

Оставив в стороне теоретические рассуждения, возвратимся к началу разговора.

Картошка, запасы на год, осенние заготовки... Ведь это как раз то, о чем говорилось в семье год тому назад, когда отец Сергей подсчитал свои ресурсы и предупредил домашних, как складывается дело.

Заботы, о которых заговорил пришедший батюшка, были отнюдь не чужды отцу Сергию, почему же он так разволновался, так вознегодовал на гостя? Потому что прошедший год изменил многое, и даже в относительно спокойные дни ясно, что составлять планы на несколько месяцев вперед, рассуждать о них – пустая трата времени, а главное – о том ли болеет его сердце, над этими ли вопросами работает мозг?

До картошки ли тут, когда у семьи, у детей нет вообще ничего, кроме еженедельного отцовского дохода, и об этом бесполезно разговаривать. Но как ни тревожит эта забота, на первом плане все-таки стоит мысль о том, как много еще нужно сделать, и как трудно. Многого нужно решить немедленно, ко многому нужно подготовиться, многое обсудить, – и даже Соловьев с его философскими рассуждениями – далеко не самая важная, не самая злободневная, не самая животрепещущая тема.

Глава 40 Клин клином вышибают

Прошел месяц, второй... Ничего не случилось. Постепенно все успокаивались. Оснований для этого не было, жизнь кругом продолжала идти по-старому, но чувства не могут долго находиться в предельном напряжении. Начало казаться, что той фразе напрасно придали такое значение. Да и мало ли что может произойти дальше, это не значит, что нужно заранее свертываться. Дел за время отсутствия отца Сергия накопилось столько, что приходилось браться сначала за те, которые не могли ждать. Наконец дошла очередь до других, не таких неотложных, но, может быть, еще более важных. В числе других была и подготовка помощников на случаи закрытия церквей.

– Пора начинать, – сказал наконец отец Сергий. – Завтра попробую сходить кое к кому.

Вечером 5 ноября (тогда в Пугачеве счет вели чаще по старому стилю) Наташа сидела в кухне около русской печки, за тем столом, за которым, бывало, бабушка готовила обед. Она чистила картошку при свете керосиновой лампы, а в передней комнате было темно. Наташа была одна дома. Потом вошел незнакомый человек в кожанке, спросил отца Сергия и сказал, что подождет. Наташа предложила ему пройти в комнату, а сама продолжала свое дело. Чувствовала какое-то беспокойство и неловкость от того, что незнакомый человек сидит один в темноте, без внимания, а она не знает, как себя держать.

Опять та ее характерная черточка. Все время ждали беду, все время были наготове. А на этот раз, увидев необычного посетителя в кожаной куртке, Наташа не догадалась, кто он. Вернее, душа не хотела догадаться.

Через некоторое время послышались шаги отца Сергия. Он шел быстро, заметно спешил вернуться домой и поделиться впечатлениями дня. С первого взгляда на его лицо было видно, что он доволен, возбужден и горит желанием рассказывать. Наташа поспешила опередить его и негромко предупредила: «Папа! Тебя тут ждут!»

– Кто? Не вижу!

Не раздеваясь, с ходу, отец Сергей шагнул в темноту передней комнаты и, не погашая того света, который был на лице, нагнулся к сидящему, пытаясь рассмотреть его.

Не здороваясь, не называя себя, посетитель что-то сказал очень тихо, но значительно, кажется: «Пойдемте поговорим!»

Отец Сергей словно поперхнулся и замолчал. Этот короткий, неопределенный звук был как бы точкой опоры, необходимой для того, чтобы остановить в себе нечто относящееся к настоящему времени, и круто повернуться к будущему. Вот он попросил разрешения положить на место запасные Святые Дары – возражения не было. На все ушли не минуты, а секунды. Вот они выходят в кухню – незнакомый человек в черной кожанке и сам отец Сергей, посеревший, настороженный, сосредоточенный.

– Проститься?

– Нет, зачем же... Вы скоро вернетесь домой... Вас пригласили поговорить, а потом вы вернетесь...

Еще секунда, и он ушел. Навсегда.

Вечером дети долго ожидали его, прислушивались к каждому шороху снаружи. Гораздо дольше, чем допускали самые смелые предположения, но он не вернулся. Утром отнесли ему передачу – подушку и кое-что из провизии.

Горе горем, отец – отцом, а теперь перед семьей вплотную встал вопрос – чем жить. Конечно, отец Александр по-прежнему будет отдавать часть отца Сергея, некоторое время помощь еще придется принимать, но не всегда же. Несомненно, отец Сергей больше не вернется, не было еще случая, чтобы кого-нибудь отпустили во второй раз. Да и долго ли продержится сам отец Александр? Следовательно, нужно подумать, что делать.

В первую очередь это касалось Сони, которая одна не имела никакого, самого мизерного заработка. Имела три специальности – шитье, вышивание, пишущая машинка, а за три года можно было по пальцам пересчитать полученные ею заказы. Да и эти заказы были от знакомых или по их рекомендации, т. е. давались не ради дела, а только для поддержки.

На другое утро после Михайлова дня¹²⁰ Соня решила сходить к матушке Моченевой, когда-то предложившей научить ее изящно вставлять прошивки в батист. Такую работу можно было получить у местных модниц из жен военных, и конкуренции тут нечего опасаться – это не шитье. Да и вообще матушка Софья Ивановна человек опытный и доброжелательный, может быть, что-нибудь и посоветует.

Стоило Соне отворить дверь в квартиру Моченевых, как она поняла, что и сюда пришло несчастье. Не было ни выдвинутых ящиков, ни разбросанных вещей, но не было и обычного строжайшего порядка, а всегда занятая Софья Ивановна сидела около стола и ничего не делала. Она рассказала, что за отцом Александром пришли ночью, долго рылись в вещах и ушли часа два назад. А она все прибрала и вот сидит...

Не успела еще матушка рассказать всего, как на крыльце раздался громкий топот и в комнату в страшном волнении не вошел, а ворвался диакон Медведев. Оказывается, он тоже получил вызов, зашел к настоятелю посоветоваться или просто предупредить, а тут такой сюрприз.

Медведев вернулся через несколько дней, а Моченев остался. Было ясно, что и он, и отец Сергей потеряны для собора, но все-таки назначенный на их место, один вместо двоих, отец Николай Авдаков считался временным.

Отец Николай стосковался по службе священника. Если бы ему разрешили, он поехал бы на любое священническое место, в любое захолустное село, но он не имел права уезжать из Пугачева. Он исполнял обязанности псаломщика в Старом соборе, иногда его приглашали принять участие в архиерейском служении, но все это было не то. Он взялся за дело с жаром,

¹²⁰ 21 ноября.

свойственным его пылкому характеру. За три воскресенья своего служения сказал три горячие проповеди, потом, ровно через две недели после назначения, в воскресенье, 24 ноября, взяли и его.

Это было трудное время. В течение более трех месяцев, с конца октября 1930 года по январь 1931 года, аккуратно через день, в городе и поблизости от него происходило что-нибудь тяжелое. Того арестовали, того отправили, там закрыли церковь, тому предложили уехать. Аккуратно через день. Точно давался один день, чтобы передохнуть, погоревать о совершившемся, привыкнуть к мысли о нем, а на следующий день добавлялось еще что-то новое. Взяли Афанасия Матвеевича Медведева, председателя церковного совета, еще несколько членов или просто активных прихожан. Люди уже ожидали – вчерашний день прошел благополучно, значит, что-то будет сегодня. Приходили на память стихи Майкова:

...Что мне тужить за охота,
Коль завтра прогонит заботу другая забота?
Ведь надобно ж место все новым и новым кручинам.
Так что же тужить, коли клин выбивается клином?

Еще до этого прошел слух, что в городе появился приезжий адвокат или просто ходатай по делам по фамилии Ишин, который берется вести дела раскулаченных и прочих «неблагонадежных». Специально берет только такие дела. Поживет несколько дней, наберет определенное количество дел и едет с ними в Москву, а потом опять назад в Пугачев. Насколько успешны были его ходатайства, трудно сказать, но уже одно, что нашелся такой человек, который не боится защищать людей, оказавшихся как бы вне закона, действовало ободряюще.

Костя с Соней тоже собрались сходить к нему, правда, без особой надежды, просто на всякий случай, но решили, чтобы сначала Соня сходилась посоветоваться с отцом. Его постоянно бодрый тон действовал на них так, что они не были уверены, захочет ли он хлопотать об освобождении. Смущало и количество дел, которые набирал Ишин, думалось, что при таком массовом ходатайстве там, в верхах, еще меньше будет надежды получить хоть одно благоприятное решение. Но и упускать случая было нельзя.

Разговор происходил на обычном месте встреч, у ямы с нечистотами. Было холодно, сыро, неприветливо. Отец Сергей стоял ссутулившись и зябко засунув руки в рукава стеганого подрясника. Когда Соня рассказала об Ишине и спросила, нужно ли хлопотать, он ответил:

– Конечно, нужно попытаться. Или вы думаете, что мне здесь приятно?

На его лице появилось выражение страдания, но он быстро справился с собой и заговорил о том, что нужно указать в заявлении.

Сразу попасть к Ишину не удалось, у него оказалась очередь, а во второй приезд его самого арестовали. Заявление отцу Сергию он все-таки написал, но уже в тюрьме. Это заявление отец Сергей постарался передать на волю для отправки по назначению; тогда считали, что если спустить письмо прямо в почтовый вагон, то оно лучше дойдет. Адресовано оно было, кажется, Верховному прокурору СССР. Ишин-то хорошо знал, кому адресовать, а кроме этого он внес очень мало своего. Основной текст был отца Сергия, а в него вставлены отдельные выражения, подсказанные Ишиным, и домашним отца Сергия было очень заметно, что это слова не его.

«Нельзя молчать! Нет сил молчать!» – так начиналось это заявление-письмо. Хорошо сказано, верно, но дети долго рассматривали заявление с большим недоумением: кто писал? Папа или не папа? Вот здесь совсем он, а здесь совсем не он... Мысль о коллективном творчестве тогда еще плохо укладывалась в голове.

Потом детям стало понятно еще и другое. Они понимали, чувствовали папу во всем, где он проявлял себя, и даже самая маленькая мысль, пусть неплохая, но чужая, выпирала из его строк, как постороннее тело.

Ишин был одет легко, совсем не по-зимнему. У него было всего только одно тонкое осеннее пальто, и ничего больше. Поэтому отец Сергей велел принести ему свою старую теплую рясу. Она была уже совсем непригодна для носки, но ее все-таки можно было использовать как подстилку или одеваться вместо одеяла. Потом Ишин даже на прогулку стал выходить в этой рясе под беззлые шуточки наблюдателей: «Что это, вроде у нас еще один поп прибавился?»

Передавали ему и хлеба, и сухарей, по поручению отца Сергия и отца Александра из дома приносили побольше, на его долю. Однажды во время прогулки он обратился к отцу Сергию и его товарищам с целой речью по поводу того, что они исполнили завет Христа – раздетого одели, голодного накормили, скорбного утешили и так далее.

Как-то выдался счастливый вечер. Уже второй день ничего плохого не случилось. В такие периоды человек, если жизнь не сломила его, сразу оживает, поднимает голову, как будто даже забывает о прежних горестях. Со стороны это может показаться легкомыслием, но это самозащита, требование здоровой психики, здорового организма – без этого можно дойти Бог знает до чего.

Девушки сидели за столом и занимались какими-то пустяками. Даже присутствие хозяйки, которая в последнее время стала особенно придирчива, только стесняло их, а не лишало хорошего настроения. Наташе вдруг вспомнилась детская игра в догадки. Кто-нибудь писал первую букву и последнюю задуманного слова, между ними ставилось столько черточек, сколько пропущено букв, а остальные играющие угадывали, какие это буквы и какое слово. Уже давно дети усложнили игру, писали не слова, а целые фразы. Вот и сейчас Наташа занялась этой игрой, вовлекла в нее Соню. Кости не было. Его уже давно настойчиво приглашал к себе Иван Борисович, и сегодня он решил наконец пойти туда. Думали, что он пробудет там весь вечер, но он вернулся неожиданно скоро.

– Ивана Борисовича нет дома, – ответил он на вопрос сестер и заходил по комнате, слегка покашливая и потирая руки, как от холода. Ему хотелось что-то сказать, но мешала хозяйка, да и сестры, как нарочно, не замечали его состояния. Наташа уже писала новую фразу. Вдруг Костя протянул руку за карандашом.

– Дай теперь я загадаю.

Соня не следила за ними. Пользуясь тем, что у Наташи оказался другой партнер, она углубилась в книгу. И вдруг услышала странно изменившийся голос сестры:

– Соня, посмотри, что получилось!

На листке, исчерченном неровно написанными, пустыми по смыслу фразами, Костиной рукой было выведено:

– Иван Борисович арестован.

Она подняла голову и, как и Наташа, вопросительно посмотрела на брата. Его глаза подтверждали написанное. Тихо, почти одними губами, она спросила: «Когда?»

– Только перед моим приходом ушли.

Неожиданно отцу Сергию не стали принимать передачи. Впоследствии это стало почти правилом – не принимать передачи в начале следствия, особенно если подследственный не дает желаемых показаний. Но тогда это был первый случай. Тюрьма, рассчитанная на сто человек, к этому времени была переполнена, даже церковь приспособили, перегородили, сделав там второй этаж. Высоко в куполах, из верхних окон, тоже выглядывали лица заключенных. Число заключенных доходило до трех-четырёх тысяч. Чтобы было чем дышать, они выбивали стекла в камерах. В дни передач около ворот с утра до вечера стояла толпа с мешками, и всем принимали, кроме одного. Родные всего надумались.

Если даже это не грозило никакими дурными последствиями, одна мысль, что папа сидит голодный, на скудном тюремном пайке, не давала детям покоя, лишала аппетита. А тут еще в надежде на то, что в следующий раз примут, кто-нибудь принесет пирог с яблоками или еще что-то вкусное. Передачу не принимали, пирог мог испортиться, его приходилось есть самим, а он колом вставал в горле.

Вскоре стало известно, что отца Сергия перевели в пользовавшуюся зловецей славой тринадцатую камеру, считавшуюся камерой смертников. Конечно, еще оставалась надежда, что ею только пугают, но все равно это не выходило из головы ни днем, ни ночью.

А все-таки должен же быть когда-то этому конец! Все старались думать, что конец будет не самый страшный. Каждый вторник и пятницу Соня и Наташа носили передачу, которая с каждым разом становилась все тяжелее.

Думалось – вдруг получится так, что один раз примут, а потом опять не будут принимать. Значит, нужно передать не на три-четыре дня, а на сколько можно больше. А вдруг вслед за разрешением на передачу их отправят, значит, нужны и сухари, и лишняя смена белья, и теплый подрясник. Так что очередную передачу везли вдвоем, на больших, побольше метра в длину, салазках.

Эту передачу не пришлось довести до тюрьмы. Еще не доходя до моста, девушки встретили группу заключенных в сопровождении конвоира. Среди них шли отец Сергий и еще кто-то знакомый в стеганом пиджаке; только позднее сообразили, что это Апексимов, бывший обновленческий благочинный второго округа, с которым в свое время у отца Сергия было много столкновений.

Девушки повернули салазки и пошли так, чтобы и им было видно отца, и ему их. Отец Сергий был до того бледен и худ, что, казалось, мертвец выглядит лучше; лицо его вытянулось, щеки ввалились. Время от времени он плотно прикрывал веки, словно выдавливая застывшие глаза слезы. Может быть, он в это время мысленно навсегда прощался с детьми – тринадцатая камера сама за себя говорила. Но тут уж они ничем не могли помочь, а вот накормить его нужно было во что бы то ни стало.

– А вдруг и там не примут передачу? – мелькнуло в голове Сони. – Хоть немного, хоть сколько-нибудь, нужно суметь передать.

Она остановилась, пропустила мимо себя конвоира, взяла из мешка первое попавшееся – небольшой витой хлебец, сунула его под пальто и быстро пошла вперед, оставив Наташу одну справляться с тяжелым грузом.

При входе в ГПУ был устроен тамбур – двойные двустворчатые двери. Чтобы меньше впускать холода, открывалась только одна половина, а между другими створками свободно мог встать человек. Убедившись, что партия заключенных еще за углом, Соня проскользнула туда и приготовила хлеб.

Немного спустя дверь отворилась, сначала, как и надеялась Соня, прошел конвоир, потом один, другой заключенный, потом отец Сергий. И в ту минуту, когда Соня сунула ему хлеб, появился неизвестно откуда взявшийся второй охранник.

– Что ты ему передала? – закричал он. – Покажи, что она передала?

– Ничего, только хлеб, – ответил отец Сергий, показывая переданное. По голосу его было понятно, насколько дорог ему сейчас этот хлеб и как тяжело было бы отдать его. Но охранников хлеб не интересовал. Убедившись, что, кроме него, ничего нет, они успокоились. Потом, когда Наташа привезла остальную передачу, дежурный принял и ее, хоть и прочитал длинную нотацию.

– Помолитесь о папе, ему сейчас очень тяжело, – просила после этой встречи Соня всех знакомых. Она заключила об этом по его виду и была права, ему действительно было очень тяжело.

Как и другим, ему предъявили обвинение в агитации против колхозов. Он будто бы и в Перелюб ради этого ездил, и в Пугачеве агитировал.

– В чем же, по-вашему, выражалась моя агитация? – спрашивал отец Сергей.

– Проповедь говорили против колхозов.

– Когда?

– Ну... в августе...

– Позвольте, я весь август здесь у вас сидел!

– Ну, не ты, так кто-нибудь другой, – не смущаясь, ответил следователь.

В другой раз речь зашла о том, кто у него бывает. Отец Сергей ответил, что живет теперь очень замкнуто, даже на именины у него были всего три-четыре человека.

Никому и в голову не приходило скрывать это, считать незаконным, но следователь повернул дело по-своему.

– Разрешение у вас было? – спросил он.

– Какое разрешение?

– Значит, не было. Так и запишем.

И вот в протоколе допроса появилась запись, что 8/Х-1930 г. в квартире отца Сергея происходило тайное собрание, на котором присутствовали такие-то. Конечно, отец Сергей такого «показания» не подписал, и после продолжительного серьезного разговора они со следователем расстались не особенно дружелюбно. Потом как-то в камеру заходил прокурор, спрашивал, нет ли у кого жалоб. Отец Сергей рассказал ему обо всем, но без всякой пользы.

Постепенно отцу Сергию стало ясно, что после его поездки везде, где он был, проводили проверку, вызывали людей, допрашивали, но ничего компрометирующего не нашли. Ложных показаний тоже никто не дал, клеветников не оказалось. Одного потом нашли, но совсем в другом месте.

Вот тут-то отца Сергея лишили передач и применили к нему еще и психическую меру воздействия, поместили в тринадцатую камеру. Вскоре, может быть на другой день, в ту же камеру посадили Алексимова. Отец Сергей прекрасно знал, что это за человек, не доверял ему, догадываясь, что его посадили как «наседку»¹²¹, и старался как можно меньше разговаривать с ним. Он понимал, что каждое его слово будет перетолковано, да можно ведь и выдумать разговор, которого не было.

Тринадцатая камера сама была почти смертным приговором. До них там находился Иван Борисович. О репутации камеры он не знал, на его психику она не подействовала, зато убийственно отразилась на его легких. Его оттуда отправили в больницу, а еще через сколько-то времени «активировали», т. е. освободили по болезни, как безнадежного.

– Мы после него лед сбивали с нар и со стен, несколько ведер вынесли, – рассказывал отец Сергей, когда наконец ему стали давать свидания. – Да мы все-таки были вдвоем, ложились вплотную, согревали друг друга, а он был один.

Даже подвал при ГПУ был лучше тринадцатой камеры, притом отцу Сергию принесли передачу. Настроение несколько повысилось. Как следует поев, Апексимов произнес: «Слава Тебе, Господи!»

– Мы уже две недели вместе, – не выдержал отец Сергей, – и за все это время вы в первый раз помянули имя Божие. Да и то потому, что поели досыта, а ведь вы священник!

Но Апексимов и вообще-то меньше всего считался с тем, что он священник, а в это время особенно.

На следующий день он дал письменное показание, что отец Сергей в Перелюбском районе агитировал против колхозов. Ему, видите ли, это было известно, хотя Перелюбово находилось от Пугачева километрах в ста пятидесяти к востоку, а Левенка, где жил Апексимов, была

¹²¹ Осведомитель в камере (жарг.).

в пятидесяти километрах на запад. Никого не интересовало, каким чудом Апексимов узнал, что делалось за двести километров от него.

И еще он добавил, что, когда отец Сергей был назначен в Пугачев и они встретились на постоялом дворе, он тоже говорил, что нужно разлагать колхозы. И никого не смущало, что эта встреча происходила в 1926 году, когда о будущих колхозах знали только в верхах. Да и их отношения и происходивший тогда между ними разговор совсем не располагали к откровенности, если бы даже и было о чем откровенничать.

– Ты сейчас протоиерей; будешь архиерей... за решеткой! – пригрозили при этой встрече Варин и Алексимов. Что же, со своей стороны он сделал все, чтобы это предсказание исполнилось. У него даже хватило совести подтвердить свою клевету на очной ставке, глядя в глаза человеку, которого он губил.

После очной ставки отца Сергея отправили обратно в тюрьму. Его «вину» теперь считали доказанной. И Алексимов через некоторое время появился там же, но уже как начальник тюремной канцелярии.

Если бы не добровольные помощники, наблюдавшие из своих окон за тем, куда вели батюшек, с самого начала было бы очень трудно определять, где они находятся, так часто их переводили из монастыря в город и обратно. Только в последний раз отец Сергей задержался в городе надолго. Но иногда эти помощники, с самыми добрыми намерениями, оказывали медвежью услугу. Принесет такая сердобольная тетушка спозаранку два-три горячих блинка; иногда это пройдет, и вторую, и третью передачу примут. А иногда дежурный заупрямится, и останется человек на целый день с этими двумя блинками. Так что желающим передать что-либо советовали приносить в сторожку или на дом, но не все это выполняли. Из дома передавали не только продукты, а и чистое белье и теплую одежду; в сыром, холодном подвале всегда требовалось что-нибудь лишнее. Один раз пришлось срочно отнести даже кожаные сапоги.

В начале декабря, несмотря на мороз, неожиданно пошел дождь. За ночь все в городе обледенело – крыши и стены домов, телеграфные столбы; сбитые с них куски льда напоминали половинки гончарных печных труб. Обледенели каждая травинка, каждый сучок на дереве в отдельности. Это были сказочные ледяные деревья и травы, где каждая былинка имела сантиметра три в диаметре.

Спускались до самой земли, а то и обрывались провода, падали телеграфные столбы, разрывало на части, с вершины до корня, старые дуплистые ветлы. Кусты сирени лежали распластавшись на земле, словно скошенный камыш. А на земле лед застывал слоями. Покроется лужа более или менее твердой коркой, на нее сверху нальется еще вода, опять верхний слой замерзнет, потом еще. Люди то скользили по гладкой мокрой поверхности, то проваливались чуть не по колено в жгуче-холодную воду. В этот день Соня, проснувшись пораньше, боялась только одного: как бы отца не увели прежде, чем она передаст ему сапоги.

Это было во вторник или в среду, а в воскресенье Соня пошла с передачей прямо от обедни, не заходя домой. Дежурные и вообще-то почти не разговаривали, ограничиваясь самыми необходимыми словами, а на этот раз попался особенно молчаливый – он как-то странно, как показалось девушке, взглянул на нее, буркнул «подождите» и ушел. Возвратился он, неся теплый подрясник отца Сергея и валенки и еще что-то в большом мешке.

Люди нашего времени не могут представить, как ужасно было тогда, в том месте, увидеть вещи без хозяина. Выражение «вернули вещи» – означало, что их хозяина нет в живых. И неважно, если при этом скажут, что его отправили в НТК или в Саратов, сколько бы ни метались родственники между этими двумя или тремя пунктами, везде они услышат ответ: «У нас не значится». И Соня не стала ничего спрашивать, она только сказала упавшим голосом, что не сможет донести всего сразу, и попросила разрешения оставить часть вещей в коридоре.

Идти домой было вдвое дольше. Притом Соня не смогла бы спокойно взглянуть в глаза Наташе, когда та увидит принесенные вещи, а вскоре и Костя должен прийти. Она занесла свою

ношу в сторожку, и тут, по взглядам матушки Евдокии и просвирни Клавдии, по их ненатурально бодрым голосам поняла, что у них явилось то же подозрение, что и у нее. Но они ничего не сказали, они уже прошли хорошую школу. Возвращаясь за остальными вещами, Соня встретила Морозову-Ростовскую, жену бывшего офицера, работавшего бухгалтером на складе где-то за Иргизом. Они были немного знакомы. Молодая женщина с потерянными глазами вышла из двери, которую собиралась открыть Соня, и они чуть не столкнулись на ступеньках. В коротких словах Ростовская рассказала последние новости.

В эту ночь переарестовали чуть ли не всех живших в городе бывших офицеров и полицейских. Ее муж, Морозов, вчера не вернулся домой; кто-то видел, что его взяли на дороге. Она побежала в ГПУ справиться, но ей сказали, что такой не поступал.

– Может быть, его отправили прямо в монастырь? – предположила Соня. – Пойдите, у ворот скажите, что вы в контору, туда пускают свободно. А там на стене в коридоре висят списки всех заключенных. И не удержалась, сказала, почему сама пришла сюда.

У Ростовской еще не было умения держать себя в тяжелой обстановке. Она говорила, что думала.

– Неужели расстреляли? – вырвалось у нее.

Часто бывает, что кто-то ждет домой запоздавшего члена семьи; беспокоится, сильно беспокоится, но не дает воли своему волнению до тех пор, пока случайно встретившаяся на кухне соседка не скажет: «Все еще нет? Уж не случилось ли чего?» Так и Соня сдерживала тревогу до разговора с Ростовской, а теперь эта тревога стала так сильна, что хотелось сейчас же повернуться и бежать к тюрьме. Но ее ждут и будут беспокоиться. Она зашла домой, мимоходом сунула принесенные вещи в дальний угол в сенях и, стараясь, чтобы Наташа не видела ее лица, не почувствовала ее волнения, сказала:

– Папы нет. Сейчас иду в монастырь.

На площади людно, идет воскресный базар, но можно пройти стороной, за изгородью так называемого «сада» без единого кустика; за пустынными сейчас торговыми рядами, по пустынным улочкам. Там Соня не особенно старалась сдерживать слезы, разве кто встретится, и горячо молилась.

За мостом, недалеко от поворота на улицу, опять встретила Ростовская.

– И там нет! – с трудом выговорила она.

Спустя сколько-то времени выяснилось, что всех арестованных в эту ночь как-то связывали с недавно вскрытой Промпартией, обвиняли в том, что они устраивали нелегальные собрания на складе, где работал их руководитель Морозов. Выяснилось, что его взяли, встретив на дороге, и увезли прямо в Саратов; на автомашине догнали уже ушедший из Пугачева поезд и пересадили его туда. Когда это узнали, жене стало немного легче, а сейчас она совершенно изнемогала от тревоги. И Соня не могла ее успокоить, волнение каждой из них еще усиливало волнение другой.

Потом девушка не могла бы сказать, был ли у ворот охранник, спрашивал ли ее, куда она идет, она думала только о списках, висящих на стене в коридоре. На днях был большой этап, и заключенных оставалось не так много. Соня два раза прочла списки, но родной фамилии там не было.

Конечно, оставалось еще надежда, что из-за большого числа поступивших ночью списки не успели составить и вывесить. Но где взять силы, чтобы добраться домой, посидеть там, не подавая вида, что так встревожена, до тех пор, пока можно будет опять пойти сюда и проделать этот путь вторично.

Соня вышла на крыльцо и остановилась. На большой площадке между соседним тюремным корпусом и водоразборной колонкой гуляли по кругу трое заключенных. Один пожилой, с повисшими седыми усами, бывший полицейский Белоусов; Соня запомнила его именно из-за соответствия его внешности и фамилии. Второй – сравнительно молодой, со следами военной

выправки, а третий – ее отец в осеннем черном драповом подряснике. Как все-таки относительно представления о горе и радости! Сегодня утром ей казалось тяжелым горем, что отец находится в тюрьме. А теперь! Какая это была радость! Даже Ростовская, которую она опять встретила, снова бежавшую к тюрьме, немного приободрилась. И у нее появилась надежда.

Дома Соня не стала рассказывать о пережитых волнениях, она только сказала, что папу перевели в тюрьму, что она его видела, и рассказала о слышанном от Ростовской. Хватит с них и действительных тревог, недоставало еще, чтобы переживали из-за недоразумения.

Все разъяснилось, когда наконец удалось поговорить с отцом. Благодаря тому, что он получал передачи не только от своих, а и от посторонних, у него скопилась чужая посуда. Тащить ее, валенки и стеганый подрясник по все еще сильной гололедице было тяжело и бессмысленно. Отец Сергей оставил все дежурному, попросив отдать вещи, когда ему принесут передачу. Если бы дежурный снизошел до объяснения или если бы нервы Сони были менее напряжены и она попросту спросила, в чем дело, она избавилась бы от лишних переживаний.

Глава 41

О делах домашних и церковных

После второго ареста отца Сергея его семье еще серьезнее пришлось задуматься над вопросом о средствах к существованию. Пока служил Авдаков, он делил весь священнический доход на три части – себе и семьям своих предшественников. И это уже означало, что они получают на треть меньше того, что получали прежде, что им нужно на чем-то экономить. А когда не стало Авдакова, положение сделалось еще труднее.

Прежде всего, попытались экономить на топливе. Сама хозяйка навела Соню на эту мысль, бросив как-то фразу, что можно топить меньше – один день русскую печку, а на другой день – подтопок. Конечно, было очень наивно думать, что в этой решетоподобной квартире можно сократить отопление, ведь и при усиленной топке там было холодно, но Соня поверила. Однако, когда после ареста отца Николая она попробовала сделать так, разразилась настоящая гроза. Вообще, хозяйку как подменили. При отце Сергии она еще сдерживалась, а после него начался домашний ад. Все, что ни делалось, было плохо – не так прошли, не туда поставили; трубу закроешь – зачем дверкой хлопнули, кирпичи могут расколоться и т. п. Те, которые привыкли «ходить по квартирам», может быть, и не так реагировали бы на подобные выходки, считая их неизбежным злом, а наша молодежь столкнулась с ними впервые и, пытаясь добиться взаимопонимания, только подливала масла в огонь. Особенно неприятно было слушать придирки хозяйки при посторонних, а она как раз при посторонних и старалась задеть побольнее. В этом она просчиталась. Господь устроил так, что ее воркотня принесла прямую пользу. Люди поняли, что жить у нее нельзя. Как-то Соне передали, что с ней хочет поговорить старушка Ивановна. Это была та самая нищая, особенная: она не просила милостыни, ей сами приносили, и она, оставив себе необходимое, остальное раздавала. В городе она пользовалась большим авторитетом, даже духовенство с ней считалось. Последний год она часто болела и не могла ходить, куда бы ей хотелось, зато люди у нее бывали постоянно.

– Что у вас там получилось с хозяйкой? – спросила она, когда Соня пришла к ней.

Соня рассказала подробно, добавив, что она уже топит, как раньше, но не знает, как быть, когда кончится купленный ими воз кизяков. Анастасия Ивановна внимательно, почти строго, выслушала ее и распорядилась:

– Нужно вам оттуда уходить. Квартира находится, мы уже говорили. У Хованской, у Клавдиной матери. Клавдия и сейчас с просфорами больше в сторожке живет, а надо будет, так

совсем туда переберется, останется одна мать. Одно нехорошо, живет она в старособорном приходе, да ничего, и от Нового собора близко, так же, пожалуй, как вы сейчас. А топите-то все-таки как следует. Мы, старухи, тепло любим, – добавила она уже более мягким тоном.

Перебрались как-то совсем незаметно. Новая квартира была, пожалуй, еще теснее прежней, но теплая, чистенькая, по-хозяйственному облаженная. Большим преимуществом являлось то, что кухня в ней была не проходная, а устроена как самостоятельная маленькая комната по другую сторону от входной двери. Там, в теплом уголке, стояла хозяйкина кровать, и сама она все время находилась в кухне, предоставив переднюю комнату в полное распоряжение квартирантов. Вдоль глухой стены и около печки поставили по два больших ящика с книгами, и на них устроили постели Косте и Соне. Для Наташиной постели места не хватило, она спала на полу, но здесь это было не страшно, пол был теплый.

И книгам пришлось потесниться – их поставили в дровянике, ящик на ящик. Весной крыша неожиданно протекла, только в одном месте, как раз над ящиком, в котором лежали альбомы с фотографиями и не поместившиеся в переднем углу иконы. Так пропали много лет собиравшиеся отцом Сергием, дорогие памяти фотографии и старинная икона Божией Матери «Избавление от бед страждущих». Этой иконой благословляли под венец еще бабушку матери отца Сергия, диаконицу Меланию Овидиеву, а потом она получила от этой иконы исцеление от глубокой, доходящей до внутренностей раны на животе. Отец Сергей очень ценил эту икону, и уложили ее как будто хорошо, а вот не уберегли. На иконе появилось небольшое белое пятно, краска вокруг начала осыпаться, пятно все увеличивалось. Обратились к местным иконописцам-монахиням, но они работали только масляными красками, а в старину краски растирались на яйце. Этой работы они не знали. Да и не в том было дело, чтобы закрасить пятно – нужно было остановить разрушение, а этого никто не смог сделать.

В первый же день новых квартирантов ожидал сюрприз. Едва они разместили вещи и сели отдохнуть, как услышали возню и шепот на печке. Оглянулись – оттуда выглядывали две детские мордочки – Боря и Валя.

Тут только вспомнили, что Михаил Васильевич снимал квартиру на этом же дворе, в таком же маленьком домике, принадлежавшем другой дочери хозяйки. Потом выяснилось, что хозяйка Максимовна присматривала за детьми, когда родители ходили на спевку или ко всеобщей; к утренней службе они брали их с собой.

У каждой хозяйки свои привычки. Максимовна требовала, чтобы по вечерам дом не оставляли пустым. Как ни уговаривали ее, пришлось согласиться, чтобы во время всенощной дома по очереди оставались или она, или одна из девушек. Скучать в одиночестве не приходилось. За полчаса до начала службы на весь двор раздавался боевой клич Бориса, и он с сестренкой мчались через двор «в другой наш дом», как они привыкли его считать. Особенно эффектно была Валя с лепешкой в одной руке и эмалированной посудиною, без которой не обходятся дети, в другой. Сзади шла мать или отец с куклой и еще с чем-нибудь необходимым. Комната наполнялась детским шумом, звоном детских голосов. При них уже не задумаешься, не займешься чем-то своим.

Кроме Емельяновых, детей и родителей, частенько приходил новый старособорный диакон, Николай Александрович Агафодоров. Он был молодой, моложе Михаила Васильевича, но жизнь его сильно помотала. Он и в уголовном розыске служил, и, уже будучи диаконом, сам побывал в тюрьме, конечно, не по уголовному делу. Сейчас это был просто комок нервов. Его нервность сказывалась во всем, даже в том, как он, разговаривая, ходил по комнате и потирал руки. Он часто рассказывал что-нибудь, какое-нибудь свое очередное или давнишнее приключение; рассказывал очень живо, сильно сгущая краски. Эти преувеличения вместе со страдальческим выражением лица, не очень-то соответствующим содержанию рассказа, так действовали на слушателей, что невозможно было удержаться от хохота.

– Вот потешный! – говорила еще не старая хозяйка Михайловна, после его ухода утирая глаза, на которых от смеха выступили слезы. Но такое определение было неправильно. Скорее можно было предполагать, что, когда он заставлял смеяться других, несколько смягчалось и его собственное нервное напряжение. А может быть, он нарочно применял здесь свои способности, понимая, насколько нужна тут сейчас такая разрядка.

Агафодоров тоже брал почитать книги, но угодить на него было труднее – ему требовались такие, которые бы совершенно не волновали.

– Больше всех люблю Жюля Верна, – заявлял он. – За то, что он шестую заповедь соблюдает. Никогда никого из героев не убьет, разве только самых отчаянных злодеев. Да и то остается надежда, что как-нибудь вывернутся.

Николай Александрович мог говорить и по-другому, о серьезных вещах и с глубоким чувством. Не возможность ли таких разговоров привлекала его к Константину Сергеевичу? Безусловно, его притягивала не одна возрастная близость. Ведь Михаил Васильевич по возрасту был ему ближе, а с ним они не сошлись.

Но все это только внешность, наружная оболочка жизни, кратковременный отдых. В какой-то мере отдыхом были даже неприятности, не позволявшие мысли сосредоточиваться всегда только на одном. Без этого трудно было бы вынести напряжение всего происходящего, того, что, собственно, и составляло жизнь.

После ареста отца Николая Авдакова пошли разговоры, что к Новому собору подбираются, служить там не дадут. В Старом соборе по-прежнему было три священника, но никто из них даже временно не решался перейти на обслуживание Нового. В селах духовенства оставалось мало, и из них тоже не нашлось ни одного, кто согласился бы занять ответственный и опасный пост.

В то время еще не было примеров, чтобы архиерей совершал литургию один, как простой священник; епископ Павел считал это так же невозможным, как если бы священник служил за диакона. Потому, оставшись вдвоем с диаконом, он только служил часы и обедницу. Во время первого же такого богослужения он вышел говорить проповедь.

Начало проповеди разочаровало слушателей. Они ожидали чего-то яркого, соответствующего моменту, а услышали катехизическое поучение об особенностях архиерейской службы. Тихим, ровным голосом епископ Павел объяснял символическое значение архиерейских одежд, разъяснял, почему епископ во время часов находится посреди церкви. Начинается литургия оглашенных, а он сидит на кафедре, окруженный священниками, изображая Христа, которого окружают апостолы...

– Но вот приходит время, берутся от него священники, и остался архиерей один...

И он замолчал, опираясь на посох, скорбный, одинокий...

Неизвестно, запомнил ли кто продолжение проповеди, да многие ли и слышали ее, но этот момент запомнился надолго. В памяти владыка остался именно таким, когда сорвался его дрогнувший голос. Печальные голубые глаза, поникшая голова, руки, в скорбном бессилии брошенные на архиерейский посох...

Потом владыка объявил, что после вечерни будет отслужен акафист «Всемогущему Богу в нашествии и печали». С того времени в Наташином представлении этот акафист навсегда оказался тесно связанным с общей печалью тех незабываемых дней.

На следующий день в сторожку явились представители церковного совета. В присутствии епископа, разумеется, с его предварительного одобрения, а вернее, по его совету, они предложили Константину Сергеевичу занять место отца.

Два месяца назад, 3/16 октября, Косте исполнилось двадцать два года. Для большинства знавших его он все еще оставался Костей, хотя епископ Павел, заботясь об его авторитете, при людях называл его только Константином Сергеевичем. Никто не сомневался, что его будущее – путь священства, вопрос был только в том когда.

– Скоро ли мы будем петь вам «аксиос»? – не раз спрашивал его Иван Борисович.

В прошлом году, когда все труднее стало замещать священнические места, отец Сергей и епископ Павел серьезно думали об этом. Тогда они рассудили, что он еще молод, что он может понадобиться в другую, еще более тяжелую пору.

А теперь владыка решил, что эта пора настала. Кроме молодости, было еще два крупных препятствия для принятия Константином Сергеевичем священства. Это, во-первых, его здоровье. Узкая, впалая грудь, слабые мускулы, острые плечи, одно повыше другого. Врач Л. Л. Попов, товарищ отца Сергея по семинарии, а в настоящем специалист по легочным болезням, предупреждал, что каждый пустяк может вызвать вспышку туберкулеза. Кроме того, в детстве Константин Сергеевич болел рахитом, и с тех пор у него осталась чрезвычайная слабость во всем теле. Он никогда не мог поднять ведра воды, а пройти полтора-два километра для него было уже тяжело. При переутомлении в ногах, а то и в руках начинались судорожные подергивания, и ему, если он шел, приходилось скорее садиться, чтобы не упасть, а если писал, на время прекращать работу. Эти судороги пугали больше всего: вдруг они начнутся во время литургии, когда он будет держать Чашу со Святыми Дарами?

С состоянием здоровья был связан и еще один серьезный вопрос. Сейчас молодой человек получал в военкомате отсрочку, но возникло опасение, не призовут ли его в армию через год-другой, когда он уже будет священником?

Когда вопрос о рукоположении встал вплотную, епископ Павел порекомендовал Константину Сергеевичу съездить в Саратов, посоветоваться с известным профессором.

Профессор «успокоил» его: для военной службы он никогда не будет годен – у него прогрессирующая атрофия мышц. Очень редкая болезнь, и потому он, профессор, «хотел бы оставить необычного пациента у себя в клинике для наблюдения в интересах науки», но нашлись у него причины, не позволившие сделать это. Профессор написал латинскими буквами на бумаге слово «лишен», и пододвинул ее главному врачу, в полной уверенности, что больной ничего не поймет. Главврач кивнул головой в знак согласия, и вопрос был решен. Клиника не получила «интересного больного» с редкой болезнью, а больной от этого ничего не потерял. Скорее всего, он и сам не захотел бы остаться.

Профессор объяснил Константину Сергеевичу, что болезнь недаром называется прогрессирующей. Она никогда не излечивается, а все время прогрессирует.

– Сейчас вы сами ко мне пришли, поднялись на второй этаж, – добавил он, – а через несколько лет вас принесут.

Всегда сдержанный, Константин Сергеевич и на этот раз не подал вида, как тяжело ему было выслушать такой приговор. Рассказывая о нем, он только добавил свой комментарий: «Это болезнь, напоминающая евангельских расслабленных».

Предсказание профессора не исполнилось, но это было уже чудо «Божественной благодати, немощная врачующей», на которую, нужно сказать, возлагал большие надежды епископ Павел, советуя Константину Сергеевичу принять сан. А врачи впоследствии только удивлялись. Лет десять спустя уже другой профессор-невропатолог сказал ему: «По всем признакам у вас была прогрессирующая атрофия мышц, но она никогда не проходит, а только прогрессирует. Теперь же у вас ее нет. Значит, это была не она».

Вот образец логики некоторых людей, готовых противоречить самим себе, возражать против очевидности, лишь бы не признать чуда.

Такой разговор произошел много лет спустя, а в настоящем была слабость и жестокое предсказание на будущее.

– Я готов послужить Церкви Божией, сколько есть сил, – ответил Константин Сергеевич церковному совету, – но удовлетворю ли я приход, смотрите сами.

Второе препятствие было чуть ли не еще серьезнее. Двадцатидвухлетний юноша не хотел жениться, да если бы и захотел, негде было бы найти подходящую невесту. То, о чем уже не

первый год беспокоились отец Сергей и другие священники: «батюшек-то мы хоть с трудом, да подготовим, а где взять матушек?» – этот вопрос теперь принял осязаемую форму. Перед глазами были несколько трагедий молодых священников, брошенных женами при первом же жизненном испытании; их крест оказывался тяжелее безбрачия. Были и такие случаи, когда под влиянием матушек, дрожавших за семью, батюшки отказывались от сана.

– Лучше мне не брать на себя дополнительного бремени, – говорил Константин Сергеевич, – и не возлагать его еще и на другого человека.

Владыка Павел готов был поручиться за его твердость, за то, что он не опорочит своего сана, но считал неудобным посвятить его безбрачным без согласия митрополита Серафима. Митрополит ответил согласием.

Он несколько раз видел Константина Сергеевича, по должности секретаря, сопровождавшего епископа Павла в Саратов, а еще лучше знал отца Сергея. Доверяя отцу, он считал возможным поверить и сыну. Впрочем, можно предполагать, что дело окончательно решалось в Синоде. Через некоторое время в недавно основанном «Журнале Московской Патриархии» появилось постановление Священного Синода, датированное концом 1930 года. Постановлением разрешалось посвятить священника celibатом, т. е. безбрачно, молодого человека, за которого ручается преосвященный... Имена архиереев, по докладам которых выносилось то или иное решение, и то время в «Журнале» почему то не указывались, но время и обстоятельства дела совпадали. Даже если это был и не тот случай, значит, все-таки подобные дела проходили через Синод.

В дополнение к резолюции, разрешающей посвящение, митрополит Серафим прислал епископу Павлу частное письмо, которое владыка отдал Константину Сергеевичу. Митрополит писал, что вполне доверяет рекомендации епископа, его ручательству за ставленника. «А потом, – кратко, но выразительно добавлял он, – он сын отца Сергея. Жаль только его молодости, потому что рано или поздно „ин его пояшет и ведет аможе никто из нас не хочет!“»¹²².

Об отце Сергии митрополит упоминал не в первый (и не в последний) раз.

– Трудно вам будет без С-ва, – сказал он епископу Павлу, когда услышал о последних арестах.

Может быть, и еще что-нибудь говорил, но это было сказано не при Косте.

Глава 42 За стенами и около ворот

Затем возник и еще один трудный вопрос – как сообщить о предстоящем отцу Сергию и получить от него благословение. Как нарочно, именно теперь строгости по отношению к отцу Сергию, отцу Александру и отцу Николаю опять усилились. Их не только не выводили на работу, не только не разрешали свиданий, но даже прекратили прием передач. Значит, не было никакой возможности подсунуть записку или намеком передать необходимые известия.

Тревожил и самый факт запрещения передач. Все уже начали привыкать к тому, что не получают передач недавно арестованные; так некоторое время их не получали офицеры и полицейские. Но чтобы перестали принимать уже после того, как некоторое время разрешали свидания, т. е. когда уже закончилось следствие, по крайней мере первый этап его, такого не было ни раньше, ни после.

Через некоторое время дело разъяснилось, да и то не полностью. Священники тогда были разьединены, сидели вперемежку с другими заключенными, с теми же полицейскими и офицерами. И вот неугомонный Авдаков, воспользовавшись слишком употребительным, но в их положении единственно возможным «почтовым ящиком» – уборной, затеял переписку. Соску-

¹²² См.: Ин. 21: 18.

чившиеся друг без друга отец Сергей и отец Александр охотно отвечали. Ничего серьезного в этих записках, конечно, не было, но, чтобы они не каждому бросались в глаза, их писали шифром своего изобретения. Шифр был простенький, но имел кое-какие свои особенности, по которым, как казалось батюшкам, он не был понятен охранникам и ближайшему начальству и не мог вызвать у них подозрения. «Почта» работала аккуратно и в то время, когда вдруг прекратились свидания и передачи. Никому и в голову не приходило связать это с перепиской, наоборот, в записках недоуменно спрашивали друг друга, в чем дело. Неожиданно в конце записок, полученных разными «адресатами», появились тоже зашифрованные добавления: «Находим письма».

Эта часть истории так и осталась необъясненной. В том, что записки оказались расшифрованными, все видели новую «услугу» Апексимова – никто другой не мог до этого додуматься. Но когда шифр стал известен в канцелярии, кто-то другой воспользовался им и, с риском для себя, предупредил батюшек. Кто это был, так и осталось загадкой.

После этого переписка, конечно, прекратилась, но передачи возобновились не сразу, а только после особого случая. И вопрос, на сколько времени затянулось бы это лишение, если бы не предупреждение неизвестного друга.

Факт, что в числе прикосновенных к тюремным секретам нашелся такой по-доброму настроенный человек, кажется очень важным.

Итак, не было никакой возможности установить связь с отцом Сергием. В то же время порядки вокруг тюрьмы оставались по-прежнему патриархальными. Ворота днем не запирались, даже не притворялись, как следует, и у них всегда толклись женщины, стараясь увидеть в щель своих близких. У калитки стоял дежурный из самоохраны, т. е. из пользовавшихся доверием начальства заключенных, но для желающих пройти в контору путь был свободный, и время от времени, не очень часто, этим можно было воспользоваться. Контора находилась недалеко от главного корпуса, и, если хорошо рассчитать время, можно было увидеть своих на прогулке и показаться им. У «новособорных» имелся и еще один способ.

Ксения, племянница матушки Евдокии Гусинской, алтарницы, была замужем за старшим надзирателем Савкиным, а корпус, где жили семьи надзирателей, стоял в глубине двора. Если сделать вид, что идешь туда, и правильно размерить шаг, можно пройти в нескольких метрах от прогуливающих заключенных, кружащихся между своим корпусом и водопроводной колонкой. Сама матушка Евдокия редкий день не бывала там, да еще выбегала с ведром к колонке; остальные применяли этот способ гораздо реже, чтобы не подвести Ксению, муж которой был наиболее грубым из надзирателей. Но все это не помогало решить основной задачи – получить от отца Сергия благословение.

За неделю с небольшим до Рождества приехал Миша, ему хотелось провести праздник в семье и повидаться с отцом. Пока что свидание их ограничилось краткими минутами, когда Миша проходил к надзирательскому корпусу, но даже и такая встреча заметно обрадовала отца.

Миша медленно шел мимо водопроводной будки, осторожно поглядывая на гуляющих, а они точно не замечали его; товарищи отца Сергия видели Мишу в первый раз, а сам отец Сергей шел задумчиво опустив голову; лицо у него было строгое и озабоченное. Миша боялся, что отец так и не взглянет на него. Но вот он поднял голову и посмотрел.

Когда Миша, постояв немного за углом, возвращался обратно, отец Сергей оживленно разговаривал с товарищами и смеялся.

Здесь, у ворот, где он проводил теперь чуть не целые дни, Миша встретился с молодым валяльщиком Демой Чикунным. Дементий поселился в Острой Луке уже после отъезда отца Сергия и знал его только по слухам, зато с Мишей был знаком довольно хорошо. Несколько времени тому назад его судили, кажется, за неуплату налога, и отправили в Пугачев. Как осужденный, да за небольшую вину, он пользовался относительной свободой, работал без конвоя

и мог ходить по всему двору. В его обязанности входило, между прочим, носить передачи от ворот, и Мишу он увидел, возвращая очередную непринятую передачу. Они поговорили несколько минут, и Дементий предложил: «Пишите записку, постараюсь передать».

Каждое слово записки Константин Сергеевич тщательно продумал. Она должна быть предельно краткой и предельно ясной, и вопрос требовалось поставить так, чтобы на него можно было ответить одним словом. Наконец выработали такой текст: «Церковь предлагает мне принять сан священника безбрачно. Благослови или отклони».

Вечером Миша передал записку Дементию.

Сейчас камеры священников охранялись особо строго, и выпускали из них только в присутствии надзирателей. Вдруг среди ночи около двери раздался тихий, приглушенный голос:

– Отец Сергей, слушайте!

Он отозвался, и Дементий сквозь дверь прочитал ему записку. Волнение помешало ответить немедленно. После короткой паузы отец Сергей сказал только одно, но зато решающее слово. Утром Дементий урвал минуту, чтобы подойти к воротам и шепнул Мише: «Отец Сергей сказал: „Благословляю!“».

– Никогда не забывайте молиться за Дементия, – наказывал впоследствии отец Сергей детям, – он оказал мне великое благодеяние.

На следующий день Костя пошел в контору. С тех пор как население тюрьмы возросло, увеличилось и число толпящихся у ворот. Жены новых заключенных, так же как и родственницы городского духовенства (в основном ходили женщины, как менее связанные с часами работы), приходили к воротам не только в дни передач, а ежедневно.

– Сердце не на месте, если не сходишь.

Даже Морозова-Ростовская, уже знавшая, что ее муж в Саратове, бросив детей на бабушку, время от времени приходила сюда, потолкаться среди таких же горемык, как и сама, взаимно поделиться новостями. Все эти очень разные, женщины перезнакомились между собою, с ними действительно становилось легче.

Все они с точностью до пятнадцати минут изучили время, когда гуляет та или другая партия, и установили у ворот свой жесткий распорядок, подпуская к щели только тех, чьи родные сейчас гуляли. Случалось, кто-нибудь идет из дома не торопясь, зная, что есть еще время в запасе, и вдруг замечают, что навстречу им идут те, которые сейчас должны бы дежурить у ворот. Идущие к тюрьме прибавляют шаг, а возвращающиеся, поравнявшись с ними, торопят: «Идите скорее, время изменили, наши уже отгуляли, сейчас ваших выведут».

Если охранник у калитки был достаточно добродушен и притворялся, что ничего не замечает, очередной тройке удавалось даже просочиться по ту сторону ворот и стоять там, пока гуляющие не заходили в корпус. Это был праздник уже не только для родственников, а для самих заключенных. Отец Сергей по близорукости не мог различить стоящих у ворот, ему подсказывали соседи, и он в знак приветствия поправлял шляпу. Весной он попросил, чтобы ему принесли очки, которые он уже давно не надевал.

Смена у ворот происходила быстрее, чем внутри, когда выходила новая партия, их родственники уже ожидали на своем наблюдательном посту.

Камеры для неработающих, прежние монашеские кельи, были маленькие, в каждой содержалось по три человека: священник, полицейский и бывший офицер, наблюдать было удобно. Отец Сергей обыкновенно ходил посредине.

– Как Христос между двух разбойников, – украдкой, чтобы не заметили гуляющие, утирая слезы, шептала миловидной, черноглазой «офицерше» Вишняковой старушка Белоусова, жена полицейского.

Константину Сергеевичу вовремя подали знак, и он пошел к конторе. На всякий случай он взял с собой денег, чтобы иметь возможность сказать – приходил передать через контору денег отцу. На его счастье, никто из сотрудников не проходил, и ему удалось постоять

на крыльце. Отец Сергей с товарищами сделал широкий круг и, оказавшись за спиной выводящего их часового, широким крестом благословил сына. Еще круг – еще благословение. В третий раз он перекрестился сам, как бы говоря – молитесь!

И так уж, кажется, достаточно было волнений, а тут еще новое. Несмотря на строгую изоляцию, в какой находились священники, в город через Ксению проник слух, что отец Николай объявил голодовку. Он требовал объединения всего духовенства в одной камере, разрешения им передач и свиданий и права иметь у себя в камере богослужебные книги.

Ни епископ Павел, ни товарищи отца Николая по несчастью не одобряли его действий. Они считали, что если проводить голодовку серьезно, до конца, то этот поступок близок к покушению на самоубийство и недопустим для христианства, а если только попортить начальству нервы и снять голодовку ничего не добившись, получится одно посмешище.

Об этом они впоследствии много разговаривали, кажется, так и не переубедив Авдакова, но сейчас не было времени для суждения, сейчас оставалось только поддерживать его молитвой. Среди забот и тревог последних дней беспокойство за отца Николая занимало одно из первых мест. И раньше он «насквозь просвечивал» – его тонкое лицо цвета белого воска, без единой кровинки и хрупкая фигура указывали на подорванное здоровье; как-то отразится на нем новое испытание? Многим кусок вставал поперек горла, когда они за столом вспоминали, что отец Николай не ест уже три, пять... шесть дней. А тут еще неожиданно приехала его мать. Она держалась внешне спокойно, как человек, привыкший ко всему, но можно понять, что она переживала!

Все дневные часы, кроме проведенных у ворот, и почти все последние ночи Соня шила брату духовную одежду. Хорошо еще, что не нужно было думать, как достать материал, – несколько монахинь принесли кашемировые ряски, в которых им давно уже не приходилось ходить. Это было большой помощью, хотя монашеские рясы совсем другого покроя, чем те, которые носили священники, тем более – чем подрясники. Их пришлось перекраивать заново, времени для этого потребовалось много больше, чем на шитье из нового. Договорились, что к воскресенью, ко времени посвящения в диакона, достаточно приготовить один подрясник, а рясу – только ко дню рукоположения во священника, но была и другая срочная работа. Между этими двумя одеждами, именно между ними, а не после них, необходимо было сшить еще теплый костюм, достаточно тонкий, чтобы его можно было носить под верхней одеждой. Ни у кого не было уверенности, что Константин Сергеевич благополучно дождетсЯ Рождества, что он вернется домой после получения диаконства, а не будет отправлен следом за отцом прямо из церкви; тем более не было уверенности за последующие дни.

К счастью, три принесенные ряски были на тонкой стежке, легкой и, благодаря качеству ваты, теплой. Из этой стежки Соня и сшила легкую телогрейку и брюки, да еще удалось выгадать длинный прямой кусок, который в случае нужды мог заменить постель. Несколько женщин в складчину выстегали одеяло. Как и одежда, оно было рассчитано на слабые силы будущего батюшки, – было гораздо тоньше обычного, а чтобы компенсировать недостаток тепла, делалось на шерстяной вате.

Время посвящения приближалось, а с кем служить литургию? Часами тут не обойдешься. Позарез нужен был священник, чтобы с ним отслужить хотя те две службы, за которыми будет происходить рукоположение. Кроме того, всем было ясно, что Константину Сергеевичу одному, тем более с его здоровьем, не обслужить прихода, где до того едва справлялись двое. Нужен еще второй, вернее первый, так как епископ Павел, при всей любви и доверии к своему секретарю, не считал возможным назначить его сразу настоятелем.

Неожиданно перед самым Рождеством в соборе появился незнакомый священник, на вид лет тридцати восьми – сорока, бритый, с добродушным лицом и едва начинающими отрастать огненно-рыжими волосами и бородой. Владыке он отрекомендовался как отец Петр Ившин и объяснил, что на Соловках был очень дружен с отцом Николаем Авдаковым, только и при-

был туда и освободился года на полтора позднее его. Освободившись, отец Петр выбрал для жительства тот же городок Пугачев, где, как он знал, находится его друг. Приехал сюда и вот – не застал его.

Раз назвав Пугачев местом своего жительства, отец Петр вынужден был остаться в нем, несмотря на крушение своих надежд. Впрочем, не имея возможности поселиться на родине, он находил, что Пугачев для него не хуже других незнакомых городов. А вскоре он убедился, что здесь он не совсем чужой – друзья отца Николая и к нему отнеслись как к другу. Все, от архиерея до последней нищенки, приняли его как посланного Богом кандидата на место настоятеля, но назначению мешало то, что у отца Петра не было никаких духовных документов.

– Я с удовольствием допустил бы вас до служения, если бы отец Николай хоть на словах подтвердил, что знает вас как православного, не запрещенного священника, – сказал ему владыка. – Даже если бы он передал свой отзыв не лично, а через свою мать, но вы видите, какое создалось положение. Будем надеяться, что свидания им скоро разрешат, а пока я напишу о вас митрополиту.

Для Константина Сергеевича принятие священства имело громадное значение, как поворотный момент всей его жизни, и ему, понятно, хотелось, чтобы все происходило стройно и, по возможности, красиво. Сам он, служа за иподиакона, делал все от него зависящее, чтобы и от внешней стороны таинства у ставленника сохранилось хорошее воспоминание. Но у него самого так едва ли получится. Без него оставался только один иподиакон Ваня Селихов, а другого негде было взять.

Строго говоря, любой из мальчиков мог произнести единственное требующееся от иподиакона слово – «повели»! Все они, даже семилетний Гора Пятаков, упражняются в этом во внебогослужебное время. Кажется, старшие питали при этом кое-какие надежды, не думая о том, что тринадцати-четырнадцатилетний иподиакон, не доросший даже до плеча ставленника, будет просто смешон. Единственным взрослым кандидатом оставался Виктор Трубицын, но Виктор – великий путаник, и голос у него никакой. Его можно безопасно допустить только раздувать угли для кадила, в крайнем случае подать это кадио. Если же нужда заставляла доверить ему что-то другое, все остальные напряженно следили за ним, опасаясь, не выкинул бы он чего-нибудь неожиданного. И все-таки, кроме него, не было никого.

Конечно, есть рядом и идеальный старший иподиакон Н. Л. Агафодоров, он сам «спит и видит» участвовать в посвящении Константина Сергеевича, но это совершенно невозможно. Еще на диаконскую хиротонию он, может быть, как-нибудь сумеет отпроситься, а отпрашиваться на священническую – даже у него не повернется язык. Хоть бы это был какой-нибудь другой праздник, а то Рождество! И думать нечего.

Небольшая надежда у него все-таки остается. Она основана на том, что Парадоксову, по его возрасту, трудно выстаивать длинные службы и потому он не допускает у себя протяжного пения. Служба в Старом соборе всегда кончается значительно раньше, чем в Новом, тем более когда в Новом архиерейская. Но одно дело, если она вообще кончится раньше, а другое – успеть закончить, да притом без ущерба для праздничной торжественности, пока в Новом еще не запели «Херувимскую». Да ведь нужно еще и добежать туда, а это еще десять – пятнадцать минут.

Как ни мало надежды, Агафодоров нажимает на все гайки, лишь бы добиться своего. Во-первых, он упрашивает отца Василия начать службу на полчаса пораньше, во-вторых, с глазу на глаз договаривается с регентом, что тот приготовит к этому дню самые быстрые песнопения.

Правда, после конца обедни диакон обязан еще принять участие в выполнении треб, но на этот раз он от них убежит, без него как-нибудь обойдутся. Пусть потом и поворчат немного, дело-то будет сделано. Но об этой части плана он, конечно, благоразумно умалчивает.

Вот как все получилось в свое время.

В Новом соборе уже запели «Херувимскую», когда народ вдруг заволновался. Это стремительно пробивался сквозь толпу Агафодоров. Пулей влетел он по ступенькам к правому клиросу, не глядя бросил куда-то под ноги певчим свою злополучную шапку, которая всегда у него ухитрялась оказаться в самом неподходящем месте; чуть не бегом влетел в алтарь, почти сорвал с оторопевшего Трубицына праздничный серебристый стихарь и, только тут с трудом умерив свою торопливость, чинно подошел к архиерею за благословением облачатся.

«Благослови, владыко, стихарь с орарем!»

Глава 43

Отцовский крест

Рукоположение в диакона состоялось в воскресенье 22/ХІІ 1930 года (4/1-1931 года), а во священника было намечено на первый день Рождества. На эти дни епископ Павел вызвал иеромонаха, служившего в одном из ближайших сел. В алтаре, когда Константин Сергеевич в первый раз надевал подрясник, за ним следили восторженные глазенки мальчиков, помогавших при архиерейских службах, и один из них широко улыбнулся.

– Ты что смеешься? – строго заметил ему будущий диакон. – Смешного ничего нет. Я надеваю почетный мундир духовной гвардии, которая умирует, но не сдается...

Улыбка мальчишки, скорее всего, не насмешливая, а выразившая восхищение, пожалуй, послужила просто поводом для того, чтобы высказаться, а состояние духа у нашего ставленника было таково, что высказаться ему требовалось.

Если рукополагаемый в диакона не был раньше посвящен в стихарь¹²³, это посвящение совершается в тот же день за часами. Существовал обычай, чтобы епископ после благословения наугад открывал Апостол и также наугад указывал ставленнику несколько стихов, которые он читал во всеуслышание, как бы в доказательство, что теперь он по правилам является чтецом. Ставленники старались запомнить эти стихи – считалось, что в открывшемся тексте заключается нравоучение и предсказание для их последующей жизни и деятельности.

Константин Сергеевич и его близкие так волновались, что не запомнили прочитанного им текста, зато на всю жизнь запомнили рядовой Апостол, читавшийся в этот день за литургией: «Святил вси... верою победита царствия, содеяша правду... угасший силу огненную, избегоша острия меча, возмогоша от немощи, быша крепцы во бранех... Инии же избиени быша, не приемше избавления, Да лучшее воскресение улучат. Друзии же руганием и ранами испытание прияша, еще же и уз, и темницу... И сии вси свидетельствованы быша верою, не прияша обетования, Богу лучшее, что о нас предзревшу, да не без нас совершенство приимут... И мы, толик имуще... облак свидетелей, гордость всякую отложше, и удобь обстоятельный грех, терпением да течем на подлежащий нам подвиг, взирающе на Начальника веры и Совершителя Иисуса...»¹²⁴.

Апостольское чтение так подошло к настроению Константина Сергеевича и обстоятельствам его посвящения, как будто его специально подбирали к этому случаю. Как нарочно, в этой главе, немного раньше, даже упоминается тот пророк, в честь которого прадеды отца Сергея получили свою фамилию. Как будто слова апостола предназначались именно сегодняшнему ставленнику, герою дня.

Апостол Павел напоминает о том, как в древности Господь избавил многих людей Своих от всяких опасностей и бед, как будто говоря при этом: «Верь, может Он избавить и отца твоего и тебя самого, и всех, кто тебе дорог, но не рассчитывай на это и вообще на легкую жизнь.

¹²³ То есть руковозложен в чтеца (при этом на посвящаемого надевается стихарь).

¹²⁴ См.: Евр. 11, 33; 12, 2.

Ведь ты знаешь, что иногда нужно бывает и страдать, чтобы терпением засвидетельствовать веру свою.

Помни это и знай, что находящиеся в скорбях не забыты Богом, и Он любит их не меньше, чем тех, кого Он избавил от бедствий. Те, древние люди Божии, были уже „свидетельствованы“ в вере, т. е. вера их была уже доказана, и, тем не менее, многие из них не получили избавления в этой жизни, потому что так нужно было по преечному плану домостроительства Божия. Но получили «Богу лучшее что о нас предзревшу, да не без нас совершенство примут...» Господь предусмотрел нечто лучшее для нас чтобы и мы не остались за границей Небесной Родины.

Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, отвергнем от себя всякую гордость и задерживающий нас грех, и с терпением пойдем по предлежащему нам пути, взирая на Начальника веры и Совершителя Иисуса...»

«Терпением да течем на предлежащий нам подвиг...»

Как же это так? Ведь те были святые, великие люди и сам апостол великий святой. Не дерзость ли принять на себя то, что говорилось о них? Нет, не дерзость. Апостол обращается ко всем, в том числе и к нам, грешным, потому что Господь предусмотрел и нам участие в скорбях и радостях, в смерти и воскресении. И нам оставил Он возможность принять участие в истории Церкви, чтобы «не без нас» кончилась мировая история.

Черный подрясник, по-хозяйски охвативший фигуру юноши, неожиданно украсил ее. При этой одежде его худоба казалась довольно уместной и не резала глаз, а неровность плеч как-то стусевалась, стала малозаметной. Видеть его в стихаре все уже привыкли, а в подряснике он имел совсем новый, незнакомый вид, но неловкости в его движениях не было. Пожалуй, даже при взгляде на него чувствовалось некоторое удовлетворение, как будто все встало на свое место и только теперь он наконец принял свой настоящий вид.

Начав служить диаконом, он быстро полюбил молиться во время богослужения по-диаконски, поднимая руку с орарем высоко вверх и немного вперед, к алтарю. Он говорил, что этот жест сам собою располагает к молитве, и рука, привыкшая к этому молитвенному движению, уже непроизвольно тянется вверх.

– Всего три дня прослужил я диаконом, а уже полюбил этот жест, и жалко мне оставлять его, – говорил он.

В сочельник, пришедшийся во вторник – день передач и свиданий, требования отца Николая были удовлетворены, хоть и не полностью – книг не разрешили. Священников соединили вместе и дали свидания всем, кроме самого отца Николая, который был слишком слаб, чтобы выйти на предназначенное для свиданий место; его временно перевели в тюремную больницу. Его мать Елена Константиновна, все эти дни казавшаяся такой тихой, вдруг заявила, что непременно пробьется к начальнику ГПУ и не уйдет, пока не добьется свидания. Глядя на нее теперь, думалось, что у сына, вероятно, ее характер.

По общему семейному совету, к отцу Сергию пошел Миша, которому скоро нужно было уезжать. Он потихоньку передал отцу Святые Дары, конечно, сухие. В той обстановке Святые Дары доверялись для передачи даже женщинам, только при этом требовалось соблюдение некоторых условий, например, чтобы святыню всячески оберегали от прикосновения посторонних.

Тут же Миша рассказал отцу и последние новости. Ведь отец Сергей с тех пор, как благословил Костю, ничего не знал о нем. А теперь он узнал, что его сын уже диакон, а завтра будет священником. А отец Сергей передал с Мишей поручение принести отцу Николаю сырых яиц и молока. Ведь, сняв официально голодовку, в действительности отец Николай продолжал голодать, так как грубая тюремная пища для него сейчас была просто опасна.

Ожидали, что передачу принесет его мать, а оказывается, еще вопрос, получит ли она пропуск, а молоко и яйца необходимы как можно скорее. С помощью добрых людей все это удалось достать и принести довольно быстро.

В тот же день, также с помощью Божией и добрых людей, отец Сергей сумел сообщить о предательстве Апексимова, о том, какую роль Апексимов сыграл в его деле.

А вопрос, состоится ли встреча отца Николая с матерью, волновал сегодня не только по сочувствию к ним; Елена Константиновна должна была узнать у сына об отце Петре. Ее с нетерпением ждали весь вечер, высматривали у всенощной, долго ожидали на квартире, а ее все не было. Только во время заутрени Наташа увидела матушку в толпе, довольно далеко от себя, и, пробравшись к ней, тут же, за службой заговорила с нею. Старушка оказалась несколько глуховатой, они не сразу поняли друг друга, но все же наконец разобрались. Оказалось, отец Николай дал отцу Петру прямо-таки восторженную характеристику, подтвердив, что он не запрещен и не уклонялся от Православия.

Получив такое важное сообщение, Наташа решила на чрезвычайный поступок – пойти на левый клирос и вызвать из алтаря брата. Подняться на амвон для нее целое событие, без особой нужды она не сделала бы этого и в пустом соборе, а тут она стояла на амвоне рядом с братом, облаченным в серебристый стихарь, и они разговаривали с ним перед глазами всего парода. Мало того, он велел ей сейчас же пройти в сторожку, увидеть там епископа Павла и сообщить ему все, что сказала матушка. Идти к архиерею в три часа ночи! Что же делать, нужно идти...

Владыка уже проснулся и готовился читать утреннее правило. Пришлось немного подождать, пока он умоется, и вот, с обычной приветливостью, даже ласково, он благословил девушку и приготовился слушать.

К удивлению Наташи, сообщение об отце Петре не произвело такого действия, как они ожидали. Владыка сказал, что уже поздно говорить об участии отца Петра в этой литургии, придется обойтись без него, а о дальнейшем его служении можно поговорить после, не торопясь. Зато другое сообщение, об Апексимове, поразило владыку, и он довольно долго ходил по комнате взад и вперед, в волнении повторяя вслух: «Ведь он священник... священник ведь он!...»

Не было, казалось, никакой необходимости рассказывать об этом именно сейчас, ночью. Просто так получилось, потому что Наташа, как и все они, еще находилась под впечатлением этого известия. Особой необходимости как будто не было, а как показали последующие события, может быть, и нужно было предупредить владыку против этого человека именно теперь. Ведь в этот особенный для отца Константина день, он, пожалуй, мог и не найти удобного времени для такого сугубо секретного разговора, а потом было бы поздно.

Едва ли отец Сергей сколько-нибудь уснул в эту ночь – он всегда старался держаться бодро, почти весело. Не показывая никому, что творилось в душе у него самого, он старался всем своим видом поднять и укрепить дух своих товарищей по камере. А если этого было недостаточно, если он замечал у кого-нибудь слезы на глазах или другие признаки особого волнения, он немедленно брал его под свою опеку:

– Отец Владимир, дорогой, что же это? Неужели плачешь? Вспомни, ведь ты христианин!..

Когда кое-кому начали разрешать свидания с родными, через них дошел разговор, что те, кто в одной камере с отцом Сергием, счастливее других – он и утешит, и успокоит, и ободрит. Но это не значило, что самому ему было легко. И, конечно, не было легко в ту памятную для него рождественскую ночь. Это был момент его духовного торжества, получало завершение все, над чем он трудился столько лет, следя за развитием сына. А с другой стороны, не было ли это в своем роде жертвоприношением Авраамовым?

Ночью в камере хорошо слышен соборный колокол. По его звону все поднялись, на память отслужили заутреню и обедницу, причастились полученными накануне Святыми Дарами. Потом остальные опять легли, а отец Сергей, в епитрахили, стоя у окна, слушал звон

к литургии, трезвон, последний звон к «Достойно», молился и, мысленно воспроизводя происходящее в соборе, переживал великие для его сына минуты.

Хор допел последние слова «Херувимской» песни. Из алтаря вышли на Великий вход. Впереди, сияя милым детским личиком, идет Гора Пятаков с архиерейским жезлом, за ним Боря и Федя с «рипидами». Иподиаконы ведут ставленника, лицо которого покрыто «воздухом», в знак того, что он умер для мира и земных радостей, а также в воспоминание того, что ангелы закрывают лица свои перед сиянием славы Божией. Все трое, и ставленник и иподиаконы, в серебристых стихарях. Они спускаются с амвона и останавливаются на нижней его ступени лицом к Царским дверям. Важно шествует диакон Медведев с дискосом, смиренно – иеромонах с Чашей. Епископ выходит им навстречу, принимает у них сосуды. Звучат уставные слова Великого входа. Короткая торжественная пауза...

– Повели! – высоким взволнованным тенором возглашает младший иподиакон Ваня.

Это обращение к народу, сохранившееся от древних промен, когда народ участвовал в избрании священника.

Повели, честной народ, дай согласие на посвящение этого юноши! Ставленник делает поясной поклон епископу, и все трое поднимаются по ступеням на амвон. Короткая остановка, и вот уже звучит уверенный, мощный баритон Агафодорова.

– Повелите!!!

Это обращение к духовенству. Опять поклон, и серебряные стихари движутся дальше, к Царским дверям, где их ожидает диакон Федор Трофимович. Он берет ставленника и второй раз в жизни (первый был при посвящении в диакона) вводит его через Царские врата к архиерею, стоящему слева перед престолом.

– Повели, преосвященнейший владыко! – рокошет он самым густым своим басом.

Соня, стоявшая в третьем ряду от амвона, быстро проскальзывает вперед. Кто-то ворчит – загрозила, но еще секунда, и она опускается на колени. Никому не мешает, и самой все видно, и, главное, душа этого просит.

Ставленник делает еще поклон, на этот раз земной. Потом иеромонах ведет его вокруг престола. Должен вести старший из служащих священников, но в этот раз он один, и старший, и младший, все тут.

Отец Сергей недаром любил повторять, что священник во время рукоположения венчается с Церковью. Когда его трижды обводят вокруг престола, как новобрачных вокруг аналоя, поются те же самые песнопения, что и при венчании, только в другом порядке.

При венчании начинают с «Исайе, ликуй!», выражая этим радостное чувство, которое должно быть у новобрачных, и лишь следующими песнопениями постепенно напоминают им о трудностях и обязанностях семейной жизни, приравнивающих к мученичеству.

При рукоположении же мысль о мученичестве идет впереди всего.

«Святити мученицы, иже добре страдавшие и венчавшиеся, молитесь ко Господу...»

Потом призывают Того, Кто труды и скорби может превратить в радость, когда труды эти направлены к славе Божией.

«Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвал о и мучеников веселие, ихже проповедь Троица единосущная!»

И только под конец слышится «Исайе, ликуй!» – торжествующий возглас подвизавшихся и победивших.

У отца Константина символ венчания с Церковью особенно ярко выражен. Его водили вокруг того самого престола, у которого он должен был служить.

Снова наступает тишина, и мягкий, до боли родной голос епископа властно и проникновенно произносит: «Божественная благодать, всегда немощная врачуящи и оскудевающая восполняющая, пророчествует Константина, благоговейнейшего диакона во пресвитера. Помолимся убо о нем, да приидет на него благодать Всесвятаго Духа».

– Помолимся! Кирие элейсон!

Хор отвечать епископу не торопится, выдерживает некоторую паузу, потом поет негромко, умилительно, трогательно: «Кирие элейсон, Кирие элейсон, Кирие элейсон!» («Господи, помилуй»).

В этой торжественной мелодии слышится что-то даже печальное, а владыка в это время, положив руку на голову коленапреклоненного ставленника, читает тайные молитвы.

Затем епископ, одну за другой, возлагает на ставленника священнические одежды – епитрахиль, пояс, поручи, ризу, наконец, крест, отцовский крест, возглашая каждый раз: «Аксиос!» («Достоин»).

«Аксиос! Аксиос! Аксиос!» – убежденно и настойчиво подтверждает алтарный хор, иеромонах и оба диакона – басистый Медведев и старособорный, а с ними и колокольчики детских голосов.

«Аксиос, аксиос, аксиос!» – подхватывает от лица народа правый хор.

Все делается по обычному порядку и в то же время не совсем обычно. Михаил Васильевич теперь не только регент, а и председатель церковного совета. Это они, церковный совет, возбудили ходатайство о посвящении Константина Сергеевича. Следовательно, народ сказал свое слово – «повелел» – и теперь не только по установленному порядку, а по своему действительному мнению повторяет так твердо: «Достоин, достоин, достоин!»

Все это занимает очень немного времени, и вот уже Костя – не Костя, не Константин Сергеевич и даже не отец диакон, а священник, отец Константин.

Еще один трогательный момент. Владыка берет только что освященный Агнец, каким-то особенным отцовским движением вкладывает его в крестообразно сложенные руки склонившегося над престолом отца Константина. Уставные слова звучат у него так, будто он их сам только что придумал, будто он делает последнее завещание: «Приими залог сей и сохрани его до последнего своего издыхания. О немже испытан будеши на страшном судищи Христовом».

Большие бархатистые темно-серые глаза отца Константина делаются громадными и лучистыми. В той же благоговейной позе он стоит до тех пор, пока не подходит время причащения, и епископ берет у него Агнец. Что он перечувствовал в эти минуты?

После службы все стараются подойти под благословение к новому священнику. Отец Константин давно, еще со времени уроков Закона Божия, усвоил, как нужно складывать пальцы для иерейского благословения, но все-таки каждый раз прежде взглядывает на руку, а потом благословляет внимательно и благоговейно. Дома он несколько раз перечитывает записку, которую только что принесла Ксения. Рискаю получить новое взыскание, отец Сергей сумел подбросить ее во время прогулки, когда Ксения вышла «за водой». Он опять благословляет сына, призывает на него помощь от Господа и пишет: «Ты заменил меня перед престолом Божиим, будь готов заменить меня и в тюрьме».

Дальше идет проза – указание длины, ширины и высоты фанерных баулов, которые он рекомендует немедленно заказать. Себе побольше, сыну поменьше, каждому по его силам. Но эта проза выразительнее самых громких слов говорит о том, какой путь предстоит отцу Константину и насколько этот путь неизбежен.

Конечно, отец Константин готовился и к такому пути, к такой замене и вместе со всеми, кому был дорог, каждую минуту ждал этого. Было чудом, что прежде, чем последовать за отцом, он прослужил у престола Божия с лишком три с половиной года.

Отец Константин не спал под Рождество всю ночь, но отдыхать было некогда, нужно идти по приходу славить. Ходил он в сопровождении диакона Медведева; тот взял на себя роль ментора – показывал, куда нужно заходить и куда не нужно, а войдя, рекомендовал:

– Вот вам новый батюшка. Еще тепленький, только испекли.

Впрочем, в рекомендации не было необходимости, и так весь город знал о его посвящении.

Интересны подробности того, как Ксении попала последняя записка. Вопрос, как передать ее, обсуждала вся камера, все только что соединившиеся священники. Отец Сергей написал ее как можно убористее на обеих сторонах небольшого клочка бумаги, скатал бумажку в плотный шарик. Гуляя, батюшки с нетерпением, хотя и осторожно, посматривали в сторону надзирательского корпуса. Наконец Ксения вышла. Кончать прогулку было еще рано, но отец Александр подал голос.

– Давайте заходить, отцы, холодно, – сказал он.

– Сейчас, только круг закончим, – отвечали задние.

Цепочка гуляющих сильно растянулась. Передние уже начали заходить в дверь, а отец Сергей, шедший последним, еще только подходил к водопроводной будке. Вот повернул и охранник, начал считать входящих. В это время отец Сергей, проходя мимо будки, уронил бумажный шарик; он немного откатился и очень удачно лег в ямку – след лошадиного копыта. Лишь только все вошли в дверь дежурки, служившей и проходной, Ксения подскочила и схватила шарик. Отец Сергей уже не мог этого видеть, зато видел отец Александр, как бы случайно оказавшийся у окна дежурки.

– Ключуло! – сказал он, когда дверь камеры закрылась за ними.

Всех людей, о которых здесь рассказывается, давно нет в живых, так что говорить о них можно свободно.

Еще отец Сергей просил детей как можно скорее, пока они вместе все, сфотографироваться. Ему не терпелось увидеть сына священником, да и фотографию остальных хотелось иметь при себе, ведь в любую минуту его могли отправить неизвестно куда. Его просьбу выполнили немедленно, а при первой возможности отец Константин и сам пришел на свидание, но до того произошло немало нового.

Впоследствии отец Константин не раз вспоминал: «Посадили меня, как птенчика на ветку, и оставили одного». Его некому было даже учить. Сразу после рождественской литургии, вызванный епископом иеромонах уехал – торопился хоть вечером послужить у себя.

Утром на второй день праздника, к первой самостоятельной службе отца Константина, пришел епископ Павел. Обыкновенно он в этот день служил в Старом соборе, а на этот раз изменил своему обычаю, пришел посмотреть, как справляется его ставленник.

Отец Константин с детства прислуживал в алтаре, внимательно ко всему присматривался и, кажется, знал все подробности, но теперь убедился, что делать все самому гораздо труднее, чем казалось, глядя на других. Руки были как чужие; когда он вынул Агнец, края просфоры распались; да он и не обратил бы на это внимания, если бы не епископ.

– Так нельзя, – тихонько сказал он. – Отрезать совсем нужно только одну сторону, а другие подрезать так, чтобы они остались стоять, вот так. Это символ, означающий, что Христос «ключи Девы не вредил в рождестве Своем» и «из гроба – печати не рушив воскресе».

Это было первое и последнее указание, полученное отцом Константином от своего архипастыря. Не успел епископ Павел выпить чаю, вернувшись из храма, как пришли двое незнакомцев и пригласили его «аможе никто из нас не хочет».

Можно не сомневаться, что владыка предвидел такой конец, но не ожидал его так скоро. Иначе он не отложил бы до после праздника решение вопроса об отце Петре Ившине. А теперь получилось, что отец Константин разрывался на все стороны, а отец Петр смотрел и не имел права помочь ему. Оставалась надежда только на благоприятный ответ митрополита Серафима, и церковный совет решил поторопить его телеграммой.

Ответ пришел неожиданный – «на усмотрение епископа Павла». По-видимому, до митрополита еще не дошло письмо с известием о судьбе епископа, или он хотел показать, что епископ в тюрьме все равно епископ. Какая бы ни была причина, круг замыкался.

Получить распоряжение епископа вызвалась мать Евдокия. Утром она пошла к Ксении, и в нужный момент обе женщины взяли ведра и отправились за водой. Если бы охранник следил за ними, он все равно не мог бы заметить ничего подозрительного. Женщины даже не смотрели на приближающуюся к ним группу гуляющих, они шли и разговаривали между собой. Только когда обе группы сошлись особенно близко, мать Евдокия, чуть повысив голос, сказала племяннице: «Митрополит телеграфировал об Ившине – на усмотрение епископа Павла».

Разговаривая, они пошли дальше и стали наливать воду. Наливали ровно столько времени, сколько понадобилось гуляющим, чтобы обойти круг. Они сошлись в том же месте, только на этот раз женщины молчали, зато епископ Павел сказал своему соседу:

– Я благословляю.

Так произошло назначение исправляющего обязанности настоятеля кафедрального собора, причем оба священника в соборе оказались без документов – отцу Константину владыка так и не успел выдать ставленую грамоту. Лишь через восемь с половиной лет епископ Павел, уже давно числившийся на покое, дал ему справку в виде частной записки, в которой подтвердил факт и дату рукоположения.

Конец и Богу слава!

Об авторах



Сестры Софья и Наталья Самуиловы – церковные писательницы, дочери репрессированного при советской власти священника Сергия Самуилова.

Софья Сергеевна родилась в 1905 году, Наталья Сергеевна – в 1914-м в селе Острая Лука Самарской губернии, где служил отец Сергий. Девочки рано лишились матери. Получили в основном домашнее образование. Софья два с половиной года проучилась в Самарском епархиальном духовном училище. В 1926 году семья переехала в город Пугачев, куда перевели служить отца Сергия. В 1927–1930 годах Самуиловы активно участвовали в помощи заключенным, среди которых было много представителей духовенства. В 1930-м дважды арестовы-

вали и самого отца Сергия, который погиб в заключении в 1931 году. Незадолго до этого его сын Константин принял священнический сан.

В 1934 году Софья и Наталья вместе с братом, отцом Константином, были арестованы по обвинению в «участии в контрреволюционной группировке церковников», распространении антисоветской литературы и обучении детей Закону Божию. В 1935 году осуждены на три года ссылки в Казахстане.

После освобождения Софья и Наталья Самуиловы написали книгу воспоминаний об отце, а также ряд других документальных и художественных произведений.

Об издательстве

«Живи и верь»

Для нас православное христианство – это жизнь во всем ее многообразии. Это уникальная возможность не пропустить себя, сделав маленький шаг навстречу своей душе, стать ближе к Богу. Именно для этого мы издаем книги.

В мире суеты, беготни и вечной погони за счастьем человек бредет в поисках чуда. А самое прекрасное, светлое чудо – это изменение человеческой души. От зла – к добру! От бессмысленности – к Смыслу и Истине! Это и есть настоящее счастье!

Мы работаем для того, чтобы помочь вам жить по вере в многосложном современном мире, ощущая достоинство и глубину собственной жизни.

Надеемся, что наши книги принесут вам пользу и радость, помогут найти главное в своей жизни!

Приходите к нам в гости!

Теперь наши книги по издательским ценам в центре Москвы!

Друзья! Теперь книги «Никеи» по издательской цене можно купить в центре Москвы. Новый магазин расположился в помещении издательства около Арбата. Вы можете приходить и выбирать книги, держать их в руках, рассматривать, можете сесть в кресло и почитать. В магазине представлен полный ассортимент книг издательства: религиозная, прикладная, детская и художественная литература.

+7 (495) 510-84-12 (магазин)

+7 (495) 600-35-10 (издательство)

Адрес: пер. Сивцев Вражек, д. 21, домофон 27к

График работы: пн – чт 10.00–18.00 пт 10.00–17.00

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! Интересные события, участие в жизни издательства, возможность личного общения, новые друзья!

Художественная и религиозная литература

facebook.com/nikeabooks

vk.com/nikeabooks

Детская и семейная литература

facebook.com/nikeafamily

vk.com/nikeafamily

Где купить наши книги

Вы можете приобрести наши книги на сайте www.nikeabooks.ru и в издательстве по адресу: Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 21.

В розницу наши книги также можно купить в магазинах Москвы и других городов России:

Москва

Партнерские магазины «Символик» тел.: 8-980-362-64-49, 8-980-362-67-34
«Библио-Глобус»

ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1, тел.: (495) 781-19-00 «ТДК Москва»

ул. Тверская, д. 8, стр. 1, тел.: (495) 629-64-83 «Сретение»

ул. Большая Лубянка, д. 19, тел.: (495) 623-80-46

«Православное слово на Пятницкой»

ул. Пятницкая, д. 51/14, стр. 1, тел.: (495) 951-51-84

«Primus versus»

ул. Покровка, д. 27, стр. 1, тел.: (495) 223-58-20

Сеть книжных магазинов «Новый книжный» тел.: 8-800-444-8-444

«Московский Дом Книги» тел.: (495) 789-35-91

«Молодая гвардия»

ул. Большая Полянка, д. 28, тел.: (499) 238-50-01

Санкт-Петербург

Партнерский магазин «Символик» ул. Камская, д. 9,

тел.: (812) 982-68-26, +7-905-222-68-26 «Слово»

ул. Малая Конюшенная, д. 9, тел.: (812) 571-20-75

Сеть книжных магазинов «Буквоед» тел.: (812) 601-0-601

Екатеринбург

Сеть книжных магазинов «Дом Книги» тел.: (343) 253-50-10

Киев

Партнерский магазин «Символик»

Площадь Славы, ТЦ «Навигатор», пав. 38 с тел.: (096) 320-36-78

Сергиев Посад

Партнерский магазин «Символик»

ул. 1 – й Ударной Армии, д. 4а, тел.: +7-968-832-00-67

Интернет-магазины:

Россия

«Лабиринт» www.labyrinth.ru «Озон» www.ozon.ru

«Сретение» www.sretenie.com «Зерна» www.zyorna.ru

«Благочестие» www.blagochestie.ru «Риза» www.zlatoriza.ru

Украина

Quo vadis www.quo-vadis.com.ua

Наши электронные книги:

www.litres.ru

www.ozon.ru

www.wexler.ru

Для покупки книг оптом необходимо обратиться в отдел продаж издательства «Никея»:
тел.: (495) 600-35-10; www.knigosvod.ru, sales@nikeabooks.ru